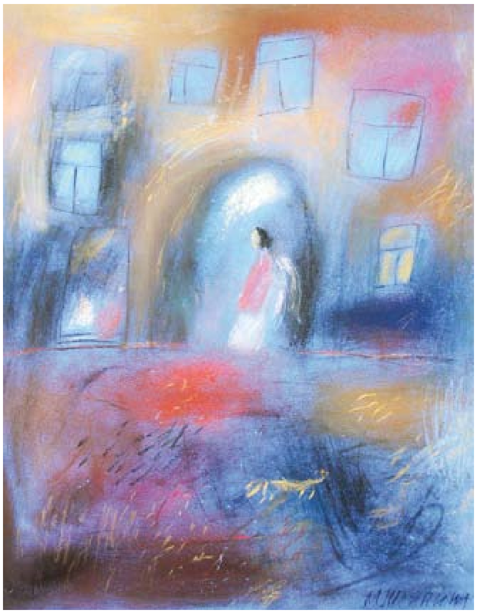
ДЕНЬ и НОЧЬ

литературный журнал для семейного чтения

№ 5 2010



Художница *Марина Шляпина* — автор изящных и мудрых рассказов об искусстве, жизни, любви. Вы можете познакомиться с ними на с. 102

ДЕНЬ и НОЧЬ
литературный журнал для семейного чтения
№ 5 (79) | сентябрь–октябрь | 2010

«Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжёлое искупит заблужденье
И усмирит бунтующую страсть».
Е. А. Баратынский

В номере

ДиН юбилей
Владимир Леонович
3 **Возьмите в долг, не откажите**

К 100-летию И. Д. Рождественского
Лидия Рождественская
50 **Нет мне ответа**
Вячеслав Назаров
56 **И вечный бой…**
60 **«Голос его по-прежнему звонок…»**
Игнатий Рождественский
61 **Я себя не мыслю без Сибири**

Владимир Зыков
26 **Живая вода**
Александр Ёлтышев
68 **Время собирать метеориты**
Илья Фоняков
162 **Кладовые света и добра**

Страницы Международного сообщества писательских союзов
Николай Стародымов
7 **О русском народе**
Сергей Герман
22 **Вера**
Владимир Силкин
27 **Звезда отца**
Борис Скотневский
29 **Последний вагон**
Вадим Осипов
32 **Вот будет осень!**
Наталья Ищенко
34 **Станция «Сирень»**
Станислав Жуковский
36 **Не обойди меня, любовь**
Василий Тресков
39 **Несовместимость справедливостей**
Александр Апальков
48 **Колючие деревья**

ДиН память
Борис Петров
64 **Тунгусу от «тунгуса»**
Материалы читательской конференции по роману Николая Душки «Причина ночи»
69 **В диалоге со Всеобъемлющим**

ДиН стихи
Алексей Якимов
76 **Жизнь идёт**
Олег Мошников
78 **Солёный лес**
Алексей Мещеряков
80 **Возвращение**
Сергей Слепухин
82 **Лепка муляжного рая**
Геннадий Васильев
84 **Робинзон**
Павел Чхартишвили
101 **Исповедь «оккупанта»**
Римма Чучилина
133 **Между летом и зимой**
Илья Суворов
185 **Ветер меняется**
Евгений Степанов
232 **Спасибо**
Александра Барвицкая
234 **Смена ориентации**
Юрий Серебрянский
237 **Я поднял камень**
Ярослава Санина
243 **Понарошки**

ДиН ирония
Ирлан Хугаев
145 **Влюблённый волк**
Анатолий Чмыхало
180 **Россыпи**
Максим Жуков
183 **Жизнь моего приятеля**
Юрий Татаренко
186 **Чтонатворительный падеж**

ДиН дебют
Игорь Федоровский
77 **На стыке литосферных плит**

Экспресс-интервью
Юлий Ким
79 **«Бардовское дело обречено на бессмертие…»**

ДиН публицистика
Геннадий Волобуев
164 **Судьба генерала**

ДиН повесть
Владимир Балашов
189 **Путь зерна**

Библиотека современного рассказа
Леонид Коныхов
87 **Малиновая жизнь**
Марина Шляпина
102 **Красота предметов**
Виктория Гетманова
113 **Если ты девочка по имени Нури…**
Григорий Салтуп
118 **Императорская уха**
Марина Воронина
122 **Барменша**
Александр Рыбин
134 **План для Революции**
Татьяна Масс
146 **Сестричка**
Людмила Куликова
150 **Волшебные жёлуди**
Наталья Скакун
155 **Гадалка**

ДиН притча
Василий Димов
216 **Кафказус**

ДиН детям
Юрий Купрюхин
239 **Ворон**

ДиН антология
Мать Мария (Е. Кузьмина-Караваева)
6 **Покров**
Анатолий Саулов
38 **Баллада о гусях**
Борис Поплавский
182 **Отпустите чудо**

Клуб читателей
Ульяна Лазаревская
149 **Навстречу «Северной Авроры»**
188 **Марш Антологий**
Борис Кутенков
244 **Но как читатель я встревожен…**

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Марина Саввиных

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Эдуард Русаков
Александр Астраханцев
Сергей Кузнечихин

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Михаил Стрельцов

СЕКРЕТАРЬ
Наталья Слинкова

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК
Олег Наумов

КОРРЕКТОР
Андрей Леонтьев

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Николай Алешков
Набережные Челны
Алексей Бабий
Красноярск
Юрий Беликов
Пермь
Светлана Василенко
Москва
Дмитрий Мурзин
Кемерово
Валентин Курбатов
Псков
Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург
Александр Лейфер
Омск
Марина Переяслова
Москва
Евгений Попов
Москва
Лев Роднов
Ижевск
Анна Сафонова
Южно-Сахалинск
Владимир Токмаков
Барнаул
Илья Фоняков
Санкт-Петербург
Вероника Шелленберг
Омск

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
П. И. Пимашков
Глава города Красноярска
В. М. Ярошевская
директор Красноярского краеведческого музея
М. С. Невмержицкая
директор Красноярского библиотечного коллектора
Т. Л. Савельева
директор Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края

В оформлении обложки использована линогравюра Алексея Хамкина.

ИЗДАТЕЛЬ
ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“».

ИНН
246 304 27 49
Расчётный счёт
407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале «Банка Москвы» в г. Красноярске.
БИК
040 407 967
Корреспондентский счёт
301 018 100 000 000 967

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75[а],
офис «День и ночь»
Телефон редакции:
(391) 2 43 06 38

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № 77–7176 от 22 мая 2001 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при поддержке Агенства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Редакция благодарит за сотрудничество Международное Сообщество Писательских Союзов.

Рукописи принимаются по адресу: 66 00 28, Красноярск, а/я 11 937, редакция журнала «День и ночь»

или по электронной почте: kras_spr@mail.ru.

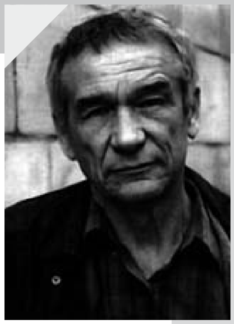
Желательны диск с набором, фотография, краткие биографические сведения.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Интернет-версия журнала www.krasdin.ru поддерживается ООО «КИТ».

Подписано к печати: 25.10.2010
Тираж: 1500 экз.

Отпечатано с готового оригинала в типографии ООО ИПЦ «КАСС».
Адрес: 66 00 48, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 65, стр. 23



Владимир Леонович

Возьмите в долг, не откажите

100 лет Твардовскому. 40 лет—без него. 7 лет мы так или иначе сталкивались и пересекались—вплоть до того летнего утра 71 года.

…Пахра,
его последний день рожденья,
кончается пора цветенья,
жасмин в окне и дождь с утра.
Пришли, поздравили… была
среди гостей княжна Светлова—
Амиреджиби: «Как дела?»
«Пра-хо-вы-е…»—четыре слога.

Ещё он мог говорить, но уже не ходил—сидел в кресле на колёсиках. А говорил вот так—слогами, затруднённо, самое необходимое.

Я не видел его года два, привык к его одутловатому лицу с характерной багровостью выпивающего человека, к его повадке и осанке сильного человека, хозяина жизни. В кресле сидел старик с лицом вытянутым, прозрачно-бледным, неузнаваемым, только глаза, наверно, «играли»: зрачки то ширились, то узились до точки—впрочем, я это только помнил, а увидеть в то утро не успел. Этим сдвигом: лицо—Лик,—резким, как бритва, я был потрясён и, собой не владея, бежал, чтобы не разрыдаться при всех этих людях с бодро-натянутыми улыбками.

Я убежал—смотреть не мог—
овраг, захламленный лесок,
куда-то дальше. Дальше в поле—
упасть и выреветься вволю.

Я любил этого человека. Я принял *ересь* отступника от великого зла и от поруки злодеев—как завет и *порученье*. Злодеи и не простили ему. Механика ссаживания с кресла и поверженья в опалу достаточно известна в случае Твардовского. Не буду об этом. Но я ему говорил, о чём сейчас жалею: как же так? Ведь свои—своего. И говорил неправду. *Они* уже были ему не свои—и он *им* был отнюдь не свой.

Борис Александрович Костюковский, наш дядька и кормилец, в своё время помогавший выйти в люди Преловскому, Вампилову, Шугаеву, Распутину, Кузнечихину… Борис остался, когда я убежал, а за столом, когда сели, Твардовский спросил:
— Где Леонович? Не-хо-ро-шо. Не-хо-ро-шо.

Не понял меня старик. Или, наоборот, понял мою слабость. Это я знаю за собой. До конца, например, не мог досмотреть «Покаяние» Тенгиза Абуладзе—выбежал из зала, зажимая рот. И так далее.

Да, Александр Трифонович, нехорошо.

Нехорошо. Он был бойцом.
В начальных сумерках, с лицом
багровым и одутловатым,
вставал к работе молодцом
часу в шестом, а то и в пятом.
А как однажды прямиком
по дачной узенькой аллее
гнал палкою и матюком
правительственного лакея!

Тот приехал к опальному поэту, лишённому самого дорогого дела в жизни—журнала, на лаковой чёрной машине и привёз пакет с назначеньем Твардовского на бездельную, но высокую и денежную должность.

Палку и матюги я присочинил, а твардовсковедам дарю подлинник, какого не найдут они в бумагах:
— Я сказал ему, что покамест я не запрещённый в России поэт, в синекуре не нуждаюсь, а высокооплачиваемых бездельников и так у нас пруд пруди.

Что такое был «Новый мир» в 60-е годы, написано много. Мы ждали очередной книжки, как ждали студенты очередного номера «Отечественных записок» в 40-е годы 19-го столетья. Я напомнил как-то Твардовскому слова Белинского: «Умру на журнале и под голову велю положить книжку «Отечественных записок». У А.Т. была чудесная манера в прямой речи говорить и то, что в театральных монологах выделено пояснением «в сторону». После слов Белинского Твардовский заметил: «Многозначительный человек» (всю жизнь я от этих кавычек освобождался и вряд ли освободился). Не знаю, положил ли кто синюю книжку журнала покойному в голову—я бы это сделал, но в 71 году жил в костромском селе Никола, узнал о кончине великого человека с опозданием, в Москву не поехал.

Не могу не сказать, уже вслед за Игорем Дедковым, что исчезновенье в России журналов, ещё выходящих в Москве и Питере, было бы для Твардовского событием убийственным. Из организма можно вырезать почку, селезёнку и мало ли что ещё, известное медикам, но вряд ли можно вырезать какую-нибудь извилину мозга—из их лабиринта под черепной крышкой.

В районной библиотеке Кологрива новых журналов нет. Гадкое пренебреженье читающим народом со стороны сочиняющего и печатающегося,

издающего и торгующего периодикой. Мне остаётся тут процитировать:

Трудись, летописец, покуда не сшиб
тебя заказной бронированный джип,

лиловый, как слива, и чёрный, как ночь,
и ты от такого подарка не прочь—

везёт нам и в жизни, и в смерти порой,
ты будешь в веках 332-й.

Дерзай же и веруй: Господь справедлив.
Недаром у ночи лиловый отлив.

Свечу погаси, чтоб сияла звезда.
Умрёшь ты недаром: умрёшь со стыда.

Написано тогда, когда число жертв Беслана исчислялось цифрой 331. Сегодня их 333. Смертельный стыд.

Знают ли это те, кто повергает в пропасть стыда нормальных людей, обладающих умом и душой? Не знают—за неименьем этих качеств и самого *стыда* как убийственного их производного.

Стихи, подобные только что приведённому, я печатал в «Новом мире». Твардовский захаживал на дачу к Борису Костюковскому в Пахре, когда, в бездомную пору, я там жил. Когда прочёл гостю длинное стихотворенье, в конце которого были слова «и долог русский долг», мой слушатель, которого я считал уснувшим за столом, поднял голову и поднял руку: в первый номер!

Как бы не так… я слишком уважал Твардовского, чтобы воспользоваться таким приглашеньем. Всем своим поведеньем, стилем своей жизни, гордым и щепетильным, А. Т. меня «подпитывал» не в последнюю очередь потому, что и во мне течёт струйка польской крови. Она промывает и стихи, но это уже другая материя. Вот когда идёт прямой, грузный и высокий человек по длинному паркетному коридору, стуча палкой, и когда за очередной дверью очередной чиновник думает: пронесло,— тогда и уместно вспомнить Трифона Гордеевича, «пана Твардовского», и подумать обо всей родове Твардовских. В ту дверь, в которую наконец он входит, вряд ли входили люди такого калибра.
—Как вы со мной разговариваете?!! Я маршал!
—А я Твардовский.

Кандидат в члены ЦК, он был вхож в эти коридоры на Старой площади, а ходил часто: то задерживают номер и надо доказать чиновнику, что ты не верблюд, что задержка неоправданна, что весь номер—в створе XX съезда; то вступиться за человека, попавшего в психушку,—братья Медведевы; то добиться пересмотра постыдного дела «тунеядца Бродского»,—да мало ли чем озабочен человек! О его коллегах—33 богатыря, 42 секретаря, как он балагурил,—достаточно сказано в «Телёнке» Солженицына, почему-то слывущем вещью неблагодарной со стороны крестника—своему крёстному отцу. Кто как понимает моменты той самой щепетильности и прочего, опирающихся на внутреннее достоинство, на его твердыню…

Я мало что понимал в драматургии Вампилова. Для меня он был Саня Вампилов. Не дурак выпить и развлечься на даче Костюковского. У Твардовского он был «Вампиров»: то ли А. Т. успел прочесть и оценить дар этого гуляки, то ли угадал то, чего не мог знать. Наверняка старался ему помочь—как и мне.

Возьмите в долг, не откажите…

Я отказывал.

А хороша формула?

Зная моё бездомье, вспоминал, как в юности каждый чердак и каждый подвал рисовались ему его жильём. Поднявшись на второй этаж дачки Бориса—оглядел косые стены клином и стол:
—О да, тут можно писать «Мадам Бовари»!

Застал как-то у меня подругу, выяснил, что пишет стихи, попросил почитать. Покряхтывал непонятно как, потом сказал:
—Вам надо родить ребёнка.

Вскоре я проводил его. На пороге услышал его ремарку, но не «в сторону», а вверх, в небеса:
—Банальная поэтесса.

Где-то у Тынянова светская барышня, молоденькая, непоседа, уставшая от любезностей и собственных улыбок, выбегает вот так же под звёзды и выпаливает всё, что нельзя было говорить в чинных залах. И уж совсем близко: дочь моя Ольга на выпускном в Литинституте в ответ на предложенье члена экзаменационной комиссии дать характеристику каждому из ареопага—нахулиганила, сказав каждому, что она о нём думает. Диплом был задержан на год.

Прогуливался вечерами,
сквозил, как лось, в березняке
и в рост обозначался в раме
дверной. И медлил в косяке.
Потусторонне спросит, нет ли
чего на донушке… болесть
затягивает хуже петли.
На донушке, по счастью, есть.
Сидит в бушлате иль «москвичке»—
в том *дачном рубище* своём
под гнётом горестной привычки:
я пью, ты пьёшь, он пьёт, мы пьём…
Я не люблю молву мирскую,
ей в пересудах откажу.
Свою пью, а не кровь людскую.
Шевченко не перевожу.

А Твардовский переводил, что в этом случае в принципе невозможно. К слову: я переводил стихи Отара Челидзе—Отар перевёл «Тёркина». Узнав, что я, вместо «Мадам Бовари», сочиняю свои переводы, сказал:
—Не зазорно.

Была у меня поэма «Тёплое»—о бездольных бабах-торфушках. К ним в *яму* (слово Астафьева, а не Куприна) иногда по ночам наведывались солдаты.

Холодный ветер бьёт в глаза.
Прямого света конуса
Вперяются в глухие сосны…

Твардовский пишет сбоку: всё же конусы. Я в ответ пишу: всё же — конуса, две фары, двойственное число, упразднённое, неведомо зачем. Болея этой поэмой, пришёл я к Твардовскому её прочесть. Он огребал яблоню, ему было не до чего, но, вымыв руки, он прошёл со мной на терраску, и я обрушил на него весь текст. Он попросил машинопись, испещрил поля замечаниями, в конце написал: «Тут что-то есть».

И впрямь «что-то было»: на «порнографическую поэму» Леоновича и «пошлые песенки Окуджавы» поступил донос в ЦК ВЛКСМ, в результате чего была разогнана наша любимая «Магистраль», из недр которой и поступил донос. Это некое мерило литературных и прочих достоинств предмета. 10 лет назад небольшой писательской группой ездили мы в Смоленск и в Загорье — к Ивану Трифоновичу. Жив был и старший брат Константин, но жил где-то в другом месте. В рассказах Ивана о знаменитом брате не проскользнуло и тени укора — зато проступила *целиком* судьба А.Т.

Ещё для твардовсковедов: он искал в своём времени и повсюду в своей земле — «Страну Муравию» и, главным образом, оправдания жертв и путей, как ему казалось, к ней. Костюковский рассказывал: ездил Твардовский в забайкальское село Долгокычу, где колхозом руководил некто Сараев. Сараева мужики любили, и когда чекисты приезжали его забирать — прятали. Из своего скрада Сараев продолжал руководить хозяйством.

Твардовский веселился поневоле такой идиллией, она была ответом на его утопию: колхозный рай, но председателя прячь от органов.

Ещё он весело рассказывал о пропаже «Тёркина на том свете»: украли — значит, знали, что воровать.

Как дорогую память, храню слёзы Бориса Чичибабина, которому читал стихи о Твардовском. Дело было в Киеве, в доме Дуси Ольшанской, куда приехали мы с Сашей Радковским помянуть Лёню Тёмина. Дуси нет, Бориса нет, жив Саша, он это помнит.

Отрывки этого очерка в стихах тут я и цитирую. Перепишу и это:

А лиственница хороша и на голову выше леса.
В ней шелковистая душа и древесина как железо.
Бывает так: на море хвой налягут *ветры верховые* —
И ломят корень становой, и вырывают боковые…

Великолепный ствол простёрт, всё быстро погибает — или годами мается — растёт… *Какое дерево свалили!*

Свалили пигмеи, чью губительную роль в жизни России он хотел облагородить. Как же! «Ум, честь и совесть» приписывал партии большевиков Ленин. Твардовский, будучи коммунистом, воплощал эти качества. И ум, и честь, и совесть. Ах — так?

Твардовский не был пощажён.
Своя — своих, тишком, окольно.
Своя — своих. И он пошёл
Навстречу своре — на рожон —
Медлительно и добровольно.

Всё это время смещение редактора «Нового мира» я видел изнутри. Из Москвы в Пахру он возвращался, как из боя, а то — как из больницы. Тогда, человек не церковный, я понял, что молюсь за него. Видимо, чувствуя это, со мной он был откровеннее, чем с кем-нибудь другим. Так мне кажется. Рассказывая о реальных персонажах «Тёркина на том свете», которых приходилось ему уламывать, он говорил:

— Они уже ничего не хотят. *Они хотят покушать.*

Запишите и это, господа поэтоведы. Нынешние тоже хотят покушать. И чем больше жрут, тем голоднее становятся. Вот и весь пафос. Вот и вся доктрина. Привёл, Господи, к похмелью во чужом пиру. К завороту кишок — извольте мне простить. Опять к слову: из тех пометок на полях «Тёплого» виден человек стеснительный и чистый. Сегодняшней *свободы ниже пояса* он бы не мог представить. Сегодняшнего *потопа пошлости.* У меня проблема. Надо *знать* то, что тебе омерзительно и ненавистно. А открыть какую-нибудь «клубничку» не могу. Не открывал. Восторгаются «Лолитой», книгой века. А она у меня выпадает из рук. Анастасия Ивановна Цветаева признавалась: «Встретила бы Набокова, надавала б ему пощёчин…»

Когда начиналась травля Солженицына, по Москве прошёл слух: «Твардовский сдал своего автора, своего крестника». Я пошёл в редакцию «Нового мира» — узнать, так ли это. Твардовский был на месте. Внимание, господа литературоведы: «Александр Трифонович, вы отреклись от Солженицына? Не понимаю». Тут он вспыхнул, загремел: «Не понимаете? Отрёкся? Куда молва — и ты туда?»

И я о взгляд его ожёгся, воскрес и умер со стыда.

Тут и увидел, как играют зрачки человека, приведённого в бешенство низким подозрением. Но вскоре он отмяк, видя перед собой счастливого человека: «Нет, не предал!»

Меня звал «Вольдемар», не знаю почему. Услыхав от меня фамилию Межирова, спросил: «Это переводчик?» Паустовский был у него «Мармелад». Эренбург — «человек с зеркальцем», озабоченный тем, как выглядит. А в той отповеди, что он проорал на меня в кабинете, приведу буквально: «Ваши Федин, Шолохов, Леонов прахом станут, когда русский народ придёт поклониться своему великому писателю — Солженицыну!»

2010 год, по идее, должен считаться *годом Твардовского*. Величина, то есть великость человека измеряется его делами и ролью на войне и в мире. Но мы — народ неблагодарный, если позволено мне так обобщать. А хоть бы и не позволено. В оглушительной помпе недавнего празднования Победы что-то я не расслышал имени Твардовского. «Тёркина», наверное, читали, как же иначе, но мне не повезло, не слышал.

Цель этих заметок — сказать то, о чём, быть может, только я и знаю или знаю без «быть может» — только

один и наверняка. Праздновали 90-летие Солженицына. Забыв о дате, случайно зашёл я в Фонд Солженицына на Тверской. А было 11 декабря, и за столом сидели его присные, его ангелы, можно сказать, соавторы. По его просьбе они доставляли ему материалы, необходимые для работы. За столом, где сидели дорогие мне люди, я читал стихи о человеке, который по законам своей партии, проканонам демократического централизма, должен подчинять свою волю общепартийной. Своевольный становился отщепенцем, которого сторонились. Отщепенцем оказался Твардовский в результате своего редакторства. Пошёл против *линии партии*—линии иезуитской, обязывающей доносить, предавать, отрекаться. Выкрикивать здравицы и отбивать ладони, аплодируя вождям. Не дай Бог тебе первому опустить руки—донесут!

Твардовский не предал. Как тот солдат из песни Высоцкого, который *не стрелял.*
— Поехал к нему (Солженицыну) в Рязань, перед обедом засел в комнатке над этой рукописью (кажется, над «Раковым корпусом», не помню). Ревел, как корова.

Эти слова помню, как магнитофон. Дарю твардовсковедам. Последние стихи Твардовского похожи, мне кажется, на наброски. Можно их «прописать», довести до общепризнанного «совершенства». Мне они драгоценны. «Перевозчик, водогребщик, парень молодой…»

Перед смертью мой дядька стал похож на свою мать—мою бабушку.

Мне было лет пятнадцать—я отчётливо помню это впечатление. Лицо умирающего Твардовского, так изменившееся, стало, наверное, походить на лицо матери:

И вижу мать, и вижу сына,
И гиблого народу тьму.
Со-двинулось лицо едино.
За что же мучиться ему?
Какой устав? Какая стать
Народу гибнуть в месте диком?
Перед лицом же—*перед Ликом*
Замученных не устоять.
Я убежал…
И жизнь пройдёт, и смерть пройдёт,
И кто-то, *взысканный утратой,*
Как Тёркин твой, переплывёт
На берег Правый—и вперёд!—
Путём поэзии проклятой.

ДиН антология

Мать Мария
(Елизавета Кузьмина-Караваева)

Покров

Мы не выбирали нашей колыбели,
Над постелью снежной пьяный ветер выл,
Очи матерей такой тоской горели,
Первый час—страданье, вздох наш криком был.

Господи, когда же выбирают муку?
Выбрала б, быть может, озеро в горах,
А не вьюгу, голод, смертную разлуку,
Вечный труд кровавый и кровавый страх.

Мне кажется, что мир ещё в лесах,
На камень—камень, известь, доски, щебень.
Ты строишь дом. Ты обращаешь прах
В единый мир, где будут петь молебен.

Растут медлительные купола…
Неименуемый, Нездешний, Некто,
Ты нам открыт лишь чрез Твои дела,
Открыт нам как Великий Архитектор.

На нерадивых Ты подъемлешь бич,
Бросаешь их из жизни в сумрак ночи.
Возьми меня, я только Твой кирпич,
Строй из меня, Непостижимый Зодчий.

Два треугольника—звезда,
Щит праотца, отца Давида,
Избрание—а не обида,
Великий дар—а не беда.
Израиль, ты опять гоним—
Но что людская воля злая,
Когда тебе в грозе Синая
Вновь отвечает Элохим!
Пускай же те, на ком печать,
Печать звезды шестиугольной,
Научатся душою вольной
На знак неволи отвечать.

Ни формулы, ни мера вещества
И ни механика небесной сферы
Навек не уничтожат торжества
Без чисел, без механики, без меры.

Нет, мир, с тобой я говорю, сестра,
И ты сестру свою с любовью слушай.
Мы—искры от единого костра,
Мы—воедино слившиеся души.

О Мир, о мой одноутробный брат,
Нам вместе радостно под небом Божьим
Глядеть, как Мать воздвигла белый плат
Над нашим хаосом и бездорожьем.

Выпуск подготовила Марина Переяслова

Николай Стародымов

О русском народе

Есть ли шанс у русского народа?

Помню, ещё когда я учился в школе, задумывался вот над каким вопросом: почему история человечества столь неровна? Размеренно плывут века покоя, когда народы мирно обитают в пределах освоенных территорий, а если случаются войны с соседями, то они ограничиваются небольшими пограничными стычками: пограбили друг друга немного, невест умыкнули, стада угнали — да и опять торгуют себе. А потом вдруг словно вихрь срывает с насиженных мест миллионы людей и бросает их куда-то — неважно куда: к «последнему морю», на освобождение Гроба Господня, на поиски Земли Санникова, Эльдорадо и прочих терра инкогнита… Почему народы, которые ещё вчера создавали огромные могучие империи, перед которыми трепетала вся ойкумена, вдруг безропотно позволяют себя обратить в рабов, продавая своё первородство за чечевичную похлёбку?

Почему одни люди руководствуются принципом «Или грудь в крестах — или голова в кустах», а другие — «Лучше быть живым шакалом, чем мёртвым львом»?

В не столь уж давние времена все исторические процессы советская наука пыталась объяснить теорией классовой борьбы. Сегодня говорить об этом даже как-то неловко. Классовая борьба, несомненно, сопровождала всю историю человечества, но она может объяснить далеко не все социальные и межэтнические столкновения. Спокойно кочевали по Великой степи монголы (приведём самый яркий пример, хотя и не единственный из тех, которые можно было бы привести), а потом вдруг объединились вокруг вчерашнего раба, провозгласили его Чингисханом — и отправились через всю Евразию к «последнему морю». Какая тут классовая борьба?.. Или бедуины аравийские: зачем им понадобилась Испания? А война между гвельфами и гибеллинами, которая расколола Европу в средние века и уничтожила по, в общем-то, не столь уж важному для простого человека поводу миллионы людей?..

Нет, классовой борьбой тут всего не объяснишь.

Другое объяснение этому явлению состоит в наличии демографического фактора. Мол, некая территория может прокормить строго определённое количество людей, и, когда это число превышается, излишки биомассы должны куда-то выплеснуться. К этой теории история иллюстраций может привести немало.

Взять, к примеру, викингов. Кто они такие, откуда взялись? Чего им не сиделось на месте? Дело в том, что фьорды балтийского побережья Скандинавии не могли обеспечить пропитанием и кровом увеличивающееся население. Подрастающим юношам здесь попросту нечем было заняться! И вот все не имевшие наследства молодые люди собирались в ватаги, строили когги или драккары и отправлялись искать счастья за морем. Они или продавали свои мечи и воинское умение богатым правителям (Новгороду, Ганзе или Византии), или попросту грабили всё и вся. В 841 году викинги (немецкий хронист Адам Бременский называет их по латыни «пиратес») захватили и разграбили Руан, в 845-м — Париж. Примерно в 860 году балтийские «джентльмены удачи» ворвались в Средиземное море и опустошительным смерчем пронеслись по побережьям Франции, Италии, Малой Азии, Северной Африки…

Но вот ведь что любопытно. Завоевав новые земли, викинги обычно утрачивали наступательный импульс, ассимилировались с местным населением. Знаменитый Вильгельм Завоеватель после победы 14 октября 1066 года под Гастингсом стал королём Англии. Норманнский герцог Роберт II одним из Пап Римских (трудно сказать, кем персонально в череде боровшихся за престол св. Петра — Гонорием II, Иннокентием II или Анаклетом II) был провозглашён королём Сицилии. Следовательно, не сама по себе идея как таковая двигала значительную часть викингов в неизвестное — желание вырваться из тесного фьорда, который мог дать лишь полуголодное прозябание.

Ещё одно объяснение фактору, который сдвигает в путь огромные массы людей, — это изменение климата. И этому аргументу в истории можно найти немало подтверждений. Например, историки напрямую связывают нашествие гуннов на Европу с изменением климата в центре Великой степи Евразии…

Но ведь есть и примеры другого рода, когда начинались движения народов, казалось бы, в совершенно стабильной климатической обстановке. Более того, было бы понятно, если бы народы стремились перебраться в местность с оптимальной природой. Но ведь живут на местности, где не то что жить — выживать тяжело!

Так в чём же тут дело?

Ответ на этот вопрос попытался дать замечательный (я бы даже сказал — великий, но подобный эпитет имеет право давать только Её Величество История) учёный Лев Гумилёв. У его теории пассионарности очень много противников. Скажу даже больше! Когда я сам в неё уверовал, мне стало грустно.

В чём её суть? Постараюсь пересказать как можно проще, как сам её понимаю.

Лев Николаевич считает, что нация (этнос) сродни живому организму—имеет фазы рождения, взросления, зрелости, старости и (увы!) смерти. В среднем этнос живёт 1,5–1,8 тысячелетия. Это в среднем. Бывает, что этнос погибает в юности, едва родившись,—под воздействием природных катаклизмов или под мечами более агрессивных соседей. Бывают и этносы-долгожители—как правило, дольше отведённого срока живут народы, у которых нет агрессивных соседей. Исключение составляет только один-единственный народ—евреи, речь о которых ещё впереди.

Можно возразить: а как же египтяне, скажем, или китайцы? Они-то существуют уже несколько тысячелетий!.. Так-то оно так, да не совсем. Понятия нации, государства, географическое название вмещающей территории отнюдь не являются тождественными на протяжении тысячелетий. Взять ту же Грецию. Полуостров остаётся одним и тем же. Но можно ли утверждать, что древние спартанцы и афиняне, византийцы, нынешние греки—это один и тот же народ? Конечно же, нет! Можно ли сказать, что нынешние жители Ирана и Ирака тождественны вавилонцам? Что жители Казани и Улан-Батора—один и тот же народ?..

Для образования нового этноса, по мнению Гумилёва, необходимо два фактора. Один очевиден и прост: народ-младенец рождается только при слиянии двух или более других народов. Скажем, болгарская нация родилась от слияния обитавших на Балканах славянских племён и пришельцев с Кавказа. Обитавший в предгорьях Кавказа народ дал жизнь трём народам: нынешним балкарцам, нынешним болгарам, а также волжским булгарам, которые, будучи покорены монголами и слившись с ними, стали предками нынешних казанских татар.

И так—какую нацию ни возьми: среди их предков обязательно имеется несколько прародителей. Но просто наличие на одной территории нескольких племён разных корней ещё не гарантирует их слияния и рождения новой нации. Вот тут мы и подходим к центральной идее теории Гумилёва.

Для того, чтобы возник новый народ, необходим некий импульс, который Лев Николаевич назвал пассионарным толчком. Под этим термином учёный понимал явление, когда на относительно небольшой территории на протяжении короткого отрезка времени вдруг рождалось большое число людей, готовых к самопожертвованию ради неких, пусть даже абстрактных или иллюзорных, идеалов. Гумилёв вывел понятие «пассионарности» от латинского «passio» (страсть). Этим людям тесно в рамках привычных, устоявшихся форм общежития. Их влечёт куда-то страсть—к знанию, к подвигам, к самоутверждению. Это качество передаётся по наследству, с каждым последующим поколением ослабевая.

Гумилёв считал возникновение пассионарности микромутацией, происходящей под влиянием неких космических факторов. Но природу этого явления объяснить не смог. По этой причине его оппоненты считают неверной всю теорию. Что тут скажешь? А кто смог объяснить природу электричества? Притяжения? Магнетизма?.. Но это же не может служить причиной отказа от того, чтобы признавать их существование!

Итак, на некоторой территории происходит пассионарный толчок. Здесь рождается много людей, изначально, от природы, готовых к подвигу. Им нужна только чья-то объединяющая воля, какая-то идея, ради которой стоит жертвовать—собой или другими, неважно! Люди активные, они выделяются на фоне своих вялых и самодостаточных соплеменников, чем привлекают внимание женщин, которые по природе своей тянутся к сильным самцам. В результате в течение полувека на свет появляется целая плеяда людей, жаждущих активного действия. И они готовы подхватить любую идею, которая имеет достаточно громкое звучание.

Одна из самых замечательных книг, которые автору довелось прочитать,—«Имя розы» Умберто Эко. Лучше иллюстрации для приведённого выше тезиса не придумаешь. В романе юный послушник XIII века просит учителя разъяснить ему разницу между истинной католической верой и еретическими заблуждениями. В результате долгой беседы послушник понимает, что этой разницы практически нет, а если есть, то она попросту эфемерна. И вот из-за этой незримой разницы в трактовке тех или иных положений религии люди шли на костёр инквизиции, отправлялись в паломнические походы за тридевять земель, уничтожали друг друга в войнах и восстаниях.

Да что там европейское средневековье! Вспомним наших староверов! Сами себя сжигали в скитах, лишь бы не креститься тремя перстами!

Родившись, юный этнос стремится максимально распространить своё влияние. В его орбиту оказываются вовлечёнными всё новые соседи—сначала ближние, потом всё более дальние. Они несут с собой ген пассионарности и щедро наделяют им покорённые народы—женщины любят победителей, а сами пассионарии не терпят отказа, не желают тратить время на всякие там ухаживания. Так волна, раз родившись на гладкой поверхности пруда, бежит всё дальше, постепенно затухая и обращаясь в спокойную рябь.

Взрослея, этнос стремится не просто воевать и уничтожать—он жаждет создать государство! Застолбив захваченную территорию, пришедшее войско начинает устанавливать среди покорённых народов своё мировоззрение, свои законы. Мудрея, этнос меняет агрессивность на стремление жить в сильной стране, но в мире с соседями. Теперь к нему охотно поступают на службу пассионарии других народов. Потом наступает период, когда стремление к комфортности начинает преобладать над желанием отстаивать свои интересы путём чрезмерного напряжения сил. Теперь уже начинается и постепенно набирает обороты обратный процесс—люди всё легче абсорбируют традиции других народов, в то время как свои пассионарии, не уживаясь с жаждущими покоя соплеменниками, начинают искать других сюзеренов. Ну а в конце пассионарность снижается так сильно, что человек стремится только брать от жизни всё, не прилагая для этого особых усилий (никакую рекламу это не напоминает?). В этой последней фазе нация

становится лёгкой добычей для соседей. Если по тем или иным причинам развитие нации не прерывается, оно проходит все эти стадии. Правда, с разной скоротечностью. Некоторые нации успевали промелькнуть в истории ослепительным метеором и исчезнуть за век-другой. Другие тихо-мирно дожили до глубокой старости.

В качестве примера можно взять любое из государств, которые в разное время претендовали на роль супердержав. (Обозначим их общими штрихами, без глубокого анализа событий.) Прародина европейской культуры — Греция. Своё место под солнцем она заняла легко, отправляла в дальние походы пассионариев Ясона и Тесея, стала родиной Гомера и семи афинских мудрецов, потом подпала под власть Рима, и её гибель ознаменовалось символичным плачем «Умер великий Пан». Тот же Рим родился, когда в крутой бульон латинских племён попал катализатор — отряд бежавшего из павшей Трои Энея, превратился в великую державу, погряз в коррупции и разврате, начал дряхлеть, подтачиваемый политическими и религиозными распрями, и пал под палицами диких германских и славянских племён. Византия возникла из отколовшегося от Римской империи осколка, оплодотворённого христианством, воссияла ярким пламенем культуры в бурлящей Европе, где только шло формирование наций, заложила классические основы искусства интриги (как придворной, так и международной), расшатала самоё себя бесконечными усобицами, перессорилась со всеми соседями и пала, жалкая и одинокая, под кривыми ятаганами османов. Приведённые примеры можно считать классическими, потому что названные народы прошли все стадии развития и прекратили своё существование, окончательно утратив способность к сопротивлению.

Теперь несколько примеров того, что нация прошла, так сказать, ускоренный процесс развития. Можно некоторую параллель провести с молодым человеком, погибшим на войне или на дуэли, не успев выполнить своё предназначение на этом свете. Александр Македонский создал великое государство, которое рухнуло, распалось с его смертью. Зелёным смерчем промчались вчерашние арабские бедуины по Азии и Северной Африке, на исторический миг создав исполинское теологическое государство, которое начало разваливаться уже при первых же калифах, тотчас принявшихся воевать друг с другом. Великое княжество Литовское, мгновенно протянувшееся от Балтийского моря до Чёрного, однако не выдержавшее такое сверхнапряжение и ставшее лишь предметом борьбы между Россией и Польшей. Та же Монголия, выплеснувшая самых активных своих сыновей на завоевание всей Евразии… Да, эти нации сегодня существуют, имеют территориальные, государственные границы… Но в них был заложен потенциал превратиться в могучие сверхдержавы. Однако история распорядилась иначе.

А бывает, что народы, имевшие столь же весомый потенциал, вовсе прекратили существование, сохранившись в виде малочисленных реликтовых народностей. Так измотали друг друга в братоубийственной войне лютичи и бодричи, ставшие в результате лакомой добычей для германской экспансии. Это и свирепые, кровожадные ацтеки, которые, исчерпав свой пассионарный потенциал, забросили цветущие миллионные города, ушли в джунгли и стали лёгкой добычей для завоевателей-конкистадоров.

Ну а теперь — общая схема формирования нации. Происходит пассионарный толчок. Он взбаламучивает народы, заставляет их двигаться. Если параллельно происходит изменение климата, это служит катализатором процесса, ускоряет его, а точнее, закручивает интригу, привносит в него дополнительные неизвестные факторы. Если же он приходится на территорию, где имеется избыток населения, это выливается в социальные катаклизмы континентального масштаба.

Так благо пассионарность или зло? Ни то, ни другое. Это данность, которую приходится принимать такой, как она есть. Это стимулятор общечеловеческого развития — и одновременно гибель для отдельных государств. Это шанс для подъёма целых народов — и гибель для тысяч и миллионов отдельных людей. Это явление, которое интересно изучать по истории, но крайне опасно оказаться у него внутри.

Вот несколько примеров проявлений пассионарности, которые не привели к масштабным кровопролитным катаклизмам, но которые оставили заметный след в истории. Первопроходцы — мореходы, казаки, пионеры, географы… Эпоха Великих географических открытий началась с «хождения за три моря» тверского купца Афанасия Никитина, который на 27 лет раньше Васко да Гамы первым из европейцев добрался до Индии — это произошло в июне 1471 года. Колумб отправился на Запад, навстречу полной неизвестности, сколько бы ни говорили о том, что он в Америке был не первый. Пусть не первый, но ведь и уверенности в том, что его ждут молочные берега, у него тоже не было! Ну а уж Магеллан и вовсе не знал, что его ждёт западнее Америки! Уже упоминавшийся Васко да Гама решился обогнуть Африку с юга, хотя, по господствовавшей в те времена гипотезе, жара по мере продвижения на юг должна была усиливаться. Ну а о подвиге горстки казаков, за полвека прошедших «встреч солнца» всю Сибирь, и говорить не приходится!.. Вот и вопрос: как назвать ту силу, которая двигала этими людьми, толкая их на лишения и смертельный риск в неведомых землях? Что за страсть такая вела за горизонт? «Куда идёшь, белый человек?» — вопрошал каюр у Ильина в «Земле Санникова». Да он и сам вряд ли смог бы ответить, зачем она, эта земля, нужна!

Критики теории приводят в пример нации, которые якобы своим долголетием опровергают её. Например, Китай. Это государство и в самом деле существует очень давно. Но стоит внимательнее ознакомиться с его историей — и становится понятно, что на протяжении веков Китай менялся, обновлялся. Северные и южные китайцы, уйгуры, тибетцы, чжурчжэни, монголы — в разное время эти народы играли в судьбе Китая значительную

роль… Несколько раз страна практически прекращала своё существование. Да и поныне гражданин Китая совершенно не обязательно является китайцем, это скорее россиянин, если проводить параллель с нашей страной. То же можно сказать об Индии. Или о Египте, где Древнее царство сменилось Новым, потом оккупацией Греции и Рима, нашествием арабов… Никто же не может сказать, что нынешний президент Египта приходится роднёй Рамзесу или даже Птолемею!

Особый разговор — евреи! Эта нация и в самом деле могла бы опровергнуть теорию. Любопытно, что Лев Николаевич в своих фундаментальных научно-популярных трудах не даёт объяснения этому феномену. Между тем, думается, всё легко объяснимо.

Когда в начале говорилось, что нация, этнос подобны живому организму, это было вполне оправданно. Подобны, но не тождественны. Любое сравнение условно, имеет некоторый люфт. Человека, который бы жил несколько столетий, нет и быть не может, потому что у организма есть некий запас прочности, и как бы за телом ни ухаживали, предел его эксплуатации в конце концов наступает. Но ведь этнос — это не некий чётко оформленный организм. Это совокупность организмов! Вот тут-то и кроется секрет невероятного долголетия еврейской нации.

Евреи — одна из очень немногих наций, у которых национальность наследуется через женщин. Именно через женщин передаётся осознание человеком принадлежности к данному этносу. Будучи народом-изгоем, евреи выбора богатого не имели: либо ассимилироваться, раствориться в более сильных народах, либо изобрести средство самосохраниться и при этом не выродиться в результате близкородственных браков. И выход был найден. У женщин-евреек повышенная чувствительность к сильным мужчинам — выше, чем у представительниц других народов. Бытует легенда, что якобы где-то на берегах Иордана (речь, понятно, идёт не о географическом объекте, а об образе) существует специальная школа, где сидят суперразумные ребе, которые вычисляют потенциальных политических деятелей, для которых специально обучают будущих жён. В подтверждение националисты-антисемиты приводят списки руководителей государств, у которых жёны были иудейки… Какая чушь! Всё намного проще… или сложнее — как посмотреть. Просто каждая девушка-еврейка изначально является носительницей идеологии иудаизма — вернее, просто дочерью своего гонимого народа. И при этом она нутром выделяет из толпы потенциально сильных людей. Они дополняли друг друга — сильный муж и дочь самого приспособленного к изменчивой жизни народа.

В результате в еврейскую кровь постоянно происходил впрыск свежей сильной крови. Пусть данный конкретный человек не становился выдающимся государственным деятелем, у него рождались здоровые дети, которые тут же подпадали под воспитание матери. Вот так и сформировалась нация, которая длительностью своего существования выпадает из общей закономерности этногенеза.

Вот такая теория. А как она применяется к нашей стране, к России? И что из неё следует, как она проецируется на сегодняшний день?

Официальная историография ведёт нашу родословную с призвания варягов и христианизации Киевской Руси. Это несправедливо по отношению к Отечеству. К моменту появления Рюрика Русь представляла собой несколько княжеств, пусть самостоятельных, но близко связанных между собой, множество городов, налаженные торговые отношения, ремёсла, письменность. Наши далёкие предки ещё до рождения Христа возвели могучие оборонительные сооружения для отражения набегов степняков. Это так называемые Змиевые валы, на многие сотни километров протянувшиеся вдоль границы леса и степи южнее Киева. Что это такое? Заложенный в основу валов бревенчатый сруб, а поверху насыпанный вал, на опасных направлениях — с частоколом, на некотором расстоянии друг от друга стояли сторожевые башни со сменными гарнизонами… Представьте себе только, какими экономическими ресурсами должны были обладать местные племена, чтобы выделить столько сил и средств для выполнения этой грандиозной инженерной задачи!.. А мы попросту игнорируем весь период до прибытия в Киев Олега! Просто князьям Рюриковичам было выгодно выпятить роль династии в развитии Руси. Ну а подхалимов-историков, которые писали летописи по принципу «чего изволите?», у нас всегда хватало. Первым из них был Нестор, чья «Повесть временных лет» считается классическим трудом на все времена. Фальсификатором он был, Нестор, пусть даже и вынужденным. Летописи, в которых фиксировалась подлинная история, были уничтожены в период сомнительных добродетелей Владимира-Крестителя.

Символом окончания эпохи Киевской Руси можно считать рухнувший в 1240 году храм, в котором пытались укрыться от монголо-татар последние защитники «матери городов русских». Впрочем, Руси единой уже к тому времени не было. Об этом говорит хотя бы тот факт, что полувеком ранее Андрей Боголюбский отдал Киев своей рати на трое суток на разграбление, как вражеский город, — небывалое до того преступление!

Но в том же 1240 году произошло событие, до сего дня не оценённое в должной мере!

Когда Киев пал, уцелевшие монахи Печерской лавры ушли западнее и основали новую обитель — в Почаеве. И там явилась Пресвятая Богоматерь, оставив на камне вплавленный след своей ножки. Этот след является предметом поклонения миллионов паломников, которые посещают лавру по сей день. Наверное, можно расценить явление Девы Марии как знак того, что земли восточных славян не будут оставлены высшими силами без своего покровительства!

Впрочем, вернёмся к делам мирским.

Для Руси начались тёмные времена. Лев Гумилёв пытался описать последующие события как взаимовыгодный симбиоз Руси и Орды. Ох, трудно

с этим согласиться! В бездонные закрома Сарая текли потоки дани — серебра, рождённого потом и слезами русских людей. На рынки Сарая и Крыма брели колонны полона. По полям и весям княжеств текли потоки крови наших предков. А сами князья регулярно отправлялись на поклон к хану, не зная наперёд, доведётся ли вернуться назад…

Распавшаяся на куски Киевская Русь и в самом деле стала пращуром для рождения нескольких новых народов. Проживавшие на северо-востоке славяне смешивались с племенами финно-угорских, балтских, самодийских народов — формировался русский этнос. В формировании украинского этноса приняли участие (привнесём смеха ради такой оборот — как будто этнос можно формировать сознательно!) обитатели южных степей и их соседи — поляки, молдаване, венгры… Белорусов процесс смешения народов коснулся в меньшей степени, потому сегодня это самая спокойная и бесконфликтная нация; но и здесь сказалось привнесение литовской и польской пассионарности… Ну и на всех восточных славянах не могло не сказаться вековое присутствие татар.

Таким образом, на землях Киевской Руси сформировалось три этно-культурных центра — братских, но вместивших в себя разный привнесённый дополнительный элемент. Потому утверждения панславистов и ура-патриотов, что мы по-прежнему являемся одним народом, увы, не соответствуют действительности: этногенез — вещь необратимая. Это как близнецы — родились одновременно и с идентичным набором изначальных признаков, а люди-то разные!

Точкой рождения русского народа Гумилёв считает Куликовскую битву. По его образному выражению, на битву с Мамаем выезжали москвичи, тверичи, владимирцы, а возвращались русские. Что ж, образ красивый, примем его!

Центральных идей, которые двигали пассионариями возрождающейся Руси (нарождающейся России), было две — правда, взаимосвязанных: объединение государства и освобождение от ордынского ига. Поскольку накал пассионарности на территории Восточной Европы был силён, процесс объединения протекал трудно. Центров, претендовавших на лидерство, было несколько — Москва, Новгород, Тверь…

Сложение объективных и субъективных факторов сделало столицей Москву. Именно сюда потянулись татарские мурзы, верные православию, и теснимые католицизмом и униатством жители украинских, белорусских, литовских земель, ищущие защиты от воинствующего ислама христианские цари и князья Кавказа…

Опричнина и последовавшая за ней Великая смута начала XVII века с точки зрения этногенеза были вполне закономерными — слишком сильным было пассионарное напряжение в народе, а оно гасится только кровью. Как цинично и жестоко это звучит! Между тем через фазу взаимоистребления проходили все исторические нации!.. Результатом стало избрание царя и наступление периода относительного успокоения — начинался период взросления.

Наверное, нет необходимости подробно разбирать историю России с точки зрения этногенеза. Перенесёмся в день нынешний.

Итак, если принимать за точку рождения этноса Куликовскую битву, получается, что нам сегодня 600–650 лет. Вроде бы не возраст ещё. Но так уж сложилось, что именно на Россию обрушились наиболее кровопролитные войны XIX–XX веков. А на войне гибнут в первую очередь пассионарии. Именно они первыми поднимаются в атаку, именно они падают грудью на амбразуру, именно они не станут прятаться за спинами солдат, когда расстрельщики прикажут: «Офицеры (комиссары) — выходи!» При этом статистика свидетельствует, что в войнах, которые вела Россия (СССР) за минувших два века, гибли в большей степени русские. Скажем, в Афганистане русских погибло около 7 тысяч человек, украинцев — около 2,5, белорусов — более 600 человек; и в эту «группу лидеров» примешались только узбеки, потерявшие тысячу своих сыновей. (Оговоримся, впрочем, что в этих официальных данных содержится информация не о национальном составе, а о географии призыва, хотя, думается, эти статистические выкладки пропорционально примерно отражают истинное положение дел.)

Короче говоря, в войнах, в восстаниях, на дуэлях гибнут именно пассионарии: чем у человека уровень пассионарности ниже, тем дальше от передовой он оседает.

Таким образом, наш этнос попросту надорвался. Как человек, работающий на износ, дряхлеет быстрее, чем тот, кто ведёт здоровый, размеренный образ жизни!

В чём это выражается на практике? Стремление к комфорту у людей преобладает всё больше. Человек для достижения этого комфорта старается затратить как можно меньше усилий. Если сказать проще, человек желает получать от жизни и общества больше, чем затрачивать. Ехать за туманом и за запахом тайги желающих находится всё меньше. Зато мечтающих об Америке — сколько угодно! Достаточно послушать, о чём эти мечтатели говорят! Не о том, что «за бугром» нужно вкалывать и получать, — о том, что там можно получать! Как некогда в сильную и богатую Москву тянулись иноземцы, стремившиеся подороже продать свои мышцы и мозги, так нынче наши соотечественники мечтают о заморской манне.

Параллельно идёт и другой процесс. Мы всё же богаче, чем наши соседи. Потому гастарбайтеры охотно едут к нам на заработки! Они берутся за работу, которую мы выполнять не желаем, — тяжёлую, непрестижную, низкооплачиваемую. Они формируют свои диаспоры, всячески поддерживают друг друга, потому что иначе им не выжить в чуждом для них мире. Мы, русские, пользуемся благами, полученными по наследству от наших предков, и всё меньше сами созидаем что-то новое. И в нашу среду всё активнее внедряются пришлые люди — активные, напористые, стремящиеся завоевать своё место под солнцем.

Есть ещё одна закономерность развития человеческого общества, которую открыл великий

Владимир Вернадский, развил Никита Моисеев и применил к своей теории Лев Гумилёв. Наиболее активные представители человечества стараются существовать вдоль границ ареала обитания, в то время как пассивные люди — в столицах. Загляните в Интернет и прикиньте навскидку: кто больше всего проводит времени на сайтах «Одноклассники», «Мой мир» и т. д.? Жители столиц и больших городов. А ведь это чистейшей воды подмена подлинной активной жизни её суррогат-эрзацем!

Мы постоянно слышим мысль о том, что вот, мол, понаехали «чёрные», и потому у нас всё так плохо. Давайте бегло пробежимся по этой аргументации. Мол, на рынках цены подняли и держат их высокими. В самом деле, рынок — это место, где цена должна регулироваться в результате общения продавца с покупателем. Реально же цену устанавливает некая неведомая «мафия», и ни один торговец не имеет права её снизить. Но давайте разберёмся: а кто позволяет приезжим диктовать условия торговли на наших рынках? Администрация, правоохранительные и контролирующие органы. Почему они не выполняют свои функции? Народная молва утверждает: причина в том, что они подкуплены. Вывод: эти структуры заботятся только о личной выгоде, а не стоят на страже интересов своего народа. Это возможно только при низком уровне пассионарности… Наши южные собратья опутали торговыми связями всю Россию, завозят товар во все уголки страны, всюду стараются установить свой контроль и свои порядки. У них выше пассионарность! Их более спокойные земляки работают на своей земле, а к нам приезжают люди активные. С единственной целью: заработать и жить хорошо. За наш счёт? Конечно! Потому что мы это позволяем делать! Потому что коррупция пронизывает наше общество, а поэтому если не любого, то большинство чиновников (в погонах или без) можно купить.

Ну а аргумент, что приезжие соблазняют наших женщин, вообще не выдерживает никакой критики. Самки от природы тянутся к сильным самцам! Человек, как биологический вид, — не исключение. Только у нас достойной альтернативой силе является богатство. Так что же удивительного, что женщины предпочитают сильных и богатых, а не бедных и слабых?

А что мы можем противопоставить этому процессу? Лозунги вроде «Россия — для русских» и разборки бритоголовых? Это несерьёзно. Может сложиться впечатление, что скинхеды — это пассионарная часть общества. Это не так. У них ещё хватает активности на борьбу за свою нацию — пусть и в форме, которая вызывает неприятие у большинства людей. Но эта форма борьбы бесперспективна. Сегодня толпа скинов избила одного-двоих представителей южных национальностей, завтра случилось обратное… Кроме обоюдного отчуждения, это ничего не даст.

Так что же — мы обречены на то, что в ближайшем будущем России не станет? Если убрать слово «ближайшем», то это неизбежно. Численность страны, и особенно русской составляющей населения, снижается. За Уралом нас проживает, если не ошибаюсь, миллионов 20 человек, а снизу на них давит полтора миллиарда! Приграничные с Китаем районы России подвергаются подлинной экспансии со стороны южного соседа — пусть и тихой экспансии, ползучей. Спецслужбы некоторых государств, которые проводят политику воинствующего ислама, активно формируют в ряде регионов России общины, настроенные оппозиционно христианской (а точнее — псевдохристианской или стихийно-атеистической) Москве. В столице первую скрипку всё больше играют этнические преступные группировки, оттесняя «родные» русские на вторые роли… И при этом в обществе нарастают пацифистские настроения, нежелание молодёжи служить в армии.

Следует подчеркнуть, что это проблемы не только России, но и всех «старых» наций. События во Франции и Голландии, где бездельники-эмигранты устраивают погромы, — примеры того же ряда. Даже в юных США уже появляются штаты с преобладающим «цветным» населением. Так что пора речь уже вести речь о снижении пассионарности не у отдельных наций, а у белой расы в целом!

И всё же так хотелось бы, чтобы пессимистические прогнозы себя не оправдали! Так хочется, чтобы Россия воспрянула, чтобы набирающий обороты процесс дезинтеграции прервался новым всплеском национального самосознания. Чтобы наши государственные деятели прекратили трепетать от мысли, что будет говорить заморская княгиня Марья Алексеевна, а взялись за обустройство своей Родины. Чтобы у чиновников алчность вытеснилась болью за Отечество. Чтобы молодёжь не искала счастья за океаном, обратив силы и энергию на благо России.

Так хочется этого, братцы!

Сыны Троежёна

(отрывки из романа-эпопеи)

Легенда о святом Христофоре

Александр
Вильно
Осень 1601 года

> *Итак, от этих паннонцев родились три брата, сыновья Пана, владыки паннонцев, из которых первенец имел имя Лех, второй — Рус, третий — Чех. Эти трое, умножаясь в роде, владели тремя королевствами… и в настоящее время владеют, и в будущем будут владеть, как долго это будет угодно божественной воле; из них наивысшей властью и господством во всей империи всегда обладали лехиты…*
>
> Великопольская хроника (XIII век)

…Посольские коротали время кто как желал. Когда совсем уж невмоготу становилось сидеть в отведённых хоромах, Сашка выходил на улицу под нескончаемый дождь, сменявшийся то снегом, то градом. Знакомился с жизнью и бытом местных жителей, слушал рассказы о прошлом. Люди были

здесь открытее московитов, легче шли на беседу с иноземцем.

Как-то Сашка сидел в кабачке и поинтересовался, что означает герб Вильно — уродливый великан, бредущий в воде с ребёнком на спине. Спросил — и стал свидетелем спора, тотчас разгоревшегося между людьми, пожелавшими ответить на этот немудрёный, как казалось Кривоустову поначалу, вопрос.

— Дело было так, — начал обстоятельно рассказывать оказавшийся рядом человек в священническом облачении, но с гладко выбритым лицом. — Некогда в Риме правил император именем Деций Траян. Римские легионы тогда воевали в Африке, в Египте. И вот так случилось, что как-то в бою им в плен попал киноцефал, человек огромной силы и с головой собаки.

— Как с головой собаки? — опешил Сашка.

— А вот так. Есть там народ такой — киренаики, так у них все люди с пёсьими головами, — наслаждаясь его изумлением, пояснил собеседник.

— И неправда, — вмешался другой священник, также бритый. — Бывал я в земле египетской — и людей с пёсьими головами не встречал… — Он повернулся к Сашке. — Не так всё было, ты меня слушай!.. Там такая история. Как звали того человека, никто не знает. Но был он очень красив собой. И не было ему прохода от женщин — этого вместилища дьявольских наваждений.

Он перекрестился. Осенили себя, отгоняя нечистого, и остальные — кто справа налево, кто напротив, кто двумя перстами, кто отверстой ладонью. Надо же, подивился Сашка: вера одна, а блюдёт её всяк по-своему.

— Каждая женщина, увидев этого красавца, жаждала согрешить с ним, — продолжал второй монах. — Кто другой был бы только рад такому, но человек тот был праведным и не желал жить во блуде. Вот и попросил он Господа, чтобы сделал его внешний вид безобразным. И стала у него пёсья голова. С тех пор стали римляне называть его Репрев, сиречь отверженный, осуждённый, дурной…

— И вот, хотя силы был непомерной, все тяготы и издевательства сносил он со смирением, — перебил первый монах, ревнуя, что пальму первенства в рассказе перехватывает соперник. — Он проповедовал слово Божие, но если его за это подвергали избиению, сносил его безропотно. И прославился Репрев чудесами. Так прошло какое-то время. И прознал про то царь Траян и отправил за ним легион, потому что силы Репрев был огромной.

— Не легион, а двести воинов, — опять поправил второй. — Да только напрасно так сделал император, зря боялся. Репрев добровольно пошёл за ними, признавая, что любая власть от Бога, а потому повиноваться ей должно. Однако в пути у них кончились еда и питьё. Тогда по молитве Репрева умножилось питание у путников, после чего они уверовали в святость Репрева и все до единого приняли святое крещение.

— И сам он принял крещение, ибо хотя и проповедовал до того слово Божие, но сам крещён не был, — вновь перехватил разговор первый. — Крещён он был как Христофор, то есть Несущий Христа… Узнав обо всём этом, Траян попытался заставить Христофора отречься от Бога. Орудием прельщения он избрал самое миловидное дьволово средство — женщину. Он подослал к святому двух блудниц, которые должны были так ублажить похоть киноцефала, чтобы он вернулся к поклонению римским идолам. Однако женщины, проведя ночь с Христофором, сами стали христианками…

— Тут в кого угодно уверуешь, если с таким чудищем ночь проведёшь! — бросил из-за соседнего стола строго и просто одетый мужчина.

Со всех сторон раздались смешки. Над святыми вещами смеяться грех, конечно, однако услышавшие реплику не удержались.

Оба монаха уставились на вмешавшегося в разговор мужчину. Потом дружно отвернулись.

— Кальвинист, — сказал один. — Еретик.

— Еретик, — согласился и второй.

И решили не ввязываться в перебранку.

Дальнейшая история напоминала множество других историй про святых мучеников периода Римской империи. Обе уверовавшие блудницы были замучены до смерти. Святого Христофора бросили в раскалённый медный ящик. Однако он остался невредимым. Даже пошутил, объявив, будто повар в трапезной: «Жаркое готово!» За что получил избавление от мук земных — взбешённый палач отсёк ему голову гладиусом-мечом.

(Тут кто-то ошибается — либо священник, либо пересказавший эту историю Сашка, либо записавший её Алёша. Слова «Жаркое готово!» во время пытки огнём произнёс святой Лаврентий, тот самый, имя которого несут залив и река в Северной Америке, а не Христофор. Хотя, конечно, для данной истории это принципиального значения не имеет. Какие муки терпели первые христианские святые во имя веры!)

— Так почему же его Христофором назвали? — спросил кальвинист (или не кальвинист — Сашка не знал) из-за соседнего столика.

— Потому что он слово Христа в сердце нёс! — торжествующе провозгласил один из монахов.

— А что ж это за мальчик у Христофора на спине на городском гербе?..

— Сие есть аллегория… — начал монах. — Вера истинная тогда во младенчестве была…

Однако мужчина не стал его слушать, обратился к Кривоустову:

— Не слушай их, московит! Доктор богословия Эразм Роттердамский в своей книге «Похвала глупости» про таких вот священников и пишет, что они схоласты, способные только повторять усвоенные истины, а сами не открывали ни Евангелия, ни Послания святого Павла, но при этом убеждены, что на их силлогизмах держится вся церковь, как небосвод на плечах Атласа. Впрочем, где находятся Атласские горы, они тоже не знают… — Кальвинист отхлебнул из большой глиняной кружки пива. Уставился на Сашку умными внимательными глазами. — Ты, московит, хороший вопрос задал. Ведь герб даётся городу свыше, когда некий святой берёт город под свою опеку, под своё покровительство… Вильно. Его объявил своей столицей великий князь Гедимин

в 1325 году от Рождества Христова. И с тех пор Литва и её стольный град Вильно являются ареной борьбы, душевных исканий народа. Литвины оказались в окружении чуждых народов. Православная Москва, католическая Варшава, протестантский Стокгольм, магометане-татары, да к тому же вездесущие иудеи… Где истина? Где правда? Кто правильную веру избрал, а кто ошибается, поддавшись на ухищрения дьявола?..

В его глазах горел огонь — не фанатика веры, а искателя истины. Даже монахи (католики это были или униаты, в рукописи не уточнялось) молчали, заворожённые пламенной речью патриота своего города, своего народа.

— А кто такой Христофор? — чуть спокойнее продолжил незнакомец. — Мы говорим: «святой», «на огне невредимый шутил»… И всё-то у нас ясно и просто… А ведь Христофор — каково его мирское имя, точно и в самом деле неизвестно, не то Репрев, не то Офферо, — и в самом деле был человеком с мятущейся душой. Простой человек, из крови и плоти, но душа у которого жаждала возвышенного! Он хотел служить людям, Богу, истине! Но не знал, как это делать. Он обладал силой невероятной. И искренне хотел, чтобы сила его служила человекам. Именно за это его не могли понять окружающие, именно поэтому считали не от мира сего. Ещё бы: каждый желает жить для себя, а этот — для других!..

— Как Христос, — вырвалось у Сашки.

— Скорее уж как Иоанн Креститель, — покачал головой кальвинист. — Да и это сравнение не очень… Понимаешь, московит, Христос знал, провидел свою судьбу, свою участь. И сознательно шёл к поставленной цели. Его крестный путь на Голгофу начался не с суда Понтия Пилата, не с низменности поступка Каифы, не с предательского поцелуя Иуды… Крестный путь Христос начал, когда начал проповедовать новую религию, религию добра и всепрощения… Так вот, он уже тогда, в самом начале своего пути, знал, чем этот путь закончится, и его подвиг в том и состоит, что он сознательно шёл на муки и на казнь. Иоанн Креститель — иное. Он посвятил свою жизнь подвигу, но и он не знал колебаний в выборе формы божественного служения. А Репрев — не знал, каким образом он может служить Богу и людям… Он направился к царю, предложил свою силу на пользу государства. Но скоро увидел, что от земного правления происходит много кривды. К нему явился враг рода людского, — (все осенили себя крестом), — предложил Репреву служить ему. И служил силач, но скоро убедился, что Дьяволово идёт против Божьего.

В кабачке уже давно было тихо. Все бывшие здесь — люди мирские и духовного звания, шляхтичи и простолюдины, — все слушали невольного проповедника. А тот — не то опытный оратор, не то просто вошедший в раж искренне верующий человек — уже не говорил. Он вещал!

— И не знал Репрев, как ему быть. Бросился он в пустыню. И встретил по промыслу Божьему отшельника. Пустынник и сказал мятущемуся гиганту слова, которые ещё не произносил до того никто, слова, которые ещё предстояло произнести Иисусу. Я вот и думаю: может, то и был Сын Божий, явившийся на помощь столь верной душе?.. И сказал отшельник, что гордыня толкает силача на службу к сильным и великим. А служба людям состоит не в громких подвигах, сродни двунадесяти подвигам языческого Геракла, а в тихом и скромном выполнении работы, которую, кроме тебя, никто выполнить не может. «И что я могу сделать такого, что не может сделать никто другой?» — спросил Репрев. «Думай!» — пожал плечами священник. «Подскажи, отче!» — взмолился Репрев. И отшельник подсказал. Неподалёку протекала глубокая бурная река, и путникам преодолевать её было очень трудно… С тех пор в течение долгого времени Репрев переносил путников через реку… Изо дня в день, в зной и стужу, туда и обратно — по первому требованию любого путника! Это ли не подвиг!.. Как-то пришёл к переправе мальчик и попросил силача перенести его. Силач легко поднял ребёнка, посадил на закорки и понёс. Но с каждым шагом ему казалось, что мальчик становится всё тяжелее. И в конце концов силач испугался, что может не выдержать и упасть. «Что это?» — вскричал переносчик. И сказал мальчик: «Я несу на себе все грехи мира!» Это был юный Христос. Отсюда и имя святого — Христофор, сиречь Несущий Христа. Отсюда и герб города — великан, несущий мальчика. Вот этот святой и взял под своё покровительство наше Вильно. Он ведь был единственным, кроме божественных родителей, кто носил Божьего Сына на себе!.. Потому у нашего града и судьба такая многотрудная. И душа у нашего города мятущаяся…

И зависла тишина, настолько все были потрясены рассказом. Нет сомнения, что большинство литвинов знали предание о святом покровителе города. Однако в таком эмоциональном рассказе слышали впервые.

— Однако ж в твоей повести выходит, что Репрев опять был гордыней обуянный, — ехидно нарушил тишину один из монахов, которые начали разговор с Сашкой. — Ему бы мост построить, чтобы все им пользовались бесплатно. А он подчёркивал своё уничижение, кичился им, а это грех. И все в округе знали, насколько он смиренный, благодарили его и восхищались им, гордыню тешили Репрева.

Оба монаха глядели на кальвиниста с ехидцей: что, мол, прижали мы тебя, еретика?! Как выкручиваться будешь?

Однако кальвинист ответил спокойно и устало, будто выдохся от своей пылкой речи:

— А никто не говорит, что был он безгрешен. Быть может, в самоуничижении сладострастие находил. Святой — не значит совершенный!.. А может, по простоте своей не сообразил, что можно мост построить, буквально поняв слова отшельника… Кто знает… У нас ведь, литвинов, и в самом деле гордыни в избытке. Не так?.. Сами ж говорили, что герб есть аллегория, которую всяк может понимать по-своему.

(На этом обрывается отрывок дневника о контактах Сашки с кальвинистами.)

Король Сигизмунд вернулся в Вильно после того, как была взята крепость Кокнесе — четвёртый

по значению город Ливонии, замок, стоявший на высоком берегу у впадения реки Персе в Даугаву. Это был крупный успех польского оружия, потому Сигизмунд с царскими послами намеревался говорить с позиции сильного. Пан Сапега был с этим согласен.

Всё опять начиналось с проблем.

Говорил Лев Сапега:

— Когда мы приехали в Москву, царских очей не видели шесть недель. Да и потом ещё восемнадцать недель. И всё это время думные бояре вытягивали у нас царский титул. У меня не было полномочий от короля о подобном титуловании до окончания переговоров. Я имел право на такое титулование только в случае согласия царя Бориса на предложенные нами статьи договора. Далее. Мы очень много времени провели в Москве в бездействии, ожидая, пока бояре рассматривали статьи договора. Мы били челом государеву сыну, просили его доложить отцу, чтобы нас более не держали и отпустили с миром. Однако никакого ответа на нашу просьбу не получили. В конце концов мы так расстроились из-за происходящего, что даже смерти себе просили: бояре ни дела не делали, ни нас не отпускали. К тому же стало нам известно, что нас вовсе не собираются отпускать, а планируется разослать нас по отдалённым городам, где уже начали для нашего проживания готовить дома и дворы. Узнав об этом, мы объявили, что если дело и впредь будет продолжаться так же, просто сядем на коней и уедем. Если же попытаются нас задержать, силой станем пробиваться на родину. И было нам тогда уже не до королевской чести — нам своя жизнь дороже, а в неволе мы жить не привыкли.

Лукавил опытный придворный, лукавил! Знал, что эти слова по сердцу королю. Эти слова были не против королевской чести, а во славу её!

— Мы вынуждены были уступить воле боярской и признать титулование царское,— продолжал пан Сапега.— Хоть и были мы послами, но жили под угрозой пленения, а то и смерти. Мы промеж собой долго говорили и плакали, просили, чтобы Господь увидел наши мучения и простил прегрешение наше перед своим государем, когда мы наши исконные земли назвали в титуле царском. Теперь же мы отказываемся от той подписи, которую поставили по принуждению.

По вечерам Салтыков с Власьевым, другие члены делегации подолгу обсуждали итоги дня, ход переговоров.

— О, литвины — волки железные, на горе воющие,— характеризовал пана Сапегу и его соратников Власьев.

Он намекал на легенду о происхождении Вильно. Некогда князь Гедимин охотился в районе Свинторговой долины, на берегах Вильни и Вилии. Ночью ему приснился сон: на горе стоит железный волк и воет. Толкователь снов, жрец Лиздейка, разъяснил, что здесь должен быть заложен город, который станет столицей княжества Литовского, слава о котором разнесётся повсюду. А ещё ранее тут было капище, где сжигали князей-язычников, начиная с легендарного Свинторга.

…Долго шли препирательства. В конце концов мир на двадцать лет был заключён. Он был нужен обеим сторонам. И всё же обе стороны были им недовольны.

— Это всё Сапега, пёс, козни вражьи строит нам,— сетовал Власьев.

Странно всё же судьба распоряжается народами. Русские и поляки — побеги одного корня. Во времена Киевской Руси почти на одном языке говорили, понимали друг друга. И вот прошло пять веков. И ощущают себя братьями, а понимать друг друга разучились. Россия, оказавшись покорённой монголо-татарами, пошла по одному пути развития государственного устройства. Польша, подпав под культурное влияние католической Европы и находясь в тесном контакте с германскими народами и орденскими рыцарями, усвоила другой стереотип поведения.

Такой умный и самостоятельный придворный, как Лев Сапега, вряд ли смог бы состоять в свите Ивана Грозного или того же Бориса Годунова — живо оказался бы либо на плахе (при Иоанне), либо в ссылке (при его преемниках). Его уму и энергии было тесно в границах полусамостоятельного княжества Литовского. Льву Ивановичу не хватало простора для реализации его замыслов. Назвать его врагом царя, Москвы, Русского царства — было бы несправедливо. Он и в самом деле желал создать единое могучее государство, которое объединило бы весь восток Европы. Он, как и русские бояре и духовенство, желал противостоять продвижению Запада на славянские земли. Наверное, Льва Сапегу можно было бы считать одним из первых панславистов.

Разница заключалась только в том, что для пана Сапеги Запад виделся в лице Швеции, Дании и Священной Римской империи германского народа. А для русских бояр Запад начинался сразу за Псковом и Смоленском.

Лев Иванович происходил из рода Сапег — второго по значимости рода Литовского княжества. С детства он воспитывался в духе кальвинизма. В Республике Короны Польской и Великого Княжества Литовского (иначе — Республике Обоих Народов, а короче — Речи Посполитой) гонений на религиозной почве особых не было никогда. Радзивиллы были кальвинистами, некоторые из Вишневецких — православными, что не мешало ни тем, ни другим занимать при дворе важные посты. Тем не менее, когда пан Сапега перешёл в католичество, карьера начала складываться для него более успешно.

Человек умный и широких взглядов, Лев Иванович понимал, что какими-либо притеснениями религиозных взглядов человека можно только оттолкнуть. Потому и сам занимал, и проповедовал толерантную позицию в вопросах веры. Он был последовательным сторонником заключения Брестской унии, видя в ней путь к объединению христианских церквей, напрочь при этом отвергая принуждение.

В 1587 году умер выдающийся правитель Речи Посполитой Стефан Баторий. Тут-то и решил Лев Сапега, что пришёл его звёздный час. Именно тогда

он впервые предложил создать единое государство, в которое вошли бы Россия, Польша и Литва. Благо, пример и опыт уже были. Федеративная республика Речь Посполитая за два с лишком столетия существования доказала свою жизнеспособность. Во главу объединённого государства предлагалось поставить Фёдора Иоанновича, царя Московского. Единая внешняя политика, объединённая валютная система, объединяющиеся при необходимости войска—всюду корень «един»… Никаких ограничений в вопросах веры…

Инициатива не нашла поддержки. После этого пришлось пану Сапеге отдавать голос за Сигизмунда из династии Ваза.

Под руководством Льва Ивановича был разработан замечательный документ—Третий Статут Великого княжества Литовского, своего рода конституция государства. Документ признан образцом европейского законотворчества того времени. И действовал он до 1840 года, когда Статут отменил Николай I.

По приказу канцлера Сапеги был переписан весь государственный архив Речи Посполитой, чтобы при пользовании документы не пришли в негодность,—эта работа растянулась на полтора десятилетия.

Такого бы человека в союзниках иметь, а не в стане врагов!..

Когда я работал уже над последующими частями рукописи, наткнулся на одну любопытную публикацию, которая перекликается с предыдущей главой. Вернее, не со всей главой, а с рассказом безвестного кальвиниста о покровителе Вильнюса святом Христофоре.

В журнале «Сибирские истоки» №1 за 2001 год опубликована статья Валерия Зырянова «Кинокефалы. Святой Христофор и хантыйский фольклор». Данная публикация не имеет прямого отношения к описываемым событиям, однако лично меня она крайне заинтересовала, и показалось, что не привести её было бы несправедливо.

Суть статьи Валерия Зырянова состоит вот в чём. (Привожу её в собственном вольном изложении.)

Легенды о существовании кинокефалов существуют у разных народов. Кинокефал—значит «собакоголовый». Об этом факте, в частности, косвенно указано в замечательнейшей книге «Имя розы» Умберто Эко—изображение таких собаколюдей послушник Адсон видел в древних трактатах в Храмине. В энциклопедическом сборнике «Арктика—мой дом» также имеется древнее изображение этих фантастических существ.

Оказывается, у народа ханты также имеется предание о Человеке пёсьего обличья, которое явно перекликается с легендой о святом Христофоре. Парень столь уродливого вида влюбился в красивую девушку и отправился к духам просить расколдовать его. Хранитель Отчего дома благословил его на дальний путь, описывая предстоявшую дорогу: мимо железного чума, где живут семь богатырей, через две реки, одна из которой с жёлтой водой, через лесной мыс, за которым горит костёр…

Судя по всему, этот несчастный служил объектом для насмешек соплеменников. В эпосе имеется такой фрагмент. Отправлявшегося в дальний и опасный путь парня провожают откровенными издёвками:

> Эй, Носящий пёсий облик, эй!
> Дай налюбоваться на тебя:
> Верхние одежды приспусти—
> Существо мужское покажи;
> Нижние одежды приспусти—
> Естество мужское покажи,
> Чтобы знать, какого молодца
> Может род людской приобрести.

Это народное предание наложилось на сюжет о святом Христофоре. И вот в сибирских христианских храмах начали появляться иконы святого с собачьей головой. Одна такая висит в Никольском храме в Ныробе, в котором в 1602 году умер от голода Михаил Никитич Романов, один из дядьёв будущего царя Михаила Фёдоровича. Все местные охотники перед тем, как отправиться на ловы, молились этому «собачьему богу», как здесь именовали икону. Исследователи считают, что икону писал сосланный сюда иноземец—например, пленный поляк или литвин. Если он и в самом деле был из Вильно, то вполне мог использовать знакомый христианский сюжет в оформлении храма.

С подобной традицией официальная церковь пыталась бороться. В частности, её резко критиковал знаменитый православный церковный деятель святитель Дмитрий Ростовский. Сын украинского казачьего офицера, Дмитрий Туптало, приняв постриг, немало сделал для единения православной церкви, боролся с церковным расколом. К слову, главный труд его жизни—знаменитые «Четьи-Минеи»… Так вот, в «Розыске о раскольнической брынской вере» святитель писал: «Нерассуднии иконописцы обыкоша нелепая писати, якожи и св. мученика Христофора с пёсьею головою, а святых мучеников Флора и Лавра с лошадиными, якоже суть небылица».

Следует отметить, что в средневековой Европе бродило немало домыслов об обличии обитателей других земель. Авторами слухов и описаний были известные путешественники: итальянцы Плано Карпини, Рафаэль Барберини и Александр Гальвини, бергамцы Франческо Тьеполо и Иахопо, австриец Сигизмунд Герберштейн…

И ещё. Как известно, Армения стала первым государством на Земле, которое приняло христианство в качестве государственной религии—это произошло в 301 году. Так вот, согласно одной из легенд, это произошло после того, как в наказание за гонение на Григора Партева (Григория Парфянина), вошедшего в историю как Лусаворич (Просветитель), местный царь по имени Трдат стал свиноголовым. А человеческий облик к нему вернулся только после того, как Григора по его повелению освободили из зиндана. Правда, современный армянский архиепископ Магакия Орманян объясняет эту легенду тем, что тот правитель страдал шизофренией в форме ликантропии, когда больной воображает себя животным. Но как

бы то ни было, мы наглядно видим, что предания о том, как у людей вдруг по тем или иным причинам появлялись головы животных, имеются у многих народов.

Разгром восстания Хлопка

Георгий
Западнее Москвы
Сентябрь 1603 года

Труп врага хорошо пахнет.

Авл Вителлий,
римский император, I в. н. э.

Сражением это боевое столкновение было бы назвать неправильно. Это было побоище, избиение необученных, неорганизованных толп кое-как организованных оборванцев выученным, умелым войском. Однако будущее показало, что оно стало последней столь лёгкой победой царских войск над поднявшимся на борьбу холопством. Впрочем, холопами их теперь называть было уже несправедливо. Да, царёву войску противостояла беднота, голытьба, однако поднявшиеся на борьбу люди становились уже не просто грабителями, они превращались в повстанцев, людей, вкусивших воли. Неправедной, кровавой, жестокой… Но — воли!

Царёво войско развернулось к бою привычно и умело. В центре растянулись плотные ряды стрельцов. На флангах — отряды дворянской конницы. Войско сияло сталью доспехов и оружия. По ветру реяли полотнища знамён полков, флажки отрядов, флюгеры на концах копий, еловцы на яблоках шлемов…

Против него растянулась нестройная линия разномастно обряженной пехоты. Кто-то из мятежников красовался в добротных доспехах, добытых, по всей видимости, в грабеже или в бою, однако преобладала всё же простая одёжа. Под стать было и оружие — виднелись даже насаженные на древка косы и серпы, усеянные гвоздями дубины-ослопы. («Пешая рать бой творяху деревянным ослопием».)

И одного лишь взгляда было довольно, чтобы понять, кто выйдет победителем в грядущем бою.

Традиционных переговоров и предложения сдаться на милость победителя не было. Да и сшибки богатырской, предварявшей кровавый пир, тоже — в прошлом они остались, поединки такие. Да и не вышел бы никто из царёва войска на поединок с взбунтовавшимся мужиком, а то и вовсе татем нощным. Обе стороны прекрасно понимали, что прощения мятежникам после нападения на рать Ивана Басманова и убийства воеводы не будет. И это обстоятельство также не прибавляло бодрости мятежникам. Крепко ещё сидел в каждом из них страх перед всем тем, что объединено в цельное понятие — Государство, Царство…

Собственно сражение длилось всего ничего — от силы час, не более.

Сначала раздался залп царских пушек. Потом ещё и ещё. В рядах мятежников появились проломы — пущенные опытными гармашами ядра сшибали по несколько человек, стоявших в несколько шеренг. Потом вперёд двинулись стрельцы. Они шли неторопливо, стройно, уверенно держали строй. Со стороны войска Хлопка затрещали разрозненные ружейные выстрелы — нервы у хлопковцев не выдерживали при виде этой неумолимо надвигавшейся на них силы. От абсолютного большинства из этих выстрелов толку не было ни малейшего — самопалов у мятежников имелось мало, да и находились они далеко не всегда в умелых руках. А главное — расстояние для ружейной пальбы было очень велико.

Повинуясь команде, стрельцы остановились. Воткнули в землю древки бердышей, деловито приладили на них самопалы. Грянул дружный расчётливый залп. Стрельцы тотчас подались назад. А на их месте уже выросла вторая шеренга стрелков. Новый залп — отход, ещё один… Пищаль сама по себе не отличалась большой меткостью, однако вот такая залповая стрельба шеренгами, при её умелой организации, урон врагу приносила ощутимый.

Там, где толпились мятежники, теперь громоздились окровавленные тела — раненые, мёртвые, попадавшие от желания схорониться… А основная масса хлопковцев уже подалась назад, пока ещё шагом, но уже в готовности броситься врассыпную. Это было уже не войско — именно аморфная масса.

Впереди конной группы, в которой во главе своего десятка находился Георгий, поднялся значок на высоком древке. Он качнулся вверх-вниз, замер: «Внимание!» Качнулся вправо-влево, наклонился вперёд. Повинуясь команде, всадники взяли с места, устремились, сначала неторопливо, а потом постепенно набирая скорость, вперёд, обходя с фланга пеших стрельцов и при этом растягиваясь по фронту. Мастерство командира тут состоит в том, чтобы максимальную скорость отряд набрал к моменту, когда войдёт в соприкосновение с неприятелем — тогда и удар получится сильным, и лошади смогут выдержать бой как можно дольше.

Место Георгия и его команды было во второй линии кавалерии. Впереди мчались его товарищи, которым предстояло первыми вступить в бой. Впрочем, судя по тому, что видел Георгий, серьёзного боя не будет.

Дрягва шла ровно, чётко выдерживая расстояние до скакавшей впереди лошади. Из-под копыт летели комья земли, Дрягва уворачивалась, недовольно подёргивала ушами, однако строй держала — сказывалась вышколенность.

Георгий поперёк седла держал софту, справа под рукой были пистоль в ольстре и чехол с дротиками-сулицами, слева высоко, едва не под локоть, подтянута сабля… Да широкий тесак на поясе, да засапожный нож… Он был готов к встрече с врагом. Теперь у него не было колебаний, кто перед ним — русские мужики или некие иноземцы: это были враги, которых нужно было уничтожать.

Скакавший впереди всадник ловко, как на учении, вскинул руку — на фоне серого неба мелькнула синеватая сталь — и тут же по дуге, наискось, опустил её, чуть свесившись с седла. И под

ноги Дрягве рухнуло разбрызгивавшее кровь тело. Кобыла легко, не сбиваясь со скока, перемахнула через него, не задев копытом. А сабля в руке всадника вновь взмыла к небу — теперь по её полировке виднелись разводы крови. И опять обрушилась вниз…

Как на учении.

Ряды мятежников рассыпались окончательно. Пешие и конные, они устремились в разные стороны, в первую очередь к лесу, находившемуся за их спинами. Царёвы ратники погнались за ними, также больше не соблюдая строя. Уничтожать, рубить, резать, колоть…

Георгий вырос в заболоченных лесах, а значит, прекрасно знал, что в чаще преимущество имеет пеший воин. Поэтому он, когда единый фронт начал разбиваться на небольшие отряды, свою группу воинов повёл не напрямую к зарослям, куда бежали пытавшиеся спастись мятежники, а взял правее, чтобы обогнуть выступающий в поле багровеющий осенней листвой лесной мысик. Рассудил, что беглецы, неизбежно потеряв в зарослях столь драгоценное для них время, продерутся сквозь кустарник и подлесок и, не задерживаясь, окажутся на открытом пространстве. Тут-то он их и встретит.

Кривоустов скакал, свободно опустив к земле софту. В бою ему принять участие пока не довелось. Всю кровавую работу делали пока скакавшие в первой линии всадники.

Мельком заметил лежавшего на земле мужика, затаившегося рядом с мёртвым телом. Не обратил бы на него внимания, да только тот вскинул, очевидно не выдержав напряжения, голову, с ужасом взглянул на пролетавших мимо всадников. Георгий походя полоснул лежавшего наискось, помчался дальше, не удостоверившись, насколько опасную нанёс рану — не до того сейчас.

Софта — великолепное оружие, но только в умелых руках. Не то меч, не то копьё — в общем, орудие почти в рост человека, сочетающее лучшие качества и того, и другого. Длинное древко и равное ему по длине лезвие. Софта и в пешем бою хороша, а уж в конном ей и вовсе цены нету — легко достанет врага, что сидящего в седле, что лежащего на земле. Георгий с детства предпочитал её любому другому оружию наездника.

Отряд вылетел к краю лесного выступа и, не останавливаясь, обогнул его. И наткнулся на группу конных мятежников. До них было всего ничего — саженей двадцать-тридцать, не более. С первого взгляда было понятно, что это вожаки, атаманы взбунтовавшейся черни. Над отрядом развевалось знамя — красное, однако что на нём изображено, Георгий не разглядел. Все всадники были в доспехах, в шлемах, над ними виднелся частокол копий.

В отряде было всадников поболе полсотни. Они уходили от места сражения, но уходили размеренно, чтобы в панике не запалить лошадей.

Кривоустов оглянулся. За ним следовало человек двадцать — двадцать пять. Соотношение вроде как не в его пользу…

Однако…

— Вперёд, братцы! — крикнул он, взмахнув софтой в направлении беглецов. — Порубим сволочь!..

— Москва! — раздался громкий клич. — Слава!..

Преследователи сорвались вперёд. Теперь уже лошадей поторапливать не было нужды, они и сами рванули за беглецами.

В группе уходивших заметили погоню. И наддали скорости.

Это было их ошибкой. Теперь Кривоустов был уверен в победе. Если бы они сразу повернули на преследователей, исход сшибки не взялся бы предсказать никто. А теперь никаких сомнений не оставалось. Тот, кто убегает, будь преследователей хоть в два раза меньше, как теперь, — обречён.

Кривоустов привстал на стременах, пружинил на ногах, стараясь каким-то неосторожным движением не сбить кобылку с ровного стремительного бега. Софта опять лежала поперёк седла, Георгий придерживал её и повод в основном левой рукой, чтобы правая не оказалась занятой, появись необходимость выхватить пистоль или сулицу.

Как Георгий и предвидел, группа беглецов начала вытягиваться в неровную цепочку: сказывалось, что лошади у всех разные — что по выносливости, что по усталости. Теперь они — каждый сам за себя, теперь они друг другу боле не соратники…

Один из убегавших начал заметно отставать. Он часто затравленно оглядывался, хлестал жеребца хлыстом, однако тот, хромая всё сильнее, явно выбился из сил и уже сдался.

— Юшка, беру, — раздался сзади азартный голос Савла.

— Давай, — обронил Георгий.

Чуть тронул рукавицей шею Дрягвы. Та, умница, поняла, взяла чуть правее, чтобы проскакать мимо загнанных беглецов — жеребца и человека.

Кривоустов выделил среди прочих беглеца под знаменем. Рядом с ним держалось трое всадников, один держал древко прапора, двое других, похоже, могли бы прибавить скок своим лошадям, однако сдерживали их, не желая бросать своего, судя по всему, атамана.

Беглецы коротко переговорили между собой — и группа разделилась. Более многочисленный отряд, к которому примкнул и знаменосец, принял чуть левее, устремился к видневшейся вдалеке деревеньке. А человек, которого наметил себе Кривоустов, в сопровождении пяти или шести всадников направился к зарослям кустарника, тянущимся вдоль, судя по всему, овражка. Было очевидно, что первая группа пытается увести преследователей от своего вожака, чтобы дать тому возможность скрыться.

— Врёшь, мерзота! — проговорил Георгий. — Достану, гад!..

И снова умница Дрягва правильно поняла едва заметное прикосновение руки хозяина, пошла намётом за второй группой. Кривоустов не оглядывался, знал, что следовавшие за ним всадники также разделились. Ну а в какой пропорции, неважно уже, не до того.

Двое из сопровождавших атамана вдруг поворотили лошадей назад, поскакали навстречу погоне. В руках видны пики… Они вышли из боя, потому

пистоли у них, скорее всего, разряжены… Ну а в бою холодным оружием они накатывавшимся дворянам и боевых холопам были не соперники.

— Иди за главарём, Юшка,— снова послышался сзади голос Савла.— Мы тут сами…

Понимал верный друг и оруженосец, понимал, как важно его барину нагнать этого ватажника-коновода. Брал на себя рыбку поплоше, а щуку великодушно уступал Георгию. Знал, шельмец, что возвышение его хозяина сулит блага и выгоды и ему тоже. А в том, что Кривоустов с таким врагом совладает, не сомневался.

И снова не оборачиваясь, Георгий направил Дрягву мимо устремившихся навстречу противников. Те чуть растерялись, один даже вроде как сделал движение, намереваясь подрезать ему путь. Однако увидел, что на него стремительно накатывается другой всадник, и повернул лошадь на нового противника. Георгий промчался мимо— сзади раздались вскрики и лязг металла.

Расстояние до беглецов постепенно сокращалось. И лучше была у Кривоустова лошадь, и посвежее она была, а главное—взаимопонимание с всадником полнейшее.

Между тем и кустарник, к которому стремились беглецы, приближался. Соваться в заросли после того, как в них скроются мятежники, явилось бы сродни самоубийству.

— Быстрее, милая!—тронул Георгий острожками бока верной кобылы.—Не подведи!..

Непривычная к такому жёсткому обращению, кобыла рванула, будто пыталась вырваться из стеснявшей её ход шкуры.

Ещё двое сопровождавших повернули назад, чтобы задержать настырного преследователя. Понимая, что на острие преследователей остался, скорее всего, он один, Кривоустов не стал испытывать судьбу: выхватил из ольстры пистоль, пальнул в направлении одного из обратившихся против него беглецов. Попасть даже не старался—на полном скаку это просто невозможно. Однако цели своей достиг: противник от выстрела шарахнулся в сторону, и без того шатавшаяся от усталости лошадь споткнулась, всадник едва усидел в седле—и поспешил выйти из боя.

Пистоль—прочь! Софта оказывается в правой руке. Георгий, легко крутнув ею над головой, запустил оружие в сторону врага. Опять же—попасть не обязательно, пусть только испугает!.. Однако навыки есть навыки—пущенная пусть и немного неверной от усталости, но натренированной рукой, софта наискось ударила лезвием о шею лошади. Рана вряд ли может быть глубокой. Однако густо брызнула кровь, лошадь от боли взвилась на дыбы, и всадник вылетел из седла наземь.

Хоть и скоротечна схватка, однако и она задерживает Кривоустова. Вон он уже—спасительный для беглецов кустарник!..

Не поспеть! Теперь уж точно никак не поспеть!..

Сзади гремит выстрел. Потом ещё. И ещё… Судя по всему, соратники Георгия тоже поняли, что за беглецами не угнаться. А пистоли у всех были заряжены, и заряды не израсходованы.

Стрелять из пистолей с лошади по скачущему на лошади человеку—дело малоэффективное. Однако чем больше выстрелов, тем больше вероятность того, что хоть один из них будет удачным.

И наконец чья-то пуля достигла-таки цели.

Лошадь под человеком, которого Георгий называл про себя атаманом, вдруг вскакнула, нелепо взбрыкнув ногами, и грохнулась на бок, перевернувшись через плечо, сворачивая крупную голову в сторону. Атаман во время прыжка не удержался в седле и отлетел в сторону, громко ударившись о землю.

Один из скакавших рядом с ним всадников глянул мельком на упавшего и, вонзив шпоры в бока взревевшей от боли лошади, устремился к совсем уже близким зарослям. Второй же поступил как подобает соратнику—круто остановил лошадь, хотел было броситься к упавшему… Однако увидев совсем близко преследователей, сник. Понял, что ни другу помочь не сможет, ни ускакать уже не успеет—потерял столь необходимые для этого мгновения.

— Лошадь запалишь, дурачина!—крикнул ему всё тот же Савл, вновь оказавшийся уже рядом.— Слазь, вражина!..

Беглец послушно сполз со своей лошади, покрытой жёлтыми лохмотьями пены, тяжело водившей боками. Савл ловко накинул ей на шею аркан, потащил в сторону, не позволяя сразу останавливаться.

Георгий, не обращая внимания на спешившегося, подъехал к упавшему беглецу. Тот был жив, только, судя по всему, здорово расшибся при падении. Он громко стонал, охал, с тоской глядя на подъехавшего. Судя по всему, он понимал, что ему рассчитывать на милость не приходится.

— Добегался, смерд?..

Лежавший на земле попытался презрительно сплюнуть. Однако густая слюна выдавилась сквозь губы, повисла неопрятной каплей на бороде.

— Ты кто таков?—спросил Георгий.

Тот не ответил.

Кривоустов оглянулся. Мельком обратил внимание, насколько невелико поле, по которому они проскакали. Погоня, казалось, длилась бесконечно долго, а теперь, глядя на близкий мысик леса, от которого она началась, ему стало ясно, что заняла она считанные минуты.

Взгляд упал на оказавшегося рядом боевого холопа одного из подчинённых. Савл был в стороне, выводил захваченную лошадь.

— Возьми этого,—кивнул он холопу на упавшего.—С собой поведём.

— А с этим что, Троежёнов?—спросил тот, показывая на второго настигнутого мятежника, который стоял, тяжело дыша и понуро ожидая своей участи.

(В отряде Георгия нередко называли Троежёновым, по прозванию отца.)

Кривоустов вспомнил, как скрылся в зарослях беглец, бросивший своих товарищей. Тот мерзавец будет жить, а этот мужик, пытавшийся помочь упавшему, станет пищей для ворон, раскачиваясь в петле… Где ж справедливость?..

— Пусть идёт!—махнул он рукой.—Не до него…

Боевой холоп равнодушно отвернулся. Отряд не потерял ни одного человека, потому и злости против уцелевшего врага не было.

Ещё не веря в своё счастье, беглец поднял голову, посмотрел на великодушного предводителя царёва войска. Георгий махнул ему рукой в сторону кустарника и отвернулся.

— Спасибо, барин,— услышал в спину.— Я тебе этого никогда не забуду…

— Иди уж!..

Подъехал Савл.

— Да стоит с этим полудохляком возиться?— обронил он, глядя, как холопы поднимают с земли человека, за которым шла погоня.— Всё равно повесят…— он ловко прокрутил на цепи шипастый шар басалыка-кистеня.— Приласкать разок по калгану…

— Сказано же: с собой!— оборвал Георгий. И добавил:— Что-то болтать много стал, Савл!..

…Со всех сторон к знамени воеводы собирались возвращавшиеся из погони дворяне. Все были весело возбуждены, громко делились впечатлениями. Потери царёво войско понесло незначительные, зато войско Хлопка было разгромлено вдребезги.

Десяток Кривоустова возвращался тоже в прекрасном настроении. Все целы-здоровы, сзади холопы вели трофейных лошадей, навьюченных захваченным оружием и другим имуществом.

В сторонке сбивали в кучу пленных. Тех, кого по каким-то причинам считали вожаками голутвенной рати, отделяли, держали обособленно. Неподалёку разматывали заранее припасённую верёвку— скоро окрестные деревья будут увешаны телами казнённых мятежников.

В столицу решили никого не тащить: разбойники— они и есть разбойники, на месте повесить, да и вся недолга!

Гражданская война, разгоравшаяся на русской земле, ещё не набрала силу, взаимное озлобление ещё не достигло тех масштабов, что махровым цветом расцветёт через пару-тройку лет. Так что из пленных кто-то мог рассчитывать на снисхождение. Да и дворяне иной раз обнаруживали среди них своих беглых холопов, могли и вернуть кого себе, избавив от виселицы.

Кривоустов приостановился возле пленных, кивнул Савлу:

— Сдай пленного!

Присмиревший после выволочки Савл спрыгнул с коня, начал с помощью другого холопа стаскивать раненого.

— Барин!— раздался крик из толпы пленных.— Послушай, барин, что скажу!

Стрельцы скрещёнными бердышами преградили путь мятежнику, который тянулся к Георгию. Лицо его было Кривоустову незнакомо.

— Чего тебе?— Георгий приостановился, демонстративно перехватив поудобнее плеть.

— Вели пропустить, барин!..

Стрельцы взглянули на Кривоустова, раздвинули бердыши. Пленный бухнулся перед Георгием на колени.

— Барин, пощади, ежели скажу, кого ты в полон взял!..

— А мне какая разница?— пожал плечами Кривоустов.

— Только пощади!..

— Ну ладно,— решил Георгий.— Ежели сочту, что весть стоящая— отпущу. Слово даю!

— Мерзавец!— донеслось из толпы.— Шкуру спасаешь!..

Не обращая внимания на эти крики, пленный мятежник схватил Георгия за руку, припал к ней губами.

— Не казни, барин!.. Ты самого Хлопка привёз. Атамана Косолапа!..

Георгий ногой отпихнул предателя. Повернулся к атаману, за которым гнался.

— Правду сказал смерд?

Тот не ответил, глядя исподлобья. В бороде белел подсохший потёк слюны.

По взгляду пленного Георгий понял: правду сказал изменник— это и есть Хлопок. Человек, который сумел сколотить из множества разрозненных разбойных шаек огромное войско, наводившее ужас на все окрестные городки и веси. Насильник, надругавшийся над его любезной Акулиной.

— К воеводе его волоки!— велел Савлу Георгий.

— А с этим что делать?— спросил наблюдавший за происходившим стрелец, указывая на татя, назвавшего Хлопка.

— Ты слово дал, барин!— преданно, по-собачьи, глядя на Кривоустова, напомнил поднявшийся с колен предатель.

Георгий мгновение раздумывал.

— Погоди!— остановил он Савла.— Оставь его,— указал на Хлопка, которого холопы вновь укладывали поперёк седла трофейной лошади.— Без тебя отвезут… Проводи эту сволочь,— указал он на предателя, когда Савл оказался рядом.— Проводишь до опушки леса, чтобы снова кто в плен его не взял, всыплешь плетей, да так, чтобы навечно запомнил, да и отпустишь. Понял?

— Чего ж не понять…— пожал плечами Савл.— Проводить, всыпать, отпустить…

Сам же был в недоумении. С чего бы это Юшка стал заботиться, чтобы этот бунтарь ещё раз кому в руки не попал?.. Попал бы— туда ему и дорога!..

— Вот и ладно,— со значением глядя в глаза холопу, сказал Кривоустов.— Я же ему слово дал, что отпущу, а так повесил бы мерзавца. Не за то, что бунтовал, а за то, что своих продаёт за жизнь свою поганую…

И отвернулся. Поспешил к месту сбора отрядов. За ним вели лошадь, на которой, словно куль, везли охающего мужчину.

А Савл всё понял. Он от души перетянул плетью по спине мятежника-предателя.

— Пошли!

Ничего не подозревая, тот обрадованно засеменил к лесу. Спасён, спасён— было написано на его заросшем бородищей грязном лице. Савл походя подхватил валявшуюся в пожухлой траве верёвку, зашагал следом, сматывая бечеву ровными кольцами. Глядя за манипуляциями провожатого, постоянно оглядывавшийся на него предатель забеспокоился.

— Зачем верёвка-то тебе?..

— Хворосту набрать,— ухмыльнулся Парамонов.
— Какого хворосту?..
Они вошли в лес.
— Стой!.. Молись, гнида!..
— Погоди-погоди, братец!..— мужичок рухнул на колени.— Мне ж твой барин слово дал…
— Барин давал, а я — нет… Молись!
Савл ловко захлестнул на верёвке петлю, продел в неё другой конец. Удавка была готова.
Мужичок попытался рвануть в кусты, однако Савл к этому был готов, ударом плети сшиб его с ног.
— Не уйдёшь от меня!— предупредил он.— Прими смерть как подобает. Может, хоть немного очистит она тебя от греха…
— Отпусти, Христа ради!..
— Не поминай имя Господа!— строго пресёк Савл.— Молись лучше!..
Он ожидал, что теперь мужичок начнёт плакать и молить о пощаде. И спешил покончить с ним поскорее, потому как понимал, что может разжалобиться на мольбы.
Однако всё произошло не так.
— Послушай, божий человек,— горячечно заговорил тот.— Я тебе клад свой отдам, зарытый… Только отпусти!..
Между тем Георгий подъехал к воеводе, сидевшему на лошади в окружении начальников меньшего ранга. И здесь царило оживление — все были уверены, что теперь-то с бунтарями покончено.
— Сам-то вожак татей как — убит или сбежал?— услышал Кривоустов сказанные кем-то слова.
— Вот он, тать!— громко произнёс Георгий.
Был бы на его месте Лавр! Уж он бы смог подать себя как подобает, так, чтобы его участие, его вклад в пленение вождя повстанцев у всех запечатлелся в памяти! Уж он бы смог извлечь из этого события максимальную выгоду, вплоть до денежной награды!..
Георгий же свой шанс попросту упустил. Его тотчас оттеснили от ценного трофея в сторону. И о том, что это именно благодаря ему, Георгию Кривоустову, Хлопок оказался в плену, уже через полчаса мало кто вспоминал.
…Хлопка и повесили первым. Хотели везти его в столицу, но потом рассудили, что могут не довезти — уж слишком сильно тот расшибся при падении с лошади. Да и какая разница, по большому счёту, где его казнить?.. Повесили и всех выявленных его подручных.
А потом начали вешать всех подряд. Буднично и размеренно, будто делали рутинную работу.
…Улучив момент, когда рядом никого не было, Савл рассказал Георгию, что отпустил мужичка-предателя за то, что тот отдал ему клад, который закопал накануне сражения. Холоп отдал горшочек с монетами своему барину. К тому времени он уже запустил руку в его содержимое. Георгий об этом догадался, но вида не подал.
Из первого своего боевого похода Георгий возвращался с солидным прибытком. Отправил в деревню брату Ивану трёх лошадей да узелок с серебряными монетами. Захваченное оружие Георгий оставил себе.

Сергей Герман

Вера

С войны обратных билетов нет

Железнодорожный вокзал маленького южного городка до отказа забит людьми. Начался бархатный сезон, первым признаком которого является отсутствие железнодорожных билетов.

На вокзале два зала ожидания: один — коммерческий, второй — общий.

В коммерческом коротают время и ждут поезда люди, стремящиеся к тёплому морю, ещё жаркому ласковому солнцу, дешёвым фруктам. Этих людей ожидают комфорт и покой. Вход в зал платный, и в нём нет надоевших попрошаек-цыган, беженцев из Чечни, бездомных бродяг, стремящихся переночевать, и солдат, возвращающихся с войны.

Здесь есть несколько телевизоров, чистый туалет с бумагой и полотенцами, буфетная стойка, за которой подают дежурных цыплят, мягкие булочки, пиво, кофе. Вход в этот оазис благополучия охраняет милиционер с резиновой дубинкой и короткоствольным автоматом. Рядом с ним сидит девушка-контролёр в новенькой железнодорожной форме и кокетливом беретике. Она принимает оплату за вход и строит милиционеру глазки.

В общем зале прямо на полу лежат солдаты-срочники, небритые контрактники, возвращающиеся домой. Билетов нет, солдаты по 3–4 дня не могут сесть на поезд. Они спят прямо на полу, подстелив под себя грязные бушлаты и подложив под головы вещевые мешки. Вырвавшись оттуда, где ещё вчера убивали они и пытались убить их, многие начинают пить тут же, на вокзале, кое-кто снимает проституток или просто потерянно бродит по улицам.

Милиция и офицеры не обращают на них никакого внимания. Офицеры держатся особняком, стараясь разъехаться по гостиницам или частным квартирам.

По залу ожидания ходит маленький нерусский мальчик. Он подходит к пассажирам и протягивает немытую ладошку. Лицо его чумазо, одежда требует стирки и ремонта.

Какая-то сердобольная старушка подходит к нему и протягивает домашний пирожок. Мальчишка берёт гостинец, вертит его в руках и суёт в мусорную урну. Ему нужны деньги. Сейчас в России появился особый бизнес: дети просят милостыню, потом отдают её взрослым. Если ребёнок не принесёт денег, он будет наказан.

Рыжий сержант-контрактник со шрамом на лице пнул ногой вещмешок и пошёл к железнодорожной кассе. Стеклянные окошечки прикрыты табличкой «Билетов нет», кассирша с широким мужеподобным лицом перекладывает купюры, не обращая никакого внимания на безропотных пассажиров. Сержант проталкивается сквозь очередь и стучит в мутное стекло:

— Девушка, мне очень нужен билет до Новосибирска.

Кассирша, не поднимая глаз, отвечает равнодушно-дежурной фразой:

— Билетов нет.

Сержант пробует сделать умоляющее лицо:

— Девушка, мне очень надо уехать, у меня мать при смерти, — и как последний аргумент: — Девушка, я с войны еду, ведь не застану мамашу.

Кассирша наконец поднимает голову:

— У нас правила одинаковые для всех, я вашей матери ничем помочь не могу.

Сержант ударил кулаком в плексигласовое окно, выхватил из кармана ручную гранату, оглянулся на замерших в ужасе людей. Сунул её обратно в карман, выдернул из ножен висящий на поясе нож, закатал левый рукав и ударил лезвием по вене. В стекло, прямо на кричащий что-то накрашенный рот, ударила струя крови. Громко закричала какая-то женщина; контрактник побелел, опустился на колени и тихонько завалился на пол, лицом вперёд. На крик прибежали два милиционера с автоматами, наклонившись к лежащему человеку, один из них принялся перетягивать руку жгутом, другой, ногой отбросив в сторону нож, быстро и привычно обыскал его карманы. Вытащив гранату, присвистнул и по рации стал связываться с дежурной частью.

В это время к лежащим на полу солдатам подошёл мальчик-попрошайка, привычно протянул за деньгами руку.

— Ты к кому подошёл, нерусская морда, чурка проклятый? У кого просишь деньги? Иди к своим ваххабитам, они тебе дадут, — заорал подошедший с бутылками вина белобрысый солдат. Мальчишка метнулся в сторону, присел на корточки. — Там кто-то из наших вены себе вскрыл, крови, как на бойне! Царство ему небесное, если не выживет.

Пока солдаты из горлышка пили вино, пассажиры стыдливо прятали в сторону глаза.

К лежащему в луже крови контрактнику в сопровождении толстого милиционера — дежурного по вокзалу — подошли два санитара с носилками.

Перевалили тело на носилки и безучастно побрели к машине.

Следующим утром об этом случае рассказали в программе «Время». Кто-то из пассажиров успел снять на видеокамеру чумазого ребёнка, просящего милостыню, солдат, спящих на грязном полу,

носилки с окровавленным контрактником, вокзальную уборщицу, вытирающую грязной тряпкой человеческую кровь. Через несколько часов после этого появились билеты. Мальчишки-солдаты, как маленькие, прыгали на мягких купейных полках, лизали мороженое и были похожи на детей, которых оставили без присмотра родители.

Современная Голгофа

В лето 2000 года от Рождества Христова по пыльной и каменистой дороге, ведущей к аулу Тенги-Чу, пятеро вооружённых всадников гнали троих пленников.

Беспощадное солнце заставило спрятаться всё живое, насекомые и твари укрылись под камнями и в расщелинах, ожидая наступления спасительной вечерней прохлады. В знойной и вязкой тишине раздавались лишь перестук копыт да лошадиный храп.

Рыжебородый Ахмет, натянув на нос широкую армейскую панаму и откинувшись в седле, негромко мурлыкал:

Со вина, со нага
Мастагиэгена
Хайконтосалма хате.

(Моя родимая мать,
Врагов разгромили,
И сын твой достоин тебя.)

Невольники, едва переставляя ватные ноги, тянулись за лошадьми, увлекаемые натянутой верёвкой, привязанной к седлу. В некотором отдалении от них неторопливый ослик, недовольно помахивая хвостом, тянул за собой повозку на резиновом ходу. Повозка прыгала, попадая на камни, и тогда раздавался глухой стук, будто кто-то бил по крышке гроба: бух-х, бух-х.

Повозкой управлял веснушчатый мальчик около двенадцати лет, в руках у него было одноствольное охотничье ружьё. Мальчик наводил его на пленников, потом звонко хохотал, щёлкая курком. Пленные измучены, их мальчишеские тонкие шеи торчат из воротников грязных рубашек, ноги разбиты в кровь. Солёный едкий пот стекает по щекам, разъедая подсохшую корочку ссадин и оставляя на серой от пыли и грязи коже кривые дорожки следов.

Из-за выступа горы показались крыши домов. Встрепенувшийся Ахмет остановил колонну; привстав на стременах, долго всматривался в сонные, безлюдные улицы. Раздувая ноздри тонкого хищного носа, вдыхал запах родного аула, дыма костров, парного молока, свежеиспечённого хлеба. В ауле взлаивали собаки, чуя запах чужих.

Ахмет что-то крикнул на своём гортанном языке. Двое всадников, спешившись, развязали пленникам руки. Трое солдат без сил опустились на дорогу, прямо в горячую серую пыль.

Из бездонной глубины Галактики Отец Создатель протянул свои руки к маленькой голубой планете, бережно ощупывая своё творение, разгоняя завесы зла и боли, клубящиеся над Землёй.

Из-за каменных заборов люди молча смотрели на громыхающую повозку, молчаливых всадников с оружием, пленных солдат, несущих на согнутых спинах огромный пятиметровый крест. Грубо оструганные сосновые перекладины припечатывают их тела к земле. Застывшие капельки смолы бусинками крови застывают на свежеструганном дереве. Кажется, что мёртвое дерево плачет по ещё живым людям. Старики, женщины и дети вышли из своих домов, молча пристраиваясь вслед за идущей процессией.

Солдаты-срочники и прапорщик неделю назад были взяты в плен под Урус-Мартаном, когда устанавливали крест на месте гибели своего замполита. На площади перед зданием бывшего сельсовета солдаты положили крест на землю, равнодушно стукаясь плечами, выкопали яму, укрепили крест в земле. Люди смотрели на происходящее со смешанным чувством страха и любопытства. Мальчишки кидали в солдат камни, старики, отделившись от толпы, опирались на свои палки, тыча в пленных заскорузлыми сухими пальцами.

На вид двум солдатам было не больше 18–20 лет, испуганные мальчишеские лица белели тетрадными листами в приближающихся сумерках. Прапорщик, чуть более старший по возрасту, безостановочно сглатывал вязкую липкую слюну, борясь с приступом смертельного страха. Безоблачное небо стало затягиваться серыми тучами, подул лёгкий ветерок.

Ахмет что-то крикнул, бородатые люди стали подгонять палками солдат, заставляя их работать быстрее. Приготовления были закончены. Мальчишек-срочников поставили по краям креста, прапорщика проволокой привязали к перекладине. Ахмет зачитывал длинный лист бумаги: «За творимые на чеченской территории преступления, убийства людей… изнасилования… грабежи… суд шариата… приговорил…»

Поднявшийся ветер относит в сторону его слова, треплет лист бумаги, забивает рот, мешая говорить.

«…приговорил, с учётом обстоятельств, смягчающих вину… молодость и раскаяние… солдат срочной службы Андрея Макарова и Сергея Звягинцева к ста ударам палками. Прапорщика… российской армии… за геноцид и уничтожение чеченского народа, разрушение мечетей и осквернение священной мусульманской земли и веры… к смертной казни…» Один из конвоиров, выполняющий обязанности палача, взобравшись на табуретку, несколькими короткими сильными ударами вбил в запястья рук толстые длинные гвозди. Ржавыми плоскогубцами перекусил проволоку. Повисший на гвоздях человек застонал и мучительно выдохнул: «Оте-е-ец».

Солдат тут же, на площади, разложили на земле. Длинные суковатые палки разорвали кожу, мгновенно превратив её в кровавые лохмотья. Человек на кресте хрипло и тяжело дышал, на светлых ресницах дрожала прозрачная слеза.

Люди расходились по домам, на площади лежали распластанные тела, жутко белел покосившийся крест. В соседних домах выли собаки. Человек на кресте был ещё жив, покрытое испариной тело

дышало, искусанные в кровь губы шептали и звали кого-то…

На безлюдной площади остался один Ахмет. Раскачиваясь с носков на пятки, он долго стоял перед хрипящим человеком, бессильно пытающимся поднять голову и что-то сказать.

Ахмет вытащил из-за пояса нож, привстав на цыпочки, сверху вниз разрезал его рубашку, усмехнулся, заметив на впалой мальчишеской груди белеющий алюминиевый крестик:

— Что же, солдат, тебя не спасает твоя вера? Где же твой бог?

— Мой Бог — Любовь, она вечна, — почерневшие губы едва шептали.

Оскалив крепкие жёлтые зубы, коротко размахнувшись, Ахмет ударил ножом. Небо разорвалось страшным грохотом, ударил гром, и темнота опустилась на землю. Капли дождя омывали мёртвые тела, смывая с них кровь и боль. Небо плакало, возвращая на землю слёзы матерей, оплакивающих своих детей.

Маленький светлоголовый мальчик, похожий на своего отца как две капли воды, держался за его руку:

— Папа, что такое Бог? — спросил он.

— Бог — это любовь, сынок. Если ты будешь верить в Господа и любить всё живое, тогда ты будешь жить вечно, потому что любовь не умирает.

Длинные ресницы дрогнули, мальчик спросил:

— Папа, это значит, что я никогда не умру?

Отец и сын шли по заваленной жёлтыми листьями аллее, вслушиваясь в колокольный перезвон. Жизнь продолжалась, как и две тысячи лет назад. Маленькая голубая планета двигалась по орбите, вновь повторяя и повторяя свой путь.

Вера

Несмотря на летний месяц, погода в последние дни совершенно не радовала. С самого утра небо заволокло серыми тучами, которые проливались на землю холодным, каким-то безрадостным дождём. Как нарочно, я забыл дома зонт и, промокнув до нитки, уже не спешил укрыться от холодных струй, а обречённо шагал по мостовой, равнодушно рассматривая стёкла витрин.

Настроение было под стать погоде. Несколько месяцев назад меня, подобно песчинке во время бури, подхватил ветер иммиграции и опустил в красивой, богатой, но страшно далёкой и чужой Германии. Внезапно навалились проблемы, о которых я и не подозревал: бытовые неурядицы, языковой барьер, вакуум общения. И самое страшное: я чувствовал себя лишним на этом празднике жизни. Не звонил телефон, мне не нужно было никуда спешить, никто меня не ждал и не искал со мною встреч.

Редкие прохожие бросали в мою сторону равнодушные взгляды и молча спешили по своим делам. Я был здесь чужим. На душе было горько. Обидно было осознавать свою ненужность в сорок лет.

Погружённый в свои безрадостные мысли, я совершенно ничего не замечал вокруг, а когда внезапно поднял глаза, меня будто что-то толкнуло в грудь. Показалось, что из-за стекла мне в лицо бьёт солнечный луч. Я подошёл ближе. Через стекло было видно небольшое помещение, заставленное мольбертами и холстами.

На стене, рядом с окном, висела уже законченная картина, которая и заставила меня остановиться. На ней была изображена какая-то ветхая сельская церквушка, отражающаяся в протекающей мимо речке. Из-за церковных куполов медленно выкатывалось солнце, озаряя землю, усыпанную увядающими листьями, каким-то неземным светом. Казалось, что вот ещё одно мгновение — и растают сумерки, прекратится дождь и на душе станет легче. Я прикрыл лицо рукой: неумолимая память уносила меня в недавнее прошлое.

…Зимой 2000 года российские войска вошли в Грозный. Штабисты учли опыт первой чеченской войны, когда за двое суток нового 1995 года были почти полностью уничтожены 131-я Майкопская бригада, 81-й Самарский мотострелковый полк и значительная часть 8-го Волгоградского корпуса, шедшего на помощь умирающим русским батальонам.

Подготовка к штурму мятежной чеченской столицы велась серьёзно и длилась несколько месяцев. Всё это время днём и ночью над сожжённым городом висела авиация федеральных сил. Ракеты и снаряды сделали своё дело — город практически перестал существовать. Все высотные здания были разрушены, деревянные постройки сожжены, и мёртвые дома молча смотрели на людей пустыми глазницами окон.

Вместе с тем под завалами продолжали жить люди. Это были жители Грозного, в основном — старики, женщины, дети, потерявшие за годы войны близких, жильё, имущество и не желающие покидать город, потому что в России они были никому не нужны.

Оборона города была поручена Шамилю Басаеву и его «абхазскому» батальону. Федеральные войска должны были окружить город и уничтожить всех боевиков, но Басаев перехитрил российских генералов и в последнюю ночь перед штурмом увёл часть своих боевиков в горы.

Другая часть под видом мирных жителей осела в городе и близлежащих сёлах.

В начале февраля разведка донесла, что «чехи» в преддверии очередной годовщины депортации 1944 года готовят к 23 февраля серию терактов. Внезапно в городе появилось много молодых мужчин.

Командование группировкой российских войск приказало усилить гарнизон Грозного сводными отрядами, состоящими из бойцов комендантских рот, ОМОНа и СОБРа. Так я оказался в Грозном. Мой контракт к тому времени уже подходил к концу, и я очень надеялся, что останусь жив и вернусь домой.

Несмотря на бодрые заверения политиков о том, что война в Чечне вот-вот закончится, в Грозном по-прежнему из-под завалов били снайперы, взрывались на фугасах люди и машины. Наша задача была проста: сопровождать колонны, охранять здания и учреждения. Если возникнет необходимость, принимать участие в зачистках.

В тот февральский день с утра светило солнце. Выпавший снежок слегка припорошил груды битого кирпича и куски ржавой жести, которыми была усыпана земля. Говорят, в прошлую войну местные жители этими кусками накрывали тела мёртвых солдат, чтобы их не пожрали крысы и собаки.

Свободные от службы бойцы вповалку спят на дощатых нарах. Старшина Игорь Перепелицын сидит у раскалённой буржуйки и чистит автомат. Игорь родился в Грозном, здесь служил в милиции, дослужился до офицера. Потом, когда русских в Чечне стали убивать, он уехал в Россию, но в «органах» места ему не нашлось. Тогда вместе с казаками Перепелицын уехал воевать в Югославию, потом — в Приднестровье. Ну а когда началась заваруха в Чечне, он был тут как тут. Его милицейское звание здесь не считается, и Игорь вместе с нами тянет солдатскую лямку. Он знает всё о Чечне и о чеченцах. Я спрашиваю его:

— Игорёк, а с Басаевым ты встречался?

— Ну-у, Шамиль — лошадка тёмная, учился в Москве, говорят, что даже Белый дом во время путча защищал. Знаю одно, что перед тем, как он появился в Абхазии, его батальон прошёл подготовку на учебной базе то ли КГБ, то ли ГРУ. Специально его для Чечни натаскивали, понимаешь?

Старшина клацает затвором, нажимает на курок.

— А вот Руслана Лобазанова, Лобзика, бывшего спортсмена, знал лично, в одной школе учились. Сильный был человек, волевой, хотя и отморозок конченый. Лучшего друга детства Ису Копейку по его приказу вместе с машиной сожгли. Тоже какие-то шашни с комитетом крутил. После того как его охранник застрелил, в кармане удостоверение комитетское нашли.

Игорь сплёвывает на пол.

— Поверь на слово, все они здесь повязаны одной верёвкой. Я воюю только потому, что остановиться не могу, война — это как наркотик, затягивает.

— Ну а когда эта заваруха закончится, что делать будешь?

— На Москву пойду. Соберу ребят отчаянных и на Кремль рвану. Вот тогда вся страна вздохнёт с облегчением.

Договорить нам не дали. Прибегает офицер-собровец, кричит:

— Хлопцы! Подъём! «Чехи» из гранатомёта рынок обстреляли.

Выезжаем на зачистку. Народ на рынке сразу же разбежался. На грязном снегу лежат несколько мёртвых солдат в окровавленных грязных бушлатах и несколько гражданских. Над ними уже воют женщины. Мы перекрываем БТРами улицы, ведущие к рынку, командует майор из СОБРа. Спускаемся в подвал, вместе с нами бойцы ОМОНа, Игорь Перепелицын страхует вход. В подвале живут люди — русские старики, дети. Они испуганной стайкой прижимаются к стене. На стоящей посередине подвала кровати остаётся сидеть девчонка лет 15–16, таращит испуганные глаза и прячет что-то под подушку. Омоновец наставляет на неё автомат:

— Тебе, красавица, что — особое приглашение нужно или ноги от страха отнялись?

Девчонка неожиданно с вызовом откидывает одеяло.

— Представь себе, отнялись!

Вместо ног у неё торчат обрубки. Какой-то старик кричит:

— Родимые, да мы же свои, который год здесь мыкаемся. Вера — вообще с прошлой войны сирота, да ещё и ноги бомбой оторвало.

Я подхожу и осторожно накрываю её ноги серым солдатским одеялом, достаю из-под подушки спрятанный пакет. Я — специалист по разминированию, но на фугас это не похоже. Оказалось — краски, обыкновенные акварельные краски. Девчонка смотрит исподлобья:

— Если захочешь забрать, я не отдам.

Омоновец по-крестьянски вздыхает:

— Господь с тобой, дочка. Мы ведь — тоже люди.

Вечером возвращаемся на базу. Нашли несколько снарядов. Этого добра здесь навалом. Задержали несколько мужчин-чеченцев. Одного из них Игорь знает. Что-то спрашивает по-чеченски. Тот не отвечает. Старшина поясняет:

— Это Ширвани Асхабов. Их шестеро братьев, все боевики. Трое от бомбёжек в городе погибли, остальные в горы ушли.

Задержанных доставили во временный райотдел милиции. Игорь что-то долго объяснял дежурному. На следующий день я выпросил у старшины два сухих пайка. За коробку конфет взял в санчасти бинты и лекарства. Пришёл во вчерашний подвал. Никто не удивился моему приходу. Люди занимались своими делами. Девочка рисовала, сидя на кровати. С белого листа на меня смотрела старенькая церковь, её отражение в осенней воде. Я задвинул вещмешок под кровать, присел на её край.

— Как дела, художник?

Девочка улыбнулась бескровными губами:

— Хорошо или почти хорошо. Вот только ноги болят. Представляешь, их уже нет, а они болят.

Мы сидели часа два. Девочка рисовала и рассказывала о себе. История самая обыкновенная и от этого кажется ещё страшней. Мать — чеченка, отец — немец, Рудольф Керн. До войны преподавали в Грозненском нефтяном институте, собирались уезжать в Россию, но не успели. Отец подрабатывал извозом и однажды вечером не вернулся домой. Кто-то позарился на его старенькие «Жигули». В то время в городе часто находили неопознанные трупы. Узнав о гибели отца, заболела мама. Не вставала с постели, и однажды, вернувшись домой, девочка не нашла ни квартиры, ни матери. Город почти каждый день бомбили российские самолёты, и вместо дома остались одни развалины.

А потом Вера наступила на забытую кем-то мину. Хорошо, что люди вовремя отнесли её в госпиталь, где оперировали боевиков. Мина — русская, а спасли жизнь — чеченцы.

Мы долго молчим. Я курю, потом спрашиваю, есть ли у неё какие-нибудь родственники в России. Она отвечает, что в Нальчике живёт брат её отца, но он, кажется, давно собирался уехать в Германию. Я прощаюсь и собираюсь уходить. Девочка протягивает мне рисунок и говорит:

—Я хочу написать такую картину, чтобы, глядя на неё, каждый человек поверил в себя, в то, что всё у него будет хорошо. Без веры человеку жить нельзя.

Девочка смотрит на меня своими большими глазами, и мне кажется, что она знает о жизни гораздо больше меня.

Я собирался навестить Веру на следующий день, но на войне ничего нельзя загадывать. Наш БТР подорвался на фугасе. Механик-водитель и стрелок погибли, а мы с Перепелицыным отделались контузией и несколькими осколками. Из будённовского госпиталя я позвонил корреспонденту НТВ Ольге Кирий и рассказал ей историю о девочке, потерявшей на войне ноги. Ольга согласилась помочь найти её родных и запустила эту историю в ближайший репортаж. Потом она прислала письмо, в котором сообщила, что Веру из Грозного увёз её дядя…

Я стою у тёмной витрины и пытаюсь рассмотреть подпись на картине. Вера?..

Как же ты мне сейчас нужна, *Вера!*

Владимир Зыков

Живая вода

Поздравляем нашего земляка, ветерана литературного труда, с юбилеем. Здоровья, душевных сил и осуществления самых смелых замыслов!

Редакция «ДиН»

Живая вода

Где бы ни жили люди:
В лесах, на горах ли—везде
Мы вечно, наверное, будем
Тянуться к живой воде.
Средь ивы и краснотала
Места выбирать для души:
Род малый—по рекам малым,
Побольше народ—по большим…
Когда ещё Руси не было
И были земли ничьи,
Вели с родниковой небыли
Нас тоненькие ручьи.
Мы шли по лесам дремучим,
Как водится, на авось,
Судьбы ожидая лучшей,—
И вышли на речку Рось.
Палило белое солнце,
Бродили турьи стада,
Сквозь лиственное оконце
Блеснула в глаза вода.
Пей, сколько можешь осилить,
Сколько захватишь в горсти.
От узенькой Роси Россия
Истоки стала вести.
Долгой была дорога
От Роси к Большой воде,
От Дона, Днепра и Волги
Навстречу своей судьбе,
До моря и океана,
До края материка…
Нет слаще и нет желанней
Водички из родника!

Спасибо, лес, за дар большой и малый,
За шум твоих деревьев величавых,
За листьев сень и за сухой валежник.
В твоей стране я ученик прилежный.
Учусь дышать свободно и спокойно.
Учусь ходить размашисто и вольно.
Учусь любить
Людей, поля и чащи.
В лесу моём—
И сам я настоящий!

Vale!

Vale!—пожелание здоровья.
Vale!—как прощанье, как привет.
Vale!—говорю тебе с любовью
Много зим и вёсен, много лет.
Vale!—это имя, это сказка,
Заклинанье, выдумка, мечта.
Vale!—летней радуги раскраска.
Vale!—бесконечная тоска.
Vale!—как гудок для парохода,
Взмах последний в море кораблю.
Vale!—это счастье и свобода.
Vale!—значит, я тебя люблю.

На посошок

Всё.
Готовлю заключение.
Жили-были.
Трын-трава.
Стихли,
Смолкли треволнения
И последние слова.
Крестный путь
Отмечен знаками.
Все мы будем тлен и прах…
Я умру,
А ты б поплакала
На моих похоронах.

Владимир Силкин

Звезда отца

Голоса

Светлой памяти всех
не вернувшихся с войны

Обливается сердце кровью—
Золотым-золоты леса.
По бескрайнему Подмосковью
Снова слышатся голоса.

—Говорят, скоро будет зябко,
Станут ночи ещё темней…
—А на взвод—сапоги да шапка,
Проживи целым взводом в ней…

—Что молчишь, старшина Емелин?
Что, не нравится мой вопрос?..
—Сколько мы ничего не ели?!.
—Что ж ты ужин-то не привёз?..

—Почтальона опять не видно…
А за почтой ушёл чуть свет…
—Понимаешь ты, что обидно—
Мне давно уже писем нет…

Может, дома чего неладно?
Всё случается, всё ж—война…
А так хочется, так-то надо
Знать, как дети и как жена…

—На, Петров, отхлебни из фляжки,
Потерпи, попадёшь домой…
—Ну куда ты, в одной фуражке,
Босиком побредёшь зимой?..

—Ты добудь сапоги и форму!..
—Ты дорогу расчисть домой!..
—Как ты мёртвый пойдёшь до дому?..
Ты ведь с нами, в земле, живой…

—Только вместе пробьёмся к свету,
Только вместе побьём врага…
—Я забыл, что такое лето…
—Я забыл, как идут снега…

—Лейтенант! Ну отправь за хлебом,
Я без хлеба уже устал…
—Эх, сейчас бы взглянуть на небо!..
—Может, бой идти перестал?..

—Всё возможно, и наши близко—
Откопают, терпи, сержант.
Мы с тобою под обелиском,
А другие в грязи лежат.

И найдут их, видать, нескоро,
А на днях обещают снег…
—И когда из Мясного бора
Смогут вытащить наших… всех?..

—Хватит! Спать, экономить силы!
Старшина, не пали дрова!..
—Лейтенант, ты скажи, Россия
Всё сражается? Всё жива?..

—Эх, Петров, ты не знаешь меры!
Слышал—пушки в Бородино?
Ты пойми, под землёй без веры
Я бы умер уже давно.

Мы ещё года два протянем,
Не забудет своих страна.
Мы, Петров, поживём, мы встанем!..
Не гаси свечу, старшина!

Дума о Хатыни

Я в Хатыни ни разу не был,
Но летит надо мной зола,
Детским плачем вонзаясь в небо,
Ударяясь в колокола.

Тишина, и почти несносно
Слышать мне в голубой ночи,
Как надрывно вздыхают сосны,
Как под ними земля кричит.

Может, это (подумать страшно)
Кулаками в земную твердь
Бьёт обугленный день вчерашний,
Не приемлющий тлен и смерть.

Лето. Сосны. Клекочет аист,
Над землёй распахнув крыла,
И всё кружится, не вживаясь
В мирный день, и летит зола.

На Орловско-Курском направлении

На Орловско-Курском направлении
Всё без изменения пока,
Пребывают в грустном настроении
Наши и немецкие войска.

Вгрызлись в буераки и пригорки,
Растворились в травы и стога.
Ждут команд «Вперёд!» «тридцатьчетвёрки»,
Чтоб свой гнев обрушить на врага.

На войне бывают тоже игры,
Тут уж кто кого перехитрит.
Скоро вспыхнут факелами «тигры»,
Кто-то будет ранен, кто убит.

На Орловско-Курском направлении
Встали две армады, два врага,
И звенит в преддверье наступления
Курская железная дуга.

Площадь Победы в Минске

Площадь Победы кругла, как земля,
Вечный огонь освещает прохожих.
Как в Александровском, возле Кремля,
Лица молчаньем торжественным схожи.

Вот в карауле застыл призывник.
Может быть, вспомнил погибшего деда.
Площадь Победы—не только родник,
Площадь Победы—не только Победа.

Если не тронет духовная ржа,
Не оттолкнёт униформа мальчишек—
Значит, у нас сохранила душа
Память о павших, расстрелянных с вышек.

Снова чеканит шаги ребятня,
Снова торжественны юные лица.
Площадь Победы глядит на меня,
Чтоб и в моей чистоте убедиться.

Площадь Победы проходит по мне
Неторопливым морозом по коже,
В вечном её негасимом огне
Видятся души случайных прохожих.

Седые мальчики

Я каждой клеткой рядом с теми,
Что с неба падать не хотят,
И через время, через время
Седые мальчики летят.

Им не избавиться от боя
Над затемнённою Москвой.
Сердцами мальчики, собою
Прикрыли вечный город свой.

А на земле, срывая глотки,
Кричат механики, кричат
И оглушившей сердце сводке
Никак поверить не хотят.

Но по ночам, когда простуда,
Когда аж лёгкие хрипят,
Седые мальчики, как чудо,
К ним, невозвратные, летят.

Живут механики, надеясь
Услышать близкий шум винта,
Всё вспоминают: «Кто я? где я?
И что вокруг за темнота?»

И никуда уже не деться,
Не отодвинуть тишину,
И день и ночь грохочет сердце,
Как будто мост через войну.

Просыпаюсь, а матери нет—
Опочила.
Над божницей таинственный свет
Не включила.

Просыпаюсь и долго молчу—
Так мне жутко.
—Где ты, мама?—безумно кричу.—
Это шутка!

Но глаза её в «красном углу»
Незаметно
Пробиваются жадно сквозь мглу
С того света.

И теперь мы лишь с нею вдвоём,
Но не дышим,
Мы, как ветер, стеная, встаём
Под-над крышей.

И под звёздами молча за нас
Наши души бранятся.
Сорок дней неземных, сорок раз
Мы не можем обняться.

Звезда отца

В небе звёздам нет конца,
Но далеко где-то
Светит мне звезда отца
И ведёт по свету.

Горяча иль холодна,
Знать того не знаю.
Много лет горит она,
Нас соединяя.

На её шагаю свет
В этот век жестокий,
Всё иду за батей вслед
В тот июнь далёкий.

А вокруг свистят шмели.
Или, может, пули?
Если б только мы могли,
То отцов вернули.

Чтоб услышать их сердца,
Чтоб наград коснуться…
Светит мне звезда отца,
Не даёт споткнуться.

Борис Скотневский
Последний вагон

И. П. Орлову

Не кричите, певица,
В ресторане ночном.
Я люблю находиться
На вокзале речном.

Никому не мешаю,
Ничего не хочу.
Сам себя утешаю,
Сам с собою шучу.

Головы не повесил —
Не пропал и не пан,
Я тихонечко весел
И немножечко пьян.

В беспредельной отчизне
Нет родимей угла,—
Всё — от смерти до жизни:
Света, грусти, тепла,

Встреч, прощений, прощаний,
Пароходных гудков,
И пустых обещаний,
И летящих шагов.

Я ещё пошатаюсь
По своей стороне.
Я ещё покачаюсь
На упругой волне.

Темнота. Темнотища!
Огонёчки вдали…
Красота. Красотища—
От звезды до земли.

Плеск. Мерцанье. Раздолье.
И глазам горячо —
Столько ветра и воли…
И чего-то ещё —

Что в словах не докажешь
Никогда, никому,
Лишь с душою увяжешь,
Улыбнувшись во тьму.

Будто главную тайну —
Тайну звёзд и могил,
Разгадал я случайно
И случайно забыл.

Будто память — навеки,
А любовь — на века.
И не тёмные реки,
А родная река.

Будто жизнь повторится,
Засмеётся навзрыд…
Что умолкла, певица?! —
Ресторанчик закрыт.

Анатолию Жигулину

1

На воду холодно смотреть —
Такая стылая, стальная,
Что даже звёздочка шальная
Её не может отогреть.

А только пуще холодит —
Почти до ощутимой дрожи,
И лист, окоченев, летит,
Летит. И нет его дороже.

2

Насквозь продуто пальтецо,
Но разве можно обижаться,
Что дождь целует мне лицо
И ветер лезет обниматься?

И так просторно на ветру,
И мелкий дождик равен чуду,
Как будто век я не умру
И всех любимых не забуду.

3

Летит,
        летит,
                летит листва,
Соединяя очень просто
И дух всесветного родства,
И боль всемирного сиротства.

Стою, гляжу. И ничего
Уже не рано и не поздно.
И листья сердца моего
Касаются легко и грозно.

Глинистый берег. Синеющий лес.
Всё — как и было вначале.
Знать, не бывает на свете чудес,
Кроме любви и печали.

Всё, что осталось,—
        любовь да печаль,
Нежность царапает горло.
Небо исчёркано словом «прощай»,—
Птица мелькнула—
                и стёрла.

Солнечный свет убывает уже,
И тишина прибывает.
Разве бывает так тихо душе?
Господи,
        разве бывает?

Последний вагон

Может, это удача, а может, закон —
Я всегда успеваю в последний вагон.

Я не мчался вдогон, впереди не бежал,
И последний вагон сам меня поджидал.

В том вагоне идёт не борьба, не гульба —
В том вагоне молчит, как икона, судьба.

Ни полслова не скажет — молчит и молчит, —
Так, что почва дрожит, так, что душу знобит…

Только промельк светил, только времени звон…
Так волшебно мотает последний вагон.

В. Коробову

Всё. Простились. И слова простые:
До свиданья. Свидимся. Пока…
В поезде, идущем по России,
Хорошо отлёживать бока.

Дребезжат стаканчики пустые,
Сквознячок гуляет над плечом.
В поезде, идущем по России,
Хорошо не думать ни о чём.

Проплывают тени золотые,
Впереди ещё неблизкий путь.
В поезде, идущем по России,
Хорошо забыться и заснуть…

Вдруг очнёшься! На какой стоянке?!
Темнота. Да кое-где огни.
На чужом продрогшем полустанке
Отчего родные мне
они?

Я, наверно, очень старый человек,
Я живу уже который раз подряд —
И, не помня век, я помню этот снег…
И, лица не помня, помню этот взгляд.

Я забыл про то, как прежде уходил, —
Умер сам,
или дубинкой по виску,
Или нож мне прямо в сердце угодил,
Или пуля улеглась в моём мозгу.
Я забыл — то был закат или разбег.
Я забыл — в перины рухнул
или в грязь…
Только помню, что я старый человек.
И боюсь, что я живу
в последний раз.

Без надежды и без коварства
Чую родину сквозь государство.
Слышу песни её и душу,
Вижу реки её и сушу.

Где ж вы, царства и секретарства?
Упоительное лекарство —
Без надежды и без коварства
Слушать родину сквозь государство.

Волга. Волны. Морозь. Осень.
Что-то ветер закрепчал.
Омик-328
Трётся боком о причал.

Как твои дрожали шлюпки
От расстроенных гитар —
Красны девицы! — Не шлюхи.
И не водка — «Солнцедар»!

Как ты шёл, гружёный чудом,
Светом, ревностью, тоской.
Как ты поспевал повсюду,
Мой озёрный, мой морской…

Это ж сколько? Это ж надо!..
Мы ещё прожили год,
Битый, латанный, помятый
Дизель мой электроход.

Снова Волга. Снова осень.
Вот уже и первый снег.
Омик-328,
Омик-гномик-человек.

Ни Коли, ни Серёжи.
Ни века. Ни страны,
Где были мы моложе.
И нет ничьей вины.

Москва! И май в разгаре.
А вот и мы втроём
В тенёчке на бульваре
Достойно водку пьём.

Без мата-перемата
И прочего дерьма.
И тема наша свята —
Поэзия сама.

Потом в троллейбус сели,
Добавили чуть-чуть.
Ваганьково. Есенин.
Стихи.
Бутылки.
Муть…

Ни Коли, ни Серёжи…
И я не виноват,
Что жизнь сложилась строже —
Не слишком наугад.

Но вновь, как дрожь по коже,
Вдруг память обожжёт —
Ни Коли, ни Серёжи
Уже четвёртый год.

Они своё сказали —
Как жили и смогли.
По ним свои печали
У матери-земли.

Копи на сердце тяжесть
И поминай, любя…
Никто за них не скажет.
Сказать бы за себя.

Снова осень, бескрайняя осень—
Свет прощальный и нежность насквозь.
Снова горькое многоголосье
Прозвенело и оборвалось.

И в душе обрывается что-то,
И такой в ней метёт листопад,
Что надежда,
любовь
и забота,
Словно листья, летят наугад.

Сколько грусти!—а нежности больше…
Сколько мути!—а видно до дна…
И чем вьётся верёвочка дольше,
Тем прочнее нас вяжет она

С этой жизнью, святой и продажной—
И единственной, Боже ты мой!
С этой Родиной, доброй и страшной,
Всепрощающей, подлой, родной.

Чудо, проще которого нет,—
Раствориться в счастливой тревоге…
Так горчит убывающий свет,
Так темнеет полынь вдоль дороги.

И такая прохлада в леске,
Так берёзы знобит и осинки,
Что судьба—на одном волоске,
А душа—на одной паутинке.

Потерялась счастливая нота,
И судьбу не сыграешь с листа.
Голос умер.
Немота. Немота.
Звук исчез.
Пустота. Пустота.

Только бьётся душа, вырастая
Из неясных мучительных снов,
Как высокое небо—пустая,
И немая—как песня без слов.

Родная тишина и гул родимый.
И ветер, никогда не бьющий мимо
Души. И запах поля и воды.
И нежность—от былинки до звезды.
И память, растворённая в просторе,—
Родное счастье не роднее горя…
И мальчик, превратившийся в меня,
Бредёт куда-то на излёте дня.

Памяти поэта

Погиб поэт!
Опять?! Опять…
И на устах его печать,
И мгла—его невеста.
С такой отъявленной тоской—
Между Уралом и Москвой
Ей не хватило места.

Взлетел он в рай?
А может, в ад
Сошёл,
шатаясь,
наугад
С петлёй или наганом.
Он словом к музыке привык,—
Что, русский, сделал ты, язык,
С еврейским мальчуганом!
Что сделала родная ширь,
Во весь Урал, во всю Сибирь
Продутая до свиста,—
Но разве ж виновата даль,
Когда душе мила печаль,
А счастье ненавистно?

И родилась такая боль,
Что не помог ни алкоголь,
Ни женщина, ни слава…
Течёт, течёт река Исеть;
А что такое жизнь и смерть,
Мы представляем слабо.

И здесь, у края бытия,
Мерцает лампочка твоя
В каких-то нежных ваттах.
А ты летишь сухим листом—
И виноватых нету в том,
Нет в мире виноватых.

Виновных в нашей боли нет,
И в этом может быть ответ
На всё,—мы дышим кровью.
Хоть прекословь, хоть сквернословь—
В боль превращается любовь,
Чтоб снова стать любовью.

Погиб поэт, что на Руси—
Не новость. Господи спаси!
Печаль не терпит крика…
Зато над каждою душой
Он нынче—дождик небольшой,
И тайна.
И музы́ка.

Вадим Осипов

Вот будет осень!

Вода

Циркуляция или вращение вод
замедляется там, где сгущение соков,
где трава упирается в призрачный свод
со следами каких-то особенных сроков.

А куда ей спешить, оживлённой воде,
если двигаться вверх равносильно признанью,
что начертанный свыше тяжёлый предел
недоступен для всякого роста и знанья?

Лучше молча терпеть напряжение сил
и под сумрачный дождь подворачивать спину,
поднимая собою асфальт и настил,
воплощая собою ожившую глину.

Воздух

Так быстро стирает пернатую трель
движение шумных воздушных течений,
и леса осеннего острую прель
уносит, как стебли подводных растений.

Стихию разрежет гребной караван,
влекомый вперёд колебаньем оркестра,
но зрительный зал заполняет туман,
не слышно ни звука с последнего места.

Но голос, мой голос—упрямый пловец,
упругим плечом проминающий небо,
он должен тебя покорить наконец,
смиряя любовью бурление гнева.

Босым ногам так близок и понятен
Язык травы и мокрого песка.
Паркетный пол прохладен и невнятен,
И что-то шепчет старая доска.

А пальцы рук легко читали тело
В прикосновеньях, нежных и простых,
И поняли, что ты меня хотела
До трепета, до страха высоты.

Весь мир вокруг воспринимая кожей,
Как холод капель и тепло спины,
Поймёшь и ты, что об одном и том же
Слова любви на языках иных.

Клей листьев молодых и влага поцелуя,
Мгновенное касание волос,
Привычных слов звучание минуя,
Расскажут, что желанное сбылось.

Я первым заморозкам рад,
Когда похрустывает слякоть
И неба ягодную мякоть
Глотаешь, словно виноград.

И нужно слепнуть, но смотреть,
Когда тропой одушевлённой
Идёшь, как в детстве, удивлённый,
А мир уже другой на треть.

Конечно, это просто круг,
Конечно, это—повторенье,
Астрономическое рвенье,
Орбиты, взявшей на испуг.

Но как же быть, когда листок,
Неповторимый до прожилок,
Не подлежит науке лживой—
И на душе такой восторг?!

Полюбил бы море безоглядно
За весенний цвет его живой
И за то, что шум его прохладный
Оседает пеной кружевной.

А ещё б любил за то, что следом
За перемещеньем в глубину
Мир нам открывается неведом,
Словно при полёте на Луну.

Но не морю предан я навеки,
А сосновым сказочным лесам,
Где на воздух набегают ветки,
Подражая тихим голосам.

Жизнь сама ложится на предплечье,
Чтоб со мною счастье разделить,
И сучок глядит по-человечьи,
И слезой зрачок его налит.

Я спал под яблоней цветущей,
В траве, и лёгкий ветерок
Перебирал земные кущи,
Качая лист и лепесток.

Лишь аромат меня тревожил.
Я счастлив был и невесом.
Дай Бог, чтоб смерть была похожа
На этот благодатный сон.

Я слышу, как снег рассуждает о чёрном и белом
И крышу лесную линует и мажет умело.
И если не снять мне сегодня мгновенного кадра,
То грянет назавтра инфаркт моего миокарда.

О, эти фотографы, эти смешные безумцы!
В засаде на дикое время азартно трясутся—
Секунду, обросшую мехом подробностей пышных,
Надеются грохнуть одной ослепительной вспышкой.

И вот остановлены круглые хлёсткие капли,
И видно, что даже движения губ уникальны,
И можно выкладывать сорванный миг на бумагу,
И снова без третьего глаза не делать и шага—

Услышать, как снег рассуждает о чёрном и белом,
И снять красоту обнажённого зимнего тела!

На небе бродит закваска сосен.
Вот будет брага, вот будет осень!

Да ты напьёшься же с непривычки—
И вдруг закуришь, ломая спички!

Сентябрь скажет, вздыхая тяжко:
—Не порти зелье, давай взатяжку!

Дымком завьётся лесная морось.
Теперь ты бросить уже не можешь.

И будешь с глупым, глубоким видом
Тянуть, сжигая дождём обиды.

Время мягкими стопами
Протоптало тропы тьмы
И оставило на память
Фотографии зимы.

Видишь—пусто и просторно.
Чистый мир теряет вес.
И метели не зазорно
Брать созвездия в замес,

Чтобы мять сухое тесто
И муку стирать с лица…
Вот и вечер лёг на место
Синим глянцем изразца.

Если в доме печь нагрета,
Как бы в окнах ни мело,
Смотришь—снег, а видишь—лето,
До того душе тепло!

Время осени пречистой,
отпускающей грехи,
тонкорукой, простолистой,
со стыдобушкой ольхи.

Нет приюта—и не надо,
соберёт горстями прель,
и небесная громада
покрывает ей постель.

И лежит среди простора,
обнимая Млечный Путь,—
и зима ещё не скоро,
и весна—когда-нибудь.

Я бы в шахматы играл
Просто, без затей,
Я бы на руки их брал—
Глянцевых детей.

Выносил бы их в поля
И, простору рад,
Им рассказывал: земля—
Правильный квадрат.

Строил город на песке,
Прыгал у стены,
Только чтобы на доске
Не было войны!

В июле выпал град,
Земля похолодела—
Космический разлад
Добрался и до тела.

Легко июль судить
За попущенье граду
И челюсти сводить,
Почувствовав прохладу.

А ты найди во льду
Живую землянику,
Глотая на ходу
То ягоду, то льдинку.

То сладость, то слеза—
И это не напрасно.
Июльская гроза—
Для счастья по контрасту!

Наталья Ищенко

Станция «Сирень»

Степь

От себя не уйдёшь.
Народная мудрость

Под колесом шуршит щебёнка,
Степь иссушил разгул ветров,
Лишь в синеве, у горизонта,
Белеют стаи облаков.

Вбираю восхищённым взором
Под солнцем блещущий ковыль,
Жары полдневной лёгкий морок,
Дороги шёлковую пыль.

Прими ж меня, степное братство,
Отринув призрачность оков,
Позволь на время затеряться
В волнах струящихся веков.

Вплети в таврийские просторы,
В сухой полыни горький дух,
В сверчков ночные разговоры,
В улыбчатость широких бухт.

Смуглянке вольной много ль надо?
Лишь звёзд скатившихся бадья,
Вечерних родников прохлада,
У стога бархат воронья—

Да смолкшая в душе тревога.
Не сожалея, не скорбя,
Пускай ведёт меня дорога
Всё дальше, дальше… от себя.

Счастье

Чем счастье можем мы измерить
и где в него открыта дверь—
мы жаждем знать, чтоб жить и верить
в мир без обманов и потерь.
И, ком обид глотая чёрствый,
спешим в цветущие поля,
чтобы, упав на полог пёстрый,
послушать, как гудит земля,
напев листвы и ветра трели,
звон пчёл над чашечкой цветка.
В небесной голубой купели
окинем взглядом облака.
Пусть нам споёт свои сонеты
полей взволнованный прибой,
сверкнёт лучами незаметный
глаз незабудки голубой.
И, тайну совершив причастья,
где всем прощение дано,
душой на миг коснувшись счастья,
воскликнем громко: «Вот оно!»

Безымянным героям

К юбилею Победы

В школах вальс выпускной не смолкал до восхода—
Только страшные дни были всем суждены.
Сколько их, молодых, двадцать третьего года,
Не вернулось домой со священной войны.

Из-за парты под пули шагнули парнишки,
Когда с родиной нашей случилась беда.
И страну сберегли не герои—мальчишки,
Что в полях полегли, не оставив следа.

Тот на мину ступил за речным перекатом,
Тот рванулся в атаку под огненный шквал—
И никто не искал, где погибли ребята,
Только весточки слали со словом «пропал».

Кто сочтёт их, истерзанных и обгоревших,
Утонувших и сброшенных в шахты живьём,
От смертельных ранений в оврагах истлевших,
В лагерях заморённых фашистским зверьём?

Но повержен был враг, и вернулись живые,
Вновь весёлые песни о мире звучат;
Лишь глядят в поднебесье цветы полевые,
Словно очи без вести пропавших солдат.

Тайная музыка

Рассвет струился в окна синий,
Тревожа снов ночной дурман,
И полз клоками по долине
Холодный утренний туман.

Ломоть луны светился скучно,
Свершив полночные труды,—
И вдруг мне стало как-то душно
Под взглядом пристальным звезды.

Я настежь окна распахнула,
Открыла запертую дверь—
И мысль неясная мелькнула,
Что не одна я здесь теперь.

Звезды ли было то мерцанье,
Движенье ль воздуха в тиши,
А может, тонкое касанье
Незримой, но родной души.

Иль это тайный знак фортуны
Мне ветер утренний принёс,
Чтоб задрожали сердца струны
Под пальцами далёких звёзд!

Поэма о русской земле

Пусть межи охраняет дозорный
И звонить перестала родня,
Но вросли глубоко мои корни
В эту землю — и держат меня.

Не отнимет мне память таможня,
И запретов не слушает жизнь.
По указке забыть невозможно
Землю ту где на свет родились.

Те края, где босыми бродили,
Сень лесов и степное жнивьё,
И откуда мы в жизнь уходили,
С головой погружаясь в неё.

Я не внемлю наветам продажным,
Где винят и своих, и чужих,
И ищу что-то близкое в каждом
Поколенье ушедших родных.

Лица в рамках спокойны и строги,
Сзади надпись знакомой рукой,
Будто видят мои все дороги
И надёжно хранят мой покой.

Взором их вижу сальские степи
И чумацкий накатанный шлях,
Предкавказские горные цепи
И сибирских просторов размах.

Вижу маму в шинели солдатской,
Жизни бранной познавшей урок,
Соль озёр на границе казахской
И кубанской станицы дымок.

И родами хранимую землю
Я вовеки забыть не смогу.
Сердца памяти с радостью внемлю
И, как душу свою, берегу!

Сирень

поезд Севастополь — Симферополь

Приятно ехать в скоростном вагоне,
Но мне милее местный «тихоход»,
Когда земля лежит как на ладони
И ясно виден каждый поворот.

Плывут леса, пригорки и селенья,
Поля, вокзалы, реки и мосты,
И хочется сказать: «Замри, мгновенье», —
В восторге от мелькнувшей красоты.

Вот встал состав у сельского перрона.
В окошко хлынул жаркий южный день,
И в сутолоке душного вагона
Динамик хрипнул: «Станция — „Сирень“».

Откуда вдруг название такое?
Привычней «Элеваторная» нам,
«Садовое», «Покровка», «Зерновое»
И даже непонятный — «Инкерман».

А тут — «Сирень»! Романтика пустая
Иль красоты необъяснимый миг,
Когда сирень вдруг в мае зацветает
И душу нежным запахом томит.

А может, возле станции в садочке
Сирени в каждом мае так цвели,
Что дали имя этой скромной точке
Такой красивой и родной земли.

Пропел гудок! Вагон качнулся зыбко,
Остался позади перронный гам;
Но долго ещё тёплая улыбка
Бродила по моим сухим губам…

Станислав Жуковский

Не обойди меня, любовь

Венок сонетов

1.

Я каждый день—в потоке бытия.
Летят года, как птицы в поднебесье.
В душе есть вера, а на сердце—песня.
Чего ещё хотел желать бы я?

Мне говорят, что в мире есть любовь.
Стихия эта—очень непростая,
Но от неё густеет в жилах кровь
И за спиною крылья вырастают.

Пусть я согнусь, пусть грянет седина,
Посеребрив виски мои до срока.
Молю любовь: не будь ко мне жестока,
Дай мне познать красу твою сполна!

Я небеса молю. И дни за днями—
Всё глубже в мудрость ухожу корнями.

2.

Всё глубже в мудрость ухожу корнями,
Кладя морщины густо на чело.
В моей душе—теперь сверкают грани,
В ней, как от солнца, сделалось светло.

Опять сентябрь отходит лодкой в море,
Явив собой предвестие зимы.
Растёт печаль. Мне верилось, что вскоре
С тобой навеки будем вместе мы.

Но облетел наш сад под шум прибоя,
И тянут к югу журавли во мгле…
И всё ж навек мы связаны с тобою
На этой грешной и святой земле.

Я не боюсь, что жизнь гудит ветрами,—
К судьбе привязан крепкими ремнями.

3.

К судьбе привязан крепкими ремнями,
Я начал дух природы понимать.
Я начал видеть, что она нам—мать
И не в чем ей виниться перед нами.

Мне жаль, коль ты грустишь сейчас одна,
Как будто в душу туча опустилась,
И, глядя в мир окрестный из окна,
Находишь там одну тоску и сырость.

О чём мечтать, когда пылает даль—
Та, что вчера была совсем зелёной?
О, эти боль и тайная печаль
В кругу горящих, точно свечи, клёнов!

Смолкает дня звенящая струя.
Путь озарений—вот стезя моя!

4.

Путь озарений—вот стезя моя,
И ты паришь над ним, словно богиня.
Я красоту твою—восславлю в гимне,
Суть моих снов от глаз чужих тая.

Цветут уста, как георгины, ярко.
О, как я ими бредил! Как мечтал
Твой поцелуй—дороже всех подарков—
Сорвать однажды, сладостен и ал.

Ты мою душу озарила светом,
Словно заря, что освещает степь.
Ради тебя я сделался поэтом—
Чтоб твои руки нежные воспеть.

Твоя улыбка и слеза твоя—
Меня выводят в мир из забытья.

5.

Меня выводят в мир из забытья
Твои глаза, что светят, ослепляя.
Померкли все далёкие края,
Когда увидел первый раз тебя я.

Всё длилось лишь мгновение одно,
Потом исчезло в тишине далёкой,
Где ветер птицей бьётся об окно,
Неся в груди воспоминаний клёкот.

И, словно обруч, давит мука грудь—
Ни отогнать её и ни ослабить.
Меж озарений мой проходит путь,
А мне плевать на все мечты о славе.

Меня ведут, сияя мне в тумане,
Твои глаза, как солнце в летней рани.

6.

Твои глаза, как солнце в летней рани,
Ещё не раз возьмут меня в полон.
Ещё не раз мне болью сердце ранит
Твой чистый смех, как звонниц перезвон.

Меня ты крепкой цепью приковала,
Дни без тебя проходят как в аду.
Минуты встреч я пью—и всё мне мало.
А я всё пью—на счастье ль? на беду?

Теряю быстро сердца равновесье,
Пытаюсь время встреч затормозить.
Но нет от этой жажды мне спасенья,
А каплями—пожар не погасить.

Ты, как икона, льёшь бальзам на раны,
Сияя мне из-за оконной рамы.

7.

Сияя мне из-за оконной рамы,
Огромный мир зовёт меня к себе,
Вселяя в душу планы и программы,
Что переменят всё в моей судьбе.

Нам ничего не возвратить из Леты,
Но у стихов есть собственный устав.
И без препятствий входишь ты в сонеты,
Как ветерок, страницы пролистав.

Я воспевать твой образ не устану
И на него не брошу даже тень.
Ты целью жизни, смыслом её стала,
Наполнив светом каждый новый день.

Твой смех звенит сквозь тяготы житья,
Чтобы любовь не проворонил я.

8.

Чтобы любовь не проворонил я,
Она меня всё время тихо дразнит.
Но только я — не мальчик для битья,
Я жду любви — огромной, будто праздник!

Я жду любви в сиянии зарниц,
В гудении стартующей ракеты,
В счастливом пенье белокрылых птиц
На водоёмах ласковой планеты.

Земля — наш дом. Люби её, как Бог,
Что сотворил её нам всем на радость.
Люби, когда льёт дождь на твой порог,
Когда зима шьёт белые наряды.

Летит к нам свет с неведомых планет.
И облетает с вишен белый цвет.

9.

И облетает с вишен белый цвет
Там, где играли в детстве мы в индейцев.
— Скажи, кукушка, сколько жить мне лет?
«Ку-ку!» — и смолкнет, сотворив злодейство.

А ты плетёшь ромашковый венок
И на меня шутливо примеряешь.
Я от смущенья ухожу в лесок,
А ты меня находишь и ругаешь.

Твоя коса — в цветочных лепестках,
Лучи листву просеивают косо.
Сидит рыбак на узеньких мостках,
Витает в далях эхо стоголосо.

Звенит пчела. Косу клепает дед.
И летним зноем дышит белый свет.

10.

И летним зноем дышит белый свет,
Что лебедой колышется несмятой.
— Люблю тебя! — ты шепчешь мне в ответ.
И остро пахнет хвоею и мятой.

Висит на небе стайка голубей,
Поют синицы, воздух песней полня.
Все наши мысли — неба голубей,
И нам ещё так далеко до полдня!

Нас манит вдаль наш необъятный край
И опьяняют новые дороги.
Ковром цветочным расстелился май
И стелет тропки новые под ноги.

С тех давних пор уже промчалась вечность.
А я иду, иду к тебе навстречу…

11.

А я иду, иду к тебе навстречу,
Как и в те дни далёкие, когда
Любовь и счастье не сумел сберечь я
И их умчала вешняя вода.

Как странно знать, что в череде обыденной,
Где зреет колос или льётся кровь,
Под суетой, заботами, обидами —
Живёт любовь. Ещё живёт любовь.

Жить без ошибок — плохо получается.
Знать, и они для опыта даны.
И всё, что с нами горького случается,
Кричит из сердца голосом вины.

Иду на зов любви и красоты —
Через года, ошибки и мосты.

12.

Через года, ошибки и мосты
Нам никогда не возвратиться в юность.
Лишь пеньем птиц, что льётся с высоты,
Ты в мою память вновь сейчас вернулась.

Я увидал красу твою в цветах,
Что пахли сладко, как твоё дыханье.
Она цвела на розовых кустах,
Она шептала в листьев трепетанье.

Всему на свете суждено в золе
Остаться стылой грудой на планете.
Нет людям счастья больше на земле,
Чем повстречать любовь свою на свете.

Но сколько б я ни вглядывался в вечер,
Я всё равно тебя уже не встречу…

13.
Я всё равно тебя уже не встречу,
И только эти строки о тебе
Слепым посланьем унесутся в Вечность,
Как череда почтовых голубей.

Ты моё сердце напоила верой—
Всесильною, целебной, как добро.
Её земною не измерить мерой,
Её бессильно описать перо.

Пускай беда стучится иль невзгоды—
Любовь живёт, даря мне чудеса.
Осенний ветер, скороход природы,
Моей любви наполнит паруса.

Я знаю: в юность—сожжены мосты.
Но в сердце вечно будешь—только ты.

14.
Но в сердце вечно будешь—только ты,
Ты—и мои стихопосланья к миру.
Я так хотел дарить бы всем цветы,
Чтоб они грели душу и квартиру.

Ещё шагать мне в гору и шагать,
Вбирая в сердце радости и боли.
Стихи писать, черновики сжигать
И замирать от счастья среди поля.

Пускай горит в душе моей костёр,
Пускай зовёт на подвиги отвага,
Пускай влечёт меня сквозь лет простор
Твоё лицо, дурманя, точно брага.

Ты отыщи меня, любовь моя.
Я каждый день—в потоке бытия.

15.
Я каждый день—в потоке бытия.
Всё глубже в мудрость ухожу корнями.
К судьбе привязан крепкими ремнями.
Путь озарений—вот стезя моя!

Меня выводят в мир из забытья
Твои глаза, как солнце в летней рани,
Сияя мне из-за оконной рамы,
Чтобы любовь не проворонил я.

И облетает с вишен белый цвет.
И летним зноем дышит белый свет.
А я иду, иду к тебе навстречу
Через года, ошибки и мосты.

Я всё равно тебя уже не встречу…
Но в сердце вечно будешь—только ты.

Перевёл с украинского
Николай Переяслов

Анатолий Саулов

Баллада о гусях

Коромысло впилось в белую ладонь.
Сходит женщина по склону за водой.
Белый гребень в её чёрных волосах.
Сходит, горбясь и старея на глазах…
Говорилось, говорилось меж людьми,
Что замужество её—не по любви,
Будто жизнь ей потому и тяжела,
Но она в ответ молчала и… жила.
Не пыталась в чём-то мужу возражать.
Щи варить или детей ему рожать,
Штопать робу ль загрубелую ему—
Терпеливо привыкала ко всему.
Муж не то чтобы и нежен, да не груб.
Раз уж выпал, так уж выпал, хоть не люб.
На кулак мотал он слёзы во хмелю:
—Слышь, дурёха, не отдам тебя… Люблю!
Говорили, где-то в городе живёт
Её самый, её давний, первый тот,
Да случилось, что дорожка не одна.
То ли он тут виноват, а то ль она?
А что было между ними—что гадать.
Словно льдины, тают медленно года…
Коромысло впилось в белую ладонь.
Сходит женщина по склону за водой.
Белый гребень в её чёрных волосах.
Сходит, горбясь и старея на глазах…
Воду черпает у берега, в реке.
Ставит вёдра и садится на песке.
Отчего же неожиданно, как взрыв,
Вдруг заплакала навзрыд, лицо закрыв?
Пересудам прокатиться по селу.
Ну а что она ответит—почему?
…Просто день был удивительный такой.
Просто гуси пролетели над рекой…

Василий Тресков

Несовместимость справедливостей

Жасмин Дина Михайловна

Утром после выходных Петра Масачухина душил понедельник. Людская пыль невидимым пылесосом затягивалась в подземную воронку метро и там эскалаторами загружалась в вагончики, разносилась по подземным шахтам, а затем выбрасывалась на поверхность. Частичкой этой людской пыли ощущал себя и Масачухин по понедельникам. А ведь только вчера, в воскресенье, на верхней полке сауны, разомлевший после третьей рюмки, он был великой личностью, знающей все тайны бытия и пружины политической власти. Когда ему все начальники нипочём, все отчёты—бумажный мусор, и лишь он сам себе господин.

Сейчас же его, затёртого в толпе, частичкой пыли несло по переходам и эскалаторам. Электронные секунды ненасытными пираньями пожирали мгновения его жизни. Об этом приходилось задумываться по понедельникам, глядя на электронное табло метро. И в этот самый момент критического несовершенства он на станции «Семёновская» лицом к лицу, в вагоне, почему-то регулярно сталкивался по понедельникам с худенькой маленькой женщиной в очках—расчётчицей бухгалтерии их офиса Диной Михайловной. В Москве, среди миллионов частичек людских молекул, встретиться с сослуживцем из одного офиса было равнозначно столкновению астероидов в космическом пространстве Вселенной. Порой договоришься с кем-то «пересечься» в метро, назначишь время, ориентиры—и не встретишься. Разойдёшься в толпе, спутаешь переходы, не состыкуешься на станции; а тут с непредсказуемой закономерностью видишь круглое удивлённое лицо в огромных очках.

—Здравствуйте, Пётр Иванович, вот мы и снова встретились,—услышал он намозолившую слух фразу.

—Здравствуйте,—буркнул Масачухин, всякий раз забывая её имя. И без неё тошно, а тут ещё она, в качестве нагрузки на психику, напрягает производственными темами.

Говорила в основном она, неся всякую ерунду про погоду, которая никуда не годилась, про вчерашнюю аварию на электростанции, про внезапную смерть артиста Викторова.

—Какие люди уходят, я ни одной пьесы с его участием в театре не пропустила,—тараторила она с придыханием, словно торопясь вытряхнуть из своей головы залежавшиеся за выходные мысли.—Жизнь, как лампадка с огоньком, может затухнуть от любого дуновения ветерка,—с неожиданной философской грустью выдавала афоризм.—Завтра пойду на панихиду,—она тяжело вздохнула.—Да, кстати, не забудьте декларацию о доходах предоставить за квартал. У вас в отделе все сдали, один вы у меня должник.

«Чтоб тебе»,—подумал Масачухин. Декларацию он намеренно не хотел сдавать, потому что получил гонорар прошлым месяцем в журнале «Служащий», и афишировать это не хотелось. Кроме того, недавно продал свой старый «жигуль» и теперь собирается купить подержанный «ауди», а потому уже три месяца регулярно ездит в метро. Об этом тоже не хочется распространяться. Вот как банный лист пристала, уже с утра настроение портит,—исподлобья посмотрел он на её круглые очки…

—А у меня цветок в пятницу расцвёл, что я на окошке в нашей бухгалтерии выращиваю в горшочке, вот только боюсь, как он за выходные бы не засох. Даже хотелось в воскресенье на работу приехать из-за этого, да сын гриппом заболел… Тоже одного не бросишь.

«Надо поменять маршрут, чтобы с этой не встречаться, какое мне дело до её цветков и гриппа…»—думал Масачухин. Но внешне он с благообразной улыбкой делал вид, что слушает её—о климатических аномалиях…

Когда они расстались у проходной офиса, он вздохнул с облегчением, словно избавился от тяжёлой ненужной ноши.

На службе всё проходило в штатном режиме: летучки, подсидки, истерики, аврал, бестолковщина… Неизбежно грызли его жизнь секунды-пираньи. И хотелось вырваться из этого замкнутого круга, но неизбежно попадал в метро. Спешил домой, чтобы отмыться от понедельника, от плевков в душу и от сажи производственной суеты…

Недели завертелись на вертеле времени, электронные секунды-пираньи укорачивали жизнь. И почему-то назойливо лезла в голову ненужная тревога: третий понедельник он не встречает Дину Михайловну. Не совпадали, но, может быть, к лучшему, никто его мозги не пудрил актёрами-ветеранами и цветками в горшочках…

Неожиданно он встретил Дину Михайловну в четверг, после третьего понедельника, непосредственно в офисе. Вернее, её портрет в траурной рамке—в коридоре на тумбочке, около гардероба, где традиционно время от времени вывешивали портреты скоропостижно умерших сотрудников госслужбы. Сначала он прошёл мимо, не узнав её, но, невольно обернувшись, увидел круглые очки на круглом удивлённом лице, и казалось, что вот-вот, она скажет: погода никуда не годится…

—Что с ней?—спросил он у завскладом Машеньки, которая развешивала вокруг портрета траурные ленточки и всегда всё знала.

— Ужас,— замахала она руками,— в пятницу ещё нам рассказывала, как огурцы солить, а в субботу сердечный приступ — и всё. Тромб оторвался. Никогда не болела — и вдруг…

— Погода сказывается,— буркнул Масачухин и пошёл в буфет за свежими пирожками к ужину. В буфете очень вкусно пекут пирожки.

На похороны он, конечно, не пошёл. Времени не было. Про похороны Машенька рассказала.

— С трудом профсоюзных денег хватило, чтобы похоронить. У неё сын — инвалид детства, нигде на работает. И больше никого нет. Сына в интернат определили. А она растаяла в этой жизни, как снежинка,— неожиданно сказала Машенька услышанную где-то в телевизоре фразу и всхлипнула.

Он невольно зашёл в финансово-плановый отдел. В бухгалтерии, где работала Дина Михайловна, на её месте появилась новая сотрудница — Алла. Длинноногая красавица с жёстким прищуром миндалевидных глаз. Она расчищала её стол и выбрасывала хлам в коридор. Среди бумажек, газет, прошлогодних отчётов валялся разбитый горшочек с растением и вырезки фотографий артистов из журналов. Масачухин, проходя мимо, остановился и уставился на вываленную землю из горшочка, как на пролитую кровь. Задыхающийся цветок напомнил ему выброшенную на асфальт живую рыбку из аквариума.

Он молча сгрёб содержимое в ладони и переложил всё это в целлофановый пакет из-под пирожков. По пути домой заехал в цветочный и купил большой, просторный фаянсовый горшок и два мешочка чернозёма. Дома он пересадил торжественно цветочек и поставил на подоконник в своей комнате…

К весне цветок всполыхнул белым пламенем ароматного цветенья… Пьянящее благоуханье освежало его затхлую комнату, доставшуюся ему после развода, и привносило свежесть… Цветок жасмин он назвал Диной Михайловной и аккуратно поливал по утрам…

По понедельникам он иногда ловил себя на мысли, что встретит сегодня Дину Михайловну во втором вагоне на станции «Семёновская». И в самом деле — перед глазами мелькали десятки плоских круглых лиц в очках, скрывающих за суетой свои внутренние проблемы. Дина Михайловна растворилась в бесконечном человеческом потоке метро, среди тысяч пылинок-судеб. Секундные табло исправно стирали из жизни эти пылинки.

В его холостяцкой комнатке-разведёнке с проспиртованной пылью удивительно благоухал жасмин. Масачухину время от времени навязчиво вспоминались слова, что «жизнь хрупка, как огонёк в лампадке, погаснет от любого ветерка»… Где он их слышал — не помнит, но цветок полюбил с не свойственной для него нежностью.

Сотканная из смога и гари

К обеду смог рассеялся, и стало легче дышать. Было так хорошо, словно на курорте в Ницце. Но к вечеру снова заволокло угарным дымом, будто на кухне сгорело мясо в духовке. Как бы это не усушило цвет лица и не испортило бы причёску. Впереди — мучительная ночь без кондиционера. Квартира раскалена от солнца, окна не откроешь — потому что с улицы воняет, как от раскалённой сковороды со сгоревшей котлетой без масла. Задраила все окна, как люки подводной лодки, и погружаюсь на дно ванны с холодной водой. Стало свежо и радостно, словно на берегах Карелии… Плескаюсь в воде, боясь замочить причёску, и думаю, в чём идти завтра на работу. В связи с тропической жарой надену длинное пёстрое платье, которое привезла из Барселоны, и ниточку жемчуга с Таиланда — мне этот комплект необычайно идёт. А если ещё надену длинные серьги, которые купила в Тунисе, и новую марлевую повязку лимонной расцветки, упаковку которых мне достал Николай! Ах, Николай, Николай, ему сейчас легко дышится без респиратора на Сейшелах. Сбежал из пекла вместе со своей женой. Ну и пусть на неё не надышится. А марлевая повязка в комплекте с ниткой и серёжками — мне очень идёт, не зря мужики в метро на меня глазеют, словно на витрину модной обуви… Да, что обуть? Туфли, в которых была сегодня, заменю на босоножки с глазурью… Вот только какой лак подобрать для ногтей рук и ног?..

Надоела ванна, подошла к окну — там пелена вредных примесей, которые портят цвет лица и морщинят кожу. Открыла фрамугу и сделала несколько затяжек, словно выкурила три сигареты. Не пошло. Закурила «лайм». Воздух стал чище. Занавесила окна белыми мокрыми простынями и включила телевизор. С экрана врачи советуют не дышать, не ходить, пить воду через пять минут, а на голову надевать мокрые носки, на ноги — прищепки для белья… Потом показали, как известный шоумен поселился вместе с утками на городском пруду и крякает по ночам… Мозги плавятся вместе с асфальтом… Прогноз погоды пообещал, что жара кончится к Новому году. Позвонила Даше — посоветоваться насчёт лака для ногтей… Дашка в слезах — поругалась с очередным бойфрендом. Только что приехала с ночного свидания, с пляжа в Серебряном бору. Пили шампанское, жарили шашлыки и купались в мутных тёплых водах Москвы-реки… А потом её Пашка-бойфренд поднырнул к встречной корове, с огромным бюстом без купальника, и уплыл с ней в неизвестном направлении. Дашка осталась одна, с недопитым шампанским и слипшимся шашлыком… Трагедия, перед которой бледнеют телесериалы последней декады… Пока всё обсудили — на часах уже половина третьего ночи… На улице смог, дома парилка, пью пиво «Туборг» из холодильника… И спохватилась. Самое главное забыла спросить у Дашки — какой лак для ногтей лучше в такую жару… Звоню ей… Она визжит от счастья: её бойфренд позвонил и приглашает срочно вернуться на пляж допивать недопитое шампанское. Она уже мчится по ночному задымлённому городу в такси. Про лак вновь забыла спросить. Весь остаток ночи промучилась в сомнениях и лишь к утру решилась на бордовый лак «Люкс».

К утру смог рассеялся. Но пока добралась до метро, снова всё окутало пеленой. В метро все

мужики глазеют на меня, как на футбольный матч Бразилия—Аргентина. Но я ещё интересней. Сотканная из смога и гари, я—неотразима в длинном пёстром платье и с жемчугом на шее, с марлевой повязкой в комплекте с серьгами и босоножками с глазурью, на фоне ярко сверкающего педикюра…

Впереди хорошие перспективы—на работе в офисе меня ждут кондиционер и холодная вода в кулере, словно оазис на египетском курорте. Увидел бы меня сейчас Николай—променял бы вмиг Сейшелы на станцию метро «Тверская»… И в самом деле зазвонил мобильник. Это был Николай…

Несовместимость справедливостей

У каждого из нас своя справедливость. И что бы ни говорили философы, авторы всяких учений, каждый справедливость понимает по-своему. Справедливо—это тогда, когда ему хорошо и лучше, чем соседу. И если раньше, во времена всеобщего социализма, «справедливости» пытались строить ровными рядами, как солдат в строю, под барабанный бой общей на всех госсправедливости, то сейчас нерегулируемые справедливости были брошены на самотёк рыночной экономики.

Огромный мегаполис страдал от стихийного хаоса несправедливостей, как от нашествия автомобилей. Ситуация складывалась, как на коммунальной кухне, где каждая хозяйка была по-своему права. И потому криминальная сводка города кишела происшествиями. Самостийными справедливостями были заблокированы улицы и дороги, как транспортными пробками в час пик на Садовом кольце, где не работал светофор и каждый видел только собственный зелёный свет. В автомобильчиках разной формы ютилась своя справедливость: от «форда» до «москвича».

Справедливость Гены Заболдуева расплёскивалась комфортом, симфонической музыкой по салону автомобиля «бентли», который он приобрёл несколько недель назад за счёт своего здоровья, наглости и смекалки, присвоив бюджетные деньги, предназначенные для строительства дороги в областном центре. Там Гена в своё время работал в банке. А теперь он возглавлял столичный банк, который прокручивал бюджетные деньги. Он очень грамотно их прокручивал, выжав из них излишки, как из сыра воду. «Излишки» отправил в оффшоры, а всё остальное—по назначению, не вызывая особого подозрения. Его деньги работали на скупке недвижимости в Греции и продаже разведённого бензина в Подмосковье. Всё было справедливо, с его точки зрения. Поэтому у него дорогая машина и шикарный пентхаус на Рублёвке. Всё это досталось ему ценой двух инфарктов и отсутствия эрекции по ночам. В результате ни дорогих коньяков пить не может, ни красивых баб использовать по назначению. А их, как назло, в его офисах кишмя кишит, как птичек около кормушки. И все не прочь с ним заняться любовью. Но его любовный инструмент, как ружьё без пороха, висит и не стреляет. Всех девчонок сокращать придётся, и менять их на компьютерную сеть с роботами, это для него дешевле, а значит, справедливее.

Вырвался из пробки и помчался к ночному клубу, на Солянку. Там у него была назначена встреча с представителем Госдумы, который обещал ему продать мандат депутата в партийном списке. И это справедливо, пора уже политический вес зарабатывать, не век же ему от прокуратуры и налоговых инспекторов прятаться. Да и стриптизёрша из этого клуба приглянулась, она умела как-то возбуждать притухшие желания, садясь ему на колени и вытаскивая зубами из его портмоне баксы.

Едва он вышел из кабины, как сзади обрушился тяжёлый удар по затылку. У Заболдуева потемнело в глазах, но он быстро собрался в пружину и, выхватив из бокового кармана травматический пистолет, резко обернувшись, увидел искажённое злостью скуластое лицо с небритой чёрной щетиной. Безжалостные бесцветные глаза, как лезвие тесака, врезались в его сердце. Выстрелить он не успел, нападающий ударил его ещё раз в висок свинцовой рукояткой ножа. Больше Геннадий ничего не помнил.

Аубекир отбросил тело ногой, как мешок с опилками, и запрыгнул за руль заветного «бентли», как когда-то его прадед—на тонконогого чужого жеребца, угнанного из табуна с горных пастбищ, и помчался по извилистым московским переулкам. Он дождался, благодаря Аллаху, своей справедливости. Он пас этот «бентли» уже вторую неделю, следуя за ним по пятам на не приметной «шестёрке» с тонированными стёклами и заляпанным грязью подмосковным номером. И вот подстерёг его у ночного клуба «Орфей-икс». Не хотел он бить этого пузыря, но тот сам напросился: зачем он хотел изломать его справедливость? Ведь за угон этой машины ему обещали деньги, много денег, чтобы он смог построить дом в селении Верхний Алтуд, потому что его Мадина должна скоро родить ему сына-джигита, и он ей за это сделает подарок—двухэтажный кирпичный дом, с цинковой крышей, газовым отоплением и высоким железным забором. Как у соседа Ахмеда, который людьми торгует. Аубекир людьми не торгует, он торгует модными машинами. Рискует жизнью, разгадывает коды сигнализации, как кибернетик какой-то, а пузыри не обеднеют, им одним «бентли» больше или меньше…

Он выскочил окольными путями на кольцевую и погнал в деревню, за сто первый. Обогнул встречный пост ГАИ, готовый взметнуться ракетой от погони. Но, видимо, ещё тревоги не поступило… Там, в Виденеево, на перекрёстке его должен ждать Ибрагим, чтобы спрятать «бентли», а потом перегнать на Кавказ. Он даст ему денег, много денег, которых хватит, чтобы рассчитаться с долгами и построить дом в Верхнем Алтуде.

Справедливости смешались и топтались на пятачке, в центре Москвы. Им было тесно, как автомобилям в пробке.

Ибрагим был доволен, хвалил Аубекира, но денег не дал. Сказал приехать за деньгами завтра в кафе «Чинар», неподалёку от Ногинска.

—Заказчик не обналичил их ещё в евро. Всё будет справедливо,—говорил хитрый Ибрагим, щедро угощая его анашой и водкой…

У каждого своя справедливость. Ибрагим обещал ему новые заказы, которые будут щедро оплачены—так, что на три дома хватит.

Аубекир приехал в «Чинар» на час раньше и нетерпеливо ждал у входа, сидя в кабине заляпанных «Жигулей», угнанных недавно у пенсионера-алкоголика в Балашихе. Ровно в 11 он сел за столик у окна и заказал, как договорились, две порции шашлыка и графин коньяка «Дербент». Но никто не пришёл. Ни в одиннадцать, ни в двенадцать. Шашлык остыл, коньяк выдохся. Мобильник Ибрагима почему-то не работал. Противный бабий голос, словно издеваясь, твердил ему, что абонент недоступен. Наконец он понял, что его кинули. Несправедливо и подло, как лоха на вокзале. Задыхаясь от ярости, одним глотком выпил коньяк из графина и, не закусив, вышел из кафе. Плохо они знали Аубекира, своих обидчиков он достанет из-под земли и перережет горло, как баранам. Он подошёл к свой «шестёрке», дёрнул дверь. Больше ничего не помнил. Оглушительный взрыв подбросил и швырнул его на землю.

Очнулся от боли в животе. Сжал зубы и простонал. Над головой—белый потолок, и лицо в белой маске. «Неужели в раю, у Аллаха?»—подумал Аубекир; наконец-то закончил он свой земной путь, тяжёлый и не очень для него радостный…

— Жить будешь, вытащили из тебя болты и шурупы, как дробь из утки,—услышал он голос…

Он учуял запах спирта, йода, эфиров и понял, что в больнице… Этот запах больничный он помнит ещё с детства, когда с дядей Мухтаром участвовал в захвате роддома в Будённовске. Те же белые потолки, запах карболки и белые лица испуганных русских женщин… Теперь эти русские спасают ему жизнь.

В больнице он быстро шёл на поправку. Заботливые русские женщины-санитарки подкармливали его из ложечки, делали ему уколы, а врач-ангел шутил и показывал ему болты, которые он вытащил из его внутренностей. По болтам он понял, кто взорвал его: это сын соседа, Махмуд, известный на всю Чечню мастер по изготовке шайтанских пакетов…

— Махмуд больше не жилец,—доверительно сказал Аубекир доктору-бородачу.

Едва ему стало лучше, он сбежал как был—в больничных штанах. На стоянке около ворот больницы, вышвырнул из кабины «ауди» водителя, который, видимо, приехал проведать родственников. Он домчался до ближайшего стоянки. Там пересел из «ауди» в припаркованный «ГАЗ-24», который умел заводить без ключей… Он гнал машину в Москву; в этом городе, сплетённом из несправедливостей, он хотел вырвать свою справедливость—перерезать горло Ибрагиму или Махмуду…

Антисексуалы

Ховсюков вместе с группой заговорщиков украдкой занимался нравственностью. В подвалах и подворотнях, заброшенных сараях, прячась от посторонних глаз, они увлекались групповым чтением стихов классиков Серебряного века и хоровым пением духовных ораторий… Ховсюков стойко соблюдал порядочность и был патологически предан девушке Пелагее, как хронический наркоман марихуане.

Он самоотверженно нарушал телевизионные заповеди жизни: не пил, не дрался, не занимался сексом с уличными девушками и не грабил банки. Не был героем экрана. Ховсюков находился в подполье. Тайная жизнь его соратников была лишена секса и мата, они говорили в тишине, озираясь по сторонам, крамольные слова «спасибо» и «пожалуйста».

Но чтобы не вызывать подозрение у окружающих, в повседневной жизни антисексуал-интеллектуал Ховсюков маскировался под «крутого». Чтобы его не обличили в нравственности—в кармане вместо носового платка носил презерватив, вместо расчёски—пистолет «осу» и бренчал ключами от «тачки за углом». Ругался матом через два слова и грозился замочить любого. Крутил свой бизнес с нефтяными акциями и «палёным бензином». И все его принимали за представителя среднего класса, персонажа из телесериалов. Ни тачки, ни акций, ни палёного бизнеса—у него не было. Он робко, но честно существовал в муниципальном архиве, хранил никому не нужные справки и постановления разных времён. Прячась от посторонних глаз, в библиотеке встречался с Пелагеей, замаскированной под шлюху. Там, в тиши, среди пыли и книг, они постигали любовь из классической поэзии. Когда же выходили из подполья, то оформляли свои отношения показной сексухой. Чтобы никто ничего не подумал крамольного, они взасос прилюдно целовались в вагоне метро, при этом Пелагея нараспашку открывала бёдра с татуировкой.

Но приехав в квартирку на Таганке, запирались, зажигали свечи и читали стихи, нежно глядя друг на друга…Однажды под утро он решился ей сделать предложение, и она его официально поцеловала, почти как законная невеста. Но об этом никто не знал. Все соседи думали, что они живут крутым извращённым сексом, с групповухой, как гражданские муж и жена, не отличаясь от дворовых собак Бобика и Стрелки, чердачной кошки Мурки и кота Боровика, обитающих в подворотне.

Свадьба у них прошла тихо, с целомудренным венчанием. Без пьянства и дебоширства. Тщательно скрытая от бдительных телекамер.

Народная электроника

В России все достижения электроники явно не совмещаются с народным менталитетом. Наш менталитет предпочитает чувствительно-нервным диодам, триодам, чипам и всяким мигающим реле что-нибудь посолиднее, вроде чугунной кувалды и топора.

Кто придумал ставить турникеты на пути пассажира из калужской электрички на Киевском вокзале? Сколько светлых голов трудилось над их конструкцией, чтобы стрелки «зелёная» на вход и «красная» на выход срабатывали в нужное время? Это какие мыслительные напряжения надо было пережить, дабы додуматься до того, чтобы запрограммировать турникет на штрих-код?! Чтобы

для его прохождения надо было всунуть в определённое место магнитную карту, штрих-кодом вперёд, а не назад? Но все эти мудрствования не для российского человека. Его никакая электроника не остановит. Что такое турникет со сложной программой электронной избирательности, когда наши доблестные юноши призывного возраста через турникет, как через брусья, отжавшись, перепрыгивают одним махом с присвистом и гиканьем! Древние старушки перед достижением электронного контроля кланяются в три пояса и переползают под ним, несмотря на боли в спине и радикулит. За ними следуют томные красавицы, нежные и молочно спелые, как сырки глазированные, приняв сексуальную позу, выгнув спину, они грациозно проникают под турникет, кокетливо задевая его задом.…

Мигает электроника и всё ждёт, не дождётся дураков, которые ей карту сунут под зелёный глаз. И дождалась, что ей в этот глаз мощным кулаком врезал тракторист Жора с перепоя и засунул в аппарат гвоздь между электронным чипом и интегральной схемой. Мигнул чудо-аппарат и сдох, распахнув свои щупальца, открыв проход для всех желающих. После чего сразу же стал «своим в доску», родным, как сторож водочного склада в сельпо, который вместо водки за понюшку табаку собственный самогон в стакан наливает.

Не мигает больше электроника, а в щель для пин-карты окурок сплюнутый вдавлен. Иди и радуйся, и никакой тебе турникет не помеха. Ни в трамвае, ни в троллейбусе, ни в метро. Перепрыгнем, проползём, сломаем. Но за проезд как не платили, так и не будем платить, потому что с детства приучены жить на халяву, свободно, за счёт государства, и все барьеры и налоги ломать кувалдой. Электронику такую признаём, от которой кувалда трескается.

Доверенность

То, что в наше время доверять своему ближнему очень рискованно,—хорошо известно. Посмотришь по телевизору, почитаешь в газетах—жулик на жулике, каждый норовит обмануть ближнего. То фальшивые доллары в пункте обмена подсунут, то несуществующий дом продадут, а то и вовсе в тёмном переулке ограбят. А ведь не тигры саблезубые какие—вроде люди по паспорту. Ходят по улицам, улыбаются, шкуры друг с друга не срывают, даже места в метро старикам уступают, причём бесплатно. Да таким приятным созданиям так и хочется доверить свой кошелёк на хранение или ключи от квартиры дать, чтобы те смогли отдохнуть там, чаю попить. Но почему-то такие же вертикально ходящие создания недавно его дачу обокрали, взломав железную дверь с тремя замками, и вытащили из неё всё, от примуса до электробритвы «Харьков», которую сам хотел недавно выбросить—до сих пор уразуметь не может, что это дело рук человеческих. Но при этом убедился, что нельзя доверять первому встречному. Кроме самого себя. Хотя и себе доцент Ховсюков не всегда доверял. Несмотря на то, что, с точки зрения юридической, «правовым нигилизмом» не страдал. Не воровал у соседей, долги возвращал и даже на электрички билет покупал. И при таком раскладе жизни случилось Ховсюкову получить извещение на посылку от тёщи, которую та послала на имя его жены Клавдии. Клавдия в это время на юге в санатории отдыхала и попросила его по телефону получить посылку от её имени.

— Скажешь, что ты мой муж, и паспорт свой покажешь со штемпелем регистрации брака, там Тоня работает, наш почтальон, я с ней чай всегда пью,—сказала она ему по телефону,—проблем не будет…

С таким чувством собственного доверия к себе и окружающему миру пошёл Ховсюков на почту за посылкой. Но там его вместо Тони, которая ушла в отпуск, встретила суровая женщина-оператор неоднократно, видимо, обманутая мужьями-пьяницами. Она никому не доверяла. Тем более—Ховсюкову, который оказался очень похожим на одного из них, и потому разговаривала с ним, как с обманщиком и плутом, попытавшимся её снова обмануть.

— Никаких посылок мы так не выдаём. Нужна письменная доверенность вашей жены. Знаем мы вас, мужиков, небось с женой уже не живёте, а посылку пропьёте с друзьями и полюбовницами.

Напрасно он тыкал пальцем в паспортный штемпель о регистрации брака. Оператор была непреклонна и требовала письменную доверенность.

Пришлось просить жену прислать факсом с юга доверенность. Клавдия, поворчав, что портит он ей отдых своей волокитой, прислала через неделю бумажку о доверии. И он, вдохновлённый, побежал на почту.

— Вы что мне принесли,—строго сказала обманутая людьми и жизнью приёмщица,—клочок бумаги? Нужен подлинник—и заверенный нотариусом.

За подлинником пришлось ехать в Понизовку на юг к жене. Всю ночь они сочиняли доверенность, и он повёз её в поездах и автобусах на вытянутых руках, как свадебный букет, чтобы не помять и не испачкать.

Пошёл заверять по нотариусам. В одной конторе—очередь на целый день, в другой—коммерческие цены, доверенность дороже посылки обойдётся, а в третьей его встретила дама в бриллиантах и говорит, что при этом акте должна присутствовать сама жена.

— Откуда я знаю, что она вам доверяет; может быть, вы сами от её имени написали, а потом пропьёте посылку с друзьями и полюбовницами, знаю я вас, мужиков…

Он поморщился, вспоминая, где он уже это слышал, но не вспомнил и пошёл искать другие конторы, где к мужикам ещё доверие не иссякло. Нашёл наконец-то в ДЕЗе бухгалтера, которая согласилась заверить подпись, но в приёмные дни. А приёмный день у неё был среда, ровно через неделю…Через неделю он проехал заверить доверенность, но секретаря, у которой все печати, не оказалось на месте, она уехала в банк. Он прождал под закрытой дверью целый день, был тринадцатым в очереди, в которой накопилось за сотню граждан, нуждающихся в доверии. Когда

ему подписали, то был безмерно счастлив, словно выиграл машину в «Поле чудес». Не веря глазам, побежал на почту. Там уже сидела другой оператор, молодая и светлоглазая, она ещё верила людям без доверенностей и побежала искать посылку. Через полчаса вернулась и сообщила, что посылки нет, отправили назад к тёще.

— Что же вы так долго не приходили?— пожурила она.

Он начал было рассказывать сагу о доверенности, но осёкся на начальном этапе повествования. Стало плохо с сердцем, но в ближайшую клинику его не приняли, у него не было страхового свидетельства, а без этого никого доверия как к больному.

Привезли его обратно к светлоглазому оператору: мол, вы вызывали, ваша посылка, вот и принимайте обратно.

Девушка взяла Ховсюкова и отвезла домой, там его отпаивала мёдом и липовым чаем. Говорят, он так там и живёт — без доверенности и росписи в паспорте. Доверенная же ему жена Клавдия подала в суд на почту, требуя вернуть мужа. Но пока никакая нотариальная контора не может ей оформить доверенность на этот случай.

Арифметика гнилых персиков

Летний зной в Москве переносится тяжело и болезненно. От солнца плавится асфальт, от застывшего смога — сердце. Неприятный пот пропитывает слипшуюся рубаху. В этих асфальтовых джунглях с перегревшимися железобетонными конструкциями трудно представить, что где-то на земле летом растут фрукты и народ купается в море.

Об этих прелестях лета можно было догадаться, только смотря по телевизору репортажи с курортных здравниц. А фрукты в натуре увидеть — на продуктовых рынках. Именно там Бендюков ощущал, что летом происходят чудеса и на свет появляются райские плоды вроде персиков, слив, абрикосов, яблок, груш… И всё это, как уверяют торговцы, сделано не на фабрике искусственного питания, а растёт прямо на деревьях в садах и даже на улицах — и совершенно бесплатно. То, что бесплатно, это, конечно, блеф и фантазия, цены заламывали такие, что зуд по коже пробегал. Но, попав в торговые ряды и пьянея от пряного запаха прелых полусгнивших яблок, абрикосов, персиков и дынь, он забывал обо всём на свете и денег не жалел…Глаза разбегались от фруктовых пирамид. Разве такую красоту увидишь в летний зной на улицах Садового кольца, где, кроме автомобилей и народа, ничего хорошего не водилось?!

Как загипнотизированный, он подошёл к кучке персиков, душистых, и волнующих. Ему весело подмигнула загорелая смуглолицая дивчина с такими же персиковыми щёчками, как и её нежный товар. Она так соблазнительно ему улыбалась и вся светилась радостью при виде Бендюкова, что он тут же влюбился в неё и в её персики.

— Мужчина, берите персики, наши, крымские, обалденные, во рту тают…

— А где гарантия, что не импортные?— решил поважничать Бендюков, строя из себя персикового эксперта.

— Наши, родные, сама выращивала,— кудахтала она, уверенно накладывая в пакетик персики,— Вам два-три кило вешать?

Он кокетливо заговорил с ней про урожай, про погоду в Крыму, интересовался, чистое или нет море в этом году. Море он помнил ещё с детства, когда ему удалось побывать там с родителями. Затем дальше Малаховки не выезжал.

«Несомненно, с тех пор там многое изменилось»,— подумал он. Это только в метро станции не меняются, а поезда одни и те же…

Взгляд его задержался на глубоком разрезе ситцевого сарафана, из которого аппетитно вываливались, как спелые плоды из корзины, сочные налитые груди, не ограниченные никакими лифчиками, и у него и вовсе закружилась голова.

Чуть поодаль, высунувшись из соседней палатки, как чёрный таракан из щели на кухне, наблюдал за торговлей толстый дородный хозяин с лениво прищуренными глазами. Но Бендюкову хотелось верить, что персики эти не из оптового склада, а непосредственно из сада смуглянки-молдаванки, как в песне поётся. И она взвешивала ему, ослепляя белозубой улыбкой…

Взял пакетик с персиками, расплатился, не считая сдачу, пошёл счастливый, вдыхая аромат юга и курортов, на которые ему не суждено было выехать по причине семейной занятости и финансовой ограниченности. Перед глазами мигали улыбка юной крымчанки и её налитые, как персики, вывалившиеся из открытого сарафана перси.

Дома он приготовил блюдо с цветочками, специально предназначенное для овощей и фруктов, и с трудом раскрыл крепко затянутый пакет, вспоминая при этом улыбчивую, говорливую продавщицу, саму похожую на персик… Из сумки шлёпнулись липкие, полусгнившие фрукты с тёмными мятыми боками и тлетворным запахом… Почти все, кроме двух, что лежали сверху, пришлось выбросить, ругая при этом красотку последними словами. Ему было обидно, что его обманули, как лоха, заговаривая фальшивыми словами. Вот и верь после этого женским улыбкам и ужимкам. Два персика были и в самом деле вкусны и ароматны. Такое ни в одной кондитерской не выпекут. Как говорится, на светофорах на Садовом кольце не вырастут. Сколько их ни поливай дождём. И он успокоился.

Решил на следующий день вновь поехать на рынок и при этом намеревался проявлять крайнюю бдительность. Увидел вчерашнюю знакомую. На этот раз она торговала узбекским виноградом «кишмиш». Спелые увесистые гроздья переливались янтарными ожерельями. Забыв про гнилые персики, он захотел винограда, который на балконе на тринадцатом этаже не вырастишь, сколько ни удобряй землю в горшочках.

Бывшая крымчанка-смуглянка теперь оказалась коренной узбечкой и виноград продавала непосредственно со своих плантаций. Бендюкова она, видимо, не узнала и уговаривала его как в первый раз.

— Отведай, касатик, не виноград, а вино натуральное, будешь сто лет жить и девушек любить.

Из декольте сарафана весело играла упругая девичья грудь, как сочная виноградная гроздь. Он поинтересовался погодой в Ташкенте и тоном эксперта спросил, а не импортный ли виноград.

— «Кишмиш» — лучший узбекский сорт, обалденный, — кудахтала она, проворно и ловко упаковывая в пакет гроздья. — Вам сколько — вешать кило, два?

Невдалеке наблюдал за торговлей, высунувшись из соседней палатки, как чёрный таракан из щели на кухне, ревнивый хозяин.

Дома Бендюков приготовил тазик для того, чтобы бережно поместить покупку. Раскрыл пакет и увидел там кашеобразную массу с пожухшими ягодами, которые тут же ушли в мусоропровод… Возмущённый Бендюков не выдержал и поехал громить Преображенский рынок, где торговали миражами… Но по пути наткнулся на палатку с арбузами, что не растут на газонах Арбата.

— Купи, дорогой, всю жизнь будешь благодарить, — накинулся на него лихой кавказец с кинжалом. — Ты попробуй на вкус, нежный и сладкий — как девушка.

Он срезал ломоть с разрезанного арбуза на витрине и поднёс его к горлу на острие ножа. Бендюкову ничего не оставалось, как попробовать. Арбуз действительно был вкусен и сладок. Не успел он глазом моргнуть, как ему взвесила арбуз помощница продавца, всё та же красавица, вчера продававшая узбекский виноград из своего сада.

— Арбуз-то не с нитратами? — слабо сопротивлялся Бендюков.

— Что ты, касатик, самый астраханский, со своей бахчи, вот только вчера с братом срезали, — кудахтала она, играя шаловливо своими прелестями из-под глубокого разреза сарафана.

Не успел он глазом моргнуть, как под мышками оказался арбуз, который не растёт на газонах Арбата.

Пришёл домой, бережно разрезал и обнаружил вялую, безвкусную, горьковатую розовую мякоть. На этот раз он проявил принципиальность и, внушая себе, что арбуз сладкий, как девушка, доел его, заедая мёдом и сахаром. Всё равно до Астрахани ехать дороже обойдётся, решил он, а персики, арбузы и виноград на Тверской не растут.

Утешая себя, он сварил себе подмосковной картошки в мундирах и почувствовал лето по-настоящему, без всяких персиков, которые на кухне не растут.

Вечером приехала бывшая жена первого брака, Анастасия. Предъявила ему решение районного суда о его выселении из квартиры как незаконного квартиросъёмщика.

— Выметайся, — сказала она с сахарной улыбкой на устах, — я завтра с новой семьёй сюда вселюсь, а ты иди жить к своей маме, на Малую Дмитровку…

Он смотрел на её смуглые персиковые щёчки и заманчиво выпирающую из-под лифчика грудь. Она показалась ему персиком, который так хорошо смотрелся на витрине, а на деле оказался гнилым и скользким. Захотел было её угостить арбузом, а потом раздумал и молча пошёл собирать вещи, чтобы освободить жильё…

Улитка на колёсах

Новая порода женщин — автоамазонки — вывелась из выхлопных газов больших городов. С хорошенькими личиками — на фоне руля, обширным багажником на колёсах — сзади. С повышенной агрессивностью на поворотах, несмываемой тушью на ресницах и с зеркальцем обзора — вместо косметички.

Это утро у автоамазонки Насти не заладилось по метеоусловиям. Налетел внезапный циклон с Атлантики и засыпал четырёхколёсный панцирь «ниссана» мокрым снегом, который покрыл ледяным лаком корпус машины.

Настю снова обманул, как очередной бойфренд, прогноз погоды, пообещав ей в ночных теленовостях тёплую и безоблачную благодать, без осадков. Она доверчиво выскочила во двор в чёрных колготках, туфлях на шпильках и короткой юбке, изящно дополненной тоненькой японской кофточкой-«гейшей» с изображением цветущей сакуры, с обширным декольте, без лифчика, и ещё раз убедилась, что никому доверять нельзя в этом мире, даже официальному метеобюро с первого телевизионного канала. Все врут.

Статная, аппетитная брюнетка, соблазнительная, как шоколадка «баунти», с начинкой райское наслаждение, пахнущая сногсшибательной смесью аромата тонких французских духов и бензина, нежными наманикюренными пальчиками пыталась отодрать лёд у дверной ручки. Промороженный металл обжигал, словно раскалённая сковородка. Тонкая и беспомощная на ветру, Настя, в короткой обтягивающей юбочке, которая неуместно предательски задиралась всякий раз, когда она наклонялась над капотом или багажником, — не сдавалась. Со слезами, растворяющими тушь ресниц, остервенело старалась воткнуть ключик в замочек, чтобы вытащить лопатку и щётку. Руки немели от холода, а ветер, как уличный хулиган, настырно лез ей под юбку и щипал за бёдра. Наконец-то она впихнулась в обледенелый панцирь. Тщетно пыталась завести мотор. Ножка нетерпеливо давила на газ, но аккумулятор был глух и нем, как телефон Павла, с которым она ездила в последний уикенд на Мальдивы. Она порывисто лезла в капот и горячим дыханием рта страстно целовала аккумулятор, как ненасытного любовника, отогревая его. И он нехотя заурчал. Она снова вползла, как улитка, в сверкающую голубой лазурью ракушку и стала с ней единым телом, которое начинается с хорошенького личика у руля и завершается приподнятым задом с колёсами. Автомобиль покровительственно заурчал и мягко зашуршал по мёрзлому асфальту.

Она обрела уверенность, почувствовав под собой силу в тысячи лошадиных сил, свою мощь и защищённость. Внешние блохи неприятностей отлетали от неё рваными комьями мокрого снега. Надёжный панцирь на колёсах защищал её от несовершенного внешнего мира, погрязшего в неубранных грязных сугробах, с бомжами на перекрёстках, немытыми «шестёрками», рыскающими пираньями по магистралям в поисках жертв

для «подстав». Всё это теперь за пределами кабины, как на экране телевизора. У неё свой микроклимат, свой микрокомфорт, и нежная мелодия голубой рапсодии разливается по салону сладостной негой. Она надёжно спрятана под панцирем, как под бункером бомбоубежища, от неприятностей внешнего мира.

Настя плавно покатилась по улицам Москвы среди таких же разноцветных «лексусов», «пассатов», «тойот», «фордов», «пежо», «мицубиси»… Ими управляли амазонки, спрятавшиеся от внешней непогоды в панцири, где слева — всепонимающий мобильник, справа — мобильный ребёнок, а в бардачке, вместе с тушью и помадой, газовый баллончик.

Своего малыша она оставила дома с нянькой, и за то спасибо судьбе. Теперь её ничто не отягощает земной суетой. В панцире из беззащитной улитки с податливым хрупким тельцем она становится воинствующей амазонкой, независимой, как независимое радио. Перед ней сверкает панель со спутниковой связью, навигатором, автоматическим переключателем скоростей.

В заторах она делает перевод писем с русского на английский, перед светофорами — отдаёт указание по мобильнику по модификации программного оборудования и рассчитывает прибыль за последний квартал.

Голос её звучит жёстко и властно. От стилистики перевода писем зависит успех сделки, и шеф елейным голоском лебезит перед ней по радиосвязи корпоративного телефона, который висит прямо перед внутренним зеркальцем, служащим ей косметичкой. Около офиса она выскакивает из своей четырёхколёсной улитки, снова чувствуя себя неуютно и незащищённо без металлического панциря. В конторе просиживает за компьютером, выдаёт прогноз падения доллара за квартал, переносит очередное свидание с местным бойфрендом из пятого сектора, у которого чёрный жирный джип с безвкусными фарами.

Она ныряет в свой панцирь, как рыба с асфальтной пристани в пруд. Настя с любовью смотрит на своё хорошенькое личико в зеркале и интуитивно чувствует, что левая сигнализация недостаточно налажена. Тем не менее, она ощущает себя неприступной, сильной и мощной, как мотор силой в сто сорок лошадиных сил.

Поздним вечером она паркуется в знакомом квартале. Юркает в свою однокомнатную квартирку на пятнадцатом этаже двадцатипятиэтажной башни. Там нетерпеливо ждёт её нянька Маша. Она сбрасывает ей, как надоевший тюк, её сына, пятилетнего Федю, который к вечеру превращается в неуправляемую ракету, сошедшую с орбиты, и может вытворить такое, что никакое НАСА не расхлебает. Федя засорил унитаз, выбросив туда ботинок с оторванной подмёткой.

Настя чувствует себя беспомощной улиткой перед растущим и делавшимся всё более непонятным сыном. Она — хрупкий и беспомощный червячок перед хищной пробивной нянькой из ближнего зарубежья, требующей увеличить жалованье за сложность…

— Мне ваш пацан двоих стоит, за такие деньги его капризы не намерена терпеть, вон он в меня кастрюлями кидается… За это особый бонус нужон, как за цех вредного производства, — сыплет нянька крутыми фразами из телесериалов.

Брюнетка Настя, сладкая, как «Баунти», устало соглашается со всем. Руками выковыривает из унитаза застрявший башмак и обещает повысить няньке зарплату вдвое. При этом думает, где стрельнуть денег на няньку, на новые ботинки сыну, на подвески к «ниссану»… Брать новый кредит у банкира Гриши ей не хочется. Она ещё не вернула прошлый долг. Он всё наглеет и уже без всяких намёков предлагает два уикенда отработать натурой… От него гнусно воняет по́том нестиранных носков и чесноком. «Попробую на программах заработать для университета…»

Там ещё ректором работает её бывший одноклассник… Она набирает заветный номер… Удачно.

— Работа нужна и будет оплачена, — успокаивает её знакомый голос.

— Как хорошо, что в этом мире есть друзья… — вздыхает она.

Уложив спать неуправляемого Фёдора, тут же сваливается рядом с ним, даже не сняв юбку и облегающие бёдра чёрные колготки.

Утром она снова в бою. Прогноз погоды опять неверный. Вместо пурги — светлое безоблачное утро. Ей жарко и неуютно в сапогах и полушубке с капюшоном. Она торопливо заводит свой железный панцирь, чтобы спрятать хрупкое улиточное тело от непосильной действительности… Мотор завёлся легко, с пол-оборота. Комфортная нега панциря обвивает её сладкой мелодией из стереоколонок, кондиционным воздухом, встроенным телевизором и всезнающим навигатором… Она вдруг ловит себя на мысли, что ей всё меньше хочется выползать из панциря в колючий, неуютный, несовершенный внешний мир, кишащий неприятностями. Она желает срастись с панцирем навечно в единое четырёхколёсное тело, с лицом спереди и багажником сзади…

Но тут звонит мобильник, и знакомый голос разливается по телу сладостным теплом:

— Деньги за программу перечислили авансом на твой счёт… Всё будет хорошо. Как бы нам встретиться?..

— Обязательно, в самое ближайшее время, — кричит радостно Настя…

Но знает, что встретиться с ним почему-то опять не удастся в ближайший квартал…

«Хорошо, что в этом мире есть настоящие друзья, на которых почему-то не хватает времени», — подумала она, вырываясь по трассе из пробочной трясины на первой скорости…

Площадка

Во дворе застыли автомобили. Между ними торчали гаражи ракушки, кирпичные сараи и мусорные бачки. Среди этого дворового «пейзажа», напоминающего классическую свалку, чудом сохранился маленький квадрат газона с естественной травкой, тремя деревцами, песочницей и скамеечкой. В этом

оазисе нашли пристанище малые дети, пенсионеры и домашние собаки, пытаясь поделить между собой не изъеженные автомобилями сантиметры живой земли. Земли было мало, желающих её использовать — много. И потому нередко конфликт переходил от словесных перепалок и взаимных оскорблений к рукопашным схваткам между родителями детишек и владельцами собачек. Эмоции накалялись до такой степени, что в ход шли совочки, ведёрки с песком и поводки от ошейников. Детишки сжимались в комочек, вобрав головы в плечи; собаки скулили, поджав хвост. Все претендовали на этот клочок живой земли.

Нинель объявила войну всем собакам и собачникам ближайшего квартала. Она выгуливала днём на этой площадочке своего годовалого Никитку, пухлощёкого малыша, рождённого от Михаила, её гражданского мужа, который проживал с ней на её жилплощади.

Правда, он мгновенно исчез, как только на свет появился Никитка. След его пропал в бездонном мегаполисе. Но, тем не менее, Нинель, безумно боготворившая своего сожителя, зацепившегося за Москву выходца из Харьковской области, и тоскующая по нему своим телом, малыша очень любила. Как раз за то, что он был «просто вылитый Миша». И она не позволит каким-то собакам нарушать жизненное пространство её чада. День у неё начинался со скандала с соседкой по этажу, которая в это же самое время выгуливала пуделя на площадке.

— Как не стыдно гадить собаками там, где дети гуляют, — кричала Нинель, — идите со своим псом за гаражи или, ещё лучше, за пределы города, штрафовать вас надо.

— Мне времени нет, всего на пять минут выходим, и гадит моя Лаура не больше, чем алкаши, которые по вечерам тут водку с килькой пьют, — защищала собачьи права переводчица с арабского языка Ирэн, — моя сука не менее чиста, чем ваш ребёнок, и ей необходим выгул.

— Что вы моего ангелочка со своей тварью сравниваете? Совсем дожили: вместо того чтобы детей заводить, демографическую программу выполнять, собак разводите!

— Я не такая, чтобы рожать от первого встречного; лучше домашняя собака, чем внебрачный ребёнок…

— Да как вы смеете! — Нинель со слезами обиды и ненависти готова была вцепиться в волосы Ирэн и разорвать её шавку на части…

Локальные войны проходили с переменным успехом. Когда на площадке было несколько родителей с малышами, причём родители были вооружены палками и бейсбольными битами, то собачники обходили площадку стороной, ища приют для своих питомцев за гаражами или мусорными контейнерами. Но едва те уходили обедать или по другим каким-то делам, площадка заполнялась разнопородными псами и их хозяевами. По вечерам же на площадке хозяйничали бомжи-алкаши, которые выпивали, закусывали сырками и прилюдно справляли свои физиологические надобности без всякого стеснения. В это время и собачники, и родители с детьми на площадку не высовывались.

Время шло. Никитка рос. Младенец незаметно перерос детскую площадку, и интерес Нинель к борьбе за жизненное пространство потерял былую остроту. Она даже сблизилась с Ирэн, и они ходили вместе в супермаркет за покупками по субботам. Никитка рвался из дома и практически все вечера проводил в компаниях и на тусовках. Потом вовсе переехал жить к подруге, а про маму вспоминал, когда деньги были нужны. Она всё чаще оставалась одна, сама с собой, своими мыслями, тревогами и подло растущим возрастом.

На день рождения Ирэн подарила ей щеночка — очаровательный, беспомощный мохнатый комочек, очередной приплод её собаки.

Он доверчиво прижимался к Нинель и, дрожа всем телом, лизал ей руки. Так не целовал ей руки никто — ни бывший её сожитель Михаил, ни её сынок. Она вдруг прослезилась и прижала крепко к груди это тёплое уютное существо. Четвероногий малыш согревал её преданной бескорыстной любовью, какой она до этого не испытывала.

На следующий день она вышла гулять в квадратный скверик и нарвалась на сердитую маму, соседку из тринадцатой квартиры, которая, в свою очередь, вывела туда на прогулку трёхлетнюю дочурку. Девочка тянулась к щеночку ручонками, но мама свирепо рычала на Нинель и её собачку.

— Развели собак вместо детей, заразу разводите и блох, — кричала мама.

— Да мой кутёнок — тоже ребёнок, — не уступала Нинель, готовая за него вцепиться в волосы обидчице…

Но они невольно затихли, увидев, как нежно гладит кутёнка девочка, а он забавно протягивает ей лапку… Дети нашли общий язык в решении территориальной проблемы.

Александр Апальков

Колючие деревья

Из романа «Прогулки с Нестором»

Ах, эти женщины, которые оставили меня! Вы превратились в колючие деревья. Что мне им сказать?

В вас ныне стонет ветер.

На колких ветвях — спелые плоды: красные, вишнёвые, синие… Глёд, боярышник, тёрн…

Я любил немногих из них. Далеко не многих. Но, не многие и меня любили. На прощание я дарил им губные помады. Конечно, я мог бы с таким же успехом дарить и губные гармошки или эоловы арфы… Смысл подарков ведь был один: чтоб они не грустнели, не мрачнели, не становились хуже.

Я всех одаривал любовно. Но любовью — очень немногих.

Жизнь, как и любовь, — не вечна.

Когда она сказала: «Я люблю тебя», — уже в тот миг она прощалась со мною. Во всём сказанном есть смертоносные зёрна.

Мы ехали с ней в машине. И она сказала это. Потом добавила: «Ты — тот, кого я искала всю жизнь». Это было полгода назад.

Нынче она сказала:

— Не надо, уже поздно.

Сказала тем же голосом. И так же выл ветер. Только не за окном моего авто. Ветер дул и выл в моих ушах.

Я накануне подарил ей помаду.

Я рад, что она первой оборвала нашу нить.

Ей будет легче. Легче гордиться разрывом. Мне будет радостно её вспоминать. Моя память бездонна…

Всю ночь выл ветер. Страшный. И снилось мне страшное. Наверное, мой мозг отживает.

Пришёл-таки пёс Рыжий. Он прибился к моему двору. Сам. Ещё зимой. Прижился. Я ходил с ним на прогулки. И вот я купил уже Рыжему ошейник. И Рыжий стал неприблудным. Но как-то сбежал… И вернулся через несколько дней. К еде не подходил. Я думал, его кто-то побил. Но догадался — его отравили. Я кинулся, расколотил водки с яйцом. Расщепил ему рот, влил насильно. Он смотрел мне в глаза виновато. Он лежал просто под небом и всё глядел на меня. «Если бы человеку открылось будущее…»

И снова ночью выл ветер. Страшная буря.

Утром Рыжий лежал на боку. Глаза его были открыты. Я позвал его. Он молчал. Я коснулся его. Холодный как лёд.

Я взял его на руки. Он стал легче. Сколько раз я брал его прежде. И он лизал мне щёку. Теперь я снял с него ошейник.

Похоронил я его на вершине холма. Выкопал глубокую яму. Чтобы не разрыли другие собаки…

Иногда мне кажется, что я жил со скифами. И меня, ясно вижу, зарыли вместе с моими лошадьми, собаками, утварью, золотом и жёнами. И вот кто-то разрыл мой могильник. И я должен снова обрести своих коней, собак, свою утварь, своё золото и своих жён. И я должен жить…

Всё уже я приобрёл: и коней, и утварь, и золото. С жёнами — сложнее. Я нашёл их только две.

Нет, проб и ошибок было море. И в этом море было утрачено много золотого песка, и потоплено коней, гружённых утварью из того же золота…

А вот Пери — была одна.

И я рад, что она не пойдёт теперь со мною в мой скотомогильник. В погребальную камеру, которую опять археологи разделят на куски когда-то, как делят торт. Им непозволительно долбить. И они будут выкапывать и выносить на руках каждое твёрдое. Пока не наткнутся на скелеты. Он и она… Одежда истлела. Но… Рядом с головой женщины найдутся две золотые пластины. Они, очевидно, были скреплены между собой. И на вопрос, означает ли это, что женщина была принесена в жертву, кто-то несколько смущаясь, ответит утвердительно…

На вопрос, означает ли…

Она ушла от меня.

Я был так дик с нею. И так искал возвышенного. В ней, в себе. Я прочёл ей массу книг. Я сложил массу песен. И вот нынче — листаю книгу воспоминаний: «Если бы человеку, самому благополучному, вдруг открылось будущее, то замерло бы сердце его от ужаса, и язык его онемел бы в самую ту минуту, в которую он думал назвать себя счастливейшем из смертных».

Она просила у меня в подарок коня.

Мои глаза сузились тогда. И в щель их предстали мои кони, мои пекторали, мои идолы. Украденные из моего кургана… Я бы отдал ей их все. Но как ей сказать?

— Умгу, — потянул я по-волчьи.

И она рассмеялась:

— Впрочем, я освобождаю тебя от всех своих просьб.

Когда сыплется песок, смешанный с глиной и жухлой травой под моими ногами, я вижу: снова рыли..

— Я освобождаю тебя и от всех своих обещаний, — лукавила она раскосые глаза.

— Умгу… — скалился я.

И время текло между нами. Золотым песком… Из него прежде у меня было много монет. И я сыпал их ей между спящих ног.

Губы её были полуоткрыты, и ресницы не дрожали под ветром.
— Скажи, Пери,—трогал я её,—любишь меня?
— Люблю.
— Смотри ж, не говори об этом ветру.

Ушла.

И рад, что покинули меня многие прежде неё. И рад, что я любил её.

Я подарил ей помаду. Пусть сияет улыбка её самых прекрасных губ. О, какими чувственными и сладкими были они. О, как славно они пели мне и ей наше чувство.

Да… Сколько песен развеяно по ветру. Сколько её волос осталось на моём ложе. Длинных, как наши любовные битвы. Чёрных, как ночи нашей тоски друг о друге.

Множество песен, никем не сложенных. И мало кем услышанных.

Они исчезают, как исчезли скифы. Словно были вычеркнуты. Внезапно и загадочно.

Растут колючие деревья вокруг меня.

Мой холм, мой курган просел. Его почти уже не отличить от прочих бугров и впадин. Его уже так много раскапывали. И пахнет он уже не мною.

Но именно тут мы целовались с нею. Она—в белом платье утреннего облака. Я—в чёрном фраке ночи.

Ныне—тени слов.

Слова любимой! Вы прорастаете сквозь моё молчание. Вы выросли из её сердца. Разрослись в её душе. Высказались её губами.

Тихо.

Молчу.

Не спугнуть бы. Тогда замолчит она. И куда денутся те слова, которые ещё не сделались услышанными мною?

Всё, что вокруг нас,—глухо. Всё опутано сеткой других слов. Всё—в зарослях. Всё говорит о том, что видимо.

Моя любимая—о том, чего нет.

Моя любимая—моя вера. Она движет землёй и небом. Она—холод и зной. Она—сушь и дождь. Она пленяет то, что незримо нашим глазам.

Нас видела луна. И проходящий волк.

Луна улыбалась нам убийством брата. Волк скалил опущенную морду. Ни Луна, ни волк не могут оглянуться назад.

Мы оглядывались.
— А помнишь, как ты поцеловал меня?..

Теперь она свободна. И она будет оглядываться. Я—не смогу. Я сижу на кургане своей прошлой славы. Вокруг меня колючие деревья. И мне возвращаться?

Ах, как хочется бежать… Никогда не возвращаться назад. Преодолеть ветки колючих деревьев… Которые прорастут через меня…
— Ах, эти женщины,—говорю я навстречу ветру,—они не понимают своего счастья. Им всегда нужны яблоки… Они сперва печалятся, потом гордятся, потом прыгают в бездну воспоминаний…

Ветер бьётся колкими ветками и воет.
— Ах, эти женщины—оставившие меня, они не понимают: пройдёт ещё тысяча или другая лет, и они будут снова моими. И так до тех пор, пока стонет ветер над моим курганом. И пока он хоть на вершок выше простой травы…

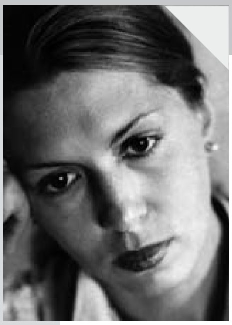
Но как пели её губы наше счастье. И как мысли мои были важны и величественны. Движения наши—нежны и страстны.

Так цвет мака—он удержится на любом ветру. Но коснись рука его стебля—он опадёт вмиг. И станет—пухом моего грядущего. Любовь бессмертна, природа—блаженна. И они освятят души, как освящается храм. И ангел возвышенного развяжет последние страдания этих женщин, покинувших меня. И меня с ними.
— Зачем ты привёл меня сюда?—спрашивала она вторично.—Ведь мы тут были. Но двери были заперты, и только львы смотрели на нас песчаным взглядом истуканов.—И она смеялась, откинув голову.
— Здесь обретает ангел возвышенного.
— Обретает кого?
— Всех.
— Ой ли!—снова смеялась она, кусая меня за ухо.—Оно у тебя, как лист фиалки…
— Умгу…
— У тебя было много женщин?
— Много.
— И как?
— Умгу…—заводил я свою песню.
— Ты не хочешь мне о них говорить, а жаль. Я бы не обиделась. Я бы их пожалела,—шепчет мне сон-трава.

Сон-трава. Трава забвенья…

А на мой курган льётся её дождь…

«Скифы мумифицировали покойников; тем не менее, большинство тел истлело».



Лидия Рождественская

Нет мне ответа

Неужели этот мальчик — мой папа? Этот кудрявый мальчик, родившийся в Москве в дворянской семье? Как много сейчас разделяет нас. Не только жизнь, но уже давно и смерть. А тогда, в ноябре 1910 года, когда он родился, ничто ещё, кажется, не предвещало бурь, потрясений, войн. Жизнь обещала счастье…

Это было в начале века, совсем в другой, неведомой мне жизни. На балконе московского дома стояла девушка. Она недавно вернулась из Парижа, где окончила Сорбонну. Отец девушки был крупным промышленником, на его магазинах красовались вывески: «Молоко и сыры Бландовых». Это фамилия девушки. А звали её Екатерина…

Дальше всё как в любовном романе: мимо проходил статный, с лихими усами юноша, и он, вы уже догадались, влюбился в неё с первого взгляда. Это был Дмитрий Рождественский.

В положенный срок появился на свет мальчик Игнатий, Натуля — так звали его родные. Наверное, детство папы было похоже на то, что описано в чудом сохранившейся в нашей семье книге моей прабабушки Марии Евграфовны Бландовой:

«На Рождество и на лето приезжали братья в отпуск. Они уже стали взрослыми молодыми людьми. У нас устраивались домашние спектакли, живые картины. Много было шуму, весёлой суеты, я участвовала в живых картинках в виде ангела. Помещики издалека съезжались со своими семьями на наши спектакли…

У нас дома часто служились всенощные, молебны. Бывало, летом окна отворены, красивые окрестности кажутся ещё краше под мягким вечерним освещением; столбы света, наполненные кадильным дымом, идут от открытых окон, по стенам и полу пробегают тени растущих перед окнами лип. На столике, покрытом белой скатертью, стоит образ Спасителя в серебряной ризе: кроткий лик, обрамлённый волнистыми, падающими на плечи волосами. На книге, которую Он держит в руках, начертаны слова: «Придите ко мне все труждающиеся и обременённые, и я успокою вас…»

Я думаю, что там, в детстве, были истоки папиной любви к поэзии, литературе, искусству. Могло ли быть иначе? И мне никогда не понять, зачем надо было разрушать этот мир, да ещё до основания.

Папины рассказы о детстве были овеяны романтическим образом старой Москвы. Он показывал нам дом, в котором родился…

К сожалению, мы мало расспрашивали папу о его детстве. Казалось, впереди так много времени для узнавания, так бесконечно много — целая жизнь. Извечное наше заблуждение. Не потому ли мы так плохо знаем свои родословные?

Только сейчас, благодаря Интернету, я открываю для себя новые подробности биографии своего прадедушки Николая Ивановича Бландова. Он, блестящий морской офицер, дворянин, уходит в отставку в чине лейтенанта флота и, как бы сейчас сказали, включается в промышленное преобразование России. Вместе с братом Владимиром, также отставным лейтенантом флота, они создают товарищество «Братья В. и Н. Бландовы» и вскоре становятся крупнейшими производителями молочной продукции в России. В одной только Москве у них было 59 магазинов. Ираклий Андроников, рассказывая о старой Москве, говорил: «А на Тверской стояли магазины «Молоко и сыры Бландовых». В 1903 году Николай Бландов строит первый в России молочный завод, он располагался на Новослободской улице. Были ещё колбасная и макаронная фабрики, выпускавшие знаменитую «Московскую» колбасу и макароны «Знатные» — эта торговая марка сохранилась до сих пор. Их молочная «империя» раскинулась по всей европейской России, достигла Сибири и Кавказа. Кстати, всем известный кефир появился в России тоже благодаря моему прадедушке.

Сам вождь мирового пролетариата писал о Н. Бландове в своей работе «Развитие капитализма в России», а современные исследователи назвали его «олигархом Серебряного века»… А ещё он был президентом Московского общества сельского хозяйства, председателем Московской яично-масляной биржи, почётным мировым судьёй и гласным Подольского уезда Московской губернии. Около 10-ти лет он был депутатом от дворянства Московского уезда. Кроме того, он являлся активным членом многих просветительских и благотворительных учреждений Москвы, проявлял постоянную заботу о сибирской школе маслоделия, где Бландовы очень много сделали для подъёма новой волны предпринимательства в дореволюционной России…

В годы юности моего отца одного упоминания о таком родстве хватило бы с лихвой сами догадываетесь для чего.

Моя прабабушка была писательницей, одной из первых выступившей за эмансипацию женщин в России. Совсем недавно я нашла её публицистические статьи в интернете, и удивилась, что они нисколько не устарели. Будто бы ничего не изменилось за эти сто лет. Вот в такой семье рос мой отец.

Каким он мне запомнился? Он был необыкновенный человек, ни на кого не похожий. Это подтвердят все, кто знал папу. Абсолютно бесхитростный. Кстати, недавно сделала открытие, что хитрость—это замена ума. Оглядываюсь вокруг: хитрых много, умных—отнюдь.

Папа обезоруживал всех своей искренностью, тем, что абсолютно всё и всем говорил в глаза. Естественно, наживал врагов. Теперь я понимаю, что этого бояться не надо. Замечательно сказал Юрий Визбор: «Слава Богу, есть у нас враги, значит, есть, конечно, и друзья». До конца дней отец оставался таким.

Вспоминаю такой случай. Гостил у нас поэт Лев Ошанин. Он был на редкость обаятельный, словоохотливый, доброжелательный. Мы с сестрой были по-детски в него влюблены. В ту пору он был в самом зените славы. Все пели его песни: «Пусть всегда будет солнце», «А у нас во дворе», «Бирюсинка», «Течёт Волга» и многие другие. Он был очень привязан к папе, посвятил ему несколько стихов. Написал и про нас: «Где там Ленка и Лидка мои, у какой стоят калитки они…» Однажды Лев Иванович возьми и спроси отца:

— Игнат, а ты меня любишь?

— Не-а.

Помню свой ужас в ту минуту; кажется, я даже заплакала:

— Папа, папочка, скажи, что ты пошутил.

Мы с сестрой и мамой все делали, чтобы загладить этот папин мальчишеский выпад.

Я помню его с вечным бормотанием стихов, именно бормотанием—так они его переполняли, что он не мог удержать их в себе, как бы пробуя на язык бесконечные строчки. А стихов он знал великое множество—память у отца была феноменальная.

В детстве, когда надо было мыть пол или идти в магазин, а так не хотелось, папа предлагал такой своеобразный «бартер»:

— Стихотворение расскажете—будет по-вашему.

Ну, а нам с сестрой только этого и надо. Ведь многое из того, что мы знаем и помним сейчас, выучили на слух от отца. И ни какие-нибудь детские стихи, а прекрасные, завораживающие строчки Блока, Белого, Городецкого, Гумилёва:

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай, далёко, далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф…

Или вот это:

Там, где всё сверканье, всё движенье,
Пенье всё,—мы там с тобой живём.
Здесь же только наше отраженье
Поглотил гниющий водоём…

Я часто думаю о папиной любви к нам, детям. А нас было у родителей пятеро: Юлия, Владимир, Владислав, Лидия и Елена. Его воспитание было незаметным, как будто и вовсе он нас не воспитывал. О его любви к нам мы чаще всего узнавали из папиных стихов:

Вся в чернилах от губ до ладоней.
Трудно с ней. Но доволен я,
Что не неженкой, не тихоней
Непоседа растёт моя…

Или: Не прожить без разлук на свете,
Не минуешь их никогда:
Как птенцы, улетают дети
Из родительского гнезда.
……………………………
И украдкой—нет, не украдкой:
Что таить мне печаль свою?—
Над твоей я вздохну тетрадкой,
Над игрушками постою.

Авторитет отца много значил для нас, детей. И сама атмосфера в доме располагала к тому, чтобы впитывать в себя отцовское мировоззрение, его понимание литературы, искусства, его врождённый, впитанный с молоком матери вкус.

Но однажды папа всё же взялся меня повоспитывать. Он решил, что я недостаточно готова к жизненным трудностям, что подружки отвлекают меня от чего-то главного, и отправил заканчивать школу в Норильск… Не знаю, закалил ли меня этот год «ссылки» под присмотром старшей сестры, но слёз я выплакала немало. Как же—впервые без мамы и папы! По-моему, отец сам потом жалел об этом воспитательном эксперименте, но, тем не менее, продолжал писать мне подбадривающие письма:

«…Я прекрасно понимаю, что Норильск—это не Гагра, но ведь и жизнь—это не танцплощадка. Надо испытать всё, закалить себя, пересмотреть свои взгляды, духовно окрепнуть, обдумать судьбу свою, вышвырнуть всё ненужное, вздорное, никчёмное и настроиться на волну добра и справедливости. Так-то вот, Лида. Крепись. Время идёт к весне. Редеет тьма полярной ночи. Пусть осенят тебя сполохи и встающее солнце согреет…»

Можно долго вспоминать. И как папа просто страдал, когда какой-нибудь «грамотей» коверкал русский язык. Он был безупречно грамотным и требовал того же от других. Если слышал неправильно произнесённое слово, пощады не было никому. Ох и горячий был…

Ещё была в нашем доме традиция: все собирались за одним столом, и папа читал нам вслух. Прочитал всего Бунина, Тургенева, Гончарова, Куприна…

Я знаю, что и учителем отец был неординарным—творческим, независимым, ярким. Один только пример. В ту пору, в тридцатые годы, в школах не было никаких сочинений на свободную тему, только «лучи света в тёмном царстве». И вот после летних каникул приходят дети в школу (дело было в Игарке), и папа задаёт им тему сочинения: «Как я провёл лето».

На другой день появляется в классе со стопкой проверенных работ и начинает кидать на стол одну тетрадку за другой:
— Никуда не годится… Плохо… Бездарно… Русским не владеете.… Ни одной своей мысли,—и т. д.

Я думаю, и покрепче что-нибудь было, папа не подбирал выражений, когда сталкивался со скудоумием, убогим языком…

И вот в руках остаётся одна тетрадка. Я просто вижу счастливое, взволнованное папино лицо—он всегда, как ребёнок, радовался чужим успехам:
— Один среди вас талантливый—Витька Астафьев.

«С тех пор я поверил в себя»,—писал впоследствии большой русский писатель В. П. Астафьев.

Можно ведь провести урок строго по методике, чинно и гладко, сделать в конце правильный вывод. А можно отбросить все методички и увидеть за ними личности своих учеников, их способности и знания, разглядеть в них искорку таланта. Папа это умел.

Я думаю, большое счастье встретить такого учителя. И первый свой автограф на первой книжке Астафьев написал своему учителю. А то школьное сочинение мы знаем как рассказ для детей «Васюткино озеро».

Папа очень любил Север. Много стихов написал он о его скромной, не всем заметной красоте. Он менял школы, продвигаясь всё дальше на Север: Пировское, Туруханск, Игарка… Интересно, что каждое новое место отмечено рождением детей: Пировское—Юлия, Туруханск—Владимир, Игарка—Владислав. И уже напоследок, в Красноярске,—я и Елена.

Но я уверена—не только романтика гнала папу всё дальше на Север. Среди вещей отца всегда был саквояж, готовый к иному «путешествию». Отпрыску отнюдь не пролетарской фамилии такая перспектива казалась вполне возможной.

Если читать все стихи, книжку за книжкой, не только стихи о любви и природе найдёшь в них. Отдал отец дань и «будням великих строек». И написано это было искренне, я знаю. Что же это было за время, которое могло увлечь утопической идеей образованного человека? Ведь, я знаю это тоже, с детских лет жило в нём сознание несправедливости. Я помню папины слёзы, когда он нам рассказывал, никак не мог забыть, о своём дяде—царском офицере, георгиевском кавалере Первой мировой. Он поверил обещаниям большевиков, что все, кто сдаст оружие и перейдёт на сторону советской власти, будут прощены… и был расстрелян.

В конце сороковых отец написал стихотворение о доярке, за которое был подвергнут разносу в духе времени с позиций ждановского понимания литературы. А виновен он был в том, что без прикрас описал руки советской доярки, её каторжный труд…

Сейчас над этим можно смеяться. Но тогда действительно было такое время: одних оно возносило, других ломало, третьих учило приспосабливаться. Есть у него и такие строчки: «И под откос просились паровозы, чтоб не возить невинных в лагеря…»

Но свои лучшие стихи, мне кажется, папа написал о любви. Почти все они посвящены маме. Они были очень разными. Папа—безудержный, неистовый, непредсказуемый. Мама же была человеком спокойным, уравновешенным. Ей неведомы были чувства «нараспашку». Она не гневалась и бурно не радовалась. Их жизнь не всегда была раем. Об этом папины стихи:

Ни на перроне шумного вокзала,
Ни у реки бурливой по весне
Слов, от которых сердце замирало,
Ты никогда не говорила мне…

Теперь я понимаю, как ему не хватало этих признаний в любви. Они нужны всем, а поэту особенно.

Сейчас, на фоне многочисленных трагедий, постигших нашу страну, судьба одного человека, пусть даже твоего отца, может показаться не столь впечатляющей. Тем более что сам он не давал повода считать свою жизнь трагической. В чём-то он даже преуспел. Во всяком случае, внешне это выглядело именно так: первый член Союза писателей в Красноярске; признанный поэт, классик сибирской поэзии—уже можно так сказать; единственный за всю историю беспартийный корреспондент самой партийной газеты «Правда»; замечательный, от Бога, учитель; ещё при жизни удостоен очерка в Большой Советской Энциклопедии… А душой всё тот же мальчик с единственной защитой—Поэзией.

Да, до конца своих дней он верил только в Россию и только в поэзию. Это был большой ребёнок, романтик—и… мой отец… Что могла я, девчонка, понять в папиных терзаниях? А они были. Я видела, как он страдал, говоря о горестной судьбе России, как не мог сдержать слёз…

Необыкновенно трудно ставить точку. И не только потому, что не сказано что-то главное. Самого главного я, наверное, и не знаю. Трудно ставить точку всегда. Потому что воспоминания не могут иметь конца. Они живут вместе с нами и умирают тоже вместе с нами…

И я повторяю вслед за Виктором Астафьевым, любимым папиным учеником: «Так что же я ищу? Отчего мучаюсь? Почему? Нет мне ответа».

«Мне необыкновенно повезло…»

Накануне 90-летия отца мы с сестрой Еленой приехали в Овсянку, к Астафьеву, чтобы снять интервью для фильма «Воспоминание об отце». Виктор Петрович усадил нас за стол во дворе своего дома, видевшего множество гостей, слышавшего много разных разговоров, пристроил на столе скромную вазочку с цветами, к которой мы тут же приспособили свой микрофон. Оператор, повозившись с камерой, нашёл-таки подходящую для съёмки точку и кивнул мне: можно начинать. И я начала:
— Виктор Петрович, если честно сказать, я сегодня всю ночь не спала. Казалось бы, столько интервью брала в своей жизни, а когда об отце говорить… так тяжело. И кажется, что слов-то нужных не подобрать. И мучаю себя, что дочерью, наверное, была не очень нежной и отца плохо понимала.

Он ушёл из жизни, когда мы с Леной ещё девчонками были. Вы один из любимых его учеников; мы бы очень хотели, чтобы вы о нём рассказали.

Астафьев всегда был прекрасным рассказчиком, таким я его помню с тех пор, как он впервые появился в нашем доме, каждый раз наполняя его бесконечными рассказами, байками, цитатами из самого себя, да так, что завораживал. И это чувство, приобретённое в детстве, не проходило, не истаивало с годами, а, приобретая новые оттенки, становилось неиссякаемой потребностью души. Астафьев был дорог нам, как член семьи, чуть ли не самый любимый ребёнок папы, к которому мы по-детски его ревновали. Он наведывался нечасто, пока жил на Урале и в Вологде, и тем радостнее и дороже были эти встречи.

Папа любил своего Витьку какой-то ему одному ведомой любовью к ученику, оправдавшему его надежды. И Астафьев платил ему тем же: поначалу сыновней нежностью интернатского пацана, а потом преданностью верного друга. И как бы высоко ни поднимался на своём литературном поприще, никогда не забывал того, кто указал ему эту дорогу. Приезжая в Красноярск, он часами проводил время в беседах с отцом — им всегда было о чём поговорить. И нас, тогда ещё девчонок, не забывал — шутил, одаривал шоколадками. Пожалуй, из друзей отца только поэт Лев Ошанин мог тягаться с ним в нашей любви. Каждый его приезд становился праздником для нас, но прежде всего, конечно, для отца. И потом, когда уезжал, ещё долго вспоминался, и что самое главное — ждался в нашем доме… И тогда, когда был жив папа, и после — он никогда не забывал нас. Однажды он привёл к нам в дом на улице Декабристов священника, чтобы крестить нас по православному обряду. Так он стал ещё и нашим крёстным отцом. И вот он сидит передо мной и согласно кивает в ответ:

— Всё закономерно — ночь не спала. Когда теряют близких людей, не спят не одну ночь, тем более — когда теряют родных. Всё правильно, может быть, дочерью была не той. Всё идёт от того, что все живые всегда перед мёртвыми виноваты. Всегда были… К сожалению, эта традиция сейчас исчезает, много людей сейчас правых, которые считают, что никому не обязаны — ни живым, ни мёртвым. Они — отдельно, их не мучает бессонница, как тебя, их ничего не мучает, только собственное благополучие, относительное наше советское благополучие, которое называется малогабаритным раем.

Малогабаритного рая-то у половины населения нет, но тем не менее. Мы породили жесточайший эгоизм своим поведением прошлым — репрессиями, коллективизацией, уничтожением крестьянства, — породили людей беспощадных; самое главное, мы лишили их памяти. И уже за удивление принимают, что я помню своего школьного учителя, почитаю его и даже могу о нём разговаривать. Господи, дайте мне медаль за это — какой я хороший.

Я иногда схожу в город, вернусь — и мне хочется послать в Кремль телеграмму: съездил в Красноярск, у меня не украли кошелёк, не оскорбили, не обозвали. Спасибо партии, правительству, нашему народу — он лучший в мире народ. До чего дожили!..

Я считаю, если дочь не спит ночь, перед тем как поговорить о памяти отца, — это не просто прекрасное чувство — это нормальное состояние человека, который помнит о том, что вырос, что ему был дан хлеб, воспитание. Это та благодарная память, на которой, собственно, всё и стоит, всё человечество. Утрата её приводит к катастрофе, которую мы и переживаем — самую настоящую катастрофу: генетическую, идеологическую, экономическую. Экономическую, я считаю, в последнюю очередь. Всё-таки голода нет, хлеб есть, картошка есть. У кого-то не хватает и картошки — прошу прощения у этих людей. Но самое главное — мы утратили память.

Так что вы не хвалите и не благодарите меня за то, что я взялся разговаривать об Игнатии Дмитриевиче. Я делаю это часто очень, потому что работа моя связана с тем делом, которым занимался Игнатий Дмитриевич дольше меня. В трудные годы занимался, в сложные. Впадал в ложный пафос, сейчас ему было бы трудно, но, я думаю, разобрался бы, человек он был головастый, умный. Во всяком случае, верю в это как его ученик.

Виктор Петрович потянулся через стол к вазочке, вынул из неё цветок, полюбовался, кажется, понюхал даже. Фраза о ложном пафосе меня задела:

— По-моему, он искренне это делал.

Астафьев:

— Он был таким восторженным человеком. Я приезжал в пятидесятые-шестидесятые годы, и всегда с ним общались. «Витя, переезжай сюда, тут такие стройки, разворот, тут Ленин в ссылке был». Да, он был человеком искренним. Может быть, этим и жил. Я не брошу не только кирпича — крошки кирпича в таких людей, хотя в этом много противоречий, в которых ещё стоит разобраться. Но, тем не менее, даже сама жизнь его подводила к сложным внутренним процессам. Последние его стихи, особенно из книги «Встреча с тобой», где речь пошла о женщине, о любви, как его Господь пособил, они отличаются уже во многом от его ранних романтических юношеских стихов. И какой-то глубиной, и, я бы даже сказал, замешательством, потому что ехать уже на одном патриотизме невозможно, потому что видел, что Сибирь покрывается дымом, смрадом, рубят беспощадно. Без конца же нельзя этим восхищаться. Потом он много работал в газете «Правда», в той «Правде», которую впору называть было «кривдой».

— Он гордился тем, что единственный беспартийный за всю историю работал в «Правде».

Астафьев:

— Да, и очень гордился. Так этим дорожил. Он писал лирические очерки, которые в то время по существу никто писать не мог, трескотню писали. Я всегда их отыскивал вдалеке, на Урале, и читал с удовольствием, и гордился, что их написал Игнатий Дмитриевич. Сам такой же лирик был в ту пору.

Лирические времена давно кончились, стояло лето 2000 года, и всеми признанный классик

отечественной литературы, похоже, несколько грустил по этому поводу.

— Неуютно отцу было, что ли, я не знаю. Вообще судьба провинциального писателя…—начала свой вопрос Елена, на что Астафьев отреагировал мгновенно:
— Жуткая. Всегда смотрел на детей, потом на внуков, чтобы не появилась у них тяга к литературе, особенно к художествам. Да не дай-то Бог. Я хотел всегда, чтобы дети, внуки были какими-то ремесленниками, чтобы могли сделать что-то для дома. Печь, ковать, железку срубить, сварить, сшить… А связываться с искусством… Оно развращает подачками, мелкими деньгами. Надо отдельную передачу делать о судьбе провинциального писателя.

Это уже камень в мой огород. Каюсь, писатели были редкими героями моих передач. Может, оттого, что выросла в семье поэта и сделала для себя эту тему запретной. Или оттого, что очень серьёзно отношусь к поэзии и не всякого стихотворца, даже выпустившего две-три книги и мнящего себя поэтом, могу причислить к их числу. Хотя и у графоманов иногда встречаются удачные строчки. Как-то мы разговаривали на эту тему с Астафьевым, и он согласился, что даже у заурядного поэта свой мир. И в этом мире могут быть открытия. Беда в том, что в стихотворном хламе (теперь, если есть деньги, издать сборник не проблема) никто жемчужин искать не будет. Некому. Редактор как профессия скоро умрёт совсем—за ненадобностью. Тем временем Астафьев продолжал:
— Игнатий Дмитриевич судьбу провинциального художника во всех ипостасях изведал. И в лучшие времена, когда писателей было мало в Красноярске—они часто издавались, могли себе позволить, и в худшие, когда их стало больше, когда появилась новая волна.

Сейчас хорошо быть храбрым, сейчас очень много храбрых в литературе, они всех обличают, и прошлое в том числе, но я всё-таки в пятидесятые годы таких храбрых не видел, я могу по пальцам перечислить, которые говорили: я имел мужество молчать в это время, хотя бы молчать…

Тема эта была для Астафьева болезненной. Он часто говорил с нами о мелких писателишках, которым бы и руки не подал, о подличанье в красноярских литературных кругах, и хоть был выше этого—глубоко переживал: мнят себя чуть ли не гениями, подошли бы к книжной полке, там Гоголь, Лермонтов, Достоевский, неужели себя рядом ставят?
— Может быть, по алфавиту, Виктор Петрович?
— Ну, если по алфавиту, так я первый—обычно смеялся он,—это ж сколько до меня Гоголю тянуться…

Но я отвлеклась. Приехала говорить об отце, так уж говори.
— Виктор Петрович, для вас лично что значит отец?

Астафьев:
— Отец ваш для меня очень много значит, как для всякого живого человека, Учитель, прежде всего. Это счастье огромное. Я знаю писателей, которым буквально не повезло: у них не было учителя читающего, понимающего литературу, а главное, любящего её. А свою любовь Игнатий Дмитриевич не навязывал, она по волне, что ли, по характеру передавалась ученикам. И в моей жизни был очень трудный период, когда или в преступники пойти, или… даже не знаю куда. И вот встретился в эту пору в Игарке, в этой захолустной сейчас Игарке, Игнатий Дмитриевич Рождественский. Он относился к детям не как к человеческому материалу, а как к существам, которые рождены отдельно и даже по фамилиям разные. Не все Иваны, не помнящие родства. В нём было какое-то понимание элементарных вещей, что маленький человек тоже человек и из него когда-то вырастет большой. Для того времени это было очень важно, и я просто считаю, что мне необыкновенно повезло.

Игнатий Дмитриевич как литературу преподавал? В самый разбитной класс приходит, бросит журнал на стол. Никого не перекликал и начинал говорить. Я помню, как он говорил на уроке русского языка о слове «яр», два урока—об одном слове. Это редкое счастье для тех, кто мог слушать такого учителя. С этого слова у меня и началось уважение к Слову. Одно слово, а как в него много вмещается, оказывается, как о нём много говорить можно. Сейчас это звучит даже сказочно, и многие мне не поверят, тем более что я жил в средней полосе России, где один пенсионер не поленился посчитать, что его районная газета в неделю употребляет восемьсот слов. Боюсь, что некоторые сейчас дошли до четырёхсот. По-моему, дошли уже. Если учесть, что Пушкин знал двадцать пять тысяч слов. Есть такой словарь пушкинский большой, толстый. Пушкин—гений, но я думаю, среднеобразованный человек России десяток тысяч слов знал, и дойти до восьмиста—это тоже форма одичания страшного. Вероятно, плохие учителя учили этих газетчиков, этих начальников, плохие. Школа наша постепенно вырождается, такого, как Игнатий Дмитриевич, просто из такой школы выгнали бы. Он не признавал никаких методик, работал в нарушение, кричал: «Эй, вы там, болваны, вот я вас…»—и кулаком показывал. Оказывается, он потом признался, что дальше второго ряда не видел ничего, он же близорукий был, и на всякий случай кулаком действовал. Где-то через пять-шесть уроков не надо было и кулаком показывать, все сидели мёртво, заворожённо, смотрели, открыв рот, как интересно учитель читает, рассказывает. Как много знает. И мы можем знать. Это же завлекательно—быть лучше, отличиться. Первый год, когда он пришёл, я единственный раз сидел один год. Он застал меня в пятом, где я сидел третий год.
— В отчаянном пятом «Б»…

Астафьев:
— Да. Двенадцатая школа, которая сгорела. Так что в шестом классе я уже один год, как и полагается, отсидел, хотя с математикой было очень плохо. Это обычное дело, у гуманитариев с математикой катастрофа, и надо быть терпимым к этому, как-то стараться вытянуть из него троечку, а уж больше-то и не надо. Я и сейчас до десяти с трудом

считаю… *(Смеётся.)* Так что от учителя, особенно для ребёнка, у которого нет родных, от воспитателя зависит всё. Ребят надо увлекать, не отучать от книжки, а приучать к ней. А сейчас наоборот происходит: как начнут наизусть учить «Чуден Днепр при тихой погоде»… Я очень люблю Гоголя, но отрывка этого не знаю, да и знать не хочу. Ни к чему мне его знать. Такой долбёж, долотом таким на мозги, просто отучили от литературы.

— У нас отец всё время был с книгой,—вступила в разговор Елена, она наш семейный летописец, помнит многие детали.—Мама на кухне, гостей всегда полон дом, что-то стряпает, папа сидит с книжкой, вслух читает. А вот вы представляете, когда мы учились, нас заставляли без конца писать какие-то планы к сочинениям. Помню хорошо, задали нам план к «Бородино». Я прихожу к отцу и говорю: «Папа, надо план мне к «Бородино», помоги».—«Да что они…»—убежал в комнату, закрылся, не может он выносить этого, терпеть, слышать сил никаких нет. Выскочил оттуда: «Кто это мог сказать?»—«Ну, учительница сказала, что надо по плану всё сделать». Он просто физически страдал, ужас, что с ним было. Никак не мог успокоиться, для него это дикость, абсурд—писать сочинение по плану.

Астафьев, когда услышал это, чуть сам не задохнулся:

— Как можно так с детьми обращаться? Ей надо тогда в столовую посудомойкой идти. Зачем в школу? Это же импровизация бесконечная. Школа—это импровизация на десять лет, а учитель—это артист прежде всего, он, может, это и не осознаёт. Как это возможно, если он любит литературу, как Игнатий Дмитриевич, знает по существу всю поэзию нашу? Он об одной Москве мог читать сутки. Я знал трёх человек в Союзе, которые знали так поэзию. Когда-то соревновался с Игнатием Дмитриевичем Александр Твардовский, который тоже обладал прекрасной памятью, высокой культурой, но через два с половиной часа сдался: «Давай, сибиряк, дуй…»

Но самое интересное при этом, когда мы просили в школе прочесть Игнатия Дмитриевича свои стихи, он долго отказывался. Но всё равно охота кому-нибудь почитать, и он соглашался, но всегда свои стихи читал по бумаге. Всё, от Аполлинера до Маршака, он читал наизусть. Драверта очень любил, которого в ту пору не знали…

К сожалению, замечательного сибирского поэта Петра Драверта мало знают и сейчас. Папа читал его стихи всем московским поэтам, побывавшим в нашем доме. Так он открыл его для Льва Ошанина. И, несомненно, под влиянием стихов Драверта: «От твоей ю́рты до моей ю́рты горностая след на снегу»—родились у Ошанина слова песни «От моей любви до твоей любви»… Сибирскую поэзию знал прекрасно, не только сибирскую—русскую поэзию. И, конечно, у такого человека феноменальных знаний, знающего Баратынского, Тютчева, Фета, которых мы в ту пору и не слышали, требовать план—дико. А у нас считается это нормально. Его бы из школы со временем выгнали. «Чо не выполняешь?» Там же понимают больше его.

Елена:

— Мама рассказывала, когда они познакомились, он был такой нелюдимый, заберётся на печку и сутками бормочет стихи, слова не дождёшься. Поэзия—это был его мир, его жизнь. Он здесь как бы не жил: Россия и поэзия—это было всё для него. Плакал. Скажет «Россия»—и плачет, и сразу за сердце держится, так мучился. «И твою худеющую руку поцелует русский офицер»—очень любил эту строчку Гумилёва.

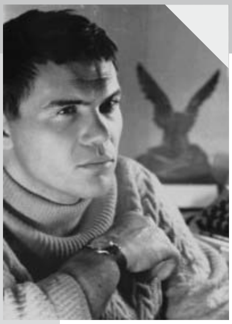
Астафьев:

— Я думаю, сейчас бы он писал мучительные стихи. Вы говорите, скажет «Россия»—и в слёзы. Поэт вообще чувствительный инструмент сам по себе, он всё через себя. То, что он читал матери стихи на кухне, это удел всех нас. Вот мальчики нашли божью коровку, стеколко—надо девочкам показать, так и литератор. Он, к сожалению, уязвим, потому что дитя и хочет драгоценность, которую только что открыл, кому-то показать.

А что касается одиночества—это удел не только Игнатия Дмитриевича, это удел любого одарённого человека во многих сферах вообще, а в литературе в частности. Литератор, который берётся за перо, он не знает этого, но должен быть приготовлен к тому, что будет нести одинокую долю. Во-первых, это труд всё-таки сугубо индивидуальный. Когда художник пишет полотно в своей мастерской, его там никто не видит, а литератору ещё приходится бывать на людях, общаться, а если он пьяный—все думают: он пьяница голимый. А когда он сидит сутки и месяцы за столом—этого никто не видит, не знает. У нас сейчас много непрофессиональной поэзии, просто Кача плывёт, из столбиков слов составленная. А если профессионально, всерьёз, даже я, очень общительный человек, по детскому дому мимикрии подвержен, и фронтом, и ФЗО, и многими вещами подготовлен к общению,—в принципе, очень одинокий человек. Хорошо, с семьёй всё в порядке, хотя никогда не знали дети, что я делаю. Так, наверное, и вы. Я, как Игнатий Дмитриевич, стеснялся своей профессии, какая-то в этом смысле ущербность была. И мои дети никогда не знали, что я делаю, они не посвящены в это были, да и не нужно это. Это настолько внутренне, настолько секрет самого замысла сложен, что толку объяснять кому-то. В классе он себя чувствовал царём и богом среди детей, потому что сам был дитё. Воздействие его, контакт, волны, которые шли из класса, они его объединяли с этим маленьким народом. А то, что он дитём был большим,—вы это знаете лучше меня…

— Таким доверчивым.

Потом мы ещё долго разговаривали, но уже без камеры: о телевидении, снова о литературе, о судьбе Маны и вообще обо всём, то есть о жизни, конечно. Ходили смотреть на Енисей, который так любил наш папа… Затем долго прощались, стоя у калитки, и Виктор Петрович подначивал то меня, то сестру—теперь уж не помню, что послужило поводом. Просто было легко и весело. Я снова почувствовала себя девочкой, которой дядя Витя Астафьев привёз шоколадку…



Вячеслав Назаров

И вечный бой…

Слово о старшем товарище

Гроза нас исступлённая ласкала,
Свистели пули, как бурундуки,
И молнии высокого накала
До срока обжигали нам виски…

И. Рождественский

Даже в наш рационалистический век профессия поэта окутана мистическим флёром таинственности. Нашим волосатым коллегам из пещер каменного века было несравненно легче: поэтов тогда называли колдунами, и это всё объясняло: и странность наряда, и необычность поведения, и привычку целыми днями бормотать что-то, не слыша и не видя ничего вокруг. Кроме того, жреческие регалии надёжно охраняли от разного рода критики, что особенно важно, ибо единственным критическим аргументом в то время была увесистая дубина.

А сейчас всё совершеннее становятся кибернетические машины, появляются новые формы математического анализа, нейрохирурги, раздражая определённые участки мозга, могут вызвать у нас радость, страх, голод, гнев. Торжествующий здравый смысл развеял по ветру пепел древних суеверий, академик Колмогоров выводит формулу интуиции на атомно-молекулярном уровне, а весёлые физики конструируют механического стихотворца.

Казалось, такое сокрушительное наступление не оставит камня на камне от дворца Шехерезады, и побеждённые мечтатели-поэты толпами ринутся на вакантные места ночных сторожей при научно-исследовательских институтах, сдав предварительно в приёмные пункты утильсырья свои неизданные произведения по цене 1,5 копейки за килограмм. Или, по крайней мере, станут добропорядочными прозаиками, чтобы в художественной форме отражать преимущества научной организации труда на предприятиях лёгкой индустрии. Или — кинорежиссёрами, фиксирующими поведение взвешенных частиц в охлаждённых растворах.

Но вопреки здравому смыслу и математическим прогнозам живут на земле поэты. И всё больше их становится. И растут тиражи их легкомысленно тонких книг. И убелённые сединой академики непростительно засоряют нейроклетки своего мозга информацией типа:

Играй же на разрыв аорты
С кошачьей головой во рту.
Три чёрта было. Ты — четвёртый,
последний, чудный чёрт в цвету.

Впрочем, в литературном мире на поэтов смотрят с опаской: непонятный они народ, всё чего-то мечутся, всё чего-то ищут, никогда не знаешь, что они сделают в следующую секунду — позовут на Луну или попросят денег взаймы. Кто-то пустил крылатую фразу: «Поэт, которому больше тридцати, — это уже неизлечимо».

Что ж, пожалуй, верно. Но только в этой фразе больше грусти, чем иронии. Потому что поэзия — это неизлечимая молодость, это хроническая душевная неустроенность, это острая форма гражданской активности, это нестерпимая, обнажённая искренность. И кто знает, может быть, многим из наших солидных прозаиков снится ночами, что они ещё молоды и пишут стихи? Ведь недаром высшей похвалой прозаическому произведению часто становится «поэтическое видение» автора…

Итак, живут на земле стихи. Живут на земле поэты — весёлые и грустные, великие и не очень, известные и начинающие — разные и в то же время чем-то неуловимо похожие друг на друга…

В 1967 году ЦК комсомола проводил совещание молодых поэтов Сибири и Дальнего Востока. Впрочем, к бытующему значению слова «совещание» всё это имело весьма отдалённое отношение. Не было зала с откидными скамейками, не было традиционного стола с красной суконной скатертью и пузатых графинов с эликсиром красноречия. Не было президиума и председателя, не было докладчика, шлифующего носовым платком свою лысину до зеркального блеска.

Были — поезда. Была — Россия. Мы ездили по стране и читали стихи колхозникам, рабочим, студентам. Был каскад впечатлений и встреч, был большой и честный разговор с читателем, после которого мы, пожалуй, впервые ощутили, как много могут значить для человека несколько рифмованных строк, второпях набросанных на вагонной полке.

Но для меня лично эти поездки были связаны с другим, может быть, и не большим, но весьма существенным открытием.

Это началось ещё в Москве. Я зашёл в правление Союза писателей РСФСР — недавно меня «приняли в писатели», и мне надо было получить членский билет. Я робко шёл по длинному коридору мимо огромных, похожих на крепостные ворота дверей с фамилиями, известными всей стране.

Вдруг одна из дверей с лязгом открылась. Вышедший из неё человек внимательно посмотрел на меня и улыбнулся неожиданно, увидев на моём лице целую гамму оттенков растерянности:

— Заблудились? А вам кого?

Я, откровенно говоря, не знал, кого именно мне нужно, а потому доверительно сообщил самое, на мой взгляд, важное:

— Я из Красноярска…

Человек оживился:

— Из Красноярска? Послушайте, а как там чувствует себя… — и последовало имя поэта.

Я не придал этому значения вначале — может быть, просто знакомый. Но вот начались поезда, начались «города и веси», выплыла из весеннего тумана древняя Вологда, похожая на русскую сказку — лёгкими сверкающими куполами соборов, ажурной резьбой крестов, удивительными иконами Дионисия и фантастическими деревянными церквами, построенными триста лет назад прототипами «Мастеров» Вознесенского.

И всё чаще и чаще я слышал эту фразу, ставшую неожиданным стереотипом: «Из Красноярска? А как там чувствует себя…»

В Архангельск мы прибыли утром. Тяжело и холодно дышало Белое море. В порту, пропахшем рыбой, неистово визжали лебёдки. Тёмные пузатые сейнеры нервно покрикивали, пытаясь протолкаться поближе к грузовому причалу.

Нас встречал молоденький кинооператор. Он снимал нас то на фоне моря, то у портального крана, то подзывал рыбаков в штормовках, которые с хмурым интересом рассматривали нас.

И я уже не удивился, услышав от суетливого «киношника» традиционную фразу:

— Из Красноярска? А как чувствует себя Игнатий Дмитриевич Рождественский?

А Игнатий Дмитриевич чувствовал себя плохо. Ведь поэты — это не бесплотные ангелы и не бесстрастные пророки с куском стали вместо сердца. Сердце у них обыкновенное — человечье. Несчастье, тяжкое и нелепое в своей неотвратимости, ударило из-за угла. Ударило в самое сердце…

Таково было моё маленькое открытие. Я увидел воочию, что «Красноярск» и «Игнатий Рождественский» воспринимаются в разных уголках нашей страны как-то слитно, неделимо. Имя поэта стало духовным выражением огромного самобытного края, и невозможно их теперь разделить, как невозможно разделить душу и тело.

И ещё. Я увидел, как близко принимают самые разные люди всё, что связано с жизнью человека, знакомого им только по стихам. Поэт стал частичкой их самих, и если больно поэту — больно тысячам и тысячам людей, которым он дал крылья. Сотни людей просили меня передать Игнатию Дмитриевичу какие-то слова — порой неуклюжие, но всегда искренние и тёплые.

И я подумал: а в чём секрет? Какая сила роднит поэта с самыми разными людьми? Какой ценой даётся та великая власть, когда тысячи людей смеются, когда тебе смешно, и плачут, когда тебе больно?

Может быть, правы полусумасшедшие философы, и в каждом из нас в древних глубинах прапамяти, на дне подсознанья, бродят ещё затухающие огоньки первобытной веры в колдовство и потусторонний мир? И поэты — последние жрецы угасающего детства человечества? И поэзия — это массовый гипноз с элементами телепатии?

Я смотрел в глаза людей. Им можно верить — глаза не лгут. И я начал кое-что понимать.

Оговорюсь сразу — я никогда не был ни в учениках, ни в близких друзьях Игнатия Дмитриевича. Не по плечу, а ещё больше — не по сердцу мне литературоведческий анализ его творчества. Для этого есть критики. Я абсолютно убеждён, что «поэт поэта не разумеет», потому что каждый поэт живёт в сугубо индивидуальном образном мире и очень туго воспринимает влияние извне. Говоря языком физиков, поэт — это замкнутая система с одной, только ей присущей, структурой.

И всё-таки никто и никогда не находит так быстро общего языка, как поэты.

Что это? Общая радость? Или общая обречённость? Наверное, ни то и ни другое. Просто в самой «вредной в мире профессии» (я цитирую Мейерхольда) — в профессии поэта — есть некоторые детали, которые сильнее разноимённого отталкивания. Ведь Данко, если верить Горькому, был первым профессиональным поэтом. Мы — его грешные потомки.

Игнатия Рождественского я увидел впервые в 1958 году. Я приехал в Красноярск после окончания Московского университета, был молод, горяч и нетерпим.

На трибуну взошёл сухощавый высокий человек. За толстыми стёклами очков скорее угадывались, чем виделись, неистовые детские глаза.

— Вот здесь сейчас читали стихи…

И пошёл, что называется, «большой разнос». Попало мне, попало Зорию Яхнину, Аиде Фёдоровой, Майе Борисовой, которая тогда жила в Красноярске.

И странное дело — сбивчивая и страстная речь Рождественского не казалась злой, хотя точное значение слов, которые он говорил, было весьма суровым. Несмотря ни на что, Рождественский верил в поэзию, верил в её существо — и эта вера вопреки «погромным» словам была понятна и близка каждому из нас, каждому, сидящему в зале.

Игнатию Дмитриевичу было тогда 48. Мне — 23. Первый сборник Рождественского «Северное сияние» вышел в 1936 году. По непроверенным сведениям, я в это время соединил непослушные звуки в первый слог — «ма»…

Видимо, многие из читателей Игнатия Рождественского удивятся, узнав, что он москвич, а не коренной сибиряк.

Для меня стихи Рождественского всегда будут не порождением редких подмосковных лесов, а дикой и шальной вольницей таёжной глухомани, бетховенской чистотой линий сибирских сопок, мощными аккордами проснувшейся древней земли.

«Мы диалектику учили не по Гегелю», — сказал Маяковский. Каюсь — Сибирь я учил по Рождественскому. Теоретически, так сказать. И потом, разъезжая по краю, бродя по тайге, встречая людей тайги и тундры, я не уставал поражаться точности и какой-то внутренней верности поэтического

слова Игнатия Дмитриевича. У меня было такое ощущение, что я уже был здесь, что я давно знаю этих людей.

Мы плывём по медленному Кассу,
С Касса пробиваемся на Кеть.
И в пути не мешкаем ни часу:
Надо в Маковское вовремя поспеть.

Харч берём у бывших староверов,
Что живут века средь сосняков.
У стогов встречаем, у вольеров
Безбородых сильных кержаков.

Ни порогов на реке, ни качки,
Только рябь на плёсах голубых.
Рослые лукавые кержачки
Зазывают на берег мирских…

Певец родного края… Я как-то не очень люблю эту стереотипную формулу. Все мы, в конце концов, певцы — пусть не солисты, а то, что в древнегреческих трагедиях обозначалось словом «хор», — однако все песни наши вскормлены родной землёй. Тут нечем особенно гордиться.

Сейчас, кстати, появилось что-то много этаких «певцов» в разных областях страны, для которых старая Русь, русская история и самобытные черты разных уголков России превратились в экзотическую самоцель, в этакое интеллигентское «самобичевание»: ах, какие мы нехорошие, за квантовой механикой позабыли, что наши деды в лаптях ходили. И звучит в таких виршах затрёпанный мотив бегства на природу, противопоставление лаптей модным туфлям, шишковский призыв к «посконности».

Что привлекает меня в поэзии Рождественского — так это чувство времени. Самые могучие и высокие кедры со всем арсеналом таёжных чудес не заслоняют от него телеантенны. И Игнатий Дмитриевич эти антенны принимает восторженно и чётко, ибо они — приметы века, приметы будущего, идущего на смену прошлому.

Часто это бывает просто яркая и точно увиденная деталь. Хотя бы вот концовка стихотворения, которое я цитировал выше:

Пахнет краской, солнцем разогретой,
От жары сомлев, ослаб тальник…
И дымит болгарской сигаретой
Старовер — весёлый проводник.

Двумя последними строчками «взорвана» экзотика кержацкого края — так же, как взорвана дремучая жизнь медвежьего угла яростным ритмом двадцатого века.

Десятки поэтических книг написаны Рождественским. И каждая из них — как дверь в неизвестный дотоле мир, как новая грань многоцветного и чистого таланта. Перечислять стихотворения, посвящённые Сибири, нашему краю, бессмысленно, ибо все они пронизаны Сибирью, как сосны — солнцем. Цитировать их тоже не имеет смысла. Стихи Рождественского и так знают, песни на его слова — поют. Я хочу сказать о другом.

Однажды в редакцию «Енисея» пришёл немолодой уже человек и положил на стол толстую, переплетённую в кожу тетрадь со стихами. «Хочу напечатать книгу», — доверительно сообщил он. Я начал читать — потянуло нудным, затхлым запахом графоманства.

Человек обиделся: «Но я же учусь у Рождественского. Смотрите — и рифмы такие же, и ритм, и всё остальное. Чем мои хуже?»

Я, откровенно говоря, не смог объяснить ему толком. Внешне оба стихотворения были похожи, как близнецы. Но в одном билась живая кровь, а в другом не было ничего, кроме чернил.

Рождественский относится к той категории поэтов, которым нельзя подражать. Его поэтика — предельно проста, порой нарочито прозаична. Иногда стихи держатся только на одном внутреннем горении, на взвинченности чувств. И ещё на чём-то, чему нет названия и чего не выделить никаким анализом.

Но вот как раз это «что-то» и делает его поэтом любимым и уважаемым.

Обычно говорят: «Поэт много ездит, и впечатления жизни…» и т. д., и т. п. В этом есть доля истины — Рождественский действительно знает край лучше, чем кто-либо. Работа корреспондентом газеты «Правда» оставила властный и неизгладимый след в его творчестве. Поэт и сам пишет:

Вся жизнь проходит «на колёсах»,
Всю жизнь ведёшь с пространством спор
Среди лесов многоголосных,
Среди громоподобных гор…

Но ведь мало этого. Мало видеть — надо увидеть, надо, чтобы люди смогли оглядеть мир твоими глазами. И здесь командировок — творческих и нетворческих — явно недостаточно. Секрет поэзии — где-то глубже, дальше.

Может быть, биография? Да, поколение Рождественского рано стало мудрым:

Нам не стелилась скатертью дорога,
В сугробах сами пробивали след
И на пути друзей теряли много,
Идя сквозь вьюги раскалённых лет.
Своими повидали мы глазами
Горящие деревни и стога,
Свирепое нас пеленало пламя,
Баюкала горластая пурга.
Гроза нас исступлённая ласкала,
Свистели пули, как бурундуки,
И молнии высокого накала
До срока обжигали нам виски…

Но ведь тот человек, пришедший в редакцию, видимо, тоже прожил жизнь не менее трудную и яркую.

Почему же всё-таки именно Рождественский, почему именно этот учитель с Крайнего Севера стал большим сибирским поэтом?

Говорят — талант. Удобное слово — убедительное и непонятное…

Вот он входит в комнату Союза писателей — высокий, подвижный, колкий. Через год он будет справлять свой шестидесятилетний юбилей, но даю честное слово — я, не заглянув в биографический

справочник, не смог бы определить его года даже приблизительно. Это человек без возраста, человек, который не умеет быть старым.

Я люблю его детскость. Пока он не успел рассмотреть, кто в комнате, его лицо надменно и сухо. И лишь удостоверившись, что посторонних нет, он сбрасывает маску чопорности. Как из рога изобилия, сыплются анекдоты, смешные детали, свои и чужие — чаще чужие — стихи.

И комната, минуту назад унылая, преображается. Сначала улыбки, потом хохот — и вот уже убелённый сединой и отягощённый славой поэт превращается в озорного мальчишку, от метких каламбуров которого никому не уйти.

Это отнюдь не профессиональная привычка быть в центре внимания. Это искренняя радость быть среди людей — радость заразительная и кипучая.

И ещё — доброта. Доброта, которая в Рождественском как-то очень естественно сочетается с яростной непримиримостью. Шутка у него легко переходит в сарказм, сарказм — в необидную шутку. Он похож на тайгу, так любимую им, — она добра к добрым и зла к злым.

И вдруг Игнатий Дмитриевич задумывается. Это случается неожиданно, на полуслове. Словно на полном ходу останавливается скорый сорванным случайно стоп-краном.

Был с тобой я в годы штормовые
Сердце к сердцу, а не далеко.
Тяжело с тобой, моя Россия,
Тяжело… И всё-таки легко.

Трудно сказать такие слова. Их надо пережить.

Иногда кое-кто, особенно из молодых, обвиняет Рождественского в излишней восторженности, «бесконфликтности», что ли. Грешен — и мне такие мысли приходили в голову несколько лет назад. Теперь я думаю иначе.

Во-первых, поэты бывают разные. Легко воспламеняющейся, горячей натуре Рождественского холодный аналитический подход просто противопоказан.

Во-вторых, надо лучше знать его стихи, читать внимательнее. И хорошо помнить, когда и как написано то или иное. И не забывать, что писали в это время другие.

Игнатий Рождественский — это живая история красноярской и сибирской поэзии, со всеми её взлётами и спадами, открытиями и ошибками.

В 1927 году в газете «Красноярский рабочий» было напечатано его первое стихотворение. В 1946 году — задолго до рождения многих его читателей — стал членом Союза писателей. Он стоял у истоков Красноярской писательской организации, растил и пестовал творческую молодёжь края.

Большая и красивая жизнь. А жизнь прожить, как известно, — не поле перейти.

Вот он сидит передо мной, внезапно побледневший, с каплями пота, выступившими на лбу. «Сердце болит», — каким-то чужим равнодушным голосом говорит Рождественский. А у меня в голове звучит пастернаковское:

Но старость — это Рим, который
Взамен турусов и колёс
Не читки требует с актёра,
А полной гибели всерьёз.
Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлёт раба.
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.

Судьба… Высокая и трудная судьба поэта — вырвать из груди сердце и идти, освещая им путь остальным людям. Идти до конца. До последнего шага.

Разрушать легче, чем строить. Обвинять легче, чем искать правду. Критиковать легче, чем писать. Истины, которые не стареют, потому что мы слишком часто забывали о них.

А Игнатий Дмитриевич пишет. Пишет много.

Я знаю: завтра я снова встречу Игнатия Дмитриевича — высокого, подвижного, колючего. И будут сначала улыбки, потом хохот — потому что вечно молод этот добрый и вспыльчивый человек, молод своим молодым искусством, своим восторженным и удивлённым видением мира, неистовой влюблённостью в Сибирь, в красноярскую тайгу, в эвенкийскую тундру, в хакасские степи.

Он будет шагать по комнате и читать стихи, слегка закинув голову, словно видит что-то, доступное ему одному, что-то удивительно красивое и зыбкое. А потом вдруг покраснеет и скажет нарочито небрежно: «Это новое. Вчера написал».

Я сказал, что не отношу себя к «ученикам» Рождественского. Это всё-таки не совсем верно. Я действительно далёк от него в смысле «формальном» — иначе я отношусь к ритмике и рифме, ко всей архитектонике стиха, к его смысловой и эмоциональной динамике. Мне ближе ледяное пламя математически точного слова, бешеное неистовство ассоциативных переходов, скользящий контрапункт противоречивых тем.

Мне никогда не удастся так легко и удивительно органично ввести в ткань стиха местные сибирские словечки, завораживающее «шаманство» удивительных названий рек, деревень, мест:

Костяника раскидала бусы,
Обнимает лиственница ель,
Зыбуны, ехидные чарусы,
Облака над топью светлорусы,
Как девчонки северных земель.

Или: Максимкин Яр, остяцкая «столица»,
Безвестное селенье на Кети…

Это — не просто аллитерация, это — музыка, это ели, гудящие под ветром, словно огромные камертоны.

Но в одном мне хочется быть похожим на Игнатия Рождественского. Когда мне очень больно, когда тупой чинуша единым взмахом карандаша ставит под угрозу смертельно опасную работу многих лет, когда солнце становится тусклым, и сердце начинает давать перебои, и теряешь веру в справедливость и разум — я хочу, как Игнатий

Рождественский, встать с высоко поднятой головой, я хочу, как он, верить в бессмертное гражданское начало поэзии, в способность искусства переделывать мир.

Игнатий Рождественский для меня, да и для многих других, дорог своей политической прицельностью, своей идейной убеждённостью, сознанием высокой ответственности перед временем и народом за каждую свою строчку.

Всей своей нелёгкой жизнью заслужил он право быть поэтом, право быть учителем и другом тысяч людей.

А люди умеют быть благодарными. Они ценят не славу, а слово — живое, тёплое человеческое слово, которое помогает жить.

Славу добыть не так уж трудно. Слово — труднее, потому что рождается оно в чудовищном аду сверхчеловеческих напряжений, в горячечном накале смертельных температур, в хрусте космических перегрузок.

Вот он идёт сейчас по улице большими, чуть неуверенными шагами — высокий сухощавый человек в пальто с поднятым воротником, в меховой шапке «пирожком», в очках, из-за которых смотрят на мир задумчивые детские глаза.

Остановитесь. Поклонитесь ему и скажите: «Здравствуйте, Игнатий Дмитриевич…» Это очень хорошее слово — «здравствуйте». Оно доброе и многозначное, как Сибирь и Россия.

«Голос его по-прежнему звонок…»

«Помню, на Днепровском плацдарме сидели мы, голодные, отрезанные от наших рекой, и вовсе нам не до стихов было. Ночью на плацдарм переправились свежие части. Мы подались к «новичкам» «подстрелить» на завёртку табачку. В норке, по-стрижиному вырытой в яру, мелькнул огонёк. Я туда. Подхожу и слышу: «Всю ночь в тайге буянили метели». Родной, не раскатистый, не цветистый, а простой, чуть суровый голос долетел до далёкого Днепра. Долетел — и чертовски тепло от него стало. Я выпросил тогда у пехотинца газетную вырезку с этим стихотворением и долго таскал её в нагрудном кармане».

В. П. Астафьев

«Всё это время провёл с твоими стихами в запахах сибирской тайги, в тонких красках енисейских вёсен, книжка получается очень интересная, полная сибирских, твоих, особых рождественских красок…»

Из письма поэта Льва Ошанина
И. Д. Рождественскому

«Радуют меня стихи Игнатия Рождественского. Хотя его нет среди нас более, голос его по-прежнему звонок, а стихи его бессмертны. Восхваление родного края — вот что свойственно ему в его стихах, в которых он ведёт задушевный разговор о Сибири и сибиряках. Его сборники «Северное сияние», «Голубой вымпел», «Костёр над Енисеем», «Тропинки Родины моей», «Сквозь годы», «Сердце русское» завоевали огромную симпатию читателей. Превосходное знание края и восторженная влюблённость в суровую красоту его природы, в его людей, уважение к прошлому, вера в светлое будущее — вот живой родник, из которого бьёт ключом поэзия И. Д. Рождественского. «Верность — верность Родине, верность родной Сибири, верность любимой» — отличительная черта его, по словам поэта В. Луговского. Поэтический дар Игнатия Рождественского был поистине подобен течению родного Енисея, который становится всё глубже и полноводнее. Великий жизнеутверждающий пафос свойственен многим его стихам».

Оксана Нефёдова, учительница

Игнатий Рождественский

Я себя не мыслю без Сибири

Ох и холодно, звёзды — и те посинели,
И Венера от стужи ушла в облака.
Бросив вызов морозу и дикой метели,
Ты идёшь по застругам, озябнув слегка.

Ох и ветрено здесь, на границе России,
Ни сорок не увидишь, ни шустрых синиц,
Не двойные тут рамы вставляют — тройные,
Надевают лохмашки поверх рукавиц.

Как артистка, уходит луна за кулисы,
Хилый ельник морозом сражён наповал,
Отдают тебе мех чёрно-бурые лисы,
Мех, что звёзды и шорохи ночи вобрал.

Гулко колются льды, и летят снеговеи,
Круг полярный, как обруч, лежит на пути,
Ты шагни за порог, разожги камелёк поживее,
Пусть погреются звёзды, к себе их впусти.

А меня? Нет, не стану напрасно проситься,
Всё равно никогда не поладим с тобой.
Вот я слышу, как тихо скрипят половицы,
Или, может, то снег заскрипел голубой.

По полярному кругу иду неуклюже,
Без объятий твоих мне житьё — не житьё.
И, не выдержав дьявольской стужи,
Разрывается кедр, словно сердце моё.

Белая ночь

Нам открывается Север. Над нами
Встало, тайгу озарив,
Белых ночей осторожное пламя,
Света туманный разлив.

Белые ночи. Спокойно на сердце.
Нас не преследует мрак,
Это чтоб я на тебя насмотрелся:
Дня не хватало никак.

Это чтоб я любовался тобою,
Это чтоб нам не спалось…
Вьётся белёсый дымок над трубою,
Вахтенный дремлет матрос.

Громко вздохнуть мы с тобою не смеем,
Чтоб не вспугнуть красоты.
Белая мгла над родным Енисеем,
Белых черёмух кусты.

Где и когда ты встречала такое?
Молча с тобою стоим.
С берега машет рыбачка рукою,
Счастья желает двоим…

Любовь у нас немножечко иная,
Чем у других. Мы вместе много лет,
Но я тебя как следует не знаю
И, видно, так и не узнаю, нет.

Ни на перроне зимнего вокзала,
Ни у реки бурливой по весне
Слов, от которых сердце б замирало,
Ни разу ты не говорила мне.

А я их ждал не днями, а годами,
Я бредил ими, тосковал о них,
Не угасало ожиданья пламя
В краю пурги и в далях ледяных.

И нынче жду, как прежде, терпеливо,
Они во сне мне слышатся, а ты —
А ты молчишь, как северная ива,
Что поднялась из вечной мерзлоты.

Север

Он тебе покажется угрюмым;
Тишина, белесый небосвод…
Горький дым над заметённым чумом
Одиноким облачком плывёт.

Тишина… И, может быть, не сразу
Ты заметишь в сумрачной ночи,
Как в снегах, невидимые глазу,
Непокорно плещутся ключи.

Как, в мохнатом облаке позёмки,
На пластах полярной мерзлоты
Вырастают гордо камнеломки —
Голубые смелые цветы…

Здесь тепла земле недоставало,
Люди здесь суровые на взгляд,
Здесь к тебе присмотрятся сначала,
А потом с тобой заговорят…

Цветы тундры

Они мохнаты, как зверьки,
Цветы высокой параллели,
Их сроки жизни коротки,
Их солнце греет еле-еле.

Они растут у снежных груд.
Их вьюги сотни раз отпели,
И всё-таки они цветут
И дальше к полюсу идут —
Цветы высокой параллели.

Рица

Ты мне часто будешь сниться, Рица,
Откровенье сердца моего.
Чаровница? Может, чаровница.
Волшебство? Пожалуй, волшебство.

Озеро ты или сновиденье.
Не пойму… Лишь ветер, да орлы,
Да библейских гор столпотворенье,
Да наплыв зелёной полумглы.

На каменьях остывает пена,
Искорки на землю оброня,
Но тебе скажу я откровенно:
Ты не обижайся на меня.

Где легенды, где живые были—
Не поймёшь, но, синь твою любя,
Признаюсь: тебя перехвалили,
Слишком возвеличили тебя.

Говорю тебе не для укора:
Там, где иней падает с ветвей,
Не однажды видел я озёра,
Что тебя красивей и светлей.

В зыбком свете северного лета
Льют свои студёные струи́,
Не прославленны и не воспеты,
Скромницы сибирские мои.

К ним не только гордой автострады—
Нет тропы охотничьей пока,
Их секут глухие снегопады,
Застят грозовые облака.

Их в неволе держит лёд метровый,
Но, сполохам пламенным сродни,
Чистоты, красы своей суровой
Не теряют никогда они.

Всё вокруг такое русско-русское,
Всё кругом родное из родных.
Яблоня сияет белой блузкою,
Сотканною из цветов своих.

Забрела ракита по колено
В синеву лесного озерка,
Иволга поёт самозабвенно
В сумерках зелёных ивняка.

Прославляя полночи сиянье,
Веющей сиренью и сосной,
Соловьи вступают в состязанье
С местною эстрадой областной.

Нет, нигде мне не дышалось легче,
Ветры все печали унесли…

Ученица, дочь тверской земли,
Говорит мне: «Ландыши расцветши».—
Вместо принятого—«расцвели».

Чего ты хочешь, ну, скажи на милость:
Чтоб я затих, ушёл чтоб на покой?..
Да если бы река остановилась,
Она бы перестала быть рекой.

Её, немую, захватила б ряска,
Её ползучий задушил бы мох…
Мне, как реке, нужна большая встряска,
Порогов бешеный переполох.

Чего ты? Да не хмурься, ради бога,
Пойми меня, ведь я тебя люблю.
Дай побурлить, поклокотать немного,
И не серчай за то, что пошумлю.

Ты никогда не опасайся шума,
Воде—и той неймётся по весне,
А камни вон весь век молчат угрюмо.
Но что за прок в их мёртвой тишине?

Пойми меня, не успокоюсь сроду,
У тишины всегда мне быть в долгу,
Пускай не выплыть на большую воду—
Всё ж с быстриной расстаться не смогу.

Струись же вдаль, иди в простор со мною
И полюби навеки быстроток,
И знай из этих сокровенных строк,
Что даже и последнею волною
Крушить я стану старости ледок.

Перед разлукой

Река дымилась утром ранним,
Гудели сонно провода
Перед последним расставаньем,
Перед разлукой навсегда.

Звезда, подобная алмазу,
Сияла скупо январю…
Теперь ни разу… Да, ни разу
Я на тебя не посмотрю.

К чему раздор, не знаем сами.
До звёзд тебя бы я вознёс
Такую—с гордыми бровями,
С глазами, чистыми от слёз.

Такую—в инее крылатом,
Как в горностаевых мехах,
Со взглядом грустным, виноватым,
Без слов, забытых впопыхах.

Побудь со мной ещё мгновенье,
Не торопись последний раз…
Мороз до белого каленья
Или тоска доводит нас?

Дай шарф погладить твой струистый
И прикоснись ко мне сама…
Останься ты такой же чистой,
Как наша русская зима.

Сердце русское

Всё ты вынесло, сердце русское.
Я склоняюсь перед тобой.
Ты справлялось с любой нагрузкою,
Не сдавалось беде любой.

Знало, гордое и могучее,
Много горя и маеты.
И за проволокой колючею
Капли крови теряло ты.

Над апрельской суровой Леною,
На полях тяжёлых побед
Кровь твоя не сгорит, священная,
Кровь твоя не остынет, нет!

Каюсь, мало тебя жалели мы,
Мало нежили мы тебя,
Под шальными ты шло метелями,
Ненавидя, скорбя, любя.

Шло ты к правде горами-кручами.
Поклониться тебе позволь.
И терзали тебя, и мучили,
Но тебя не сломила боль.

У тебя ночами морозными
Брал тепло и румын, и чех…
Породнилось с луной, со звёздами
Сердце русское раньше всех.

Как светильник ты над отчизною,
Сила, совесть, любовь её—
Сердце русское, бескорыстное,
Неподкупное ты моё.

Зима опять перестаралась,
Зима беснуется опять.
Метели чувствуют усталость,
Но не ложатся отдыхать.

Всё дуют, не переставая,
Затеяв поздние бега.
Заря тускнеет огневая
И зарывается в снега.

Да полно, полно, март ли это?
Ответь, что мартовского в нём?
Хотя б одна весны примета!
Идут в метелях день за днём.

Но в этой белой круговерти,
Где снег взвивается столбом,
Летит весна в твоём конверте,
Как небо марта, голубом.

Мой край

Где ещё найдёшь края такие—
Хоть пройди полсвета, полземли?
Здесь у нас потоки буревые,
Соболя, пшеницы наливные,
Лиственницы, скалы, хрустали.

Здесь у нас морошка и черника,
Сливы, не боящиеся зим,
Люди здесь от мала до велика
Хлебосольством славятся своим.

Где найдёшь места такие в мире?
Столько птиц и рыбьих косяков!
Столько леса, пашен и лугов!
Столько светлой, необъятной шири!

Я себя не мыслю без Сибири,
Без моих родных сибиряков!

Может быть, хотя б одной строкой
Я останусь в памяти людской.
Может быть, растением одним,
Одолевшим непогоды зим.

Может быть, хоть капелькой воды,
Что сады спасала от беды,
Хоть одним весёлым огоньком
Буду жить в признании людском.

Чайка

В ясные воды залива,
Пробившись сквозь штормы и лёд,
Входит неторопливо
Стройный морской теплоход.

И чайка—комочек пены,—
Волну задевая крылом,
Спутницей неизменной
Летит за своим кораблём.

Там, у Полярного круга,
В бури, в туманы, в тьму,
Чайка не бросила друга,
Не изменила ему.

Я говорю без утайки
Той, что как жизнь люблю:
Надо учиться у чайки
Верности кораблю.

Борис Петров

Тунгусу от «тунгуса»

Воспоминания об Алитете Немтушкине

С Алитетом Немтушкиным мы были знакомы больше 30 лет. Фигура в Красноярском крае известная, со своим, как теперь говорят, «брендом». Произнесёшь имя, и само просится продолжение: «известный эвенкийский поэт». Вот я хотел удержаться и в первом предложении избежал, а потом всё-таки само получилось. За эти годы у меня на полке собралась целая библиотечка его книг, большинство — с авторскими надписями. В том числе такой: «Борису — тунгусу от тунгуса». Я сначала воспринял её как поэтическую вольность, тем более — почти в рифму. Ну какой я тунгус? Однако позже в шутливой фразе обнаружился глубокий смысл…

Если не изменяет память, познакомились мы в январе 1969-го на суглане в эвенкийском посёлке Суринда. Что такое суглан, я где-то писал, но для тех, кто не знает, напомню. Тысячи лет эвенки вели кочевой образ жизни, однако два раза в год, весной и осенью, семьи одного рода собирались на определённом месте, чтобы пообщаться, чем-то обменяться, справить свадьбы. Суглан (сухлен) — значит «совет», «примирение»; днём разговоры, по вечерам — песни и круговая пляска «ёхарьё». Вековая традиция.

А при советской власти стали проводить сугланы в виде собраний работников совхоза — с отчётным докладом директора, награждением передовиков, с усиленной торговлей, спортивными состязаниями и художественной самодеятельностью. Для журналистов время сугланов — страда: где в другую пору найдёшь в тайге нужного охотника или оленевода, как до него добраться? А тут все сами собираются в одном месте. Алитет в ту пору работал корреспондентом в Туре, тоже прилетел в Суринду. Для меня, в Эвенкии новичка, он оказался бесценным спутником: всех знал и говорил по-эвенкийски.

— А вон видишь, на костылях прыгает через нарты — знаешь кто? Известный охотник.

— На одной ноге — промысловик? В тайге!

— У него ещё и фамилия интересная — Керенский! Я потом объясню, а сейчас пойдём гостевать в чум, познакомлю со знатным оленеводом Костей Гаюльским, научу мозгачи есть. Знаешь, почему эвенки водку называют «богдарин»? Богдарин — это олень белого цвета, самого красивого, и водка тоже белая…

Ну где бы я сразу столько узнал, кабы не такой гид? Он объяснил, что имя рода Гаюльских происходит от «гайвул» — лебедь, учил меня ездить на лёгкой нарте, бросать аркан-маут, есть мозгачи — под сопровождение богдарина, естественно: какой праздник без него? Тем более что морозы стояли градусов под 45. Нормально!

Кажется, через год прилетаю на суглан на факторию Учами; первый, кого увидел, — опять Алитет. Встретились как старые друзья.

— Пойдём сперва по чумам, с начальством успеешь поговорить! — потащил он меня.

— А удобно? К незнакомым людям…

— Ча! У нас просто — заходи в любой! Обогреют, накормят, беседу с готовностью поддержат.

Так и вышло. Тем более Немтушкина все знали и встречали с особой теплотой. Его стихи читали в газете, слышали в передачах окружного радио. На концерте после суглана пели «ёхарьё» на его слова:

> Летит моя нарта, поёт тайга, шумит тайга!
> Куропаткой белой улетела вьюга,
> Куропаткой белой прилетели ночи.
> Ёхарьё, ёхарьё!

Писал я про Эвенкию довольно много, главным образом о всякой экзотике. Про «эвенкийского Мересьева», одноногого охотника Керенского, про спортивные состязания северян — «оленьпиаду» (сам придумал словечко), про первого эвенка — Героя Соцтруда, знатного охотника Г. С. Бояки. Все приезжие и местные журналисты для московских и красноярских публикаций выбирали именно такие темы, от них и в редакциях этого ждали. Приезжие нередко и привирали для красоты, меня от подобного увлечения Бог уберёг. И помог Алитет.

Но со временем я и сам стал кое-что понимать. Например, почему власти десятилетиями бьются, стараясь внедрить в среде эвенков более прогрессивный капканный лов, а те — даже вот Герой Бояки — его не признают, добывают соболя по старинке, верхом на олене-учуге. Потому, что капканы — это труд на одном путике, а «эвенк по одной тропе дважды не ездит» — он поэт и кочевник. Кстати, с одной ногой в тайге можно соболевать и белковать именно потому, что — верхом на олене. А русские — рослые, тяжёлые, оленчику такого носить на слабой спине не под силу, им приходится по тайге на своих двоих, набитой-то лыжнёй легче!

Писали обычно о достижениях социализма в жизни населения округа: о коллективном труде, школах-интернатах, переходе на оседлый образ жизни. Но я уже тогда был мудрым, все подобные статьи поручал официальным авторам (то есть тексты готовил сам, они только с удовольствием ставили свои подписи). Например, придумал заголовок к выступлению первого секретаря окружкома партии: «Путь столетий за одну жизнь»,

и статью похвалила сама академик Нечкина, автор учебника по истории СССР.

Юношеского восторга в восприятии жизни было немало и в стихах самого Алитета. И экзотикой он тоже козырял в своих выступлениях. В 1980 году мы с ним в качестве делегатов представляли краевую организацию на съезде писателей РСФСР в Москве, и затем у нас было много встреч в школах, библиотеках и трудовых коллективах. Алитет обычно представлялся: «Перед вами—древний человек, я появился на свет ещё при первобытнообщинном строе. Бабушка нашла меня в тайге под колодиной. А ведь могла бы пойти за дровами в другую сторону, и не выступал бы я сейчас перед вами».

Всё это так понятно! Сами посудите: родился он в 1939 году, в войну умерла его мать и погибли четверо её братьев и отец Алитета, его вырастила бабушка, в чуме. Добрые люди и советская власть помогли выжить, окончить интернат-десятилетку, отправили учиться в ленинградский институт. Перед отъездом на совете родственников один бывалый, мир повидавший эвенк сказал: «Учись на инженера! Я видел, как они работают: сидит за столом, в руках только карандаш. Ни топора, ни карабина, ничего—один карандаш! Такая лёгкая работа». И высшее образование юный эвенк получил с помощью советской власти. Как же не быть ей благодарным? Правда, инженером не стал—сам для себя неожиданно оказался поэтом.

Дело в том, что юноша очень тяжело переносил разлуку с родной тайгой. Город был чужим миром, снились картины далёкой фактории Токма на речке Непе, снилась бабушка Эки, друзья детства, чудились запахи тайги, кострового дымка… Однажды в зоопарке он увидел северного оленя. Олень был болен, покорно смотрел на оживлённую публику добрыми обречёнными глазами. Сердце эвенка переполнилось такой бурей чувств, что сдержать их не было никакой возможности. Он пришёл в общежитие, взял лист бумаги и написал стихотворение «Олень». Своё первое стихотворение. Чувства, которые переполняли автора, можно было выразить только на эвенкийском.

Стихотворение Алитет показал своему профессору, тунгусоведу М. Г. Воскобойникову. Профессор похвалил и посодействовал публикации его в окружной газете «Советская Эвенкия». Так весной 1956 года родился поэт Алитет Немтушкин. А уже в 1960-м в красноярском издательстве вышел его первый небольшой сборник «Утро в тайге» с подстрочным переводом. В 1961 году стихи А. Немтушкина появились в сборнике «Север поёт», изданном в Ленинграде, вместе с произведениями чукчи Ю. Рытхэу, манси Ю. Шесталова, нивха В. Санги, ненца В. Ледкова. Имя эвенкийского поэта стало появляться в журналах «Новый мир», «Юность», «Дружба народов», «Дальний Восток», «Енисей». Сборники А. Немтушкина стали выходить почти ежегодно.

Нам, молодым русским авторам, приходилось куда как сложнее. У Алитета первая книжка вышла, когда ему было 22 года, а у меня кое-как пробилась к тридцати четырём. Государство активно содействовало развитию национальных культур и литератур малых народов. Как же было не стать молодым поэтам певцами новой жизни? Тем более—юношеский восторг, звонкое вступление в большой мир, а впереди всё раскрыто настежь…

Но вот ведь поэт, настоящий,—не жилось ему только в состоянии телячьей радости, и грусть о покинутой родине не покидала сердца.

Мой край родной! Мне не забыть о том,
Что только ты судьбы моей начало.
Я вскормлен был оленьим молоком,
И вьюга колыбель мою качала.
Земля родная, спрашиваю я,
Ответь, как сыну, ласково и строго:
Так где ж дорога верная моя?
Моя—и только, никого другого.

А в чём, собственно, проблема? Пережил сын эвенкийского народа трудную военную пору, вместо умерших в лихую годину родителей матерью ему стало советское государство. Выучился в городах наукам, вернулся на родину. Работает журналистом, пишутся стихи, выходят сборники—в чём, как говорится, вопрос? Есть, находились вопросы и проблемы, то и дело появлялись новые, таково наше человеческое бытие. И прорывались стихами. Вот даже о преданном официальной идеологией презрению «дымном чуме» строки появляются грустные:

О старый чум, застывший на пригорке,
За что упрёк тебе я бросил горький?
Что ты плохого в жизни сделал мне,
Мой старый чум над речкой Суринне?

Вот проблема: как в бурных переменах века, которые пришли в жизнь эвенков, сохранить добрые и мудрые традиции народа (не все же они были тёмными суевериями!), как сберечь золотые зёрна души народной, самоцветы национального своеобычия? Некоторое драматическое противоречие зарождается в душе певца. Хотя сохраняется в стихах и много ярких, светлых красок, отданных родной природе, и чистейших звуков любовной лирики. Но «первый профессиональный поэт» своего народа стал всё больше задумываться. И тогда на помощь пришла проза, первые повести: «Мне снятся небесные олени» и «Птицы, вернитесь!».

А поводов задуматься появлялось немало. Сомнения сначала рождались не в политической сфере, а чисто духовные. Чувство вины перед поруганным родным чумом, перед гонениями на шаманов, хранителей национальных традиций. Шаманкой, между прочим, была и родная тётка Алитета—Сынкоик, никогда никакого вреда людям не приносившая, наоборот, старалась только помочь в трудные времена. А её положено было «разоблачать»…

Или школьные интернаты, «деревянные чумы». Спасибо им за всё, однако с годами их деятельность тоже… Странные стали являться последствия. Только представить: с ранних лет—на всём готовом, никакого физического труда, в тепле, сытости, с годами дети отвыкают от родителей. И на глазах выросло поколение… тунеядцев. Не хотят

работать. Парни-то ещё иногда возвращаются в тайгу, хотя и не совсем готовые к занятиям коренными промыслами, а девчат назад в «дымный чум» никакими силами не заманишь! От матерей ничего не переняли, городской жизни не научились, семейных традиций не приобрели. В тайге исчезли невесты, в посёлках парням негде работать. И как с этим быть?

А что происходит с тысячелетне-традиционным оленеводством? Старики-оленеводы вымирают, молодёжь со школьным образованием в пастухи идти не хочет, их же всех воспитывали на правиле: «Не хочешь учиться — станешь, как родители, всю жизнь сопли в тайге морозить!» И оленеводство начало приходить в упадок. Учёные вроде предложили выход: вместо кочевой пастьбы — строить огромные изгороди в тайге, «китайские стены», при которых столько пастухов не потребуется. Идея в условиях таёжного оленеводства оказалась маниловщиной. Животные выбивали корма на ограниченных площадях, отвыкали от людей, становились лёгкой добычей волков. К 90-м годам в округе появились совхозы вообще без поголовья рогатых. Но ведь оленеводство — не просто отрасль, это образ жизни народа! Где исчезали олени, там не оставалось эвенков.

Охота? Но с нею тоже росли проблемы. Тайгу наводняли жаждущие заработать на драгоценных шкурках авантюристы всех сортов, рвачи, хапуги, не признававшие ни стародавних границ родовых угодий, ни охотничьих правил, ни госзакупа, работали только на «чёрный» рынок, расплачиваясь за соболей с местными охотниками, естественно, спиртом.

Тем временем в округе появились нефтяники. Индустриальные перспективы туманили глаза местному начальству: вот он, подлинный прогресс, стоит ли теперь так уж переживать за примитивные первобытные отрасли? «Нефтяная игла» сработала. И покатилось… Особенно с началом либеральных реформ.

Шоковой экономической терапии не вынесли и многие почти цивилизованные русские, чего ж было ждать от первобытных тунгусов? В тайге работы нет, да и привыкли уже как-то обходиться без неё. Стали перебираться в посёлки. А там оставалось одно занятие — пьянство. Оно губило эвенков под корень.

Учёные Института медицинских проблем Крайнего Севера объяснили: у представителей народов, которые тысячелетиями питались почти исключительно мясом и рыбой, в организме не образуются в достаточном количестве ферменты, ответственные за разложение растительной пищи — крахмала, углеводов и… спирта. Северяне оказались физиологически беззащитными перед «огненной водой». Последствия наступили ужасающие.

Вот какие цифры привёл Алитет Немтушкин в своей книге «Всадники на оленях», вышедшей в 1991 году (а ведь тогда главные беды только ещё начинались!). Если средняя продолжительность жизни у мужчин в СССР была 64 года, то у северян — 42. По первой переписи в России 1897 года было зарегистрировано более 70 тысяч тунгусов, в 1939-м — уже 40 тысяч, в 1959-м — только 19 тысяч. А в 1970-м о численности эвенков вообще не стали сообщать, дали общую цифру по малым народностям. Вот о чём всё с большей горестью, порой с отчаянием стал писать «первый профессиональный поэт» — о драматической судьбе своего народа. Иногда прозой, чаще в жанре прямой публицистики, голосом беды: «Не могу молчать!»

Коли уж у меня получился такой «приём» — рассказывать об Алитете через своё личное восприятие и по ходу дела иногда сопоставлять то, что писал он, с моими выступлениями, то упомяну коротко, что и я пытался кое-что высказать.

В одной из статей в правительственных «Известиях» заявил, что реляции властей, будто кочевой образ жизни северян ушёл в прошлое, суть лукавство. Да, деревянные дома в посёлках построены, но обитают в них лишь служащие разных учреждений, а оленеводы со своими семьями и большинство охотников, то есть основные производственные категории населения, кочуют по-прежнему.

Писал о судьбах оленя-«дикаря» и новых формах хозяйства — госпромхозах, о «чёрном» рынке пушнины («Соболь из-под полы»), о варварском поведении ворвавшихся в дикую природу геологических банд («Гром над тайгой» — знакомые геологи на меня за эту корреспонденцию очень обиделись)…

Наверное, мало писал о наступающих бедах северян, надо было больше. Но ведь за мной числились не только Эвенкия и Таймыр — весь огромный край с Хакасией плюс Тува, и везде тоже проблем хватало. А потом случилось так, что я из столичной газеты вообще ушёл. Зато Алитет в это время стал заметным общественным деятелем.

В 90-х годах он то работал советником в администрации при губернаторе, то возглавлял ассоциацию малых народов Севера. Но скоро понял, что поэту в этих «структурах» делать нечего.

— Они только и заняты, что разрабатывают «проекты», всякие чиновничьи мероприятия да пересылают бумажки из кабинета в кабинет, — жаловался он мне при встрече.

Зато официальное положение помогало ему регулярно выпускать новые книги. Чего нашему брату, не «национальному кадру», в 90-е годы вообще не удавалось. Книги эти — сборник «Метки на оленьем ухе», повесть «Дорога в нижний мир» и другие — были наполнены страстными рассуждениями о судьбе своего народа, его настоящем и будущем. Воспользовавшись разрешённой вдруг свободой, Алитет стал показывать, что происходит в округе на самом деле.

Оказалось, что праздники-сугланы превратились в головную боль начальства — после каждого в округе считали трупы: сколько погибло в пьяных драках, замёрзло, застрелилось, умерло от перепоя. Оказалось, что прославленный бригадир оленеводов Константин Гаюльский (у которого в чуме мы гостевали и мозгачили в Суринде), член КПСС и герой многих газетных очерков, с юности обладал даром общения с духами и камлания.

Шаман с партбилетом! Его даже возили «лечиться» в психушку, как настоящего диссидента. Да мало ли что оказалось и стало видно совсем по-другому. И об этом писал Алитет.

Рассказ «Солнышко» — так по-эвенкийски назвали девочку, весёлую, красивую, радующуюся жизни. Как ей не хотелось расставаться с родителями!

Но забрали, силою увезли в посёлок. Как тосковала первое время в интернате, как не могла привыкнуть к «правильной» пище… (В другом очерке Алитет писал: попробовал его приятель бананы и сказал: «Мыло», выбросил; привёз знакомый детям гостинец — арбуз, те попробовали и заявили: «Вода!» Стали играть им в футбол.) Но девочку всё-таки сломали взрослые тёти, приучили. А характер не переделаешь — выросла северная красавица доброй, весёлой, доверчивой. А с такими качествами в нашем мире трудно прожить счастливо.

Воспользовался доверчивостью заезжий русский специалист и, естественно, бросил с ребёнком. От горя, от обиды, от жгучих слёз она ослепла, живёт с сынишкой и прилепившимся к ней дружком-пьянчужкой, вместе пьют. Вдруг вызвали её в город на операцию. Но… сожитель ехать отговорил: ведь перебивались только на её пенсию по инвалидности, а вылечат — пенсию отберут, на что жить? Профессии у обоих никакой, да и зачем работать, если можно существовать на халяву? Пусть слепая, зато все сытые. И пьяненькие — довольные… Страшный рассказ. Но знаю: Алитет его не выдумал.

«Дорога в нижний мир» — повесть о том, как в одно лето осиротела культура округа. Два талантливых художника, самородок — исполнитель песен на эвенкийском языке, работник дома народного творчества. Кто утонул, кто умер от болезни, последний — повесился. И все — из-за пьянства. На моё ощущение, автор даже переборщил в натуралистических описаниях некоторых пьяных сцен, читать неприятно.

Я понимаю: он слишком хорошо знал «материал» — сам ведь в своё время чудом спасся от той же беды. Чудом и с помощью врачей. Я, между прочим, помогал ему устроиться в лечебное учреждение. Он в тот раз показал мне справку, которая меня потрясла. В ней было написано, что пациент Немтушкин страдает алкоголизмом… с шестилетнего возраста! Это не анекдот — жестокая реальность.

Как раньше воспитывали эвенки? Пусть ребёнок сам постигает жизнь, все её радости и трудности; на словах ничему не научишь, а разок обожжётся — поймёт, что такое огонь. Хочет курить? Пусть курит, коли нравится. В учёной педагогике это называется «принципом естественных последствий», сформулированным ещё Жан-Жаком Руссо. Выживет — от него пойдёт крепкое потомство… Алитет сам шибко обжёгся, повторяя судьбу многих соотечественников. Но нашёл в себе силы победить змия и писать, писать.

Должен заметить: знаю, что пересказывать содержание повестей в очерке про писателя — дурной тон. Однако книги-то, о которых я вспоминаю, выходили тиражами от пятисот до тысячи экземпляров, достались далеко не всем даже интересующимся читателям. А я старался следить за тем, что выходило из-под пера старого товарища. Между прочим, написал заметку о нём для «Литературной энциклопедии», несколько рецензий в периодике, как-то раз мы вместе жили в доме творчества «Переделкино» — о многом поговорили.

В пору «перестройки» Алитет и я горячо приветствовали перемены, демократические лозунги и решения — в надежде: ну наконец-то! Настоящая, избранная народом власть, пришедшая на смену зашоренной идеологическими догмами партийной номенклатуре, — уж она-то разберётся и начнёт делать разумные шаги… Но эйфория развеялась быстро: на деле стало ещё хуже.

Рассчитывать, что законы рынка, «невидимая рука Адама Смита», поставят всё на свои места и наведут порядок в жизни даже северных народов, — Бог мой, это ж, по крайней мере, наивные иллюзии, если не уголовно-наказуемая глупость!

Силой тащить народ к счастливой жизни, как её понимают либеральные реформаторы, в «цивилизованное» общество, не считаясь с вековыми традициями, с моральными и мировоззренческими устоями, — помилуйте, ведь мы всё это уже проходили! Только идеологемы сменились на противоположные, а методы — те же самые! Одни хотели с помощью шоковой терапии мирового масштаба заставить эвенков из первобытнообщинного строя с языческими верованиями впрыгнуть в социализм. До социализма не допрыгнули — пришли другие, стали гнать в «постиндустриальный» строй… «Из нас душу вынули! — с болью определил поэт. — Наши духи от нас отреклись, покинули нас за то, что мы легко, бездумно отказались от своих имён, от прежней жизни, своих обычаев, за то, что, не научившись строить дома, сожгли свои чумы, веками спасавшие нас от ненастий и несчастий…»

Кстати, насчёт имён. Так получилось, что у эвенков их стало по два. Тот же Герой Соцтруда Георгий Степанович Бояки — он с детства получил эвенкийское имя Чургини — «капелька». «Только вы не пишите, — смущённо попросил в разговоре, — а то в окружкоме партии будут ругаться». Но мне показалось эвенкийское имя таким выразительным (в характере героя, как в капельке, отразился талант всего народа), что я даже свой очерк в «Известиях» так и назвал: «Чургини». Ничего, обошлось. Вот и фамилия Алитета — это записанное в паспорт прозвище («немтушка» — немой или неразговорчивый человек). А настоящее родовое имя его — Хэикогир, что значит «тундровый человек». Этим «псевдонимом» Алитет подписывал свои газетные заметки и таким образом сохранил.

Вот вспоминаю всякие детали биографии ушедшего от нас человека и писателя, драматические зигзаги истории его народа, терзавшие чуткую душу поэта, а сам то и дело замечаю, какие слова слетают на бумажный лист: шоковая терапия, из отсталости — к цивилизованному обществу, коренное реформирование образа жизни, допотопные моральные устои, демографическая яма… Ей-богу, я не нарочно подбирал — лексикон реформаторов

30-х и 90-х годов один и тот же. И цели одинаковые: всё поломать, заставить тунгусов жить по новым законам! А у них в языке и слов-то «рыночных» нет — «товар», «деньги», «прибыль». Даже простого слова «замок» не имелось: не нуждались тунгусы в этом атрибуте частнособственнических отношений. (Первые шесть замков привёз на Енисей воевода Андрей Дубенской для амбаров с государевым добром — пушниной.) Ничё! Английских словечек побольше нахватаем — фьючер, дилер, киллер…

Пишу и думаю: а вот за это меня поднимут на смех — экий заскорузлый обскурантист! «Патриот», понимаешь ли, за народ переживает… Патриот теперь — обязательно только в кавычках… Странное дело, тунгусу Немтушкину защищать свой народ можно (я так понимаю, потому, что происходящее с эвенками уж очень наглядно, страшно и бесспорно), а мне, просто русскому, за свой народ переживать зазорно — только если в кавычках. Вот такой получился любопытный итог рассуждений о судьбе и творчестве эвенкийского поэта и моего доброго товарища А. Н. Немтушкина. И что же мне теперь — надо ждать, когда из русских тоже окончательно вынут душу и они станут вымирать так же «наглядно», как эвенки? Если так, то… действительно, и я тоже тунгус. Неужели это имел в виду угадавший нашу перспективу Алитет в своей шутливой надписи на подаренной книге?

Александр Ёлтышев

Время собирать метеориты

Упал мужик в осеннее ненастье,
на лбу — шишак, в карманах — ни шиша,
и до пупа распахнутая настежь
загадочная русская душа.

А жизнь вокруг то тлела, то кипела,
шли мимо люди, листьями шурша,
и покидала стынущее тело
в его плену уставшая душа.

Не сокрушив вселенского порядка,
бесшумно, словно в шарике прокол,
нырнула в вечность русская загадка…
Сержант Пасюк составил протокол.

Ох, до чего же было жарко —
до помутненья в голове,
на берег вытащил байдарку
и растянулся на траве.

Июльский зной дышал в затылок,
листва пожухла на кустах,
земля усталая застыла
на разомлевших трёх китах.

Не слышно щебета пернатых,
ни шороха, ни ветерка,
на плёсах и на перекатах
хрустально замерла река.

Лишь время лёгким колыханьем
едва дрожало над рекой…
Я не тревожил и дыханьем
притихшей вечности покой.

Тунгусский феномен

Время собирать метеориты —
острый зуд гуляет по рукам,
у Земли растянута орбита,
как в броске стремительный аркан.

Между двух российских революций
поразив империю в упор,
век назад космическое блюдце
вызвало землян на разговор.

Или, оглушённый перегрузкой
в двести предстоящих хиросим,
огненным пророком над Тунгуской
бешено пронёсся херувим.

Мы в ответ кричим проникновенно,
но язык общенья — на нуле:
каменную азбуку Вселенной
взрывом разметало по Земле.

Потому-то для людей закрыты
тайны внеземного языка:
время собирать метеориты,
россыпью пронзившие века.

Мятежникам

Мятеж… Как нежно это слово —
и не рычит, и не клокочет,
оно ласкать тебя готово
и, словно пух, тебя щекочет.

Взгрустнуть в порыве безутешном,
красиво пузо подобрав,
и со слезой назвать мятежным
свой скверный нрав.

Материалы читательской конференции по роману Николая Душки «Причина ночи»

В диалоге со Всеобъемлющим

В ноябре 2010 г. — полгода со дня ухода из жизни одного из самых парадоксальных и глубоких русских прозаиков конца XX века, писателя Николая Душки. Николай Николаевич был постоянным автором «ДиН»; можно даже утверждать, что именно наш журнал открыл его творчество для широкой публики. Роман «Причина ночи» опубликован в третьем номере за 2009 год. Публикация сразу же стала предметом обсуждения — во Всемирной сети и, позднее, — так сказать, «в режиме реальности», — в Красноярской краевой научной библиотеке. Автор, конечно, на реальную встречу приехать не смог, но в Интернете общался с читателями живо и заинтересованно, и никто даже представить не мог, что этому живому общению и всем надеждам на дальнейшие встречи будет положен предел уже следующим летом. Но — рукописи не горят. Настоящие Художники — не умирают. Писатель остался в каждой строчке своих удивительных книг. За что великая ему благодарность, низкий поклон и вечная память!

Роман Николая Душки «Причина ночи» — произведение, по форме очень сложное, но созданное, на мой взгляд, не ради формальных упражнений и не из стремления эпатировать публику. «Причина ночи» — роман о юности и поисках счастья поколения нынешних «отцов». Роман о творческой молодёжи 80-х. Лично мне эта книга сразу напомнила знаменитый фильм Шахназарова «Город Зеро», вышедший на экраны в 1988 году. Только у Николая Душки оси координат смещены нашим — уже радикально изменившимся — зрением.

Марина Саввиных, 5 сентября 2009 г.

«Если хочешь летать, выбери тёмную безлунную ночь, когда и собаки не лают, и почивают волки, не мяукают совы, и люди, люди — чтоб спали без задних ног. Тогда и лети, лети, куда летится, расправь руки, вдохни свежий воздух полной грудью — и почувствуй, как много вас, душ, в бездонном небе, тут и там, сколько обольстительных ведьм, и мохнатых ведьмаков, и другой всякой нечисти вдохновенно несётся рядом с тобою. Знайся с нечистью, лети вместе с ней по чёрному беззвёздному небу, возьми за руку ведьму или ведьмака возьми за хвост, дружи с ними, делай всё, что хочешь, не бойся их, с ними можно всё, здесь всё можно, нельзя только одного: чтоб люди догадались…»

«Роза росла так близко к тропинке, что тех, кто спешил, она жалила, не желая зла; цепляла шипами, царапала до крови. Может, из-за этого её и срубили, а может, она замёрзла зимой, а может, — да, ведь и такое бывает, — время её прошло.

И розы нет теперь там, и других цветов тоже. От розы остался пенёк — дулька, которая торчит из земли. Возле дома сидит собака на цепи. И днём, и ночью ходит она, бестолковая, вокруг будки. Грунт окрест вытоптан её лапами и выбит цепью. Ни травинки нет рядом. Земля вокруг, куда только достаёт цепь, гладкая и противная, как лишай на теле животного. Она сыроватая и даже как будто немного отражает солнце…»

«Сначала появились сумерки. Но они кончились враз. Темнота сгущалась. Наступила ночь. На четырнадцатый этаж поднялись легко и быстро. Как на второй. Посланник был вынослив, как марафонец, часть этой выносливости перешла и к человеку. Это — несомненно. На крышу взлетели быстро».

«— Упал он, что ли?
— Нет, прыгнул. Посмотри, как расправлены руки».

«В вышине летали души. То были птицы и, может, кто-то ещё.

В Старом Пруду в это время было утро…»

Николай Душка. Причина ночи

Тема первая

Обмен метафорами

Марина Саввиных. *Вопрос автору.* Видите ли вы эстетику абсурда как отправную точку своего романа?

Николай Душка. Конечно, нет. Хочется начать издалека. Какова эстетика Гоголя? Своя. Совсем недавно перечитываю «Анну Каренину». И вижу: у Льва Николаевича нет подтекста. А у Николая Васильевича — есть. И он, Гоголь, постарше будет. Ну и дела! Почему? Мог бы и поучиться Лев Николаевич. Ведь небывалая художественная штука — подтекст. Но Льву Николаевичу это было совершенно ни к чему. Ему хватало и своих средств для изображения мира. Это бесконечное, откровенное признание всего и вся самому себе. Зачем ещё какой-то там

подтекст?! Эстетика Льва Николаевича могла обойтись без этой технической чепухи… Делая вселенский пробел и не останавливаясь на логических ухищрениях, могу сказать сразу: у каждого автора, если он творит, хочет сказать что-то такое, что до него не говорилось, скорее всего, своя, единственная и неповторимая эстетика. И современники могут не понять её, что чаще всего (может быть, просто часто) и бывает. Эстетику группы, объединения выразить легче. Импрессионизм. Абсурд. Экзистенциализм. А если всего этого не хватает, чтобы выразить художественную истину? Скорее всего, так и случится, если у автора есть что сказать, сказать то, что никто не знает. И хватит ли ему для этого одного, допустим, абсурда? Вряд ли! Бесконечно преклоняясь перед Беккетом, роняя слёзы бессилия перед его персонажем в неосуществимом желании помочь его Моллою, как я могу понять тот воз натурализма, воз ненужного хлама, вещей, недоступных мне, который Беккет тащит за собой? Не могу. Марина Олеговна, не исходил я из абсурда, чтобы построить свой роман. Конечно, я постарался проникнуть во все закоулки литературы, да и искусства вообще, старался как мог, и, кроме того, мне не хотелось повторять того, что открыли другие, общих мест, если и не для всех, то уже для меня, и если бы я сказал, что использовал эстетику абсурда, то соврал бы вам бессовестно. Эстетику абсурда я взял, возможно, подсознательно, не понимая до конца, что я там взял, а может, взял ещё что-нибудь, мне было всё равно, что брать, мне хотелось понять, почему—ночь, и я брал всё, что было у меня под рукой, а под рукой было всё, что я только мог понять и прочувствовать, всё, что способен был я осознать на ту минуту своего восприятия мира… Если вам показалось, что ответ на ваш вопрос неточен, постараюсь сказать как-нибудь иначе.

Марина Саввиных. Значит, всё дело в том калейдоскопе, что вставлен в читательский глаз? А вопрос-то один: почему ночь? Можно, саму себя процитирую? «Ты можешь представить себе—*ничто?* Оно—чёрное? Но—чернота бархатная, родная, баюкает, мурлычет… нет в чёрном страшного. Какое оно—ничто? Никакое? Ни формы, ни цвета, ни вкуса, ни запаха? *Его—нет?!*» Это—моя Ночь. Она—добрая… А ваша ночь—злая?

Николай Душка. Ночь, причину которой искал персонаж, а вместе с ним и автор, не моя, она вокруг. На любом клочке той земли, где только ступала нога моего героя. Она—в действительной жизни и в виртуальном пространстве, она начинается в головах, там, где, как известно, начинается и разруха… Я не нашёл причину, но, думаю, немного приблизился к ней. Даже уверен—приблизился…

Михаил Стрельцов. Из романа вовсю торчат уши «Белки» Анатолия Кима. Можно сопоставить эти два произведения—просто текстологически. Увидим множество перекличек. Хотя писали-то авторы о разном.

Марина Саввиных. Возможно, эти сопоставления—а их можно продолжать—не продвигают нас в понимании «Причины ночи». Мы видим, что произведение—так или иначе—вписано в очень серьёзный контекст. И это—убедительный плюс нашего разговора, что, помимо романа Николая Душки, мы обращаемся к множеству забытых, полузабытых и просто не читанных (и не смотренных) вещей. Роман таки нас подталкивает куда-то. Каждого—по его индивидуальному пути. Но… Для многих—я получаю и такие отзывы—он остаётся недоступным. Поэтому, может быть, проследить за какой-либо индивидуальной читательской реакцией? Миша, как ты читал? расскажи—что тебя притянуло-оттолкнуло? какой образ собственного понимания у тебя возник? ну… банально—с твоей точки зрения—*про что* это?Автор говорит—про ночь. Он хотел найти ответ на вопрос: почему ночь? Но это ведь—метафора? А на метафору только метафорой можно ответить… Рационализировать это дело, по-видимому, не удастся… Или читатель—в меру своего кругозора—отвечает автору, извлекая из подсознания (из памяти?) другие метафоры (я—Шахназарова, ты—Кима…). Или?..

Михаил Стрельцов. Конечно, я стал сравнивать только с одной целью: показать, о чём роман и в каком контексте я его читал. Автор ставит заманчивые крючки, чтобы удержать читателя, когда действительно читать становится тяжело. Загадка-задачка: зачем это написано? что хотел сказать автор? Ассоциации с Кимом помогли. А вот к «Городу Зеро» никак не сворачивало моё чтение, ибо шахназаровский фильм—о разрухе, а Ким и Душка—о созидании, вернее—о попытках созидания, иногда приводящих к разрухе, но не мира, а личности. Словом, их романы—о таланте. Его зачатках, развитии, опасности, губительности… Возникновении и исчезновении таланта на глазах, не видящих этого процесса, как тёмное и тихое время суток, года, жизни. Так я прочитал роман. Выстроил теорию, на которую он меня натолкнул, а затем искал в тексте подтверждения… Хотя— гораздо важнее, на мой взгляд, в романе то, как автору удалось пронести вместе с явными бременами забот и недугов огромный и удивительно хрупкий мир детства, настолько свой и одновременно общий, вязкий от бесплодных попыток осмыслить происходящее… Подглядывающий ребёнок. Вот соседский Цыган пьяный гоняется за женой. Уморительные только для ребёнка его же «казаки-разбойники» со свиньёй. Кража капусты, когда «и сторож… жив, и собачка жива». Наверное, у каждого в детстве был такой же вырубленный ссохшийся розовый куст—вернее, пенёк от него. У меня был. И невольно автор ввергнул, вернул меня в детство, очистил от налипи обретённого ила. И сделал хорошо. И стало хорошо.

Марина Саввиных. Дело ведь не в том, с чем сравнивать произведение… Дело в том, *как* мы его видим, в какой сетке координат. Для меня

и «Город Зеро» — к «совку» не имеет отношения! Кто-то написал (не помню кто), что «Город Зеро» — «масонский» фильм: он весь — шифровка, иносказание, метафора. Как «Волшебная флейта» Моцарта — «масонская» опера. Вот и «Причина ночи» — «зазеркалье», головоломка, метафора. Несколько линз, управляющих нашим зрением. И если «Лестницу в небо» Ланы Райберг можно читать и обсуждать, прямо апеллируя к содержанию, то в «Причину ночи» можно въехать, только пользуясь сооружённой автором системой линз.

Понимаете, люди? Это роман не о советской действительности и не о жизни в общаге. Это роман — о творчестве: о его тотальном бедствии в социальном пространстве и столь же тотальной трагической победе… ну, в вечности, если хотите…

«Город Зеро» обладает такой же (или очень похожей) визуальной системой… Град Икс — Градикс: путь к нему и из него. Вообще — образ пути в никуда, бега на месте. Безумный автобус, где водитель — царь и бог, а пассажиры в пути начинают жить какой-то обособленной автобусной жизнью… деревня, где режут и душат свинью — снова и снова, словно линза чуть сдвигается, изменяя порядок наблюдаемых вещей… и вот уже не свинью режут, а Цыган гоняется за Настей с ножом… и вот уже ребята воруют капусту… абсурд и триллер — фантазм иссякает, возникает брезжущая реальность. Всё это взаимно отражается друг в друге: фантастический Градикс — исторический Харьков — почти реалистический Старый Пруд… И временнáя воронка, в которой всё это перекручивается так, что нить невозможно отделить от нити…

Очень важно, Миша, *как* мы смотрим. Я смотрю эту вещь, как смотрят калейдоскоп. Мне кажется, такой способ чтения и предлагает нам автор. Впрочем, может быть, я ошибаюсь.

Николай! Ау!!! Что вы сами скажете? А! Да! Это Сергей Кара-Мурза назвал «Город Зеро» — «Волшебной флейтой» перестройки.

Николай Душка. Попал в западню. «Белку» не читал, «Город Зеро» не видел. Темнота.

«Причину ночи» обсуждать как-то робею. Ночь началась, когда ребёнок впервые захотел сбежать из дому. И продолжается до сих пор. Чтобы понять это, пишу. Примерно то же Кафка искал в окрестностях Замка. Обрадовало, что и вы, Михаил, и вы, Марина Олеговна, смóтрите на мою работу не как на опыт формотворчества, а примерно так же, как и я.

Михаил Стрельцов. Согласен про сетку координат. Над «Городом…» можно хохотать и плакать одновременно. Эта калейдоскопичность есть и в романе «Причина ночи». Но мне ближе всё-таки щемление и удивление — автор неистребимо несёт в себе мир детства. И это главное. Но не согласен про сооружённую автором систему линз. В том-то и дело, что она уже была сооружена современной литературой, автор просто её умело использует. Безусловно, привнося и своё. Вот, в принципе, о чём я хотел сказать. Если же рассуждать про абсурд, то я это слово понимаю иначе, нежели его сейчас толкуют. Абсурд — проявление Божьей воли в нашем мире, как раз и доказывающее — знаками — существование Бога. С этой точки зрения — целиком и полностью разделяю абсурдность романа. От неё, как от сошедшего к нам чуда, становится хорошо на душе — в чём, собственно, и заслуга произведения искусства. Абсурд же «Города Зеро» — поздняя трактовка этого термина. Дескать, после Ницше Бога у нас отобрали, а проявления остались; по инерции художники абсурда всё делают шиворот-навыворот, не привнося хорошее и чудесное, только недоумение, боль и грустный смех.

Марина Саввиных. Ну, ребята, началось… архетипические комплексы. У меня: «Город Зеро» — абсурд… обэриуты… Платонов («Чевенгур»)… Замятин («Мы»)… и пр. У Николая: абсурд — Кафка (а кто бы спорил?!)… У Миши: «Белка»… которую я не читала… и некоторый свой абсурд… Теперь можно вспоминать очень много — про саму эстетику абсурда и её продуктивность сейчас…

Елена Тимченко. Можно я тоже чего-нибудь брякну?

«— Вы любите Кафку?

— Ага. Особенно грефневую!» ◡̈

Хотя вот я-то Кафку точно не люблю, зато Гоголя люблю. Заинтриговали, пойду читать Душку.

Марина Саввиных. Вот! для чего и весь сыр-бор! Бегом — читать Душку!

Тема вторая

Искусство читать

Анатолий Якубов. Ну, всё-таки решился вмешаться в разговор со своими «прымхами», хотя прочитано только чуть больше половины текста. Так что, простите, это не анализ, а впечатление.

Я долго не мог понять, как строится особая, мне, во всяком случае, не знакомая, атмосфера вязкости текста. Всё время не за что ухватиться, нет никакой возможности нащупать опору под ногами. Ощущение стрёмное и завораживающее. Было совершенно непонятно — как это сделано, но вот возник Харьков, и всё стало проясняться. Это был не Харьков, а харьков, и «Пулемёт» — не «Пулемёт», а «пулемёт», да и памятник Шевченко стал памятником шевченко, и прошвыривался герой по сумской… Все места, приметы, люди лишены вещности, конкретности; несовпадение с реальными местами, вещами, характерами — очень, как мне кажется, интересный ход, заставляющий читателя двигаться по той дороге, которую для него наметил автор, а не противопоставлять мысли авторской свою. Здесь какой-то иной мир, в котором человек не может быть ни в чём уверен, здесь нет правил, органичных и понятных для обыденного разума.

…Ещё раз повторю, что это ни в коей мере не анализ, а просто попытка сформулировать свои впечатления от прочитанного.

P. S. На Сумской не продавали пирожков (а уж тем более беляшей) нигде, кроме как в «Пульмане» и пирожковой у Чучéла. Все эти прелести были выше и ниже—у Благбаза и на Пушкинской возле большого гастронома. Из окна «Пулемёта» невозможно увидеть памятник Шевченко, он слишком далеко. Нельзя в одном месте было купить кофе и паштет, кофейная стойка всегда была отдельным (пардон за тавтологию) отделом. Все разговоры, да и вообще всё общение никогда не задерживалось у столиков, перемещалось, ясен пень, на «Болото», аллейку, что шла от Театрального отделения до Совнаркомовской, на которую выходили, кстати, окна и входы Харьковского гб. Извините, что придираюсь. Читаю-то с удовольствием.

Николай Душка. Ваш комментарий воодушевил. Вспомнился Харьков, настоящий, а не придуманный мною. Конечно, ясен пень, как вы выражаетесь, кофе и паштет продавали в разных местах. Могу поклясться вместе с вами, что так оно и было. И все ваши придирки тоже радуют. Жаль, что не могу вас угостить чашечкой кофе без всяких там сортов, а просто «в зёрнах», прямо сейчас. Вся эта атмосфера, которую вы называете всякими красивыми словами и которая «непонятная», окружает меня… Успевай только записывать…

Марина Саввиных. Две последние реплики достойны «фиксации», как любят выражаться наши прожжённые методологи. Вот ведь оно—зеркало, линза в глазу писателя, превращающая знакомую нам реальность—в изменённую, узнаваемую и незнакомую… Николай и Миша возмутятся, наверное, что я снова туда же, но ведь это всё тот же «принцип Зеро»—всё узнаваемо и незнакомо. Чуть смещена ось. И… вот, скажем, Анатолий это видит «невооружённым глазом», потому что в Харькове живёт, а мне это видно только с помощью неких специальных (культурных) приспособлений—потому что я в Харькове даже не была ни разу и не знаю его вовсе. Как же мы читаем? Каким путём автор ведёт нас к цели, которую он перед собой поставил? к Причине? Ночи? которая в головах людей, как разруха? Ведь многие бросают читать, не дотянув до второй страницы… не понимают—и не хотят прилагать усилий, чтобы понять…

Анатолий Якубов. Попробую продолжить пересказывать свои впечатления от текста. И от текстов вокруг текста.

О «Зеро» и зероподобии. Фильм я смотрел давненько, как только он появился на экране. Ощущения от него (самые положительные) остались довольно чёткие. Прежде всего, он не показался мне абсурдистским—отличный социальный гротеск, хорошо знакомые из жизни вещи надуваются, как воздушные шарики, теряются правильные пропорции, становится ясна суть вещей… В книге же, кажется, применён обратный ход. Я бы назвал это сгущением обыденного, словно бы варенье уварили до консистенции мармелада. И автор, а за ним читатель, идёт вперёд, с усилием продавливая себя сквозь эту тягучую, пружинистую реальность слов и мыслей. Здесь невозможно увидеть, что было несколько шагов назад; люди, с которыми ты расстался только что, при новой встрече уже изменились так, что лишь имена подсказывают тебе, что это они же. Да и с именами тоже «непонятка»—как захочу, так и назову. Имени своему соответствовать надо… Или имя должно соответствовать тебе…

P. S. Марина Олеговна, что—читатель идёт за автором, а не прётся, куда захочет? Да и не очень уверен в том, что Николай готов стать Вергилием для путешествующих по его текстам.

Марина Саввиных. Да прётся, конечно, Анатолий! Куда захочет, туда и прётся… но тут вряд ли далеко пропрёшься—вы же сами видите: вязко, того и гляди—утопнешь. Кто не любит вязнуть и утопать—тот дальше и не идёт. Раз свинью душат, два свинью душат, три—свинью режут уже… дык, оказывается, свинья-то и не свинья вовсе… Вдруг вспомнился Вознесенский—жуткая (это не оценка, а ощущение) его поэма «Оза», где вот так же кого-то режут для пиршества, а этот кто-то… он как бы… Автор?!

«…мне нравится тот гарсон
в засахаренных джинсах с бисером».

Ну и… поворачивает оглобли не любящий таких путешествий читатель. А кто любит такие путешествия—тот, видимо, начинает резонировать с автором своими фантастическими образами. У кого-то они из жизни—говорит же Николай, что у него всего такого—только записывай! но чаще из культуры—что-то гоголеподобное, зероподобное, кафкоподобное… Вот сегодня только получила письмо из Омска, от писательницы Галины Кудрявской, соседки Николая по номеру «Дня и ночи». Она пишет: «Дорогая Марина! Бандероль получила, спасибо. Номер отлично оформлен. Начала читать «Причину ночи», напахнуло Платоновым; может быть, дальше это и развеется…» Мне кажется, что главное достоинство «Причины ночи»—роман расшевеливает в нас скрытые творческие возможности. Николай! Ведь посмотрите—сколько хорошего народу *прочитало-таки* роман! Прочитало, а не глазами равнодушно пробежало! И это ещё не все здесь высказываются. Да. Я уже поняла, что роль Вергилия по собственным текстам Николаю как-то не идёт. Он сделал то, что сделал: реперы расставил, декорации прикрепил—на нескольких сценах идёт вроде бы одна и та же трагикомедия, однако—не одна и та же… и вся эта гомерическая конструкция медленно поворачивается перед ошеломлённым зрительным залом… Инсталляция. У нас должна открыться атавистическая способность фасеточного зрения, чтобы удерживать это всё и в одномоментном восприятии, и—разворачивая во времени…

Анатолий Якубов. «Роман расшевеливает в нас скрытые творческие возможности». Да я, собственно, об этом и говорю. Мы (читатели) достраиваем мир сами, сами пробиваем дорожки

к своей жизни (а кто и к своему тексту). Но всё же мне кажется самым важным осознать, что реальность текста не гротескна, для текста методом является сгущение будней. И, кажется, даже время здесь нелинейно, это не вектор, а совместность точек, для которых важна не взаиморасположенность, последовательность, а соприсутствие. *Существование* прожитого важнее, быть может, его причинно-следственных связей… И вопрос к читавшим: вижу, что сказовая форма вроде бы не присутствует, при всём при том ощущение сказа у меня всё равно не просто существует, но прямо-таки нависает, «аки зверь» какой-то там. Это что—мои личные особенности восприятия, или действительно что-то в этом есть, а если есть, то как это сделано?

Сергей Курганов. Толя, я не совсем уверен, что из последнего (если считать от оперного театра) окна «Пулемёта» нельзя было увидеть памятник Шевченко. Это стоит проверить. А вот то, что пирожки («Пирожочки—как пушочки!»—приговаривали продавщицы) продавали на Пушкинской (и поэтому я, возвращаясь домой из физматшколы, шёл по Пушкинской, чтобы покупать пирожки), а не на Сумской—я подтверждаю.

Анатолий Якубов. Не видно. Знаю точно. И, кстати, на памятнике есть солдаты с ружьями. Это мелочи, но интересны тем, что сбивают реальность, заставляют её «дрожать».

Сергей Курганов. Конечно, есть солдаты с ружьями! В красноармейца с винтовкой и в девушку-комсомолку, похожую на Лилю Брик, во время второй оккупации стреляли немцы, и на памятнике остались следы от попаданий.

Марина Саввиных. Как вкусно, ребята! *Как вкусно!* Совершенно согласна с вами, Анатолий… Конечно, «совместность точек, для которых важна не взаиморасположенность, последовательность, а соприсутствие. *Существование* прожитого важнее, быть может, его причинно-следственных связей». Именно—так.

Существование—важнее (я сейчас подумала: вот он, постэкзистенциализм…).

И сказ вам не мерещится—вот и Кудрявская пишет: Платоновым «напахнуло». Только этот сказ такой—многоголосый… Голоса—из разных точек того «пространства-времени», которое вы называете «существованием».

А вот как он наши ностальгические струнки ущипнул—эк пошли воспоминания, да какие яркие, живые! ведь в любом городе есть такие памятники… помню, во Владивостоке мы гуляли с другом в парке, напоминающем Зону из «Пикника на обочине»,—бывший детский городок, превратившийся в руины. Страшнее всего были развалины летнего кинотеатра с облупившимися «фресками» на стенах: галстуки, горны, звёзды—головка Ленина-малыша с трогательными кудряшками… и болезненное чувство невосполнимой утраты.

И наша «тоска по мировой культуре»… Ах, Эль Греко, Микеланджело, Леонардо… это всё про нас—а как же! И то, как однажды ты ощущаешь себя *автором* собственной жизни—и очень скоро понимаешь, что эта позиция вовсе не была вакантной—за неё придётся не на жизнь, а на смерть стоять, воюя… чёрт его знает—с собственной тенью? В общем, да… это не социальный гротеск. И с «Городом Зеро» сходство, может быть, чисто формальное…

Сергей Курганов. Дорогой Толик! Я отважился на проведение маленького краеведческого эксперимента и отправился в бывший «Пулемёт». Эксперимент показал вот что. Если ты пройдёшь в самый дальний (от оперного театра) зал «Пулемёта» и подойдёшь к самому последнему окну, то *сразу* памятник Шевченко ты, разумеется, не увидишь. Но дело в том, что у этого окна имеется очень большой подоконник. Если ты сядешь на него или как-то иначе непосредственно приблизишься к окну, то памятник будет виден! Не так уж он и далеко, как тебе показалось.Ты можешь повторить мой опыт и убедиться в этом сам.

Анатолий Якубов. А кто ж тебе позволил бы в отдел соков унести с собой кофейную чашку? Её на вынос даже на биомицин не давали! Да и окна были тогда двойные. Так что, С. Ю., эксперимент не чист, однако. Ага.

Марина Саввиных. «Харьков» Душки побудил С. Ю. к исследованию Харькова натурального.

Сергей Курганов. О да!!! ◡̈

Николай Душка. Ваши прогулки по Харькову напоминают экскурсии по Дублину в поисках следов Улисса… Как бы ночью не напала какая-нибудь мания…

Сергей Курганов. Ну да, мы получаем как бы Харьков культуры, а не Харьков обыденный… Спасибо!

Николай Душка. Очень рад, что вы восприняли меня не только как автора, но и как, возможно, думающего человека… Когда следил за вашими и Анатолия наблюдениями, спрашивал себя: почему же в самую ответственную минуту люди с ружьями спрятались за другими, уже безоружными людьми? Что ж они так?!. Из Харькова я уехал тридцать лет назад и больше не возвращался туда. Хотелось бы узнать, конечно, как вам сам роман…

Анатолий Якубов. Если бы что-то не зацепило, я бы отмолчался. Говорил я, конечно, не о Харькове. Харьков—один из элементов построения атмосферы *повести.* Я ценю это умение создать среду повествования. Текст сделан уверенно, большими шагами, читается без насилия над собой. Пожалуй, единственная претензия (или, если хотите, неудовлетворённость читательская)—финал. Книга дочитана до последнего слова—и всё. Не происходит ничего, что заставило бы увидеть всё прочитанное иначе, понять, что ты всё понимал не так, что всё на самом деле было иначе, чем тебе казалось. Но это, ясное дело, вкусовщина. Теперь, пожалуй, можно сформулировать, что прочёл я вашу прозу с удовольствием. Спасибо.

P. S. Мне не кажется верным жанровое определение вашего текста, как романа. Вообще-то,

если честно, после «Доктора Живаго» и «Жизни и судьбы» я в русской литературе ни одного романа не встречал. Были распухшие повести, ожиревшие рассказы, даже раздутые афоризмы, а вот романа — не было. Наверно, пришло время иных жанров. А у вас — и по объёму большая повесть, и в этом нет ничего непрестижного и проч. Слава Богу, у вас нет каких-то особых длиннот в тексте.

Тема третья

Атмосфера диалога

Михаил Стрельцов. Николай Николаевич, а как вам вообще идея обсуждения вашего произведения в Интернете? Согласен, роман вызвал порой неожиданные ассоциации. Хочется узнать, вы сами почерпнули что-то новое из этого обсуждения? И второе: насколько известен роман в вашем городе, какое к нему отношение показало местное, так сказать, литературное сообщество?

Николай Душка. Попробую ответить обстоятельно. Обсуждение в интернете мне по душе — больше даже не то, что говорят о моей работе, а вообще сам разговор о литературе. Как только вы написали, что я помог вам найти какое-то художественное решение, сразу же захотел спросить вас, какое именно. Но постеснялся. Не рискнул выглянуть лишний раз… Ваши высказывания и ваши мысли подтолкнули меня вспомнить всё то, что имеет отношение к теме — в искусстве, вспомнил всех Венер — от Джорджоне до Мане, вот сейчас говорят о Харькове-харькове, и я думаю, что и тот город, в котором я живу, описываю не таким, как он есть, а снова-таки выдуманным, почему так выходит?… и Винсента вспомнил с его «Церковью в Овере», кто бы стал спорить, что она не такая, как на самом деле?.. Долго думал про абсурд, откуда он возникает… Вспомнил, как мне открылся Платонов, и человека, который сказал: «Почитай Платонова»… Вот такая польза. Известен ли мой роман в наших краях? Это сложный вопрос… Иных уж нет. Читал этот роман В. В. Нешумов, член редколлегии «ДиН». Сегодня в городе таких литераторов, к сожалению, нет. В конце апреля прошёл вечер памяти поэта. В следующем апреле, вероятно, тоже пройдёт. Стихи, воспоминания… В городе меня читают друзья, но литературное сообщество?! Можно, я промолчу? В Белгороде, это областной центр, есть отделение Союза писателей, и там, скорее всего, есть и литературная жизнь. Меня там иногда печатают. Роман «Ограниченное пространство» выпустили отдельной книгой — это клише вам знакомо, рассказов тройку в альманахе… Но почему-то то, что выходит в области, в области и остаётся… Ни одной строчки после выхода романа, никакого отклика. Думаю, что это не совсем правильно. А если говорить о читателях, то, думается, они находятся не всегда по месту жительства. Мне кажется, что сейчас с Читателями мне повезло.

Марина Саввиных. Вот,оказывается, откуда этот творческий ген… Нешумов. Ещё бы! К сожалению, я не знала его лично. Но всегда радовалась его поэзии. Ведь и вы, Николай, пишете, чтобы радовать… помню, как вы писали, что надеетесь меня порадовать. Вам это удалось! И наш разговор удался, по-моему. Спасибо вам!

Михаил Стрельцов. Для того, видимо, и был создан журнал «День и ночь», чтобы творчество не оставалось «у себя». В Красноярске такая же беда: как правило, всё остаётся внутри небольшого сообщества и дальше не идёт. Отвечу про Харков-харьков, как понимаю. В моих произведениях, заметил, город приобретает черты различных городов, где я жил и бывал. В нём уживаются кемеровский ЦУМ и мысковская сопка, здание из одного города перекочёвывает в другой, и это правильно. Город — как существо, а не как география, у всех городов есть общее — живое и мёртвое в них. Наверное, поэтому М. О. обратилась к «Городу Зеро» — к общему образу. А мне помог решить свою творческую задачу — розовый куст, т. е. идея детского подглядывания, ибо наблюдательностью это состояние ещё назвать нельзя. Подглядывание через ощущения. И действительно, что-то мы забыли Платонова. А он — тоже свои ушки, вернее, ушки чевенгуровской Розы, встрепенул в романе… Ещё раз спасибо за произведение. Оно не читается на бегу, заставляет современника вернуться к исконному состоянию Читателя.

Из письма Николая Душки Марине Саввиных

Марина Олеговна, спасибо за обсуждение, тёплые слова и слова возвышенные, время, которое вы и ваши друзья подарили мне. Хотелось бы надеяться, что это не потраченное, а приобретённое время… Буду рад узнать, что думают те читатели, которые встретятся в библиотеке. Для друзей моё сердце и мой почтовый ящик всегда открыты.

Ещё раз спасибо!

Из письма Ланы Райберг (США)

Я тоже, как здесь уже признавались, смогла прочесть «Причину ночи» не с первого раза. Но, втянувшись, получила истинное наслаждение.

На самом деле возникает много ассоциаций — с собственным опытом и переживаниями. Можно сравнивать эту вещь с уже известными вещами известных писателей. А может, не нужно? Текст совершенно уникален, это микрокосмос — далёкий и узнаваемый одновременно. Мне понравилось, что автор совершенно не заботился о лёгкости повествования. То есть он не ставил перед собой цель — развлекать или поучать. Он просто создал реальность, в которую можно войти, совершив некоторое усилие.

Из письма Анатолия Якубова (Харьков)

У Душки, кажется, путешествие по собственным жизням — сбывшимся и нет, по снам своим, страшным и лёгким.

Из статьи Владимира Крайнева (Старый Оскол)

С Николаем Душкой я встретился на презентации его романа «Причина ночи» в Российском обществе современных авторов. Слышал разные мнения, чаще всего звучало такое: «Зачем нужен читателю очередной суицид? И так вокруг столько тёмного, мрачного, и тут такой печальный конец».

Душка не стал объяснять свой замысел.

Перечитывая очередной раз роман «Причина ночи», я обратил внимание на эпизод о том, как из тел, изнурённых бестолковой, бессмысленной жизнью, исчезают души, которые не удержать живущим автоматически людям: поел, выпил, поспал, на работу. Ни стиснув зубы, ни крепко сжав кулаки. На меня тоже снизошло просветление.

Если душа исчезла из тела, которое ещё живёт и здравствует, - значит, она умерла. Вот почему, следя за сюжетной линией, названной Николаем Душкой «Дорога», я постоянно вспоминал фамилию его тёзки — Николая Васильевича Гоголя.

…У Николая Душки в «Причине ночи» пострашнее, чем у Гоголя. Здесь действуют живые люди с мёртвой душой или совсем без души. О злых и жестоких людях говорят: «Бездушный ты человек».

Причина ночи в том, что темнота наступает от бездуховности человека.

Мальчик, юноша, мужчина… вспомните, как он разбирается всю свою жизнь, почему же нет равенства на Земле. Однажды в электричке увидел у бездушных, равнодушных (ровные души) пассажиров это «равенство». Высокие горбились, чтобы не казаться таковыми. У кого спина не гнулась — стояли, скривив ноги. Хорошо было тем, у кого короткая шея, а кого судьба приплюснула — тому и вовсе не повезло.

У всех бедолаг-пассажиров, они и сами этого не понимали, не знали, потому и не страдали от такой потери, не было восьмого чувства — человеческого достоинства.

Но нет в финале никакого суицида. Мужчина не захотел бессмертия, не продал свою душу дьяволу. Его даже добряк-водитель с сатанинским хвостом в свой автобус не взял, пешком топать 150 вёрст отправил.

Об умершем человеке говорят: «Он отдал Богу душу». Мужчина и отдал Богу душу. В финале романа звучит: «Утром в вышине летали души. То были птицы и, может, кто-то ещё».

А разговор двух обывателей:

«— Упал он, что ли?

— Нет, прыгнул. Посмотри, как расправлены руки».

Вспомните строчки, написанные Душкой про маму и балерину:

«Поиграла плечиками и мягко опустилась на сцену. Спланировала, как бумажный самолётик».

Душа мужчины, забранная Богом, взлетела высоко в небо. Тело пыталось, рвалось в полёт, руки расправились для полёта. Мужчина и не был-то ни на каком четырнадцатом этаже. В парке он подпрыгнул, пытаясь ощутить чувство полёта, но тело мягко опустилось на землю. Спланировало его тело, как бумажный самолётик.

У Николая Душки его восьмое чувство, чувство собственного человеческого достоинства, присутствовало всегда. Понятно и почему он любил число три. Неразлучная троица — Отец, Сын и Святой Дух — всегда переполняла его мятущуюся душу. Она, душа Николая Душки, была огромна, в отличие от маленьких, сморщенных, шершавых душ людей с серыми лицами.

При жизни создал себе Душка памятник нерукотворный. Силой своего воображения он предоставил художнику Приме создать один памятник сразу всем троим (трио) друзьям.

Прима поставил этот памятник на постамент, предназначенный основателю университета. Выше всех воспарил Прима, он был как эскимо на палочке, но палочки под ногами не было, однако ноги не болтались в беспорядке, а были сомкнуты и загнуты назад. Края его огромнейшего плаща накрывали плечи друзей. Правое — юноши, левое — Шахи.

У Примы огромная грива, волосы до плеч и классическая улыбка Моны Лизы. В лицах друзей просматривались жажда просветлённости, стремление к поиску истины, но и безнадёжность маячила. Каждый из них одной ногой был не на пьедестале, а в пропасти.

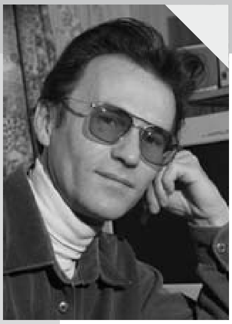
Картина называлась «Навстречу знаниям», но так как Прима создал её в виде шаржа, то трио стояло спиной к университету, герои уходили от него, шагая в ту сторону, где расположены пирожковые, закусочные и даже — да-да! — рюмочные.

Мне кажется, что на самом деле никогда в природе не было, не существовало этой троицы. Я имею в виду троих университетских друзей. В этой троице объединились ипостаси самого Душки. Прима — это творческое начало и личное «Я» Николая Николаевича, Шахи — это его роль обыденная, обыкновенного человека, а юноша — символизирует мятущуюся душу автора.

А может быть, Николай Николаевич имел в виду другую троицу — гоголевскую птицу-тройку. Если вспомнить пародийно изображённого Душкой современного стального коня — автобус, который роет землю колёсами-копытцами, и вылетают изпод них грязь и куски асфальта.

Но, конечно же, не этот обшарпанный, задрипанный автобус вывезет русскую литературу к новым вершинам. Только такие творческие люди, как Николай Душка, опираясь на плечи литературных мастеров, творцов предыдущих поколений, вывезут её снова на мировой уровень. Есть две стихии, созерцать которые никогда не устаёшь: можно смотреть на огонь, наблюдая, как языки пламени трепещут на ветру, и на вечное, как сама жизнь, течение воды, когда солнечные блики сверкают по её поверхности и отгоняют прочь темноту.

В романах Николая Душки есть всё: комическое и трагическое, правда и истина. И не в пропасть шагают университетские друзья, а в вечность.



Алексей Якимов

Жизнь идёт

Малина

В душе весёлое смятенье—
Я в гости к бабушке пришёл…
И ставит бабушка варенье
Передо мной на чистый стол,

И гладит тёплою ладошкой
Мальчишеский затылок мой:
Ешь на здоровье полной ложкой,
Ешь, гостенёчек дорогой…

И от малины в жар бросает—
Аж до испарины у глаз!
Как быстро время убегает…
Ах, детство, где же ты сейчас?

…Могильный холмик. Куст малины.
Просвечивая изнутри,
На ветках ягоды-рубины—
Как брызги утренней зари.

Дозрели ягоды в июле,
Согнули ветки… Только тронь—
Они, тяжёлые как пули,
Срываясь, падают в ладонь.

Я ем малину полной горстью…
Среди кладбищенской тиши
Вновь бабушка встречает гостя
И угощает от души…

Есть

Ты есть ещё, Россия? Или
Тебя уже, на горе нам,
Всю без остатка растащили
По заграничным кабакам?

В подобострастии холопьем,
Пинаема со всех сторон,
Не ты ли скачешь по Европьям
Под балалаечный трезвон?

В какой-то из Заокеаний
Виденьем из кошмарных дрём
Не ты ли в красном сарафане
Стоишь под красным фонарём?

Беда… Но мне иное мнится:
Тебя, Россия, видит Бог,
По самородкам, по крупицам
В своей душе собрать я смог.

Ты вся—от края и до края—
Во мне. Какая ты—Бог весть:
Слепая, глупая… святая—
Но есть!

Дон Кихот Ломбардческий

В ломбард снесены все так долго искомые клады,
Прочитаны все—даже те, что ещё не написаны,—книги,
В лохмотья изношены волосяные вериги,
А значит, опять мне занять себя чем-нибудь надо.

А значит, опять и опять собираться в дорогу,
Искать—то ли новую веру, то ль мудрость иную,
Найти и открыть для себя красоту неземную,
И пусть ею не обладать, но хотя бы потрогать…

Наточены меч и кинжал, и почищены латы,
Траву Росинант у подъезда копытами роет…
Но вдруг вспоминается: нынче же двадцать второе,
И в тощем гремят кошельке три рубля до зарплаты…

Сеновалы

Мне бы в баньке пропарить уставшую грудь
Да прогнать чёртов кашель с простудой…
Да чайку после баньки, да лечь и уснуть—
И с утра я как новенький буду.

Мне бы снова забраться на тот сеновал,
Где средь запаха лета и пыли
Я под крышей щелястой один ночевал
И сквозь щели мне звёзды светили.

Мне бы снова коснуться душою земли,
Из которой когда-то я вышел…
Нет на карте её, и быльём заросли
Сеновалы по самые крыши…

Дички

В Перми созрели яблоки-дички,
И я, как будто снова мне—двенадцать,
Цепляюсь за корявые сучки
И начинаю по стволу взбираться—

До той высокой ветки, где висят,
Покрытые налётом серой пыли…
Такие кислые! А сорок лет назад
Они вкусней всего на свете были…

Я лезу, а буквально подо мной—
Две тётки. И одна—другой: «Гляди-кось—
Мужик по веткам лезет, как больной.
Нет-нет, ты погляди, какая дикость!»

Хихикали они, а я молчал
И кверху лез с сопением и треском!
Должно быть, я и вправду одичал
Во взрослом мире—скучном и недетском…

Жизнь идёт

Жизнь по своим неписаным законам
Идёт, и ни прибавить, ни отнять…
Менты в соседний дом за самогоном,
Как в магазин, приехали опять…

Свой хлеб насущный каждый добывает…
Не ведая сомнений и греха,
Дубьём дворовых шавок забивает
Особая бригада жкх…

Вот кто-то, распластавшись, пьяный в доску,
Во всю свою нескладную длину,
Ломающимся голосом подростка
Самозабвенно материт луну…

Орут коты истошно под балконом,
Орут соседи, чтоб котов унять…
Жизнь по своим неписаным законам
Идёт, и ни прибавить, ни отнять…

Волчата

«Не спасут ни сноровка, ни сила…» —
Вдруг подумал отчётливо он.
Стая хищная вмиг обложила,
С четырёх обступила сторон.

Кто-то бросился сзади на плечи,
Кто-то спереди впился в кадык!
И отбить нападение нечем,
Да и драться давненько отвык…

И, склоняясь всё ниже и ниже,
Напоследок он только и смог
Хрипло крикнуть тому, что поближе,
Удивлённое: «Ах ты, щенок…»

А в ответ лишь раздвинулись губы,
Смяв улыбкой округлость щеки,
И блеснули молочные зубы,
Не сменившиеся на клыки…

ДиН дебют

Игорь Федоровский

На стыке литосферных плит

Я на стыке живу литосферных плит,
Где сердце моё пошаливает…
Там, где больно, обычно и не болит,
А жить всё равно мешает.

Я взрывы зову в позолоту полей —
Разбейся! Уйди по-плохому!
Но в сердце моём до конца ты болей
И не уходи к другому.

Беда не в том, что предают,
А в том, что предают всё чаще…
Я снял с двери почтовый ящик,
Кормушку сделал для синиц…

Мне всё равно, что писем ждут
Соседи слева или справа…
Я вижу, отцветают травы
Меж перечитанных страниц.

Беда не в том, что я никто,
А в том, что кто-то есть на свете,
И я люблю его, поверьте,
Не зная имени и лет…

Налей мне что-то на потом…
Под обвалившуюся крышу
Снежинки залетят неслышно
И успокоятся в тепле.

Не надо, мол, лететь на юг —
И там растаете в печали
Беда не в том, что предают,
А в том, что я им отвечаю.

Для кого зелёное — изумруд,
Для кого — бутылка пивная…
А я люблю листьев летний маршрут
До осеннего стёртого края.

Будто кровью назавтра нальются они,
Расставаясь с придуманным раем…
Для кого-то прощание это: «Звони!»
Для кого-то: «Номер не знаю».

Послезавтра мой дом до весны занесёт,
До рассвета, упавшего с веток…
Для кого-то белое — это пройдёт,
А я нарисую лето.

Не плачь, мой палач неточен —
Опаздывает на час.
Скучаю по лепесточкам
Под голову… под запчасть.

Не плачь, мой палач ничтожен,
Я выше его и без…
В приливах предсмертной дрожи
Я дёрнулся… и исчез.

Не плачь, мой палач нечестен,
Ничем не спасти его
От той же кошмарной вести,
Не значащей ничего.

Олег Мошников

Солёный лес

Жуков на Урале

Стихи, написанные в карауле
на бывшей даче командующего
Уральским военным округом
Г. К. Жукова

На даче Жукова—цветы.
Замки—на ведомстве военном.
Сомкнулись мокрые кусты,
Стальная сетка: непременно,
Царапать, жалить и колоть,
Настороже, во всеоружье!—
Испытывая дух и плоть,
Привязанность солдата к службе.

На карауле—тишина.
Скользит по проволоке солнце.
Привиты роза и война
К почётной ссылке полководца.
Герой. На службу не роптал.
Отец уральской обороне!
А он—без памяти—устал,
Как будто тут—и похоронен…

Сорвать агатовый цветок,
Развеять стойкий запах смерти,
Остановить, прервать отток
Времён, людей, событий, тверди!
Раскаты ротного «Ура!»,
Живые волны не стихают:
Айда, ребята, за Урал,
Где к майской площади стекают

Полки. Потешные полки.
Не будет нас—границ не станет…

Иные тронет лепестки
Шипами раненная память.

Снег идёт. Глубокий тихий снег.
В тёплой зимней шапке—даже жаркий…
Замер лес. И кажется—навек
Гибкие заснеженные арки

Над ручьём, на росстани дорог,
Кисея густая оплетает…
На щеке снежинки холодок,
И душа от поцелуя тает…

Солёный лес

памяти отца Эдуарда Мошникова

«Солёные» грибы рассыпались поляной
За вырубкой, показанной отцом…
В сырой тайге, поваленной, как пьяной,
Заросшее приметив озерцо,

Найти сосну с зарубкою отцовой…
И самому пройти знакомый путь.
Испить росы из впадинки груздёвой—
Родителя заботу помянуть.

Отцовских вех—надломленные ветки—
Корзиною стараясь не сшибить,
Груздёвый дух и запах стыни терпкий
Солёною рубахой ощутить.

Солёный мох на лапнике еловом
Щекочет кожу тёплою трухой,
И дебри заболоченные снова
Расступятся пред купиной сухой.

И шляпы, шляпы круглые по склонам!
Венчает короб сахарный венец!..
И чудится: в остуженном, солёном,
Грибном лесу аукает отец.

Берег—осень. Небо—молоко:
Утреннее, тёплое, из печки.
Небо от земли недалеко…
Жестяная кружка на крылечке.

Затевай, хозяюшка, чаи!—
Не простыли угли спозаранку.
Сыплет ветер в бурые ручьи
Щедрую осеннюю заварку.

Настоялось летнее тепло,
Октябрина вьюшку приоткрыла.
В белом небе—белое крыло:
Стая лебединая парила.

Чем не сказка—путь за окоём,
Где река молочная клубится…
Осени топлёным молоком,
Уходящим кликом—не напиться.

Юлий Ким

«Бардовское дело обречено на бессмертие…»

10 октября 2010 года (уникальная дата!) Юлий Ким, известный писатель, драматург, поэт и знаменитый исполнитель авторской песни, завершая гастрольную поездку по Дальнему Востоку и Сибири, дал в Красноярске единственный концерт. Нашему корреспонденту Ульяне Лазаревской удалось взять у артиста короткое, но ёмкое интервью.

— Последние годы мы всё чаще слышим о «ренессансе шестидесятых». В литературу, на телеэкраны — правда, в «очень специальное» время, — и даже в наши частные разговоры возвращаются темы, имена, произведения, будоражившие умы в 60–70-е годы. Согласны ли вы с тем, что это так?

— Никакого «ренессанса» я не заметил. В бардовской аудитории чувствуется возросший спрос на гражданские мотивы. Это, по-моему, связано с тем, что надежды на обновление и быстрый прогресс не оправдались.

— Существует ли сегодня «инакомыслие», хотя бы в общих чертах напоминающее тогдашнее «диссидентство»? Если да, то какими голосами оно озвучено?

— Инакомыслия, то есть несогласия с действующим режимом, у нас сколько угодно, и оно озвучивается куда шире и свободнее, чем при КПСС, — и в искусстве, и в прессе, и даже на ТВ (читайте и смотрите Ю. Латынину, Л. Млечина, И. Мильштейна и др.). Другое дело — возможность организованной оппозиции. Здесь выстроенная режимом вертикаль особенно нетерпима, почти так же, как и прежняя.

— Что вы можете сказать о бардовском движении сегодня? Можно ли говорить о его развитии? Сказываются ли «вызовы» нашего времени на качестве словесного и музыкального материала, с которым выступают авторы-исполнители? Какие имена вы назвали бы в первую очередь?

— Бардовское дело, опираясь на массовое песнетворчество образованного слоя, обречено на бессмертие. О. Чикина, Г. Данской, М. Фельдман, Т. Шаов очень даже хорошо откликаются на «вызовы времени». Р. Ланкин поднял исполнительское искусство на большую высоту. Ну а М. Щербаков по-прежнему восхищает глубиной мысли и культурой текста.

— Вы много концертируете по всей России и за её пределами. Изменилась ли ваша публика за последние годы? Отличается ли «слушатель» российской глубинки от столичного и заграничного?

— Мой слушатель везде и всегда один и тот же — образованный российский человек.

— Что вы считаете стержневым направлением своей многоплановой деятельности — работу поэта, драматурга, автора-исполнителя? Что вам — дороже и милее? Почему?

— Главное моё дело — сочинение пьес. Оно наполняет смыслом мои дни. Выступать тоже нравится. Внимание чуткой аудитории — это счастье.

— Ваш педагогический опыт повлиял как-то на ваш опыт творческий? Не могли бы вы вспомнить какие-то интересные эпизоды из вашей учительской практики?

— Прямого влияния учительской моей практики на моё песнетворчество не было — если, конечно, не считать полсотни песен, сочинённых для школьной самодеятельности. Высшим педагогическим достижением считаю поголовную грамотность в старших классах вечерней школы в 1960–62 гг. Это и есть самый интересный эпизод на оном поприще.

— Где можно прочитать (увидеть) ваши произведения?

— У меня вышло несколько книг в издательстве «Время»: «Моя матушка Россия» (2003), «Однажды Михайлов» (2004), «Стихи и песни» (2007). Что касается пьес, то их немало идёт по России. В одной Москве двенадцать названий.

— Несколько слов напутствия читателям нашего журнала…

— Читателям журнала «День и ночь» желаю сил и твёрдости духа в тяжкой борьбе с «вызовами времени» и «гримасами жизни».

Алексей Мещеряков

Возвращение

Молчи, скрывайся и таи
и чувства, и мечты свои…

Ф. И. Тютчев

Последние листы черновика.
Рассказа обозначена граница.
Видать, пора к молчанью привыкать.
…Не повторится; не повториться!..

Мотив осенний: в августовском дне
тысячекратно осень повторилась.
Шепчу ей в шелестящей тишине:
красиво, лисонька, ты летом притворилась.

Упавший со стола последний лист
кружится говорящим попугаем,
сентябрь крадётся, словно сильный лис!
…мы—по слогам—послание слагаем:

Привет, наш неизвестный адресат,
прими последнее (на память) слово.
Ты тоже выйдешь в предрассветный сад,
о людях лучше ты напишешь.
Снова.

Чьи вы?
Чьи вы, слова далёкие?
Лёгкие-лёгкие…
Канули в белый свет.
Иль в перекрестье судеб.

Сбившись с пути, захлебнувшись ветром,
где вас искать через много лет
в день—Судный?

Чьи вы?!

Сколько мне недоспать ночей,
сколько мне переслушать речей,
сколько глядеть во тьму?
Может быть, пережить войну.
Может, ещё одну.
Мне—пережить.

Вечность блуждаю в ночах ничьих.
Слева слабый ночник
звякает, будто копилка, блёстками света.

—Слов суета, суеты смета.—

…Млечный путь от виска
расплывается сединой.
Где же свои слова отыскать,
чтобы проститься с тобой?..

Разве время выбрать—выдрать
из пространства пару лет
да убраться мокрой выдрой
за другую параллель.

—Дневниковые страницы.—
Черновые белы дни
сжечь! обсохнуть, испариться,
сократить себя до СМИ.

В сорванном на кухне кране
разглядев свою судьбу,
убежать от этой крали
через ржавую трубу.

Проскочить, прожечь, продраться,
засвистеть издалека!..
Эхо скомкает пространство,
будто день из дневника.

Молча плачут плакучие ивы,
ожидая с надеждой дождей.
…Я когда-нибудь буду счастливым.
…Я когда-нибудь стану добрей!

Обернусь в одночасье весёлым,
вопросив: всё, родные, грустим?
Вы уж всё здесь оплакали.
Всё ли?!

И—смешно станет ивам седым.

Ах, яблок ровный аромат!
Рябина горько-гордая…
Я пью до дна вишнёвый сад
взахлёб, по-русски, вёдрами!

В детстве недоигравший…
Не для забавы он
(вспомнив про день вчерашний)
приобрёл телефон:
музыка, игры, видео,
SMS-ки с рисунками—
всё, чтоб общаться, видимо,
с существами разумными.
Мишке, Лёшке! Даниле!!—
детство донабирал.
Было: бонзы звонили.
Он—со всеми играл.

Коллекция

На галерах памяти моей
хор невольных образов туманных.
Из вселенских радужных морей
брызги звёзд летят небесной манной.

…В межпланетном многоцветном сне—
лики Аэлиты… Лорелеи?..
Днём я в сотый раз клянусь жене,
что скуплю ей всю галантерею!

И валюту в валенке коплю.
И душа ничуть не наболела.
—Нумизмат!—
Я всё тебе куплю!

Если не сломаюсь на галерах.

Смертельный номер

Нервных из зала вывели.
Скрипка смолкла на всхлипе.
(Мухи от страха вымерли.)
В цирке тихо, что в склепе.

Спичкою чиркни—атомным взрывом!
Купол взорвался выкриком: «Прыгай!»

Я мелькнул над толпой:
словно сверкнул нож!
Ты—вдогонку за мной—
вниз!—на длину лонж.

Мы до арены, глянь, на микрон
не долетели.
—Стальные опилки.—
Цирк—словно пьяный микрорайон.
Как же они вопили.

Муж и жена—одна сатана.
Богом на жизнь обречена
наша семейная пара.

Жаль, что нельзя выпить вина,—
Вечером снова падать.

Городская элегия

Забытых мелодий мельканье.
Молитвы неузнанных глаз.
В бетоне, стекле и металле
мой звёздный иконостас.

Ромашки надорванной стебель,
пробивший всех сплéтен асфальт,
присвоил мне высшую степень
любовника эсмеральд.

Цветы из несыгранной свадьбы
в какой-то забытой стране
какие-то странные сватьи
собрали на памятник мне.

Любовных мелодий мельканье
напомнило жизнь—по слогам.
Все луны любви, все медали
послал я посылкою.
Вам.

Возвращение

Памяти Людмилы

Тянутся звери на водопой—
вовремя—не опаздывая—
разные—рядом с живой водой—
пренебрегая опасностями…

Я—возвращаюсь на крýги своя,
прежде дойдя до точки;
прямо по краю времён кроя
лоскут судьбы дотошно.

Я возвращаюсь во время своё.
Хватит в чужом канючить!
Снова людская молва совьёт
слухов венок колючий.

Для современников зрелищ? Найдём.
Чтобы вернуться в прошлое,
всякою всячиной (нынешним днём)
я им плачу пошлину.

«Ты возвращайся!..»
Вишни цветут
в нашей весне любящим.
Здесь ещё нет ни вех, ни цикут—
всё это там, в будущем.

В будущем! кто вспомнит её?
Звонкий голос над вишней!!
Хищное—вновь звереет зверьё,
вволю воды напившись.

Управление толпой—
чьё сознание вторично…
Здесь веками пир горой;
здесь извечный культ (наличных)!
Эк! вращается юлой
управляющий толпой;
словно бешеный шаман,
выворачивает нравы.
(Хор: «Шарман! шарман! шарман!»
Муже-женский голос: «Браво!»)

Наверху, мелькая белкой,
он всевластвует, он знает,
где бывает жемчуг мелкий,
где на водку не хватает.

Повелитель! Бес с небес?
Мелкий ангел иль грабитель?
Круглосуточный «собес»
иль чужих богатств хранитель?

Кто он?
Это, знать, толпе—
околпаченной—«до фени»;
здесь, окуклившись в тепле,
дремлют гении да феи.

…Скушав свой кусок халвы,
что я вижу? Боже мой!
Разрастание толпы,
управляемой… толпой!

Сергей Слепухин

Лепка муляжного рая

Глебу Михалеву

Задержка дыхания. Неба монгольские скулы,
Копчёные трубы, «Химмаша» истёртый вельвет.
Устало плетётся на площадь автобус сутулый,
Туда, где в плену декораций замёрз райсовет.

Заплакал ребёнок, скворец пролетарских кварталов,
Прилипчивый ветер ваяет отчаянный плач,
Над ямой оркестра и бездны маячит устало,
Сужает зрачки безразличный фарфоровый мяч.

Пар прачечной—нимб. Упокой малокровные души,
Таинственный Слава с фамилией Капээсэс.
В лимоновом инее дряблы фонарные груши,
Чей свет абажурный трясёт над автобусом бес.

В запёкшемся времени—лозунги всех пятилеток
Непрожитой жизни в унылом студёном аду,
Детсадовский рёв нескончаемый резок и едок,
И сонный автобус плетётся у всех на виду…

Элегии

I.

Клейстер липких ветвей, чернозём, разбухающий мокко,
Меловая прозрачность стряхнувших лазурь тополей.
Поднимается ветер. Густым белладонновым соком
Натекает рассвет на гербарий примятых аллей.

Ненапрасное что-то в гусарской осанке люпина
Опознал ненароком пресыщенный временем взгляд.
Я, как дряхлое кресло, сижу перед юной картиной,
Паралич, ветхий хлам, криворукие сучья торчат.

Так ли стар? Или что-то испортилось, сбилось,
Наблюдая в глазок за обещанной вечной весной?
Рубикон перейдён, и без боя сдаётся на милость
Недожитая жизнь в полтора сновиденья длиной.

II.

Смутные мысли—прожилками в панике по лицу.
Сморщенными губами до смерти зацелует
Ветхозаветный август. Дело идёт к концу.
Ты его не минуешь, он тебя не минует.

Время выхода «в люди», время выхода «из».
В просинь ажурных сосен, просвет лощёной черни.
Вымолчи на бумагу радужный парадиз,
Вымученное сиянье жертвы вечерней.

Девять округов рая льют бесприютный свет
В замкнутое пространство осени пожелтелой.
Муть слепоты куриной, дымчатый бересклет.
Неразличение солнца, выпущенного из тела.

В неусмирённых сумерках крошится снов эмаль,
Звери плывут и ангелы в мутном обмане зрения.
Ходишь рассеянным сердцем, прячешь в ладонь печаль.
Лепка муляжного рая на берегу забвения.

Тонкие линии тела разыскивают тишину.
Слиться, соприкоснуться, в вечности раствориться.
Через зазор — соринка, краток твой дух в длину.
В божьей душе безлюдной на пол летит частица…

Зеркало Меламеда

I.

И видится: в пустой зеркальной раме
По руслам высохших и онемевших рек
Плывёт во тьме, скользя вперёд ногами,
Навстречу незнакомый человек.

С дрожащей и надкусанной губою,
Разметкой звёзд на голубых щеках
Он протечёт меж мною и тобою
В кошмар бессмыслицы,
Как бесприютный страх.

II.

Чудовищем бесформенным на стуле
Спит предрассветный сумрак межевой,
То тень моя в бессменном карауле
Пьёт амальгамы холод ножевой.

Опавший лист кружится заоконно,
Шаманской пляской половецки пьян,
Чужие тени прочь несутся конно
В густеющий египетский сарьян.

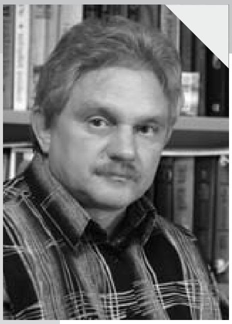
Но верится, что зеркало не вечно.
Бей изнутри, кроши его, петух!
Пусти во тьму, путь выжигая свечно,
Спасителя, не названного вслух.

III.

Смыкая стены, нахлобучив крыши,
Проулок валится в берлогу-темноту,
Приблудной крови выголосок тише,
Он крошится, как шёпот на лету.

Тормашки вверх, тень свесилась паяцем,
Хоботья рук, источенных, сухих,
На плечи натекают обниматься,
Отнять тепла невыносимый жмых.

Ты врезан в ночь невидимым квадратом,
Пуст изнутри — свет выдохся, погас.
И мечется по стенам каземата
Бельмом во тьме ослепший старый Спас.



Геннадий Васильев

Робинзон

Юле Гориной

Умерла. Отмучилась. Отпела.
Соловьиной песней улетела.
Отгорев, погасла навсегда.
Сколько нас ещё осталось, Юля?
Сколько нас уйдёт ещё в июле?
В августе? И далее… и да…

Мы живём, не разбирая века.
Век толкает в спину человека,
говорит: «Беги—и будь таков!»
Мы бежим—и некогда беречься—
мимо пересохшей Чёрной речки,
мимо пятигорских облаков.

Кто мы есть? Мы внуки подземелья,
дети побеждённого безмолвья,
вестники грядущих перемен.
Мы-то знаем: всё ещё прольётся
родниковой влагой из колодца,
горькою слезою на размен.

Сколько нас ещё на свете, братья?
Уже круг, тесней его объятья,
ближе даль—но глуше голоса.

…Не закашляться б. Не поперхнуться.
На плюгавой кочке не споткнуться.
Из последней жилы дотянуться—
до венца. До самого. До са…

Памяти Сергея Гандкина

Ну вот и попрощались.
Не плакать не могли.
Протяжно и печально
кричали журавли
и к югу улетали,
вколачивая клин
в берёзовое небо.

Стоял сентябрь, и ветер
хозяйничал вокруг.
И было странно верить,
что это ты, мой друг.
И странно было видеть,
как на краю могил
стояли мы, глазами
растерянно водя.
И мир так странно замер.
И не было дождя,
что собирался утром.

И стало странно жить.

Мария

1.

Простишь ли, Мария, мне звук опрометчивый тот,
который, два имени накрепко соединивши,
смятенного духа и плоти уродливый плод,
свободу однажды обрёл,—о Мария, простишь ли?

Простишь ли заплёванный пеной морскою причал,
куда я тебя провожать выходил на рассвете,
где после с восходом луны осторожно встречал,
где мокрый песок да рыбацкие дряхлые сети
висели на белых от высохшей соли столбах?..
Ты каждую ночь приплывала на узенькой лодке.
И весело было—избавить тебя от рубах,
себя—от тоски и от страха!..
Звериной походкой,

точнее—побежкой неслась за окошком луна.
В рыбацкой лачуге шарахались тени под лавки.
Простишь ли, Мария?.. Бокал азиатский вина
сильнее пьянил, чем теперешний спирт без разбавки.

Коптила свеча или лампа с плохим фитилём.
Под грязным стеклом рыжеватое морщилось пламя.
Лачуга казалась не то чтоб совсем кораблём—
скорлупкой рыбачьей, замученной в море штормами.

А море и правда штормило. Мы слышали, как
ломаются волны о берег, просоленный, крепкий,
как ветер кряхтит, отрывая от гор облака,
швыряя с размаху их в белые хищные гребни.

И не было в мире греха, что считался б грехом,
поскольку хозяйничал дьявол от тверди до тверди.
И весело, весело было—единым глотком
бокал осушить, ожидая рассвета, как смерти!

Простишь ли, Мария?.. Рассвет был изящен и сух.
Уже не штормило, и берег блестел от ракушек.
И было расстаться легко.
Только, названный вслух,
тот звук опрометчивый крепче вязал наши души,

чем узел морской.
Щекотнула губами висок,
толкнулась легко, заскользила—всё дальше… всё ближе…
Причал опустевший, заплёванный пеной песок,
да волны ленивые берег просоленный лижут.

Мария! Мария! Бывает, шумит за окном,—
то ливень шумит, то следы заметающий ветер,—
покажется вдруг: это море царапает дно,
совсем не фонарь, а луна одуревшая светит.

И я в подоконник упрусь, припадая к окну,
и вижу: на белых столбах—полусгнившие сети.
И узкая лодка плывёт, попирая волну.
Всё дальше от берега, всё—вдалеке—неприметней.

2.

Шьёт Мария рубаху себе из холста.
Над Марией ночная висит темнота,
неподвижна. Лишь пламени чуткая тень
чуть качнётся порой—и поскачут со стен
тень Марии, холста, тень иголки в руке,
тень свечи, тень печи, тень кольца в потолке,
на которой качается тень колыбели.
Спит младенец. Ах, как ему все надоели!

Как вы, Господи, все надоели ему!
Он проснётся, уставится в тёплую тьму,
что висит над Марией, над хижиной, над
колыбелью, над миром, который не рад
ни Марии, ни новой рубахе её,
ни младенцу, над миром, что весь—забытьё.
Что ему этот сморщенный отпрыск недельный?
И заплачет в своей колыбели младенец.

И Мария, склонившись, отложит шитьё,
и качнёт колыбель, и на чадо своё
поглядит, как на чудо, увидеть стремясь
эту лёгкую нить, эту дивную связь
меж младенцем, что страхом полночным влеком,—
и холодного берега чёрным песком,
и заплёванным пеной прилива причалом,
у которого лодку волною качало…
А когда за окном задрожит темнота,
и Мария рубаху дошьёт из холста,
и послушные тени отпляшут своё,—
на мгновенье Марию возьмёт забытьё.
И она в небесах не увидит звезду
и волхвам не откроет. А те подойдут
и, тихонечко стукнув доскою дверною,
не услышав ответа, пройдут стороною…

Насте Зубаревой

Ну куда же ты, куда же ты, куда же ты?
Эта местность не изучена пока.
Под весеннее прозрачное адажио
входит девочка. Легка её рука.

Без труда цветным помахивает пёрышком,
выводя косые строчки на лету.
По жемчужине, по бусине, по зёрнышку,
по словечку заполняет пустоту.

Мир беспечен. Люди суетны до судорог.
Донимают то болезнь, то мошкара.
Не до бисера в такое время судное,
не до книжечек—дожить бы до утра.

Только пёрышко—неведенье счастливое—
нижет строчки, мир по-своему деля.
И потряхивают пепельными гривами,
и склоняются пред ним учителя.
. . . .
Время смутное. Для песенок не та пора.
Голос есть—так не сдавать его внаём!
И чуть-чуть правдоподобней, чем метафора,
эта книжица—сокровище твоё.

Робинзон

Памяти Юрия Бендюкова

Робинзон от Пятницы ушёл.
Утешают Пятницу туземцы:
«Ты не плачь, ты ляг на эту землю,
Полежи. Всё будет хорошо.

Помолчи. Всё выйдет, как должно́.
Он вернётся, плыть ему недолго.
Океан—не Мана и не Волга.
Он увидит, как далёко дно.

Он поймёт, что парус и весло
не сумеют совладать с волною.
Над дельфиньей влажною спиною—
только чайки белое крыло.

Он поймёт, что нет такой беды,
от которой можно уберечься
вдалеке от верного словечка,
вдалеке от разной ерунды.

Он следы оставил на песке,
ровной строчкой свой уход отметив.
Океан лизнёт—и не заметит,
как учитель—тряпкой по доске.

Он уронит голову на грудь:
всё прошло бесследно и уныло…
Но волна следы ещё не смыла,
и ещё не поздно повернуть!

Он вздохнёт—и парус закрепит,
и весло поднимет рулевое.
Слышишь—ветер в парусине воет
и весло уключиной скрипит?

Он придёт, теперь наверняка!
Вот уже на горизонте точка.
Вот уж точка вырастает в строчку,
вот уже не строчка, а строка!»

…Горизонт—воды и неба шов.
Ни строки, ни точки не осталось.
Робинзон настраивает парус.
Он ушёл от Пятницы.
Ушёл.

Перьевая ручка пишет плохо:
ей бумага хода не даёт.
Ну и что, что кончилась эпоха?
Что-нибудь ещё произойдёт.

Не беда, что время скоро мчится.
Не беда, что кончится полёт.
Что-то обязательно случится.
Что-то будет.
Кто-нибудь придёт.

М.Т.

Что б я делал без тебя? Что бы делал?
Без сомнений без твоих, без сарказма.
От моих несостоявшихся сделок
ни казна не пострадает, ни касса.

Что б я делал без тебя, кем бы убыл?
Белым снегом за окном, круговертью.
Ну а так я—биссектрисою в угол,
той, что делит мир: до жизни—до смерти.

Ну а так я—воробьём на ладошке.
Ну а так я—головой на подушке.
И холодное рассветное небо
осеняет нас подобием нимба.

Что б я значил без тебя? Как бы спасся
от бессонницы своей, от озноба?
Серебро твоё на тонких запястьях—
талисман мой от свиданья до гроба.

…Свежим ветром от реки потянуло.
Потянуло свежим сном от постели.
Эта ночь—она ничем не блеснула.
Разве только новой вспышкой потери.

Что б я делал без тебя? Где бы ни был—
я люблю тебя, и нет мне покоя.
Облаков плывут лохматые глыбы.
Спишь. И жалко прикоснуться рукою.

Андрею Антоненко

Я вновь вспоминаю родные места:
но эти—не эти, и эта—не та…
И сам я—из странной какой-то страны,
и брюки—не брюки на мне, а штаны,
и коротки здесь, там—длинны…

Меняется всё. И меняемся мы.
И валенки прежде нам были—пимы.
И мама жила, и, воюя с отцом,
ладони вздымала над мокрым лицом,
ругая отца—подлецом.

Теперь—ни отца и ни мамы. Увы.
Теперь к моим детям уж кто-то—на «вы»,
и дедушка я иль не дедушка я,
не знаю я вовсе о том ничего.
Не знаю о том ничего.

И вновь вспоминаю родные места:
закуска всё та же—да водка не та.
И кажется—вкусно, а всё же—держись!—
как выпил—как будто бы прожил всю жизнь
(прожил? или прожил? как правильно-то?
Уже не узнает об этом никто…
Язык—для «изысканных». Так ли, мой друг?
Всё меньше таких. И всё уже их круг.
Зато—и изысканней круг.)

А я вспоминаю родные места.
И эти—не эти. А эта—не та.
«Но есть ведь другие!»
Да, есть. Но—увы:
другие—иные, и эти—не вы.
И всем не сносить головы.

Июньский снег

Ерунда! Как-нибудь проживём.
Всё наладится, сложится, смелется.
Перепутав июнь с февралём,
за окном вяжет петли метелица.

На крылечко сугроб намела.
Снег и ветер, деревья качаются.
Скоро сходят снега от тепла,
а июньский никак не кончается.

И в пурге растворяемся мы,
наши тени плывут и раскачиваются.
Этот снег—только призрак зимы.
Отболит. Отпоётся. Откашляется.

Этот снег—только вздох тополей,
только росчерк упавшего семени.
Дорогая, ты нас не жалей:
ничего не случится до времени.

До зимы не наступит зима,
хоть возможна в день каждый и в час любой.
Дорогая, ты видишь сама:
мы вдвоём, не оставила нас любовь!

Дорогая! Не плачь, позабудь.
Что июнь? Всё когда-то случается…
Ничего. Проживём. Как-нибудь.
Всё пройдёт.
И не стоит отчаиваться.

Не гаси свечу, Марина,
подожди чуть-чуть.
С этой свечкой стеариной
мой светлее путь.

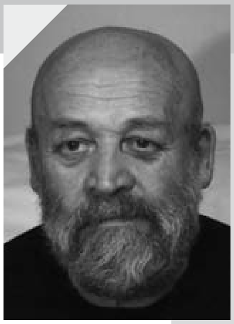
То ли я шепчу молитву,
то ли я кричу:
не гаси свечу, Марина!
Подожди чуть-чуть.

Капает с подвальных сводов
не вода—печаль.
Заблудился в переходах.
Где твоя свеча?

Подожди чуть-чуть, Марина.
К этому лучу
приковав—приговорила.
Не гаси свечу!

Серым облаком слетятся
мотыльки на свет.
От себя обороняться
сил уж больше нет.

И на пламя, заворожен,
мотыльком лечу.
Пощади меня! И всё же—
не гаси свечу.



Леонид Коныхов

Малиновая жизнь

Зеркало

Чудище огромно, двадцативагонно, многоглазо, многоустно, многозевно, на железных ногах облыи катит, лаяй. Будто бесится в снежном просторе, гремит, парует и гаркает монументально-банный какой-то пёс, катящий по рельсам через январскую стыдь.

Поезд шёл с юго-запада на Москву. Когда Пассажир и Спутница, подсевшие в Киеве, пришли на свои места, в купе уже сидели две женщины, две «русские матрёшки»: Маманя и Дочь. Одинаково небольшого роста, крепкие, ладные, плотные и смешливые почему-то не в пример. (В дальнейшем, по единому признаку и общему положению, обитатели купе Пассажир, Спутница, Маманя и Дочь будут писаться с маленькой буквы.) Мало что маманя и дочь были по-матрёшкиному похожими друг на друга, так они ещё и копировали свои движения кровных родственниц, как наружные, так и внутренние, обезьянничали в своё удовольствие и прыскали смехом, смеясь — натурально и по обычаю — одна над другой. Обе они были одинакового ума, а потому выказывали несомненное превосходство друг над дружкой, не говоря уже о других. В таком вот естественном для человека состоянии и жили они были в купейном вагоне согласно и ладно. Сидели одинаково, со сложенными на похожих грудях руками, и думали похоже, глядя в какую-то одну точку, которая, точка, время от времени медленно и верно менялась. Когда мать поворачивала голову, то и дочь засматривалась в ту сторону, как будто для неё там тоже интересное что-то было; когда молчали — то уж молчали, а коли одна заговаривала, то и другая оживала.

Пассажир присел на лавку напротив двух женщин и ожогом свирепого холода обнаружил за своей спиной дыру величиной с хорошее чайное блюдце. Он запустил руку в дырку и нашёл за ней ледяную чёрную щель без границ. Оттуда, естественно, и ломило в спину.

— Чёрт знает что такое,— сказал пассажир.— Ничего не пойму.

— А чего понимать-то?— сказала маманя.— Подушкой надо заткнуть. И нечего там больше понимать.

— А спать на чём?— взъерепенился пассажир.

— Ещё и спа-а-ать на чём,— протянула маманя.— Тряпок у тебя, что ли, мало? Займи у спутницы платок шерстяной, повяжи спину, как мы вот с дочкой сделали. Правильно, дочка?

— А то нет,— заговорила дочь, прыская едким смехом.— Я, мать, гляжу, мужик чего-то за спиной руками копается. Аж смех меня разобрал. Я-то, как мы сели, сразу смекнула, что у нас с тобой дырка, а он, мать, сидит и не понимает.

— Учёный человек,— сказала мать.— Сразу видно. Учёные по жизни мало понимают. Мало, дочка.

— То-то я и говорю, маманя, что смех меня берёт. И тебя локтем пихаю. Гляди, мол, дура, чего умные люди делают. Двумя руками за спиной дырку ищут, а её и искать-то не надо. Она тут как тут. Где ей положено.

— Молчи уж — «положено»,— перекривила маманя дочку.— Много ты понимаешь. Как будто всю жизнь в поездах прожила, болтушка ты рязанская.

— А ты какая? Не рязанская, что ли? Не была б моей маткой…

— Чем дальше, тем хуже и хуже,— сказала спутница — молодая, чуть постарше маманиной дочки, уютной домашней приятности, ладная и компактная женщина в больших очках со слегка задымлёнными стёклами.

— Вообще чёрт знает что у нас творится,— проворчал пассажир.

— У нас то же самое,— сказала дочка.— Я сразу, как села, так мамане и говорю: давай, мать, платками пообвяжемся, всё, говорю, теплей будет. Глядишь, до Москвы и не околеем. Правда, мать?

Мать и дочь переглянулись, одинаково пожали плечами и разошлись своим непонятным тихим смешком — вроде бы и не весёлым, вроде бы и не злым, как будто и не навязчивым, а только естественным и обязательным.

— Должно быть, не заладили,— понимающе сказала мать.

— Что значит — не заладили?— всё тем же недовольным голосом взлаивал пассажир.

— Не заладили, и всё. Дырок не заладили. Чего ж тут ещё?— вразумляюще толковала маманя.

— Чего-то я не пойму с этим самым «заладили»,— тихим шёпотом обратилась к пассажиру спутница.— Возможно ли такое употребление слова? По-русски, я имею в виду.

— Ты, Алина, редактор — тебе видней,— ответил пассажир.— У нас эта проблема так остро не стоит.

— У нас на радио,— сказала спутница,— образцом чистой речи является язык дикторов московского радио и телевидения. Понимаешь?

— Это официально,— сказал пассажир.— А неофициально?

— Всё через «мать».

— Вот и я хочу сказать: какого же хрена не заладили, сволочи?!

— Надо быть, не успели,— раздумчиво продолжила маманя.

— Что значит — не успели? Что вы такое говорите? — в свою очередь, возмутилась спутница; по ходу дела она извлекла из кожаной сумки разноцветное шерстяное вязание.
— А то и значит, что дырки не позаладили. У них тут на железной дороге делов знаешь сколько? Не одни ж только мы ездим. Народу шастающего по вокзалам прорва. Да ещё и Новый год, будь оно неладно. На праздник — туда, после праздника — сюда. Билетов нет, местов нет, ничего нет. А ежели, дочка, ничего нет, так откуда ж вагонам цельным взяться? Хорошо ещё, что хоть какие есть.
— Ага, — вставила своё дочка, — а то кукуй себе гостем в Молдавии, когда я домой хочу. Нет. Мы вот с маманей не ездили себе и не ездили, хлопот не знали. А как поехали — вот уж натерпелись, всего повидали.
— Это всё мы прекрасно понимаем, — сказала спутница. — Но если вагон, как вы говорите, не заладили, так нечего его и подавать.
— Ещё и по-да-вааать, — протянула с неодобрением маманя, после чего откровенно посмеялась. — Слова-то какие выдаёшь. Ну чистые баре едут. Смех один. Скажи ещё спасибо, что тебя везут… Пода-ва-ааать… имеешь билет, ну и ехай молча. Правильно я говорю, дочка?
— Сопи в две дырки и не бузи, — сказала дочка быстро и весело, как будто только того и ждала, чтоб обрадоваться собственному заключению.
— Ладно уж, помолчи, сорока, — отмахнулась юркая на язык мать и продолжила как ни в чём не бывало, то есть так же спокойно и вразумляюще: — За всем ведь, дочка, не поспеешь и всего не углядишь, — расходилась дальше в своё удовольствие маманя. — Это ж сила какая — железнодорожное хозяйство! Железнодорожнику тоже несладко. Совсем несладко. У тебя-то самой в доме как? Ребёнок твой в лес побежал или там на пруду уже посинел; коли не утоп, так ногу себе раскроил, полуклиника далеко, а щи вчерашние в холодной прокисли, а тем временем мужик твой с работы пришёл, голодный, и чарку ему дай, а то и ещё чего другого, гляди, возжелает, это как у всех, а скотина твоя в сарае уже ревмя ревёт, потому она тварь, тоже есть хочет. Правду я говорю, дочь?
— Правда, мать, — пробасила дочь, уже забравшись под одеяло на верхней полке. — Представляешь, маманя, приезжаем мы в Москву, самый раз по магазинам скакать, а ты околевши от холода в вагоне лежишь.
— Это ты раньше околеешь, — ответила мать. — А я побегу, побегу…

Пассажир взял книгу, устроился почитать; спутница углубилась в вязание. Поглядывая на них, маманя и дочь надувались беззвучным смехом; сдерживались при этом, отворачивались — приличия ради, конечно. Очень скоро дочь развязала платок на животе, спустилась вниз, собравшись в туалет. Однако помешала дверь. Оказалась неудачной. Закрывшись, заскочила так, что открыть её стало невозможно. Ручка же еле держалась на двух винтах. Пассажир, пытаясь открыть, дёрнул несколько раз — ручка осталась у него в руке.
— Всё. Теперь до утра просидим, — успокоила маманя и прилегла на постель, показывая собою пример, как надо успокаиваться и терпеть.
— Как это до утра? — встрепенулась над вязанием спутница и посмотрела через дымчатые очки встревоженным умным взглядом. Её тоже можно было понять. — А утром что? Легче будет открыть, что ли?
— Утром уже в Москву приедешь, — сказала маманя. — Станут вагоны проверять, чтоб никто не остался. Увидят сами, что мы тут сидим. Вот и откроют нас. Как пить дать откроют, дочка. Какой-никакой, а порядок у них всё же есть.
— Представляешь, мать, — сказала уже совершенно мужским басом дочь, — открывают они утром дверь, а мы все сдохши от холода лежим, да ещё и говном воняет. Вот им жути-то будет.
— Хорошо хоть постелю успели взять, — заключила маманя.
— Чего ж теперь делать? — явно сдерживая работу организма, сказала девица.
— А спать, дочка, спать, — посоветовала маманя, пошевелив ладными ножками под одеялом.
— Мать, лучше вставай, — упадающим голосом сказала дочь.
— Чего «вставай»?
— Будем голосить.
— Люди спят. Неудобно, дочка.
— Да не могу я терпеть!

Выручили всё ж таки люди. Собрались мужской силой в проходе, приналегли на дверь и вывалили её из пазов, после чего кое-как впёрли обратно.

Из похода в туалет дочь вернулась слишком быстро.
— Мать, пойдём со мной.
— Чего я там буду делать?
— Меня сторожить!
— Никто тебя не украдёт. Подумаешь, краля какая!
— Да там на двери тоже ручки нету.
— А тебе чего, ручка нужна или уборна?
— Да не могу ж я так, — сказала дочь. — Там тот дядька, что дверь ломал, ошивается. Ко мне заскочить норовит.
— Приглянулась ты ему, значит. То-то я вижу, с какой охотой он нашу дверь ломал. Не будь дурой. Глядишь, и выскочишь замуж за серьёзного человека. В нашей деревне тебе такого мужика не найти. Одни калеки пропитые. Может, это твоё счастье к тебе в уборну лезет. Почём знать? А ты кочевряжишься.
— Кончай, мать, не могу я больше терпеть.

Вернулись они в купе, подталкивая друг дружку и смеясь. Что-то там интересное всё же было. Маманя и дочь присели рядом на лавке, отдувались, болтали языками и круглыми ладными ножками в шерстяных рейтузах и толстых носках.
— Ловко ты, дочка, спицами работаешь, — глядя на спутницу, сказала мать. — И даже, я гляжу, головы от работы не поднимаешь. Хоть весь вагон тут вверх дном перевернись, а ты всё, знай, своё плести будешь.
— Вот бы и мне так научиться. А, мать? — сказала дочь.

— А тебе зачем?
— Шапочки буду вязать, вот зачем! Шапочки буду вязать и продавать. Деньги пойду-у-ут.
— Да кто их у тебя покупать-то будет?
— Ты будешь покупать! — сердито вскрикнула дочь.
— Вот я тебе буду покупать! — ответила маманя и приставила к носу дочери быструю и ловкую фигу.
— Будешь покупать. Куда ты денешься, — ответила дочь.

Шёл к концу десятый час зимней ночи, а в неудачном вагоне вечернего чаю ещё не давали.
— Галь, вот бы тебе сейчас чайку стаканчик, — с насмешкой подтолкнула маманя дочку. — Кушай, Галина Петровна, горяченького.
— Чайку бы хорошо, — подтолкнула дочка маманю.
— Перебьёшься, — ответила лукавая маманя.
— Ну почему же? — сказал пассажир. — Чай должен быть.
— Может, и есть для кого, — ответила маманя. — Да кто ж его тебе даст? Кому сейчас нужна лишняя работа?
— Что значит — «лишняя»?
— Ну, ты бы стал, проводником за день умаявшись, по вагону ночью со стаканами скакать? Не стал бы, милый человек. Ни за что б не стал. Ты вот по себе и суди. Как у тебя, так и у других тоже. Никто сейчас работать не хочет. И не то что там лишнего — самого обязательного наш человек работать не хотит.

С одной стороны, пассажиру кортело растолковать обалдевшей от путешествий мамане, что у него на работе всё не так, и у его спутницы, с которой он знаком, слава Богу, давным-давно, на работе тоже всё не так, не говоря уже о том, что и дома у неё и у него всё совершенно не так, как нарисовала вздорная маманя, и существуют на свете вполне ясные и строгие понятия: почему, кто, где и как должен исполнять свои прямые обязанности; но, с другой стороны, ум его и горло передавила тошнотворная мысль, что хитрющая баба весь мир давно уже переплюнула и всех на свете перехитрила: ни во что не веря, она вокруг и обо всём права. Как будто по её слову и рассуждению теряет смысл сама жизнь. Чёртова баба! Только откроешь рот, чтоб ей возразить, тут же и сам сядешь в лужу.
— Чаю не будет, — как бы подтверждением мысли пассажира буркнул в дверь сонный и явно пьяный проводник.
— Почему не будет? — прокричал кто-то в другом купе.
— Заварки нет, сахару не дали, титан замёрз, — отбарабанил в проходе проводник.

Или же правду сказал, то ли ляпнул что попало… Могло быть и то, и другое — с одинаковым успехом. Чаю не подаст, это уже точно, — во всяком случае, до утра; в остальном разбираться бесполезно.
— Хорошо хоть постелю дали, — заканчивала все явные и скрытые споры маманя. — Мокрая, зараза, а всё равно есть. А то, как мы туда ехали, так у них никакой постели вообще не было. Ни сухой, ни мокрой. Матери с ребёнком одну наволочку на двоих выдали, и всё. Конец.

Это маманя договаривала, уже засыпая. То ли из сна выходил её голос, то ли из яви?.. Чтоб не остаться в дураках, лучше было лечь и уснуть до утра.

Утром состав мелкими рывками подкатывал к Киевскому вокзалу… Знакомый мост, знакомый дом… Вот и «Рассвет» — фирменный магазин для слепых. Название тоже фирменное. Что-то из чёрного юмора… Ну да ладно. Уже Москва. Главное, что приехали. Если отдать должное рассуждениям мамани. А почему нет, если она, в общем-то, права?

Маманина дочка прокрутилась возле двери и вскрикнула:
— Ой, мать, я боюсь! Не будем мы выходить — и всё!
— Что такое?
— Там люди точно такие, как мы. Куда ж мы приехали?
— В Москву, дура! Куда ж ещё?
— Почему ж люди такие, как мы?
— А тебе других каких надо, что ли? С такими перебьёшься.
— Страшно, мать. Боюсь.
— Что там ещё за чёрт? — собирая последние вещи, спросил пассажир.
— Ничего особого, — ответила маманя. — Не волнуйтесь. Это она спросонья дверь с окном перепутала. Забыла, что в двери зеркало есть. На себя посмотрела, как на чужую. Сама себя в зеркало увидела и испугалась, дура.
— А ты на себя посмотри, — огрызнулась дочь.

Репродукция

Бывает так: смотришь на определённого вида зимний пейзаж — и видишь как бы некую картину Питера Брейгеля. Подобное происходит от гениальности художника, это само собой; и если тебе случается в такое состояние вещей войти и пожить хоть какие-то там минуты в пластах смещающихся времён, то результаты бывают любопытные.

Не я это придумал. Оживлением картин и прочими такими делами давно уже занимаются киношники. С бóльшим или меньшим успехом — но здесь уже дело решают мастерство, чувство меры и безупречность вкуса. Лучше других с этим однажды справился Игорь Бурлацкий в своём гениальном фильме «Операция „Крест“». Кстати, он был одним из первых — Игорь Бурлацкий, наш гениальный друг. Когда с левой стороны экрана на тебя один за другим выступают слепые музыканты и в рубищах нищих и святых бродяг располагаются в своём кадре — это было, как говорится, достойно кисти Брейгеля-старшего.

Как-то раз я сидел у Игоря в гостях, он показывал фотокарточки из своего режиссёрского архива, я на минуту отвлёкся, посмотрел в окно, просто так, без желания чего-то там увидеть, — но увидел.

Увидел вдруг яркий зимний день, многоцветный во всех размещённых в нём деталях; остаток лесного массива в окружении типовых жилых новостроек, и за густо-зелёной хвоей высоких сосен — то ли озерцо, то ли болотце, одним словом — ледяное пространство, представляющее

собой каток, где в выходной день люди проводили время в зимних забавах на льду и снегу.
— У тебя здесь настоящий Брейгель,—сказал я.
— Бывает,—сказал Бурлацкий.—Посмотри вот это.

Я посмотрел, ничего не понял. Не на что было смотреть.
— Правильно,—ответил наш гениальный режиссёр.—Смотреть не на что. Да и фильма нет. Фильм-то есть, но считай, что его нет. Хотя по-своему он тоже знаменит. Знаешь чем? Тем, что от начала до конца он снимался без меня. То есть без режиссёра. Режиссёр-то, конечно, я—но всё съёмочное время я провалялся на берегу моря пьяный, потому что фильм был мне заказан про море. И поскольку халтуру эту надо было брать, чтоб все мои ребята, включая и меня, не дохли с голоду, в фильме этом не получилось ни моряков, ни моря, ни хрена там вообще не было. Просто я лежал на берегу моря, которое, море, практически никогда не видел, а кино снимали помощники, ассистенты, ученики. Отличные все ребята. У меня плохих не было. Выйти из запоя они мне ни разу не дали. Ни-ни, сказали, ни в коем разе. Эту гадость мы сделаем как сможем, но ты её, Игорь, видеть не будешь. Тебя не касается, и ты к этой халтуре свою руку не приложишь. Так и в море меня с моим пузом оттаскивали, как арбуз в прохладу—головой вперёд, чтоб я и моря этого поганого не видел. Хотя места для съёмок я выбрал отменные, а море само по себе тоже знаменитое. Чёрное, во всяком случае. Да и на Южном берегу кайфовать тоже плохо не бывает, сам понимаешь. Вот так, старик,—сказал Бурлацкий и посмотрел на меня так, как умеет смотреть только Игорь Бурлацкий—знаменитый, величайший шутник.

Я не спросил: как так? и что это всё означает? Фильма про «наши великие воды», будем так говорить, я на самом деле не знал, а всё остальное мне было понятно. Я находился почти в таком же положении. Бурлацкий был в запое, а я просто сидел в дерьме. Не знаю, что лучше. До сих пор не знаю. Похоже, что так и не узнаю никогда. И Бог с ним.

Я писал, писал свою прозу, как хотел, писал, что называется, «в стол», а мог бы писать и «под стол»—с таким же успехом, а может, даже и с ещё большим, потому что печатать меня—и таких, как я,—никто не собирался. Редактора в издательствах (те, что получше) чуть ли не с порога встречали унылой фразой: «Не то время, старик, сам знаешь, совсем не то».

Мы бродили по своим прекрасным городам и прикидывали про своё по-разному. Я думал, в какую бы среднеазиатскую глушь мне умотать месяцев на пять-шесть и с помощью съёмочной группы, снимающей фильм про какие-нибудь «наши великие горы», упасть в рай зелёного чая с лепёшкой и мёдом, чтобы в сорокаградусной жаре забыть если не про литературу напрочь, так хотя бы обо всём окололитературном.

А когда я оттуда вернусь, я сразу побегу к своим друзьям, чтоб рассказать им про всё. Такая у нас жизнь. При этом они спросят: написал? И скажут: прочитай. И я им, конечно, прочту. А уж они меня за всё это примут по-королевски. Моим друзьям, правда, я могу ничего и не читать, я могу к ним просто прийти без того и сего, и они меня всё равно примут по-королевски. А уж когда они придут ко мне… что там говорить… будет то же самое. Иначе у нас не бывает.

Мало что с Бурлацким мы носим одно имя, тёзки, как говорится; мало что мы с ним родились в одном году и в один день (не договариваясь, понятное дело), так мы с ним оказались ещё и друзьями по несчастью. Я прочно зачислился автором первой своей и единственной книжки, которая, книжка, следует сказать, не прошла незамеченной, а Игорь Бурлацкий остался режиссёром одного гениального фильма. Второй сделать ему уже не дали.

Как это делается? Очень просто. «Операция „Крест“», нашумевшая дома и за границей, потихоньку становится классикой мирового кино, а отечественный прокат убирает ленту из употребления, запрещает демонстрацию и даже профессиональный просмотр на нормальном уровне, кладёт фильм на полку, и он там лежит—если не как мертвец в морге, то как заключённый в камеру на Бог его знает какой срок. Режиссёр подаёт заявку на новый фильм, а ему говорят: «Вы газеты читаете? Там же куча гениальных тем. Выбирайте любую и над ней работайте. Не справитесь сами—мы вам поможем. А на все эти ваши фокусы поставьте крест, хоть каменный, хоть железный. Деревянных мы не ставим. Работаем с большим запасом прочности». Режиссёр отвечает: «Подумаю». Уходит в запой и пьёт гениально изо дня в день ровно пятнадцать лет.

Не тюремный, конечно,—но тоже нелёгкий срок. Оттрубив его на всю катушку, в один прекрасный день Игорь Бурлацкий, очухавшись, понял, что здоровье не то, мир изменился, мимо него кое-что безвозвратно прошло и сам он тоже мимо чего-то здорово пролетел. Оставалось лишь закончить гениальной шуткой, чего Бурлацкий обыкновенно никогда не упускал.
— Слушай,—сказал Бурлацкий,—что такое этот самый Набоков и с чем его едят?
— А что, собственно?
— Я бросил пить, потому что устал. Так думаешь, стало лучше? Ничуть. Во всех отношениях. А тут ещё и на студии чертовщина какая-то. Целыми днями слышу: ты видел Набокова? А ты читала Набокова? А ты читал Лолиту Набокову? У кого моя Лолита Набокова? Хочу иметь Лолиту Набокову… И всё это тихо, всё шёпотом, чтоб никто не догадался. Запрещённый, что ли?
— А ты не запрещённый, что ли? Чему удивляешься?
— Нет, старик, говорю без шуток: похоже, что я мимо чего-то здорово пролетел.
— Ерунда. Не ты один. Все мы мимо чего-то здорово пролетели и дальше летим. Однако это ещё не конец. С Набоковым я тебе помогу. А ты мне тоже подсоби малость.
— Что надо?
— Отправь меня каким-нибудь придурком со съёмочной группой.

— Куда ты хочешь?
— Куда подальше. Мне понравились горы в Таджикистане.
— Зачем «придурком»? Поедешь администратором на съёмочной площадке. Будешь работать с Лесем Гусем.
— А что за «гусь»?
— Фамилия Гусь, а зовут Лесь. Если сумеешь с ним справиться, то найдёшь себе спокойное местечко для горящей сигары, как говорят немцы. Или англичане. Да Бог с ними со всеми.
— А что с Гусем?
— Решил быть гениальным во что бы то ни стало. Сам понимаешь, какой это бывает тяжёлый гений, если он решил быть гением принципиально. Можно и поехать на всю голову.
— Это меня не волнует. В самый раз. Сойти с ума не помешаю.
— Тогда без проблем.

И вот, стало быть, я вернулся из Средней Азии — и пошёл бродить по городу, как уличный пёс, обходящий свои заветные места. С высоты старгородского холма я смотрел на Андреевский спуск — и опять вся эта местность, знакомая до каждой собачьей кочки, показалась мне картиной Питера Брейгеля, по которой я намерен был пройтись. Прогуляться, не думая, конечно, ни о какой картине. Просто из Старого города через Андреевский спуск сойти вниз, на Подол; на этом закончить прогулку и поехать к друзьям. Что такое Андреевский спуск — это я знаю давно и прекрасно. Одно из лучших мест в мире, а может быть, и самое лучшее. По крайней мере, для меня. Сам себе я имею право это сказать.

Однако, я столько раз исходил вдоль и поперёк все эти излюбленные места, что восторги, волнения в словах, мыслях и чувствах изрядно притупились. А тут вдруг что-то такое получилось. Именно: от картины Брейгеля, то бишь нашего пресловутого спуска, исходило какое-то волнение. Слишком уж всё это было как на картине (на репродукциях, ясное дело, известных нам), и слишком уж всё это было живым, включающим в репродукцию и меня в качестве фигуры, необходимой хотя бы для композиции, что ли. Гений мастера знает своё дело — спорить с ним бесполезно.

Был влажный солнечный день январской оттепели, картина стояла как будто ещё сырая, краски не подсохли. Крупными негустыми хлопьями снег падал с верхнего края картины и подтаивал внизу, на тротуаре. И было очень тихо. Как будто нарочно всё устраивалось так, чтобы зритель, имеющий отношение к репродукции, имел возможность почувствовать момент, когда дух гения, заканчивающего работу над картиной, отлетает к своим небесам, предоставив зрителю самому разбираться с холстом и всем прочим.

Несколько улиц стояли колом и летели круто вниз в тех направлениях, куда их отправил сумасшедший художник. Желание уйти вглубь, прогуляться дальше теперь уже влекло, как бы утверждая свою истину, что постоянны только желания, а не результат: конец всего, в том числе и прогулки, может быть каким угодно.

Большая чёрно-серая птица вскрикнула очень громко, сорвалась с дерева в левой части картины и прочертила свой путь к небольшому домику с верандой и штакетником забора на таком же картинно-небольшом участке у подножия холма. Обыкновенная ворона тоже сумела представиться средневековой птицей.

Или это было сигналом, чтобы я совсем отделался от посторонних дум, увидел, что картина живёт — ожила — и я имею возможность пожить в ней. Вот тут я уже действительно вздрогнул. На веранду из домика вышла женщина, приложила руку ко рту и позвала кого-то, прокричала в небо имена так громко, как это делала в детстве моя мать. Чтоб дозваться хотя бы кого-то, она выпаливала в пространство имена всех своих сыновей, вызывала пятерых сразу. Я услышал все наши имена и голос матери. Она стирала и выскочила из дома, как всегда, с мокрым животом. Ей нужен был кто-нибудь, чтоб натаскать воды или там наколоть дров для печки.

Но какал вода? Какая печка? Причём здесь всё это вообще? Это было, но давно кончилось. Мы живём иначе и совсем по-другому. Всё это кануло в прошлое… А что значит кануло? Что значит в прошлое? Да-да, мой друг, говорил я сам себе, что значит — прошлое? если сам ты шагаешь в джинсовых штанах и чёрной куртке, купленной на киношные деньги в Средней Азии, шагаешь потихоньку, гуляешь по так называемой Аллее Любви, то есть по скверу между двумя улицами, которые прекрасно вписываются в картину Питера Брейгеля, потому что Аллея Любви (название, разумеется, народное) — вкупе с хозяйничающими здесь алкашами и бродягами — это уже чистое средневековье. Разве что капюшонов живописным уродам не хватает, а всё остальное есть.

Желающий быть натуральным гением режиссёр Лесь Гусь для некой сцены в своём фильме (тоже связанном со средневековьем) пожелал найти для массовки колоритные личности. И нашёл их только в местном сумасшедшем доме. Во-первых, даже и без азиатских тюбетеек было видно, что это не жители Англии времён короля Артура; во-вторых, у него с этим делом возникали юридические хлопоты, потому что такого рода использование душевных больных запрещено законом. Бог с ним, с этим фильмом, который канул в вечность, как в пропасть, в тот самый момент, когда начался. Я хочу лишь отметить единственное. Для такой сцены не стоило ничего подобного затевать. Нужно было лишь пройтись по Аллее Любви, где на лавках и под лавками аборигены Подола, его живописные сыны и дочери, осуществляют ежедневную и еженощную жизнь в районе Житного рынка.

Тарабарят на своём языке, сморкаются, пьют, занюхивают — мужчины и женщины, — ласкают, любят друг друга на зелёных уличных скамейках, тут же умирают — до или после — околевают на несколько часов, отключаются с гримасой конвульсии и спят себе премило блаженным сном, часто в лужах собственной мочи, отдыхают-блаженствуют с бутылками между ног, с расстёгнутыми штанами, с задранными юбками, вздрагивая во сне от

эротических сновидений… А какие ещё могут быть сновидения на Аллее Блаженства и Любви? Название, как сказано, придумал народ, а народ всегда прав, как этому учит нас государственная политика в образе центральных и местных газет.

Так что всё правильно, думал я, прогуливаясь по живописному месту спокойно и потихоньку. Капюшончик какой-нибудь брейгелевский на голову был бы при этом в самый раз. А то посторонних на Аллее Любви не очень-то жалуют. Могут выкинуть что угодно. Правда, если тихо идёшь, ни на что как будто не смотришь, то шансы у тебя есть. Можешь пройти своей дорогой, прогуляться по своей картине, прокрутить, как говорится, своё кино, если тебе уж так сильно хочется. Если ты нас не видишь, то и мы тебя можем не заметить. Но какой же ты писатель, если хотя бы краем глаза не ухватишь кое-что из заманившей тебя в своё средневековье картины?

В зимнее время жизнь на Аллее примерзает, как и всё в природе. Но зима была мягкая, с оттепелями, на Новый год вообще шёл не снег, а дождь. Январский день выдался тёплым, почти весенним. Как раз таким, когда приятно выбраться из тараканьих щелей и пожить на освежающем воздухе.

И она, эта самая жизнь, шла своим чередом. Очаровательница с Аллеи Любви, размалёванная куклой, разодетая в цыганский пух и прах, с бежевой паклей волос в причёске, сдвинутой набок, как парик, нахлобученный второпях, предлагает какому-то типу военного образца китель с набором колодок и медалей, а вместе с кителем — и себя. И то, и другое, надо думать, по самой нормальной цене. Тем не менее, инвалидного вида дядя, специализирующийся на чём-то другом, нервничает и замахивается на девицу палкой хромого человека. Товарка яркой куклы — обе универсального, неопределённого возраста, каким определяются в нашей стране, скажем, молодые писатели, режиссёры, поэты, музыканты и прочие — то есть не старше пятидесяти и не меньше двадцати, — наливает в эмалированную кружку какую-то бурую жидкость и пьёт её кусающими, щипающими движениями деликатной козы. Дальше в ряду человеческих лиц замечается пампушечного вида толстуха, слепленная из трёх шаров теста. Почти как снежная баба — продавщица из треста столовых. На её тележке с грязно-зелёным ящиком торчит картонка с рукописными словами: «Растягай тёплый 16 коп.».

— С мясом? — спрашивается.

Отвечается:

— А с чем ещё?

С тылу к пампушечкой снежной красавице подходит милиционер, наклоняется к морковного цвета лицу в белом шерстяном платке, говорит что-то на ухо. Продавщица отмахивается от него, как от назойливой мухи, потом всё же одумалась, не глядя ткнула в милиционерскую лапу «растягай с мясом» и заработала дальше, закричала:

— Растягай берём… С мясом, горячий берём…

Милиционер отошёл в сторонку, припрятался за стволом старого тополя и стал жевать свою бесплатную добычу, свою невесёлую, но положенную дань. Что-то здесь было нечисто — и с этим «растягаем», и с «мясом», и со всем остальным. Милиционер жевал воровато, украдкой. И вид у него был совершенно жалкий. Его почему-то захотелось пожалеть, как несчастного мальчика. Да он и стоял таким под деревом, кривя ноги в стоптанных служебных ботинках. Жалость и злое сочувствие поднимались от земли, от этих самых детских ботинок с крестиками шнурков на ногах человека сугубо строгой и грозной службы.

Я оглянулся назад, на холмы Верхнего города, — картина была уже не та. Понятно, теперь я смотрел с другой точки. Не сверху вниз, а снизу вверх. Опять прокричала птица, взмыла к строению на холме, стоящему в оплетении таких же чёрных, как и сама птица, веток. Траекторией полёта она как бы поставила подпись художника под картиной.

— Это уже Босх, — сказал я сам себе. — Конечно, Босх… Босх, а не Питер Брейгель.

Похоже, я сказал вслух. Потому что услышал голос типа, сидящего на лавочке:

— Какой ещё босс? Сам ты барбос!

— Какой ещё барбос? — перекинулось по Аллее Любви.

— Он сказал «барбос».

— Кто он такой?

— Не знаю. Чужак.

— Займись им. А то я сам займусь.

— Эй, ты! Ты отвечаешь за свои слова?

Главное — не паниковать, не обращать внимания и не поддаваться на авантюру. Это золотое правило. Идёшь с таким видом, как будто тебя не касается. И в самом деле: время не то, другая жизнь, и даже язык другой; находимся в разных мирах и в контакт вступать не можем. То есть не должны. А то может быть хуже. Ведь агрессивность налицо. Она есть, чего там говорить.

— Отвечай, барбос, когда тебя люди спрашивают. И стой, когда тебе говорят. Ты что, языка не понимаешь?

Не так чтобы очень уж страшной или там грозной оказалась картина, но выбираться из неё было самое время. Я ведь и без всяких этих глупостей спустился на Подол, чтоб оттуда уехать к друзьям. Самое время. Вот только на чём? «На чём?» — почему-то задумался я, как будто в кармане у меня не болталось вечно несколько пятаков, за которые, когда надо, можно проехать.

«Метро», — словно осенило меня. И тут же: «Какое ещё метро в этой дырке вечности?..» И дальше: «Идиот, ты живёшь в век цивилизации и в стране самой лучшей в мире культуры, как это для скромных умов утверждается ежедневно во всех газетах. Ты бросаешь пятак — и тебя везут. Ты нажимаешь на кнопку — и у тебя что-то вертится. Станция рядом. Ты уже стоишь напротив…»

И тогда мне стало страшно.

За всё сразу.

Стоя на эскалаторе, я уже посмеялся над собственной глупостью. Приеду к друзьям, расскажу им про это всё, и уж тогда мы все вместе посмеёмся по-настоящему. Пожалуй, это и будет самое главное, ради чего стоит рассказать.

— Тебе повезло, — сказал Георгий Гарумби, наш гениальный философ и поэт. — Тебе довелось

узнать, что параллельные миры существуют. Это не просто мистика. Другие века пребывают, как бы это сказать, в своём месте. Они проходят, но не исчезают. Потому что тогда существование всего бессмысленно. Абсолют такого не допускает. Абсолют или Бог, это уж кому как нравится. Ты попал в прошлое, в другой мир, и из него выскочил. Считай, что тебе здорово повезло.

— Если не свихнулся,— сказала подружка Георгия.

— А я считаю, ребята, что всем нам здорово повезло, потому что у нас есть хорошие книги, хорошая музыка и хорошие друзья,— сказал Евгений Шевцов, хозяин квартиры,

— И что нас, идиотов, вы с Ириной всегда принимаете по-королевски,— сказал Борька Пекарь, весьма оригинальный художник.

Малиновая жизнь

1.

Кащеев хутор стоит в низкодолье, весь целиком провалился в овраг. Выглядывает крышами хат. Получается так, словно ухнули избы в лог, да полезли опять, и уж будто совсем выбрались, да не хватило попросту сил или там передумали зачем-то: аль в логу не житьё?— тишиною спасёмся!

От века хутор Кащеев стоит в тишине. Окружённый лесом, схоронился в таком месте, о котором субъект, ошалелый от реалий городской жизни, склонен думать, что там доподлинно она и есть, эта самая малина-жизнь, где надоедливы лишь комары да кукушки, зато соловьям, как сообщникам по лирической части, благословление и почёт. Можешь слушать, а можешь и подпевать. Отчего ж не запеть соловьем, когда жизнь в райском месте — как парное молоко: тёплая, тихая, инда утробная. А такая вот самая жизнь безперечь в Кащеевом хуторе и творится. Глянешь со стороны — не иначе, что так. Вьётся дымок над крышами шестнадцати хат, семнадцатая недавно сгорела, а в пятнадцатой сам собою никто уже не живёт, там даже и днём темно.

А над ямой жилой лес стоит. Государственного лесничества деревья растут, кусты, травы, грибы-ягоды разные — всего вдосталь. Лес кое-где лиственный, а так всё больше сосняк. Обступили сосны Кащеев хутор малиновыми стволами. Во всякое время хорошо быть на хуторе, летом же всего веселей. Под солнцем между малиновыми стволами малиновый воздух дымится, а кроны синие-синие. Теплынь. Вызревает. Ходи себе вокруг, тишину бездонную слушай, отдыхай, к умственным заботам располагайся. Солнце красное будет садиться — увидишь, каков над землёю бывает закат. Фантастический просто!

Всякий день иной — и так всякий день. А чтоб подобие голоса живого чаще бывало, прописалась на хуторе кукушка. Даром что беспутная птица, а с видом на жительство живёт, хуторской прописки не меняет. И всё толкует своё: ку-ку да ку-ку… Считай, если глуп. Иной раз от хутора взглянешь на стволы обступившие: какой неотвязный от сосен малиновый свет! Чудной. И тут же приходит на ум: от малинового света такал же вот и малиновая жизнь. Малина-жизнь называется.

2.

Арефий, хуторской мужик, что смазчиком при железной дороге работал, бил жену сапогами. Бил, бил да таки своего добился. Живую жизнь из Афросиньи выбил — мёртвой жить стала. Сама о той говорила так:

— Враз, дети, почуяла я, что жизнь из меня утекла. Пустая совсем стала. Корову ли подоить, ли в лес за травой или грибами, а души во мне нет. А уж как скучно стало внутрях, то и сказать невозможно!

Невдолге и смерть пришла. Доила Афросинья корову в сарае, так под коровой и померла. Арефий плакал горько и очень; всем толковал, какая любимая была у него жена. Корова осталась. Белая с чёрными пятнами — тоже любимая. Арефий корову бил. Бил, бил да до смерти и забил. После коровы у Арефия-пьяного один только пёс остался. Кроме — бить некого. Напьётся Арефий и пса бьёт: за жену Афросинью, за корову, за себя, за всё вообще.

3.

У Кащеева хутора зелен-луг приятный. Не ботвист, не бурьянист, ровен, как стол, не бугрист. Зелень пустая до горизонта. И одной этой травной земли достанет нель там скотину выпасать, а и человеку всю жизнь просидеть, созерцая безмятежно. Речушка Унава на юго-запад течёт — не речка, а так, ручеёк. Сорока пожелает — вброд легко перейдёт. По краям сорочьего брода голубых незабудок сила цветёт: «забыть невозможно». Лепечут голубые слова своими детскими голосами, а тихо. Радость какая!

В аккурат по горизонту грузовик ползёт, как жук в пыли. И если вот так на него посмотреть — созерцая безмятежно — то и грузовик хорош. По горизонту выползает жук на закатное солнце. Вот и вспыхнул. Сгорел. Немудрено — солнце всё-таки. Красная пыль от жука далеко летит.

А уж как коровы стадом по лугу пойдут, а за ними — пастух, нам известный, так тут же и валится из шекспировского восьмитомника увесистая чёрная книжка вон из рук. Да и впрямь: какой уж тут Шекспир — с ядом и кровью?! Откуда страстям таким при закатной жизни взяться, когда вся жизнь людская — вот она: простая и понятная, как коровий хвост? И хвост этот самый весь день маятником маячит перед глазами пастуха. Фамилия у него, как считает пастух Колокольчиков, какая-то неудобная. Как будто её глупый дачник какой, вроде того рыжебородого художника, что дом на хуторе решил покупать прошлым летом, беспутной своей головой придумал, а назад отдумать не догадался. С тем и живёт теперь Колокольчиков, камень за пазухой не держит и нож за голенищем не носит, а только желает поговорить всегда. Потолковать по душам, как выражает себя Колокольчиков. Внешностью он, можно прямо сказать, не цветок. Хотя и фамилию носит цветочную. Разве что телом Колокольчиков стеблист. Тонок и перекручен; болезненной жизнью в спираль завит.

4.

А затосковал Колокольчиков прошлым летом. Именно: в розовый июльский вечер, когда над Кащеевым хутором, над истомившейся от зноя землёй небо в натугах рождало сполохи, дрогнуло корявое лицо Колокольчикова, и неспокойные тени обозначились на нём. И было это тем более заметно, что твёрдым и грубым было его, Колокольчикова, лицо, обычный вид которого о себе ничего не объявлял — страстям Колокольчиков подвержен не был.

Да и откуда им взяться, называемым страстям, когда жизнь вокруг пастушья, идиллическая, одновязкая, как кукование кукушки, одногнёздная. Тёплая, вязкая жизнь, как коровьи дойки! Какие уж тут страсти *инвалидские*, когда половины рёбер в боках уже нет как нет. Жену, наоборот, имел Колокольчиков много крупнее себя и выше ростом. Есть чем гордиться — и то слава Богу! Если б только парным молоком не жила и этим продуктом с ног до головы не пахла. Парного Колокольчиков терпеть не мог — до сущих рвот.

Рассказать, что ли, как — кропя землю потом — работал всю жизнь Колокольчиков, твёрдо зная одно: не может так быть, чтоб земля, требующая так много сил, не воздавала б за труд щедро. И так всякий год, каждой весной начиная сызнова, выживал-жил среднего роста и щуплый, стеблистый на вид Колокольчиков. И обзаведение хозяйственное имелось, и на стол было чего — грех пожаловаться. Это уж пусть Коридон, простоватый пастух, в буколической страсти признаётся Алексису: «Ты презираешь меня; откуда я, кто — и не спросишь». Им, Корридонам, только и было дел, что до сомнительных всяких страстей. А вот поди ж ты — тем же манером больно кольнуло колхозника в бок. Колокольчиков и бок предлагал пощупать. Да из наших, из хуторских, гостей никто не хотел проверять. Принимали и так.

— Дай руку, — настаивал Колокольчиков, — не боись. Ты не боись, — говорил он, — а ты лучше спроси у меня: как, чего и зачем. Душу чужую не презирай. Даром что в пастухах, а рассказать не хуже учёных могём. Корова, например, она ведь что? Примитивная тварь? Допустим, что так. А у всякой свой собственный норов есть. Только примечай. А я тебе могу хоть сейчас рассказать, как, скелету лишившись, мягким и кручёным на всю жизнь стал. Дай руку сейчас…

По Колокольчикову выходило, что преждевременно ахнуло его в бок рваным куском германского металла в Отечественную войну; муки и ад, когда почернело всё от земли до неба и доброе солнце с шипом погасло, как сковородку в воду. Это шипение солнца и было последним, что услышал Колокольчиков, когда корчился в муках ада на синей земле. Когда же встал боец с госпитальной койки, то крупные перемены произошли в состоянии его здоровья, и рёбер в боках как не бывало.

— Незначительный эпизод героической жизни, — говорил Колокольчиков. — Да я ещё и не то расскажу. Когда на кессоне работал — кессонщиком, значит, — обвал получился. В шахте нас придавило. Из пятерых один я жив остался. Только вот бок опять же примяло. А так вообще работа была хорошая, и кормили нас хорошо. Обед как обед полагается. Ко всему — два стакана шоколадного кофе. Такого сейчас нигде не выпьешь. У нас на хуторе народ разный живёт. А у меня глаз зоркий. Если ты негодяй, в утробе матери рождённый, мимо меня не ходи — как орех разгрызу. Возраст мой как бы не тот, а глаз как стекло чист. Как человек образованный, не по образованию, скажем, а по естеству, я имею в виду стекло шлифованное, как в приборах. Привык, когда в разведке работал. В военной разведке работал, а потом и в гражданской… Не надо смеяться… О военной разведке говорить нечего, там всё ясно. В гражданской далеко не так. Тяжелее работать гораздо. От разведки гражданской у меня на теле тоже богатый след остался. Вот. Гляди, — Колокольчиков предлагал тело ощупать. Это он всегда предлагал.

5.

Дафнис и Хлоя — не наш рассказ. Разве что зачин такой наш. Потому что поля и рощи, луга и… хлева, сельская жизнь — идиллия одинакова, разве что конец другой: тайну любви Афросинья в могилу унесла.

Афросинья, жена Арефия-пьяного, полюбила. Хуторского мужика, Егора-Американца. У Егора изба крепкая, строгая — и мужик такой же. Американцем его на хуторе прозвали. Светлые жёсткие волосы, рано поседевшие, на высокой голове. Неразговорчив он был и деловит. Голову всегда держал высоко-высоко. На крыльце своём любил долго стоять и курить табак. Всегда стоя курил. Дым выпускал в сторону Афросиньиной избы. Сразу, может, одна только Афросинья и приметила, что не зря мужик на крыльце столбом стоит. Нутром своим женским крепко почуяла, как разбежалось всё внутри у него, сердцем далеко бежит. Неразговорчив он был и деловит; голову, как сказано, высоко держал — высок.

И полюбила Афросинья. Так полюбила, что впору ей было за разбежавшейся мечтой, обнявшись, рядом бежать. А уж он-то, Американец называемый, зря на крыльце столбом не стоял — любил Афросинью. Красавица она была — тихая. А как дело до любви дошло, какая там тихость. На край света готова — обнявшись — бежать.

И сбежали. В Кирсановку, деревню недалёкую, за пятьдесят километров. Три месяца прожили там, как на краю света, где рай называемый стоит. Потом по Кащееву хутору слух прошёл: видали де Афросинью с Егором в Кирсановке. А вскоре они и сами объявились; по хутору, обнявшись, прошли и разошлись: Американец-Егор — к жене своей терпеливой, Афросинья — к немому от пьянства мужу.

Как дальше любили, про то знает сосновый, в малиновом воздухе утонувший лес. Закатилась любовь с глаз долой, и опять мужик мужиком стал, захозяйничал Егор в строгой избе, только дым завертелся в седых усах.

Арефий жену свою давно уже побивал, а она про сердечное дело своё ни ему, ни кому другому

на хуторе не сказала ни слова. Только улыбалась, как заходила о том речь. И когда просто так языки чесали, и когда мужем бывала за то бита—всё равно улыбалась и веселела лицом, хотя с тех пор заметно чахнуть стала, телом усохла; до той поры не худа была, а теперь только рост один. С тех пор на хуторе так и порешили, что тайну любви Афросинья в могилу унесла.

6.

По пьяному делу каких только чудес не бывает. Это уж всегда. Одножихарь хуторской из семнадцатой хаты, Сашка Мутов, друг Арефия-пьяного, такой же беспробудный, к керосину пристрастие возымел. Не то чтоб там пить—какой. Надо ль его пить, когда самогонного питья везде вдосталь, а тут и запах не тот и цвет керосинный имеется, а нормально пьющий мужик водку цветную не уважает. Не то чтобы совсем её не уважает, но—меньше. От керосина, известно, польза одна есть—жги лампу в потёмках. Может, за деловитось этой самой жидкости полюбился мужику керосин.

Так или иначе, натаскал он его в избу несчётное количество литров. Беспробудному легко ль пробудиться? А уж как на ноги встал, так непременно с бидончиком в Кащеевку, за шесть километров, керосину подкупить. И натаскал-таки прилично; куда ни глянь—везде керосин: и на столе, и под столом—целое хозяйство.

Пили вдвоём с Арефием дружно. Под конец дня Арефий один на четвереньках к себе уполз. Сашка Мутов остался лежать на полу, во дурмане бывши. И то ли он сам—во дурмане—про свою папиросу забыл, то ли Арефий, уползая, свою выплюнул, а только вспыхнула враз изба, фантастической керосиновой лампой ярко в овраге засветила. От хозяина керосинного только дымок, как говорится, взошёл; в одночасье дотла в керосиновой яри всё перегорело: ни звука, ни писка. Только по злому жару мрачные тени заходили, как чёрные кольца по шкуре красной змеи.

А вот куда подевался мужик из пятнадцатой хаты, про то ещё долго никто ничего не знал; хотя там ничего и не горело.

7.

Весной на огородных участках за хутором земля лежит, как плодородная дева: вальяжная, волглая, ждущая. Всякое семечко, упавшее в прах, в зелёный росток перерождает. Хочет родить. Только семя какое-то приняла в родючее лоно, а уже прижила, обжила, холит, соком поит. И уже в зелёном росточке гибкость, как жизнь и сила, пружинная стойкость жива.

В такое вот самое время пахать да сажать-сеять—не зевай. Земля приглашает. Тюлев свою землю вспахать трактор пригнал.

Соседа Тюрина малость опередил. У Тюлева земляной надел в шестнадцать соток, у Тюрина—точно такой же. Ограды на участках нет, она никому не нужна. Стычки да споры на границах наделов—это бывает редко. Пограничными знаками между землёй Тюрина и Тюлева были кусты бересклета да дикая груша в низине, где огороды подходят к лесу. Тюлев, свою землю работая, у соседа Тюрина полоску земли отпахал в свою пользу. Сотки полторы—не меньше. Кусты убрал куда подальше, на их место осиновые колья вбил. Имею право, решил Тюлев, и спорить не надо. Да только Тюрин его на горячем пристопорил.

— Зачем от моей земли отпахал?
— Моя,—сказал Тюлев.
— Моя,—сказал Тюрин.—До груши. Груша ничья.
— На моей земле—и груша моя.
— .Как так?
— А через так.
— Переставляй колья. Эта земля моя.
— А ты пойди докажи.

Тюлев Тюрина хорошо знал; знал и Тюрин Тюлева. По бумагам в сельском совете дело с землёй выглядело совсем не так, как было на самом деле, к тому же у Тюлева были друзья в конторе, свои люди, у Тюрина ничего подобного не было; при этом в злополучной судьбе Тюрина всё у него складывалось так, что он никому никогда ничего доказать не мог. Не мог, и точка.

— Моя,—сказал Тюрин.
— Моя,—сказал Тюлев.
— А ты пойди докажи. Может, какой дурак тебе и поверит.

Когда нож выхватил Тюрин—он ничего не видел, темно стало вдруг. И в эту тьму окаянную Тюрин нож по самую рукоять всадил: во тьме охнуло. Убивши Тюлева, Тюрин нож поперёк тела потащил. Чтоб пополам перерезать.

8.

Закурили. Ужин пришёл к концу. Жена Колокольчикова, молочно-белая великанша, переставляла посуду. Молчала величественно. В голове гудело. Хоть бы сумерки поскорей. Вечерняя прохлада. От водки избяной прогорклый воздух совсем тяжёлым стал. А Колокольчиков не в пример посерьёзнел, нахмурился, лицом посмурнел.

Чего-то недоставало. Как будто всё уже рассказано было, истории о потерянных рёбрах вышли в расход, а суть сокровенная самая таилась где-то, не выходила в наличие—и от этого длилась мукой достоверная жизнь. Стало быть, где-то она была—*история жизни*—прожитая история.—«Да что ж ещё рассказать-то?!»—мучился Колокольчиков, напрягался изо всех сил… Дымил в стол. Дым, поднимаясь, голубой завесой проплывал вдоль стены, где под полотенцем с рудым узором висели пожелтевшие фотокарточки. Пустоглазые, плоские лица; в едином возрасте—дети и старики. Это уже и не печаль, нет, просто житейская серьёзность. Глазом беса умеет смотреть объектив фотоаппарата в руках фотографа, общепризнанного, единого для всех в городах и весях, дарующего радости, одинаковые до жути.

Дальше дым проплывает—к двери, идёт вниз и уплывает быстро. Как будто домовой, забавляясь, мохнатыми лапками тянет дымовую ленту. Шастнуть бы за порог и тронуть рукой игривое брюшко: весёлый жилец, хохотун беззаботный. Глазки лукавые, животик тёплый, а лапки мохнатые, ласковые. Да и каким заботам пристать, когда

жизнь проживается неугомонным брюшком? А в голове беззаботной проплывают дымные облачка, а на облачках — по отдельности на каждом — стеариновая свечечка вкусная, сухарик хрустящий, кофе шоколадный, курево индийское, кофейное зёрнышко арабское, пуговица золотая поющая, а вот и часики пролетают с репетицией, бьют тринадцать — весело, хохотно… И никаких тебе разведок гражданских, ратных подвигов исторической жизни пастушьей, ни тебе аэропланов, бандитов брянских, потерянных рёбер и прошлогодних трупов.

Сверчок запел. Слава Богу — вечер. Прохладнее в сумерки.

9.

Вот так же под вечер, когда посинел малиновый лес и сумерки заструились дымом, Марья-знахарка присела под деревом отдохнуть, травы собранные возле положила. Бедовая женщина, собирала она всесильные травы, уморилась. Травы рядом лежали: дурманные, целебные, девятисильные — из тростинки одной сок вдруг на землю красной кровью вытек.

И не спала Марья, только что глаза смежила — и видит ясно: кровь пролилась. За этим видит: идёт к ней по лесу мужик. Хуторской, знакомый. Пиджак знакомый на нём, даже значок тот же привинчен, висит: шестерёнка на значке и надпись «Трудовые резервы». А пониже колен у мужика ног нет. По воздуху, словно по воде, бредёт. Побитый весь. На месте правого глаза — красная рана. «Убили меня Марья, — сказал Жуков, мужик из пятнадцатой хаты, это он был. — Убили просто так. Ни за что. Недобрые люди. Да ну их совсем». — И пропал. Больше ни слова.

Знахарка, бедовая баба, спохватилась. От того места, где решила передохнуть, до своего дома одним махом перенеслась. А уж когда дверь на запор заперла, соседку через окно стала звать. И рассказала.

Соседка, баба простая, без хитрины хитроватая, сразу смекнула: на том месте надо землю копать. Там, где кровь из травы капнула, что-нибудь обязательно будет. Может, даже и клад. Только копать лучше днём, чтоб не было страху. Нечисть, если какая есть, этого времени больше боится. Ежели рассудить — соседка права. Лучше в полдень. Тогда и ярче в лесу, и тени короткие, только жары который день стоят. Взяли лопаты — пошли.

Недолго искали, где копать. И на том месте мужика откопали — Жукова из пятнадцатой хаты. Лежал он в земле убитый, на месте правого глаза яма была. Так разрешилась загадка. Правда не совсем. Изба Жукова до сих пор пустая стоит, и в ней почему-то даже и днём темно. Глядеть не тянет — жутко.

10.

Рассказать бы её, сокровенную суть, — может, и полегчало бы.

Пружина и загадка жизни в ней. Да откуда ж её взять, когда ни начала, ни хвоста у неё нет, самому не понять. А уж собеседник, он тем более глуп. Городской человек, ему не понять. Хмурился Колокольчиков. Молнии морщин на тёмном лице предвещали бурю. Жена его тем временем веселела. Игривым и тонким голосом вела про своё:

— А по мне так парное молоко. Вся сила жизни в нём. А мой дурак не пьёт, только нос воротит.

Колокольчиков поражал её молниями взглядов. Что твой Зевс. Да жене хоть бы что. Послал известный силой взгляд, а от Зевсовой люти только дым и шип. Жалко даже. Такая сила — и как в бадью с молоком. Колокольчиков словесно грозился, пальцы сжимал в кулак.

— Да вы не слушайте его, — говорила жена. — Не обижайтесь. Человек он тихий, хороший. А бывает с ним такое, как найдёт. Будто придурь какая. Ну, тут, конечно, и водка…

— Ничего, — говорил Колокольчиков. — Это мы ещё посмотрим, чья возьмёт. Ещё узнаем, кто я есть таков. Говоришь, незначительный эпизод исторической жизни? А у нас ещё дело не кончено, битва ещё будет, по линии разведки военной и гражданской тож, — бил себя в грудь кулаком и в небо грозился обиженным пальцем.

Глядя на Колокольчикова, думалось одно: не надо. Пусть уж идёт себе как идёт — только не вмешивался б Колокольчиков, не лез бы в драку.

Крестом осенённое, у Кащеева хутора святое место есть: ключевой источник. Вода течёт чистая, студёная, вкусная; серебро, а не вода. Над источником крест стоит деревянный, на кресте — икона, полотенце с узором, цветы. Хуторяне убирают, следят здесь за каждой вещью, и по тому, как выглядит утонувшее в зелени и прохладе место, сразу видно, что источник берегут свято. Встречаясь здесь, хуторяне говорят тихо, тихо берут воду и расходятся тихо. Тихо всё — только птицы в лесу поют-кричат. Хулиганья и беспутных людей по всей стране хоть отбавляй, Кащеев хутор не исключение, однако следов хулиганства у источника нет, пока что не бывает, слава Богу. И нас, городских гостей, приезжающих на хутор более десяти лет, это приводит к мысли, что таково действие места и тех, кто осенил источник крестом.

Баба Ганя — старуха моложавая, вдова разноглазая, — так рассказывает:

— Приезжали к нам на хутор люди. Да. С Урала, из диких мест, где уголь в земле растёт. У них там болезни особые есть. Дочка у них сильно телом страдала. Короста, сыпь какая-то, доктора лечить отказались, потому как лекарств для этого нету, не знают. Советы разные дают, а что делать — не знают. А она тут, на источнике, как-то сама собой прижилась. Пристрастилась к нашей водице. И пила, и мылась ею, полоскалась, как утка, всё лето. И чистая стала, болезнь сошла. Такая вода целебная. И что на ней ни приготовь, всё вкусней будет. Люди сюда приезжали из института, воду брали на пробу. Очень им наше место понравилось. Жаль только, говорят, что электричества у вас нету, при этом — живёте недалеко от столицы, да что там город — станция электрички рядом, четыре километра. Бутылки с водой они на пробу увезли, в Киев, а то, может, даже и в Москву.

Такая вода. А лучше всего она бывает в мае, когда корни трав сок в землю пускают. Тогда наша вода вкус целебных трав имеет. И силу их тоже. Да-да. Посмотрите сами…

Чёрный стрелок

Кто ты, Чёрный Стрелок?

В. Гюго

Жил-был Чёрный Ковбой. Он был таким же чёрным, как его шляпа, чёрный конь и чёрный кольт. Он был неуловим… Потому что за ним никто не гонялся.

Анекдот, современная притча

Лес казался древним и дремучим. Он был задуман как древний мифологический, таким и получился. Умеют, когда надо. То есть — когда не надо. Сначала губят леса, а после платят валюту и ставят спецзаповедники. Для своего удовольствия. Не совсем скрытые от глаз (лес от людей не спрячешь), но под военной охраной, закрытые. Для псевдоохоты псевдобольших людей в псевдомифологическом лесу, где всё, в общем-то, устроено отнюдь не для дураков. Право на охоту даруется знаком отличия для государственных мужей или же покупается за большие деньги, а уж охота там идёт — будь здоров! Лесной персонал, устраивающий фирменную забаву, трудится в поте лица, и штатные охотники выкладываются вовсю.

Чёрный Стрелок присел на ствол упавшего дерева, расстегнул куртку из чёрной кожи, закурил; дым сигареты смешался с запахом леса. Сукины дети, подумал Чёрный Стрелок, кисло усмехнулся (скорее, осклабился) и вытер испарину с удлинённого костлявого лица. Было душно, пахло болотом. Дремучесть леса происходила уже от запаха. Густой, тягучий винно-сладкий настой — воздух цветения и распада: запах его был буро-зелёным, как гниль болот. Лето стояло в самом начале, и сочной зелени ещё доставало влаги противостоять зною солнца. Под кронами деревьев болото дышало в тени, как винная бочка, парующая во времени. По краю болота, ручьём втекающего в озеро, цвели сумрачные, неведомые и нездешние цветы — как больное воображение. Казалось, они произрастают от тени, от распада, от застойной воды: рыльцеобразные, паучьевидные, змеиноголовые венцы, тонкими жалами протыкающие разноцветных мух; красные лепестки, краплёные лиловыми мушками; лиловые в жухло-красную точку, жёлтые с бурыми пятнами, белые крылышки лесной моли на голубом.

От дна болота восходили и лопались воздушные шарики, как таинственные пузыри земли. Булькало, и коротким «до» падали в воду капли с широколистых растений. Стадо животных зачавкало по болоту. Олени шли к озёрной воде. Теперь главное — не упустить своего часа. В том-то и штука, что для надёжности и вящей славы охотного дела, для забавы под названием «Калидонская охота», что процветала под сенью фирмы «Калидония», нужны были, полагались по штату и загонщики диких животных, и егеря, и стрелки. Одним из них и числился в штате некто Ковалёв, он же Чёрный Стрелок. Безупречный профессионал, Стрелок уже чувствовал спиной, знал, не глядя: ещё пару сигаретных затяжек, и одинокий олень пройдёт по краю болота, чтоб по ручью выйти к озеру. Ковалёв посмотрел на часы: было Время Охоты.

Оленьи рога закачались над яркой зеленью кустарника, как в голубом и сверкающем воздухе дня сухой куст. Проплыли рога, бесшумно олень уходил к озеру, и так же бесшумно шёл за ним Стрелок. В руке у него было неказистое с виду ружьецо. Олень и Стрелок по ручью уходили в ту часть леса, где в зелени ореховой рощи цвели земляничные деревья и в озёрной воде слышались всплески наяд, чьи тела вбирали в себя запах лотоса. Это озеро, со всем, что к нему прилагалось, с устройством для микроклимата и прочими штуками, обошлось в дикую сумму денег. И вздохи наяд — штатных красавиц фирмы — тоже кой-чего стоили.

— Олень идёт… Эй-хо!..— вскричали-пропели наяды.

— Эй-хо! Эй-хо! — голосом сестёр своих подхватило Эхо.

Голоса звучали недолго, не дольше всплеска серебряных брызг, но и они, казалось (Стрелку казалось), стояли в воздухе радугой от солнца, долго не опадая, а потом стало тихо, и только пена по воде прошла цветами лотоса, и только оленьи полузакрытые глаза глядели из воды в оленьи полузакрытые глаза, и рога на дрожащей воде — как тень от куста.

Стрелок посмотрел на часы: было Время Лая Собак. Ихнобат, Гилей, Птерел и Агр — эти не подведут, не опоздают, они тоже числятся в составе службы, где зоркости одного соответствует резвость другого; и для свирепости Гилея есть нюх Агра — а вслед за этими набежит и вся свора.

Но чуткое ухо оленя ещё не насторожилось. Спокойным скользящим шагом он уходил от озера, играл рогами, съедал побеги веток; шершавые листья приклеивались к шершавому языку; улыбался, казалось, как это бывает, когда смотришь на жующее животное. И вышел на поляну, на такое открытое место, где всякий стрелок желает увидеть свою цель. Олень стоял на середине поляны. К нему неслись безумные собаки, и охотники на лошадях вываливали из-за кустов. Олень приготовился к прыжку, Чёрный Стрелок едва успел выстрелить со своего места, где оставался невидимым для всех со своим ружьецом довольно-таки устаревшего образца.

Даже и он на сей раз подивился ловкости охотников и прыти. Ещё чуть-чуть, и он бы не успел. Впрочем, всё дело было в собаках и в таких же невидимых помощниках, как и он сам; этих стрелков-любителей он мог подпустить бы и поближе; да и олень парой сбивающих с толку прыжков заставил бы их погонять по лесу и остаться с носом. Скорее всего, что так. Но, видит Бог, рисковать не стоило. Среди типов, желающих поохотиться в заповеднике, встречаются и настоящие знатоки своего дела, для которых огонь на поражение — обыкновенная

штука, а животное покрупнее человека — просто выгодная мишень.

Грохнул выстрел. Собаки заметались… На середине поляны, на том самом месте, где только что был олень, стоял стройный юноша с длинными светлыми волосами, в тунике и сандалиях, с копьём в руке. Парень растерянно улыбался, а виноватые псы, признав хозяина, лизали его ноги. Актеон — созерцательный, застывший почти по образу античных скульптур, — не обращал внимания ни на кого. Как будто он был ещё в другом измерении, на пути от оленя к своему обратному превращению.

Таким образом, в лесу заповедника стоял человек, а в человека охотнику стрелять, разумеется, не положено. Это оговаривалось правилами строгой охоты, с которыми знакомили всех. Оставалось лишь скрипнуть зубами и плюнуть на это дело или же, если очень хочется, подойти и потрогать волосатого хиппи, пощупать своими руками это подозрительное тело невесть откуда взявшегося придурка, явлением дурацкой статуи испортившего конец такой отличной охоты.

2.

Чёрный Стрелок снял с конфорки джезву, перелил кофе в чашку, отпил глоток, закурил и посмотрел плывущим, рассеянным взглядом на прямоугольник фирменного бланка. В размере почтовой открытки, на бледно-голубой бумаге с белыми пятнами — в виде крылышек лесной моли на блёкло-голубом, — этот клочок бумаги представлял собою вызов, приглашение, повестку (называйте как хотите). И это «называйте как хотите» в строгом тоне предлагало члену команды стрелков Ковалёву А. В. в указанное время явиться в кабинет шефа. Сам Алатырцев требовал. В письменном виде. Когда можно просто по телефону или же через секретаршу Тамару. Стало быть, шеф нервничает и нагоняет страху.

Клочок бумаги, ерунда в рабочем порядке, укол от официального мира — а стрелок Ковалёв между тем давненько уже сумел отгородиться от мира живым теплом своего жилья (одинокого, правда, поскольку Стрелок жил холостяком — но так уж получилось).

С чашкой в руке и с тем же плавающим взглядом он перешёл из кухни в комнату и тогда отметил про себя, что главной ценностью в настоящий момент считает атмосферу своего жилья. Будь такая возможность, пару недель посидел бы дома, не выезжая из посёлка. Загородный посёлок — с полем, речкой и лесом — это для него как бы продолжение дома. Лучше всего там, где небо, земля, вода и деревья, а в его деревянном доме жило дыхание природы. В стенах жилья необходимые для жизни предметы не только служили своему назначению, но как бы тоже поживали вместе с хозяином; ничто не лезло в глаза, не выпячивалось: все вещи были на своих местах, и ценность их чужим взглядом угадывалась скорее как мифологическая.

Старое ружьё, с которым вчера Ковалёв был на работе, висело на фоне ковра с чёрно-коричневым узором, висело так, как смотрятся предметы в старых добрых натюрмортах. От ковра над постелью тянулись по деревянным стенам книжные полки. Между книг располагались семейства безделушек, музыкальная аппаратура, пластинки и кассеты. Со стен смотрели картины с изображениями животных и птиц, написанные маслом. На вопрос: кто писал картины? — Стрелок обыкновенно отвечал: один мой приятель. Больше ни слова. Сам он вроде бы не рисовал, следов занятия живописью не находилось, однако у приходящих в дом возникали сомнения, что рисует какой-то мифический «приятель», а не сам Ковалёв: было что-то общее между ним и картинами, какое-то, можно сказать, родство.

Под окном — письменный стол и рабочее кресло. Уютное место, живописно заселённое, колоритно захламлённое, где тьма вещей движется в своих направлениях, перемещается по тропам в джунглях рабочего угла, совершая круговерть по своим орбитам, назначенным волей хозяйничающего над ними виртуоза, который, конечно же, как все смертные, думает, что наступит когда-нибудь день Настоящего Порядка — замечательный, может быть, день, когда всё будет разобрано, разнесено и расставлено по своим местам и останется только не натаскивать чайно-кофейных чашек, вытереть пыль и не трусить больше пепла. Знаешь, что такой день наступит, может наступить, однако не торопишься, не тратишь больших усилий, чтоб его приблизить, потому что тёмным краем ума подозреваешь, что образцовый порядок — это уже конец чего-то: если не сама смерть, то всё равно по её части, по тому же ведомству.

Тамара Ажажа — чернявая смазливая секретарша Алатырцева — предложила немного подождать. Симпатичная, хорошенькая девица; вот только где она научилась уминать свои вечные конфеты так, будто делает что-то неприличное? И демонстрирует это с невинной улыбкой девочки-школьницы и в то же время — самой отпетой соблазнительницы. Чёрт знает что! Шефа, правда, такое положение вещей устраивает, сотрудников тоже, вот девица и обезьянничает, не найдя лучшего способа кокетничать. Так думал Ковалёв, ожидая своего часа.

— Мой тебе совет, Стрелок, — сказала Тамара Ажажа, нажимая кнопку автоматической двери, — будь поосторожней и не валяй дурака.

— Ого! — воскликнул Стрелок и вошёл в кабинет, обставленный в охотничьем духе.

На стенах висели рога оленей и лосей, шкуры животных и морды. От последнего посещения Ковалёвым этого кабинета, больше похожего на какое-то жуткое кафе с охотничьим интерьером, чучел прибавилось. Алатырцева среди них не замечалось. Только дух его витал среди морд и шкур. Присутствие шефа определялось без сомнений. Вот только где он прятался — в чучеле медведя, стоящего на двух лапах, или в манекене охотника былых времён, наряженного под Робинзона Крузо? Стрелку показалось: чучело совы, исполненное сверхнатурально, смотрит на него глазами шефа. Ковалёв махнул рукой перед крючком совиного носа — птичья махина, напичканная электроникой (как и всё, что было в лесу), ударила крыльями,

закричала, и глаза её вспыхнули зеленью. Стрелок выругался так, чтоб его услышал подсматривающий откуда-то шеф, закурил и повернулся всем телом назад в тот самый момент, когда Алатырцев — высокий, дородный, с большим ртом, с залысинами на тёмной голове и с туго натянутой кожей на хорошо отделанном лице манекена, — оказался за спиной Стрелка.
— Как видите, Ковалёв, мы тоже уважаем метаморфозы, — сказал шеф. — Когда они в рамках правил.
— Детские штучки, шеф.
— Только не надо благородных негодований, — поморщился Алатырцев, — От этих «кодексов чести» нас уже тошнит. Всё просто и ясно. Пока вы разглядываете мой кабинет, я смотрю на вас. Это в рабочем порядке.
— Не смотрите, а подсматриваете. Большая разница. В подсмотренном всегда прячется какая-то ложь. Когда не умеют видеть, то есть понимать, то подсматривать не только бесполезно, а даже и вредно. Опасно для окружающих.
— Присядем за стол и поговорим серьёзно. Вы же серьёзный человек, Ковалёв. Это все знают. Однако, согласитесь, что вас обманула моя сова.
— Идиотские штучки! — сказал Ковалёв.
— А ваши штучки получше, что ли?.. Кстати, что вы такое ординарное курите?
Стрелок показал пачку, шеф пожал плечами.
— Это не в вашем стиле, Стрелок, — сказал он. — Вы же хорошо зарабатываете. И вы имеете право отовариваться в нашем торговом центре. «Каледония», сигареты нашей фирмы, — это же высокий класс.
— Предпочитаю «Яву».
— Ничего себе! «Каледонию» мы заказываем в Америке. Пока что только для своих. Не поверю, что они хуже ваших, то есть наших, чёрт возьми! Просто это ваше упрямство, каприз, строптивость — понимайте как хотите. Если всё будет и дальше так… Я даже не знаю, что вам сказать.
— Дело не в «хуже» или «лучше», — сказал Ковалёв.
— Похоже, я так и не понял, — шеф прихлопнул ладонью по дереву стола. — Сказать, что вы отличный работник — этого ещё мало. Лично меня устраивает всё: и ваш профессионализм, и манера держаться, и богемный настрой, и какой-то философский лад, и ваша манера одеваться: весь в чёрном, весь в коже. Клиентам такое нравится. Кстати, кожу вы покупаете в нашем центре?
— Нет, мои вещи мне шьёт один мой приятель.
— Кто такой?
— Вы его не знаете.
— Всё равно отличный мастер. Можем взять его к себе в Каледонию. Платим, сами знаете.
— Не получится. Он глухонемой.
— Не хотите быть обязанным за наше одолжение для своего друга? Понимаю. Пусть это останется за вами.
— Он и на самом деле глухонемой. Что хочешь сказать, ему надо писать на бумаге.
— Оставим, — сказал шеф. — Почему я вообще об этом заговорил? Потому что в своём амплуа, в роли Чёрного Стрелка, вы нравитесь нашим клиентам, а это уже дело фирмы. Реальная польза превыше всего. А вы производите именно такое полезное впечатление. Особенно на женщин. Тут у вас прямое попадание. Скажу больше: если бы вы даже захотели изменить свой внешний вид, то фирма вам бы этого не посоветовала. С вашей помощью женщин-охотниц у нас стало больше. И мы надеемся, что прибавится ещё, — лицом манекена Алатырцев попробовал улыбнуться. Получилось как на дешёвой маске из папье-маше. — Но что толку из всего этого, если вы начали портить дело? — шеф снял улыбку и повысил голос. — Что толку, скажите пожалуйста?!
— Спокойней, шеф, — сказал Ковалёв, — В чём вообще дело?
— Нет, это вы уймитесь, Стрелок! Три жалобы на вас за последнее время!
— Всего лишь? — присвистнул Стрелок.
— Да, всего лишь три испорченных охоты. Оплаченных по-королевски и сполна. Всего лишь три подлых выстрела! Всего лишь три превращения жутко дорогих для нас животных в каких-то идиотов. Для вас этого мало? Для нас — слишком много, чтобы терпеть подобные фокусы. Вы срываете людям охоту!
— Наши клиенты знают, что «Каледонские забавы» — это посерьёзнее компьютерных игр. Любой игрок может дать промах, в этом нет ничего особенного. Пусть стараются. Я тоже на работе.
— Во-первых, не вы заказываете музыку. Во-вторых, вам стрелять следует в случае крайней необходимости. Необходимость — понятие гибкое и даже весьма условное. Разочарование клиентов — не в интересах фирмы. Это безусловно. Ваша роль — делать людям приятное. До недавнего времени вы прекрасно с этим справлялись. Что случилось, Стрелок?
— Всё на свете когда-то кончается, шеф. Всему есть предел. Это уже не охота, а убиение, можно сказать, ручных животных. Ну, почти что ручных.
— Да оставьте вы эту романтическую чушь. Тошно слушать. Вы же прирождённый охотник. Зачем вы вообще занимаетесь этими превращениями?
— По контракту. По нему во время охоты я полный хозяин на своём участке и несу ответственность за всё, в том числе и за животных. До недавнего времени, как вы отметили, моя роль заключалась ещё и в этом: беречь животных. Они настоящие, их мало и всё такое. У вас что-то изменилось, шеф?
— Расширяется дело, если на то пошло. Что ещё может быть лучше?
— Животных жалко, — сказал Стрелок.
— Для таких людей, что охотятся у нас, животных не жалко.
— Животных жалко для всех людей. Во всем мире их становится всё меньше и меньше, а у нас растёт только умирание и убиение.
— Вот отсюда и начинается политика, — сказал шеф. — А мне этого не надо. Откровенно сказать, именно этого я и боялся.
— Чего именно?
— Что вы будете препираться и оправдываться, да ещё и вкручивать мне свою программу, когда даже дети знают, что такое у нас не в ходу.
— Во все времена утверждали так и в конечном счёте ошибались.

— Не надо никаких исторических истин. Давайте посмотрим на дело с нормальной точки зрения. Вот вы бабахнули из своего дурацкого ружья, появилось нечто полуголое и дикое. Этот ваш тип — он кто вообще будет?
— Актеон, — сказал Ковалёв.
— Не надо мне пудрить мозги мифологией. Это глупость и бред.
— Собаки у вас, между прочим, толковые. А они с ходу признали хозяина.
— Ладно, Актеон так Актеон. Что дальше? Что вообще хорошего в этом якобы благородном выстреле вашего ружья? Вы пустили в наш мир очередного типа. На этом, как я понимаю, ваша миссия закончена. А что дальше? Кто им будет заниматься? Кто оформит его существование юридически? Голый, дикий, голодный, разумеется. Без работы и средств. К своему удовольствию вы плодите бродяг и нищих, а пользы от этого никакой — ни государству, ни тому типу тоже.
— Ну вы уж и разошлись. Такое высокое понимание! Пустой номер, шеф. Юноша вернулся в свой трансцендентальный мир, а олень будет присутствовать на завтрашней охоте. Всё нормально.
— И вы будете на своём месте, Стрелок. И тоже проведёте день нормально. Без отклонений. Предупреждаю в последний раз. Иначе, боюсь…
— Чего вы боитесь?
— Боюсь, вы так ничего и не поняли.
— Чего вы боитесь, что я не понял?
— У нас солидное дело, а не забавы для лопухов. Среди наших клиентов есть отличные охотники. Некоторых из них вы знаете. Кой-кого могли видеть даже по телевизору. Если вы будете им мешать, они вас прихлопнут. И обратного выстрела, могу вас заверить, не последует. У них нормальные ружья.
— Это будет не по инструкции, — сказал Ковалёв.
— Просто промахнутся, и всё, — ответил Алатырцев. — Промахнуться в животное — этого не может запретить никакая инструкция. У меня всё. Остальное пусть скажут свидетели.
— Какие ещё свидетели? Чего свидетели?
— Ну, скажем, вашего положения в обществе. Пусть об этом скажут люди. То есть коллектив, собрание. У нас ведь всё решает общество.

Алатырцев нажал кнопку под крышкой стола, автоматическая дверь разъехалась. Рабочие внесли в кабинет стулья, выстроили их в два ряда, после чего к стульям прошествовали служащие конторы: пять мужчин и пять женщин. Первым прошёл управляющий делами Болтухов, с военной выправкой мужчина чуть повыше карликового роста; с лёгкой руки секретарши Тамары он получил в заповеднике прозвище Полштуки.

Остальные люди были нормального роста.

Болтухов-Полштуки с деловым оскалом на мясистом лице забрал бумаги у секретарши; видимо, протокол такого важного дела должен был вести он сам; в не таком уж далёком прошлом, лет десять назад, он работал начальником в тюремном лагере, где-то на Дальнем Востоке, пока это отделение ГУЛАГа, согласно велениям жизни шестидесятых годов, не расформировали. Болтухов, конечно, умел провести с успехом протокол любого допроса. Поэтому он и выхватил бумаги у секретарши, бесцеремонно и нагло.

— Суть дела, я так понимаю, всем ясна, — сказал Алатырцев. — Поэтому пусть каждый скажет своё слово. Можно — не вставая с места. Мы здесь все свои. Выскажемся коротко, но ясно. Как говорится в народе: время, которое у нас есть, это деньги, которых у нас нет.
— Не согласна с такой формулировкой, — сказала сотрудница средних лет. — Говорить сейчас о бедности — это даже не глупо, а просто стыдно. Это даже не обида для нашего государства, а прямой для него вред.
— Поближе к делу, — на высоковатом для него стуле болтанул в воздухе ногами Полштуки. — Ковалёв, как вы себя вели, когда расставались с женой?
— Это моё личное дело, — сказал Стрелок.
— Извините меня, — подсказал Алатырцев. — Солидной фирме нужна хорошая репутация, а хорошая репутация фирмы — это хорошая репутация обслуживающих её людей. Странно, Стрелок, что вам приходится объяснять даже это.
— Вы просили у неё прощения, — сказал Полштуки.
— Он не умеет просить прощения, — прозвучал голос с первого стула.

Дальше последовали голоса:
— Он жестокий и злой… Вообще коварный и чёрный… У него на стенках дома висят картины, а стенгазету к празднику он рисовать никогда не хочет, говорит — не умеет… Слушайте вы его. Он всё врёт от начала до конца. Он и на высшем суде правду нам не скажет… Он ведёт дневник, втихомолку пишет и никому на работе не показывает. Представляю, что он там про всех пишет. Пусть он этот свой дневник представит коллективу… Он просто подозрительный тип, это всё, что я могу сказать… Он не наш человек — это же ясно…

И только Тамара Ажажа, секретарша, отдав бумаги вечно и грязно пристающему к ней коротышке Болтухову, бунтовала по-своему и в открытую. То ли она делала вид, что больше не может сдерживать своего желания, то ли на самом деле не могла себя сдерживать, но только всем своим видом показывала, что желает Ковалёва. Хочу тебя — ни больше ни меньше: иначе её состояния, её поведения никак нельзя было истолковать. Притом, что никогда ведь ничего подобного между ними не было. С чего бы вдруг такое возбуждение у легкомысленной девицы? Сочувствие Стрелку, иначе не назовёшь… Алытырцев именно так это и понял.
— Как видите, Ковалёв, — сказал шеф, грозно глядя на секретаршу, — это уже не я вам говорю. Против собрания не попрёшь. Даю вам последний шанс. То есть завтрашнюю охоту. Оружие получите на месте.
— Нажмите вашу дурацкую кнопку, — сказал Ковалёв.

Дверь растворилась.

5.

Вернувшись домой, Стрелок обнаружил, что со стены исчезло его ружьё. Над письменным столом

тоже поработали: исчезла тетрадь с дневниковыми записями. Остальное в осквернённом доме оставалось как бы нетронутым, без признаков изучения.

«Так вот что значили слова Алатырцева насчёт оружия,—подумал Ковалёв.—И вот зачем им понадобился этот спектакль с товарищеским судом. Чтоб выиграть время для обыска.

Он не стал приводить в порядок стол, вышел в кухню и стал варить кофе.

— Ладно, посмотрим,—сказал себе он.

6.

И опять олень стоял на середине поляны, на таком открытом месте, где всякий стрелок желает увидеть добычу. Рядом с оленем стоял Чёрный Стрелок. В кожаном костюме и без ружья. Стрелок обнимал оленя за шею. Олень тыкался в Стрелка носом, обдавал его лицо тёплым и влажным дыханием.

— Тебе пора уходить,—сказал Стрелок.—Ещё немного—и может быть поздно.

Олень тёрся мордой, нависал рогами над головой Стрелка. Уходить он, похоже, не собирался.

Тем временем из-за деревьев уже показались собаки и два охотника на лошадях. Первого из них Стрелок определил издалека. Это был новоиспечённый премьер-министр Бараш, уже получивший в народе кличку Гурман.

В то время как с продовольствием в стране становилось всё хуже и хуже, Гурман любил давать телевизионные интервью, пожёвывая какой-нибудь деликатес. Предупреждая уловки журналистов, премьер, жуя и смакуя, с ядовитым смешком выдавливал тонким голосом из обильной туши своего тела:

— Люблю вкусно покушать. Ничего не поделаешь. Это моя слабость.

— Пусть она будет у вас единственной,—такими же или подобными по смыслу словами отделывались журналисты.

— А в общем-то я ваш министр, а не гурман,—уточнял премьер.

Второго охотника Стрелок не признал. Его больше интересовало лесное животное. Стрелок оттолкнул морду оленя, ткнул кулаком в бок.

— Уходи,—сказал.—Дуй в лес.

Олень не приближал больше головы, застыл с изгибом шеи в таком положении, когда рука Ковалёва отнялась от его морды и опустилась на круп—и стоял как вкопанный.

— Ещё можно успеть, если постараться. Слышишь, что я говорю?

Олень слышал, что говорил Стрелок. Слышал и понимал, но даже не шевельнулся.

Грохнули выстрелы, Стрелок упал, олень убежал в лес.

— Промахнулись?—сказал второй охотник.

— Не совсем, как видишь,—сказал премьер.

— А это ничего, что мы человека убили?—спросил второй.

— Нормально,—ответил первый.—Одним умником будет меньше.

ДиН стихи

Павел Чхартишвили

Исповедь «оккупанта»

Одинокий фонарь у казармы горит.
Обречённо стоит часовой у стены.
И кончается день. Ветер листья кружит
И роняет в холодные волны Двины.

А от Риги вечерней, от Риги ночной
Отделяют меня КПП и забор.
Черепичные крыши окутаны мглой,
Англиканская церковь и Домский собор.

Я тебе обо всём напишу, а пока
Вдоль казармы на плац наша рота идёт.
В полумраке «Три брата» сомкнули бока,
Тьма на улице Трокшню у Шведских ворот.

Нас призвал и прислал сюда военкомат.
Нас ведёт на прогулку уралец-сержант.
Не заряжен патронами мой автомат.
И не знаю ещё я, что я—оккупант.

Марина Шляпина

Красота предметов

Котёнок с улицы

Ему пятьдесят пять лет, но выглядит он старше. Небольшого роста, тщедушный, впавшие щёки, крупные и при этом редкие жёлтые зубы, песочного цвета жирные волосы торчат в разные стороны. Костюм неуловимого грязноватого цвета — брюки и пиджак, под которыми заметны выцветшая голубая рубашка, застёгнутая под морщинистое горло. Под очками несмело поблёскивают бесцветные глазки, лишённые ресниц. Такое жалкое впечатление производил на окружающих старший лаборант физического факультета Семён Иванович.

— Приходите ко мне в гости в лабораторию, — скромно он приглашал новых знакомых, — у меня там есть кофе и шоколадка. Или попьём, может, пива?

Про пиво он произносил немного с хитринкой в голосе, с какой-то почти игривой интонацией, которая почему-то пугала. Представлялось, что, напившись пива, Семён Иванович сначала оживится, расскажет не совсем приличный анекдот, а потом начнёт жалобно всхлипывать у тебя на плече. С чего бы это и откуда приходило в голову, не совсем было понятно, но, вероятно, оттого, что, казалось, этот человек необыкновенно одинок. То есть он мог, конечно, общаться с некоторыми людьми по служебным обязанностям, перекидываться с ними дружескими словами, выкурить с ними около открытого окна сигарету. И всё. Контакты с человечеством на этом обрывались.

Домой Семён Иванович приходил как можно позже. Там его почти никто не ждал — ни жена, ни дочь, угрюмо-молчаливые с мужем и отцом семейства и болтливые по телефону. Только кот, рыжее лохматое существо, маетно дожидавшийся хозяина весь день, бросался ему под ноги и тёрся о них, когда Семён Иванович открывал входную дверь. Кончик высоко поднятого хвоста мелко дрожал, выражая преданность и нетерпение. Сухой корм, щедро насыпанный в металлическую тарелку, был подарком за то, что питомец дождался, не навалил в отсутствие Семёна Ивановича в пластмассовый поддон в туалете. В отсутствие супруга жена с отвращением и брюзжаньем поднимала этот поддон и ополаскивала его в унитазе, выговаривая каждый раз вернувшемуся домой мужу, что, мол, сам притащил кота, сам и убирай за ним. Семён Иванович съёживался, стараясь казаться более незаметным, и молча брал кота в охапку, прижимая к груди. Он уходил на балкон, садился в кресло, которое принёс с помойки, почистил, перетянул клетчатой тканью («шотландка» — гордо заявлял он редкому гостю), покрасил заново морилкой и покрыл лаком. Это был его кабинет, единственное место в доме, где он мог уединиться под предлогом, что он там дымит и не хочет обкуривать домочадцев. Сначала на балконе появилось кресло, потом он установил маленькую полку вместо столика, на которую иногда ставил чашку с кофе и пепельницу. Ещё позже Семён Иванович облагородил балкон цветами в горшках.

— Вот это мимоза, — говорил он, указывая на тщедушное растение со слабым тонким стволиком.

Нежное и деликатное растение сворачивало свои листики в трубочку, когда к нему едва прикасались, а также когда грубо трогали горшок или поливали цветок.

Кот Фараон жевал листья алоэ, горшок с которым задарила лаборанту соседка по подъезду, узнав, что у Семёна Ивановича болит желудок. Вместо него желудок или что-то другое подлечивал кот. Ещё стояли в маленьком керамическом горшочке, который был куплен на Дне города у ребёнка, продававшего собственные гончарные изделия, узамбарские фиалки. Все три растения стояли на подоконнике и дополнительно создавали ограждение от прочих обитателей квартиры, оставшихся по ту сторону балконных дверей.

Однажды, возвращаясь с работы мимо мусорных баков возле дома, Семён Иванович приметил выкинутые старые рамы с целыми стёклами. Его осенила мысль, и стёкла были вынуты из рам и доставлены домой. Жена с одобрительным замешательством смотрела, как муж вдохновенно застеклял балкон, превращая его в лоджию, — редко муж прилаживал что-то по дому руками. Семён Иванович пылко объяснял, что так будет лучше, теплее в комнатах зимой. Жена согласилась с этим объяснением, смутно угадывая, что причина всё-таки в чём-то другом.

Балкон приобрёл ещё большую уединённость, защищённость от мира со всех сторон. Там стало тихо и покойно. Шум машин и крики людей утратили резкость, а запахи трёх растений сконцентрировались, как казалось Семёну Ивановичу, и стали незаметно, но настойчиво укреплять невидимыми эманациями его пошатнувшееся здоровье. Фараон вспрыгивал на подоконник и смотрел в окно на птичек, усевшихся на ветки берёзы, растущей под балконом. Он сдавленно издавал страстные звуки в наиболее напряжённые моменты, когда воробьи уж слишком близко и непринуждённо вертелись. Семён Иванович читал свежую газету и тоже посматривал на улицу.

Маленькая невинная тайна была у немолодого мужчины. Он был влюблён. Влюблён уже четыре года в женщину, живущую напротив его дома, в пятиэтажном доме-«хрущобе». Её подъезд находился прямо напротив его балкона. Примерно в шесть часов вечера она могла выйти из подъезда, сесть в «Окушку» яркого жёлто-зелёного цвета и уехать. Этот момент Семён Иванович старался не пропустить. Он вставал с кресла, открывал пошире маленькое окошко в балконной раме и почти высовывался наружу. Она казалась Семёну Ивановичу очаровательной — маленькая, стройная, в обтягивающих красивые крепкие ноги джинсах, в короткой футболке, с короткими, как будто растрёпанными каштановыми волосами, в бейсболке, натянутой на глаза. Ей было примерно не больше тридцати пяти лет. Четыре года назад он, отыскивая свежую травку для кота во дворе, внезапно увидел близко её грустные, как будто заплаканные, покрасневшие глаза и потухший взгляд. Его взгляд запнулся и с удивлением отметил тонкий профиль древнеегипетский царицы.

Так он и называл её про себя четыре года — Нефертити. На стене в лаборантской появилась репродукция с профилем египетской царицы. А дома Семён Иванович стал пить кофе из кружки, украшенной рисунком с египетскими иероглифами. Жена с брезгливостью отставляла эту кружку в сторону, когда мыла посуду. Её любимые кружки с крупными аляповатыми розами супруг тоже не одобрял, но — тайно, не комментируя свою неприязнь.

Иногда, в минуты особенной грусти и осознания своего круглого одиночества, он выходил из дома и садился на скамейку, дабы лицезреть выход царицы из подъезда. Её выход всегда был неожиданностью для старшего лаборанта, он сначала вздрагивал и съёживался, как его любимая мимоза, а потом, почувствовав благоухающий шлейф неведомых ему и тем кружащих голову духов, распрямлял плечи и с восторгом, спрятанным за стёклами очков, провожал женщину взглядом.

Это случилось через четыре томительных года влюблённости, когда он осмелился заговорить с ней. Вдохновение нашло на него при встрече с Нефертити в аптеке. Он увидел её, стоящую в конце очереди, и встал за ней, внутри трепеща и ликуя. Так близко стоять с ней рядом ему приходилось впервые за время его одностороннего знакомства. Глядя в затылок и вдыхая ягодный аромат её мягких волос, Семён Иванович чувствовал всё более и более возраставшее волнение. Очередь приближалась к кассе, и он запаниковал, что так и не воспользуется случаем, чтобы поговорить с Нефертити. Он вдруг хрипло заговорил:

— Извините, я вот видел вас несколько раз и подумал: не нужен ли вам котёнок?

Он испуганно смотрел на женщину. Нефертити обернулась и вопросительно взглянула на Семёна Ивановича.

— Простите, это вы мне сказали?

Она немного отпрянула от мужчины, который источал, как ей показалось, какое-то нездоровое воодушевление.

Семён Иванович затрепетал, услышав голос женщины. Он придвинулся к Нефертити ближе, задев её рукавом пиджака, и горячо заговорил, радуясь своей отваге и сообразительности, с пугающей его самого какой-то естественностью:

— Да-да, с вами. Я вас видел несколько раз и… и… почему-то решил, что вы не откажетесь от котёнка. У нас в подъезде кошка родила котят, и вот они выжили, выросли, и теперь их надо раздавать. А кому их раздашь? У вас нет котёнка?

— Н-нет, — отодвинувшись незаметно от него, проговорила Нефертити.

Человек вызвал противоречивые ощущения — отталкивала его внешность, но его робость и одновременная горячность вызывали интерес и жалость к себе.

— Один очень красивый — чёрный с белой салфеточкой на шее, — продолжал быстро и взволнованно говорить Семён Иванович.

Женщине не хотелось обижать странного человека, и она, повинуясь порыву, предложила обменяться телефонами, если ей действительно понадобится котёнок. Человек суетливо достал телефон и назвал свой номер. Не понимая, зачем она всё это делает, Зина, а именно так звали её, продиктовала свой номер телефона.

Очередь тем временем подошла, и Зина, кивнув приветливо головой на прощанье, вышла из аптеки.

Восторг, восторг и упоение ощутил Семён Иванович. Он отошёл от кассы и не спеша, осторожно неся в себе, как в хрустальном сосуде, торжественные и ликующие чувства, вышел из аптеки. Зина уже скрылась за поворотом. Душа его облегчённо летела куда-то вверх, к расцветающим майским ветвям деревьев — и дальше, дальше, в облака, к птицам. Он снял очки и зажмурился, глядя на солнце.

— Нефертити, — прошептал он.

Вечером упоение немного притухло под строгим взором жены. Он привычно съёжился и ускользнул на балкон. Сразу открыл окошечко и выглянул наружу. Зелёная «Ока» стояла на месте. В который раз за последние несколько часов Семён Иванович нашёл в телефонном списке её имя — Зина. Зинаида. В этом имени ему почудилось тоже что-то очень древнее, почти египетское. Позвонить ей или нет? — тревожно мучился вопросом старший лаборант. О чём я скажу? Про котят? Кстати, не посмотрел их, все ли на месте?

Четыре игривых и пушистых котёнка проживали в подвале дома Семёна Ивановича, который их подкармливал и следил, чтобы другие кошки, собаки и мальчишки котят не обижали. И вот они были призваны сыграть решающую роль в затянувшейся истории затаённой любви.

Дрожащими пальцами он набрал номер телефона и сразу же, не дождавшись ответного гудка, скинул набор. А вдруг муж подслушает и насторожится, и вообще как-то страшно стало. Семён Иванович написал смску: «Вы не надумали взять котёнка?» — и уселся в своё кресло, решительно готовый на долгую переписку такими телеграммами по телефону. Покуривая сигарету, в памяти

он воссоздавал запах её волос, вспоминал, что нечаянно задел рукой её платье. Приятные и несколько забытые ощущения прикосновения к привлекательному женскому телу охватили его. Он даже потянулся, как кот, представив Зину без платья, с обнажённым животом и маленькой грудью, с браслетом вокруг щиколотки, как это он видел на фотографии одной восточной танцовщицы. А вдруг у неё есть татуировка?—вздумалось ему, и он нарисовал мысленно в нижней части спины замысловатый цветок. Он сам был немного удивлён своими чувственными фантазиями, где он уже трогал её грудь рукой и предлагал потанцевать медленный танец…

— Семён, ты будешь есть?—прервала приятный ход мыслей супруга.

Она неясным, не совсем реальным пятном маячила за стеклом.

Семён Иванович вздрогнул, растерянно оглянулся на голос и быстро спрятал телефон в карман брюк. С замирающим сердцем он подумал, что жена вполне могла бы догадаться о чём-то, завладеть его телефоном, узнать про существование Зины и всё испортить. Он молча поднялся, не вызывая лишних сотрясений в воздухе, и отправился есть на кухню. Там, меланхолично что-то жуя, он внезапно осознал, что смотрит на тень от занавески на стене и видит там женскую грудь. Он на мгновение перестал жевать, замер, но тут же спохватился и, дабы не вызвать подозрений, поспешно продолжил перемалывать совсем лишённую вкуса пищу, ощущая в кармане брюк предательскую теплоту телефона, готового, по мнению Семёна Ивановича, в любую секунду взорваться звонком.

Ответ на смску он получил только наутро, и он был отрицательным. Семён Иванович сник. Но сник не потому, что обидно было за не нужных никому котят, а потому, что увидел в этом отказе вообще нежелание общаться с ним. В мечтах ему казалось, что Зина дала телефон совсем не из-за котёнка, а намекнула, что совсем не прочь пообщаться с ним, и вообще, что он, Семён Иванович,— Семён, как представился он,—привлекательный в её глазах мужчина. Неприкаянно бродил он в этот день на работе, разбил даже колбу с реактивом, придумывая новый повод позвонить или отправить послание Зине. Ничего толкового и убедительного не придумав, он сочинил печальное стихотворение, где говорилось о грустных глазах Зины, необходимости помнить о своём возрасте и выражалась робкая надежда, что он не так стар, как кажется. Перечитав заново своё творение, старший лаборант остался им доволен. Некоторые рифмы ему не очень понравились, но в целом звучало неплохо. «Может быть, когда-нибудь я прочту его Зине в приватной беседе»,—самодовольно подумал он, и настроение его несколько улучшилось.

Вечером, лёжа на отдельном диванчике в гостиной, волнуясь, он напечатал скромную смску Зине: «Спокойной ночи». Зина не ответила. Семён Иванович тяжело вздохнул и заворочался на своём ложе, особенно отчётливо ощущая неудобные перепады высоты под сплющенными от времени диванными поролоновыми подушками. Он долго не мог уснуть, воображая, что бы он мог ещё написать, не вызвав гнева у объекта своего обожания. Он уже обожал Зину, уже представлял её рядом с собой, под общим одеялом, такую тёплую и близкую. Близкую, какой когда-то была жена, отдалившаяся от него и презиравшая мужа за неумение жить, зарабатывать деньги, разговаривать с начальством и вообще поддерживать связи с нужными людьми. Семён Иванович опять беспокойно перевернулся с боку на бок—об этих отношениях с женой думать не хотелось, а хотелось мечтать о Зине, легконогой и молодой.

На следующий день на работе Семён Иванович осмелился и послал Зине сообщение: «Как дела?» Ответа не последовало. Не дожидаясь шести вечера, он уселся на скамейку около Зининого подъезда и стал выжидать, не замечая уходящего времени. Казалось, что время наполнилось особым качеством, обыкновенно не присущим ему,—ходили мимо люди, проезжали на велосипедах мальчишки, шумели машины, чирикали воробьи—звуки доходили до него в каком-то приглушённом виде, как бы издалека. Не дождавшись Зины, он поднялся и пошёл в сторону леса. По дороге он зашёл в магазин и купил джин с тоником.

«Он, наверное, хороший человек,—думала Зина про Семёна Ивановича, вспоминая его неловкие телодвижения,—но я не смогу с ним… дружить. Ибо что же ещё можно сделать в этом случае? Полюбить его? А он, кажется, уже влюблён. Нет, полюбить его не смогу и к тому же—муж. Влюбиться?—это вообще невозможно, он мне неприятен. Физически неприятен. Я с ним даже общаться не смогу, меня отталкивает его внешний вид. Ну, конечно, если бы он был какой-нибудь интеллектуал, необычный человек или просто меня бы необъяснимо притягивало, то тогда, конечно, другое дело. А так он выглядит неуклюжим пыльным мешком. Вот если бы он переоделся, тогда, может, гм, не так противно, гм-гм…»

Опьяневший Семён Иванович гулял по весеннему лесу и всё более и более приходил в оптимистичное расположение духа. Зина казалась нежной и несчастной в семейной жизни, её хотелось приободрить, придать ей смелости. Она, наверное, никогда не могла бы сама решиться на интригу с незнакомым мужчиной. Надо ей помочь. Он решительно написал: «Зина, я хочу с вами встретиться тет-а-тет».

Зина с изумлением смотрела на смску и написала ответ: «Зачем?» Дальнейший диалог в смсках выглядел таким образом:

«Погулять вместе, поговорить, послушать птиц».

«Мне не очень хочется».

«Я прочитаю вам свои стихи».

«Я не люблю стихов»

«Тогда просто посидим в кафе».

«Если только вы переоденетесь».

«???»

«В рваные джинсы, яркую футболку».

«Я не тинейджер и не какой-нибудь голубой кутюрье!»

«Тем хуже для вас!»

Вот так странно закончилась эта переписка. Семён Иванович к тому моменту выпил ещё одну бутылку, в этот раз портера, и несколько разгорячился. Зина, показалось ему, предложила что-то немыслимое — джинсы, да к тому же рваные! Он всё-таки настоящий мужчина, а не какой-нибудь наркоман, хиппи, рокер или просто юный дурачок!

Зина к тому моменту уже почти уговорила себя пообщаться с Семёном Ивановичем. Такой одинокий и жалкий, что не обратить на него внимание и не приласкать его немного казалось ей почти преступлением. Но, к счастью, он сам стал дерзить и не пошёл её пожеланиям навстречу. Хотя если даже он бы переоделся во что-то такое, что скрашивало впечатление от его внешности, то вряд ли это помогло бы, по большому счёту. Зина доверяла своей интуиции и чувствовала, что с Семёном Ивановичем их не связывает ничего, кроме, пожалуй, их внутренней бездомности и невписываемости в обстоятельства обычной жизни. Именно это и могло оказаться тем моментом, способным их сблизить, но этого было мало, слишком мало.

На следующий день рядом с подвалом соседнего дома Зина увидела котят, которые столпились и, смешно толкая друг друга, лакали из блюдечка молоко, налитое Семёном Ивановичем. Они были явно беспризорниками. Один из них, чёрный с белой салфеточкой на груди, немного прихрамывающий, особенно умилил Зину. Она подняла его с земли, посмотрела на его обкапанные молоком усики и прижала к себе. Котёнка она взяла домой.

Красота предметов
Простые вещи

Я не хочу касаться души другого человека. Она хороша со стороны, когда кажется такой целостной, такой слаженной. Я останавливаю себя, когда следы в виде поступков и слов сами ведут к её сердцевине. Не поддаюсь и не следую этим знакам. Останавливаюсь. Особенно если человек кажется мне красивым, а его душа особенно загадочной и непостижимой в своей полноте.

Безопаснее в этом смысле предметы. Сделанные руками этих людей, которые нервно живут, потеют, плачут, болеют, вредничают, изнемогают, кричат, ругаются, терпят, путаются в показаниях, раздваиваются, — предметы на удивление прочны и надёжны в своей неизменности. Они содержат в себе лишь то, чем их я награждаю. Они, спокойные и неподвижные, словно сфинксы, стоят, лежат, иногда плавают. В их кажущейся застывшести нет ничего неестественного. Они всегда покоятся, даже если движутся. Они статичны вне зависимости от набранной ими скорости. Их не раздирают противоречивые чувства, которые охватывают меня тем больше, чем дальше я проникаю в человеческую душу.

Вчера, сидя в маршрутке, я видела одного человека. Форма его головы, удлинённой и украшенной бородкой в виде заострённого конуса, казалось, не принадлежала его же телу, короткому и крепко сбитому, одетому в зимний чёрный пуховик. Корявые пальцы дорожного рабочего контрастировали со взглядом, тонким и внимательным, как у психотерапевта. Худые щёки христианского анахорета противоречили толстым ногам, обёрнутым в чёрные рыночные брюки. Его части тела были сработаны как бы разными скульпторами. И если вникать в эти особенности, даже не услышав ни слова от него, не лицезрев ни единого его поступка, можно предположить, что натура его мечется от крайности к крайности, мучительна в своей расколотости, способной заразить меня тем же самым. Так зачем в неё вглядываться, вчитываться в сигналы, идущие от неё? Лучше присмотреться к той части человека, которая, на мой взгляд, сработана лучше, — к голове. Вот она, вырисованная в мастерской Эль Греко. Глаза, обманчиво лучащиеся пониманием самых высоких христианских добродетелей, тонкие брови, чёткие носогубные складки, широкие чувственные ноздри (как у породистого коня, хочется добавить). Всё, дальше ничего!

Музыка, донельзя подходящая, заполняет салон «газельки» — в меру средневековая, в меру романтическая, овевает как бы ветром, окружает ореолом голову этого человека. Жозе Падилла придаёт окончательный блеск голове. Она как бы плывёт в воздухе… поворачивается в сторону окна… нагибается вслед своим рукам, рыщущим в кармане в поисках денег… смотрит на водителя… устремляется к выходу…

Я смотрю на закрывающуюся дверь и замечаю, что окна в автобусе прозрачны и чисты. Стекло, разделяющее внешнее и внутреннее, идеально и безупречно. Оно, холодно поблёскивая, беспристрастно показывает внешний мир, не искажая его, не комментируя эмоционально его содержимое, при этом незаметно и надёжно отделяя меня от его вредных, страстных воздействий, от пыли, от грязи, от жары, от человеческого тепла, ненадёжного и требовательного.

Дома я завариваю кофе и наливаю его в стакан в металлическом хай-тековском подстаканнике. Кофейник в том же духе. Горячий кофе дымится над стаканом, бесследно рассеиваясь в воздухе комнаты. Металл нагревается, но ручка неизменно остаётся холодной. Добивался ли дизайнер такого эффекта, неизвестно. Но он существует сам по себе, верный мне своим постоянством. Я ставлю стакан рядом с компьютером, и они, современные, признают друг друга. Не замечая меня, всё же принимают в свою компанию. Кофе из стакана перетекает в меня, наполняя чем-то далёким и сближая меня с этой группой предметов. Мы молчим, храня в себе близость друг к другу, хрупкость наших чувств, вечность момента. Я чувствую обтекаемость моего тела, минимализм деталей в нём, точно выверенный цвет и миллиметраж моих волос, цвет глаз, совпадающий с цветом футболки, умеренную жёсткость и функциональность брюк на мне. Я — искусно сделанный предмет в мастерской природы, воспользовавшейся недрами моей матери. Резкий звонок телефона выводит меня из задумчивости. Взволнованный голос призывает меня к сочувствию и спасению.

Моя подруга выходит из-за угла дома. Она молчит, не замечая меня. Выражение лица замкнутое,

необычное для неё. Я привыкла, что она постоянно разговаривает, при этом глядя прямо перед собой. И я не знаю, с кем она говорит — со мной или сама с собой. Хотя — какая разница? Если сама с собой, это даже лучше. Она ведь совсем не знает меня, чтобы действительно установить со мной настоящий контакт. Такой, какой у меня есть со стаканом, с венским стулом в моей комнате, с маленькой белой лампой на прищепке, со стеллажом с книгами, на котором та затаилась, с перламутровой раковиной, с глиняной рыжей кринкой… Она идёт, сама не подозревая, насколько сейчас ближе мне и роднее, особенно если она пройдёт мимо меня.

Света увидела меня, и всё очарование момента рассыпается. Я вхожу в её влияние, как Луна во влияние Земли. Я прикидываюсь человеком. Что, ты опоздала? А я и не заметила. Нет, стою недолго. М-да… Я предполагала, что он выкинет нечто подобное. Да-да, он таким был и тогда, когда его знала, — ненадёжным, представляющим себя не таким, какой он есть. Ты расстроена? Но у каждого свои недостатки, — у моего, например, их гораздо больше, потому что я его знаю дольше и лучше. Это ерунда, не отчаивайся. На голове Светы развеваются рыжеватые волосы боттичеллиевской Венеры. Глаза, погрустневшие, смотрят куда-то вдаль. Едва заметные веснушки на носу придают ей земное очарование. Мочка уха беззащитно выглядывает из-под прядей. Света уже почти развеселилась. Она достаёт из сумки чёрно-белые фотографии обнажённых людей, которые собирается подарить врачу, наблюдающему у неё перманентное возникновение и угасание цистита. Гинекологические передряги создают вокруг неё ореол женственности, находящейся вечно под угрозой разрушения. Мне жаль, мне становится действительно жаль, что природа не дорожит таким выдающимся своим произведением, отдавая его во власть микробов и вирусов, слабо защищая его неприкосновенность и лишая права на вечную жизнь. Того права, которым обладают простые предметы.

Даже вот эти разбитые черепки под музейным стеклом наполнены магией вечности. Артефакты, свидетельствующие о существовании человека несколько тысячелетий тому назад, ехидно улыбаются мне, смертной и недолговечной. Они скромно раскинулись на пепелище первобытного костра, немного обработанные песком и ветром и приобретшие дополнительное свечение. Рядом лежит браслет в зверином стиле. Не совсем понятно, прищуренные глаза какого животного скрываются за зеленью, покрывшей древнюю бронзу. Но и патина, и металл сами по себе мягко излучают красоту мегалита, палеолита и прочего прошедшего времени. Времени, которое для них никогда не текло, не убегало, не останавливалось. Для них не существует времени, даже если они меняются под его влиянием. Они жители пространства. А мы — жители разрушительного времени: мягкие, слабые, раздражённые, мнущиеся, умирающие, каждую минуту изменяющиеся. Мне не хватает вечности, которая всегда есть в предметах, в вещах самых простых. Она в них живёт своей потаённой жизнью. Всегда живёт… всегда…

Под дождём

Я шла в музей под проливным дождём, начавшимся редкими тяжёлыми каплями ещё тогда, когда я подъезжала на автобусе к остановке. Он лился струями, лишая надежды на то, что, попав под него, можно остаться сухим даже под зонтом. Я нырнула в подворотню старого деревянного двухэтажного дома. Перекосившийся вход не внушал доверия, но под ним было сухо, вода тонким ручейком только начинала пробиваться в его глубь.

Мне показалось место знакомым, я его узнала — эта лестница на второй этаж, низкая дверь, обитая чёрной рваной клеёнкой. Здесь я была. Вот и дорожка, ведущая от подворотни в подъезд. Я прошла по глинистой раскисшей земле, стараясь не попадать в лужи, и посмотрела на дверь, обычно запертую на тяжёлый амбарный замок. С изумлением увидела, что замок бессильно повис на щеколде, а дверь чуть приоткрыта. Мелкий мусор был виден на первой ступени, бумажные клочки, щепки. Это так показалось странным, что вдруг дверь открыта. Она ведь всегда была закрыта! Всегда! Кроме тех дней, когда он был дома. Но это было так давно, что уже не верится, что он когда-то был дома. Неужели?..

Я медленно, шаг за шагом, отсчитывая ступени, поднялась по крутой пыльной лестнице наверх. Они скрипели под ногами. Неужели сейчас я встречу?.. Но на дверях висел замок. Такой же большой и внушительный, как внизу. Подёргав зачем-то дверь, не шелохнувшуюся, встала рядом и огляделась. Слева от меня стоял раскрытый настежь маленький шкафчик, на полках которого лежала пыль. На полу с щелями валялся ворох бумаг, среди которых я заметила несколько старых журналов «Октябрь», книги с оторванными обложками и несколько скреплённых листов бумаги с напечатанными на машинке стихами. Никто из знакомых не использует печатную машинку уже несколько долгих лет. Я подняла желтоватые листочки. На них с крыши уже накапала вода, и, влажные, они мягко легли на ладонь, перегибаясь под ней. «*Посвящается жене Алёне*», — прочитала я эпиграф на первом листе. Алёне — это той смешливой девушке с раскосыми глазами и длинной чёрной косой до пояса. Она всегда одевалась в белые платья. Потом у неё умер малыш, попав под машину. Что он может попасть под машину или упасть с балкона, смутно угадывалось ещё тогда, когда он самостоятельно и упрямо убегал на другой конец микрорайона, а мама бежала за ним, нервно улыбаясь.

Стихи, следовавшие за эпиграфом, воспринимались не как стихи, а как эпизоды из той далёкой жизни, полной молодости, портвейна и безотчётности того, что происходило с нами.

День рождения Алёны. На закуску — белые мелкие яблоки со свежим вкусом китайки, которые с брызгами раскусывались и запивались вермутом. Холодное синее небо и ветер из балконного окна. «У нас люди с виду незатейливые, а внутри — очень

даже непростые, злые…»—слова, сказанные куда в угол, где висит моя картина «Любовники на мосту». Почему любовники? Как у Шагала, наверное,—у него любовники белые, чёрные, синие, розовые, серые.

Положила листки на пол, на то же место, где взяла. Мне не хотелось оставлять здесь следы своего пребывания. Пусть останется так, как было до меня, и после меня. На шкафчике замечаю несколько свежих яблочек, как будто вчера сорванных. Значит, он здесь был недавно и яблоки положил на шкаф, чтобы не мешали, открывая тяжёлый замок на дверях. А потом забыл про них. Тянусь рукой к яблокам, но передумываю и достаю из рюкзака термос с зелёным чаем. Его я взяла, зная, что день проведу, возможно, на берегу реки или бродя где-то по окраинам города. Наливаю чай в колпачок из-под термоса. Он горячий, дымится в похолодевшем воздухе. Дождь по-прежнему хлещет в крышу веранды, просачивается сквозь неё, и уже в двух местах струйки льются на пол, проникая в щели и дальше, на первый этаж. Один край крыши вообще провалился от старости, и в него видно серый кусок мокрого пространства. Я пью, обжигаясь, чай и вспоминаю, как хозяин этой квартиры ласково принимал меня, усадивши на продавленное кресло, набросив предварительно на него старое покрывало. Мы читали его и мои стихи, смеялись и договаривались о следующей встрече. Собственно, договаривалась я, а он говорил, что здесь он временно и располагает собой лишь частично и поэтому ничего не может обещать. Он как будто интуитивно чурался фальши и пошлости в отношениях и всегда отчётливо определял границу, за которую он бы не хотел никого пускать. В жизни, переосмысливается, что доказывает, что строить схемы на всю жизнь и порой даже на ближайшие дни не очень благоразумно—всё течёт, всё изменяется. И действительно, как бы в доказательство этой мысли, в мною договорённый день его не было дома. Замок неумолимо-безнадёжно висел на дверях внизу. Записка, что-либо объяснявшая, отсутствовала. А в следующую случайную встречу где-нибудь на улице он говорил:
— Простите великодушно, не смог, дела были, и вообще отлучался из города.

Конечно, я прощала, что мне оставалось? Потом он вообще куда-то уехал на полгода; говорили, что в другой город, где у него появилась женщина, у которой он и жил. Говорили, что эта женщина из его молодости, которую он очень любил, но она вышла замуж за другого, а теперь вот развелась. Уехала и я в другой город, утратив связь с ним на годы. Но всё же до меня смутно доходили слухи, что он вернулся, стал много пить, но по-прежнему зол и весел.

Дождь постепенно стихал. Поток с потолка иссякнул, превратившись в редкие капли, со стуком падавшие на промокшие книги и бумагу. Устав стоять, я уже решила уйти, но услышала звуки открывающейся снизу двери, и сразу мне стало жарко, и я растерянно замерла, ярко вспомнив его лицо, хмурое, когда его не видят, и вмиг веселеющие глаза при встрече. Сейчас он удивится, увидев меня, а потом, сняв с дверей замок, пригласит меня внутрь, усадит на грязное кресло, извиняясь и нисколько не сожалея о своей бедности и отсутствии новой и красивой мебели.

Несколько секунд спустя на лестницу вскарабкались двое мальчишек и с испугом уставились на меня. А, они здесь играли!
— Кого ищете?—спросила я, чтобы как-то вывести всех нас из ступора. Они сразу замотали головой и кинулись вниз по лестнице, крича:
— Здесь его нет! Наверное, побежал туда!

Они продолжали прерванную дождём какую-то первобытную мальчишескую игру в разбойников. Здесь, на веранде, у них, похоже, было важное место, где можно было спрятаться и что-то спрятать. И яблоки, наверное, это они оставили на шкафчике. И впрямь на веранде царил беспорядок, какой образуется в течение нескольких лет в заброшенных жилищах. Хотя хаос и беспорядок здесь утрачивал своё исконное значение—символизировать долгое отсутствие хозяина. Хозяин никогда его не чурался, объясняя, что жить можно и так, и никому это не мешает.
— Стоит ли умирать за идеи, в которые уже не веришь?—говорил он фразы, в которых я смутно угадывала связь с нежеланием наводить порядок и казаться не тем, кем являешься на самом деле.
— Чувствуй мир непосредственно, без иллюзий,—говорил он, послушав мои стихи.

Но как это понимать? Ведь одни иллюзии сменяют другие, и так бесконечно, как казалось мне. Вот и он—то представлялся мне добрым и чутким, а то жестоким и бездушным. Казался он таким или был на самом деле—таким изменчивым и непостоянным? Порой смутно угадывалось, что в нём всегда что-то оставалось неизменным, несмотря на внешнюю текучесть, неуловимость.

Мухи на окне зашевелились, зажужжали, почувствовав свет на своих крыльях. Жужжание их отвлекло меня от воспоминаний, и, глянув в боковое окно, выходящее во двор, я увидела, что дождь окончательно прекратился. Осторожно держась за перила, я спустилась вниз, на самой последней ступени с сожалением оглянувшись—всё же никого там не было, только разруха и пыль.

Двор встретил ярким блеском солнца в лужах, ручьях, мокрой траве. Сразу стало жарко, как бывает в самой сердцевине лета. Воробьи шмыгали по зарослям конопли и лебеды, драчливо чирикая. Здесь неуловимо изменилось с тех пор, но что именно, было не совсем понятно.

Мне припомнилось, что рядом с домом, прямо во дворе, среди старых лип, было место кострища, рядом с которым лежали два тёмных корявых бревна; на них мы сидели, когда по вечерам романтично палили костёр из сломанных ящиков и коробок, валявшихся рядом с соседним магазином.

Соседи иногда сами палили костёр и жарили на нём шашлыки, и тогда в окна были слышны их энергичные восклицания и нестройное пение. Те лица, которые я видела в этом дворе, производили на меня всегда впечатление разбойников, довольных собой и жизнью и отличавшихся особой

ловкостью и сноровкой в деле приспособления к жизни. Интересно, сохранилось это место? Я осторожно, пробираясь между водными потоками, приближаюсь к кострищу, и здесь ждёт меня новое разочарование. На месте почерневшего кострища красуется из свежего дерева столик и пара лавочек. Наверняка здесь стало удобнее, но становится жаль тех уютных вечеров, проведённых около пламени, под теми далёкими звёздами.

Я вышла со двора, не оставив за собой ни следа. Как будто бы сюда я никогда не заходила. Как будто одно-единственное письмо, посланное мне вдогонку в тот далёкий сентябрь, не нашло адресата, как будто тогда моя жизнь в этом городе закончилась и началась совсем другая, в совсем другом городе, такая, какой, мне, казалось, и должна быть настоящая жизнь.

Почти ни о чём

По телевизору показывали разных людей, в существование которых порой не верилось.

Человек-леопард — английский военный, порвавший с обществом и поселившийся на необитаемом острове в водах Шотландии.

— По-другому я жить уже не смогу. Я сделал свой выбор и не жалел о нём ни минуты.

Одетый в чёрный спортивный костюм по случаю журналистов, он был похож на водолаза, вылезшего из заросшего тиной пруда. Но когда он снял свой костюм, стало ясно, что это не морской котик, а леопард. Вся кожа на его теле была покрыта татуировками в виде пятен леопарда. Витязь в леопардовой шкуре. На лице пятен было поменьше, и они как-то не особенно бросались в глаза. На остальном теле не осталось ни участка чистой кожи. Эстет. Или чтобы никогда уже не показываться в цивилизованном обществе. Сжёг мосты приличия. Хотя кому-то это очень бы понравилось. Английское общество толерантно, в отличие от российского.

Он построил дом из камней, сливающийся с местностью. Что-то вроде землянки, покрытой каменистым потолком. Питается консервами, купленными на армейскую пенсию.

— Я хотел стать монахом, но оказался слишком стар для этого. И тогда я решил сделаться отшельником. И мне очень часто не хочется общаться с людьми. Не потому, что не понимают. Наоборот, некоторые настолько хорошо всё понимают, что говорить становится не о чем. А другим рано или поздно надоедает жевать одно и то же.

— Не надо никому ничего объяснять. Поймут только те, кто уже всё понимает, — это уже не человек-леопард сказал, а одна моя подруга, которая тоже вскоре отказалась от человеческого общества. Не так радикально, правда, как он.

Она жила в старом деревянном доме, оставленном ей родителями. Дом стоял и стоит рядом с кладбищем. Философское соседство. Хотя когда к этому привыкаешь, то о покойниках вспоминаешь редко. Тихие, молчаливые соседи. Расстройством психики она не страдала, и привидения её не тревожили. О них вспоминали её редкие гости. Я, например.

Приходила я к ней всегда в растрёпанных чувствах. Тогда всегда мне казалось, что ужасами, кошмарами, привидениями, вампирами, зомби, ожившими покойниками и просто негодяями и подонками земля просто кишит. И самое главное — смерть. Смерть всегда однозначна и бесспорна, горячо толковала я. Если даже нет ничего, то смерть всегда есть!

— Все там будем, — кивала на окно Ольга. — Ну и что?

— Вот именно! А люди не помнят этого, треплют друг другу нервы, как будто жить собираются вечно.

Мне хотелось жить с ней под одной крышей. Вместе пить чай с мёдом зимой, летом — обрабатывать огородик и кормить кроликов. Как Медвежонок и Ёжик, значит. Или как две отшельницы — человек-художник и человек-никто.

Человек-художник — это была она. После окончания художественно-графического факультета Ольга нигде не работала. Она писала картины, которые иногда удавалось продавать. На это и жила. Туманные картины, где мелькали неясные женские лица, заборы, кошки, птицы, скамейки, деревья, река, старые потрескавшиеся стены, травы… Я называла их «лондонскими туманами». Люди и предметы возникали ниоткуда и исчезали в никуда. Но туманы были вполне родные — они, наверное, везде одинаковые.

Ольга вставала рано, карауля эти самые туманы. Брала фотоаппарат — в последнее время цифровую «мыльницу» — и шла из дома, фотографируя порою всё подряд. Фотографии не были прообразами картин, но были самостоятельными видениями. Некоторые она печатала и клеила на стены, иногда слоями, как на уличной тумбе для объявлений. Там я иногда могла заметить знакомые лица и своё лицо. Не было резких линий, агрессивных движений. Она любила фотографировать старух. Их как будто вырезанные из дерева лица, обрамлённые в потёртые — до дыр! — платки, смотрели бесстрастно, как африканские маски. Сложенные на коленях руки, морщинистые и сухие, вызывали в памяти сморщенные заячьи лапки.

Вместе с Ольгой в моё сердце вошли сирень в палисаднике, сквозь которую просвечивало кладбище, наши прогулки в час между волком и собакой, час, когда невозможно разобрать, кто это — волк или собака, живой человек или мёртвый… Разговоры о прекрасном будоражили мою душу. Влажно пахнущий сумеречный воздух, увядающие листья под ногами, расплывающиеся силуэты под фонарями, пурпурный или розовый — каждый раз незабываемый — закат солнца, восход луны… они были ни хорошими, ни плохими.

Освящённые традицией прекрасного, на самом деле они не были ни красивыми, ни некрасивыми — они просто были и задевали меня всегда, когда настроение было безмятежным и чуть тронуто тревогой исчезновения и непрочности происходящего вокруг.

Ещё была гитара, на которой Ольга играла вечером, когда к ней приходила старенькая мама. Так дочь успокаивала её, наперёд зная, о чём будет

говорить мама: не пора ли Ольге замуж, родить детей?

По возрасту, конечно, ей было вроде пора. Давно пора. Мужчины засматривались на неё, высокую, с распущенными светлыми волосами, зелёными глазами, с мелкими веснушками на носу и щеках. Когда-то давно она недолго училась в школе моделей. «Скучно». Худая, одетая в джинсы, просторный джемпер,—казалось, что личная жизнь должна складываться у неё сверхъестественно удачно. Однажды я не вытерпела, спросив, почему у неё никого нет. Ольга засмеялась. Она долго не говорила мне, что она девственница.

«Зачем это надо?»—смешно недоумевала она. Я вставала в тупик, пытаясь чётко и внятно сформулировать, зачем это надо. У меня самой в этой сфере как-то не очень ладилось. Муж, ребёнок, родители мужа в нашей квартире почти сняли потребность в сексе. Но было же это когда-то, чёрт возьми! И было очень даже хорошо, я это помнила. Мда… «Мне подруга рассказывала, что однажды попробовала, и ей не понравилось». Я хохотала. Мне казалось, что хоть в чём-то я превосхожу Ольгу. В опыте с мужчинами. Рекламируя секс, я привирала, описывая его крайнюю необходимость, прекрасные ощущения, при этом заводясь сама. Ольга брала китайские сказки и уходила на веранду читать. А я тупо сидела у окна, терзаясь от отсутствия мужчины в этот момент.

«Девственники—инфантильные и сексуально слабые типы,—так объяснил мне один знакомый психотерапевт,—и вообще это патология, если женщина в таком возрасте». О такой патологии можно только мечтать, казалось мне. Сколько сил освобождается для жизни! Сколько энергии из меня высосали мои влюблённости и влюблённые в меня! Столько вырабатывает маленькая электростанция в течение года. Или двух.

Ольга организовала выставку в частной галерее и большую часть картин продала. Это был довольно неожиданный для неё триумф. Бумажные деньги пухлой пачкой скопились в потёртой китайской шкатулке. «Деньги—переносчики вирусов гриппа»,—говорила она, проветривая шкатулку на солнце. Ольга перестала рисовать маслом, так как с ним было хлопотно: пахнут растворители, портятся кисти. Она купила акриловые краски, несколько керамических и стеклянных ваз для цветов и перестала есть мясо—больше ничего не изменилось в её жизни. «Мясо едят нервные люди, а мне сейчас спокойно»,—объяснила она последнее.

Есть что-то, что она скрывает от всех и меня, казалось мне. Какой-то секрет или гормон, который вырабатывает её организм, далёкий от обычных обывательских организмов. Эндорфин. Почему ей ничего не надо? Ей даже не надо было бы рисовать, если бы вдруг исчезли кисточки или краски, бумага и холсты. Она оставалась бы в том же месте, пила бы чай и гуляла по вечерам. Социальный инстинкт как будто отсутствовал в ней напрочь. Люди её, скорее, раздражали, хотя она этого не показывала. Они притягивались к ней и почти сразу исчезали, чувствуя свою ненужность. И я старалась казаться не совсем существующей, молчаливой и занятой чем-то своим.

«Она курит травку»,—был убеждён мой товарищ, увидев её со мной на улице. Но трансовое состояние было всегда с ней и в ней самой. Не надо было делать что-то специально для этого. Скорее, она избегала тех и того, что разрушает это состояние,—обычных дел, какими мы занимаемся каждый день с утра пораньше и до позднего вечера. Только ночь может заставить прервать этот трагический бег дел. Только ночь снами напоминает о том, что человек хорошо забыл, но помнит где-то в своей глубине.

Одной быть хорошо. Никто не требует внимания, любви, еды, секса, пришивания пуговиц, поддержания разговора на бессмысленные темы, участия в бессмысленных делах, заполнять квитанции квартплаты, голосовать. Что тогда остаётся? Что осталось для человека-леопарда? Что-то было когда-то в детстве, ускользающее, то, что кажется почти ничем. Это надо вспомнить, надо вспомнить… Я ничего не могу найти в своей памяти, перерываю мятые бумаги, ворошу пыльные предметы…

Ничего, ничего, я и не тороплюсь…

Про Анну

Если она умрёт, то я об этом никогда не узнаю. Могут пройти годы и годы, но я буду думать, что она жива, живёт в домике на берегу реки и пишет рассказы про океан, который никогда не видела.

Встаёт рано утром, заваривает свой кофе, который пьёт в больших количествах потому, что, как уверяет, прочитала, что его любил пить Максимилиан Волошин. Потом идёт, как он когда-то любил, гулять по окрестностям: направо—дачи с кривыми яблоньками, налево—чахлый лес, а если спуститься вниз, то там река с мелким тёмно-серым песком на берегу. Она садится на бревно, смотрит на волны и представляет, что эта вода когда-нибудь попадёт в океан и станет его частью. Бросает в воду ветку, которая может доплыть до океана. Она каждый день что-нибудь бросает в воду, что может уплыть далеко, до устья реки, и впасть в море. Однажды бросила бутылку с запиской «Кто найдёт записку, напишите мне письмо по этому почтовому адресу». Никто не написал, но она особо и не рассчитывала.

На крыльце она встречает шестидесятилетнего соседа, который изображает влюблённость и кормит её иногда салатом, который сам и готовит. Он стремиться накормить её и пельменями, и шашлыками, но она отказывается, так как сосед начинает подсаживаться к ней ближе, трогать как бы невзначай за коленки и блестеть глазами. Она могла бы отказаться и от салата, но уж так замечательно тот его готовит, что отказаться не хватает сил.

Я ей звонила иногда и спрашивала о делах. Но какие у неё могут быть новые дела? Я и сама это понимала, и мой вопрос был вполне формальным, так как издалека, по телефону, не видя её глаз, было непонятно, о чём можно было говорить. Если только ухудшение с ногой…

— Можно, я к тебе приеду? — спрашивала я, и она всегда находила отговорки, что это неудобно в данный момент, что её как раз пригласили покататься на машине на том берегу реки и она, возможно, может задержаться, заехать в гости и там остаться ночевать.

Когда мы с ней виделись в последний раз и хорошо ли расстались? Это было, кажется, пять лет назад. Я приехала, не предупредив её, и остановилась в гостинице. Подойдя к дому, я долго всматривалась в окна, пытаясь увидеть её силуэт. Когда открылась входная дверь, у меня застучало сердце, и я замерла, представив её — в её любимом синем платье, с длинной косой. Дверь открылась, и на крыльцо выпорхнула девочка лет десяти, держа в руке бадминтонные ракетки. Она убежала за угол, а моё сердце немного успокоилось. Что такого было в Анне, что её присутствие в мире меня так волновало? Она была бестолкова порой до крайности, жила на какие-то случайные заработки, которых едва хватало на квартиру и кусок хлеба, она была замкнутой и почти нелюдимой, — ничего особо привлекательного, но и эти черты меня очаровывали так, что, казалось, никакое другое поведение не может быть таким притягивающим.

То, что она писала рассказы, было как что-то очень естественное, как продолжение её жизни, как обыкновенное составляющее её существования. Как для других обед из трёх блюд. Но эта её особенность не была, на мой взгляд, основной и главной. Я много знала людей, которые пишут, но никто не вызвал во мне желания быть рядом, всматриваться исподтишка в их лица, листать страницы их жизни — минуту за минутой.

Её прошлое и настоящее казалось сном. Но, может, я всё сама придумывала? К ней иногда заглядывал бывший муж, и тогда они ругались, и он уходил с красным злым лицом. Что они делили, об этом Анна никогда не рассказывала. Я знала, что их дочь умерла в пять лет, и никогда об этом подробно не расспрашивала.

Девочка прошмыгнула мимо меня, а я наконец решилась войти в дом. Лестница по-прежнему была пыльной, и на ней пахло кошачьей мочой. Я поднялась на второй этаж и остановилась перед обитой рваным чёрным дерматином дверью. Немного помедлив, позвонила в тугой звонок, который глухо звякнул по ту сторону двери. Дверь открылась, и мы встретились глазами.

— Лена, это ты! — она растерянно и радостно смотрела на меня.

— Анюта!

У меня отлегло от сердца, так как я видела, что мой приход её действительно обрадовал.

Мы прошли на кухню, и Аня сразу поставила чайник на колченогую плиту, которая стояла испокон века в этом старом доме. Вот и кофе, который пьётся по всем поводам. Я достала из рюкзака сливки и шоколадку — знала, что этому она будет рада. Мы молчали, не зная, с чего начать разговор. Она, прихрамывая, тихо двигалась босая по кухне, одетая в длинную футболку и помятые фланелевые штаны. Каштановые длинные волосы были распущены и стекали по спине мягким водопадом. Под глазами на бледном лице были видны синие круги — опять не спала ночью, пила кофе и курила. Вдруг она сказала:

— Я знала, что ты сегодня появишься. Я видела сон про то, что меня звал кто-то в южную Индию, в Гоа. Но я отказалась. А потом появились двое странных мужчин, высоких, красивых и одетых в одежды странников, один из которых был с длинными светлыми волосами, с хвостиком на затылке, которого я спросила, куда они собираются. Он ответил, что тоже в Индию. Какие там города? — снова я его спросила. Там северные столицы, — так он сказал. Непонятно как-то — северные столицы. Я проснулась и стала думать, что он имел в виду. Обычно на север Индии, в Гималаи, отправляются хиппи в поисках духовных истин и просветления. У меня, кроме тебя, нет таких знакомых, кто бы мог туда поехать. Только ты.

Она улыбнулась и налила в чашки кофе, капнула туда сливок и отломила шоколадку. «Знакомых», отметила я. Значит, я просто знакомая, а не подруга. Собственно, какая разница, как меня назовёт она? Те отношения, которые у нас были, могли называться любым словом, и они меня устраивали больше, чем какие бы то ни было другие. Моя лёгкая дрожь в пальцах уже почти унялась, когда я ощутила, что прежние отношения остались прежними. Ничего не изменилось; особая атмосфера, которая существовала для меня в её присутствии, была всё та же. Как будто в воздухе висел призрачный занавес, сквозь который я видела мир.

— Смешно, — улыбнулась я, — что ты представила меня. Я не собираюсь в Индию; мне кажется, что достичь истины и понимания можно и здесь, в России.

— Я имела в виду, что именно тебе это вообще интересно.

— А тебе? Это же твой сон — значит, это интересно тебе.

— И мне тоже, — сразу согласилась она. — Но я бы поехала всё же в Индию, действительно, куда-нибудь на север, где горы, скудная природа и аскетичные тибетцы пьют чай с маслом и солью и смотрят меланхолично на изваяния будд в скалах.

— Так романтично, оказывается, там, я бы поехала с тобой, — я засмеялась, и нам стало снова легко, как всегда было вместе.

В тот день мы гуляли по берегу реки. Шли долго-долго в северном направлении, мимо рыбаков, сосредоточенно сидящих на берегу с удочками, мимо пляжа нудистов, где немногочисленные смирные нудисты грелись на нежарком солнышке.

— В Индии им было бы теплее, — Анна вспоминала наш разговор.

Она никуда не могла бы поехать — ни денег у неё не было, ни нога не позволяла длительные поездки.

— Любовник, — внезапно она сказала. — Есть же у людей любовники, которые могут дать денег на поездку! И потом, Лена, после севера я всё же поеду на юг. Там, в Гоа, океан. А посмотреть на океан я давно мечтаю.

— Но это почти невозможно, Анна; если он даст тебе денег, то и будет ждать, что ты будешь вокруг него увиваться, готовить пирожки, смотреть в рот

и поддакивать. Ты готова на это? Конечно, в том только случае, если такой отыщется. И даст в конце концов такую сумму, на которую в соседний город можно будет только съездить в одну сторону.
— У меня есть два претендента. Один — пенсионер, другой — тридцатилетний вьюноша. Первый мне просто противен, а второй балбес, и, кроме того, у него нет денег.

Она засмеялась, вспомнив про потенциальных любовников, и было понятно, что они её не спасут в смысле обретения суммы на билет. Анна сорвала длинную травинку и стала грызть её, улёгшись на тёплый песок и погрузившись в свои мысли. Ноги в синих джинсах она закинула на корягу, а затылок положила на скрещённые за головой руки. Я улеглась рядом и стала смотреть в том направлении, куда и она.

Кучевые облака, немного уже переходящие в дождевые, клубились на небе, создавали причудливые сочетания белого на сером и серого на тёмно-сером. Спокойный плеск волн доходил до ушей приглушённым, успокаивающим, ритмичным шумом. Две неизвестные птички, крупные, с зелёной спинкой и грудкой, попискивали под соседней ивой. Я с усилием пыталась оживить в памяти картинки с птицами и решила, что это иволги. Они крутились очень близко от нас, и казалось, что они любопытничают, присматриваются к людям. Птички хлопотливо перепрыгивали с места на место, переговаривались, и было совсем непонятно, чем всё же они могут быть увлечены. Природа у меня вызывала всегда впечатление разумности, природные существа, казалось, ничего не делают просто так, от нечего делать. Каждый раз они занимаются каким-то делом, очень полезным и рациональным: вьют ли гнездо, ловят ли мух, высиживают ли птенцов. Просто так балаболить между собой или мечтать о чём-то недостижимом — способны ли они?
— Можно так долго и бессмысленно валяться, — заметила вдруг Анна, — что многие мужчины с радостью и проделывают. Вот, например, один мой знакомый. Пустота, он говорит, это то, что внутри нас, и это надо осознать. У него действительно пустота — то, что он чувствует вместо любви. Знаешь, когда я смотрю на воду, на небо, слушаю звуки ветра в ветвях деревьев, я чувствую любовь ко всему, растворяюсь во всём, и мне кажется, что я уже там, где и надо быть, что всё уже достигнуто и пройдено и надо остановиться вот в этом месте, где я стою. Но потом мне становится скучно и хочется изменений. И тогда кажется, что, значит, тот момент, который был идеальным, вовсе таким и не был. А тогда зачем искать других идеальных моментов? — они так же обесценятся. Зачем ехать в Индию, зачем ещё куда-то?

Анна встала, разделась и медленно вошла в воду. Стройная, с тонкими руками и выпрямленной спиной, она, казалось, сейчас будет молиться солнцу или взывать к небу, совершая какой-то обряд поклонения природе. Заколов волосы на затылке, она поплыла. Я тоже подошла к реке и попробовала ногу водой — холодно, градусов десять, не больше. Анюта плыла не спеша, как русалка, и совершенно уже казалась мне дитём природы. То, что она сейчас говорила, как будто растворилось и исчезло в воде. Опять не было никаких слов, а было то, что они обозначали, то, на что указали. На минуту мне показалось, что от этой сцены повеяло академизмом — картинная нимфа купается в источнике.

Выйдя из воды, Анюта вытерлась футболкой и снова надела её на голое тело. Стал накрапывать очень мелкий дождь, и мы повернули назад, к ней домой. Шли обратно, наступая на собственные следы в мокром песке. Выход там, где обычно вход, думала я, представляя себе почему-то, как Анна стала жить этой найденной вдруг жизнью — одна, на краю города, в каком-то почти бараке.

Она, как будто угадав мои мысли, заметила:
— Знаешь, порой мне как будто не хватает чего-то такого снаружи. Хотелось бы жить, конечно, в своём доме с садом; наверное, иметь машину, чтобы путешествовать. Но это снаружи, а изнутри я уже живу так, как я хочу. Настроение моё говорит мне, что уже лучше быть не может.

Вопреки сказанному, лицо Анны было почти печальным. Глаза её опустились и смотрели под ноги. Иногда мне казалось, что я её так чувствую, что становлюсь ею, думаю её мыслями, чувствую её эмоциями, и тогда я как бы забывала, не помнила себя. Даже сейчас мне чудится, что маленький кусочек Анны во мне существует — как орешек. Она изменилась, поняла я, она стала похожа на грустную птицу, которая сидит на окне, свободная, и не хочет никуда лететь.

Вечером к нам заглянул пенсионер Виктор. Он, явно хлебнувший чего-то алкогольного, хотел было усесться за стол и начать заводить беседы про политику, про то, как много у него денег и какой он работящий. Но вскочил и помчался в свою конуру — кстати говоря, больше Анютиной и забитой всякой мебелью. Вернувшись через пару минут, он вывалил на стол фрукты, конфеты, капустный салат в стеклянном салатнике и рис с сардельками в большой тарелке.
— Вот, Анюточка, Леночка, угощайтесь. Сегодня я опять спроворил — плиту в кафе починил, и три тысячи — в кармане. Завтра пойду ещё в столовую. Устал, зато у меня всё есть! — он хвастливо заулыбался. — А вот Анюточка могла бы и поприветливее со мною быть, скажи ей, Леночка, я же ещё молод душой и жажду любви и ласки — столько её во мне скопилось!

Анюта отошла к окну и раскрыла его. Закурила, глядя на тополиный пух, который медленно летал в проёме окна, как маленькие белые рыбки в аквариуме. Пушинки задувались в окно, пролетали мимо Анны, над столом и исчезали где-то, притаившись на предметах. Она, казалось, не слышала потока Викторова красноречия, отстранившись от него, от нас, от меня, пытавшейся изображать приветливый вид, показывать, что слушаю Виктора. Он разглагольствовал про своего отца, который тоже был хозяйственным и в самые тяжёлые в стране времена мог жить на широкую ногу и содержать жену и детей. Его глаза, налитые какой-то мутью и тяжестью, смотрели на Анну, которая отвернулась

от нас. Казалось, что он—кот, а женщина у окна—птичка, которую он собрался поймать.
— Мне нужно позвонить,—Анюта вышла из кухни, взяв телефон.
— Ну, и я пошёл, девочки,—Виктор поднялся и, неуверенно останавливаясь по дороге, будто надеясь, что его остановят, пошёл к дверям.

Он затворил дверь, и я услышала его начальственный голос, отчитывающий кота, не желающего есть сардельку.

Ночью Анна постелила мне в комнате, а сама осталась на кухне читать книгу.
— Извини,—сказала,—мне надо побыть одной, я устала—не могу долго говорить, даже с тобой.

Я долго не могла заснуть, прислушиваясь к скрипам старого дома, к шорохам на кухне. Анюта запустила кота, чёрного, лохматого, в квартирку и сидела с ним в кресле, поглаживая его одной рукой, а другой переворачивая книжные страницы.
— Животные видят нас такими, какие мы есть на самом деле,—говорила Анна,—если, конечно, они не испорчены человеком. С ними не надо притворяться.

Кот мурлыкал так громко, что было слышно мне в комнате, или это было потому, что тишина всё больше овладевала пространством и каждый звук звучал по отдельности и ясно. В открытое окно вливался запах свежескошенной травы, который напоминал что-то, давно прошедшее, как будто из детства или как будто из чего-то такого, неслучившегося.

Мне всегда чего-то не хватало для того, чтобы чувствовать себя счастливой, какой-то малости, какой-то чёрточки, точки. Балансируя на границе этого ощущения, я не могла полностью погрузиться в настоящее, в то, что есть. Могла ли это Анна? Она читала свои книги, писала о невидимом океане. Была ли она на самом деле рядом со мной во время разговора? Не такая же она, как и я? И грусть, не проходящая у неё после смерти девочки, усиливала впечатление отсутствия. Или я вижу только то, что есть во мне, и по-настоящему её внутренний мир мне недоступен?

Кот пробежал к дверям и стал скрестись, пытаясь её открыть. Анна осторожно открыла дверь и выпустила его наружу. Подошла ко мне, увидев, что я не сплю, спросила, не закрыть ли окно, ночью могут налететь комары. Я отказалась, и вдруг мои мысли произнеслись вслух:
— Неужели вот это—всё, что может быть? Жить вдали от людей, от мира, от восторгов и горя, отгородиться от всего и ничего не ждать и ни на что не надеяться? Это и есть счастье?
— Почему «от мира» ты сказала? Разве мир—это то, что где-то там? Даже вот океан—он внутри меня, а не снаружи. Я не могу убежать от мира, да и не хочу. Спокойной ночи.

Утром на кухонном столе в высоком стакане появился ирис—жёлтый, с бордовыми нижними листьями.
— Дима приходил,—объяснила Анна.

Был ли Дима тем самым «балбесом без денег», было, конечно, непонятно, но спрашивать не хотелось. Я понюхала цветок—от ириса исходил очень слабый, сладкий и бесконечно приятный запах. Анюта курила у открытого окна, сбрасывая пепел в глиняную чашку, которую слепила сама. Перед Грушинским фестивалем на продажу она лепила много керамических фигурок, свистулек, шейкеров с гремящими глиняными горошинами внутри. Вот и сейчас, в начале июня, она уже начала этим заниматься.
— Поздно начала,—сказала Анна, показывая на кусок размокающей глины в ведре.—Глины не было, а вот Дима привёз и ещё обещал. Лена, я сейчас буду занята, ты извини, мало времени осталось. Мне ещё надо высушить, обжечь глину, раскрасить.

На пороге, когда я закрывала дверь, она вдруг сказала:
— Знаешь, я хочу удочерить одну девочку, внучку Виктора, она осталась одна, её хотели отдать в приют. А я к ней уже привыкла. Если со мной что-то случится, ты присмотришь за ней? Её зовут Ирина.

От неожиданности я опешила и только кивнула головой. Она улыбнулась мне на прощание и, попросив минутку подождать, вернулась через минуту и дала мне в руки керамические бусы.

Эти бусы я сейчас перебираю в руках. Они состоят из чёрных и белых бусин. И среди них есть одна бусина яркого терракотового цвета—это она, Анна, так я себе представляю её. Я не видела её пять лет. В тот город на Волге я больше не приезжала, хотя он находится недалеко и стоит только сесть на автобус, как через два часа окажешься там. Я ей звоню иногда, и оказывается, что всё в порядке. Со мной что-то произошло, я никуда не езжу, я сижу у открытого окна и смотрю на цветы, растущие у соседнего дома, это ирисы, голубые и жёлтые, с фиолетовой каймой на нижних лепестках. А последний год я не звонила ей, и мне кажется, что если с ней что-то случится, то об этом я не узнаю, и всегда, до конца жизни, мне будет казаться, что она там, пишет рассказы про океан, лепит свистульки, гуляет по утрам по берегу, воспитывает Ирину. С ней ничего не может случиться, она вечная. А значит, вечная и я.

Виктория Гетманова

Если ты девочка по имени Нури…

Как Трофим-силач медяки гнул

Раз!—взлетает над головами пудовая гиря. «Ах!»—вопит шпана. «Ох!»—вздрагивают гимназистки. «Ну!»—жуют усы мужики. Переворачивается гиря в воздухе—и прямо на головы: соломенные и смоляные, уложенные в косы и обритые наголо. Кто их спасёт? «Раз!»—басит Трофим-силач. Поймана гиря могучей ручищей. И по плечам яблочком перекатана.

Зеваки в восторге. Семечки лузгают, леденцами хрустят. И так им интересно, что на висящую рядом вывеску Московского общества воздухоплаванья и не глядят. «Парад воздушных судов Российского императорского флота! Спешите увидеть!»—а они—нет, не глядят.

«Ну, с кем побороться?!»—грохочет Трофим-силач. Но никто даже не икнёт. Смотрит гигант по сторонам, ухмыляется. Красивый, чёрт. Усищи закручены, шея—как у быка, щёки—красные! Нет, побледнел никак? Точно, побледнел. За головы куда-то уставился… губы задрожали. Что случилось-то? Дивится народ. Головами замотал по сторонам. И тут вдруг—летит. Огромный. Тарахтит на всё Ходынское поле. Крылья вытянул, пропеллером из стороны в сторону мотает. Затих народ. Думает, куда бежать. Пока думал, мальчонка один у батьки из-за пазухи хлыст выдернул—и ну на зверюгу! Хлыстом круги выписывает: «А-а-а!—голосит.—Пшёл отседова! Трофима-силача ишь огорчать вздумал!» Вздрогнуло чудище, притихло пропеллером и бочком-бочком—на другой конец поля умчалось.

Вздохнул облегчённо люд, снова к Трофиму поворочался. Раз!—и сплющены медные пятаки. Только мальчонке за спинами не видать ничего.

Захаровна

У подгнившего деревянного столба, на верхушке которого еле держится ржавая корзина, сидит старик и жуёт ус. Его жёлтые кустистые брови скрывают глаза, поэтому разглядеть, куда он смотрит, невозможно, но почувствовать—можно вполне. Сначала переносицей, а потом, минуя его крючковатую фигуру,—и спиной. До тех пор, пока не скроешься за поворотом.

За поворотом бережно посыпанная солью тропинка ведёт к придавленному снегом забору, к калитке в лохмотьях отставшей голубой краски, уводит внутрь двора, чисто выметенного от снега, осторожно огибает старую вишню и обрывается, упираясь в низкую дверь. После короткого звонка Иван отпирает—как кажется, неспешно. На нём только джинсы и полинявшая футболка. Мы оба быстро окидываем друг друга взглядом: он делает вид, что не удивлён худому пальтишку, превратившемуся на мне от ветра и мокрого снега в ледяной панцирь, я—а я тоже при такой-то погоде вроде как не поражён видом босых Ивановых стоп. Здороваемся, отчего рукава ледяного панциря надрывно скрипят и с локтевых сгибов на тщательно подметённый пол предбанника опадают тонкие льдинки. Иван спохватывается и помогает снять с моих задубевших плеч рюкзак.

— В общем, фотографии принёс и докупил умбру жжёную и красную охру,—я стараюсь отдышаться,—в «Передвижнике» заказал, по интернету. Четыреста миллилитров. Новая система распылителя.

— Но-о-овая,—Иван кривится и нехотя, без радости, какая бывает обычно, стоит ему наткнуться на новшество, протягивает руку—посмотреть.—Вытрись, кстати. Измазался.

Гляжусь в стоящий на столе начищенный самовар—на скуле красное пятнышко.

— Это я о ветку задел только что.

Иван долго, сосредоточенно смотрит на кровь, потом—с тоской—в окно. В окне—темно от чёрных обледенелых ветвей вишни.

— Слушай,—он с трудом отрывает взгляд от окна,—новая система—это, конечно, хорошо, но я вот тут решил забор чинить. В выходные.

— Забор? А, ты о Бэнкси, да?

В памяти мгновенно всплывают отдельные фрагменты граффити Роберта Бэнкси—часть стены, протянувшейся на семьсот километров между двумя воюющими странами, крашенная им под дыру в небо. Ха! Ну, Иван, как всегда, в своей манере—всё намёками. С триумфальным смешком начинаю выкладывать на стол папки с фотографиями.

Ладно, не отвечай, я понял—конечно, о нём. Вот, смотри, с его сайта скачал. Намекаешь на то, что верхний угол здания можно законспирировать, записав под небо? Будто его, как рождественский пряник, глазурированный значками логотипов, надкусила гигантская баба Потреба?—я разложил вокруг самовара фотографии самых любимых моих стрит-артовых работ Бэнкси и с интересом уставился на Ивана.

Тот снова покосился на окно:

— Я о своём заборе. Починить его нужно. Всегда это к осени делал, а в этом году забыл.

Он с осуждением покосился на фотографии. На крайней справа—работа Бэнкси: под лаконичной табличкой «Игры с мячом запрещены!» мышь подбрасывает мяч.

— У нас с тобой,— я начинал нешуточно раздражаться,— сегодня в три утра вояж к ГУМу, если помнишь. Социальная арт-акция. Я, как тебе известно, на этом ледовом ГУМовом катке уборщиком с начала зимы пашу, чтобы можно было без подозрений допоздна там задерживаться. Мы стипендию, в конце концов, копили!
— Вот-вот. Лучше бы не копили, а в дело пускали. У меня к этой сессии ни ретуши, ни бумаги. Всё подорожало. Надо закупки впрок всегда делать — тогда не зависишь ни от кого, как раньше и делали.
— Не делали мы никогда так раньше!
— А я не про нас. Я в целом говорю — раньше так делали.
— Ага,— я подозрительно смотрю на него,— в погреба натащить всего и забор, главное, покрепче сделать. И калитку — подкачала она у тебя — обновить бы, вот где новая система распылителя пригодится!
— Ну вот, видишь, ты понял.

За его спиной на корявую чёрную ветвь садится воробей. И ещё один. Они придвигаются друг к дружке и замирают. Эту лубочную картинку, с босоногим, раскрасневшимся в печном жару Иваном на переднем плане, вытерпеть невозможно.
— Вань, не знаю, что на тебя нашло, я ещё успею до Митьки съездить, с ним всё и сделаем.

Он укоряюще машет головой:
— Да не сможете вы вдвоём. Страховать кто-то должен. А то бы тут… самовар… и завтра бы мне помог.

Но я уже не слушаю, тороплюсь, впопыхах через пуговицу застёгивая пальто:
— Знаешь, стена та, которую он небом записывал, выше Берлинской в три раза. И ничего — смог.

Во дворе меня ещё раз хлещет по лицу ветка, а воробьи чирикают и шумят до тех пор, пока я не скрываюсь за углом. Попав тут же под обзор деда. Подхожу. Закуриваю.
— Телефонщик,— он как бы не спрашивает, а отмечает.
— Нет.
— Так к Захаровне же ходил.
— К Ивану в тупик.
— Ну вот, я и говорю — к Захаровне. Вон и получил от неё, смотрю.
— Это дерево хлестнуло.
— Так я и говорю — Захаровна. Странно, что не телефонщик. От неё в основном получают только те, кто жить мешает. Смуту и суету вносит.

Я посмотрел на него и вдруг понял, что до Митьки электричка отсюда не ходит. А с пересадками не успею.
— Я к Митьке не успею.
— Да в таком бушлате ты никуда не успеешь. Промёрзнешь. На ночь глядя. Вон Иван в этом годе тоже много чего не успел. Решил от традиций отойти. Теперича исправлять будет. Да я помогу ему, конечно, а как же. Так всегда у нас в деревне при Захаровне ещё было.

Хотел я сказать, что «бушлат» вполне себе, из отцовского пальто перешит. Что совсем не обязательно носить «Columbia», «Mountain Hard Wear» или «The North Face», чтобы брендить «энтузиастом активного образа жизни». И если бы Иван не подвёл, мы бы много чего образного вывели бы сегодня ночью на стенах ГУМа, оскалившись в своём активном «рррррррр!», не укутанном к®ужочком из лебяжьего пуха! А Иван…
— А ваш Иван, не беспокойтесь, забор вот-вот поправит. Завтра.
— Так то ж неплохо,— он улыбнулся и мягко потрепал меня по плечу.— Я те вот что скажу: в прошлом веке сюда телефонщики захаживать стали; говорят, цавилизацию вам нужно. А Захаровна — бабка тут у нас одна была — их погнала коромыслом. Вот вы с Иваном на електричкиной станции женщину нарисовали, которая електричке показывает повернуть. И паровозчик наш местный — Ильич — чуть однажды не повернул. Скрежета много было. А смысла никакого. Захаровна бы вас живо проучила. При ней бы не поскоморохничали. Бой-баба. У нас даже председатель при ней был — только для виду, для паспорту.
— Что для паспорта?
— Так у Захаровны же паспорта не было. Она, по моим подсчётам, лет на тридцать постарше меня. Да. А мне к восьмидесяти уже набежало. А померла она — вон — три года как. И считай, сколько ей лет было. И всю жизнь без паспорта. Не принимала ни правительство, ни документы, ни телефонщиков. Только труд. Чтобы благость была.
— Ага, амбары, погреба, заборы — я слышал. Иван мне только что об этом же говорил.
— Верно говорил. Видно, она ему, чтобы с вами не якшался, а делом занялся, всю ночь в окошко веточками скреблась.
— Там воробьи сидели,— я попытался заглянуть под жёлтые брови.
— Вот, значит, как — воробьи. Видать, не соглашался он, так она воробьёв на подмогу, чтобы в окошко ему чирикали да стучали, как по лбу. А теперича, когда образумился,— одобряет. Молчат воробьи? То-то! Так вот я и говорю — чтобы запасы были, а чужих, с их новой жизнью, не было. Мы за столько лет столько разной новой жизни увидали, что никакой веры в неё не осталось. А только в отцов наших. Да. Потому сеяли и жали. И заборы — верно — строили. А однажды, Захаровна на неделю в лес с мужиками ушла — там беглые каторжники схоронились. Отогнать их надо было от благости, значит, нашей подальше. А тут — глядь — телефонщик пожаловал. Это вот,— дед потёрся о столб лопатками,— поставил. Корзину приладил. Провода потянули. Связь с современностью пообещал. Да только Захаровна как из лесу вернулась, так с этого столба сразу посрывала и связь, и современность. И председателя научила написать, что не нужно нам телефонии. Мы тогда передовым колхозом были — очередная новая жизнь шла, и председателя, конечно, посадили бы за такое поведение, но оттепель началась. Не до того стало. Так теперича в соседних сёлах, где связь эта с современностью была, телефонные столбы такие же, как наш — гниль. И деревня сама, как есть — гниль. А у нас — дома побелены. Потому как хоть и кажется, что забора круг села нет, а он

есть. Пашем, сеем — никто в город не уезжает. Не разрешается, значит, круг размыкать. Каждый на посту — я вон столб сторожу, чтобы провода на него кто не повесил. И потому сами городом стали — пгт теперича деревня наша называется. Вот и ты к нам, протестант, за советом приезжаешь. А мы ж на протесты ваши плюём. И на тех, против кого протестуете, — тоже. Ильич вон только плохо видит, потому обманывается иногда.
— Эх, дед, ничего ты не понимаешь.
— Эх, паря — передразнил он. — Захаровна перед самой смертию мне на окно в своей избе показала и говорит: «Когда умру, вишню вот эту за себя на посту вам оставлю. Она, как и я, столько всего повидала». И с тех пор, как Захаровну схоронили, мы на чай к Ивану ходим, как какое дело важное. Совет держим. И она всегда, значит, верный совет даёт.
— Вишня, — я усмехнулся.
— Так я и говорю — Захаровна.

Я вздохнул и с досадой застегнул на рюкзаке «молнию», случайно отрезав краешек одной из фотографий. Рисунок Бэнкси — опрятно одетая, в белом фартучке, девушка улыбается, приподнимая одной рукой край накрахмаленной белой скатерти-самобранки. За собранными в кулачок аккуратными складками проглядывает глухая кирпичная стена. Ну что же. Я утопил в сугробе окурок и, старательно подражая дразнящей дедовой интонации, сказал:
— Знаешь что, дед, а пошли вы все.

Он закивал — было неясно, то ли понимающе, то ли смеётся. И прикрыл глаза — будто забыл про меня.

Из-за угла, со стороны Иванова тупика, показалась одноухая бродячая собака. Из пасти ссохшейся клешнёй торчала сухая ветка с нанизанными тут и там чёрными вишнями. Собака молча, трусцой, бежала в сторону станции.

Москва

Всяк знает: гулевище — место дурное. На гулевище, токмо ежели праздник, людно: тут тебе сразу и фейерверки, и блины, и пёстрого народу с разных мест — шебуршатся, гульбанят до денницы. А в будни, да ночью, да в погодье и слякоть, яко сёдни, на Ходынке и зверя пархатого не сыщешь. Хоронятся в такую пору по домам. Ан не про неё это — таиться. Не-е-ет, эта усядется в карету, растопырится, точно бородавчата жаба на подушках, да катится, выставя в оконце рожу. Тьфу. Точию и слыхать: «Гони, дурак!» — ажно курева́ из-под колёс. Ввечеру вези её по гостям, ресторациям, а потом на ляду какую или глухмень, тамо-ка мокрым ртом лобызать примется. Ну ничаво, он и не то стерпливал. Владетельная купчиха. У ней и лавки мануфактурные, и земли. За то, что с ней любится, купчую на лавку обещала. «Не отрини от себя, — грит, — а к зиме, соколик, купчей тебе отплачу». Эх, уж год с того обещания минул! Вон, пузырь пузырём раздулась на сидении насупротив запряжных, ждёт, абы он по сторонам огляделся — и к ней, сальной. Тьфу! Все жилы вытянула! Он за тройкой ходить должон, а не с купчихой дебелой тютькаться. Давно уж пора купчую продавать, гостинцев невесте справить да по весне — в деревню, с города подальше. Нет больше мочи, сёдни вырвет, что обещано было.

Подкрался изничком, коренник — мерин ласковый игреневый — узнал, молча закивал, подбадривая. Утопил пятерню в растрепавшейся светлой гриве, морду лошадиную к себе притянул, лбом ко лбу ткнулся на прощание. Затем на ступеньки привстал, тихо, что даже рессоры хрустнуть не успели, нож вытащил — острый, он обычно им коренья каки лошадям зачищает, в карету заглянул: сидит мешком, задремала с обжорства. Руки в жемчугах, одёжа с бархата, шёлка, отделана кружевом челночным, бисером во множестве. С ума выжила на бисере. Тут на Масленицу молва прошла, что в покоях царицы Натальи Кирилловны стены обиты полотном, выгрунтованы мелом и насыпаны стеклярусом. Так и эта заставила его стены клейстеровать мукой и по тому грунту насыпать стеклярусом. Сколько тыщ выложила! За такие тыщи жениха можно прикупить с титулом. Ан нет, его, конюха, при себе всё одно держит, отпустить не желает. Зубами заскрипел, подлез к ней поближе, вырвал из рук пыжистый кошель и суму с бумагами — сёдня в трактир на сделку возил её — и, глухо хыкнув, утопил нож где-то под рыхлым бабьим брюхом.

Купчиха сползла, запутавшись в тяжёлых длинных юбках, хотела было крикнуть, да сил не хватило. Осела, позволяя закатиться глазам за веки, за красную пелену, из которой проступил невиданный ею прежде стеклянный терем, уставленный диковинными цветами, и склонилось лицо молодое, испуганное, говорящее вроде понятно, да чудно…

Главное — успеть к ней до обеда. А то и уйти может. Найди потом. С тех пор как на Ходынском поле одних только пирожковых с десяток понастроили, вычислить, где она решила перекусить, просто невозможно. Проще, разумеется, обедать на рабочем месте, но хозяин магазинчик стеклянным сделал — чтобы было лучше видно выставленные цветы. Тот — что называется? «без окон, без дверей»: незаметная дверка с обратной стороны «Только для персонала!» и окно с широким подоконником-прилавком, в котором она — свет светом. И её видно, и цветы видно, но вот чайник не вскипятишь и плитку не включишь — оштрафуют, и посетителей, из тех, что не по делу, как он, тоже видно. Поэтому и вовнутрь зайти к ней надолго нельзя — с работы выгонят. Одну студентку заменить другой хозяину — раз плюнуть. А работу сдельную, да чтобы заработок приличный выходил, найти нелегко. Холодно зимой, конечно, в стеклянной-то будке, но как бульвар пешеходный здесь, на Ходынке, выстроили, парочек хоть отбавляй. Каждая — за букетиком. Приличные деньги выходят — и на оплату учёбы хватает, и домой отсылать получается. Учиться разве что в таком режиме сложно. Но для этого он и есть. В перерыв между парами к ней заскочил, лекционную тетрадь закинул — и обратно в университет. А она в течение дня потихоньку лекции перепишет. После занятий

он снова к ней: бидоны с цветами плёнкой прикрыть и у задней стенки магазина составить, пол вымести, пока она по дневной выручке отчитается, и порядок. Это по чётным дням, а по нечётным он работает курьером, а она за них обоих лекции строчит. Успевают. И отлично. Просто отлично. Ещё четыре года—и всё. А там уже вместе.

Ну вот—стоит, ждёт, не ушла. В горле, как всегда, когда её видит, запершило. Прокашлялся незаметно, улыбнулся. Так разве что скроешь—заметила, нахмурилась, решила, видимо, что простудился. Не дожидаясь, пока он подойдёт ближе, скрылась под прилавком, а потом, оглядываясь по сторонам, украдкой показала ему термос и тут же спрятала. Рассмеялись. Сейчас кофе нальёт, он выпьет, согреется, произнесёт что-нибудь, может, про то, что ещё четыре года—и всё. Она ответит—смеясь и по привычке неуклюже размахивая руками.

Стараясь остаться незамеченным, обошёл магазинчик, протиснулся сквозь «Только для персонала!», рюкзак расстегнул, достал тетрадь. Хотел сказать, что сегодня почти ничего не писали, как вдруг увидел нож. Тонкий, стальной, для разрезания обёрточной бумаги. Наверное, если в руку его вложить—вот так—очень удобно в ней поместится. Точно. И надо же, какой острый! Хозяин, видимо, специально подобрал, чтобы даже девушка без усилий могла с ним управляться. Холодный. Невесомый. Приятно. Руку будто кто-то повёл. Подошёл со спины, её, ту, что свет светом, за плечи приобнял, крепко к себе притянув, и, почти не нажимая, провел ножом вдоль горла. Кто-то будто, кто-то, не он. Легко. И только из глаз от ужаса—слёзы.

Напротив двое патрульных, жуя блинчики,—«Блины горячие! Мальчики, берём! С мясцом!»—остолбенело замерли на мгновенье, а потом бросились к цветочному ларьку.

Деловито ломая юнцу пальцы, оттащили к машине. Встряхнули. По-отечески поприкладывали масляные—«Кислые оладья! Бери, угощайся!»—кулаки к юношескому нерадивому носу и губам. Повалив на землю, ласково, для того разве, чтобы привести в чувство, пару раз поддели сапогами и так разорванные уже его ноздри, потому как—очнись, эй, чего же ты, парень, наделал?! И потом, от большего ещё удивления, надбавили пару раз, обнаружив, что нет инцидента-то, нет, юнец-то руку себе порезал, просто руку, видно девице помогал. Какой?—а которая вон там лежит. Скорую надо бы.

Она лежала на опрокинутых баках с цветами, стараясь не вдыхать запах размашистых бурых пятен, напитавших болоньевую куртку. Снова и снова родная рука прикладывала нож к её шее, оставляла маленькую красную точку, а потом, побелев и мелко дрожа от напряжения, отводила лезвие, утыкаясь им в другую, родную, обнимающую её за плечи руку, и вела по ней продольно и глубоко, так глубоко, словно старалась увязнуть, остановиться.

Силясь избавиться от видения, она зажмурилась, и тут же лошадь полуобернулась, фырча, уставившись умным блестящим глазом с припорошёнными инеем ресницами. И стало хорошо. Она лежала вдруг посреди большой пустоши, лицом в небо. Темно. Какие-то люди бежали. Особо визгливо кто-то вскрикивал: «Ино что учинилося! Ино что учинилося-а-а!» Невдалеке пели песню. Томно и протяжно. Попыталась повторить.

Тем временем подъехали машины «Скорой помощи». Патрульные с облегчением сдали юнца на поруки крепко сбитой женщине в белом халате. Из хлорированного нагрудного кармана той тяжело свисал удавившийся фонендоскоп. Его длинная безжизненная шея болталась туда-сюда в такт твёрдому, неженскому шагу. Врач помогла раненому забраться в машину, усадила напротив и стала водить по располосованной руке быстрыми стежками. Ближе к запястью стежки помельчали, отчего резиновая фонендоскопья шея принялась болтаться всё скорее туда-сюда, туда-сюда и замерла, только лишь когда юноша по-товарищески положил здоровую руку на плечо белому халату и, глядя в утомлённые, подведённые густо глаза, уверенно, словно обещая, произнёс: «Отлично. Что бы такого ни случилось. Всё будет отлично».

А снаружи несколько человек вынесли потерявшую сознание девушку из ларька и аккуратно положили на ворох скинутой кем-то второпях одежды. Было тихо. И только взволнованный молодой врач, бормоча что-то успокаивающее, поднося ватку с нашатырём, услышал надломленное: «…Высо-о-ко сокол поднялся и о сыру матеру землю уши-и-и-ибся…»

Танго со льдом

«Чувствуй лёд!»

И снова вперёд спиной. Всё быстрее. До того момента, когда скрипка вдруг умолкнет, а значит—оттолкнуться и полтора оборота в воздухе. Только полтора, вместо трёх положенных. Для старшей группы. Он—в младшей, но ему нужны эти три оборота. Говорят, что он—может. Говорят—способный и надежда.

«Чувствуй лёд!»

А как же его не чувствовать? Для этого всё. Сделано. И каменное лицо общежитского коменданта, и еле тёплая вода в душевой, и простыни—сырые настолько, что крысы предпочитают ночевать не в спальнях, а в коридорах. И конечно—стойка на руках на льду. Так учатся равновесию. Лицом в иссечённую поверхность. Мутную—и давно уже в ней не отражаются детские лица. Им некогда отражаться. Их удел—

«Чувствуй лёд!»

Для другого—тебя нет. Некогда вспоминать полузабытые лица родных. Нет времени прикормить голубя с соседней крыши. Здесь даже улыбаются—для жюри. Потом. А пока—два оборота—и смазанные в сплошное тёмное пятно пустые скамьи. И только одна точка опоры—лицо тренера—

«Чувствуй лёд!»

Одиночное катание—это когда делаешь вид, что один на один с таким обжигающим ледяным танго. Чтобы никто не заметил, что в облаке снежной пыли, высекаемом коньками, иногда появляется женская фигура. И словно чья-то ладонь ласково проводит по волосам, когда ты вновь ввинчиваешься

своим одиночеством в воздух. Чуть дольше касание — на каждые новые пол-оборота. Так нежно и так нужно. И он давно это и без напоминаний —

Чувствует.

О пользе колыбельных песен

Жил-был Жылбыл. Но жил так, словно и не жил. Хотя всё есть у Жылбыла: и кони, и золото, и ковры. Жены нет. Не верит Жылбыл, что от того веселее станет. А веселья хочется, потому что скучно.

Вот и засобирался Жылбыл пойти войной. Заслал шпионов, чтобы узнать — на кого. А они пропали. И на такой срок, что, когда появились, подумывал Жылбыл уже песни записывать, которые пела ему в детстве бабушка. И не просто подумывал, а перо взял и глаза к небу поднял. Вот как долго их не было.

Вернулись худые, в пыльных одеждах, а у одного — шапка разодрана. Поклонились и говорят: «Всюду крайние неприятности». Так и сказали. А тот, у кого шапка разодрана — взял и грохнул ею, шапкой, об пол. И ногами потоптал.

И только один соглядатай доложил, что не встретил в дороге ни одного живого существа, а значит, и опасности никакой особенной там нет. Так бы и было решено войной идти на тот горизонт, за которым пусто, если бы не пригрезилась Жылбылу в глубине неба Сумеречная звезда, куда улетели от Большой войны, после которой лишь его, Жылбыла, предки и остались, главные гуманисты во главе с командором — Бобом Диланом.

Если бы не припомнил Жылбыл песню, которую тут же как знал, так и записал: «Мама, спрячь моё оружие в землю, я не могу стрелять больше, пора нам достучаться до небес». И такие это были замечательные слова, что решил не воевать Жылбыл. А слугам — каждому — подарил полный текст песни, записанный его, Жылбыловой, рукой. И новые шапки. А себе — жену взял. Вдруг всё-таки веселее станет?

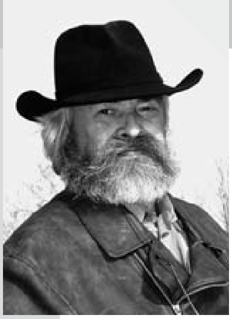
Если ты девочка по имени Нури…

Если ты девочка по имени Нури, живущая в деревушке южнее Мумбаи, и у тебя нет ничего, кроме сумочки, на которую ты старательно нашила круглые зеркальца, — вполне может статься, что ты её потеряешь. Обычно так и бывает: ты лишаешься ровно того, что имеешь.

А много это или мало? — у вора нет ответа. Он видел лишь бечеву, некрепко связывающую запястье с пёстрым мешочком. Да и рослая шведка, купившая часом позже у торговца эту hand-made-trifle вместе с дюжиной рулонов ткани, думала только, что модели из шёлка придутся Европе по вкусу. И разве станет полгода спустя задаваться этим вопросом человек в шубе, мечущийся посреди Лондона в поисках подарка pour ses femmes и наконец нашедший на распродаже шёлковое сари и сумочку в придачу из провалившейся коллекции какой-то феминистки? А что говорить о получившей эту сумочку нарядной секретарше, весьма раздосадованной оттого, что внутри не оказалось пары-тройки купюр, и передарившей это уродство подруге, чтобы полегчало? Подруга, не задающаяся вопросами в принципе, держалась достойно. Достойно же отбыла в отпуск в Индию, где стоически перенесла наводнение, утопив, правда, весь скарб в грязевом потоке, бросившем к ногам жителей Мумбаи груды древесного мусора, камней и тряпья, среди которых девочка по имени Нури нашла свою сумочку.

Внутри той ничего не было, а мутные от грязи зеркальца были все до единого целы. Потому что обычно так и бывает: тебе возвращается ровно столько, сколько было потеряно.

А другого и не нужно.



Григорий Салтуп

Императорская уха

Рассказ записан со слов Ольги Тимофеевны Хазаровой

На нашем Лембозере водяник испокон веку жил. Хозяином. Полноправным хозяином.

Само имя у озера стародавнее, от карел, которые здесь раньше жили. По-карельски «лембой» значит — чёрт лесной или озёрный. Выходит, ещё в древние времена его тут люди приметили.

Старые люди рассказывали, что Бурчало характером не вредный. Понапрасну душ христианских не губил, не было за ним такого. Но — нравный, шибко нравный…

Как его «Бурчалом» прозвали?

А вот — вернулся с войны солдат, Аким Кикин. Он на турецкой войне рану принял. Хромал на левую ногу, а так мужик матёрый, работящий. Вернулся Аким на родную землю, а мать его, вдова, Богу преставилась, пока он царю и отечеству службу нёс.

Вернулся он не один, привёл с собою девочку чернавую, подростка, лет двенадцати. Поначалу все думали, что она от роду немая или умом повреждённая. Молчала всё, молчала, звука не издавала. Много лет её немой считали.

Аким рассказывал, что он её от турецкой погибели спас: всю родню её янычары штыками искололи до смерти, её саму сжечь хотели, только Кикин успел её спасти. Вот она увязалась за ним, ходила, ходила следом, как собачка. Война идёт, а не отгонишь голодную сиротинушку, жалко. Погибнет одна.

Вскоре его самого ранило, она за ним к лазарету прибилась, повязки кровавые Акиму меняла, кормила-поила с ложки, вот и выходила. Потом ему от государя полная отставка вышла по ранению, Георгиевский крест за храбрость, да медаль за Плевну дали, да выходных сто пятьдесят рублей серебром. Деньги большие по тем временам.

Но до родной деревни Аким Кикин так и не дошёл: узнал от встречных людей, что мать его преставилась, загрустил. Решил помянуть матушку, присел на берегу Лембозера, где из него речка малая текла, котелок над костром соорудил, чтоб повечерять на пару со своею девчонкой. Штоф из котомки вынул…

Тихо на озере — ни малой волны, ни морщиночки. Тут звук какой-то из-под ивовых веток раздался: то ли пузырь донный лопнул, то ли ещё что.

— Бурчал кто? — спросил отставной солдат свою Милёнку (такое ей имя было дано от болгарских родителей).

Та головой мотает, мол, самой невдомёк.

— Что бурчало? — спрашивает в другой раз, и в третий: — Где бурчало?

— Я — Бурчало! — в ответ ему.

Выбрался на берег водяник. Здоровущий — на две головы выше самого здорового мужика, ручищи длинные, ниже колен, ладони с перепонками. На нём рубаха из рядна, пузо висит, сзади из-под рубахи хвост по траве волочится — гладкий, как у налима. Борода и усы зелёные, в них тина озёрная запуталась. Глаза круглые, навыкате, ровно у лягухи болотной, а голова лысая, шишком.

Другой бы христианин наутёк пошёл: котомку и котелок, и девчонку со штофом — всё бы бросил! Но Аким Кикин недаром на турецкой войне смерти в глаза смотрел.

— Ну, — говорит, — коли ты бурчал, так садись рядом. Садись рядком, да поговорим ладком! Выпьем водки. Матушку мою помянем…

Удивился водяник, что страх не берёт этого мужика. Сел рядом на коряжину, стакан с зелёным вином принял…

— Меня Акимом звать. Петров сын, Кикин, — представился Аким. — Шестнадцатого Ладожского пехотного полка солдат! В отставке по ранению.

— А я, стало быть, — Бурчало! Коли ты трижды меня так назвал, — отвечает ему водяник. — Быть мне теперь Бурчалом Акимовым!

Так они и познакомились. Поговорили, матушку Акима помянули по христианскому обычаю. И решил Аким Кикин в родную деревню не идти, всё одно не к кому, а построить на Лембозере мельницу водяную, с крупорушкой, зернотёркой и маслобойкой. Он в болгарских землях подсмотрел, как там мельницы хитро устроены, не по-нашему, вот и захотел такую же здесь поставить. Благо, что с водяником Бурчалом дружбу завёл и больших каверз от него не ждал…

Прошли года; у Акима Петровича Кикина мельница водяная работает: муку мелет, масло бьёт, горох лущит, — славная на всю округу. Милёнка выросла, красавицей стала, но всё ни слова не говорила. Аким, хотел было ей женишка подыскать из местных, но она воспротивилась. Показала знаками: мол, ты мне мужем будешь, только за тебя пойду. Что поделать? Венчались они законным браком по православному обычаю. Родила Милёнка Акиму Петровичу первую дочку и заговорила сама собою. Сначала песни дочке мурлыкала, без слов, а потом и словами говорить стала.

С водяником Бурчалом, соседом своим, они дружно жили, не ссорились: Аким Петрович то петуха ему чёрного подарит, то козла той же масти приведёт. Иной раз и бражки вдвоём выпьют — по скоромным дням не возбранялось.

Поселился Бурчало Акимов в омуте возле мельницы и своё хозяйство вёл. Но с другими

христианами он не знался, а любил пугать народ. В тихую ночь вдруг зашлёпает своими ладонями перепончатыми по воде,—да так звонко! Страх берёт, и волосы на голове шевелятся. Мог и злобствовать Бурчало Акимов, мог человека за пятку ухватить—если тот не по времени, после захода солнца, купаться надумал, а креста с себя не снял! Но до смерти редко топил: попугает, пощекочет и отпустит.

Много чего рассказывали люди о водянике Бурчале Акимове; рассказывали и знаменитую историю о том, как он для «императорской ухи» рыбу поставлял…

Как-то летом отошла дневная жара, и под вечер выбрался Бурчало на тихий берег за Марушкиным болотом. Взгрустнулось ему—или просто задумался? Присел он на любимую коряжину, мурлыкал себе под нос, костяным гребнем тину и водоросли от усов и бороды счёсывал,—вдруг затренькал невдалеке колокольчик.

Вылетела на берег двуколка со становым приставом Ипполитовым. (Должность в те годы была—вроде начальника РОВД по нынешним временам.) Слева и справа от двуколки два урядника верхами, вроде нынешних участковых, Семён Ермилов да Пётр Кузя. Ипполитов ещё издалека что-то на них орал да прикрикивал.

Бурчало от греха подальше убрался—растаял в воздухе, только гребень под коряжиной лежит.

Ипполитов с двуколки соскочил, кругами забегал:

— Смотрите мне! Чтоб по чести было! Сам губернатор обещался почтить пикник своим посещением! Чтоб улов на славу был! Тройную императорскую уху! С палией! С лососем!—У станового пристава сабля по голенищам стучит, под усами тонкими два золотых зуба блестят. Сердитый больно.—Чтобы сом был на три пуда! А то я… Я таких чертей на вас напущу!

Урядники Семён Ермилов да Пётр Кузя спешились. Кузя наклонился к начальнику, попросил шепотком:

— Ш-ш-ш! Ваше благородие! Тиш-ша! Да нешто мы… Водяник в наш-шем Лембозере, Бурчало, ш-шибко нравный. Не любит он, кода громко бают. И ругаются. Всё от него: и улов, и рыба! Он токо Акима Бурчалова слухаеть.

— Кто таков?—взвился становой пристав.

— По пачпорту Акимка, мельник местной. Петров сын, Кикин.—пояснил Ермилов.

— Бурчало?! Кто таков? Беспаспортный? Бродяга? Вор?—аж подпрыгнул на месте Ипполитов.

— Ш-ш-ш! Ваш-ше благородие! Ну—не любит он, кода ругаются. Водяник он. Порядок на Лембозере блюдёт. Хозяин, значится. Испокон веку здесь…—Кузя всё шепотком, шепотком старался говорить.

— Три тысячи чертей! Двадцатый век на носу, а мои полицейские в леших верят? Кем же мне приходится командовать? Идиоты! Быдло! Тупые скоты!

— Осмелюсь доложить: Бурчало не леш-шой, а чистый водяник.—поддержал своего приятеля урядник Ермилов.

— С лешим он друголетошный год разругался. Кода ему в карты Федосьино болото проиграл. Топерь Бурчало токо с мельником, Акимом Бурчаловым, и знаеться.

— Другие хрестиане яго и зреть не могут. Потому и зовут их: Аким Бурчалов да Бурчал Акимов. Чисто братья.

Становой пристав вроде как успокоился немного, портсигар серебряный вынул, папироску прикурил—да как ткнёт Кузю папироской в нос! Чуть усы ему не подпалил.

— Так!!! Ты!!! Рысью за мельником! В шенкеля! В шенкеля!—и к Ермилову на одном каблуке повернулся:—А ты за мужиками! В деревню! Подводы сюда, палатки, припасы! Всё!!! Быстро! Чтоб к утру всё поставили. Столы и лавки сколотили! Лодки пригнали! Сети закинули!

Повскакивали урядники на́-конь, погнали начальственные приказы исполнять.

Ипполитов один на берегу остался, ручонки в бока упёр—папироска во рту так и прыгает! Подошёл он к Бурчаловой коряжине, увидел его гребень, а гребень размером с детские грабельки. Опять неожиданно обозлился, истоптал гребень каблуками:

— Иди-оты! О!!! Быдло сермяжное!

Стали подъезжать коляски с припасами и телеги с пилёными досками, слегами и большими плетёными корзинами. Работники собрались. Поставили шатры рассадистые, столы и лавки на козлах сколотили, две купальни полотняные для дам и господ соорудили на самом берегу.

Мужики пригнали лодки из Лембозера, приготовили сети, мерёжи,—невод на берегу расправили и вновь уложили. Отставной солдат в фуражке без кокарды водрузил на пару с урядником Семёном Ермиловым высоченный шест для государственного флага. Повсюду суета, шум, стук топоров.

И повсюду мелькала фигурка станового пристава Ипполитова в белом парусиновом кителе. Он махал руками, указывал, грозил кому-то кулачком. Только один его визгливый голос раздавался на берегу—словно крику в становом было на пятерых человек!

А над берегом, по-над озером луна уж встала: бледно-жёлтая, круглая и большая—с тележное колесо. Белая ночь незаметно слизнула остатки летнего вечера. Озёрная гладь мир раздвоила: две луны, два неба друг на друга смотрелись, и лес островерхий на дальнем берегу раздвоился. Божья благодать на Лембозеро сошла!—только начальственный голосок всю гармонию царапал визгливо и настырно…

Недовольный Бурчало Акимов из-за тресты следил за суетой на берегу. Сам водяник по ноздри в воде сидел, не шелохнувшись, только пузыри изредка подпуская. Голова его, шишковатая и лысая, торчала из озера, словно камень прибрежный…

Вернулся наконец урядник Кузя, а за ним на телеге трясся Аким Петрович. В тот же миг к ним Ипполитов подлетел, заговорил быстро-быстро, нагайкой взмахнул.

Мельник с телеги слез, шапку степенно снял, стоял понурившись, пережидая вспышку начальственной активности,—мелкий ростом Ипполитов был едва по грудь матёрому Акиму и потому, наверное, всё подскакивал и подскакивал на одном месте, чтоб побольше пространства собой заиметь…

Отпрыгался становой, крик его приумолк—и Аким Петрович указал, где надо сети ставить, где мерёжи расправлять и откуда следует невод заводить.

Ипполитов в свою двуколку вскочил, к рыбакам ринулся, приказы насыпал и наконец в деревню направился. Отсыпаться.

Аким Петрович уздечку со своей кобылки снял, побрёл, прихрамывая, к берегу, поднял сломанный гребень, присел на коряжину, самокрутку скрутил и только хотел кресалом щёлкнуть, как из влажного зеленоватого воздуха воплотился рядом с ним Бурчало Акимов.

— Народ-то не пугай!—попросил соседа мельник.

— Не видят они меня. Не волнуйся. Угости и меня табачком!

— Кури, Бурчалушко!—улыбнулся Аким Бурчалов и кисет ему подал.

— Нет уж, сам и скрути. Знаешь же, что неловко мне, пальцы-то с перепонками.

Покурили они не спеша, и мельник принёс из телеги штоф да пару стаканов гранёных. Выпили по первому.

— Надо будет тебе новый гребень смастрачить,—разливая вторую порцию по стаканам, сказал Аким Бурчалов.—Ты шибко-то не серчай на плюгавенького. Его должность така—на всех ором орать.

— Экий он юркий! Ну ровно головастик! Только хвостика не отрастил. Ну я ему хвост-то вытяну!—погрозил водяник и водку в себя вылил.

Тут Аким Бурчалов прикинул о своём и стал водяника уговаривать:

— Не серчай, Бурчалушко. Прошу тебя: не серчай. И подпихни ты им сома из запасов своих. Не ровен час, заставят меня плотину срыть. Ведь без плану мельница строена. Мою плотину сроют—и тебя без родного омута оставят…

— Лады… Наливай ишо, что там осталось. Не пришёл ишо плюгавому его час. Топить не буду. Но…

…Со стороны могло показаться, что тронувшийся разумом мельник с воздухом чокается и сам с собою беседу ведёт.

День для торжества выдался как по заказу: лёгкий ветерок мошкару и гнус от столов и палаток отогнал, скорый дождик воздух омыл. Столы были накрыты, под салфетками угадывались закуски и ведёрки со льдом под шампанское. Всё было готово для пикника.

Стали съезжаться гости: и в колясках рессорных, и на таратайках, и верхами. Появились дамы в кринолинах—пёстрые и воздушные, как бабочки, и с кружевными зонтиками в руках. Господа чиновники и господа офицеры вальяжно друг с другом раскланивались, господские детишки в матросках сразу же запустили в небо воздушного змея.

Прибыл и сам губернатор—статный седой красавец в золотых эполетах,—как на картинке! Становой пристав двумя руками взмахнул, дирижируя встречу,—и слева, из патефонного раструба: «Боже царя храни!..»—захрипело. А справа, с приплясом: «К нам приехал, к нам приехал!..»—цыгане вышли цветастые.

Урядники Семён Ермилов да Пётр Кузя на флагштоке российский флаг вздёрнули. Господа чиновники в единый миг все разом засверкали на солнце лысинами и проплешинами, а господа офицеры во фрунт вытянулись, честь государственному символу отдали. Всё—как положено!

Подошли к берегу лодки рыбачьи, мужики стали вытягивать корзины с сёмгой, окунями и палией. Общество налюбовалось уловом из сетей и мерёж. Дам и господ сменили около корзин повара и кухонные мальчишки.

«Купаться! Купаться, господа!»—весёлые возгласы, смех. Дамы и господа по купальням разделились…

Ипполитов по-хозяйски весь берег оглядел: не нужно ли где распорядиться? Нет, всё отлично идёт своим чередом. Становой пристав последним в мужскую купальню зашёл, разоблачился до полосатых трико в обтяжку, плеснул на себя водой—тут из камышей выплыла молодая крестьянка с золотыми волосами. Смутилась при виде господина пристава, улыбнулась загадочно, хихикнула как бы испуганно. Ипполитов нырнул за ней, пытаясь ухватить,—волна от купальни дальними кругами разбежалась по спокойной воде…

Наплескавшись, дамы и господа выбирались на берег, долго звенел смех из-за полотняных стен купален.

— А где же сом, господа? Обещанный? На три пуда?—громко вопросил губернатор, когда общество вновь собралось к столу.

— Сейчас-сейчас, ваше сиятельство! Сейчас!—поспешили к лодкам рыбаки.

Вывели мужики невод на всю загубину, с песнями вытянули на берег тугую мотню с рыбой и тиной, выпростали сома плоскоголового и усатого под пять пудов весом.

Толпа завздыхала на разные лады: «Чудо!»—«Истинное чудо!»—«Словно кит!»—«Императорская уха будет!»—«Истинно!»

Сом ошалел от страха, глаза закатил, даже хвостом не шевельнуть не может,—в пасти у него под усами что-то блеснуло, как слюной…

Сома на огромном серебряном блюде водрузили посреди стола,—сразу же бутылкам с наливками, настойками и водкой от Смирнова стало тесно рядом с ним. Защёлкали тут пробки от шампанского, зазвенели бокалы и рюмки.

Восторженный молодой чиновник руки к небу возвёл:

— Этот сом войдёт в анналы! О нём в наших «Губернских ведомостях» надо поэму написать! Стихами Гаврилы Романовича Державина!

Губернатор радостным взором общество окинул:

— А где же наш становой пристав? Что-то я его не вижу! Где же Ипполитов, господа? Его слава, ему и потрошить!

Пехотный штабс-капитан усы подкрутил, голос подал:

— А я вот слышал, ваше сиятельство, что перед ухой сома надо обязательно высечь. Хорошенько высечь!
— Зачем?
— Какое варварство!
— Странный обычай!
— Дичь! К чему это?
— Сома? Шомполами? Сечь?
— Конечно же, не шомполами! Лозой, вицами! — не сдавался штабс-капитан. — Положено… По уставу императорской ухи положено. От порки сом огорчится, а от огорчения у него печень увеличится! В Императорской ухе главное: печень сомовья!

Урядники Семён Ермилов да Пётр Кузя вежливо подступили к господскому обществу с пучками прутьев:
— Их благородие господин становой пристав Ипполитов расстарались!
— Пожалуйте! Ваше сиятельство! Свеженькие! Их благородие приказал и приготовить на такой случай…

Пикник на взлёте!

Цыганский хор заходится в «Барыне»!

Господа офицеры и господа чиновники пьют шампанское и наливочки, дамы щебечут и веселятся, губернатор произнёс здравицу обществу, похристосовался с вице-губернатором и благочинным, и все гости по очереди подбегали с прутьями к сому и секли его от души. Даже сам губернатор к такой забаве генеральскую руку приложил: взмахнул вицею, как саблей! — и рубанул по сому с оттяжкою!

Особенно довольны мальчишки — как же! Случай такой редкий! Не тебя за шалости по попке наказывают, а ты сам сома сечёшь! Надо же! Так ему! Так ему! Так ему! Голохвостому!

Сом извивался и дико пучил глаза.

К серебряному блюду с сомом уже подобрался шеф-повар с длинным узким ножом в руке. Кончиком ножа он прочертил на жёлтом сомовьем брюхе косую линию над печенью, намереваясь следующим движением вскрыть пузо и вынуть печень…

Вдруг! — пушечный выстрел, фейерверк и конфетти взлетели в воздух, — дым цветной растаял, конфетти ветерок унёс — а на серебряном блюде посреди стола оказался полуголый становой пристав Ипполитов! Со свежей царапиной на животе, и с красными полосами на спине и ниже — следы усердия всего благородного общества по увеличению его печени…

Его купальное трико было разорвано в клочья на ягодицах. И не только на ягодицах! Жалкие лоскуточки даже срама не прикрывали…

Завизжали дамы от смущения, из-за стола повыскакивали. Губернатор бокал красного вина на свой белый мундир, на ордена и звёзды опрокинул! Офицеры и чиновники — кто поперхнулся, кто гогочет, кто свою супругу успокаивает. Шеф-повар содрал с себя белый колпак, на корточки возле стола присел — нож из его рук выпал. Хватает повар, хватает ножик в траве, а всё схватить не может — пальцы трясутся! С одним господским мальцом чуть родимчик от страха не случился — заколотил кулачками по воздуху:
— Уберите его! Уберите его! Уберите его! — кричит, остановиться не может.

Лишь цыганки оказались довольны скандалом и нагло смеялись из-за господских плеч, трясли монистом и звонко хлопали в ладоши.

Губернатор, с кроваво-красным пятном «бордо» на белом мундире, возвысился над столом, над голым приставом:
— Ипполитов?! Вы — негодяй! Как вы посмели?! Что за казарменные шутки?! Вы забываетесь!
— Да я, ваше сиятельство, сам в полном недоумении…

Губернатор, не слушая извинений, встал из-за стола, к своей рессорной коляске направился.
— Ваше сиятельство!.. Ваше сиятельство… — глотая воздух, взмолился с серебряного блюда Ипполитов.

Пикник оказался окончательно испорченным. Какая там императорская уха с сомовьей печенью?!

До неё ли?! Ведь офицера чуть живьём не съели!

Добро бы, как сие издавна принято между коллегами по государственной службе, интригами, докладными записками и доносами чиновника «съесть» — а тут ведь в натуре живого станового едва не выпотрошили и чуть не сварили!

Скандал! А если до столичного начальства слух дойдёт?

Сердитые и голодные гости рассаживались по коляскам и таратайкам, не глядя друг на друга, и разъезжались по разные стороны, едва раскланявшись. Некоторые офицеры и чиновники — кто помоложе и поотчаянней — наскоро, не чокаясь, хватанули по паре рюмок водки «на посошок», и прихватили с собой в дорогу «сухим пайком» астраханского балычка да по бутылке прозрачной слезы от Смирнова…

Долго сидел на серебряном блюде становой пристав Ипполитов, полубоком сидел, на одной ягодице, — левая пострадала больше, до открытых ранок. Целебный холодок старинного серебра воздействовал на правое полужопие его пятой точки благотворно и умиротворяюще…

Становой пучил глаза, мотал головой и всё никак не мог прийти в полное сознание… Вероятно, от огорчения у него всё-таки сильно увеличилась печень.
— Вот, ваше благородие. Прикройтесь, — подал начальнику свою шинель урядник Семён Ермилов. — Прохладно на озере будет. Ещё и простынете вдобавок…
— Нравный наш Бурчало Акимов… Оченно нравный! — удручённо вздохнул урядник Пётр Кузя. — Ну не любит он, кода громко бают и ругаются… Очень не любит. Чуть что не по нём, так такое отмочит! Диву даёшься…

А в это время на Лембозере неяркое солнце уже клонилось к закату, и невдалеке от кромки берега торчал из воды странный гладкий камень — шишком, — и почему-то всплывали из-под него пузыри…

Марина Воронина

Барменша

1.

Губы парня ожесточённо двигались, корявя щёки, обнажая нечищеные зубы.
— Это братану, Серёге… Ты родился семнадцать лет назад, а теперь не знаешь, какой ты жизни рад: или смерть встречать под наркотой, или просто быть самим собой…
— Эй, хватит! Закрываемся!
— Такси Андрюхе вызови. Отвезёшь, за его деньги. Сама управлюсь.
— Задолбал.
— …Когда маленький был, ты не знал ничего, но теперь всё познал, и теперь ты больной, для тебя не проблема обмануть, кидануть, а задача одна — успокоить себя…
— Спать, Андрюша, спать. Потом дочитаешь.

Наконец бормочущего парня увели. Мария накинула тяжёлый крючок на дверь и пошла считать выручку.

На составленных стульях уже вытянулись Оля с Любой. Два часа передышки. Они будут спать, даже когда повара забренчат пустыми кастрюлями и когда привезут свежий хлеб, с грохотом кинув поддон на стойку. Юля, нещадно зевая, дополаскивает тарелки. Охранник повёз домой Андрея, невесть какой день переживающего смерть друга от передозировки. Хулиган — жуткое дело, а от потрясения другими словами заговорил: мама, дружба. До стихов дело уже дошло. Как бы следом не отправился, бедный…

Мария выключила свет, раздёрнула тяжёлые занавеси. Белёсый рассвет вползал в окна, напуская привычное ощущение неловкости за минувшую ночь. Безобразничали, безбожники? Безобразничали. Как всегда. Перерыв.

Хорошие у неё помощники. Повезло Марии.

Другая смена — та отвязнее. Девчонки, прихватив охранника и свою долю, исчезают, лишь только оботрут столы и расставят свежие приборы. Что случится с заведением до наступления дня — их не волнует. У кассы остаётся одна барменша. Чувство, Мария знает, не из приятных. Любой отморозок в курсе, что поутру в баре считают деньги. Взбрендится чего в башку — как остановишь? Тревожная кнопка — туфта. Менты всегда приезжают слишком поздно.

Пока ничего не случалось, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Но кто знает! С недавних пор Мария не ручается ни за что. Обожглась. Но команда её — уставшие девочки, сонный секьюрити, подвыпившая посудомойка, прикорнувшая у плиты, — хоть не ахти вояки, но постоять за себя сумеют, проверено.

Однажды их чуть не отметелили. Сами, конечно, виноваты.

Олю в тот день всё раздражало. А места в баре мало, кухня — сразу за барной стойкой. Когда девочки бегут с подносами, приходится вжиматься в стенку. И вот — Оля в зал, Люба из зала, разминуться не успели. Заказ с Олиного подноса полетел на пол, туда же рухнула и она вместе с обломанным каблуком. Свет в зале уже потушили, музыка гремела, вроде никто ничего не заметил. Матерясь, Оля подобрала лангет, кинула обратно на тарелку, велела поварихе заменить гарнир и в тапках той же поварихи пошла в зал. Уж Мария шипела ей: остановись, нельзя так, — но взбешённая официантка слушать ничего не хотела: сожрёт! Товарища этого не знал никто, весь в золоте, лысый, не простой, в общем, товарищ, а заказал зелёный чай и второе. Ни капли спиртного. Фу ты, ну ты, ножки гнуты, сразу разозлилась Ольга. Отнесла ему этот несчастный лангет, и только вернулась — зык в спину:
— Кто тут главный!

Сердце Марии ушло в пятки. Или мужик видел, что сделали с его заказом, или ему попался в тарелке мусор. Что одно и то же. Хорошо, хозяйка к тому времени ещё не подъехала. Когда её нет, главный по заведению — бармен.

Мария подошла к мужику, вежливо спросила, чем может помочь.
— Я вас, сучек, сейчас самих заставлю это есть!
— Извините-е!- возмутилась Мария. — Лёша, включи-ка большой свет! Какие претензии?

Мужик с отвращением зацепил с мяса волос и потащил вверх, демонстрируя претензию.
— Фу! Что это?
— Что?! Сама не видишь? Так я тебя харей в тарелку ткну, чтоб разглядела!
— Волос? Ну, знаете, мы здесь ни при чём. Это ваш волос! — отпарировала Мария, а сама руками так и замахала: ко мне, все ко мне идите!

Они окружили мужика командой, давай галдеть: чей это волос, да и волос ли, приличный мужчина, обхамил женщину, никогда ничего подобного здесь не бывало, ну не нравится — новый принесём, делов-то, извиняйте, всякое бывает, давайте жить дружно и так далее. Мужик не успевал слово вставить. Резко встал, оттолкнул Алёшку.
— Отп…ть бы вас, чтоб до конца жизни помнили. Жаль, некогда. Но забегаловку эту, — мужик посмотрел вокруг, — я ещё навещу.

Они тогда даже не поссорились друг с другом, хотя ежу понятно, что могло произойти, если бы

лысый рассвирепел. Отсмеявшись, Мария попросила девочек в её смену подобных экспериментов не устраивать. Официантки перешли на обувь без каблуков. А мужика через неделю ждать перестали — залётный, видать, был, в чужих краях сам о них забыл.

2.

Ещё одна ночь позади. Пьяная, дымная, совсем Марии не по возрасту. А натура? Она ж другого мира человек! В подобном заведении один раз и была, когда родственницу, бухгалтера из породы мелкого бизнеса, на пенсию провожала. В этом, кстати, в «Смаке».

Запомнилось, как официантки подворовывали тарелки с едой. Подбежит девочка менять посуду, тарелочку позабытую — царап, будто пользованную. Так бы и сказать: постыдись, жди, когда разойдёмся. Весь стол — твой. А после банкета, когда юбилярша достала припасённые пакеты, коробки и заботливо уложила в них всё, что оставалось ещё на столе, даже кружочки подсохших апельсинов, Мария догадалась — таковы правила: кто кому длиннее нос натянет. Вздохнула и стала помогать.

Своё пятидесятилетие она решительно праздновала дома.

— Что ты гробишься? — морщился Валера. — Позови людей в ресторан. Деньги те же, хлопот никаких.

— Ничего, я справлюсь.

Если бы Марии тогда сказали, что она однажды придёт в «Смак» проситься на работу, и кем — барменшей! — только бы улыбнулась немыслимой выдумке.

Она просидела в библиотеке тридцать пять лет! И ничего, кроме книжных рядов на запылённых стеллажах, знать не знала.

Не умела печатать на машинке, не умела пользоваться мобильником. Когда годовые отчёты о числе посетителей, проведённых выставках, встречах с читателями, платных услугах и прочей никем не проверяемой шелухи коллеги уже набирали на компьютерах, она по старинке исписывала десятки страниц библиотечными печатными буквами, как учили. Признаваться, что компьютера боится, не хотела.

Слишком быстро обновляемое время её пугало. Голова начинала болеть, едва приходилось во что-то вникать. Книги она давно не успевала читать. Новые поступления тут же раздавались своим да нашим, о содержании модных новинок узнавала от читателей, исподволь, не признаваясь, что раскрывала книгу, чтоб только поставить штамп.

Любила ли она библиотеку? Не знала. Предложила подружка составить компанию на экзаменах, — она и согласилась. Даже думать не пришлось, куда пойти учиться после десятилетки.

Никакой мечты никогда не имела. Что окружающие скажут, то и делала. Удобно, хоть и жалко бывало прятать поглубже собственные желания. Помнится, очень хотелось во время школьных турслётов участвовать в соревнованиях по ориентированию. Но её всегда ставили кашеварить. И она так старательно выполняла ненавистную обязанность, что за несколько дней не успевала не только поучаствовать в походной круговерти, но даже послушать лес.

Как бы Мария ни поступала — вечно напрягалась: а как это оценят другие, да понравится ли им, да не станут ли осуждать. Ещё прежде, чем предложат, торопилась делать то, чего от неё, как ей казалось, ждали. На танцы — так на танцы, бойкот однокласснице — так бойкот. Тихо, вежливо, не решаясь принять сторону меньшинства и тем более — поступить по-своему.

Когда заболела любимая бабушка, а мама фыркнула: наконец-то, чужой век заедает, самой, поди, надоело — двенадцатилетняя Маша не посмела заступиться. Как мыла пол, так и продолжала, головы не подняв. Старуха тихо плакала. Лишь когда мама ушла, внучка позволила себе подойти, обнять, «я тебя обожаю» — прошептать. Ни словом не обмолвившись о том, что ляпнула мама. Бабушка тоже ничего не сказала.

А ведь мама не была злой, и Маша знала наверняка, что если бы одёрнула тогда родительницу, бабушка не решила бы умереть. Но подумав, что надоела всем за 93 года, старушка легла в постель, отказалась есть-пить и через две недели скончалась.

Вспоминая, Мария плачет до сих пор. Дороже бабушки у неё никого больше не было. Но и до собственной старости она не сказала матери, что та была не права. Пронесла осуждение, как замшелое Кощеево яйцо: и вскрыть боясь, и таскать устав.

Постоянные усилия делать не то, что ты чувствуешь, всем угождать и везде успеть, любить нелюбимого мужа, не уметь никого выслушать и понять, зная при этом, что напряжённую молчаливость люди принимают за умудрённость, — превратили Марию в усохший манекен. Она забыла, как звучит её собственный смех, а плакать было некогда и не с кем.

Оставалось делать вид, что жизнью она довольна, как никто другой, а сама втайне мечтала о будущей пенсии. Там, освободившись от людского гнёта, она станет лелеять внучков и наконец сможет спокойно гулять по городу. Просто так, чтобы увидеть его древнее лицо.

Но дождаться заводи ей не удалось. Устоявшая жизнь вдруг взъерошилась так, что перестала походить на саму себя.

Всё началось, когда стройные шеренги книг перестали держать ряд. Мария с недоумением замечала, как строгие тома ни с того ни с сего заваливались друг на друга, менялись темами, в отделе музыки непонятным образом оказывались потрёпанные книжки классиков, а в краеведении торчали чёрные корешки Б. Акунина. Проследила за читателями — не они. Значит, сами, ночью?.. Пока гадала, не заметила, как библиотеку принялись уплотнять: дому культуры, в котором она располагалась со дня появления, потребовались средства на передвижения в бурном море самоокупаемости. С мам-пап юных танцоров не разживёшься, придумали сдавать помещения в аренду. У библиотеки первой отобрали книгохранилище и приспособили в комнату для приезжих. Из окна билетной кассы

потянуло запахом сапожной дратвы. Малый зал, куда старики собирались послушать детсадовцев да поплясать под гармошку, а днями репетировали «Ивановы дочки», отдали в пользование коробейникам. Теперь, на фоне забытого картонного самовара, там продавали то шубы, то самоцветы, то расставляли клетки с заморёнными обезьянами. «Ивановы дочки» умолкли, разошлись по квартирам. Всего-то семь певуний!—махнули вслед рукой.

Книги из хранилища Мария перетащила в библиотеку. Связанные стопищи громоздились в проходах, стояли вдоль стен, жали и печатали синяки школьникам под столами. Читатели теснотой не возмущались, жалели библиотекаршу. Та стыдилась.

Возмущение и боль за порушенные святыни не оглашала, боясь показаться смешной. Попыталась выговориться домашним, да не сумела, только охала, пока не надоела даже дочери-подружке.

— Ма, хватит про библиотеку! Кому она нужна?— морщилась та.

Постепенно, друг за другом, посыпалось в тартарары всё, чем жила Мария. И сама она тоже. Если бы это произошло лет на двадцать раньше, она, может, и обрадовалась бы, но начинать новую жизнь в пятьдесят два года…

Потом её уволили из системы, предложив дотянуть до пенсии вахтёршей в доживающем доме культуры. Не позволили даже сделать опись книжного фонда.

— Ой-ей-ёй! Кому нужны ваши книги! Никто не читает эту макулатуру! Библиотека закрывается раз и навсегда.

— Но куда вы денете фонд?

— Этот? Полтора рубля за килограмм. Сколько тут? тридцать пять тысяч? А что, неплохо заработаем. Закрываемся!..

Потери она уже не успевала считать.

Ещё распихивая связки по углам, услыхала о молодой любовнице Валеры. За большое несчастье весть не посчитала. Что поделаешь, видный мужчина, пусть позабавится, от неё не убудет. Что у Валеры имелись любовницы и раньше—догадывалась, не слепая. Что с того? Дома он вёл себя как нормальный муж и строгий отец. А ей большего и не надо. Главное, все знают: Мария Павловна Скворцова—жена уважаемого человека, какого-никакого руководителя. Не стыдно на людей смотреть. И неважно, что ещё десять лет назад не ему, а он подгонял «Волгу» к подъезду шефа. И что она ночи просиживала над его курсовыми неизвестно какого института, потому что шеф сказал:

— Валера—вуз! Хватит крутить баранку. Мне нужны свои люди на должностях.

Валера вылез в начальники—умница, сумел, теперь так в роль вошёл—хоть шарахайся. А у Марии задача одна—обихаживать. Тыл блюсти. Она старалась как могла. Даже костюмы его в химчистку не сдавала. Всё сама, сама. Вся Валерина элегантность—её рук дело. Какая молодуха сможет без продыху шить, стирать, чистить, гладить? И Марии казалось, муж это ценит. Он никогда не дул губы на заломанный воротничок или неровные стрелки на брюках. Одевался, не глядя—знал, что всё идеально. А когда стрелки вышли из моды, Мария научилась так отглаживать мужнины штаны, что брючины с утра до вечера лежали на ботинках красивыми мягкими складками.

Когда библиотеке она оказалась не нужна, а Валера открыто обзавёлся любовницей, не пряча свою победу, она всё равно не пала духом. Да, огорчительно. Но всё-таки не конец света. Переможется. Перетерпим.

Но корабль всё кренило и кренило. Бездна уже заглядывала за борт чёрным ожиданием.

3.

Барменша аккуратно сложила купюры. Почти тысяча. Нервы чуточку, по привычке, трепетнулись. Как в первый день, когда, сверив по чекам выручку, рассчитавшись с девочками, она обнаружила, что её доля составила не более и не менее, а триста рублей. Немыслимые деньги! Ей никогда не платили столько за раз. И это—сверх заработка, обещанного в конце месяца! Чудо…

Но—не своровала ли ненароком? Разве ей давали чаевые?.. Страх, что сейчас её разоблачат, догонят, отберут деньги и опозорят на весь белый свет, не позволил барменше взять эти три сотни. Она завернула их в салфетку и положила под стекло. Спросят—вот они, дожидаются.

Чаевые дожидались её двое суток, до следующей смены. Напарница, сдав хозяйке кассу, спросила:

— А что тут спрятано?

— Что?—испугалась Мария.

— В салфетке. Деньги какие-то. Твои? Или посетители забыли? У меня никто не спрашивал.

— Ах да… Забыли. Придут, наверное.

Мария сунула деньги в сумочку. Значит—мои, подумала она, не понимая, радоваться или нет. Наутро было ещё триста, потом ещё, и Мария почти привыкла к добавкам, хотя бояться их не перестала.

Про её первую ночь в «Смаке» говорили: повезло, как утопленнику. Впереди маячили выходные, и в бар набилось столько народу, когда даже опытная обслуга, сбившись с ног, готова отказаться от навара, лишь бы в себя прийти. Когда запирают дверь и ждут, что толпа рассосётся по соседним заведениям. Но «Смак» не то место, где отваживают клиентуру.

Она ту смену выдержала. Значит, победила? Во всяком случае, хозяйка, прощаясь, сказала: жду через два дня, не подведите. Если бы Мария не явилась, все бы посмеялись беззлобно и понятливо, на том случайный эксперимент и закончился бы. Но не за тем Мария страхов натерпелась, чтобы спасовать после первого испытания. Вы ещё не знаете, какие они, старухи! Погодите в утиль списывать!.. Но ночь своей новой жизни она запомнит надолго.

В шумном бедламе Мария плохо соображала, как записывала на огрызках бумаги заказы, разливала напитки. Судорожно молила: только бы не просили сделать коктейль! Пальцы дрожали, нажимали не те кнопки, калькулятор врал, ей приходилось

складывать и вычитать цифры столбиком—считать в уме она никогда не умела.

Толпа ждала—кто презрительно, кто со смехом. Эй, старая, быстрее не можешь?—покрикивали нетерпеливые. Официантки делали завсегдатаям большие глаза: заткнитесь, мол, она новенькая. Вообще—лузер, имейте понятие. Никуда ваше пиво не денется. Девчонки очень ей тогда помогли. Стояли рядом, раздавали направо-налево стопки с водкой, бутылки с пивом, ссыпали на тарелки орешки и чипсы, с резким хрустом разрывая пакетики.

Мария от страха что-нибудь напутать едва держалась на ногах.

К одиннадцати вечера поток иссяк, но девочки разочаровали: после полуночи хлынет новый. Ушли те, кому требовалось заправиться алкоголем, а придут те, кому хочется гулять, вот тогда и начнётся настоящая ночь. Передохни…

Откуда библиотекарше было знать, что «Смак»—одно из самых злачных мест в городе? Что молодёжь здесь не просто тусуется, но приходит с намерением оторваться по полной, начудить? Что именно сюда, например, заваливаются самые отвязные гаишники тратить взятки, выуженные с водителей?

Ей придётся ещё полюбоваться, как плюгавый, зализанный милиционерик будет вытаскивать из кармана брюк пачку разноцветных купюр, стянутых резинкой, вырывать из неё стольник и кричать: сигарету!

Бумажка плавно проплыла в воздухе, а гаишник уже ушёл к столику, где официантка услужливо расставляла тарелки. Мария, поймав купюру, решила, что сигарету надо поднести. Она выставила на стойку крохотный серебряный подносик с сигаретой и сдачей, но Оля, проходя, быстро его скинула.

—Убери. Он уже забыл. Сейчас мы его раскрутим…

—Расплатитесь, пожалуйста, заранее,—повисла она с блокнотиком над стражем.

—Неси заказ, бля!

—Готовится, на плите стоит. Нет, серьёзно—люди собираются, мне некогда следить. Заплатите по счёту и празднуйте.

—Курвы, бля. Кому не верите?! Мне не верите?—милиционерик разорвал резинку.—На, гляди!—и бросил пачку в лицо Ольге.

Деньги разлетелись по залу. Оля с подоспевшей Юлей поспешно собирали их с пола, подлезая под столы, совали в карманы фартуков, бубнили:

—Вы платите, а не размахивайте. Денег мы, что ли, не видели?

—Курвы. Сколько там за мясо?

—Шестьсот семьдесят.

—Ни х… себе!

—Так ведь самое дорогое, что есть в меню, берёте! Проверьте, записано.

—Бери тысячу. На х… сдачу!

—Гуляйте, товарищ милиционер! Если что—мы рядом!—и с набитыми карманами девочки подбежали к Марии.

—Спрячь. Утром разберёмся. Если мент просечёт про деньги—отдай. Скажи, выронил, а мы подобрали.

Потом девочки позвонили в дежурную часть и обеспокоено сообщили, что в «Смаке» опьянел их коллега:

—Люди смотрят. Может, вы его заберёте? Сами знаете, какая публика к нам ходит. Как бы чего не случилось…

Наряд живо забрал уже невменяемого сотрудника своих органов, а деньги достались бригаде—каждому чуть не по недельному навару. И так, сказали девочки, уже третий раз. Сколько же грабастают остальные, если этакое чмо счёту деньгам не знает? Милиционерика ненавидели. Когда он перестал появляться в баре, никто не пожалел.

4.

После увольнения из библиотеки Мария решила, что дождётся пенсии дома. Оплакав обиду, подумала, что так даже лучше: не надо бегать исполнять пустые обязанности, доказывая при этом, что её профессия необходима обществу. Она давно разочаровалась в своей работе, особенно после того, как в библиотеку устроилась некая девушка и за полгода подвела черту: то, что делают они,—преступление.

Заведующая не узнала, кем трудилась девушка раньше—было всё равно. На заработки за кордон укатила прежняя соратница, и требовалось просто восполнить освободившуюся клетку в штатном расписании. Но девица та, увидев, как часто и подолгу в библиотеке пьют чай с приятельницами, как суетливо торгуют московскими кофточками, пока редкие посетители отыскивают на полках какое-нибудь чтиво, буквально покрыла всех презрением. Лучше, сказала, совсем бы заведение закрыли, чем превращать его в эшафот для убийства времени. Так и сказала. Мария долго возмущалась и насмехалась вслед вместе с обиженными друзьями библиотеки. А в душе знала: девушка права.

Читателей приходило всё меньше, новые поступления состояли из пары-тройки глупых детективов. Когда в библиотеке стали спрашивать сборник пересказов романов русской классики и заведующая системой посоветовала Марии Павловне обязательно приобрести сборник («на рынке, я видела, продавали»), у Марии совсем опустились руки. Если уж они, носители книжной культуры, станут вместо нормальных книг выдавать читателям подобную писанину—это каюк.

Зачем она вообще здесь торчит? Со своими несчастьями она давно поглупела, но не настолько, чтобы перестать понимать, зачем существуют библиотеки и книги в них.

Всё, хватит переживать. Буду сидеть дома, завтракать, когда хочется, валяться на диване и читать, наконец-то—читать! До боли в пояснице. Навёрстывая упущенное, возвращая себе покой и забытые книжные переживания. Шестой десяток лет. Она не нарушила ни одного правила игры: детей вырастила, муж в порядке, дом—полная чаша, квартира просторная, рыбки аквариумные.

Мария не успела даже выбрать книгу. Колесо прежней жизни стремительно заскрипело под гору, рассыпаясь в труху.

У дочери где-то украли сумку. С её привычкой всё своё носить с собой, это обернулось трагической потерей документов, нескольких тыщ долларов (откуда у Катеньки в сумке тысячи долларов?!), ещё каких-то бумаг, из-за утери которых дочь буквально бросалась на стены. Мария не узнавала ребёнка. Катенька все двадцать пять лет разговаривала шёпотом, не то чтобы в ярости бранить матом и родину, и город, знакомых и незнакомых людей. В одночасье вдруг собралась и укатила, сказала — в Москву.

— Меня не жди. Вернусь не скоро. Звонить буду сама.

Когда поезд тронулся, она прокричала из-за плеча проводницы:

— Мамочка! Ты мне очень нужна! Но потом, потом! Что бы ни было — дождись меня!..

Мария даже не заплакала. Ничего не понимаю, ничего не понимаю, твердила она обратной дорогой и думала, что остались ещё сын, муж, мама, чьи капризы следовало выполнять. Дождись? Господи, разве она никогда не ждала? Разве было у неё за душой что-то ещё, кроме интересов семьи? Ни одной близкой подруги! А почему? Потому что на дружбу не хватало уже сил и времени. Но главное — времени, этой непонятной субстанции, в которой все жили, а она — в суете — ни ощутить, ни разглядеть не могла.

Внешне ей удавалось всех обмануть. Моложавая, благополучная. Всегда сдержанна, спина прямая, руками зря не машет. Узкие юбки, узкие свитерки. Резкое белокурое каре с низкой чёлкой. Чёткие линии подкрашенных глаз. Неизменные шпильки от десяти сантиметров и выше.

Никто не верил, что её женское время на исходе. Многие подозревали бурные адюльтеры на стороне.

А у неё одна слабость и существовала — шпильки. Не могла без них. Она и Катю научила ходить исключительно на каблуках: чем выше, тем лучше — пусть завидуют!

Вечером Мария сбрасывала туфли с уставших ног, и тут же неуклюжие ступни по-медвежьи заворачивались внутрь, а попа отклячивалась, провисали щёки и никли плечи. И только высота возвращала натянутость тетивы, выпрямляла спину и втягивала живот.

Плохо обстояло с маникюром. От стирки-готовки ногти крошились, а от возни с фолиантами в окаёмы набивалась пыль и мучили заусеницы. Руки были некрасивы, в дорожках взбухших вен.

5.

Солнце слепило непомерно. Но разогреть ночную стылость пока не успело. Мария на ходу растёрла замурашенные предплечья. В дневной плавильне и в голову не приходит захватить кофтёнку с рукавами. Потом мёрзнешь.

Всегда так: живёшь и думаешь маленьким умом, большой припасаешь для серьёзного случая. А он не приходит и не приходит. И вдруг ты догадываешься, что минувшие дни — это и была череда серьёзных случаев, а то и вех судьбоносных, но маленький ум всё заглушил, оглупил, не позволил вглядеться.

Так произошло с Серёжей — воплощением её грёз о любви.

В животе сжалось от произнесённого имени. Или она просто подумала? Скрипнув зубами, Мария убыстрила шаг.

Она спешила в банк, пока не скопились во все окошки очереди. Сегодня срок очередного взноса. Если такими темпами погашать ссуду и дальше, с банком можно распрощаться за пару лет вместо пяти, отвязав долговую петлю.

Три тысячи долларов, которые Петя попросил найти, когда угробил чужую машину, казались такой немыслимой суммой, что Мария, оформляя кредит, знала: их всех загребут в тюрьму. На библиотечную зарплату в две тысячи рублей нельзя погасить даже проценты.

Отцу решили ничего не сообщать. Он бы нашёл деньги и без банка, но сказать — значило обречь семью на ежедневный скулёж и скандал. «Бездельник! — стал бы он выговаривать сыну. — Я в двадцать лет зарплату домой носил, а ты всё из нас тянешь. Тупица, неуч, материно воспитание!»

Петя, конечно, не совсем правильно себя ведёт. Не учится и не работает, только девушек на «Волге» катает. Она у него точно такая, как у главы районной администрации, номер на одну цифру отличается. Бумер — так зовут Петю друзья. Но разве это Мария потакает сыну, периодически снабжая его новой машиной? Вот и недавно обещано «Волгу» заменить наконец иномаркой. И разве это она отмазала сына от армии, когда Петя не только был уже призван, но даже учебные сборы проходил? Вспомнить жутко, как через неделю после отъезда Пётр постучался домой — сбежал. Взял и сбежал, не захотелось дальше жить в казарме. И ничегошеньки ему за это не было. Ни армии, ни наказания. Третий год раскатывает по городу как ни в чём не бывало. Трудно сказать, рада ли Мария была результату. Но если тебе, мысленно спорила она с Валерой, легче договориться с военкоматом, чем наставить сына на путь истинный, то молчи, пожалуйста. Вообще молчи, не вспоминай, что ты глава семейства и должен в кулаке держать всех. Мы и так помним, сами, пока ты создаёшь где-то свою другую жизнь.

Три тысячи долларов — это была их с Петей тягучая тайна.

К тому времени мама, никогда не унывавшая, неугомонная в стремлении видеть свет, стала вдруг жаловаться на боли тут и там. Потом и вовсе слегла. Не прошло и месяца, как весёлая женщина, до семидесяти лет имевшая кавалеров, превратилась в плаксивую развалину. Здесь не так, там не то.

Мария никогда никому не прекословила. Избави бог!.. Тем более — матери. Всё нагромождение капризов, указаний по лечению исполняла. Пришлось даже какой-то «чёртов камень» искать.

— Люди говорят — огромной силой обладает! Натрёшь порошку с него, посыплешь язву — и как рукой, никакого следа назавтра. Съезди, Маша.
— А что делать с этой кучей лекарств?
— Выпьется. Бабе Стеше отдашь.

«Отдашь! — молча возмущалась дочь. — Ты, что ли, деньги за них платила?!»

Мать с хрустом срывала с ног окрашенные сукровицей бинты.
— Ищи камень, Маша!

Нашла. Недалеко и был — час езды на автобусе да по лесу полчаса пешим ходом.

От остановки вглубь уводил нахоженный, утрамбованный жёлтой хвоей путь. Дробь дятла да радостные всполохи птичьего крика в кронах лишь подчёркивали окружающую тишину. Тропа постепенно сужалась, теряла строгую линию, заманивала в заросли.

Мария даже не догадалась подумать: а вдруг тропа оборвётся и оставит её в гуще папоротника наедине с поваленными корягами? Наступит ночь, а с нею — волки, куски отрываемого мяса… Не до сказок. Сказано идти — вот и идёт. И голову фантазиями не забивает. Главное — камень отыскать. Чтобы мама жалобами не изводила.

Скоро тропка вывела её на просторный взгорок. В конце заросшего травой поля рядком стояли старые бревенчатые дома. Деревню предваряла железная нога с вывеской: «Белоблядово».
— Ну и название, — удивилась Мария.
— Нормальное, русское. Испоганили народную речь, теперь удивляются. — В тени дома на лавочке сидел плотный молодой мужик в резиновых сапогах, длиннющей байковой рубахе навыпуск. Гладко выбритый рот блестел золотой фиксой. — Кого ищешь, красавица?
— Чёртов камень ищу. Мама болеет.
— А… По адресу, да. Присядь рядышком. Не бойся! Мы здесь без лихих людей обходимся. Был один — вывели.
— Куда вывели?
— В расход! — засмеялся мужик. — Не бойся, говорю. Фёдором меня кличут. Сижу вот, греюсь, жду таких, как ты. Непременно кто-нибудь следом явится. Вместе и пойдём тогда.
— За камнем?
— За ним, родимым.

Ждали недолго. На взгорке выросла кучка ярких спортивных костюмов. Гуськом двинулись за Фёдором.

Белая глыба, вроде известняка, торчала на задах деревушки, укрытая от взоров шатром из еловых лап.

На земле сидели несколько человек, пели под гитару что-то про васильки и колокольчики. Гитарист, зарытый по брови и плечи в спутанные льняные волосы, посмотрел на прибывших.
— Вот и друзья! Батюшка ждёт нас!

Начались какие-то хороводы. Мария так устала, что не удивлялась ничему. Секта? Пусть. Только бы дали вожделенный кусочек.

Она ходила вкруг валуна, взявшись за руки с чужими людьми, подтягивала незнакомые мелодии, улыбалась, когда её одобрительно оглаживали по плечу.

Наконец обряд завершился. Мужик с фиксой долотом отсёк от чёртова камня упругие осколки. Раздал гостям. Мария протянула сто рублей.
— Продуктами бы лучше. Нам обычно хлеб несут, варенья-соленья. Ладно. В ямку денежку положи, вон — рядом с батюшкой… Эх, городская, глупая. Камень-то и есть — батюшка наш. Разве не поняла?
— Поняла, как же, спасибо. У вас батюшка, у нас — матушка. Можно идти?..

О походе в Белоблядово она никому не рассказала — стыдно.

Порошок матери не помог. Ноги по-прежнему истекали бледной кровью, а старуха каждый вечер вручала новый список чудо-лекарств из телевизора.

Своей болезнью она окончательно превратила дочь в загнанную лошадь. Принеси то, не знаю что; сбегай туда, не знаю куда; сделай то, не знаю что. На последнем издыхании Мария бегала и приносила.

Она понимала, что мамины причитания губят их обеих, но не решалась проявить волю — положить старуху в хорошую больницу, обследовать, определить, наконец, что с ней происходит. Вместо этого, мечась между работой, семьёй, мамой, поставив крест на Серёже, она бестолково, но старательно выполняла её поручения.

Скоро мама умерла. В похоронной сутолоке Мария услыхала: залечила дочка…

6.

В «Смак» она пошла от отчаяния. Чувство утраты всего и всех было так пронзительно и тяжко, что мысли о диване с книжкой забылись, как сон. Дни напролёт Мария вышагивала по комнатам, смотрела тупо на пустырь за окном.

Слово не воробей, это так. Талдычила-талдычила, что хочет остаться одна, в тишине и покое, вот и осталась. А по правде — ничего она не хотела! Только внимания. Чтобы домашние, представив, каково им будет без обихаживания, ценили её хлопоты ещё больше. Но все сбежали. Отдыхай, ты этого желала. Никому твоя суета не нужна. Живи для себя.

Но что было за душой, чтобы рискнуть остаться наедине с собой?! Ни-че-го. Беготня, дёрганье, разговоры из пустого в порожнее, отмахивание от неудобных вопросов, шоры на глазах и затычки в ушах — вот её жизнь. Достойное содержание, ничего не скажешь. Пользуйся, если не противно, богатством собственной души, ничто не мешает. Все дела кончились. Нельзя даже съездить в деревню, чтобы отвлечься, копаясь на грядках: муж, прощаясь, забрал загородный дом, оставив старой семье квартиру.

Аквариум с немыми вуалехвостами хотелось разбить. Почему она не завела собаку или кошку? Почему боялась их вознёй побеспокоить детей, Валеру? А может, им бы понравилось, что в доме мешается мохнатое существо, требующее внимания и делящееся взамен своей любовью?.. Жила бы собака — Марии было бы теперь кому выплакать тоску.

Загнанную лошадь не останавливают. Ей медленно снижают темп, чтоб не сдохла. Мария за год лишилась всего, даже собственных страхов—перед кем и чего ей стало бояться?—и теперь неумолимо погружалась в предельно-гибельную пустоту.

Умереть, как бабушка? Стыдно. Катенька велела дожидаться. Приедет: где мама? Нету мамы. На чьём плече она выплачется?..

Надо что-то делать, делать, делать… И Мария вспомнила примелькавшееся на столбах объявление: «В кафе срочно требуются официантка, повар, бармен». Схожу! Кафе—это люди, это занятие, в конце концов.

Была бы она в порядке—не связала объявление с собой. Никакому кафе она никаким боком не подходила. Что она могла предложить—уставшая, неулыбчивая, растерянная, скучная? Такую тронь—рассыплется, лопнет, как мыльный пузырь. Впору в психушку на профилактику проситься, а не в сферу обслуживания. Но Мария не была в порядке, и потому набрала телефон кафе.

—Всех взяли? Как жалко… Бармен? А что, вы женщин берёте? Ну, если попробовать… Лет много—пятьдесят два.

На другом конце провода хмыкнули и замолчали. Потом неуверенно проговорили:

—Работа, знаете, непростая… А внуки не будут против ваших ночных смен?

—У меня нет внуков.

—Приходите, в общем. Поговорим на месте.

Её ни за что бы не взяли, но кафе катастрофически страдало от нехватки барменов. Местные мужчины подобной должностью пренебрегали. Бойкие барышни, доработав до первой обещанной получки, или не возвращались вовсе, или, сказав: а пропадите вы все!—демонстративно переходили в разряд клиентов. И уже от столиков, на весь зал, учили новенькую:

—Эй! Не мухлюй! Разливай мерным стаканчиком! И кофе-то полную ложку сыпь, полную! Не экономь, не своё, всё равно внакладе останешься.

Окружающие ржали. Новенькая ничего не понимала. А это была месть обманутых и обиженных несостоявшихся барменш.

Лишь по окончании трудного месяца, едва врубившись в тонкости обязанностей, работница узнавала, что мучилась напрасно, что её использовали, как кондом на пять минут.

В конце месяца администрация непременно вскрывала недостачу товара. С барменши требовали возместить ущерб за неизвестно когда разбитую посуду, за несходящиеся граммы алкоголя, пропавшие шоколадки, чёрт знает ещё за что. Та, естественно, отказывалась, поднимался ор и длился до принятия полюбовного соглашения: на этот раз никто никому не платит. Но в следующий… Одни уходили, другие оставались, чтобы доказать свою честность, а по истечении месяца ситуация повторялась. В результате барменши работали на заведение бесплатно, не считая чаевых. В конце концов, трудиться за подачки от клиентов отказывался любой.

Текучка в «Смаке» была устрашающая. Последние дни и ночи хозяйка сама стояла за стойкой, издыхая от усталости. Надо платить, хватит!—решила она сменить порочную практику, но платить уже было некому.

Явившаяся на разговор Мария вовсе её не обрадовала. Скорее, насмешила. Сразу хотелось спросить: женщина, вы немножко соображаете, что делаете? К нам такие если и заходят, так с дневного жару, в компании подруг, мороженым охладиться. А вы—на работу устраиваться! Вы хоть водку-то пьёте? Вы знаете, что такое—ночи со «Смаком»? У вас возраст—как печать на лице, ничем не сдерёшь. Смеяться же будут. Домой! К внукам, сериалам, плите с борщом!..

Но, думая это, хозяйка, двадцати трёх лет отроду, не могла не оценить умелого макияжа просительницы, свежей глади волос, костюма, явно не с базарного лотка. Стройная фигура и высоченные туфли, которые хозяйка сама носить никогда не умела, решили дело в пользу Марии. Пусть неделю простоит (надольше, посчитала, пришелицы не хватит), а она отдохнёт, отоспится. Там, глядишь, подвалит кто-нибудь более подходящий.

Мария выстояла за барной стойкой месяц. Потом второй. Начался третий. Касса сходилась копейка в копейку. Обвинить новенькую, которой шестой десяток лет, что в бутылке мятного ликёра не хватает пятидесяти грамм, а виски попахивает водкой, у администрации не хватало совести. Да и зачем, если с приходом Марии заведение стало чуть тише и чище? Плохо ли, что юные официантки наконец получили старшего среди равных и в охотку ему подчиняются?

А сама она, пообвыкнув, с удивлением обнаружила, что не чурается окружающего бедлама. Хотя её по-прежнему отвращали сцены, когда разгулявшееся сборище танцует, срывая с себя потные майки, размахивая ими над головами, разбрасывая по сторонам.

Ей не нравилось, что оглушительно звучит музыка. Шокировали проститутки и наркоманы. Краснела, когда просили продать один презерватив.

—Мать, присмотри за столиком, я сейчас вернусь,—говорил какой-нибудь пацанёнок и исчезал, с презервативом в руке, вслед за такой же молоденькой путаной.

Но она почти приняла этот мир, решив, что если он существует, значит, так надо. К тому же в чудилище с глупым названием «Смак» её реже стали посещать беспросветные мысли, и крах собственной жизни уже не казался концом света. Вот только… Если бы вдруг… когда-нибудь… в дверь вошёл Сергей… Мария всё бы ему объяснила, покаялась—теперь бы у неё нашлись слова, которых он так ждал, а она пожадничала произнести.

7.

Мария отдала в кассу банка очередные двести долларов и вздохнула с облегчением.

Теперь можно не спешить. Дома её никто не ждёт. Петя, хоть и никуда единственный из семьи не делся, но сутками пропадает неизвестно где или валяется в своей комнате—то с девушкой,

то один. Общение с матерью ограничивается сменой чистого белья. Не за кем даже посуду помыть.

Облака цветущих вишен и яблонь окутывали заборы. Невидимые птахи верещали в ветках, довольные обустройством. Рассыпанных по улицам тряпок, мусора, сухой травы, палочек хватило всем, гнёзда, большие и малые, чернели на стыках ветвей. Вороны, отложив на вечер собрание, копошились в высоких тополях, утаптывая место для кладки.

Мария наслаждалась остатками тишины. Город проснулся, готовился к бою с новым днём. Совсем чуть-чуть—и ни одной птицы не будет слышно в звуках суеты, стуках-бряках, шарканье, хлопанье, цоканье, завывании сирен, скрипах тормозов и прочем шуме города Дилова.

Старый, уставший городок с трудом удерживал навязанное ему звание центра окрестностей. Когда-то было крупное, добротное село Дилово. С началом советской власти его возвысили до ранга города. Расплодились чиновники, появились дома-муравейники. Поля коллективных хозяйств соперничали с обилием частных огородов. Соседство полусгнившей древности и безликой современности придавало городу нелепый вид.

Когда Советы испарились, город совсем было сник, но вдруг, как прыщи на немытой шее, полезли сверкающие стеклом магазины, банки, офисы, кафе и рестораны, и Мария не понимала: для кого они? Какие деньги предполагается тратить и копить гражданам, если промышленность в округе стухла, а угодья медленно, но верно распродавались погектарно неведомым лицам? Но на примере одного только «Смака», где еженощно пропивались огромные суммы, Мария видела: деньги у народа откуда-то есть.

Ну и хорошо, не ломала она голову. И дальше бы так, думала она, по утрам отправляя в кошелёк сотню-другую чаевых. Чувство, что всё однажды для всех плохо кончится, отгоняла подальше. Не её дело. Так человек старается не знать, что заражён паразитами, пока эта мерзость не вылезет наружу, напугав до инфаркта.

—Маша, тормозни!—послышалось сзади.

Мария оглянулась. Её догоняла Алла Сидоровна, бывшая коллега повыше чином—пока одна сушила кожу среди стеллажей, другая заведовала центральным отделом поступлений и распределения фондов. По возрасту её давно могли отправить на заслуженный отдых, но правильные знакомства ещё со времён советского дефицита уберегали Аллу от буйного ветра и сквозняков.

—Откуда и куда в такую рань?

—А вы?—не ответила на вопрос Мария.—На дачу собрались?

Под ветровкой торчал мощный живот Аллы Сидоровны. Туго натянутые спортивные штаны морщились в складках паха.

—Нет! Огородик недавно прикупила, в центре. Картошки, свежей на стол, хочу посадить. Да лучку, зелени для салата,—коллега кивнула на тачку, загруженную мешком с проросшими клубнями, лопатой, граблями, рулоном полиэтилена.—Дача у нас далеко. Поедешь, так сразу на несколько дней. А тут—всё под рукой. Сбегал, сорвал, съел. Ну, как ты?

—Что?

—Как отдыхаешь-то? Ой, я тебе завидую. Лежишь, наверное, днями, сама себе хозяйка. Никуда бежать не надо. Дурацкая всё-таки наша работа: люди уже по своим норам, а ты всё в библиотеке торчишь.

—Да, я уже не торчу.

—А что делаешь? Устроилась куда-нибудь?

—Так… Ищу.

—Ну, ищи, ищи! Найдёшь—мне скажи обязательно. Тоже, наверное, скоро уволюсь. Надоело. Лет пять, пожалуй, и хватит.

—А что не больше-то?—съехидничала Мария.—Вы ещё женщина о-го-го.

—Не дадут больше. И так уже… Кстати! Ты последний номер районки видела? Там статья про меня. «Библиотека—её судьба». Этот писал, Сергей Морозов. Ну, ты знаешь. Помнится, я его часто в твоей библиотеке видела. Он у тебя там читателем, что ли? Был, я имею в виду?

—Разве теперь упомнишь, кто был читателем, кто не был…

—Я ему, честно говоря, сама позвонила. Сергей Иванович, говорю, как хотите, а пишите про меня статью, а то эти молодые профурсетки совсем обнаглели. Смеют нас, ветеранов, учить работать! Ты сначала до моих годов доживи…

—Алла Сидоровна, простите, я спешу.

—Ну, бывай. Так если что найдёшь—звякни!

—Звякну, звякну. Всего доброго…—и Мария торопливо свернула в проулок, чтобы не слышать этот напористый голос.

8.

Жизнь свела их—словно наказание назначила: и не будет вам отныне ни покоя, ни радости, ни света, ни воздуха, а взвоете тоской лютою, гробовою. И ничем—ни аером, ни воздухом, ни бурею, ни водою дело сие не отмыкнете…

Их нечаянная встреча не предвещала никаких последствий.

Ну, праздник. Фольклорный, на огромной поляне за городом. Она—от отдела культуры, работает на подхвате. Он, само собою, журналист: бегает, фотографирует, интервью берёт. У края поляны автобус—для передышки участников, чаю-водки выпить, переодеться при надобности. Там они и столкнулись.

—Девчонки,—влетел он на подножку автобуса,—есть у кого батарейки? Сели, падлы. Диктофон не пишет!

Мария бросила чай, принялась искать в сумке неведомые батарейки.

—Ты чего суетишься?—удивилась подруга.—У тебя же нет никаких батареек.

—Так человеку надо.

—И что?

—Действительно…—Мария смущённо оставила сумку.—У нас нет, извините.

—Ладно, кумушки.—Сергей убежал.

Белая футболка вздулась пузырём от ветра.

—Худой какой…

— Зато прыткий. Этого Морозова все боятся, даже там,— подруга подняла вверх палец.
— За что?
— Умный и очень злой. Говорят, начальников не любит. Чего напишет — тут же скандал.
— А по виду не скажешь.
— Да уж — красавчик. Одни кудри чего стоят…

Вечером они возвращались с поляны, измученные праздником. Вдруг подруга тормознула:
— Пошли-ка в гости!
— К кому?
— А вот, к Морозову,— и она показала на окна первого этажа.— Он здесь живёт. Слышишь, музыка: гуляют! Познакомимся. Чего дома-то делать?
— А если прогонят?
— Нас? Не прогонят. Он на баб, говорят, падкий.
— Тем более. Заревнует какая-нибудь, космы повыдерет.
— Как хочешь, а я зайду. Гулянка, чувствуется, что надо! Скажу: пришла, мол, познакомиться. А там — по обстоятельствам. Давай, подруга, не куксись. Уйти никогда не поздно.

Так Мария попала в дом к Сергею. И в пятьдесят лет обрела любовь. Но что она с нею сделала за недолгий отмеренный срок — это обезуметь можно, как говорила бабушка.

С первого дня Мария не переставала себе поражаться. Откуда что бралось? Как вообще она могла оказаться в постели человека, с которым едва познакомилась?

Ведь он даже не настаивал. Потанцевал пару раз, а когда все стали расходиться (подругу ещё раньше увёл кто-то из гостей), сказал: подождите, я вас провожу. А потом просто подвёл к кровати, сдёрнул покрывало и кивком показал: ложись. Ну и… всё остальное… До утра. Всю ночь они смотрели друг другу в глаза. Не отрываясь. Молча. Словно понимали, что это конец: прежняя жизнь оборвалась, а новая так и не склеится. И ничем дело сие не отмыкнёте… Никогда она не видела, чтобы мужчина столько плакал.

Что с ней произошло?!

Почему, зная уже, что любит, зверски, ненасытно любит, изводила Сергея неопределённостями, обманом, нарочитым пренебрежением? Назначала встречу — и не приходила. Мурыжила его весь день в библиотеке, но в конце концов вызывала сына и ехала с ним домой, а Сергей оставался один у запертых дверей — недоумевающий и обиженный.

Она ни разу не сказала ему: люблю. Он ждал. Потом спросил. Потом попросил: скажи. Нет, ответила она. Почему? Ты меня не любишь? Не могу произнести. Тогда напиши, вот ручка, пожалуйста! Нет, нет, нет.

Он застыл как мёртвый. Она легла, накрыла его телом, стала смотреть в глаза. Прочти — там! Он отмяк.

Но больше об этом не заговаривал, хотя сам осыпал её и словами, и стихами: любимая, самая, я знал, я знал, моя… Она обнимала его молча.

Со стыдом вспоминала, как по-новому повела себя — после уже десятка ошарашивающих свиданий: даже не обсохнув от любовных утех, в момент отрывалась от его горячего тела и принималась деловито одеваться.
— Куда ты? — дёргался Сергей.
— В магазин забегу. Хлеба дома нет.
— Что, за весь день взрослые люди не могли купить себе хлеба? Мамку ждут? — злился Сергей и мог с полным правом сказать ей, что никто её дома не ждёт и никому никакой хлеб не нужен. Разве только старой маме, да и то не в одиннадцать вечера. Но он учитывал, что любовница — замужняя женщина и всякие могут быть дела, вставал тоже, подносил ей трусы, колготки, грустно уговаривал вместе сполоснуться, а она отвечала: дома. Да как отвечала! Резко, обрывая его в желании продолжать. Будто от гнусности отказывалась, а не от дýша.

В какой книжке она прочла, что можно так поступать, когда любишь? Какой бес толкал её унижать Сергея и себя, опуская их встречи до торопливой случки? Она уходила, едва отдышавшись после постели, оставляя позади нетронутый стол с закусками и вином, который он для неё, уставшей от работы, накрывал, фантазируя с салфетками и цветом посуды, и не знала, что он потом со всей этой красотой делает. Выбрасывает в урну? Ест-пьёт в одиночестве, заливая тоску? Или звонит подружке, чтобы добро не пропадало?..

Куда подевалась её хвалёная мягкость, вечная боязнь причинить кому-либо малейшее неудобство? Нет, она постоянно упрекала Сергея, что он холост, моложе на целых семь лет и делает что вздумается, пока она сидит, привязанная к семье. Дошла до того, что выговаривала ему за резкие статьи: чем тебе люди не угодили? Хотя до их знакомства газет в руки не брала.

Она словно мстила в его лице всем, кто всю жизнь заставлял её, вольно или невольно, соглашаться, подчиняться, идти и делать то, чему душа противилась, но ослушаться не могла.

Мария выпихивала любимого человека в муки адовы, а сама цеплялась за привычно-опостылевший мир, чтобы впоследствии провалиться в ту же преисподнюю, но уже в жгучем одиночестве. И горько мучиться от потерянной любви, вины и стыда.

9.

Так продолжалось полтора года, за исключением первых счастливых недель, когда Мария думала и хотела только любви. Она тогда бегом бегала к Сергею: до работы, после работы, а то и ночью заявлялась. Он открывал дверь, не спрашивая — кто, она тут же в него вжималась, как вервью притянутая. До постели они добирались, только чтобы отдышаться.

А после её точно замкнуло… Однажды, когда Сергей на очередной то ли обман, то ли отказ заплакал, Мария зло скривилась: иди повесься. Он смотрел долго и внимательно: хватит. Не могу больше.
— Наконец-то!..

Больше они не виделись, даже мельком нигде не сталкивались.

Мария знала, что Сергей от всей этой мороки впал в пьянство, бросил свою журналистику.

О нём судачили в городе — бультерьер кончился, у него выпали зубы! Даже Валера новость обмусолил:
— Последнюю шавку стравили. Теперь можно спокойно работать, дела делать. Слабак этот Морозов оказался. Обычный алкаш, как все писаки. Жалко мужика, теперь в газете и почитать будет нечего.

Скоро Морозов завербовался куда-то на вахтовые заработки, через полгода о нём почти забыли. Когда вернулся, никто не вздрогнул. Газета милостиво подбрасывала корку хлеба, если никому из редакции не хотелось браться за прискучившую тему посевных работ или школьных квн. Мария, видя его фамилию, радовалась: жив.

Теперь, когда у неё ничего не было — ни семьи, ни библиотеки, ни мамы, ни забот-хлопот, когда её перестали называть по имени-отчеству, ей больше всего хотелось, чтобы в бар зашёл Морозов и увидел её. Наказанную, всеми брошенную. Разливающую водку обкумаренным болванам. Пусть бы посмеялся над ней. Он вправе. А она бы ответила: милый, я так тебя люблю. Мне ничего не надо, только позволь говорить: я люблю тебя, милый, я так тебя люблю!..

10.

Солнце слепило. Мария закрылась очками и глубоко, до стона, вздохнула. Надо жить. И ждать. Всё у неё только начинается.

Как у Ирочки — горько вспомнила она недавний визит Ирочки в бар.

В тесном городке не помучаешься от безвестности. Ограждай не ограждай себя от знакомств — всё равно в общем котле извариться, хочешь или нет. Бывает, о таких подробностях твоей жизни люди осведомлены, что голову сломаешь, допытываясь: каким ветром? Ведь моды нет ни у кого поздороваться лишний раз — какие там соседские разговоры-посиделки! Кончились общежитские времена. Может, правда — мухами разносится?..

Семья, к примеру, на втором этаже живёт. Солидные, в возрасте, супруги, девочка с ними. Третий год как вселились, но хоть бы раз здрасьте буркнули. Ни-ни! Словно во вражеском стане обитают, а не в доме кооперативном. Никто и не в обиде. И без лишних «здрасьте» известно, что за люди, откуда прибыли, в каком детдоме девочку подобрали, почему супружница нервами страдает.

Мария, с досадой понимая, что тоже живёт как на раскрытой ладони, всё-таки тешилась надеждой сохранить свои секреты нетронутыми. Здоровалась со всеми непременно — любопытство упредить. От субботников не отлынивала, всякие поручения по подъезду выполняла. Лишь бы видели: Скворцовы на месте, активны, на ходу, устают очень, вот и не мелькают семейством. Она — за всех! Располагайте!.. Сердце на замочке держала, ни с кем ни горестями, ни радостями не делилась. Даже с Серёжей помалкивала. Впрочем, почему — даже? С Серёжей-то более всего, потому как — журналист, мало ли где чего ляпнет…

Когда всплыла Ирочкина история, Мария вспомнила, как однажды мимо неё по утренней улице процокало юное создание в таком алом платье, словно тело во флаг завернули. Шевельнулась тогда зависть: вот идёт человек, никого не боится, ничего не опасается. Девушка-знамя. Изначальная победительница.

Вокруг Ирины то и дело возникал в городе какой-нибудь шум, затихая припечатанной сплетней. А потом она уехала.

Но в просторах областного центра не затерялась. Скоро все знали, что та самая девица сделала карьеру юриста, обрела семью и разъезжает на красном кабриолете. Иногда, как тряпка на корриде, она появлялась на телевизионном экране с комментариями громких уголовных сюжетов. Именно телевидение прославило её окончательно.

Со дна большого города поднялась сеть мошенничества с продажами в кредит несуществующих автомобилей. Пострадало много народа. Даже Валера едва не попался.

Главной аферисткой, идейным вдохновителем, организатором и получателем денег оказалась наша знаменосица.

Месяц по экранам крутились кадры, как полиция врывается в офис, как мечется по кабинету несуразного вида Ирина: в растянутом свитере, в лыжной шапке набекрень, из-под которой липнут на одутловато-синие щёки жирные волосы.
— Видела стерву? Видела? — кипятился Валера. — Предупредили заразу, документы подчищает. Ну кино!

С экрана смотрела на Марию запойная баба, в которой от девочки в красном осталась гордо задранная голова.

Она явилась в «Смак» будней ночью, перед рассветом. Зал упокоился тишиной. Шевелилась в сонном танце одинокая парочка. Немногие клиенты доглатывали последки.

Мария давно приметила, что никто и никогда, покинув заведение, не оставляет недопитых бутылок. Иному уже в горло водка не лезет, но, давясь и захлёбываясь, фыркая от отвращения, он вталкивает в себя последнюю дозу, словно кто давит на донышко его стакана: пей! пей!
— Детство голодное, значит, было, — сделала вывод повариха. — Не приучены едой бросаться.
— Где тут еда-то? Пойло! — презрительно возразила Ольга.
— Не скажи. Что пирог, что водка — всё одно: пища, самая ценная вещь на свете. Я вот всю жизнь при еде, а даже листика петрушки в тарелке после себя не оставлю.
— Жадничаешь?
— Бога прогневить боюсь. Глянет: сыта бабёнка — и не подаст больше ничего. Да и вообще. В нашей стране вечно какая-нибудь заваруха — то война, то революция. Или перестройку затеют. И начинает ветер по пустым амбарам свистеть. Мне вон пятьдесят лет всего, а я как минимум две голодухи от государства родимого перенесла.
— По тебе не догадаешься, — засмеялась Ольга.
— Ага. Первой не помру, в случае чего. Подкожным жиром подпитаюсь.
— Запасов наверняка по всем шкафам припасла.

— Есть немного. Грех жаловаться. Крупа, сахар, чай, кофе, масло растительное. Неприкосновенный запас на полгода автономного существования. Хоть всю округу бомбами забросай — пересидим, а там видно будет, что дальше делать. Так что… Не осуждай. Пускай человек свои остатки допивает. Пока имеет что есть-пить — он человек.

И тут появилась Ирина.

— Девки, гляньте! — сунулся на кухню Лёшка. — Со смеху помрёшь!

11.

В дверях бара, раскинув руки по косякам, застыла женщина в норковой, до пят, шубе. Она пьяно водила глазами по залу, то ли выискивая знакомых, то ли ища свободное место. Полы шубы распахнулись. Взорам открывалось тело, облачённое в комбинацию. Голубой шёлк очерчивал два этажа тяжелеющего живота. Сквозь кружева розовели полные груди. Наряд довершали красные остроносые туфли на голых ногах.

В углу заржали. Ирина медленно повернула к смеющимся лицо.

— Ш-шта?! — грозно выдавила она.

— Здравствуйте, очень приятно, — подоспела Мария. — Проходите к столику за баром. Держим для самых дорогих гостей. Пожалуйста.

Она мягко оторвала Ирину от двери. Та улыбнулась и, навалившись на барменшу, пошла к столу.

— А я вас зна-аю!

— Кто меня теперь не знает. Полгода за стойкой стою.

— Обижают?! — женщина остановилась и с угрозой посмотрела вокруг.

— Что вы! Мы здесь все — одна семья. Присаживайтесь. Я вам чаю сладкого принесу. Или кофе?

— Водки!

— Нет, Иринушка. Вначале чаю. Чуть-чуть в себя придёте, а там посмотрим.

— Тогда кофе. Двойной эспрессо!

— Слушаюсь…

— Вы почему в шубе? — поставила она перед Ириной чашку и пепельницу. — Лето же.

— Так ведь ночь! В чём мне изволите в бар идти? В ночнушке?

— Нда, лучше в шубе. Вы правы. Ну…

— Останьтесь! Посидите со мною. Не утащат ваш прилавок… Что в городе? Разговаривают?

— О чём?

— Известное дело — обо мне. Главной воровке страны.

— Не знаю…

— Так. Ставлю точки над «и». Дело отправлено в архив. Деньги па-астрадавшим отданы, три года условно получено. По нулям. Опять сама себе хозяйка! Муж остался — прокормит. Но с такой башкой, как у меня, не пропадёшь. Только — тс-с-с… Консультирую тайно, — Ирина заговорщицки пригнулась к столешнице. — Вам — по самому дешёвому тарифу.

— Мне вроде не требуется, — засмеялась барменша.

— Не говори гоп, пока не перепрыгнешь… А что вы в этом гадюшнике делаете? Я же знаю — вы в библиотеке работали.

— Я? К новой жизни, наверное, возрождаюсь.

— То есть?

— Может, по рюмочке? Угощаю. Что-то весело мне, коньячок — в самый раз!

Ирина, выпучив глаза, понимающе заулыбалась.

Мария шла и думала: почему она тогда так разоткровенничалась с девушкой? Чужой человек, подмоченная репутация. Но словно шепнули: можно. Говори, худа не будет. Забудь наконец об осторожности, перестань бояться, раскрой рот. Да! Именно! Раскрой рот! Вечно поджатые губы в ниточку. Сколько можно сжирать себя бесплодными переживаниями? Ведь давно всё — рухнуло! Что она бережёт? Обломки прежнего существования? Да ничего хорошего не было в прежнем существовании. Муж — блядун, сын — разбойник. Катя — того хуже.

Однажды в ящике письменного стола она нашла пакетики с каким-то порошком. Открыла один, лизнула. Лекарство, нет ли — не поняла. Утром поинтересовалась:

— У тебя там что — витамины?

Дочь вначале побледнела, потом вспыхнула.

— Витамины…

— Безвкусные какие-то.

— Ты пробовала?!

— Лизнула.

— О боже…

А потом Мария оформляла для школьников книжную выставку ко дню борьбы с наркоманией. Полистала статьи, почитала рассказы. И догадалась, какие порошки держит Катя в письменном столе.

Залила потрясение жгучими слезами, но дочери не высказала ни укора, ни удивления. Почему? Слов не нашла. А потом и оправдание придумала: ошиблась. Не может такого быть, чтоб её девочка, хрупкая молчаливая тростинка, чёрной дурью занималась.

Много позже, когда уже стояла за прилавком, Мария пожалела, что не учинила дочери скандал, не подняла хай, не устроила разгром. Пусть это ничего бы не изменило. Но она хотя бы показала, что любит дитя своё, что не станет мириться с её смертельным пристрастием. Впрочем, зачем врать?.. Тут не пристрастие — хуже. Катенька, похоже, не столько сама пользовалась, сколько приторговывала этими порошками… Вспомнились странные звонки по ночам, постоянные отлучки в Москву.

— Бизнес у нас с девочками, модельный, — объясняла дочка.

— А ты что там делаешь?

— Кастинги организовываю.

Возвращалась всегда в новых дорогих нарядах, тут же бросалась в какие-то хлопоты, переговоры.

— Сколько это стоит? — поинтересовалась мать, бережно погладив новые Катины перчатки.

— Пятьсот евро.

— Ужас!

— Мамочка, в столице иначе нельзя.

Наркодилер. Так вроде они называются… Вместо хая мать делала вид, что ничего не происходит.

И Катя продолжала курсировать между домом и Москвой, пока совсем не пропала. Два звонка за последние месяцы. У неё всё нормально! Раз так она говорит, значит, так оно и есть.

Но возникла из неизвестности пьяная Ирочка, и Марию прорвало.

Впервые она кому-то говорила о себе. Вслух.

Давно накинули крючок на дверь бара, давно улеглись отдыхать девочки. Посудомойка прикорнула у плиты. Ирина куталась в шубу, периодически выпрастывая руку за рюмкой, слушала. А Мария говорила.

— Как я жила? Не мудрствуя лукаво. Ни о чём, не имеющем ко мне прямого отношения, мыслить не хотела. Считала, что рассуждения да разговоры — баловство для бездельников. Знакомый у меня был, так он, как расслабится, о высоких материях всё норовил поговорить. Смерть, любовь, поэзия, космос…

— По пьянке?

— Нет, что вы. Как бы благость душевная на него находила. А я, стыдно вспомнить, тут же зевать начинала. Он говорит, глаза сверкают, а у меня такая позевота, хоть рот разорви… Вечно в голове дела крутились, заботы. А какие, спрашивается, дела? Дом обиходить, каши наварить, на работу сбегать? Господи! Суета! Видимость, а не жизнь. Когда рухнуло всё: семья, быт — всё, у меня в башке, как в бочке пустой, зазвенело. Душа мечется, плачет, а заговорить и успокоить её не могу. Слов нужных не знаю. Увидела себя со стороны — позорище: тупая, зажатая, вечно уставшая, трусливая, неинтересная. На все проблемы один ответ: рассосётся! Лишь бы не думать. Никакой ответственности! Пока не лишилась всего, не поняла: жизнь — это ты сама и есть. И если мелочны дела, то и жизнь мелка и бессмысленна. Ой, какая я была глупая! Обо всех вроде бы беспокоилась, хлопотала, а никому счастья не принесла. И себе тоже. Полсотни лет — на свалку. Поговорка есть: ни богу свечка, ни чёрту кочерга. Это про меня.

— Напрасно вы себя хлещете. У каждого ошибки случаются.

— Жаль, что ни одну нельзя исправить. Давайте, Ирочка, выпьем! За новую жизнь!..

— Вы считаете, что здесь, — Ирина обвела вокруг рукой, — ваша новая жизнь?!

— Не знаю. Но сегодня здесь — моё место. Значит, отсюда и начинать. Думать маленько приучилась — и то хорошо. Хоть и невесёлые мысли, а мои.

— А я ведь тоже… в новую фазу вступаю. Была богачка, авторитет, теперь — конь в потёртой норке. Интересные ощущения.

В дверь застучали.

— Хозяйка приехала! Закругляемся. Кассу сдавать нужно.

— Ухожу. Спасибо, что посидели со мной.

— Это вам спасибо. Живы будем — не умрём, Ирочка! — подмигнула барменша и пошла открывать.

Солнечное утро предвещало хороший день.

ДиН стихи

Римма Чучилина

Между летом и зимой

Вётлы жидкие косички
Распустили вдоль стволов.
Мы в воскресной электричке
Едем в город Петергоф.

А потом по Петергофу
Молча бродим у дворцов…
И витают всюду строфы
Ненаписанных стихов.

Вездесущие туристы
Непонятно гомонят.
Лишь порой — по-русски — чисто:
«…бывший город Ленинград…»

Надышавшись Петергофом
У фонтанов, клумб, мостков,
Увезём с собою строфы
Ненаписанных стихов.

Между летом и зимой

Между небом и землёй,
Между летом и зимой
Мы под зонтиком парили
Над блестящей мостовой.

Дождь озябший моросил,
Приютить его просил,
На огромный лист кленовый
Зонтик рыжий походил.

Шли прохожие в плащах,
И, колёсами шурша,
В мокром мареве машины
Проезжали не спеша.

Под кружением листа
В окружении дождя
В этом мире были двое,
Только двое — ты и я…

Колыбельная

Ночь крадётся в мягких тапочках
Вдоль скрипучего мостка.
А луна забытым мячиком
Укатилась в облака.

Засыпайте, мои солнышки, —
Баю-баюшки-баю.
Я вам, белки и воробышки,
Колыбельную спою.

Сверху звёзды улыбаются
Всем окошкам-зеркалам,
И в фонтане отражается
Свет неоновых реклам.

Засыпайте, бегемотики, —
Баю-баюшки-баю.
Я вам, ёжики и котики,
Колыбельную спою.

В доме бродит дрёма сонная,
Всех укладывает спать.
Шалуны неугомонные,
Вам давно пора в кровать.

Засыпайте, мои деточки, —
Баю-баюшки-баю.
Я вам, мальчики и девочки,
Колыбельную спою.

Александр Рыбин

План для Революции

Долго, долго я вынашивал эту идею. Но теперь она близка к реализации. Возможно, уже завтра всё начнётся… Мне остаётся только дождаться, когда этот — старый — мир зарастёт достаточным количеством руин, чтобы строить новый.

В сущности, одни руины будут порождать другие и будут вспахивать землю, чтобы по ней позже прошлись молодые с ангельскими крыльями и засеяли её зёрнами Утопии. Да, именно Утопии. Земля устала от прагматичных цивилизаций, материальных культур, технического прогресса и исторических формаций. Неужели не слышите, как она жалобно стонет, распятая и изнасилованная? Нужен невероятный мир, метафизический рай с декоративными элементами ада.

Каждый день они собираются на ступенях нашей редакции. Редакции краевой оппозиционной газеты. Лица их то перепачканы сажей, то облагорожены пустыми глазами. Начинается рабочий день. Они входят. Заносят сквозняки от своих близких могил. Из их рукавов выползают пауки, муравьи, тараканы и улитки. Ветхая их одежда воняет даже не десятилетиями — столетиями.

Не нужные ни государству, ни обществу — городские пенсионерки.

Столько лет они били в меня, в Настю, в других наших журналистов, пытаясь попасть в государство. Сейчас у них появился шанс — попасть прямой наводкой.

Что делать, я понял довольно давно, но не знал *как.*

Мне было каких-то 18, когда я её встретил. Порочную и липкую, как растаявшее мороженое. Революцию.

Я был как слепой щенок — неопытный и многого не умеющий, но внутри клокотало, требовало вырваться наружу безумие. Вырваться ради чего-нибудь, ради кого-нибудь.

— Глупости выбрось из головы и учись спокойно в университете, — говорили мне родители.

Но университет — монотонные трусливые преподаватели и быдлосокурсники, заливавшие в себя пиво между парами и к концу дня спавшие в зелёных блевотных лужах по коридорам общежитий. И сокурсницы: «Хочешь меня? А презики есть?» — отдавались так же легко, как осыпались увядшие листья по осени. Никому из них на фиг не нужно было моё безумие, моя Великая Жертва. И недоступный Идеал не висел над ними вместо солнца… а внутри меня клокотало, разжижало кровь, иногда вдруг выбрасывало в небо или в горы… и потом шёл с тоскливым взглядом из-под кепки, а позади — вмятина на небе или горах.

Хотелось… хотелось… хотелось, чтобы пели, как ещё не пели, и луна по ночам, какой ещё не бывало, чтобы чакры все до одной открылись настежь и гуляли по душе космические ветры.

Не понимаете, о чём я? — значит, не были по-настоящему молоды.

…И опять по утрам асфальт — всё тот же, в битумных заплатах, — от общежития до университета…

Ещё ни разу не видел Революцию, но чувствовал её присутствие на параллельных улицах, в косматых нецентральных парках, в дребезжащих мимо трамваях.

Встретил её, зайдя от тоскливого любопытства в подвал, где сидел штаб микроскопической леворадикальной организации. Она — монгольские глаза, невысокая, в растянутой кофте и длиннополой цветастой юбке, — миниатюрными ручками набирала манифест на гудящем компьютере. Возле неё вились бледные юноши с пушечными жерлами на месте третьего ока — такие же, как я. Физически они казались слабее меня. «Значит, они ещё безумнее, чем я», — решил тогда. Они срывались на неказистые комплименты, истерично и многословно мечтали вслух — пытались произвести впечатление на неё. На Революцию.

Главное, что привлекало в Революции, — она была женщиной необычной. По-настоящему необычной женщиной. Хотя, если учесть её темперамент, её приличествовало называть не женщиной и девушкой — но девчонкой. Девчонка Революция. Необычная девчонка Революция.

Большинство мужчин, юношей, мальчиков заморочены на женской красоте. Они смотрят на женщину через оценку её красоты. Словно плотные занавески одели на глаза и не могут увидеть за ними день, расшитый событиями, мечтами, поступками и архитектурными шедеврами, или ночь, полную северных сияний, жёлтых хищных глаз, одиноких прохожих и праздничных фейерверков. Но как же пусты и утомительны женщины, помешанные на собственной внешней красоте! Снимаешь с них одежду, целуешь влажными губами лицо и глаза — смазывается тональный крем, потекла тушь. Пытаешься с ними говорить о боли Генри Миллера и мрачной правде Достоевского, но слова твои проваливаются в никуда — ты стоишь перед чёрной дырой. В чёрную дыру засасываются и капитанская фуражка, которой бредил в детстве, и прыжок с парашютом, к которому готовился вот уже год, и новые песни, которые

упорно репетировал с друзьями. Из чёрной дыры ничего не возвращается.

Революция не сшибала с ног своей внешней красотой. На улице её и не отметишь среди десятков прохожих, особенно если она идёт, задумчиво глядя под ноги. Но стоит ей заговорить… как будто попадаешь в фильм — драму, комедию, боевик, чаще всего драму, — и ты — главный герой, поэтому всё нужно делать с надрывом, на пределе возможностей, иначе режиссёр возьмёт другого на главную роль или из зрительного зала в тебя полетит недопитое и недоеденное. Революция кружила голову словами и поступками. То она гнала велосипед по встречной полосе оживлённой автомагистрали. То она стояла на краю крыши какой-нибудь многоэтажки и, улыбаясь в щёлкающие снизу фотокамеры, она… Она была концентрированной необычностью. Её портрет нужно было поставить напротив слова «необычность» в лингвистическом словаре.

Меня она зачаровала при первой же встрече. А её груди, задорно шевелившиеся при каждом движении под растянутой кофтой, присыпали эту встречу сахарной пудрой.

…Леворадикальная организация стала для меня домом. Стоять в пикетах, расклеивать листовки по стенам ночного города, носить рецепт «коктейля Молотова» в заднем кармане штанов, прорывать оцепление из солдат внутренних войск и ОМОНа, сидеть в отделениях милиции после задержания, выкрикивать до боли в горле лозунги на текущих по проспектам демонстрациях — во имя, ради, для… так можно было обратить её внимание на себя, приблизиться к ней.

Она отлично слышала, когда очередной ментовской начальник или придурок с удостоверением ФСБ, на ключ заперев дверь рабочего кабинета, угрожал мне тюрьмой или принудительной психиатрией. Быстро забывала тех, кто ломался и возвращался в «обывательскую жизнь».

— Сука, слабак, — говорила о таких и спрашивала что-нибудь типа: Ты не помнишь номер автомобиля, на котором приезжал эфэсбэшник? Надо будет разбить фары и стёкла.

Пару раз на штаб нападали неизвестные. С арматурой, с цепями, бросали в нас пустые пивные бутылки, метя в головы. Погромы длились не дольше нескольких минут. Окровавленные стёкла, осколки зубов, кусочки ещё живой плоти мы собирали так же безмятежно, как дворники-узбеки — окурки и использованные салфетки. Кто-нибудь пытался догнать нападавших, прихватив толстые древки от флагов. Но на ближайшем перекрёстке появлялся милицейский патруль, два, три. Наших задерживали, нападавшие улепётывали дальше.

Пока одни наводили порядок в штабе, раны другим зализывали бездомные псы. Приходил живший на третьем этаже диссидент всех политических систем дядя Толик. С коньяком и колбасой. Высказывал версию, каким образом к нападению приложило руку давно умершее КГБ. Наливал «по пятьдесят» и предлагал тост за скорый успех. Приходили эвенкийские шаманы и забивали жертвенного оленя, чтобы «очистить место от случившейся беды». Прилетал белозубо улыбающийся Гагарин. Награждал всех пострадавших кольцами Сатурна. И Ленин взбирался на перевёрнутую тумбочку и задумчиво вглядывался в туман будущего. Больше остальных суетился пришедший Пол Пот. Доверительным шёпотом он сообщал, что в штабе завёлся предатель, «червь, жрущий изнутри спелое яблоко вашей коммуны». Убеждал — голос его звучал всё громче и громче — найти предателя и жестоко казнить, затем захоронить тело на одной из городских свалок.

Но ни разу не появлялись право-, криво-, бородавкозащитники. Они предпочитали тратить американские гранты на восхваление бесполезных либеральных ужимок.

На Первомайской демонстрации мы двигались мимо Кремля, где тусовался коротышка с вздорным носиком — Президент. От нашей ненависти и охрипших «кричалок» прогибалось милицейское оцепление. Хорошо загоревший и обильно наодеколоненный полковник вызывал по рации подкрепление. За первым оцеплением вставало второе. Путь к Кремлю перегораживали мощные «Уралы», крысиные морды БТРов, подводные лодки, крылатые ракеты, ядерные чемоданчики, счета в швейцарских банках, судьи в мантиях, СИЗО, тюрьмы, рынки олигарха Тельмана Измаилова, щетина Абрамовича, футбольный клуб «Челси» в полном составе, включая уборщиц из Индии, фракция КПРФ в Государственной думе… сколько же всякой мерзости собиралось, чтобы уберечь цитадель государства от нескольких десятков мечтателей и мечтательниц, зачарованных Революцией.

А после демонстрации нас, как воробьёв палкой, гонял по дворам ОМОН, облачённый в каски и бронежилеты. Это они мстили нам за свой мгновенный испуг, за унижение, таившееся в наших «кричалках».

Не помню день недели, но точно помню дату — 3 марта. Я и Революция стояли в подъезде дома, где располагался наш штаб. Четыре дня назад её бросил её… как бы его лучше назвать?.. но в итоге он оказался «слабаком и сукой»… он сломался. Тихонечко ушёл из организации. Несколькими фразами расстался с Революцией. Она рассказала мне об этом через день. Я понимал, что это признание предназначено только для меня и никого более. Мы стояли в подъезде и курили противногорькую, но очень дешёвую «Золотую Яву».

— Неудержимо хочу тебя поцеловать, — сказал я.

— В чём же дело? — ответила она.

Мы долго с закрытыми глазами целовались.

Вышли в закат — он отливал маняще-изумрудным.

— Нельзя долго смотреть на закат, иначе твою душу украдут духи Нижнего мира. Так считали башкиры, когда были язычниками, — сказала Революция. Одним из её предков был Салават Юлаев, поэтому она знала кое-что о традиционной культуре башкир.

Ещё через четыре дня я обнажённо касался её — и в небе незабываемо светили звёзды. Чердак торгового комплекса; под нами — старый ватный

матрас; по клубам, ресторанам и домам расползалась пятница… После Революция горячо шептала мне на ухо; крепко сжимая мою руку, она шептала:
— Много таких же, как ты. Вроде бы и дикие, словно полчище гуннов, кости себе и другим ломаете. Чтобы меня в постель затащить. Затащите… переспите несколько раз, потом бросите, в придачу ещё и погаными словами отхлещете.
— Мне правда хорошо с тобой,— говорил ей, часто сглатывая,— я правда никогда… только ты… всегда.
— Милый, я очень хочу верить в это. Милый,— и она расплакалась.

(Из окна квартиры, в которой пишу эти строки, виден пенал здания, где находится краевая администрация; я смотрю на него, как врач на смертельно больного.)

Она плакала и ещё крепче сжимала мою руку. Вдали звенели колокола невидимой православной церкви. Темнота редела, и понемногу серо прорисовывались контуры окружающего утра.
— Когда бросали меня, обычно говорили, что слишком сумасшедшая, что со мной нельзя быть по-настоящему счастливым. А что такое «быть по-настоящему счастливым»?— спрашивала она сквозь всхлипы.
— Я счастлив. Сейчас. Здесь. С тобой. Сидя на берегу Москва-реки. Чувствуя прохладу долгого русского утра.

Вернулись в штаб. Прижавшись губами к моему плечу, она уснула. Слушал её тихое дыхание, глядя внутрь себя. Наконец тоже уснул…

Наш общий сон длился почти шесть месяцев. Мы постепенно выпали из деятельности леворадикальной организации, потому что сосредоточились друг на друге (без нас, без Революции в первую очередь, организация скоро рассыпалась: активисты разбежались— кто «во взрослую жизнь», кто в политические эмиграции; штаб однажды закрыли и ключ потеряли, там до сих пор среди канализационных труб тлеют красные флаги). Решили ехать к морю, чтобы жить возле него. Ни она, ни я на море раньше не бывали— оно представлялось нам вечной симфонией, в которую легко могут вступить ещё два хорошо настроенных инструмента.

Революция! Помню же отлично волосы твои чернющие, как пахли они порохом и весной. Груди твои— два мешочка, полные моих желаний и наслаждений. Как ты говорила, взвешивая их поочерёдно: «Совсем-совсем не представляю, как ими можно накормить маленькое пищащее существо». Добавляла, взяв мою руку: «Но у нас обязательно будут дети. Двое— как минимум. Ведь одному будет скучно». Губы твои— помню. Как ты их вытягивала, изображая Муссолини, голая стояла перед зеркалом. Умильная. Целовал тебя в губы, в живот, ниже, ниже… ты закрывала глаза, пальцы твои, утонув в моих волосах, мелко дрожали…

Революция! Маленькая моя, не понимал тебя, да и себя толком не понимал! Теперь я— другой. Докажу. Чуть-чуть осталось.

Редакцию краевой оппозиционной газеты мы с Революцией нашли, когда бродили по изломанным линиям Миллионки. Тогда мы даже не знали названия этого исторического района в центре Владивостока. Не знали, что до 1920-х годов там были бордели из французских проституток, опиекурильни, что там находили убежище китайские бандиты-хунхузы.

Просто бродили по Миллионке, наслаждались её сложно-многоугольными дворами, хаотичным расположением домов, многочисленными низкими арками. Поднимались на балконы, опоясывавшие здания,— с них виднелись скошенные крыши старинных построек, вытянутые, как трубы, новостройки, а за ними— синий в молочной пелене Амурский залив. Пробирались по мрачному и чавкающему под ногами тоннелю, соединявшему дворы. Зашли в подъезд одного из щербатых зданий. Над бетонно-холодными стенами и полом извивался высокий арочный потолок. На первой же двери висела табличка: «Редакция краевой оппозиционной газеты». Но мы клюнули на другую табличку, по соседству: «Мастерская художника Кагарова». В мастерской пили чай, и Кагаров показывал свои яркие, написанные на острове Русском, пейзажи. Его жена, говорливая южанка, угощала нас кремовыми пирожными.

Про редакцию вспомнил, отправив второе письмо Революции в Пхеньян. Пошёл туда проситься на работу.

Меня на диво легко взяли. Спросили только— редактор спросил: «Не боитесь проблем с властями?» Ответ «да» заменил и рекомендации, и испытательный срок.

(Смешно, честное слово. Эти центры по противодействию экстремизму— центры «Э» ещё их называют— ищут угрозу государству среди молодых и физически здоровых. Им, пузатым мужикам, руководителям центров, в головы их коротко стриженные не придёт: опаснее всех— немощные, с корявыми, как сучья сухого дерева, конечностями, с беззубыми ртами, в стоптанных сапогах, найденных на помойке, в выцветших платках и проеденных молью вязаных шапках, с пустыми авоськами, бестолково колыхающимися по ветру, с кожей словно половая тряпка… их армия, поднимающаяся, кряхтя и охая, в шесть утра под гимн по «Радио России»… спешащие, хотя много лет уже их никто не ждёт… не ждал. Теперь их жду я. Очень жду.)

— Вот. Вот тут подделала она подпись,— махает Тамара Иезекильевна у меня перед самым носом ксерокопией,— подделала мою подпись. Землю мою хапнули. Незаконно! Незаконно!

Муравей, чёрный, малюсенький, выпадает из седых волос пенсионерки. Приземляется на мои руки, покорно сложенные на столе. Он бежит,

муравьишка, перебегает с пальца на палец, на стол — и утыкается в мой надкусанный пирожок.
— Смотрите, смотрите. Мне не за себя обидно — за правду. Хочу, чтоб правда восторжествовала!

Я ни перечу, ни соглашаюсь — молча слушаю и преданно смотрю в глаза Тамары Иезекильевны. Возможно, лет 50, или 70, или 100, или 240 лет назад она была первой красавицей в районе, во дворе, в подъезде. Или в целой, огромной, как Женевское озеро, квартире. Она вытанцовывала походку на ярмарочной площади, на приёме немецкого консула, на открытии ВДНХ или направляясь к председателю краевого комитета КПСС. И завистливые подруги называли её за спиной «блядью», «расфуфыренной» и «прошмандовкой». Через штормы времени эта великолепная женщина добралась до меня. Чтобы излить свою боль в мои уши, лицо, поры.

Я ни перечу, ни соглашаюсь — лишь молча слушаю и преданно смотрю в глаза Тамары Иезекильевны. Она распаляется всё больше. Изображает судью, которая подло отобрала у неё землю. Напяливает на голову оранжевый полиэтиленовый пакет — такая же скомканная и высокая причёска была у судьи. Задирает юбку и показывает пепельно-бледную варикозную ногу — такое же тусклое лицо было у секретаря судебного заседания.
— Хоть и молодой, а паршивый уже. Гниленький. Долго не проживёт, — это о секретаре судебного заседания, — жалко мне его, жалко. Его бы научить правду от вранья отличать — хорошо зажил бы. Честно, порядочно. Всё бы в жизни получалось. Как у вас. Вы-то ведь помогаете слабым за истину бороться.

Улыбаюсь. Муравьишка отчаянно отдирает крошку от пирожка. Прихлопнуть его сейчас — значит, разрушить весь свой хрустальный образ в глазах пенсионерки. Когда она отвернётся или выйдет, тогда-то и…
— Я же собиралась на той земле, что у меня отобрали, посадить яблони, акацию. Клумбы обязательно сделать, герани, гладиолусы, розы, тюльпаны. В цветах-то знаю толк. Сад получился бы — на радость всей округе. По весне расцветал бы… Ой, Матерь Божья, бабочки слетались бы. Красота. Ну сволочи, незаконно отобрали. Незаконно!

Раздаётся третий звонок. На сцене перед моим рабочим столом разворачивается действие второго акта. Тамара Иезекильевна хлещет воздух — подобную пощёчину заслужил её сосед, подавший в суд.
— У него, наверное, родственники в суде работают, — замечаю.
— Канешна!

Следует подробное описание генеалогического древа соседа. Оно гнилое от самых корней. Предки его — каторжники, бежавшие с острова Сахалин. Вместе с китайцами торговали во Владивостоке опиумом. Дальше — хуже. Родители соседа — дезертиры с фронта Великой Отечественной. Отсиживались в землянках в Уссурийской тайге. Незаконно охотились на уссурийского тигра и добывали женьшень.
— Незаконно!

Сын соседа работает в милиции. Значит, мог оказать давление на суд. Да чего там. Точно давил на судью.
— Заставил он судью принять решение против меня, против правды. А кто его знает: мож, она и вовсе его любовница? У него жена есть. Но люди говорят, «налево» он похаживает — будь здоров.

Занавес. Аплодисменты. В зрительном зале загорается свет. Тамара Иезекильевна устало плюхается на стул.
— Чаю? — предлагаю ей.
— Давайте. Измучилась, пока всю правду вам рассказала.

Ухожу на редакционную кухню. Почти печалюсь, что приходится покидать пенсионерку. Если бы у меня имелся помощник, секретарь — подчинённый, то отправил бы его за чаем, как только Тамара Иезекильевна подошла к моему столу. Кипяток из электрического чайника, дешёвый чай в пакетиках, немного сахара — то нехитрое угощение, которым мы, журналисты, обычно потчуем посетителей. Спешно готовлю чай и возвращаюсь. Пенсионерка поставила на мой стол локоть и, похоже, оперлась на него всем телом. А ведь на заре моей деятельности в краевой оппозиционной газете я использовал поход за чаем как предлог для передышки. Выскакивал из кабинета, словно ошпаренный расплавленным свинцом. Долго возился на кухне, поглощал каждую минуту, как голодающий хлебные крошки. Я сбегáл от пенсионерок — именно их визиты вышвыривали меня прочь. В то время называл их исключительно «бля, старухи».

Когда только начинал работать в газете, под личиной журналиста влез в местную оппозицию. Коммунисты, либералы, националисты — побывал у всех, кто называл себя оппозицией действующей власти. Митинги, собрания, встречи с городскими, региональными и федеральными чиновниками. Оппозиционеры играли по правилам, которые навязывала им власть. И менять правила не собирались. Тем более не собирались плюнуть на эти правила и перевернуть Владивосток вверх дном, чтобы под ногами сияло небо, а над головой колыхалось море. Чтобы слепить из Владивостока весёлый и шальной Город Солнца. Их устраивало изображать недовольных и складывать в сейф — или куда там на самом деле? — ежемесячные взносы однопартийцев. Они боялись перемен — даже если перемены в итоге сулили им власть в городе и в целом Приморском крае… потому что перемены — это обязательно нарушение сложившейся стабильности. В сущности, все лидеры местных коммунистов, либералов и националистов были обывателями. А вы по себе прекрасно знаете или по друзьям и знакомым: самое страшное для обывателя — потерять стабильность.
— Если захватить краевую администрацию вместе с губернатором? — спрашивал у лидера местных националистов Белова.
— Вы что нас на терроризм провоцируете? Мы постепенно, эволюционным путём возьмём власть в свои руки, — отвечал тот.

Но его эволюция могла продолжаться до второго пришествия, причём для Белова этот вариант был бы наилучшим.
— Перегородить город баррикадами,— предлагал председателю краевого комитета коммунистической партии Витязю.
— Ха-ха. Мы добьёмся того, что нас выберут люди, мы победим на выборах.
— Выборы же фальсифицируются чиновниками на местах.
— Добьёмся, чтобы не фальсифицировали.

И Витязь шумно сморкался, чтобы не слышать меня.
— Ненасильственный переворот. Блокировать деятельность государственных структур: входы в учреждения, служебные парковки, кабинеты. Госструктуры перестанут функционировать, бюрократический аппарат посыпется. Хаос. Вы войдёте в кабинет мэра, как Жуков в Берлин. Представляете?— это главному владивостокскому либералу Геккелю.
— Молодой человек, вы понимаете, что нас за такие действия посадят в тюрьму? Сгноят там. Необходимо сначала построить гражданское общество, которое будет контролировать государственный аппарат. Не нужно будет тогда ничего блокировать,— Геккель поправлял редкие волосы, размазанные по его залысине.

А между оппозиционерами — «бля, старухи». Я приходил в редакцию, как в логово, после очередной неудачной попытки расшевелить оппозицию. Но вместо отдыха к моему столу приближалась с неуклонностью айсберга какая-нибудь «бля, старуха» и терзала меня своими проблемами.
— Почему, а? Почему у меня, семидесятилетней, пенсия меньше, чем зарплата у дворника, хотя я отдала стране молодость и сорок лет трудового стажа? Так ещё и льготы на проезд в трамвае меня лишают!— Екатерина Евграфовна бомбила моё усталое сознание вопросами.

Вопросы взрывались в затылке, вызывая раздражительность и ненависть к посетительнице.
— Вы что-нибудь сделали, чтобы свою льготу вернуть?— спрашивал, сдерживаясь, Екатерину Евграфовну.
— А как же! К вам пришла.
— Да не ко мне надо было идти!.. а в городскую администрацию, прихватив с собой гранату…

И меня осенило.

Их же миллионы — городских пенсионерок. Их мужья умерли 10, 20 и т. д. лет назад. Их дети, если у них были дети, занимались благоустройством собственного существования. Изредка навещали матерей и привозили-приносили подарок или еду, чтобы изобразить внимание и преданность. У городских пенсионерок, в отличие от сельских, не было своих хозяйств, кур, коз, свиней, деревянных домов с печным отоплением, забора, который нужно ремонтировать, обязательных весенних, летних и осенних полевых работ… их день не загружался сельскохозяйственными нуждами. В них скапливалось чудовищное количество энергии, которую некуда было выплёскивать. Им не хотелось просто лежать на кровати и, глядя по телевизору на выступление премьер-министра, или гей-певца Гельцера, или скудоумного юмориста Ахояна, дожидаться смерти. Где-то очень глубоко внутри, под углями прожитых лет, билось в них желание — изменить мир к лучшему, сделать его справедливее и слаще. Это желание — самое живое, что оставалось в городских пенсионерках. Сексуальные инстинкты задохнулись в костенеющей плоти. Творчеству они так и не научились. Путешествовать — либо боялись, либо зажимали деньги. Много не ели, потому что переедание вызывало рези в животе, тяжесть в печени, мигрени, простуду, глухоту, слепоту, паралич и приступы ревматизма. Алкоголь совсем перестали употреблять, потому что от него проблем ещё больше, чем от избыточной пищи. И среди заглохших желаний и стремлений они наконец-то могли расслышать то, что пело свою тихую песню с самого детства, впитанное с молоком матери,— желание изменить мир к лучшему. Поэтому-то городские пенсионерки сами искали проблемы, чтобы говорить о них, чтобы бороться с ними, чтобы придти в нашу редакцию. И если организовать эти миллионы, вдохновить их и повести за собой, то…
— Екатерина Евграфовна, ведь если вы добьётесь, чтобы вам вернули льготу, то другие пожилые люди поверят в свои силы, поверят, что можно всё-таки добиться справедливости.

Яя говорил это, чувствуя, как над головой моей рос нимб святого, нимб цвёл и плодоносил. Я уже готов был делиться святыми цветами и плодами с теми, кто поможет вернуть Революцию.
— Я вам чего и говорю.
— Ещё чаю?
— Ой, давайте.
— У меня тут булочки есть. Будете?
— Ой, не откажусь,— и пенсионерка изобразила кашлем смех.

Стояла чудесная тишина, её не нарушал даже тарахтящий где-то поблизости автомобиль. Ночь. Наша с Революцией последняя ночь в Москве перед отъездом на море. Мы смотрели с балкона на пустынную улицу. На небосводе зияла круглая дыра луны.

Революция прикоснулась к моему лицу лицом. Тёплая, гладкая.
— Я уезжаю, чтобы всё-всё потерять. Но чтобы обрести тебя: целиком, всего и навсегда. Зачем уезжаешь ты?— спросила она.
— Чтобы продлить наше счастье на Вечность.
— Спасибо, милый. Мне так хотелось это услышать… мне так важно это услышать. Не отпускай меня, слышишь? Никогда не отпускай. Ты ругай меня, даже, если хочешь, избей, отпинай ногами. Но никогда не уходи от меня.
— Это будет наше предсвадебное путешествие. А обвенчают нас высокие солёные волны.
— Спасибо, милый.

То была нежность, не требующая постельной горячки, влажных обнажённых объятий и задыхающихся движений. Мы касались друг друга лицами, кончиками пальцев — кончиков пальцев другого. Нас соединяли невидимые каналы, с помощью

которых мы обменивались жизненными токами и сердечными ритмами. То была близость, которая невозможна ни при каких сексуальных отношениях. Если бы один в тот момент оторвался от другого, то неизбежно погибли бы оба. И воздух вокруг воспламенился бы, и склепы на дряхлом кладбище застонали бы во всю мощь своих трещин. Представьте мигрирующих птиц, вдруг потерявших ориентацию север-юг. Представьте рыбу, потерявшую нерестовые реки. Медведей, позабывших, как впадать в спячку. Представьте, что с ними происходит. То же случилось бы с ней и со мной, если бы один в тот момент оторвался от другого.

Кончиками пальцев касаться кончиков пальцев. Чувствовать гладкую щёку, мягкость губ, ресницы, пульсирующую вдоль виска тоненькую венку своим лицом.

То было сияние, невидимое в материальном мире, не обнаруживаемое ни на каком этапе технического прогресса, необъяснимое с точки зрения логики, математики, истории, экономики, психологии и римского права, неподвластное культуре, гравитации и астрологическим прогнозам. Если и возможно почувствовать бесконечность в какое-то конкретное мгновение, то это было именно то мгновение.

— Как же долго я искал тебя, Революция. Почему мы не строили куличики в одной и той же песочнице? Почему не учились в одной школе? Столько лет — на что-то лишнее и бесполезное. Столько лет не мог посвящать себя тебе.

— Если ты оставишь меня, то хочу умереть, чтобы погибли и тело моё, и душа, чтобы никакого следа от меня не осталось. Хочу, чтобы место моё захлестнула пустота. Мне не нужны ни реинкарнации, ни бессмертие, ни рай без тебя.

Она вдруг упала на колени и расплакалась.

— Пожалуйста, не бросай меня. Не бросай. Слышишь?! Умоляю, — сквозь всхлипы твердила она. — Меня столько раз бросали. Я устала. Не выдержу больше. Спаси меня.

— Ну что ты, маленькая моя.

Поднял её. Обнял сзади, закопавшись в её чернющие волосы.

Утром нас разбудил дождь из ещё не наступившего лета. Облака, сцепившись, как в хороводе, стремительно бежали на восток.

— Поедем вслед за ними, — сказала она, стоя у окна.

О беде Екатерины Евграфовны написал небольшую заметку. В день, когда заметка была опубликована в газете, пенсионерка пришла снова. Откинувшись на спинку стула, приготовился гипнотизировать её.

Да, как только у меня появилась идея создать из «бля, старух» повстанческую армию и разнести с её помощью ржавое неповоротливое государство, полез в интернет.

Пенсионерки являлись главным блюдом всевозможных сект, подсказал мне интернет. Каким образом сектантские вожди вербовали адептов? Читать приходилось дурные статьи-расследования «жёлтых» газетёнок, напичканные бледными — не по качеству, но по содержанию — фотографиями. Их напыщенно-драматичный стиль и истекающие завистливой слюной описания благосостояний сектантских вождей вырывали мозг с корнем, поджаривали его на медленном огне и после заставляли скормить его парнокопытным чудовищам из индонезийских мифов. В очередной раз я не понимал, как подобную чушь могли читать миллионы моих сограждан, а потом серьёзно обсуждать её с близкими и случайными знакомыми. Но попалось и несколько серьёзных публикаций. Авторы очеловечивали кирзовый язык милицейских протоколов. «Для привлечения в секту новых членов такой-то использовал гипноз», — говорилось в одной статье. «Для манипуляции своей паствой такой-то активно прибегал к гипнозу», — констатировала следующая. «Главным оружием такой-то был гипноз. С помощью гипноза она превращала нормальных людей в фанатичных безумцев», — в третьей. И так далее. Найти пособие по элементарному гипнозу в интернете — проще, пожалуй, только поиск порносайтов с фотографиями трансвеститов.

Откинувшись на спинку стула, глядя в глаза Екатерины Евграфовны, разговаривал с ней спокойным и тихим тоном. Убеждал её, что я лучший друг, единственно возможный друг, нарядная новогодняя ёлка в её неряшливой и бедной квартире, долгожданный счастливый сон после многих тяжёлых суток работы, наконец-то борщ с мясом после месяцев исключительно макарон быстрого приготовления «Роллтон» на обед и ужин, прохладный и по-детски смеющийся ручей в испепеляющей пустыне её жизни, волшебный единорог, которого она встретила в страшном и мрачном лесу, — и теперь я её спасу, выведу на просторный луг, где райские колибри, пчёлы собирают пыльцу с тысячецветной радуги, и, если нужно, подарю крылья: лети домой над страшным и мрачным лесом — но зачем, когда здесь самое восхитительное, тёплое и ласковое место в мире.

Екатерина Евграфовна стала моим полигоном по испытанию техник гипноза. Мы часто созванивались. Заходил в её квартиру, закупив продукты на собственные деньги. Через пару недель пенсионерка настаивала, что продукты должна покупать она на свои деньги. А в завершение очередного визита совала мне в руку то 1000, то 500, то 100 рублей — в зависимости от того, сколько дней осталось до пенсии. Она больше не говорила о своих проблемах, но неустанно повторяла, что я — чудотворец. Просила разрешения рассказать обо мне соседкам и новым знакомым. Не разрешал, не уверенный ещё в своей гипнотической силе. Но пытался вербовать новых «солдат» из числа посетителей редакции.

— Он — еврей, говорю вам! Он нас китайцам продаст и уедет в этот, будь он проклят, Израиль! — кричала Мириам Моисеевна, через стол летела прозрачная шрапнель её слов.

Она ненавидела губернатора. Она уверяла, что:

— По его приказу — я точно знаю — меня эти гады из соседней квартиры облучают по ночам. Чувствую, как у меня зубы портятся от излучения, болячки новые появляются. Деньги исчезают тоже.

Он на мои деньги-то и улетит в Израиль, когда нас продаст китайцам. Тварь шепелявая!

Самой судьбой Мириам Моисеевна была создана, чтобы пополнить ряды воинства, которое будет крушить государство.

Настя, моя коллега, смотрела удивлённо из-за соседнего стола: ведь я уже с полчаса слушал пожилую женщину, не вставив ни единого возражения.

— Эва, посмотрите, что у меня с зубами,— она открыла рот — словно помойный бак отворила.

Я подавил рвотный рефлекс. Пенсионерка грубым пальцем давила на передние зубы, они, словно качели, двигались с широкой амплитудой. Но — главное, что она наконец замолчала. В дело вступили знания, почерпнутые в интернете. Взял её за руку и повёл в чертоги всепоглощающей Венеры. Лукавые амурчики сидели на ветвях зеленеющих олив. Виноградники струились по причудливой изгороди. Солнце приближалось к полудню. В пернатых колесницах проносились над головой восхитительные нимфы, играли на арфах.

— Здесь тебя до сих пор помнят,— рассказывал Мириам Моисеевне,— помнят ту пору, когда ты решила попробовать себя в роли человека. Здешние обитатели переживали за твои неудачи и промахи там, внизу, в мире людей. Пили поэтическое вино за твои успехи. Посмотри, ведь это всё твоё. Неужели забыла? Здесь всегда царит молодость, а болезни — злые демоны из почти забытых сказок. По вечерам здесь поют песни и танцуют, облачившись в тени садов Семирамиды. Здесь нет ни жажды, ни холода, ни голода. Нет ни одного бункера, ни одной казармы, военного аэродрома или зенитной батареи. Потому что война для здешних людей — дурная шутка. Ты помнишь? Ты вспоминаешь? Вспомни. Я досчитаю до четырёх и ты вспомнишь. Раз, два, три. Четыре.

Мириам Моисеевна хлопала непонимающими глазами и поправляла на голове платок, из-под которого выбивалась жёлтая стружка волос. Причмокнула губами. Поёрзала на стуле.

— Может чаю?

— Ох, давайте. Хорошо у вас.

Она стала вторым «новобранцем».

Настя как-то спросила, зачем я пользуюсь «странными монологами», общаясь с пенсионерками. Объяснил, что успокаиваю таким образом слишком энергичных. Она пожала плечами и больше ничего не спрашивала.

Итак, мы ехали с Революцией на восток. Автостопом, на товарных поездах, в телегах. Рюкзаки наши были набиты копиями «Поваренной книги анархиста», красной и чёрной материей, фаерами и музыкой Manu Chao. Неуёмная и хулиганистая Революция соблазняла водителей и машинистов левацкими идеями и рассказами о шумных и весёлых акциях прямого действия.

— Интересные вы, ребята. Ну, удачи вам,— частенько говорили нам водители на прощанье.

Оказавшись в безлюдном поле, мы ложились в траву и воображали, будто падаем в небо. Наши фантазии округляли, сжимали, вытягивали и разрезали, как арбуз, пространство. С дороги сигналил очередной остановившийся автомобиль. Мы подходили.

— Куда? — спрашивал водитель.

— К морю.

— Понятно. Садитесь.

— У нас ещё рюкзаки.

— Хорошо, их в багажник.

Щёлкал замок багажника.

— Давно едете?

— Кажется, всю жизнь,— мы уже сидели в салоне автомобиля и обгоняли дорогу.

— Счастливые вы. Молодые. Я бы был молодым, тоже рванул бы, куда глаза глядят. Хоть к морю. Хоть на Северный полюс. Не было б забот (долгий вздох). Надо деньги зарабатывать. У меня дочери пять лет. Столько забот. В школу пойдёт, забот только прибавится. Вроде бы школьное образование бесплатное, но то купи, ещё чего-нибудь купи. Тетрадки специальные теперь надо, карандаши, форму. За спортивные секции заплати. За кружок музыкальный заплати. Молодцы вы. Пользуйтесь, пока забот нет. Мир посмотрите. Будет, что потом детям рассказать.

— А мы для своих детей другой мир построим — чище и светлее, добрее и прекрасней.

— Ха, какие вы. Ну, раз молодые, почему бы и не помечтать. В принципе, всё у вас в руках. Дерзайте. Молодцы — новый мир собрались строить. Ха! (Качая головой.)

— Но ведь и вы можете. Один человек на многое способен. Построить новый мир — не самое сложное.

— Не, ребят. Я уже стар для таких дел. Вы — давайте. А мне надо деньги зарабатывать, дочь растить. На ремонт автомобиля, на котором вы едете, деньги нужны. Кто мне их даст? Самому только зарабатывать. Жена опять же хочет, чтобы у неё новые вещи каждый сезон появлялись. Хочет хорошо выглядеть. Она школьный учитель у меня. Зарплата не ахти какая. Опять же я деньги зарабатываю, чтобы она себе наряды покупала. Да-а, много забот.

— Вам сколько лет?

— Много уже.

— Сколько?

— 32 будет в сентябре.

— Так вы ещё ого-го какой молодой.

— Ха-ха, спасибо. Но это не оправдание, чтобы всё бросить и мотаться. Не, забот у меня много. Нельзя их оставлять на самотёк. У вас жизнь интересная. Есть возможность. Забот особых, я так понимаю, нет.

Автомобиль приближал нас к закату. Пора было задуматься о ночлеге.

— Вы нас у речки высадите.

— Хорошо. Но сами смотрите, где удобнее.

Берег реки, впадающей в затихающий лес, становился для нас домом. Раскладывали рюкзаки. Ставили палатку. Разводили костёр. Варили кашу и глинтвейн. Под шоколад глинтвейн поглощали. Вспоминали прошедший день, строили планы на день будущий. Молча подолгу рассматривали карту автомобильных дорог России в дёргающемся свете костра. Как бы невзначай касались друг друга. Проникали друг другу под одежду. Уже

нагие быстро забирались в палатку и сгорали в страсти. Столько поцелуев и тесных ласк вмещала наша палатка в 70 сантиметров высотой и два метра длиной. Мы катались на 75 сантиметрах палаточной ширины, словно по казахской степи. Хищно набрасывались на каждый кусочек друг друга. Революция попискивала от удовольствия и убирала взмокшую чернющую прядь со лба.

— Не оставляй меня, не оставляй. Хочу чувствовать тебя в себе всегда,— шептала, срываясь на хрип, Революция,— поселись внутри меня. Пусть я стану твоим домом. Хочу, чтобы ты прикасался ко мне изнутри. Смотрел через мои глаза и питался моим дыханием. Пусть отныне я стану только тобой обитаемой планетой, а моё сердце — твоим единственным светилом.

Она исследовала меня всякий раз, словно первый раз. Под её пальцами, и губами, и влажными грудями моё тело пробивала судорога ушедших в забвение и ещё не появившихся на свет Божий поколений… прижавшись друг к другу, мы отступали на удобные позиции для встречи нового утра.

Рассвет.

— Что бы ты хотел увидеть сегодня? — спрашивала она, не открывая глаз.

— Мне кажется, всё, что хочу, вижу сейчас — тебя.

— Милый. Не-ет. Так неинтересно,— она открывала глаза и приподнималась на локтях.

— Вот и интересно.

— Хорошо. Но что-нибудь ещё. Придумай.

— Хм. Сегодня…

— Да.

— Снег! Хочу снега. Соскучился по нему.

— Но мы в Челябинской области. Тут нет достаточно высоких гор, где можно найти снег.

— А я хочу снег.

— Идёт! В таком случае будет снег. Мы завернём на север. Доедем до Тюмени — и оттуда на север, пока не найдём снег.

— Отличная идея. Обожаю тебя.

— Обними меня.

И мы дурачились. Выкатывались из палатки. Лежали на ещё сырой траве, держась за руки.

Вставали и одевались. Я разводил огонь. Она набирала воду из реки. Заваривали чай. Доставали карту и снова рассматривали её молча.

Сворачивали лагерь. Запихивали вещи по рюкзакам. Возвращались на автомобильную трассу.

Утро обещало ясную и тёплую погоду.

— О, давай я заберусь тебе на кашла и так будем «голосовать»? — предлагала Революция.

Я немедленно соглашался.

Водители хоть и не останавливались, однако активно сигналили и жестами показывали одобрение нашей выходке.

Остановился дальнобойщик, тащивший длинную фуру.

— Куда?

— В Тюмень.

— Садитесь. Мне дальше — в Сургут.

— Отлично. Мы как раз из Тюмени на север.

— Чего на севере забыли?

— Снег.

Дальнобой смеялся, автомобиль трогался, фыркая и выпуская густой клуб дыма.

Первые собрания пенсионерок, моих пенсионерок, происходили в квартире Екатерины Евграфовны. Внушать свои идеи двум десяткам пожилых женщин — больше на собрания не приглашал, потому что больше не вмещала однокомнатная квартира в «хрущёвке»,— оказалось значительно легче, чем любой одной. Ещё до начала собрания пенсионерки «накачивали» друг друга рассказами о моей «чудодейственной сущности». Они сами расчищали себя от лишних мыслей и дел. Мне оставалось войти лёгкой поступью в комнату и расшить их души платиновыми и золотыми нитями.

На собраниях я являл собой миссионера среди дикарей архипелага Вануату, Стефаном Пермским среди зачумлённых зырян, доктором Ливингстоном среди несчастнейших африк.

Паства за три часа преодолевала тот путь, на который китайцам понадобилось 7 тысяч лет. Красные драконы назойливо лезли из углов. Сырой воздух доносился с рисовых чеков. Из переполненной ванны брала начало Хуанхэ. Паства переплывала реку с радостными воплями, повторяя подвиг старого Мао Цзэдуна и приближаясь к финишу обыденности.

— Вы будете героями! — провозглашал я, но вот *как* разорвать финишную ленту, тогда ещё не решил.

С каждым километром на север Обь набирала десяток-другой метров в ширину. Автопаром из Ханты-Мансийска плыл в Салехард. Из Салехарда мы переправились на другом пароме в Лабытнанги и оттуда на попутках по трясущейся дороге — в Байдарацкую тундру. Восточная окраина Байдарацкой тундры упиралась в горы Полярного Урала — в горах мы надеялись найти снег. От фактории Лаборовая на вездеходе добрались до реки Пырья-яха. Потом по правому берегу реки шагали к горам.

Август вступил в права, и тундра остывала. Желтели карликовые берёзки, а морошка и черника наливались последней сладостью. Ягоды легко давились в пальцах.

Мы дошли до ненецкого стойбища, где стояли пять чумов. В первом же чуме гостеприимные хозяева накормили нас свежевыловленной рыбой и солёными лепёшками. Хозяева предложили нам переночевать у них. Мы согласились.

Скоро в чуме собралось всё взрослое население стойбища. Визит гостей ненцы считали большим праздником, поэтому из неприкосновенных запасов достали два литра водки.

Все пили водку и закусывали её сырой рыбой.

— Скажи, луса,— обращался один из молодых ненцев («луса» в ненецком означало русский) ко мне,— почему ваши русские газовики портят нашу тундру? Почему *нашу* землю портят? пусть *у себя* землю портят. Нам скоро и оленей пасти негде будет — всю тундру вездеходами и бульдозерами перепахают. И рыбу ловить скоро негде будет — ваши всю воду отравят. Мы разве чего плохого вам сделали, луса, чтобы вы нашу тундру убивали?

— А ты думаешь,— отвечала Революция,— оттого, что вашу тундру портят, русские крестьяне где-нибудь в Тверской области богаче становятся? Да они как были бедными, так и останутся, несмотря на то что у вас новое газовое месторождение открыли и новый газопровод построили. Самую большую прибыль от вашего газа, из-за которого портят вашу землю,— Революция обращалась ко всем сидевшим здесь ненцам, переводила взгляд от одного к другому,— получает кучка чиновников-олигархов, причём национальностей они всяких-разных и зачастую совсем не русские. А те рядовые газовики, которые сюда едут, так они вынуждены сюда ехать. Потому что, работая на своей земле, в той же Тверской области, они не получают за свой труд достойной оплаты. Здесь им платят хорошие деньги за то, что они разрабатывают месторождение, прокладывают газопровод— и заодно портят вашу тундру. Рядовые русские газовики сюда едут от бедности. Оттого, что те же чиновники-олигархи создают на их родной земле невыносимые условия труда, жизни.
— Надо тогда убрать таких чиновников… как ты говоришь?
— Олигархов.
— Ага, их. Надо убрать их. Чтобы русские на своей земле хорошо жили и работали, а мы тут. И ездили бы друг к другу в гости. Смотри, разве плохо мы русских гостей принимаем?
— Вы очень гостеприимны,— вступил я,— поверьте, и русские на своей земле приняли бы вас не хуже. Ты прав: надо убрать чиновников-олигархов. От них беда и вам, и русским.
— Скажи, как убрать? Ты в городе живёшь, в Москве,— значит, лучше нас знаешь. Может, нам надо в Москву приехать и сказать им: «От вас беда, уходите, дайте людям спокойно и по-доброму жить»?— спросил древний, весь в морщинах, в которых терялись его узкие глаза, старичок.
— Эх, если бы всё так просто… не уйдут они,— говорила Революция.
— Но ведь зло делают.
— Они помешаны на деньгах. Они от денег сошли с ума. У них много, очень много денег. Столько за одну жизнь не потратишь. Но им ещё надо, им всё мало.
— Эхх, жадные какие.
— Да. Их можно только выгнать. Дать пинка под зад, и тогда все: и ненцы, и русские, и ханты— все-все простые люди в России вздохнут свободнее.
— Понимаю тебя. А как же выгнать?
— Лишить того, чем они питаются.
— Денег?
— Да. Все эти чиновники-олигархи, управляющие Россией, опираются на две вещи: нефть и газ. Европа, США, где они хранят свои деньги, уважают их только за то, что они *могут* добывать нефть и газ и транспортировать их в ту же Европу, в ту же Америку. Главная газодобывающая компания в России— «Газпром». Девяносто процентов месторождений «Газпрома»— здесь, в Ямало-Ненецком округе. Вы же прекрасно знаете, где идут газопроводы. У каждого из вас есть оружие, у газовиков есть взрывчатка для специальных работ. Вы легко можете отобрать эту взрывчатку, пригрозив ружьями; а может, рядовые газовики и сами будут помогать вам, если объяснить, что да почему. А затем надо взорвать газопроводы, «Газпром» посыпется. Чиновники-олигархи запаникуют. Наперегонки будут сматываться из России. Только, думаю, в Европе и США они уже будут не нужны. Банковские счета их арестуют, а их самих отправят если не в тюрьму, то точно просить милостыню на улице.
— Ловко ты придумала, «луса»,— старичок одобрительно крякнул.

Вновь налил в стаканы и стопки собравшихся водку. К концу подходил второй литр.
— Если вы знате, как победить поганых чиновников, то будьте нашими лидерами. Если мы сделаем, как вы придумали, то всем будет лучше: русским, ненцам,— обращался к нам двоим молодой ненец, затеявший беседу.
— План придумать— ничего сложного. Главное, чтобы были люди, готовые этот план выполнять,— заметил я.
— Мы готовы. Правильно говорю?— молодой ненец обращался к своим сородичам.

Было ясно, что многие из них уже основательно пьяны. Но они одобрительно кивали.

Ненцы начали рассказывать о том, где через Байдарацкую тундру пролегли газопроводы, где расположились городки газовиков.

Когда ненцы наконец разошлись по своим чумам, мы с Революцией убежали подальше от стойбища, раскидались по прохладной траве и, держась за руки, обсуждали детали будущего ненецкого восстания. Звёздное небо казалось нам картой этого восстания, а свистящий ветер— его гимном.
— Представь себе, эти добрые, по-детски наивные люди смогут спасти от капиталистического рабства миллионы людей, десятки миллионов. После победы они будут ездить по городам, сёлам, аулам и хуторам. Будут рассказывать о своих подвигах. Будут смотреть, улыбаясь, в лица тех, кого они спасли,— воображала Революция.
— А мы после победы будем жить здесь. Всегда. Ведь тут тоже есть море. Карское. У нас будут одежды из оленьих шкур. И будут долгие полярные ночи, когда мы будем только вдвоём,— мечтал я.

На следующее утро мы зашли в чум к молодому ненцу. Снова заговорили о борьбе с чиновниками-олигархами. Теперь, не глядя на нас, он говорил:
— То, что вы придумали,— это же против закона. Это— преступление. А преступление— дело гиблое. Я о ваших словах всю ночь думал. И другие думали. Мы не понимаем, как преступление потом принесёт всем счастье. От зла только зло.
— Но вы, то есть мы никого не будем убивать. Мы только взорвём газопроводы. Металлические трубы, которые губят вашу тундру, взорвём.
— Я одно вам скажу: я пойду, если другие пойдут.

Другие жители стойбища говорили то же самое. Мне уже не хотелось снега, но очень хотелось убраться отсюда, вернуться в Тюмень и продолжить путь на восток.

Революция собрала палатку и складывала в рюкзак вещи.

Ненцы провожали нас. Как ни в чём не бывало улыбались. Говорили добрые напутствия. О вчерашнем разговоре никто не упомянул. Но ко мне приблизился тот самый старичок, тихо сказал, чтобы слышал только я один:
— Прости нас, что мы такие слабые.

Мда, получись тогда с ненцами, точно не расстался бы с Революцией. И как экзотично вышло бы: повстанцы в малицах, штаб в чуме, обтянутом оленьими шкурами, взрывчатка погружена на нарты рядом с сундучком, где хранятся родовые идолы, и снег, снег, снег вокруг. Подпольная бригада «Северное сияние». Позывные: «Полярный круг», «Ямал», «Сармик», «Нгарка нэ»… и точно не понадобилось бы ни одной человеческой жертвы.

Тамара Иезекильевна дважды уже приходила на собрания моих пенсионерок. Собрания происходят каждый день, по вечерам. В разных квартирах. Честно говоря, я даже не знаю точного количества своих пенсионерок. Но счёт уже идёт на сотни.

В самый первый раз Тамара Иезекильевна пришла на собрание, которое состоялось в квартире на Окатовой. Во второй раз — на улицу Гоголя. Там целый дом, деревянный, одноэтажный, принадлежит Евгении Петровне.

Всего имеется 31 место сбора — по одному на каждый день месяца. Плюс семь мест, где хранится взрывчатка, — это гаражи или сараи.

…Да эти брюхастые мудвины, чиновники, сами повторяют без конца: терроризм то, терроризм сё. Термин «терроризм» они используют как повод, чтобы увеличить собственную охрану, чтобы вводить новые запреты для граждан, чтобы раздувать ментовские подразделения. Но главный настоящий террорист в России — это государственный аппарат. Ржавый, наглый, беспощадный. Тяжёлыми клешнями, давящий любое проявление свободы. Государственный аппарат — это огромная машина убийств и издевательств. Пережиток сурового средневековья. Никакое светлое будущее невозможно, пока по русской земле ползёт, словно танк, эта машина, оставляя кровавые незаживающие раны. Каждый день мне приходится слышать лязг государства, — значит, где-то вновь случилась беда, вновь покатилась голова невинно загубленного. Управляют государством извращенцы, помешанные на насилии, — чиновники, чекисты, менты. И они стараются не допускать в свои кабинеты граждан, отгораживаются от граждан многими дверями, колючей проволокой и крупнокалиберными пулемётами. Потому что боятся, что посторонние увидят ящики их столов, их шкафы, то, что хранится в ящиках и шкафах, — черепа и кости невинно загубленных. Здания государственных учреждений в России, в сущности, огромные кладбища. Кладбища без крестов, без памятников, без ухоженных клумб.

Так я говорю пенсионеркам на собраниях. Но самого важного не говорил им ни разу. Не говорил им, *что* я пообещал Революции. Что хочу быть с ней снова. И нету, нету в человеческом языке слова, чтобы объяснить, что без неё мне… нету такого слова. Но есть пенсионерки, есть в сараях и гаражах взрывчатка, чтобы это слово мне не пригодилось.

Ещё говорю на собраниях: шахид — самое подходящее оружие, если ты не заканчивал военных академий, понятия не имеешь про наступательные и оборонительные операции, если у тебя нет бомбардировщиков, танков, профессионального спецназа и ракетных комплексов «Тополь-М». При использовании шахида твоя армия несёт минимальные потери, а противник теряет двух, трёх, четырёх, взвод, сводный отряд, мосты, казармы, боеспособность, направление удара, секретные карты, стратегические запасы. Даже если противник окопается и выставит минные поля, он не будет уверен, что водитель, который привёз провиант для офицерского состава, не является шахидом, а в кузове автомобиля действительно продукты, а не гексоген.

— Когда же займёмся делом? — спрашивает меня Мириам Моисеевна после собрания.

Откидываюсь на спинку стула и отвечаю:
— Скоро. Очень скоро.
— Не забудьте, что я должна быть первой. Или уж на худой конец, одной из первых. Не забудьте.
— Разумеется.
— Опять она первой просится? — подходит позже Екатерина Евграфовна. — Молода ещё, успеет. Первой обязательно должна стать я.

Подобные просьбы выслушиваю после каждого собрания. Иной раз, устав от них, принимаюсь насвистывать одну из тех мелодий, которые мы с Революцией насвистывали, когда жили на острове Русский.

До Владивостока мы с Революцией добрались в конце августа. Мы увидели — ну наконец-то! — море, когда скатывались по Океанскому проспекту к центральной площади. Водитель, подвозивший нас, полусонно мятыми губами выдал:
— Вон оно — море.

За лобовым стеклом, за очередью автомобилей, за огромным солдатом в будёновке, вплавленным в высокий постамент, за нагромождением труб и кранов серебрилось море.

Мы выдержали в городе пару дней и сорвались на остров Русский. Плыли из города на остров на пароме, забитом туристами и жителями острова, чей рабочий день закончился. Туристы, пооткрывав рты, щёлкали фотоаппаратами. Зигзаг бухты Золотой Рог, сопки Владивостока, увенчанные шпилями антенн, сухогрузы, военные корабли, пролив Босфор Восточный, маяки и далёкий, похожий на кекс остров Скрыплёва — становились фотографиями.

По Русскому — пешком. За посёлком Аякс свернули с пыльной дороги в маслянистый и душный лес. Цепляясь за когти пышных кустарников, отгоняя комаров, пробрались на берег — к бухте Парис. Там, в трёх метрах от прилива, поставили палатку с надеждой на Вечность. В палатке ночевали, а питались устрицами, мидиями и другими дарами моря.

По утрам, ещё до восхода солнца, через сиреневый воздух смотрели, как мимо Скрыплёва

проплывали корабли — отчего-то именно в это время их было особенно много.

Солнце вырывалось из-за горизонта, делило окружающий мир светом и тенями. Из воды возле берега вдруг выпрыгивали торпедообразные пиленгасы. Гудели моторы на лодках выходивших из Аякса рыбаков.

К полудню мир замедлялся и впадал в дремоту. В полдень мы, накупавшись, лежали в зелёной траве, читали, или рисовали, или ловили бабочек, седлали их и летели к вечеру.

Понятие «пампасы» не являлось для нас чем-то далёким. Пампасы иногда вываливались из дырявых карманов моих шорт или складок её длинной полупрозрачной юбки.

Это был тот период жизни, когда даже самые незначительные поступки, дела, даже простое шевеление пальцами на ноге таило в себе всю миллиарднолетнюю эволюцию Вселенной. Тот период жизни, когда величайшим чудом кажется трещание цикад, или погоня крабов за отливом, или её неслышное приближение за спиной — и вдруг поцелуй в шею. Тот период жизни, когда бесшабашно шагаешь по ветхому мосту реальности и совершенно не задумываешься, что следующий шаг может продолжиться падением в бездну.

В одну из ночей мы, разгорячённые и бесстыжие, держась за руки, пошли в море. Первый раз — в ночное море. Увязли в его солёном тепле. Неожиданно от наших тел, погруженных в воду, начали разбегаться звёзды. Удалялись и гасли.

— Смотри-смотри, — наперегонки мы делились друг с другом новым открытием.

— Звёзды. Боже мой! Значит, им тоже нравится море, значит, они тоже умеют плавать.

— Думаю, это — звёзды-дети. Взрослые звёзды работают, сидят на небе: светят людям, космическим путешественникам, помогают найти дорогу потерявшимся. А их дети играют и резвятся в море, оно для них — как детский сад. Днём взрослые звёзды забирают своих детей на небо — домой.

— Конечно. Малюткам очень интересно, что за не похожие на них создания разгуливают в море, поэтому они заспешили к нам.

На следующий день двое жителей Аякса, зашедшие к нам, жестоко искромсали всю прелесть минувшей ночи:

— Ну, это просто планктон был. Хе-хе. А вы понавыдумывали чёрт знает чё. Хе-хе.

Когда они ушли, разозлённая Революция сказала мне:

— Надо им отомстить. Тупое быдло. Не верят в чудеса. Не верят, что это были настоящие звёзды. Никакой не планктон! Звёзды это! Мы им отомстим.

— Успокойся ты.

— Надо им отомстить.

— Какое нам до них дело? Главное, что нам вдвоём хорошо.

— Надо. Отомстить. Понял?

Она требовала размолотить разум вообще всех жителей Русского. Сорвать с них маски серьёзности и сжечь все их вещи. С Революцией случилось то же, что случается с люстрой, упавшей с многометровой высоты. Люстра разбивается на множество мелких осколков, о которые легко пораниться при неосторожном движении, и больше не вызывают восхищения её изящные формы и игра света.

Я продолжал защищать жителей острова. Мы спорили, уже хватаясь за самые жестокие оскорбления.

— Ты тоже обыватель! Жалеешь никчёмное быдло и сам становишься таким же быдлом! Они неблагодарны, они скользкие, бездушные, у них внутри только желудки, у них нет душ! Зачем ты их жалеешь?! Жалость — вообще качество сопливое и воняет больничными тряпками! — кричала она.

— Ты достала со своей постоянной борьбой против! Против чего угодно! Лишь бы против! Ты же неспособна быть счастливой, потому что тебе постоянно надо кому-нибудь, чему-нибудь противостоять! Надо постоянно ломать рёбра и строить баррикады! Да ты не видишь ни фига из-за этих баррикад. Только ждёшь нападения врагов и вытираешь гарь с лица. Дура!

Она ловко схватила нож, которым день назад я вырезал рыбок, и ударила меня в левое плечо. На коричневую кожу брызнула кровь. Революция тут же упала на колени и заплакала.

— Да, ты — дура! — и я направился в сторону леса.

— Нет, стой! Пожалуйста, не уходи! Прости меня! Милый, не уходи! — кричала она.

— Не смей идти за мной!

На пароме вернулся в город. Пару дней бродил по городу. Успокаивался, залечивал рану.

Вернулся на остров. На берегу Париса стояла палатка. Я предчувствовал примирение. Как мы будем просить друг у друга прощение. Слова скомкаются в наших объятьях и поцелуях. Она, конечно, расплачется. Я, конечно, буду её успокаивать. Гладить её чернющие волосы. Наверное, она сидит в палатке, предполагал я, сжалась в комок и ждёт, когда же я вернусь. Наверное, она очень переживала эти два дня. Пожалуй, было очень жестоко с моей стороны исчезать на целых два дня. Открываю палатку… никого. Мои вещи на месте. Но её рюкзак, все до единой её… она совсем-совсем ничего не оставила из своих вещей.

Вы даже не представляете, на что действительно способны спивающиеся военные офицеры, нищие командиры частей и жадные начальники тылового обеспечения. У некоторых из моих пенсионерок имелись родственники из числа действующих военных. Как раз те самые спивающиеся офицеры, нищие командиры частей и жадные начальники тылового обеспечения. У них покупал первые гранаты, первые килограммы пластита пвв-4 и детонаторы. Покупал под предлогом «для рыбалки». С помощью взрывчатки в Приморском крае рыбачит достаточно людей — так что ничего странного, к тому же военным нужны были деньги. Со временем стали поступать предложения о покупке ящиков с боеприпасами. Предлагали даже ракету класса «земля — воздух».

Все боеприпасы покупались на пенсии и заначки «на похороны».

Пенсионерки — бывшие работники химических производств и сотрудники химических институтов, изготовили «пояса шахидов». Почти четыре сотни.

Для первой атаки понадобится 150 поясов.

Революцию искал по всему острову. Несколько дней. Потом искал в городе. От отчаяния даже звонил в морг. К счастью, её там не оказалось. Только через два месяца выяснил, что она улетела в Пхеньян. Попросила политическое убежище. С ней встречался сам Ким Чен Ир и лично выдал паспорт гражданки КНДР. Понятия не имею, каким образом ей удалось провернуть подобное. Но было бы очень странно, если бы у неё подобное не получилось.

Написал ей письмо. Она ответила.

«Здравствуй-здравствуй,
у меня всё прекрасно. Не ожидал? Да, у меня сейчас жизнь, пожалуй, даже лучше, чем когда мы были вместе.

Не надо меня одну винить. Мы были оба виноваты в том, что случилось. Но больше виноват ты. Я же просила тебя: никогда не бросай меня, никогда не уходи от меня. Много-много раз просила. Ещё задолго до того, что случилось на острове. Но ты сделал так, как сделал. Так со мной всегда поступали. Были и те, кто просил, как и ты, вернуться. Не возвращалась. Как и ты, обещали перевернуть ради меня мир, Галактику раскрутить вспять… чего только не обещали. Ты обещаешь ради меня разрушить государство. Ничего ты не разрушишь. Не сможешь. Если со мной не смог, то тем более без меня не получится.

Пожалуйста, не проси меня вернуться. Если хочешь, можешь писать, постараюсь отвечать. Но не проси вернуться, в противном случае ни единой весточки от меня не получишь.

Ре».

Написал ей второе письмо. Совсем короткое:

«Ради тебя смогу многое. Докажу,

навеки твой РА».

Ирлан Хугаев

Влюблённый волк

Завещание

Ныне запомните, дети:
Всё идеальное зыбко —
Роза и дева в цвете,
Рим, вдохновенье, улыбка;

Ваза старинной работы,
Скрипка, пчелиные соты,
Сопок сновиденных кромка —
Всё идеальное ломко;

Всё совершенное ново —
Это проверено делом —
Каждое в песне слово,
Каждая песня в целом…

Это не боль, не муки —
Это всего прекрасней:
Просто любить от скуки
То, что всего напрасней.

Дети, любите это —
Строго, себе, бесслёзно.
Это спасёт поэта.
Всё остальное — поздно.

Влюблённый волк

Ты рассказывала мне
Про сирень в твоём окне,
Про кота (похоже, Мурку),
Опрокинувшего турку,
Про ужа и про ежа,
Про влюблённого бомжа.

Ты меня не сбила с толку:
Не пристало плакать волку;
Положа клыки на полку,
Плачут волки втихомолку.

Неприятности

Дождик капает с небес,
Мокнет поле, мокнет лес;
Только речке всё равно —
Речка мокрая давно.

Татьяна Масс

Сестричка

Вечером Таня отправилась на Ленинградский вокзал. Прежде чем выйти из подъезда, она, как подводник в перископ, окинула улицу через стекло входной двери: старух на скамейке не было.

Если бы не дождь, бабка Лидия в окружении своих подруг сидела бы сейчас на скамейке у подъезда, щёлкая семечки и комментируя проходящих мимо соседей, вызывая визгливый смех пенсионерок, со всех сторон облеплявших свою напористую крепкую атаманшу.

У них была своя особая жизнь—у старух, жительниц старого московского двора. Они то шумно ссорились между собой, то впадали в крепкое единомыслие, поддерживая друг друга морально и даже, случалось, физически во время участившихся конфликтов между соседями. Пенсионерки знали про всех и каждого во дворе: составляли списки подарков для молодожёнов или для новорождённых; собирали деньги по квартирам на венки для почивших соседей; выступали посредницами между поссорившимися супругами; собирали народ на вече из-за затянувшегося ремонта теплотрассы в их районе.

А идейным руководителем, судьёй и авторитетом старого московского двора была она—бабка Лидия.

Почему Лидию так слушались и почитали старухи, понять со стороны было невозможно. Она сидела на скамейке, устало сплетя лодыжки рыхлых ног, и к ней, как к директору на приём, тянулись старухи со своими вопросами. Разбиралась Лидия быстро, вершила свой мудрый суд, как Соломон: без аппеляций. При этом была нетерпима к инакомыслящим, впадая в авторитаризм, что было немудрено при её единоличной княжьей власти в этом удельном московском дворе.

Лидия её—Таню—никогда не задевала, просто смотрела с нахальным прищуром, как будто знала что-то такое про неё, сначала школьницу, затем студентку.

Зато она изводила бывшую Танину одноклассницу Веру, работавшую танцовщицей в варьете на Тверской.

—Ну как ты, Вера, там танцевала вчера? С голой задницей или всё же прикрыла срамоту свою?—кричала на весь двор Лидия, чуть завидев скорбную после перепоя Веру, развешивавшую колготки на балконе.

—Да просто старая терорристка,—пожимала плечами Вера, выкуривая нервно сигарету.—Я вообще не обращаю на неё никакого внимания.

Таня чуть ли не с детства привыкла встречать тяжёлый взгляд Лидии с вызовом: проходила, подняв голову, и старалась даже внутренне не уступать этой вредной дворовой управительнице. Но всё-таки, когда Лидии не было на скамейке у подъезда, девушке было легче: не нужно было напрягаться, чтоб достойно встретить совиный, зорко-равнодушный взгляд Лидии из-под седых мохнатых бровей.

Таня училась на журфаке. Только что была зимняя сессия, а уже весна.

Сессия через месяц, но сейчас у неё стажировка в журнале «Огонёк». Сегодня утром Таню вызывали к редактору отдела «Социальная жизнь».

Удивительно, но именно ей было предложено сегодня же выехать в Питер и привезти оттуда срочный репортаж из Военно-медицинской Академии, куда только что доставили борт из Чечни—новую партию раненых солдат.

—Ваши материалы я читал, уверен, что справитесь,—сказал редактор.

На следующее утро Таня была уже в Питере. В Военно-медицинской академии её провели к заместителю главного врача. Пожилой полковник медицинской службы не был предупреждён о визите журналистки и устало слушал её вообще, видимо, не понимая, зачем находится здесь эта девушка. Зачем ей это? Этот вопрос был прямо написан на его лице, но он всё же вызвал заведующую отделением Юсупову Ирину Васильевну, представил ей Таню и попросил показать отделение.

При входе в корпус Тане выдали халат. Вдвоём с заведующей они шли длинными коридорами в лёгких парах хлорки, через вестибюли, лестничные марши, где заведующая отделением застукала куривших на лестнице молодых ребят в синих пижамах.

Один из них—худой парнишка на костылях—застеснялся, спрятал окурок за спину. А высокий румяный парнище лет 19-ти, продолжал курить.

—Семёнов, ты недавно на операционном столе лежал. Что, уже забыл?

Семёнов, ничего не боясь, нахально улыбаясь и не сводя глаз с Тани, спросил у заведующей:

—А кто это, Ирина Васильевна? Новая сестричка?

—Так, Семёнов, через пять минут я приду к тебе в палату,—уводя за собой Таню вверх по лестнице, рассерженно бросила ему заведующая.

—Это они так медсестёр называют, как во время Великой Отечественной,—сестричками,—уже другим голосом объяснила она Тане вопрос Семёнова.

Таня на ходу чиркнула в своём блокноте: «Сестричка».

В отделении, куда привела Ирина Васильевна Таню, закончился обход врачей. Раненые ещё оставались в палатах, но те из них, кто мог передвигаться, уже поднялись, зашевелились, разговорились. При виде заведующей эти молодые парни, израненные, искалеченные, перевязанные бинтами, притихли, как будто в палату вошёл их командир. Некоторые из них были ещё очень слабыми, с особым выражением в глазах, видевших смерть.

Ирина Васильевна по-военному чётко представила Таню:

— Это журналистка из Москвы. Будет писать про вас статью для журнала…— и затем бросила медсестре, вошедшей в палату: — Оля, я ухожу на консилиум, потом покажи журналистке отделение.

— Нам сейчас будут уколы делать, вы бы вышли минут на пять,— тихо попросил Таню раненый, совсем мальчик, который лежал на кровати у самой двери.

— Да-да, конечно, я выйду пока…

Переждав за дверью, пока закончатся процедуры, она вернулась в палату.

Оставшись одни, без врача и медсестры, раненые оживились немного. Они накинулись на неё с вопросами и мнениями:

— А зачем писать про нас?

— Нет, пусть пишут — пусть знают, как мы там загибались, погибали.

— А за что погибали?

— За Родину!

— За генералов, а не за Родину!

Раненый мальчик у двери, видя её растерянность, посоветовал ей:

— Не слушайте вы их — просто задавайте им свои вопросы…

Таня не могла сосредоточиться. Она никогда ещё в своей жизни не видела столько искалеченных людей. Почти её ровесников. Одно дело — видеть палату с ранеными в кино, и совсем другое — в жизни. Она забыла заготовленные вопросы, просто смотрела на них — и впервые в жизни ощущала бесполезность своей профессии. Даже если она напишет блестящую, точную статью, которую прочитают миллионы подписчиков их журнала, это не вернёт отрезанные руки и ноги, не восстановит искалеченное здоровье этих парней.

Раненый, что лежал у двери, казалось, понимал всё, что творится с ней.

Он почти приказал ей:

— Да вы не расстраивайтесь так, выполняйте ваше задание.

И Татьяна взяла себя в руки. Включила диктофон, подошла к кровати самого здорового из них и начала интервью. Потом к другому, который сам захотел рассказать кое-что. Несколько человек были из одной части — они попали под обстрел новым вооружением, типа «катюш». Многие из их друзей остались там… Они и сами всё ещё оставались там, в горах, злые, изболевшиеся душой, измученные физическими увечьями и ранами. Тане нужно было с большим терпением вести беседу, не давая разгоняться ни эмоциям, ни профессиональному интересу: раненые быстро уставали, начинали задыхаться то ли от воспоминаний, то ли от боли…

Минут через 30 заглянула Ольга:

— Вы ещё не закончили? А то у меня сейчас есть время показать вам наше отделение.

— Пойдёмте — согласилась Таня.

Она встала, обошла палату, пожимая руки парням, с которыми у неё установилось взаимопонимание. Раненые, кажется, не хотели, чтобы она уходила. Те, кто был поздоровее, тянули руки, чтоб прикоснуться к её руке, и ждали, чтобы она сказала им что-нибудь на прощанье…

— Знаете, я к вам ещё загляну, не для репортажа,— пообещала им девушка. Хотите, принесу вам что-нибудь вкусного?

— Мороженого,— попросил мальчик у двери. Он задержал её руку и сказал: — Вам бы Савельева увидеть. Это настоящий герой. Он в этом госпитале лежит.

Ольга показала ей процедурный зал, кухню, другие палаты, где выхаживали тяжело-раненых. Татьяна с побледневшим лицом видела, как санитарка вынесла из такой палаты в синем эмалированном тазу окровавленные тряпки. А за следующей дверью раздался громкий плач мужчины.

— Они что, плачут? — остановилась как вкопанная Таня.

— Плачут иногда… А вы про что пишете? — спросила Ольга.— Про госпиталь или про раненых?

— Тема звучит: раненые в госпитале.

— И думаете, что это что-то может изменить? Остановить войну?

— Нет.

— А зачем тогда писать?

— Нужно, чтобы все знали… Может быть, тогда что-то и начнёт меняться… Вы не могли бы, Ольга, отвести меня к Савельеву?

— Вы про него тоже слышали? К нему недавно приезжало телевидение, он отказался разговаривать.

— Я только сегодня услышала про него. А что он сделал?

— Савельев уже давно у нас — около года. Он совсем ещё мальчишка, ему недавно исполнилось двадцать лет… Он прикрыл своих товарищей во время боевой операции, увёл чеченцев за собой в другую сторону. Спас своих, но сам остался калекой. На всю жизнь… Еле спасли, перенёс восемь сложных операций за полтора года. Сначала в другом госпитале, потом к нам перевели.

— Ольга, отведите меня к нему, пожалуйста, я напишу про него. Может быть, чем-то поможет ему эта публикация после его выписки.

Савельев лежал в одиночном боксе с полупрозрачными стенами. В помещении стоял тяжёлый запах, раненый был накрыт одеялом, несмотря на влажную духоту.

Таня видела искалеченный, испорченный контур человеческого тела под одеялом. Казалось, что там лежит всего половина тела…

— Здравствуйте,— робко сказала она, присаживаясь на маленький табурет рядом с кроватью. Раненый слегка встрепенулся, открыл глаза, внимательно посмотрел на девушку.

Рассмотрев её, он опять лёг прямо на подушке, глазами в потолок, но ответил:

— Привет.

— Могли бы вы со мной поговорить?
— Могу.

Она начала мягко объяснять ему, что будет писать статью, поэтому хотела бы задать ему пару вопросов.
— Валяй.

Потом он закрыл глаза и стал слушать её голос. Таня почувствовала, что её приготовленные вопросы, её рассуждения об этой войне—это всё какая-то никому не нужная туфта. Что ей не понять никогда того, что довелось пережить ему. И что этого вообще никому в целом мире не понять… Она замолчала, теряя остатки уверенности в нужности своего репортажа. Повисла тишина, было слышно, как в коридоре санитарка моет пол, громыхая ведром.

Таня вздрогнула: к её бедру прикоснулась и медленно поползла его рука. Она смотрела на эту руку, хотела что-то сказать и… не могла оттолкнуть его.

Его глаза смотрели в потолок, но теперь они уже были не пустыми, а загорелись изнутри каким то белым светом—белыми стали глаза. Таня уже никогда не забудет его глаз.

Он прошептал хрипло:
— Поцелуй меня.

Она, как загипнотизированная, наклонилась к нему, чтобы поцеловать в щёку. Но он крепко обнял её своей единственной рукой и впился в губы, не отпустив её даже, когда в бокс вошла медсестра…

Ольга постояла и вышла…

Когда он отпустил девушку, у неё—ироничной, независимой—кончилось последнее мужество. Всё, что она увидела и услышала сегодня, собралось острым комком в сердце, и если бы она не заплакала, этот комок разорвал бы ей грудь.

Он внимательно посмотрел на неё и спросил со злой, как ей показалось, усмешкой:
— Что, жалко меня?

Она слишком торопливо покачала головой, продолжая лить слёзы и сморкаться. Передохнув от подавленного плача, она сказала ему:
— У тебя же всё ещё будет, ты выздоровеешь, выпишешься из госпиталя, женишься… Ты такой красивый, за тобой девчонки ещё будут бегать. Живи, выздоравливай, не умирай, милый! Я буду молиться за тебя! Как тебя зовут?

Он молча отвернулся.

Таня больше не могла оставаться в госпитале. Вытирая слёзы, она быстро пошла по коридору к выходу, не попрощавшись ни с заведующей, ни с Ольгой.

Вернулась в гостиницу, проплакала весь вечер в своём номере. Её сострадание к этим парням было так сильно, что сердце не выдерживало и начинало болеть… Если бы ей сказали сейчас, что кому-то из них нужна почка или кровь, она бы ни на мгновенье не засомневалась, чтобы отдать им…

Будучи в Москве она планировала погулять по Питеру после госпиталя, сходить на Мойку к Пушкину, но так и просидела весь вечер в номере, вытирая слёзы, думая об увиденном сегодня, вспоминая того парня… Её душа не могла смириться с тем, что этот человек так дьявольски изуродован, искалечен на всю оставшуюся жизнь… И другие… Боже мой! Почему Ты наказываешь лучших?

На другой день она купила фруктов, конфет, мороженого и принесла в госпиталь. Её не пустили в отделение потому что был перевязочный день. Она вызвала, Ирину Васильевну, попросила передать гостинцы для раненых из той первой палаты. И, помедлив, спросила:
— Ирина Васильевна, а как зовут Савельева?
— Савельева? Андрей. Его сегодня ночью перевезли в реанимацию.
— Он не умрёт?—испугалась Таня.
— Ой, не знаю,—вздохнула заведующая.—Очень тяжёлый…

Вернувшись в Москву, она, подходя к своему подъезду, остановилась как вкопанная: у самой входной двери стояла, прислонённая к стене, крышка гроба.
— Кто умер?—обмирая от неизвестности, спросила она у дворника, подметавшего дорожку.
— Бабка Лидка померлась,—с неистребимым акцентом ответил татарин.—Сегодня уже хоронить будут. Мы вчера деньги на похороны собирали.
— Умерла?!—Тане всегда казалось, что такая боевая старуха будет жить вечно… А она «померлась».—От чего она умерла?
— Врач сказал: Сердце у Лидии плохое было—всё рваное.

Поминки устроили в однокомнатной квартире бабки Лиды. Людей собиралось много: одни приходили—другие уходили, чтоб уступить место новым гостям в заставленной мебелью бабкиной квартире. На стенах висели фото в рамочках—Лидия молодая, в военной гимнастёрке, с завитушками из-под пилотки, с ямочками на щёчках.

Помянуть её пришло несколько военных, бывших однополчан Лидии. Один старик в пиджаке с медалями всё время вытирал слёзы.

Седой полковник пришёл позже всех. Ему налили водки, чтоб помянуть… Он помолчал и сказал тост:
— Эту женщину, Лидочку, я не забуду никогда, потому что она спасла мне жизнь. Она спасала жизнь многим, потому что была сестричкой военно-полевого госпиталя. Все, кто пришёл сюда,—хоть их уже мало осталось—скажут вам, какой это был человек—Лида. Но вы теперь всё реже и реже будете видеть фронтовиков, пришедших с Великой Отечественной: старые умирают, молодым жить да жить… Я был ранен на Волховском фронте в сорок третьем году в правое предплечье и голову. Осколки были извлечены, раны вычищены, но у меня был послеоперационный шок—не хватало обезболивающих средств. Я тогда был на краю жизни и смерти. Лидочка не отходила от меня ни на шаг: поила с ложки, гладила мою руку, разговаривала со мной. «Миленький»,—говорила мне Лидочка.—У тебя же всё ещё будет, ты выздоровеешь, выпишешься из госпиталя, отвоюешь, женишься… Ты такой красивый, за тобой девушки ещё будут бегать. Живи, не умирай, милый!» Так она говорила мне, и от её слов шла такая сила,

что я и правда выкарабкался, отвовевал, женился,— полковник смахнул слезу.— А сегодня мы её схоронили, нашу Лидочку…

Таня, слушая полковника, замерла. Ей после Питера было по-настоящему понятно каждое его слово, все его чувства. И чувства самой сестрички — Лидочки: сострадание, милосердие, поднимающее человека на такую жертвенную высоту, что всё остальное, касающееся себя, своей жизни, благополучия,— сгорало без следа…

После полковника встал за столом старый солдат в пиджаке с наградами и, утирая слёзы ладонью, на которой не хватало трёх пальцев, рассказал:

— Лидка наша была красавицей, но она ни красоты, ни жизни не берегла для нас — раненых. Меня раскопала после взрыва в окопе, на себе вынесла к лазарету… Я тогда потерял ногу, пальцев вон лишился на руке. Кровотечение не могли остановить… Лида меня и целовала, и к груди прижимала, и нянькалась со мной — всё просила меня, уговаривала, чтоб я не терял силы духа. И я выжил…

Много ещё говорили про Лидочку, а она — молодая и задорная — смотрела на своих гостей с фотографий и куражисто улыбалась им, своим постаревшим раненым, мальчикам, не забывшим её, пришедшим с ней проститься…

Когда Таня поднялась к себе домой, она сразу же позвонила в Питер, в госпиталь, в отделение тяжелораненых, на вахту.

— Второе отделение.

— Скажите… я хочу узнать о состоянии Андрея Савельева.

— А кто спрашивает?

— Татьяна Жукова из Москвы.

— А кем вы ему приходитесь?

Я, я ему… сестричка.

— Сестра? Ему уже лучше. Состояние не опасное для жизни. Температура тридцать восемь и 6. Он ещё в реанимации, но жить будет. Врач сказал сегодня, что Савельев попросил у него протез. Чтобы учиться ходить.

— Пусть ему будет лучше, пусть всем им будет лучше — этим исстрадавшимся мальчикам, Господи, помоги им!

Таня подумала перед сном, что бабка Лидия, уходя, как будто передала ей свою молитву «сестрички» и свою способность к тому жгучему живому состраданию, от которого, наверное, и изорвалось, в конце концов, сердце сестрички Лидочки.

Потому что Таня знала уже, как болит и рвётся сердце от сострадания…

Клуб читателей

Ульяна Лазаревская

Навстречу «Северной Авроры»

Передо мной двенадцатый номер питерского журнала «Северная Аврора». Двенадцатый просто по счёту, поскольку жизни литературного «толстяка», успевшего завоевать особый авторитет у читающей публики, всего-то четыре года. Уже в самом начале пути «Северная Аврора» заслужила у критиков почётный титул «интеллигентного журнала». Например, ещё в 2006 году Александр Олейников отметил, что «Северная Аврора» является изданием «необыкновенно интеллигентным, что в наше время чрезвычайная редкость». Эту интеллигентность Евгений Лукин, главный редактор журнала, тщательно культивирует. Сей факт отмечен даже в аннотации к каждому выпуску: «Журнал ориентируется на традиционные духовные ценности». Это значит, видимо, буквально следующее: «Искателям «чернухи» и «клубнички» не сюда». Действительно, здесь «жареным не пахнет», но большинство номеров «Северной Авроры», коль скоро они уже попали в ваши руки, невозможно просто перелистать. Превосходного литературного качества эксклюзив обязательно остановит ваш взыскательный взгляд. В томике, что я сейчас читаю, это стихи Михаила Яснова, Георгия Чернобровкина, рассказы Михаила Блехмана. Журнал настойчиво поддерживает интересных переводчиков — и нам предоставляется возможность прочесть переводы английских стихов Владимира Набокова и Абхая Курама, выполненные Алексеем Филимоновым. А стихи сербских поэтов представляет переводчик Александр Шево. Не говорю уже (хотя отдельно надо бы!) о ценнейших культурологических материалах о Сокурове (Николай Бех), Розанове и Понже (Александр Беззубцев-Кондаков), Викторе Максимове (Борис Друян) и о посмертных публикациях Анатолия Соколова и Константина Крикунова. Интересны молодые, интересны русские писатели США, Германии и Израиля. Интересен тот ракурс изобразительного искусства, который на этот раз предлагает нам «Северная Аврора».

Так что, уважаемые читатели, не пропустите двенадцатый номер, если он попадётся вам на глаза. С редакцией же «Северной Авроры» можно связаться по адресу:

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 1, оф. 12. E-mail: lukin.evgeny@yandex.ru

Людмила Куликова

Волшебные жёлуди

Диктуйте, фрау Даун!

Её звали Вероника Штамм. Она не была китаянкой, но считала, что глаза у неё китайские. Когда спрашивали: «Кто ты?»—отвечала: «Монголоид». Так её научили. На самом деле в ней текла густая алая немецкая кровь.

В дамской сумочке Вероники всегда лежало удостоверение, где указывалось, что она «инвалид детства». Иногда Вероника доставала документ, осторожно открывала, низко склоняясь и сутулясь, и пыталась вчитаться в эти два слова. Взгляд елозил по буквам, приплюснутые губы беззвучно шевелились, дурашливый вид становился ещё дурашливее. Слюна скапливалась во рту, готовясь вот-вот перелиться через нижнюю чуть оттопыренную губу. Почувствовав избыток жидкости, Вероника шумно втягивала слюну и сглатывала её, причмокивая губами.

Когда-то она уже слышала подобное: инвалид войны. Вероника много думала над этими словосочетаниями. «Инвалид войны—человек, который пострадал от войны,—раскладывала по полочкам Вероника,—а инвалид детства—человек, который пострадал от детства». Но Вероника оставалась недовольна умозаключением, потому что знала: она получилась такой ещё до начала детства, которое нравилось, и даже хотелось снова туда вернуться, потому что там она была счастлива, там родители звали её оранжевой Никой. Почему так? Потому что улыбка оранжевого цвета.

Вероника считала, что страдания приходят извне. Поэтому она никак не могла быть инвалидом. Детство—в ней, а неприятности, которые она испытывала,—всегда от других людей. Внутри у неё ничего не болело, все органы находились в порядке, она всё делала самостоятельно и даже готовила сама себе еду. Другие инвалиды не могут делать то, что умела Вероника.

Она знала, что у неё на одну хромосому больше, чем у здоровых людей и у тех инвалидов, которые не обслуживают себя сами. В этом—её особенность. Очень хотелось гордиться своей хромосомой-плюс, вот только если бы не отношение к этой особенности других людей. До тех пор, пока Вероника не ходила в школу, ей жилось очень хорошо. Она играла с детьми, и ни один ребёнок не замечал дефекта. Наоборот, дети Веронику очень любили: хохотушка, так заливалась смехом, что остальные, глядя на неё, начинали тоже безудержно смеяться.

Когда Вероника смеялась, глаза совсем пропадали, вместо них едва виднелись рыжие чёрточки ресничек. Смеющийся рот полностью открывал ряды редких зубов. В щель между каждым зубом смог бы запросто поместиться ещё один такой же зуб. Так что видок был ещё тот. Вероника стала понимать это много позже. А в детстве никто уродства не замечал. Необыкновенную доброту замечали. Она, как липучка, притягивала к себе подруг, а когда сверстники пошли в школу, все подруги куда-то подевались.

Потом уже никто так крепко не дружил с Вероникой. В школе над ней насмехались, особенно мальчишки. Вероника очень расстраивалась из-за этого и часто, возвращаясь домой после уроков, ревела громко. И никто не мог её утешить. А дальше—больше. Переходя из класса в класс, одноклассники менялись. Становились выше ростом, изменялись их черты лица. В девочках появлялась женственная округлость, мальчики превращались в молодых мужчин. Только Вероника росла по сантиметру в год, а потом и вовсе остановилась. А детское выражение впечаталось в её личико на всю жизнь.

Вероника осталась маленькой, кругленькой и некрасивой. Как и многие дауны, носила очки с мощными диоптриями. Смотрела на себя в зеркало и думала: «Есть люди ещё меньше ростом—это дети. Значит, я—не совсем маленькая. Я средне маленькая. У меня маленькие ножки и ладошки. Но они такие прилежные, как у взрослых, и умеют много чего делать».

С возрастом речь её немного выправилась. Вероника уже меньше шепелявила и многие слова научилась произносить правильно. Она стала следить за своей одеждой. Была всегда чиста и опрятна.

Единственное, чем она так и не овладела, это—чистописание с правописанием. Писала криво, несуразно, с невероятными ошибками. Дисграфия стала пожизненным приговором. И если надо было заполнять какие-то бумаги или бланки, то Вероника диктовала, а другие люди записывали под диктовку. Добрые писали, а недобрые отказывались заполнять бланки.

Постепенно Вероника научилась жить со своей инвалидностью. У неё появился друг. В Доме инвалидов, куда она иногда ходила, она познакомилась с Томми родом из Марокко—там жили его родители. Говорил он на английском языке, а глаза у него оказались такие же японо-китайские, как и у Вероники. Когда Томми приглашал её поужинать, то они шли в китайский ресторан, ели обязательно палочками, как настоящие китайцы, и Вероника чувствовала себя снова счастливой.

Единственное, что мешало, это взгляды некоторых людей. Она замечала, как кто-то, не скрываясь, разглядывал её, при этом лицо его принимало совершенно дурацкий вид. Такие люди смотрели так, как если бы она была дурочкой, или умственно отсталой, или ещё какой-нибудь инвалидкой, что вообще не соответствовало действительности. Вероника считала себя нормальной. Немного медлительней, чем другие, но не дурындочкой. И если кто-то догадывался об инвалидности, то только по глазам. Так думала Вероника.

В Доме инвалидов предложили участвовать в проекте, посвящённом людям с синдромом Дауна. Проект носил смешное название: «Поцелуй в ушко». Как-то спросили Веронику, есть ли что-то, что поразило её больше всего на свете.

— Да,— ответила Вероника,— Поцелуй. Поцелуй в ушко.

— Почему?.

— Потому что всё в одно ухо влетает, а в другое вылетает. А поцелуй в ушко — остаётся. Это щекотно и запоминается на всю жизнь.

В рамках проекта выпускался журнал с таким же названием. Люди с синдромом Дауна публиковали в нём свои впечатления и мысли. Некоторые писали истории сами, а некоторые, как Вероника, диктовали другим. Вероника снова летала счастливой. До сих пор встречались книги, репортажи и статьи о даунах. Но никто никогда ещё не давал слова таким, как она. Теперь смысл её жизни окрасился в новые тона.

— Вероника Штамм?

— Да.

— Проходите. Располагайтесь.

— Спасибо.

— О чём будем сегодня рассказывать?

— Я видела сокровища Августа Сильнейшего.

— Прекрасно! Итак! Диктуйте, фрау…

— Сокровища Августа Сильнейшего. Когда я вошла в сокровищницу, то почувствовала себя принцессой. Я видела вблизи блестящие камешки. Мне нравится блеск и всё блестящее. Я собираю такие камешки в шкатулку. Она закрывается за замок. Там драгоценности. Никто не должен знать об этой шкатулке. Моя любимая драгоценность называется «Праздник князя Августа». Я хотела бы жить во времена Августа. Я бы с ним разговаривала. О сокровищах.

Мама

Есть очень красивые клиники. Светлые, с чистыми, блестящими полами, высокими потолками и вымытыми окнами. В них привидениями передвигаются опрятные больные. На фоне всеобщего больничного сияния страшны их глаза — тусклые, жалостливые, вымаливающие сострадание. Семенящие походки и разговоры шёпотом оказывают более гнетущее впечатление, чем атмосфера похорон. Здесь персонал вышколен, улыбки вынужденны, а уколы делаются больнее. Конечно, я не хотела определять мать в такое место. Отвезла в обычную районную больницу.

Пол в палате давно не мылся, пушистые клубы пыли прятались под кроватью. Когда дверь открывалась, сквозняком выгоняло их из укрытия, и они весело перемещались по центру комнаты. В огромные щели оконных рам была заткнута серо-жёлтая техническая вата. Торчала клоками по всему периметру окна, украшенному двумя тощими выцветшими занавесками. На потолке и стенах коричневые разводы протечек сплетались в причудливые узоры.

Мать лежала на высокой койке. Я стояла рядом и смотрела ей в лицо.

— Только не вздумай плакать. Здесь хорошо. Душевные больные, внимательные сестрички. Если что понадобится — кричи. И погромче, иначе могут не услышать. Поняла?

Мать уставилась в один из ржавых разводов на стыке потолка и стены и молчала. Плотно сжатые губы и образовавшиеся жёсткие складки вокруг них выдавали несогласие. Я чувствовала, что внутренне она сопротивляется моему решению определить её именно сюда.

— Обживёшься, привыкнешь — понравится. Врачи сказали, пробудешь здесь недолго — каких-то пару месяцев. Ну, всё. Побежала. Не скучай.

Я наклонилась, чтоб поцеловать мать в щёку, но она резко отвернулась к стене, и мои губы уткнулись в давно не мытые волосы, источающие старческое зловоние. Это было единственное место на её теле, которое распространяло запах старости. Меня чуть не стошнило. Я сдержалась, распрямилась, похлопала мать по плечу и покинула палату.

Я медленно шла по длинному узкому коридору. На сестринском посту больной открыто флиртовал с дежурной. Он устроился бедром на столе, игриво смеялся и во всеуслышание говорил ей комплименты. В комнате отдыха пятеро пациентов «забивали козла», с азартом стуча костяшками по столешнице. Дверь в одну из палат была широко открыта, оттуда доносился громкий плач. По коридору навстречу попадались быстро снующие к общему холодильнику и обратно в палаты тётки в цветастых домашних халатах со свёртками в руках. Больница жила естественной неприукрашенной жизнью.

Я вышла во двор. Это был небольшой уютный сквер. Высокие берёзы и осины создавали иллюзию трепыхания пространства: мелко подрагивали листочки, шевеля солнечные лучи, рассеянные сквозь сито листвы. Моего спокойствия хватило до ближайшей парковой скамейки. Я присела, закрыла глаза и уже не смогла отделаться от навязчивых видений.

Огромная кухня общежития выглядела базарной площадью. Вечерами проголодавшееся многолюдье однообразно гудело и к полуночи рассасывалось. Сегодня народ не торопился расходиться. Обсуждали Верку. Она снова ушла на блядки, оставив недавно родившегося ребёнка одного в комнате, предусмотрительно полуоткрыв входную дверь. У женщин подгорал лук на сковородках, пережаривалось мясо, выкипал суп, но слово своё сказала каждая.

— Задушить гадину!

— Подать в суд, пусть лишат материнства!

— Надо папашу найти. Может, он порядочный. Кто знает, от кого ребёнок-то?
— А я предлагаю Верку изловить и насильно в больницу увезти, пусть ей матку вырежут.
— Давайте дежурство установим! Начнём с порядковых номеров комнат. По одному дню на комнату. Соберём общую кассу на детское питание.
— Ага! Она только того и ждёт!
— В любом случае надо письмо в РОНО написать.
— Матери её сообщить, пусть приезжает и ростит внучку, раз такую дочку воспитала.
— Чё тут думать! Вон Шолоховы бездетны, отдать им ребёнка. Верка и не спохватится.

Послышался плач младенца.

— Тань, иди,— толкнула одна свою товарку локтем в бок.
— Эт чё — мой ребёнок? Я вчера с ним целый день в свой кровный отгул сидела. Иди сама.
— Ну и пойду. Девчата, а кто на ночь к себе возьмёт? Моя соседка сегодня в третью смену, я Димку ночевать позвала.
— Мы можем,— одновременно сказали две подружки — старые девы, прописавшиеся в общежитии навечно.— Завтра у нас выходной, так что на целый день возьмём.

Анна Николаевна, воспитательница круглосуточного детского сада, нервничала. Пятница. Всех детей забрали родители. Одна Тоня осталась. Её и в положенную среду никто не забирал, так и жила в садике всю неделю до пятницы. В конце недели приходила пьяненькая мамаша и уволакивала печальную дочь домой. Но бывало, никто не приходил, тогда воспитатели брали Тоню к себе домой. У Анны Николаевны собственных трое детей, пьющий муж и сварливая больная свекровь. А тут ещё эта Тонька.

— Анна Николаевна, я, как рыбка, сяду в уголочке и не буду вам мешать. Заберите, а? А то мамины дядьки такие вонючие, и мне там даже спрятаться негде.
— Горе ты наше! Давай ещё полчаса подождём.
— Не придёт она.
— Ну, тогда собирайся. Живо! И чтоб я тебя дома не видела, не слышала. Детсадовские и так в печёнках сидят, ещё в собственной хате от них роздыху не будет.
— Я как рыбка, Анна Николаевна,— шёпотом заверила Тоня.

На большой перемене подошёл к Тоне старшеклассник.

— Эй! Иди в ментовку мать вызволять. Видел, как её прям с газона, пьяную в хламину, патруль забрал. Знаешь, где отделение?
— Знаю,— Тоня густо покраснела и опустила глаза.

Она едва дождалась конца уроков. Как только прозвенел звонок, отправилась в районное отделение милиции. Там дежурный подвёл её к обрешеченной с двух сторон угловой комнате.

— Вон мамаша твоя, валяется. Хотели в вытрезвитель определить, да что с неё взять, только тратиться на таких. Забирай!

Дежурный открыл дверь и пропустил девочку за решётку. Приближаясь к матери, она всё сильнее морщила нос — от мокрой юбки отвратительно воняло мочой.

— Мам, вставай,— тихо попросила Тоня.

Милиционер вернулся в камеру, подошёл к лежащей и пнул сапогом в бок.

— Не бейте! Это не ваша мама! Это моя мама!— закричала Тоня.
— Да кто её бьёт, пошевелил только. Давай, шалава, поднимайся!— схватил женщину под мышки и попытался поставить на ноги, но та съезжала на пол.— Придётся тебе завтра придти,— сказал дежурный.
— Никуда я не пойду. С ней останусь.
— Посторонним не положено в камере находиться. Завтра придёшь. Выходи!— опустил на пол пьяную и стал выталкивать Тоню.
— Разрешите здесь переночевать?
— Не положено! Иди домой. К завтрему проспится мать, тогда и приходи.
— На полу холодно.
— Иди, я сказал! Холодно! Нечего напиваться, как свинье. Трезвые в тёплых постелях спят, а пьяные где попало.
— Дяденька, пожалуйста…
— Уйди! Не канючь!

Тоня вышла из помещения. В коридоре приметила скамью. Села, пристроив портфель рядом, и стала ждать. Весь вечер просидела девочка, не меняя позы. Мимо туда-сюда ходили милиционеры и простые граждане. Всяк коротко посматривал на неё: то с любопытством, то с недоумением. А с наступлением ночи Тоня легла на бочок, подпихнув портфель под голову, и уснула до самого утра.

Подул ветерок, стало зябко, я поёжилась, и видения исчезли. Я не любила мать, иногда просто ненавидела. В этом мы питали друг к другу взаимность. Но мы жили вместе. Она состарилась, изнурилась смертельной болезнью, и я вынуждена была ухаживать за ней. Моя жизнь прошла под знаком матери. Бессмысленное, конвульсивное существование. Я была за неё в ответе, что бесконечно тяготило меня. Она сжирала мою жизнь, как ненасытный дистрофик, дорвавшийся до еды. Я лгала всё время, делая вид, что мне терпимо её общество. Надо вернуться, сказать об этом, иначе потом будет поздно.

Я очень торопилась и почти влетела в палату. Мать лежала в том же положении, в каком я её оставила. Она посмотрела на меня и заплакала:

— Я боюсь, Тоня. Так боюсь умирать! Не хочу закрывать глаза. Закрою — и умру. Исчезну и перестану чувствовать. Меня не будет, Тоня! Меня просто не станет на этом свете! Страшно. Такая короткая жизнь. И вечное пребывание в черноте, без чувств, без красок, как в обмороке.

Я слушала и поражалась. Как она смогла это постичь? Как доверилась страху? На мгновенье стало её жалко, но я решила не отступать от своего намерения.

— Знаешь, я никогда не любила тебя. В раннем детстве боялась, а потом ненавидела. Зачем этот мир, где тебя не любят?

Мать повернула ко мне голову. Я заметила в её глазах интерес.

— А я тебя всегда любила.

— Врёшь! — неожиданно я сорвалась на крик. — Ты любила только себя и свои увеселения! Мужиков любила! Развлекаться! Ты никогда не работала толком! С шестнадцати лет я содержу тебя! Потаскуха! Алкоголичка! Я ненавидела, но кормила, а ты любила и вечно оставляла меня на произвол судьбы, проедала-пропивала, как ржавчина! Чужие люди выкормили и вырастили твою дочь! А где была ты?!

— Я тебя люблю.

— Замолчи!.. Не испытывай моё терпение!.. Перед смертью вспомнила о любви. Думаешь, поверю тебе? Бред!

— Мне страшно умирать. Тебя не будет со мной, — снова заплакала мать. — Не уходи, Тоня. Не оставляй одну.

Нет, она меня доконает! Теперь я вообще не смогу отсюда уйти. Я подошла к окну. Солнце просачивалось сквозь листву, покрывая садовые скамейки мерцающими бликами.

— Крепись, — не оборачиваясь, сказала матери напоследок, развернулась и вышла в коридор.

Через два месяца посетила мать ещё раз. Она заметно похудела. Лицо приобрело желтоватый оттенок. Кожа на скулах натянулась, морщины разгладились, нос заострился. Глаза испуганно смотрели из тёмной глубины глазниц. Увидела меня, подбородок её затрясся, руки, лежащие поверх одеяла, задрожали.

— Прости меня, Тоня, — произнесла едва слышно. И после паузы добавила: — Мне уже не так страшно.

Я присела на край кровати, взяла её руки. В них не осталось жизненного тепла. Теперь пахло не только от волос. Всё тело источало странный кислый запах, как будто кающаяся её душа выжигала кислотным огнём следы былых грехов.

— Они не делают мне уколов… дома я ничего не чувствовала… а здесь такие нестерпимые боли крутят тело… криком кричу… никто не приходит, — мать заплакала и, всхлипывая, продолжала: — Уж я стала Бога молить, чтоб забрал скорей… смерть послал… изнемогла я… аппетита нет… в утку оправляюсь… устала, доченька… ох как устала… только бы часок без боли…

Она плакала, нелепо растягивая губы, показывая розовые дёсны.

— Пойду сейчас и потребую, пусть укол сделают, — я встала, но мать удержала мою руку.

— Не ходи… дай на тебя посмотреть… всё равно уже скоро помира… — она внезапно замолчала, только глаза, казалось, продолжали говорить.

— Я люблю тебя, мама. Слышишь? — наклонилась к её уху. — Я люблю тебя. Мамочка, слышишь? Кивни, пожалуйста. Мама…

Из матери вышел утробный глухой стон, её лицо исказила гримаса боли, тело вытянулось, она широко открыла глаза и почти прошипела:

— Страшно как!

А после обмякла, закрыла глаза и испустила дух.

Я долго плакала над ней, не замечая противного запаха смерти, убивалась по своей непутёвой жизни, и сердце сжималось в предчувствии неизбежного: так, как я любила мать, уже никого никогда не полюблю.

Волшебные жёлуди

После школы бежала Нюра в лес слушать желудёвый град. Присядет на поваленное деревце, замрёт зайчишкой, глаза прикроет — прислушивается к шуму. «Тук», — как нарочно рядом с девочкой шлёпнется желудо́к. «Тук!.. Тук!.. Тук!» — вразнобой вторят ему глянцевые братцы. Поднимет Нюра одного такого и дивится: «Это ж надо! Деревяшечки овальные, полированные и в беретах! И кто их таких выдумал?!» Собирала братцев в карманы, перекатывала в ладошках, перебирала пальцами, чувствовала силу их притягательную. «Прилеплю к ним руки-ноги пластилиновые, будут они слугами моей королеве». А королева Нюрина из веточек сделана. Бечевой по талии перевязана. Голова пластилиновая, но зато в серебряную фольгу из-под шоколадки обмотана. На сияющем «лице» глаза дырочками темнеют. Брови, нос и губы штрихами углублены. А на голове шляпа-треуголка с пером — пушинкой куриной.

С тех пор как папа ушёл из дому, Нюра стала незаметной. Примостится где-нибудь у подоконника и лепит существа из пластилина. Налепит с десяток, украсит бумажными нарядами и разыгрывает комедии человеческие. Мама могла спокойно оставлять дочь одну в квартире на целый день. А та не поест, не попьёт — всё человечками забавляется. Разговорчивые они у Нюры, особенно король с королевой. Сначала жила царская пара полюбовно, гладили друг друга. Ребёночка народили. А с недавних пор ругаться начали. Так разругаются, так растолкаются — помятые по углам расходятся: вместо лиц овальных шайбы плоские получаются, вместо рук — обрубки веточные. Звала Нюра волшебника на помощь. Приходил звездочёт пузатый. Нюра его в дорогой фантик из «Мишки на Севере» оборачивала. Соединял короля с королевой, даже ладони им блинчиком пластилиновым спаял, чтоб неразрывны были. Не помогло. Король в окно пялится, королева к ребёночку тянется, к кастрюлькам алюминиевым. Король о победах в мировых войнах и почестях мечтает, королева — как бы новый диванчик приобресть, атласными подушечками его украсить, чтоб царской особе смотреть телевизор уютней было. Дитятко, опять же, воспитания требует, внимания отцовского. Но мир за окном притягивал короля сильнее. В конце концов оставил он королевишну с ребёночком и перелепился в мебель. Нюра из царской особы шикарный диван смастерила. Теперь на нём будут жёлуди-слуги восседать — рыцари дворцовые. А когда наступит ночь, слуги заберутся с ногами на диван и начнут прыгать вразнобой так, что пружины застонут. Жалко, конечно, короля. Жалко и королеву. А ещё жальче ребёночка. Как ему теперь в человеки вырасти? Без папы будет

он половинчатый. То ли девочка, то ли мальчик. Ни радости в нём, ни любопытства. Одна печаль беспросветная.

«А ведь можно всё по-другому устроить!»—загорелись Нюрины глазки. По расколу в дощатом подоконнике откатила три жёлудя к дому волшебника. «Сделай их ворожейными камушками»,—ласково попросила девочка. «Ну что ж,—почесав пузо, загудел басом звездочёт в «мишках»,—это вовсе не трудно… Паки-даки-флопсы! Таксы-доги-мопсы! Три берета, три кларнета, три гнилых кабриолета! Превращаю жёлуди в волшебные камушки. У кого они пробудут три дня и три ночи, тот вернётся к королеве и королевскому ребёночку насовсем!». Нюра улыбнулась: «Хорошее колдовство». Взяла волшебные жёлуди и отправилась на улицу.

Папа работал школьным учителем в старших классах чужой школы. В друзьях у него числились книги и коллеги-преподавательницы. Ещё он бегал вечерами по парку и занимался немужским делом—аэробикой. В сауне восстанавливался в окружении аэробишных девушек. Так мама говорит. Нюра часто наблюдала из-за кустов парковой сирени бегущих папу и высокую блондинку. Если бы можно было долепить из пластилина папины туловище и ноги, ростом он уравнялся бы со спутницей. Иногда за неравной парочкой трусили ещё три тётеньки. Бегая, друзья оживлённо переговаривались, отмечали парковые красоты. А девочку за сиренью никто из них не видел. Неужели эти тётеньки интересны ему больше, чем сама королева? Снится ли он им, как снится королевскому ребёнку?

Нюра вышла на беговую дорожку. В руке—три гладких жёлудя в узорчатых беретах. Повернулась лицом к приближающимся навстречу фигурам. Папа замедлил бег. Вырвавшиеся вперёд спутницы тревожно заоглядывались:

— Не отставай!

— Бегите, я догоню вас.

Король и королевский ребёнок отражались в глазах друг друга.

— Анна,—начал строго папа,—что ты здесь делаешь?

— Протяни руку и закрой глаза.

Король повиновался.

В чуть влажную ладонь улеглись жаркие жёлуди. Жаркие жёлуди окунулись в дышащее убегающее сердце.

— Детка моя!—зажал волшебные камешки и опустился ближе к земле.

Нюра позволила себя обнять, изо всех сил скрывая радость. Очень хотелось посвистеть в папино ухо, подуть до щекотки, чтоб папа смеялся безудержно.

— Я пойду?—осторожно высвободилась и ушла в сирень.

Нюра считала дни. Первые три резиново тянулись, последующие сто застыли на месте. Нюра занемогла. Она разуверилась в волшебстве, раздавила пузатого звездочёта, вминая в него мантию с «северным мишкой». Жёлуди восстали и сломали королевский диван, забыв убрать бесформенную пластилиновую массу. Она таяла под солнцем, испуская облачко пара, превращаясь в вязкую лужицу, растекалась ручейками по трещинам подоконника. Так кончилось Нюрино детство. И укоренилось беспокойство. Вместе с растаявшими пластилиновыми фигурками испарились детские фантазии. Ожидание парализовало Нюру. Она потеряла интерес к миру. Мама звонила папе, вела с ним долгие разговоры. Водила дочку по врачам. Дочь покорно тащилась за мамой. После каждого обследования врачи пожимали плечами, долго молчали и наконец называли взаимоисключающие диагнозы. А Нюра думала о том, что, если б можно было, она с удовольствием поменяла бы маму на папу. Мама, даже если её обменяешь, всё равно будет приходить домой. А папа… А папу надо как-то заполучить. Хотя бы поменять на самое дорогое. Королевский ребёнок никак не превращался в человека.

Папа пришёл через полгода. Принёс подарки: коробку пластилина, шоколадные конфеты в царских обёртках и альбом для рисования с шершавыми листами. Нюра боялась подходить близко к отцу и не решалась называть его папой. А вечером… А вечером папа сам пришёл в спаленку. Опустился на колени перед кроватью.

— Прости, люба! Прости, не пришёл сразу. Я твои жёлуди всё время в кармане носил… Прости, долго думал… Мне маму надо было заново полюбить.

— А меня?

— А тебя я всегда любил.

— И даже когда в парке бегал?

— И тогда тоже.

— И когда не видел меня?

— Когда не видел, тем более любил.

«Значит, они всё-таки волшебные»,—улыбнулась Нюра.

— А теперь?

— Теперь я буду жить с вами, дома.

Нюра крепко обхватила папину шею и изо всех сил подула ему в ухо. Отец и дочь смеялись долго, до колик, под едва слышный перестук тройки желудей в кармане королевских брюк.

Наталья Скакун

Гадалка

На железнодорожных вокзалах над залами ожидания высокие купола — маленькое небко странствующих. Под таким куполом носится замотанный женский голос, снимает с насестов сонно-вялых или пьяно-оживлённых, гонит их волну за волной — вон. Но прибоем втекают новые. Свежие ещё, крутящие головами. У пассажиров большие толстые вещи и елозливые визгливые ребятишки с липкими ладошками. Высоко задрав носатые головы, ходуном проходят низкорослые смуглые мужчины. Лбами вниз, плечами кверху скользят бледные тени снулых наркоманов, никуда не едущих — отъезжающих и прибывающих внутри себя по своему собственному расписанию. Разноцветные, в жёлтых побрякушках и зубах, ворохами грязных тряпок с культями младенцев забиваются в углы у туалетов азиатские женщины. Уборочные машины, управляемые равнодушными круглобокими тётками, снимают их с места. Из-под юбок, как вши, выползают всё новые и новые дети. Все печально наблюдают за машиной, уничтожающей в их углу нагретое дынное тепло.

Вдруг я определённо увидела эту женщину. Взгляд в людном месте крутится, как рулетка: вот так взял и выпал. Соскользнул с мужчины-колобка с боталом малинового галстука и уставился точно на неё. Недолго гадать: выигрыш она или проигрыш? — сейчас выяснится. Идёт, спешит в мою сторону. Серый жакет букле, синий берет, шея замотана в похоронный лиловый батик. Верхняя часть лица — с большими глазами, фигурными бровями, нижняя — победнее: ни подбородка хорошего, ни более-менее губ. Южное полушарие лица заметно проигрывает. Возраст «ягодки опять». Садится рядом (свободных мест, правда, мало). Вздыхает (ей как-то надо начать долгий, как состав железнодорожный, разговор). Зал гудит, голос надрывается в куполе, перекрикивая тысячеголовую пассажирскую гидру, из кафе змеит сотню раз разогретым жиром. И она осторожно приступает:

— Не стесню?

Голос боязливый, осиново дрожащий. Такими голосами прижизненно оплакивают жизнь. Чем она может стеснить меня — такая же пассажирка на таком же жёстком сиденье? У неё даже нет багажа. Одна дамская плоская чёрная сумка. Не попросит последить за вещичками, бегая в туалет.

— Что вы! — без тени искренности радушничаю я.

Я перед тем хотела поставить свою трёхэтажную багажную башню на занятое ею кресло, привалиться боком и подремать наконец. Синий берет она выбрала к глазам. Зря. Он только подчеркнул, как сильно глаза выцвели. Оголил их отлив, каменистое мелководье.

— А ваш поезд скоро? — продолжает она.

— Через четыре часа, — признаюсь. — И это самый ранний в мою сторону.

Ей-то, видно, ехать не дальше ночи с такой-то сумочкой. Там явно зубная щётка, салфетки, какой-нибудь кремчик — безнадёжное средство от надёжных морщин, книжка с ладошку про любовь с понюшку.

— А я ещё не купила билета: думаю только, куда, — призналась она.

«Значит, проигрыш. Подцепила чокнутую, — вывожу я. — До пятнадцати двадцати пяти. Уйду пообедать и не вернусь».

— Какие есть варианты? — любезно уточняю.

— Никаких! Меня преследуют! — выдыхает она, зажмурившись.

«Совсем хорошо, — и я вздыхаю своими усталыми, давно бессонными серыми полушариями, — значит, мания преследования. Пора обедать. Спасенья нет».

— Я не уверена, что она не последует за мной или её там нет. Хотя где «там», даже сказать не могу, — забормотала женщина, — ведь я ещё не решилась. Я не решилась, но она уже может быть там. Заранее там быть. Как и в любом другом месте.

С виду такая нормальная женщина. И брови выщипаны ровно, и помада не кричит.

— *Она* уже здесь, быть может. *Она* везде — где бы я ни появлялась. Понимаете? Это кому хочешь надоест. Согласитесь?

— Кто *«она»*? — не церемонюсь я, мысленно уходя, волоча под её потускневшим синим взглядом свою сумку на малом колёсном ходу.

— Но так сразу я не могу сказать! — пугается женщина. — Я, если вы позволите, должна сначала всё объяснить. Рассказать всё по порядку.

Моё невысказанное «ну нет!» она понимает мгновенно (небезнадёжна); торопясь, лезет в пасть своей чёрной сумки и вынимает оттуда колоду карт. «Не хочет ли она, глупенькая, остановить меня, предложив наивный тур подкидного дорожного дурака?!»

— Нет-нет, — машет она отрицательно головой.

Стремительно, как я ещё никогда не видела, она тасует колоду и суёт мне.

— Левой! От себя!

Вот ещё! Она мне при-ка-зы-ва-ет. Куда делась дрожь? Я шкодливо озираюсь (кто читает, кто спит, кто мучает мобильник) и небрежно тычу в колоду пальцем.

Она кивает. И мигом раскладывает на своей плоской сумке пары карт. Пары окружают червонную даму (надо полагать, меня). Сумасшедшая произносит без малейшей задержки и сомнения:
— У вас скорая дальняя дорога в казённый дом по важному делу. Шесть пик — шесть бубен, туз крестей. Вы надеетесь на некоего влиятельного короля (он носит погоны), но он вас непременно обманет (рядом с ним валет бубен и восьмёрка). Вы собираетесь платить ему, это будет потеря денег. Девять-десять бубен — деньги средние. Тысяч десять. Вы хлопочете не ради себя — ради молодого короля. Родственник ваш. Наверное, сын. У вас нечаянная, но быстропроходящая болезнь. Восемь пик и крести. Пустое, женские дела скорей всего. Прокладки с собой? Далеко от вас есть женщина, которая о вас помнит. Она старая. Мама? От неё вам прибыль или подарок. Семёрка — подарок. У вас день рожденья скоро. Тот мужчина, что обманет вас, уйдёт из вашей жизни. Вы его когда-то любили. И были беременны от…

Я замотала головой. Голова то есть замоталась на мне. Шаркнули друг об друга полушария.

Она одним крылатым взмахом убрала карты. Мы помолчали.
— Как вас зовут? — спросила я. — У меня ничего не выйдет с этим делом? Так?
— Выйдет. Я просто недоговорила. Подумала, вам не надо…
— Надо, — призналась я. — Так как выйдет?
— Вы решите свою проблему без помощи того человека. Сами. Ваша десятка выпала. Это ваш интерес. Меня зовут Татьяна.
— Елена Владимировна, — выдала я себя. — С тем человеком в погонах было немного не так. Не совсем так… Но вы хотели что-то рассказать? («Она ведь совсем непохожа на гадалку. Те ведь все чёрные и лохматые. А эта напоминает библиотекаршу или гардеробщицу в театре. Хотя… разве я когда-нибудь видела гадалок? Цыганки уж точно не в счёт».)

…Плохо, что я не помню, кем я была сначала: парикмахером, может, или медсестрой. Может, даже учительницей начальных классов. Там было много других женщин, вот и всё. Остального не помню! Это вам смешно? Жизнь делает такие повороты, за которыми уже не видно прошлого. Очень крутые повороты. Я родила ребёнка — сына, и муж велел мне больше не работать. Он с одним человеком торговал материалами. Кажется, так. Вот это совершенно точно. Кафель, линолеум, плитка. У нас была старая квартира. Хорошая. Моего отца квартира. Он умер давно. Мама у брата. Болеет. Нельзя беспокоить. А потом мы ещё одну купили. Муж купил. Он её очень красиво отремонтировал. У нас в спальне были белые стены, шторы, а мебель тёмная, настоящее дерево. Цветы кругом. Всё просторное. Ну всё! Я занималась сыном, помогала мужу. Он просил звонить тем, кто ему должен. Сам не выносил таких разговоров. А я — всегда вежливо. Что делать, если надо платить. Потом он сказал, чтобы я учила английский язык. Записал меня на дорогие курсы. Это было надо для поездок за границу. Но мы так и не побывали… Хотя я забегаю. У нас на курсах были очень хорошие люди. Они так поддерживали меня потом. Мы занимались до обеда, с Ирой или тоже Леной, как вы, шли в кафе, в пиццерию. На углу, знаете, «Ун моменто». Такая вкусная пицца — никогда такой больше не ела. Мне всё тогда очень-очень нравилось — каждая минута жизни. Эти минуты были как круглые сверкающие бусинки. Одна за другой. Я знаю все неправильные английские глаголы. Рассказать? Как хотите… Но я до сих пор их все помню.

Потом мой муж привёл к нам домой девушку и попросил сделать кофе, как я умею делать. Растворимый кофе он не пьёт. И из кофеварки электрической не пьёт — говорит, отдаёт пластмассой. Я варю в турке. Всегда свежий. Девушка с ним пришла просто чудесная. Волосы, кожа, зубы, ногти — всё самого лучшего качества. И одета уместно: свитерок сливочный (как масло), юбка твидовая длинная — чистый шоколад. Косметика очень дорогая, незаметная. Есть же такие девушки! В них всё устроено как нельзя лучше. Каждый волосок, ноготок на своём месте. А вот мы с вами (не обижайтесь) только заготовки для женщин, сырьё. Не можем довести себя до ума: то тут торчит, то здесь висит, то прыщ вскочил, то кофта вытянулась, то лак облупился.

Пьём кофе. Муж говорит, чтобы я переезжала в нашу старую квартиру, которую он мне отдаёт (квартира эта и так моя, помните же?). А он будет жить с этой девушкой. Девушка сочувственно, мило так улыбается. Сын, объявляет муж, остаётся с отцом. Тут девушка перебивает мужа и начинает мне рассказывать, что ей рекомендовал психолог, у которого она консультировалась по поводу обращения с неродным ребёнком. Признаюсь вам, я заплакала. Разревелась как сумасшедшая. Девушка меня утешает и суёт мне визитку психолога. Предлагает даже сходить со мной. Я тогда прошу прощения. Говорю, что мне надо выйти в ванную умыться. Беру вот эту сумку в прихожей и ухожу из дома. Я тогда не знала, куда мне идти. Спустилась на второй этаж, зашла к тёте Вике — она инвалидка. Я ей продукты ношу из магазина. Тётя Вика сказала, что ей ничего не нужно. Она сериал смотрела и даже рассердилась на меня, что мешаю. Тогда я пошла в магазин. В супермаркет. Нашла там самое большое зелёное яблоко. Я люблю зелёные яблоки. Очень сочные. Подхожу к кассе, а у меня денег в сумке нет. Так стыдно. Денег совсем нет. Несколько монеток. Яблоко отнесла на место. Я всё равно бы не смогла от него откусить. Оно огромное было и всё в блестящей смазке. Женщины из магазина выходят с пакетами — лица вниз от тяжести, а я налегке в первый раз. Тогда я вернулась домой за ключом от старой квартиры. Мужа дома уже не было. Сына я накормила. Собрала сумку с вещами — самое необходимое. А ключа не нашла — всё перерыла. Он у мужа был — пришлось дождаться. Муж мне ключ вернул и предложил меня отвезти. Раз я с вещами. Денег он мне не дал. И я не попросила. Он меня отвёз, всю дорогу что-то рассказывал. Про чувства и обновление. Будто стихи читал.

Переночевала в старой квартире. У нас там очень высокие потолки. Папа всегда радовался: «Не доплюёшь!» С утра начала уборку. А ничего нет. Ни порошка, ни губки. Я тогда к Ире пошла, к той, что с курсов. Она в бюро путешествий работает. Заняла у неё денег. Как попало всё рассказала. А как ещё расскажешь, если всё случилось так сумбурно? Она мне тоже советует к психологу. Вот я отмыла старую квартиру, и делать больше было нечего. Одиночество—зверь домашний, но грызёт хуже дикого. Может, вы знаете? Не говорите только о котах или кактусах! Это всё потомство, детёныши-зверёныши одиночества. Зачем плодить этого зверя? Какая разница чем—вязаными шапками, цветочными горшками, печёными пирожками или, наоборот, диетами?.. Размножатся и сожрут.

Приходили мои знакомые, Лена с Ирой, приносили пиццу. Им было интересно послушать, как меня бросил муж. Но я ничего не могла им рассказать—никаких подробностей, я просто не знала. Ира мне подсказывала: «Наверное, он тебя записал на английский, чтоб встречаться со своей девкой? Они, наверное, встречались у вас дома, на вашей кровати, пока ты сидела на курсах?» Но откуда ж я знаю! Они сами всё выяснили, представляете? И кто эта девушка… Она продавщицей оказалась в знакомом Ленином бутике. Имя её Алёна Карпенко. Всё-всё про неё рассказали. Так много, что я забыла.

Лена мне дала телефон одной женщины, которая гадает и вообще «умеет» и всё может повернуть обратно. Да ведь я сама могла гадать! Я тогда и вспомнила! Гадать умеют вообще все женщины, у нас определённо есть орган предвидения. Но чаще всего мы просто не хотим знать того, что знаем. Мы боимся знать. Ведь вы согласны со мной?! Знать—это очень нелегко. Но если решиться, остальное—дело практики. И вы бы смогли, я вас уверяю. И не только беременность и день рождения вы бы узнали, когда б решились знать много-много всего. Конечно, я гадала на мужа и Алёну. В гадании главное—задать точку отсчёта. Клиент сдвигает карты в колоде и так открывает своё будущее и прошлое—верх-низ, направо-налево. Левая часть—прошлое, правая—будущее. Дальний угол—только вероятность. Сдвинуть достаточно один раз. Хотите, я сейчас разложу карты без вашего участия, и вы увидите, что выйдет одно и то же. Вы мне передали свой ключ. Им я всегда отопру вашу судьбу. Да вы не пугайтесь—мне незачем.

А за мужа я могла сдвигать тем более—всё-таки пятнадцать лет вместе. И всегда одно и тоже: бубновая молодая дама лежит у него на сердце, червонная—замужняя—в ногах. Если фигура лежит в ногах, запомните, она уйдёт из жизни. Нет-нет, не умрёт, а уйдёт из жизни того человека, которому она выпала в ноги. Я раскладывала раз за разом—всё одно. Покупала новые колоды—одно и одно. Нет ниче го упрямее карт. Уж если они что зарядят, их не переубедишь. Потом начал падать червонный валет с восьмёркой. Это девочка! Беременность девочкой. Мальчик—валет и семь. А ведь я сама хотела родить девочку! Он мне не позволил. А ей можно. Радость у него от этого—десятка червонная так и скачет. Иногда с тузом. Это уже самая крайность и наглость—свадьба. Собираются пожениться.

Ира мне звонит и учит: «Оля! Раздень его догола! Подавай в суд!» Я сказала—Оля? Но ведь это неважно: Татьяна или Оля? Карты мне: брось, ничего не выйдет—валет пик, пустые хлопоты. Но я всё-таки спросила его о деньгах. А он: «Разве ты нетрудоспособная? Берут на иждивение калек, а ты ещё молодая (какая насмешка после того, как он ушёл к двадцатилетней!). Имущество уже поделено: тебе—квартира, мне—квартира, сыну—бизнес. Или я не прав?» Прав, конечно. Но у меня совсем не было денег. И я была должна Ире. Я заложила цепочку, серёжки—пустяки, ерунда какая-то. Ни на что не хватило. Я трудоспособная? Но куда идти, если даже не помнишь, кто ты: медсестра или парикмахер? А это, знаете, разница. Короче, если человек не работал пятнадцать лет, он уже не сможет завести будильник на шесть утра! Тянуть такому человеку нечего. Раскладываю в последний раз карты, а там прибыль—нечаянные деньги (туз пик с десяткой), но не от мужа. Вечерний гость. Думаю, поживу ещё, посмотрю. Может, сам Диавол. Ха-ха. Я и тогда смеялась. Стою у окна—фонарь подо мной голову наклонил: сверху все фонари виноватые какие-то. Хоть по башке их бей. Да разве он виноват, что вечер и душу тянет? Знаете? В груди комок: он хочет подняться, сдвинуться, но не может. И вот он тужится, тужится выйти из тебя и только ещё больше пухнет от бессилия. Все твои клетки набиты чемоданами без ручек. Пионерскими чемоданами с окованными холодными углами, которые упираются, когда их волокут наружу. Страшно подумать, что в этих чемоданах: в лучшем случае—кирпичи, в худшем—расчленённые трупы.

И точно—раздался звонок; год в эту дверь никто не звонил. Пришёл Нечаянный, Вечерний! Ну нет, не Дьявол. Куда мне! Вспомнила его: с ним мой начинал торговать линолеумом и кафелем. Андрей Николаевич. И не ошиблась. Андрей Николаевич только этот адрес и знал—пришёл, конечно, к мужу. Ругает его, ругает, кричит. Я ему объясняю ситуацию, а он снова кричит: «Не делайте из меня лоха! Вы сговорились! На тебя всё переписал!» Когда он, прооравшись, язык высунул, я сунула ему карты, чтоб сдвинул. Понятно, дела совершенно запутанные обнаруживаются. Мой муж его обманул, а другой король (старый, почтенный) грозит судом (туз пик, семь пик в углу)—вроде бы как его Андрей Николаевич в свою очередь обокрал. Карта скандальная идёт, убыточная вся. Пики, бубны, крести. Он опять кричит: «Зоя (он меня тоже вспомнил)! Не надо катать вату. Я всё это знаю. Говори мне, есть у него бумага, у мужа твоего?! На бумагу гадай!»

Бумага—это туз бубен. Но её нет. Я показываю: нет туза! Он ещё раз десять переспросил: есть ли у мужа бумага?—Да нет, нет. «Налей кофе,—говорит.—Помнится, в этом доме хорошо варили кофе». Увы, кофе у меня не было. Ничего не было. Повторяю ему, что мы расстались—другая

женщина из бутика. Он дал мне немного денег («Я ж за гадание должен»).

На другой день опять пришёл. Кофе у меня уже был! Говорит: «Гадай на суд! Выиграю или нет?» Туз крести и семь крести выпали — выигрыш в суде. Андрей Николаевич подал на мужа заявление. Каждый день до суда приходил. Я тут соврала… Он у меня жил. Я раньше ни с кем. Но ничего. Он после суда ушёл. В суде он что-то выиграл (бубны такие крупные выпали) и мне хорошо заплатил. Мы с сыном в пиццерии тогда посидели, в «Ун моменто». Но ему пицца не понравилась. Он у меня мальчик избалованный. Лук вообще не ест. Я думала, он больше обо мне переживать будет. Нет… Это, наверное, из-за психолога, что Алёну Карпенко научил. Сейчас психологи, знаете, появились профессиональные. Раньше не было. Все бегали к дилетантке-маме. Но мама у брата. Я говорила уже? — болеет. Её нельзя беспокоить. Нервное что-то.

Андрей Николаевич ушёл — пропал совершенно, а потом позвонила женщина. Сказала, что от Андрея, просила погадать. Приехала ко мне. Шуба, бриллианты — как положено у них. Всё накладное: ресницы, ногти, волосы, грудь. Вся, как бубен, натянута. В телефоне «Малинки-блондинки» чирикают. А всё ж из-под тридцати — неразменный полтинник. Развалилась на диване — карты некуда кинуть. Пожалуйста — ей любовник изменяет (бубновый король, неженатый, блондинчик молоденький)! И болезнь у неё серьёзная: восемь, девять пик — надолго, значит. Не верит: я, говорит, сто процентов в нём — и в тренажёрном зале молодых запариваю. Денег много дала, ей Андрей Николаевич сказал, сколько я беру. Через неделю перезвонила, сказала, что премию мне завезёт — выследила своего молодца. Накрыла, когда он кверху попой наяривал. А она ему квартиру снимала, за учёбу платила. Я её избавила, получается, от неоправданных расходов. Потом она ещё раз была. Уже попросту. Без шубы. Гадала на здоровье. Здоровья ей не прибавилось нисколько. Кажется, она в Германию лечиться поехала. Не было её больше. Я так, для интереса, кинула на неё: дорога, казённый дом, дама пик.

Дама пик — это зло. Самая плохая карта. К тому же она всегда прячется. Она подлая, подлая, ужасно подлая…

Женщина обернулась, глянула по сторонам. Испуг выбелил её и без того слабоокрашенное лицо. Кого она увидала? Снова вытащила карты — руки её тряслись. Разложила на сумке. И ткнула в центр их:
— Вот она.

В центре, в веере из пяти карт, торчала чёрная дама еврейской наружности. Женщина закрыла веер, смела карты в сумку.

…Через полмесяца я уже не могла принять всех желающих. Записывала на неделю, на две, три вперёд. Сначала гадала всем и по любым вопросам: долги, суды, недостачи, кражи, пропажи, покупка машины. Но это всё мужские вопросы. Неинтересные. Я их постепенно отвадила. Держала нескольких солидных клиентов ради денег, а в основном гадала женщинам. Я им хотела помочь, остеречь, спасти их, в конце концов, хотела. Ведь у каждой рядом дама пик. У каждой! И безо всяких особых причин. Юбку ты новую купила (сидит эта несчастная юбка), стрижку модную сделала (и не уродует), муж подарил безделушку (хвастайся больше) — дамой пик становятся от малейшего пустяка! Только была вашей соседкой, подружкой, сестрой даже, и вот она — дама пик, женский дьявол. Свекрови, начальницы, бывшие жёны — она, она, всё она. Желает вам зла. Вырабатывает зло, как электростанция ток. Каждая её мысль — пожелание вам зла. Зло как червь точит вашу жизнь, сосёт её соки. Я раскрывала женщинам глаза, объясняла, почему у них всё валится из рук, почему нет сил, почему снятся дурные сны. Эта дама часто приходит во сне. Ни разу не видели? — ну как же! — женщина, отворачивающая лицо. Нижнюю часть только и видно. Она смеётся и отворачивает лицо. А некоторые, не поверите, приходят в своём истинном обличье — самые наглые. Её надо крепко ударить по её наглому лицу, тогда вы её победите. Но женщины не могут. Ни одна из моих клиенток не смогла. Все они в своих снах — как пустые целлулоидные куклы или мягкие игрушки, набитые синтепоном. Валятся по сторонам. Не могут стоять. Такое бессилие, даже стыдно.

Не поверите, у меня появилось много денег. Никогда столько не было, даже у мужа я столько не видела. Хотя он мне и не показывал. Но я скажу вам честно: даже если бы мне не платили, я бы всё равно гадала. Села бы на остановке, у магазина или на вокзале, как здесь, и гадала. Это моё призвание. Я больше чем врач, я избавляю людей от их иллюзий и страхов. Я даю имя их беспокойству. Подсказываю, кто их настоящий враг. Указываю выход. Дарю надежду. У меня, видите, очень благородное дело. С одиночеством, как вы поняли, покончено. Я всем теперь нужна. У меня нет свободной минуты. Всегда надо быть в курсе дел моих клиенток. Ведь и *Та* не дремлет…

Женщина в синем берете вновь осмотрела зал. Спина её натянулась и выгнулась. Она сейчас была как собака пограничника. И я почувствовала себя такой же псиной. Я тоже оглядела зал. Роение людей — ничего необычного. Моя собеседница, снова согнувшись, достала карты. Разложила на сумке. Представила:
— Маша. Это моя постоянная клиентка. Её дама пик — вот она, на сердце, — бывшая жена мужа (обе они — бывшие жёны, казалось бы!..). Очень сильное зло. Пики и крести. Крести могущественны, и притом всё скрывают. Семь пик — слёзы. Бедная моя девочка. А вот, посмотрите, рядом бубновый король. Свободный и благородный мужчина. С девяткой червей. Это его любовь. Я даже видела его — он привозил ко мне Машу, когда её «Мазду» красили. Сослуживец. Женат не был. Немножко плешивый и чуть-чуть шепелявит. Почти незаметно. Могли бы быть счастливы. Но всё уже так испорчено. Пиковой нет противодействия (бывает, какая-нибудь карта «уводит» — нейтрализует).

Значит, эта мерзавка остаётся при ней. Бедная моя девочка. Так каждый день. А сегодня ещё и неприятность в дороге. Она так гоняет! Позвоню ей потом. Разве я могу их бросить? Хоть это становится опасно. Дама поняла, что я ей мешаю. Да, пиковая — это всё разные женщины, но изо всех них состоит одна. Она существует.

Что? Вы хотите знать, как у меня с мужем? Прекрасно! Могу хоть сейчас. Секундочку. Наш муж. Вот он. Червончик мой золотой. Иди к маме. Где твоё обновление и «настоящая любовь»? — ах, вот она. Больна, бедняжка. Никаких червонных валетов ни с восьмёрками, ни с семёрками — пуста, как коробочка. Восьмёрка пик. Я-то знаю. Наш муж стал совсем бедненький. Опять у него убыток. Пустые хлопоты. Дальняя и безрезультатная дорога — шестёрка крестовая. Ну, пусть проветрится. Пусть его козочка поскучает. Хоть она и не поймёт в её-то состоянии. Ну, это отдельный разговор…

…Как-то вот так раскладываю на него. А у него бумага из казённого дома дурная: туз бубен и чёрная девять, четыре валета — много-много хлопот. А, думаю, позвоню. Сколько, спрашиваю, родной, тебе занять? Как ты верно заметил, я могу зарабатывать. А вот ты плохо управляешься с бизнесом нашего сына. Наверное, это ты калека. И что он, думаете, сделал? Он подкараулил меня в подъезде. Он меня душил, говорил, что из-за меня его продавщица потеряла ребёнка. Дескать, я её напугала. Потом, конечно, извинялся. И деньги взял! Пустяки взял. На бензин. У него, видите ли, бензин закончился. Только вот где была его машина?!

Что вы! Не пугала я его Алёну. Я же не дурочка какая-нибудь. Да и чего там было пугаться? Он мне рассказал: она поднималась в нашем подъезде по лестнице (лифт не работал), а сверху по ступенькам покатился ребёнок, завёрнутый в пелёнки. Катится, головкой бьётся. И прямо на неё. Понятно, кукла. Пупс такой большой (она показала руками). За четыреста рублей. Дети какие-нибудь играли и уронили. Маленькие девочки вполне могли уронить. Они любят играть с такими пупсами, чтоб был как настоящий ребёнок. Они же его и запеленали. Света на лестнице мало, вот Алёна и испугалась. Эти девушки после психологов становятся такие нервные. Психологи им психику расшатали. Она моему мужу сказала, будто ей сверху крикнули: «Так и ты скинешь!» Ха-ха. Я смеюсь, я и тогда смеялась. Ну кому надо ей кричать? Мне — тем более не надо…

Алёна Карпенко, кстати, на свою прежнюю работу вышла. В «Монте-Карло». Это её бутик так называется. Мне Лена сразу сообщила. Она там неподалёку, в департаменте природы какой-то. Мимо ходит. Кофту разглядывала, а из-за кофты — ба, знакомые все лица! Ну, бледненькая. Похудела. Смотрится всё ж хорошо. Я — бегом туда, платье покупать. Меня как раз одна клиентка к ней на дом пригласила погадать. Судья. И все подруги её — судьи или жёны судей. За один такой вечер можно на шубу заработать.

И что вы думаете? — зря в этот бутик сходила! Ничего там хорошего не было. Ни одной стоящей вещи. Всё какое-то убогое. С рынка, не иначе. На рынке покупают задёшево. Стирают, гладят, нитки обкусывают. И вот тебе уже бутик! «Монте-Карло». Алёна эта — ни бе ни ме. Размеры путает. Одно платье по два раза подаёт. Хоть к психологу её отправляй. Чтоб он её проконсультировал по поводу обслуживания бывших жён. Платья я нигде не купила в тот день. Пошла в чём-то простом. Палантин у меня, правда, красивый был. Узор огурцами и кисти. Целый вечер гадала — язык пересох. У всех молодые любовники, ну и, понятно, измены. Мужья тоже гуляют. Судьи, а в глаза заглядывают, трясутся все. На меня как на бога смотрят. Да все так смотрят. До чего люди хотят знать свою ничтожную судьбёшку. Один судья попросил погадать — у него дело было на следующий день назначено, а он его даже не читал. Так он хотел знать, виновен или нет подсудимый, а то у него всё ж нехорошо на душе было. Обрадовался, что виновен. Камень я с его души сняла. Неравнодушный всё-таки человек. Телефон мой попросил. Да я всем дала телефон, они мне своих надавали. Я всегда даю телефон. Я так люблю, когда звонят и говорят: «Потрясающе! Всё сбылось!» Это как аплодисменты артисту. Слабость моя. Ну, конечно, возникают ещё вопросы. Новеньким клиенткам назначаю встречу, а старые мне доверяют. Позвонят: «Риммуля, скинь на меня!» Не вопрос. Все всегда рассчитываются.

Но я недорассказала! Меня домой шофёр судьи отвёз, того, что один насчёт работы спрашивал. Поздно уже было. Я обычно боюсь по ночам ходить. Но тут к самому подъезду подвезли. Нет же, опять оказался муж! Опять в подъезде муж! Опять бросается как дикий! Трясёт меня. Орёт. Как бич какой-то или маньяк. Сосед высунулся. «Простите, — говорю, — муж выпил». Тот нас знает сто лет — дверью хлопнул, и всё. Веду к себе. Он чего-то там подвывает. И что вы думаете? — Алёна Карпенко сделала из колготок петлю и где-то там в примерочной повисла. Нет-нет — спасли. Всё-таки бутик, люди ходят. «Монте-Карло!» Хозяйка Алёнина мужу объяснила, что Алёна в колготках запуталась, когда товар разбирала. Хотела, дескать, чулок манекену на ножку натянуть, а натянула по ошибке себе на шейку. Ха-ха! Не могу я, простите… Так смешно. Я и тогда смеялась. Но хозяйке зачем проблемы? А ведь я гадала на Алёну, прежде чем в этот «Монте-Карло» идти. Девять пик, семёрка, дама — действительно, хоть вешайся, и была там ещё маленькая шестёрочка бубен. Она должна была это всё ускорить. Но, наоборот, спасла. Здесь мне надо было насторожиться.

Уж не подумали ли вы, что выпавшая Алёне дама пик — это я? Подумали-подумали! Что вы! — я сама жертва. Мужу это тоже было не объяснить. Орёт: «Ты была! Ты была там! Ты была там!» Клянётся, что так этот случай не оставит. Напишет заявление в милицию, доведёт дело до суда. Я, чтоб помочь ему, вытаскиваю подряд визитки, что мне в этот вечер надавали. Выбирай, предлагаю ему, судью. Лучше всего вот этого — Анатолия Григорьевича. Он человек честный, вникает. Ему не всё равно: виноват — не виноват человек. Муж визитку порвал.

Маньяк точно. Потом мы с ним кофе выпили. Он говорит: «Ну, раз ты такая специалистка оказалась, погадай, как там с ней—обойдётся или на мозги повлияет?»

Хотела я ему сказать, что влиять там не на что: какие могут быть мозги у двадцатилетней продавщицы? Но промолчала. Погадала. Сказала, что не обойдётся. Он как стукнет кулаками по столу, как прыгнет! «Это,—говорит,—мы ещё посмотрим. Я для неё всё сделаю!»

Между прочим, не обошлось. Видели же только что?—пуста и болезнь. Зря он подпрыгивал. Сейчас она с ним: он ей няньку нанял (всем говорит, что помощница по хозяйству), но я-то знаю, что дорожка ей падает в дом казённый. Хотя они мне, честное слово, уже надоели. Я и гадать на них бросила. Произошли гораздо более страшные вещи. И, клянусь вам, не по моей вине. Я всегда была только жертва. Сами же видите…

Татьяна, Оля, Зоя или Риммуля замолчала—шмыгнула внутрь себя и плотно прикрыла дверцу. Видно, она там, внутри себя, приводила в порядок новый рассказ, расставляла по местам события, передвигала тяжёлые диваны обстоятельств, рассовывала по ящикам мелкие, ненужные факты.

…Как-то мне позвонила молоденькая девушка—голосок по телефону был такой овечий, детский. Просила погадать ей срочно-пресрочно, обещала заплатить в два раза больше, но только чтоб срочно-срочно. В сессию студентки часто звонят—но я всегда отказываю, советую читать учебники. А тут вроде и не сессия. Говорю ей, что всё расписано, что я уезжаю вечером (меня пригласили на дачу знакомые. Проблемы у них, я уже знала, были скучные: деньги, партнёры, новый бизнес, но какая там баня!). Так она заплакала. Сколько раз себе приказывала никого не жалеть—себе дороже. Нет, не могу. Поставила ей условие, чтоб как можно быстрее явилась. Она тут как тут—звонила уже от порога дома. Смотрю—Алёнина копия: беленькая, гладенькая, пальчики перебирает. Но ещё моложе.

Совсем девочка, если умыть. Даже прыщик на щёчке—как розовый бутон, не портит. Зовут Снежана. Редкое имя. Гадать хочет на себя и на любимого. Куча мала ей выпала. Она мальчика любит, мальчик любит даму крестовую—та старше его намного. Саму эту Снежану ещё один издалека любит—письма шлёт. Да и первый мальчик, что с крестовой изменяет, к ней тоже с чувствами какими-то сложными. Не поймёшь теперь эту молодёжь. Спят с кем попало, любят всех одновременно. Девочка моя всё это серьёзно выслушала и поучает: «Но ведь у тёмного короля с крестовой дамой чисто дружеские отношения. Ведь он не может её любить. Ей уже тридцать четыре года! Она преподаватель и замужем! Он мне сам говорил: она—интересный человек и ничего больше. Зачем всё сводить к физиологии? Есть же и другие связи. Духовные. Или вы их исключаете? Или ваши карты не отличают одно от другого?»

Мне так смешно тут стало. Звоните, говорю, барышня, вашему тёмному королю, пусть назовёт какое-нибудь число от одного до тридцати шести. Она при мне звонит. Он ей называет тринадцать. Оба ещё похихикали. Сдвигаю тринадцать карт. Сверху на короля ложится крестовая дама. На сердце, конечно, ложится. Но девочка моя так разволновалась! «А что такое червонная восемь?»—спрашивает.

Я ей объясняю, что это любовная постель. Но если ей приятнее, пусть будет духовная связь. Очень даже просто. Духовная, и всё.

Двойную плату я с неё брать не стала: откуда у таких малявок деньги? (Если они, конечно, не общаются с мужчинами за сорок. Но тут непохоже было.) Дала ей номер телефона—визитку свою. Я уже заранее слышала, как эта хорошенькая маленькая отличница рассказывает подробности с места любовного преступления. Я была уверена: она тут же ринется брать его врасплох. Такие девочки всё всегда доводят до конца. Домашние задания у таких девочек всегда выполнены. «Почему вас Снежаной назвали? Разве есть такое имя?»—не удержалась, спросила у неё, так это имя меня заинтересовало. Она поморщилась (надоели ей, видно, с этим вопросом), потом сказала всё-таки: «Когда я родилась, шёл снег, такого снега не было в том месте сто лет. Я родилась на юге. А здесь очень холодно».

Она, правда, так съёжилась вся, пальчики свои сцепила, чтоб не возились. Мне её жалко стало. Немножко больно, конечно, но ведь на пользу. Ведь я её спасла! Не будет выглядеть дурочкой. Хуже было б, если б она вышла замуж за этого молодого кобеля, нарожала ему детей, а он бы всю жизнь духовными связями развлекался…

Женщина ослабила на шее шарфик, будто он её душил—для продолжения рассказа ей требовалось больше воздуха.

…На даче мы так хорошо посидели. Парились в бане. Такой запах от веника и смолы! А потом сразу на улицу—ах! Вот тогда только и понимаешь, что значит дышать. Снег пошёл как раз—клочьями, хлопьями, как сливки взбитые. Там фонарь у них во дворе. Так под фонарём снег ещё красивее—будто он там в кино снимается. Я так блаженно уснула—как никогда. Но вот почему-то не отключила телефон! Забыла…

Утром, часов в девять (но темно было совершенно—я помню, как растопыривала глаза), позвонила женщина. Она кричит, кричит, а я понять ничего не могу. И женщину я эту не знаю. Не могу вспомнить, когда ей гадала. Она просто надрывается: «Снежка… Снежка!!!» Ну, кое-как поняла я её… И то не всё. Девочка покончила с собой—отравилась таблетками. Мама (это она звонила) нашла у неё мой телефон, визитку мою (я недавно заказала). Глупости, конечно, там понаписаны—сами понимаете, для рекламы. Мама поняла, что дочь была у гадалки и с этим всё связано. Она пообещала меня посадить за доведение до самоубийства, а если не получится, просто убить. У неё была одна вот эта дочь. Умница, красавица, ласковая! Все её обожали, мальчик её боготворил.

А я залезла в эту чудесную жизнь своими грязными ручищами, всё разворотила. Снежка растаяла, этот беленький, чистый комочек счастья. Я честно пыталась рассказать, как всё было. Мальчик изменял — я уверена, готова подтвердить хоть под пыткой. «Будет тебе пытка, всё тебе будет!» — она отключилась.

Я так долго плакала, перестала только от усталости, могла бы — плакала бы ещё и ещё. У меня карты от слёз все мокрые были. А ничего уже не поправить. Ни одной карты не остаётся при фигуре — умер человек. Потом во мне как взрыв бабахнул — я же гадала этой Снежане накануне! И *ничего* такого не было. Я бы увидела. Значит, она наврала мне? Женщина, что звонила, обманула. Она всё врёт! Но передо мной лежала одна карта — беленькая дама. Одна! Как это было всё понимать?! Неужели карты подвели меня, когда я гадала этой девочке?! Или они обманывают меня сейчас?! Вот что самое страшное, оказывается: они могут обманывать. Значит, и мальчик не изменял? Я вытащила его и сдвинула тринадцать (глупые дети!) карт. У него на сердце лежала… бубновая дама… мёртвая. Я дальше смотреть не стала.

Я в те дни стала бояться снега. Он тогда всё шёл и шёл. Как будто это Снежкина душа с неба сыпалась, отвергнутая. Самоубийц на небо не берут, знаете? И пока не могу, как снег, на улицу выйти. Кажется, снег отдаёт её духами (от неё в тот раз такими острыми, холодными духами пахло — как роса на траве) и специально в рот, в нос, в глаза лезет.

Я всё-таки позвонила тому судье, Анатолию Григорьевичу. Он научил меня, что говорить, если будут вызывать. Но никто не вызывал. Наверное, она записку оставила, что-то объяснила. Я гадала на письмо. Выходило — оставила. Сразу по ней было видно: аккуратная, серьёзная девушка.

Но как я могла не увидеть тогда на картах самого главного, как?! Всё не могу с этим смириться. Знаете, у меня нет другого ответа, кроме вот этого: *Она* мне руку сбила. *Она* оказалась сильнее. Прежней уверенности, лёгкости уже не будет. Хотя я тысячу раз после этого гадала — падало верно, верно, верно (сами же видели), а всё-таки прежнего не вернёшь. Я вам признаюсь…

Женщина наклонила ко мне бледное лицо, от шарфика запахло прелыми осенними листьями, и прошептала:

— Я боюсь. Я боюсь.

И правда — теперь она была ещё бледнее. Вот-вот, казалось, с её лица посыплется мука или снег, пахнущий беленькой мёртвой девочкой.

…Как-то захожу в магазин. Опять, кстати, за яблоками. Наклоняюсь, выбираю. А за спиной *Она* мне говорит: «И ты думаешь, на этом всё закончилось? Напрасно, на-а-апрасно». Яблоко из руки выронила — боюсь оглянуться. Так и вышла порожняком.

— Может, это вас не касалось? Может, просто обрывок какого-то чужого разговора? — усомнилась я в серьёзности такой угрозы.

— Да нет же! — обиделась гадалка, — Это было сказано точно мне. Потом ещё в автобусе *она* сказала: «Я к тебе скоро приду». Потом на улице в спину крикнула: «Сдохни!»

— Ну, это уже мог кто угодно кому угодно сказать!

— Нет! — взвизгнула она. — Нет! Мне надо уехать…

— С чего вы взяли, что девушка, которая к вам обращалась, покончила с собой? Вы её видели в гробу? К вам даже из милиции никто не приходил. Ну позвонила какая-то женщина. Так, может, специально? Может, какая-нибудь ваша конкурентка, чтоб вас из колеи выбить? Сейчас все гадают — популярный бизнес. Карты же вам не показали, что девушка покончит с собой? А все эти фразы — плод вашего воображения, — я чуть не добавила: «расстроенного».

Любой на моём месте сказал бы ей то же самое. Тем более до моего поезда оставалось уже полтора часа. И я ещё не обедала.

— Но потом-то мне выпало, что её нет! — затрясла беретом гадалка.

— А может, её и не было никогда. Не было девушки Снежаны. Была девушка Лена, Света, Даша, Маша, которую попросили задурить вам голову. А Снежаны не было и нет.

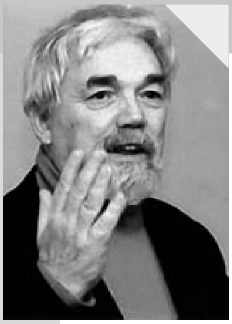
Собеседница моя сунула было руку за картами, но отдёрнула поспешно. Помотала головой:

— Я видела её мальчика с крестовой дамой. На остановке университета стоял темноволосый парень, и с ним молодая женщина. Он ей что-то рассказывал, а она смахнула ему волосы со лба. Он вдруг передёрнулся весь и крикнул на неё: «Не делай, как Снежка!» Не как Лена, Света, Даша… Он крикнул: «Не делай, как Снежка!».

Я пожала плечами. Она, согнувшись как при боли в животе, молчала. Я встала, сказала:

— Удачи вам, всего хорошего, не отчаивайтесь, всё наладится. Не казните себя, вы ни в чём не виноваты. Приятно было познакомиться, хоть я и не Елена Владимировна. Но мне пора. — И покатила свою сумку прочь. И даже не оглянулась.

И даже не оглянулась. Никто не оглядывается. Не смотрит. Не может выслушать и понять. Никто не может. Я каждый день хожу на вокзал. Представляю, с кем бы я могла заговорить и что бы я тогда рассказала. Сегодня я представляла, как разговариваю вон с той уходящей женщиной. Она долго сидела возле меня. А теперь вот ушла. Интересно, что она обо мне подумала? Я честно представила, как бы выглядела в её глазах: немолодая, некрасивая, глаза поблёкшие, берет уродский — короче, сумасшедшая. Я себя не выгораживала, ведь так? Всё-таки эта женщина показалась мне доброй, это была точно не *Она*. Надо было решиться и всё ей рассказать. Кому-то надо всё рассказать. Но кому?! Здесь столько людей — можно ошибиться. Я, надо признаться, плохо разбираюсь в людях. И берет этот синий правда мне не к лицу.



Илья Фоняков

Кладовые света и добра

Запасник

Пушкинскому Дому

Там всё по-старому, там всё на прежнем месте,
Там бюсты классиков, как птицы на насесте,
Рядком под потолком застыли на шкафу:
Там Блок обдумывает новую строфу,
Там Чехов щурится, и Пушкин золотистый
Потомку взглядом говорит: «Держись и выстой!»,
И белый Герцен от него недалеко
Вольтеру что-то сообщает на ушко.
Люблю запасники, причудливой свободы
Приют, где гениев не разделяют годы,
Предубеждения, границы, языки,
Сословные божки, журнальные кружки.
Не разведённые по полочкам наукой,
Все связаны одной божественной порукой,
Все — современники, соратники, родня,
Как в памяти, в душе у вас и у меня!

Трагедия

Сатирик пережил свои мишени,
А с ними — точность боя, блеск и прыть,
И слушать ныне сущее мученье,
Как, тужась, он пытается острить.

Не воскресишь удачу, как ни бьёшься,
И повисает в воздухе строка.
«Над кем смеёшься? Над собой смеёшься!» —
Подначивает Гоголь сквозь века.

Истукан

Кому какая выпадает слава.
Давным-давно, победой возгордясь,
Мог сделать чашу печенежский князь
Из черепа героя Святослава
Для пиршества. А вот что как-то мне
Увидеть довелось в одной стране.

Свалили бронзового истукана,
Остались в гипсе бюсты-двойники.
Неужто черепа их — в черепки?
Спилили верх, в подобие стакана
Под авторучки и карандаши
Их превращать пустились торгаши.

Как сувениры-близнецы, рядами
Безмозглые торчали на лотках.
Сограждане вертели их в руках
И награждали по носу щелчками,
Забыв про славословия и лесть.
Так стоит ли на постаменты лезть?

Поздний Слуцкий

Я сегодня, близкие, не с вами,
Я уткнулся в книжный разворот.
Точными, негладкими словами
Поздний Слуцкий за душу берёт.

Жизнь свою, без крика и надрыва,
То оправдывая, то казня,
Комиссар последнего призыва —
Поздний Слуцкий достаёт меня.

В Лужниках не понят и захлопан
(Этот вечер помню как сейчас),
Поздний Слуцкий — как писал взахлёб он:
Для себя, для памяти, для нас.

Не успеть, не досказать боялся.
Словно исполняя некий долг,
Выговорился — как отстрелялся,
Перед тем как заживо умолк.

Воспоминание о Новосибирском симфоническом

Памяти А. М. Каца

Пусть кого-то тешит на эстраде
Нервный, в экзотическом наряде,
Блёстками усыпанный паяц, —
Королевским жестом дирижёра
Толику высокого мажора
Уделите мне, маэстро Кац!

Нынче время смуты и надрыва,
Нынче модно усмехаться криво,
Нынче правят скепсис и хандра,
Истинная радость — в дефиците.
Не скупитесь, мастер, отворите
Кладовые света и добра.

Я вас помню молодым и смелым,
А потом я вас увидел белым,
Да и сам с годами стал я бел,
Но в оркестре не охрипли скрипки,
И смычки, как прежде, были гибки,
И Бетховен ваш не постарел.

И теперь ещё, помимо воли,
Вспомню ваши невские гастроли,
Толчею в Капелле возле касс.
Жизнь прекрасна! Толику мажора
Королевским жестом дирижёра
Уделите мне, маэстро Кац!

В автомобильной пробке все равны,
Как при общинно-первобытном строе:
«Москвич» и «джип», вчерашние герои
И новые хозяева страны.

Все недовольны, все раздражены,
Абстрактное начальство дружно кроя.
Не обогнать, не вырваться из строя
Ни с правой и ни с левой стороны.

Ни связи тут не выручат, ни взятки,
Ни с бритыми затылками ребятки,
Оплачиваемые не в рублях.

И смотрит не без тайного злорадства
На это принудительное братство
Пенсионер в облезлых «Жигулях».

Андрей

Я журналистом был тогда в Сибири.
В свободный час, с собой наедине,
Поигрывал на самодельной лире.
И как-то вдруг в редакцию ко мне

Явился он—двадцатипятилетний,
Казавшийся моложе этих лет,
Ещё ни славой мировой,
ни сплетней
Покуда
не обласканный поэт.

Всего-то за душой одна поэма:
Вполне хрестоматийная,
до дна,
Казалось бы, исчерпанная тема
Была в ней, как впервые, прочтена.

Его сравнил я с грозовым разрядом,
Который освежает всё вокруг.
Метафоры к нему слетались на дом,
Кормясь, как птицы, у него из рук.

Он объяснил, что груша треугольна,
Что есть миры и есть антимиры.
Им власть была нередко недовольна,
Страшась его рискованной игры.

Старели сверстники. Ветшали стены.
Но длилось озорное волшебство:
Дерзающая юность неизменно
Была визитной карточкой его.

Кого там провожают в путь последний?
Его строка жива и молода.
Ушёл семидесятисемилетний,
А юноша остался навсегда.

Я стою с полуоткрытым ртом
И смотрю, как старый мой знакомый
Православным истовым крестом
Осеняется перед иконой.

Комсомольский некогда вожак,
Как ты очутился в новой нише—
Заодно с другими, просто так?
Или откровенье было свыше?

Забыть свой день рожденья в октябре,
Не замечать, как прирастают годы,
От выдуманной кем-то странной моды
Отстать. Плевать, что осень на дворе!

Придёт зима в колючем серебре,
За ней весна: круговорот природы!
Не прав был грек: вступаем в те же воды
И те же месяцы в календаре.

Стынь, время, словно муха в янтаре!
Дары, застолья, шуточные оды—
Лишь в детстве сладки эти переходы:

Причастным быть к таинственной игре,
Вводить родню в приятные расходы
И под подушкой шарить на заре!

Как мир многообразен и богат!
Морской орёл, парящий на свободе,
Червяк, сверлящий землю в огороде,
И пёс, и кошка, и ползучий гад,

Дельфин-торпеда, плоскотелый скат—
В своём предназначении и роде
Все в совершенстве удались природе,
Лишь—мы какой-то полуфабрикат,

Эскиз, проект—быть может, гениальный,
Но авантюрный, экспериментальный,
За что подчас и платимся, друзья.

Такая в мире доля нам досталась,
Хотя, не скрою, в юности казалась
Мне совершенством милая моя.

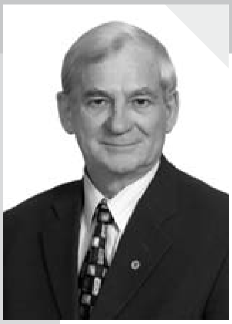
Яблоня к себе не подпускает,
Тычет ветками в лицо и грудь,
По глазам наотмашь приласкает,
Только зазеваешься чуть-чуть.

А не то раздвоенной рогаткой
Растопырившиеся сучки
С хулиганской уличной повадкой
Так и целят в самые зрачки.

Отчего такое неприятье?
Что ж так неприветлива со мной
Ты, что, как невеста, в белом платье
Красовалась, нежная, весной?

Для кого хранишь свои гостинцы,
Поздняя красавица моя?
Осень, и давно уж птицы-принцы
Здешние покинули края.

Почему топорщишься упрямо,
Подойти мне близко не даёшь?
Или, может, просто—после мамы
За хозяина не признаёшь?



Геннадий Волобуев

Судьба генерала

Герои атомного проекта на красноярской земле

Много генералов прошло через Красноярский край — и даже один знаменитый адмирал. Разный они оставили след в памяти потомков. Об одних вспоминают с ужасом, других боготворят, о третьих просто ничего не знают, но пользуются плодами их деятельности. Это случается в основном с теми, кто был засекречен. Настала пора открыть их лица…

От рабочего до генерала

Первый директор строящегося завода по разделению изотопов урана в Красноярском крае Анатолий Сергеевич Александров был незаурядной, видной личностью и активным участником создания атомной отрасли страны.

В Сибири он проработал всего три года и завершил здесь свою военную и производственную карьеру. Его главным, итоговым делом всей жизни стало основание города Зеленогорска. Он руководил комиссией по выбору площадки для строительства завода и города, он обозначил место для жилой застройки, и он же сделал первые шаги в создании современной социально-бытовой среды с высоким духовным потенциалом.

Самая загадочная страница его биографии — происхождение. На этот счёт есть только версия писательницы Нины Шалыгиной, которая лично знала А. С. Александрова и в своих публикациях полагает, что он побочный сын какого-то знатного человека, возможно дворянина. Первые годы воспитывался в семье беднейшего крестьянина в деревне, которому незнакомые люди дали корову, коз и прочее, пока ребёнка не забрали в приют. Александров пишет, что он был сиротой и о родителях ничего не знал. Только упоминает тётку и двоюродного брата, который был часовщиком и рано умер. Положение сироты позже помогло ему быстро проходить анкетные опросыпри поступлении на важные государственные посты.

Сразу раскрою один секрет. Анатолий Сергеевич родился не в 1899 году, как обозначено во всех источниках, а на два года позже — в 1901 году, 3 декабря. Ему в приюте прибавили 2 года, так как в ремесленное училище принимали с 12 лет, а ему после четырёхгодичного обучения в школе было всего 10.

Начинал Анатолий Сергеевич свою самостоятельную жизнь после окончания ремесленного училища цесаревича Николая в качестве рабочего, окончил Петроградские артиллерийские командные курсы РККА, с боями прошёл всю Гражданскую войну и демобилизовался в 1924 году.

А. С. Александров — преподаватель Академии механизации и моторизации РККА

Уже в ранние годы проявились его способности. Чтобы попасть в ремесленное училище на казённый счёт, надо было сдать все вступительные экзамены только на «отлично». Он с этим успешно справился. Работая на заводе, организовал изготовление деталей поточным методом с таким экономическим эффектом (как сказали бы сейчас), что пришлось сдерживать сдачу изделий в ОТК, чтобы не вызвать гнев других квалифицированных рабочих.

Учился в техникуме, затем в Военно-технической академии РККА. Чтобы поступить туда, надо было сдать 26 экзаменов, в том числе и по иностранному языку. Не обучаясь ранее никакому из них, он за 3 месяца освоил французский и сдал все экзамены. От Ленинграда это был единственный претендент, кто прошёл в академию. И, как ударник, закончил её на полгода раньше срока.

На работу в Кремль Анатолий Сергеевич был приглашён из Военной академии механизации и моторизации РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии), где он в то время работал в качестве старшего преподавателя на командном факультете. Надо заметить, что в числе его дипломников (в технической части) заканчивали академию такие выдающиеся в будущем полководцы, как И. Д. Черняховский, С. М. Штеменко, Н. И. Потапов и др. В это же время Анатолий Сергеевич участвовал в написании курса «Колёсные и гусеничные машины». Эту работу заканчивал, будучи на новом месте.

А. К. Круглов в книге «Штаб Атомпрома» пишет: «А. С. Александров был высокообразованным военным. Его лекции всегда привлекали много слушателей, и их ждали с нетерпением. Военную технику (своего профиля) он знал отлично. Его далеко не случайно привлекли к работам, связанным с освоением и созданием ядерного оружия…»

В правительстве страны он начал работать летом 1938 года в качестве секретаря председателя Военно-промышленной комиссии (ВПК) Комитета Обороны при СНК СССР (председатель Л. М. Каганович). Тогда аппарат этой комиссии только комплектовался, в основном — военными кадрами, которые оставались в армии, но числились командированными в счёт «1000». Александров пишет: «…когда из промышленности было изъято (арестовано) много специалистов, на Политбюро было принято решение: откомандировать из армии в промышленность 1000 высококвалифицированных специалистов. Вот в счёт этой тысячи нас и отобрали в ВПК».

В состав комиссии тогда входили известные в стране люди: нарком обороны К. Е. Ворошилов, председатель госплана Н. А. Вознесенский, нарком внутренних дел Н. И. Ежов и другие.

Начинал свою правительственную карьеру Анатолий Сергеевич с должности инженера-инспектора в группе изобретательства и рационализации. Здесь сразу же проявились инженерные и творческие способности молодого специалиста ВПК. А всего за два десятка последующих лет активной работы у него будет много реализованных новаторских идей и предложений.

Вот что пишет сам Александров: «Однажды меня вызвал к себе И. П. Сергеев (зам. по арт. вооружению и боеприпасам) и говорит: «Вы ведь артиллерист в прошлом, а сейчас занимаетесь рационализацией и изобретательством. Так вот, на заводе № 8 в Подлипках разработан метод центробежного литья стволов 45-миллиметровых пушек. Поезжайте на завод, посмотрите, как там идут дела; может быть, предложите путное что-нибудь для наших дел». Поехал на завод. Прежде стволы пушек ковались, а сейчас завод перешёл на центробежное литьё. Этот метод был, безусловно, более прогрессивным. На заводе было пять мартеновских печей. Изучив на месте дело, я предложил такой график работы печей, в результате которого резко увеличивалось производство 45-мм пушек, что и требовалось для мобилизационного плана. Мои предложения были приняты».

Тогда же подвернулся и другой случай проявить смекалку и организаторский талант. На заводе «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону делали орудийные колёса. Военпреды-приёмщики фиксировали сплошной брак, и шёл срыв поставок этих изделий в армию. Приехав на завод, Александров попросил показать, как определяется годность колёс. «И что же оказалось? Партия колёс составляла 100 штук. Военпред брал одно колесо и сбрасывал его с вышки высотой 30 метров. Если колесо не выдерживало и рассыпалось, браковалась вся партия». Анатолий Сергеевич предложил уйти от этого «варварского» способа контроля и применить вибраторы, которые использовались в авиационной промышленности. После этого брак резко сократился.

Месяца через два после этого его вызвал Лазарь Моисеевич Каганович; в присутствии других членов Военно-промышленной комиссии после короткого разговора заявил: «Если узнаете о своём новом назначении, не удивляйтесь». К вечеру того же дня его ознакомили с приказом о назначении секретарём Военно-промышленной комиссии.

Это уже был статус ответственного работника Кремля, и он впервые получил множество благ: закреплённый за ним автомобиль ЗИС-5, дачу с прислугой и полной обстановкой, право пользоваться в любое время фешенебельным домом отдыха и другое. Но работы значительно прибавилось. На заседаниях Комитета он сидел за отдельным столиком рядом с Кагановичем. Напротив, за длинным столом сидели члены ВПК — Ворошилов, Ежов, Вознесенский и другие. На заседания приглашались заинтересованные наркомы или их заместители. Часто бывали Б. Л. Ванников — тогда начальник главка по вооружению Наркомата оборонной промышленности, Г. И. Кулик — начальник Главного артиллерийского управления — и другие видные руководители промышленности.

Анатолий Сергеевич быстро освоил новые обязанности, на что Каганович заметил: «Ну, дело у вас пойдёт». Но в личной жизни Александрова позднее Каганович сыграл негативную роль.

В 1939 году ВПК была ликвидирована, её аппарат перешёл практически с теми же функциями в Комитет Обороны, и Анатолия Сергеевича назначили заместителем секретаря Комитета обороны при СНК СССР. В этом же году его перевели на должность заместителя начальника отдела мобилизации промышленности. Комитет Обороны непосредственно подчинялся В. М. Молотову. В его задачу входило «заниматься всеми текущими делами Наркомата обороны, в том числе и принятием на вооружение новых образцов техники, составлением текущих планов поставок вооружения Наркомату обороны и Наркомату Военно-морского флота». Здесь Александров с группой сослуживцев проявляют инициативу разработать полномасштабный план мобилизации. Ранее был утверждённый Сталиным подобный план, но в нём отражались только отдельные направления мобилизации, и он не отвечал уже требованиям времени. Тем более — после негативного опыта войны с Финляндией. Эту инициативу поддержал Генштаб. Была проделана огромная работа. К. Е. Ворошилов вызывал к себе заинтересованных наркомов и начальников родов войск. Анатолий Сергеевич пишет: «С Ворошиловым мы встречались каждый день, занимались разработкой мобилизационного плана промышленности — теперь уже по всем видам вооружения и снабжения, включая инженерное вооружение, обозно-вещевое, интендантское (шинели, сапоги и проч.)». Забегая вперёд, скажу, что этот план из-за нерешительности Ворошилова не был сразу утверждён. Но он стал хорошим подспорьем в дальнейшей работе по вооружениям.

А. С. Александров на работе в Кремле

Каким был Ворошилов вне армии, с иронией рассказывали друзья Александрова и он сам приводит пример: «Наконец проект плана был готов, со всеми согласован, и никаких разногласий ни с той, ни с другой стороны не было. Казалось бы, план готов, проделана огромная работа, бери этот план и иди утверждать. Так нет, не таков был наш маршал.

Это уже известно, что лично Климент Ефремович был очень храбрым человеком. О его храбрости ходили легенды из периода Гражданской войны. А о его храбрости во время Великой отечественной войны, когда он командовал в Ленинграде Северо-Западным фронтом, мне рассказывал Лёня Щербаков *(адъютант К. Е. Ворошилова)*: как он и охрана Ворошилова чуть ли не силой заставляли его уйти из-под миномётного огня. Но что касается бумажных дел, я не видел более нерешительного человека, чем маршал Ворошилов».

В марте 1941 года Комитет Обороны был ликвидирован. Вместо него была образована Военная Комиссия во главе со Сталиным. В Комиссию входили почти все те же люди, что и в Комитет Обороны, а вместе с ними А. И. Микоян и В. М. Маленков. Секретарём был назначен И. А. Сафонов, заместителем секретаря Военной Комиссии стал А. С. Александров. В то время уже ощущалось приближение войны. Договор с Германией о ненападении в 1939 году был подписан, его в нашей стране воспринимали как мирную передышку, но военно-промышленный комплекс работал на полную мощность. Анатолий Сергеевич рассказывает об одном эпизоде своей работы в это время. «На одном из заседаний Комиссии И. В. Сталин подошёл к Н. А. Вознесенскому и спрашивает: «Сколько вам лет?» Вознесенский отвечает: «тридцать пять». «Ну вот видите, вы ещё совсем молодой человек. Возьмитесь-ка вы за боеприпасы. Два месяца хватит?» — говорит Сталин.

Это должно быть в марте 1941 года. Вознесенский вызвал Сафонова и меня. Пригласил сесть. Очень подробно расспрашивал нас, какими материалами мы располагаем, и остался, видимо, доволен. Он никак не предполагал, что у нас, у военных, имеются такие подробные данные о мощностях всех наших предприятий. Мы ему показали все проекты наших мобпланов. Он всё очень внимательно рассмотрел, а в заключение сказал: «Поскольку нам вооружения не поручены, отложим их, а план по боеприпасам сделаем не за два месяца, а за две недели».

Так и произошло. В начале апреля план был готов. Н. А. Вознесенский, не теряя ни дня, сам пошёл к И. В. Сталину и в тот же вечер принёс нам утверждённый мобилизационный план».

Военная Комиссия работала до 21 июня 1941 года. Последнее её заседание закончилось за несколько часов до начала войны. На другой день был образован Государственный Комитет Обороны (ГОКО).

Чтобы отличать эту аббревиатуру от такой же, которая означала «Городской комитет обороны» (ГКО), по примеру Сталина Госкомитет Обороны стали называть ГОКО.

А проект мобилизационного плана пригодился сразу с началом войны. Первым его затребовал у Анатолия Сергеевича А. И. Микоян, который отвечал в ГОКО за продовольственное, интендантское, обозное и медико-санитарное снабжение фронта. Вопросы вооружения были поручены Н. М. Швернику. Александров говорит, что две недели пришлось работать с ним; тот, не зная вопроса, поминутно звонил Анатолию Сергеевичу и только мешал работать. Сталин, поняв, что у Шверника дело не пойдёт быстро, заменил его на Л. П. Берия.

Так как план давно был согласован со всеми заинтересованными лицами, его быстро утвердили. Александров работал с Н. А. Вознесенским в должности заместителя заведующего секретариатом.

Нагрузка была колоссальной, тем более что большая часть правительства до января 1942 года находилась в эвакуации в городе Куйбышеве. Вознесенский с Александровым там пробыли всего три недели и вернулись в Москву.

В декабре 1941 года А. С. Александрову присвоили звание «бригадный инженер» и наградили первым орденом Трудового Красного Знамени. Так Вознесенский и вышестоящие руководители страны оценили деятельность Анатолия Сергеевича в первые полгода войны.

В феврале 1942 года ответственность за боеприпасы Сталин возложил на Берию, и все работники Совнаркома, кто занимался боеприпасами, в том числе А. С. Александров, были переданы в подчинение Л. П. Берии.

Каждый член ГОКО получил право иметь заместителей. А. С. Александров назначается заместителем члена ГОКО Л. П. Берии. Тогда Анатолию Сергеевичу первому в Кремле присвоили звание генерал-майора инженерно-технической службы. Он вместе с Н. А. Борисовым и В. А. Махнёвым стал отвечать за боеприпасы. Разница в методах работы Вознесенского и Берии, как говорит Александров, была огромная. Вознесенский вникал во все детали и все планы внимательно прочитывал. Берия полагался на своих помощников. С одной

стороны, это было большое доверие к специалистам, с другой — большой риск для них. Не дай бог, если что-то заметит Сталин при подписании документа.

Вот один эпизод из воспоминаний А.С. Александрова: «Когда у нас был готов первый план по вооружениям и боеприпасам, примерно 1000 страниц, мы ждали Берию до 4-х часов утра, он был у Сталина. Думали: ну, теперь будем канителиться часов 5–7. Мы имели в виду метод работы Вознесенского, когда тот читал планы по нескольку часов. Но вот появился Берия. Вызвал всех, посмотрел на нас весёлыми глазами: «Ну как, у вас всё готово? Всё согласовано? Давай ручку», — и подписывает. Пробыли мы у него не более пяти минут. Итак, план подписан и пошёл на утверждение к Сталину. В тот же день план был утверждён».

Анатолий Сергеевич замечает: «Вся работа в Совнаркоме была построена на доверии. Сталин доверял своим ближайшим соратникам: Молотову, Берии, Микояну, Маленкову, а те в свою очередь доверяли нам. Ну а мы, как рабочие лошади, должны были всё очень тщательно смотреть и всё лишнее отсеивать. Совещания, которые проводил Берия, проходили, за редким исключением, всегда быстро и весело. Но иногда бывало не до смеха. Когда что-либо ему не нравилось, он обычно говорил: «Смотри, шею оторвём!» Он говорил: не голову, а шею».

Всю войну Анатолий Сергеевич проработал с Берией, много раз выезжал на испытания новых боеприпасов и оружия, работал с промышленными предприятиями, готовил с коллегами важнейшие для обороны страны документы на подпись Сталину. За это время его наградили ещё одним орденом Трудового Красного Знамени и орденом Кутузова 2-й степени. В конце войны он удостоился ордена Кутузова 1-й степени. Тогда просто так, по разнарядке, ордена не раздавали.

Первые шаги к атому

После ликвидации ГОКО в сентябре 1945 года Берия назначает Анатолия Сергеевича Александрова помощником зам. председателя СНК СССР, т.е. самого себя (Председателем СНК был Сталин). Он на некоторое время оказался без дела, хотя числился в штате правительства. Война с Японией на производстве боеприпасов уже не отражалась, и всё шло как по накатанной.

Не привыкнув бездельничать, Анатолий Сергеевич всерьёз взялся за изучение английского языка, для чего к нему ежедневно на рабочее место приходила преподаватель. Так продолжалось более года.

В то время его пригласил в здание ЦК партии зав. отделом Павленко и предложил возглавить военную администрацию в нашей оккупационной зоне в Германии. Эту идею высказал А.И. Микоян, который обещал договориться с Берией. Александров, естественно, не возражал. Как происходило согласование с непосредственным начальником, рассказал Александрову некий Ордынцев, при котором происходил разговор Микояна с Берией: «Позвонил Микоян. Чувствую, что разговор идёт об Александрове. Берия побагровел и орёт в трубку: «Ты что нашёл топор под лавкой? Заведи свои кадры и распоряжайся ими». А Александрову лично потом заявил: «Ты что шляешься по всяким там ЦК и нанимаешься на работу? Сиди и не рыпайся, никуда не поедешь». Ясно, что для Берии единственным авторитетом был только Сталин, а не «какие-то там ЦК».

Надо заметить, что это была не первая попытка Микояна по назначению Александрова. Когда он, по словам М.С. Смиртюкова — зам. зав. секретариатом СНК СССР, обсуждал вопрос о должности зам. наркома внешней торговли по ленд-лизу, то сказал: «Хорошо бы на эту должность двинуть Александрова, но он занят и вряд ли его отпустят. Придётся Семичастного назначать».

Александрову, как самому старшему в Кремле военному начальнику, поручили организовать офицерскую учёбу. Выполнял и другую рутинную работу. И так прошло время до конца 1946 года.

После войны, от которой страна ещё долго не могла оправиться, в самых высших эшелонах власти и в нескольких научных учреждениях в сверхсекретной обстановке начинало разворачиваться другое эпохальное событие, основанное на недавно открытом явлении деления ядер атома. Вскоре оно стремительно охватит почти все отрасли народного хозяйства. Сотни лабораторий и институтов будут работать на применение в реальности внутриатомной энергии. И в первую очередьо — для создания оружия массового поражения.

А.С. Александров пишет: «Постепенно, примерно с конца 1946 года, Л.П. Берия начал привлекать меня к работам Первого главного управления (ПГУ) при СНК СССР, которое вместе со Спецкомитетом было создано 20 августа, сразу после бомбардировки двух японских городов 6 и 9 августа 1945 года американцами. Начальником ПГУ был назначен Б.Л. Ванников, бывший нарком боеприпасов. Научным руководителем был поставлен Игорь Васильевич Курчатов».

Первое главное управление создавалось как орган непосредственного руководства всем комплексом мероприятий по использованию внутриатомной энергии и, самое главное, по созданию атомного оружия. В то время в первую очередь имелась в виду только атомная бомба. В подчинение ПГУ были приданы научно-исследовательские, проектные, конструкторские организации и множество больших и малых предприятий. Спецкомитет возглавлял Берия. Он фактически стал руководителем Атомного проекта СССР. Спецкомитет был наделён чрезвычайными полномочиями и действовал как орган при Совете народных комиссаров СССР, а с марта 1946 года, после преобразования СНК СССР в Совет Министров СССР, — как орган при Совете Министров СССР. В его состав входили: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.А. Вознесенский, Б.Л. Ванников, А.П. Завенягин, И.В. Курчатов, П.Л. Капица, В.А. Махнёв, М.Г. Первухин. Решения Спецкомитета были обязательны для министерств. Материалы для Спецкомитета готовил Учёный совет ПГУ. Его председателем был И.В. Курчатов.

На заседаниях Спецкомитета обсуждались наиболее принципиальные, важные вопросы в ходе реализации Атомного проекта, здесь корректировались и одобрялись документы в виде постановлений и распоряжений ГКО (ГОКО), СНК (СМ) СССР, которые представляли на утверждение И. В. Сталину. А. С. Александров в этом деле будет одним из самых активных ответственных лиц.

Анатолий Сергеевич делал первые шаги в зарождающейся атомной отрасли вначале как помощник Лаврентия Берии — руководителя Атомного проекта СССР, а позже — как заместитель Начальника ПГУ, член Спецкомитета и член Учёного и Технического советов. Одно время он ещё параллельно руководил Вторым главным управлением при ПГУ. С 1951 года по 1955 год возглавлял конструкторское бюро КБ-11, где сводились в конечный продукт усилия учёных, инженеров, рабочих, военных по созданию ядерного оружия. Думаю, такая фигура заслуживает внимания. Только почему-то этот человек долгое время оставался в тени истории. Как бы то ни было, его имя значимо для города и края. И я делаю первую попытку рассказать о нём, вначале в сокращённом варианте. Прошу муниципальные органы власти и общественные организации считать этот текст заявлением-характеристикой на присвоение одной из улиц города имени А. С. Александрова. Сразу скажу, что такая попытка уже была сделана К. Н. Полосковым и В. Г. Денисовым к 25-летнему юбилею города. Эта информация есть в их переписке, которая хранится в Музее истории города. Но то были другие времена.

Главная цель — атомная бомба

Среди великих свершений XX века можно назвать два основных — освоение внутриядерной энергии атома и начало освоения космического пространства. Для нашей страны первое достижение значимо тем, что оно спасло народ от очередного варварского нападения другой ядерной державы, сбалансировало силы мировых государств и охладило бездумный воинственный пыл потенциальных агрессоров. «В начале 1947 года, — пишет Александров, — меня вызвал Берия и говорит: «Пойдёшь работать к Ванникову. Ему как раз нужен заместитель по вопросам КБ-11 и «Горной станции». КБ-11, или объект № 550, — это как раз был тот объект, который занимался вопросами исследования, конструктивной разработкой, изготовлением и испытанием атомной бомбы. «Горная станция» — условное название полигона, на котором должны были производиться испытания атомной бомбы. Если объект № 550 реально существовал, строился и работал, то «Горной станции» вообще не было. Даже точки на местности, где эта станция должна была бы строиться, не было».

Аркадий Круглов, написавший несколько книг по истории атомной отрасли, отметил ещё одну особенность: «Для обеспечения скорейшего создания ядерного центра — филиала лаборатории № 2 в Арзамасе — в ПГУ создаётся соответствующее подразделение — отдел № 3, и его руководителем был назначен А. С. Александров».

Приведу выписку из письма А. П. Завенягина к Л. П. Берии от 15 февраля 1947 года на предмет представления проекта Постановления СМ СССР о назначении А. С. Александрова и А. М. Петросьянца на должности заместителей начальника Первого главного управления при СМ СССР:

«Товарищу Берии Л. П.
Сов. секретно

Ввиду сложности и специфичности заданий, возложенных на конструкторское бюро № 11 (проф. Харитон), испытательную станцию, а также связанные с ними научные конструкторские организации и предприятия, необходимо иметь в числе заместителей начальника Первого главного управления при Совете Министров СССР тов. Ванникова специального заместителя по обеспечению своевременного выполнения указанных заданий.

Представляю на Ваше рассмотрение проект решения о назначении на должность заместителя начальника Первого главного управления при Совете Министров СССР по вопросам КБ-11 тов. Александрова Анатолия Сергеевича… Проект предусматривает оставление тт. Александрова и Петросьянца по совместительству в должности помощника зам. Председателя Совета Министров СССР для обеспечения контроля за своевременным выполнением министерствами и ведомствами решений Правительства, касающихся вопросов конструкторского бюро № 11 и предприятия № 814.

А. Завенягин».

Постановлением Совета Министров СССР от 18 апреля 1947 года № 323 А. С. Александров был назначен заместителем начальника Первого главного управления при СМ СССР.

Структура ПГУ постоянно совершенствовалась. Шла напряжённая научная, техническая и организационная работа. Многие проекты принимались с ходу без обязательных в обычное время согласований и смет. Так в «Мероприятиях по подготовке и организации работ КБ-11» пункт 6 гласил: «Разрешить Министерству внутренних дел СССР выполнение строительно-монтажных работ по строительству № 880 без утверждённых проектов и смет. Оплату работ производить по фактическим затратам».

С объектом № 550 судьба сведёт Александрова надолго, он вложит много сил, знаний, организаторских способностей, позже сам возглавит это уникальное конструкторское бюро и городок при нём.

Связавшись с городским краеведческим музеем и Музеем ядерного оружия в городе Сарове, я с удивлением обнаружил, что у них нет практически никаких серьёзных материалов об Анатолии Сергеевиче. А те, что были, они в копиях переслали мне. Информация о деятельности А.С Александрова рассеяна по множеству источников: документам Атомного проекта СССР, в частности протоколах заседаний Спецкомитета, на которые он готовил проекты документов, осуществлял контроль за их исполнением и сам часто был исполнителем. Большая часть этих протоколов находится в архиве

Президента РФ. Имя А. С. Александрова встречается в воспоминаниях Сахарова, Щёлкина, в книгах Вознесенского, Губарева, Круглова, Голованова, Молчанова, в публикациях Атоминформа и др.

А. С. Александров сразу же, приступив к исполнению обязанностей по ПГУ и соответственно Спецкомитету, конкретно занялся ядерным полигоном. Опубликованные скупые документы Атомного проекта не раскрывают всех подробностей создания этого, тоже уникального в своём роде, объекта. Был построен не просто полигон — поле с несколькими службами, а целый ряд весьма солидных комплексных объектов с жилыми посёлками, подземными и наземными сооружениями, казармы. А во время испытаний к эпицентру будущего взрыва ещё завозилась многочисленная техника, строились временные имитационные сооружения, устанавливалось разнообразное оборудование. Было обеспечено транспортное сообщение, охрана и техническое обслуживание.

Судьба преподнесла Александрову первый исторический подарок — быть одним из основателей, если не самым первым, этого грандиозного комплекса.

«Словом, пошёл я работать в ПГУ. С чего начинать? КБ-11 вроде на ходу, а на «Горной станции», как говорится, и «конь не валялся». Вызвал я из Ленинграда главного инженера ГСПИ-11 В. В. Смирнова. Он приехал на другой же день. Мы с ним обсудили все вопросы и решили, что нужно начинать искать площадку для строительства. Я позвонил в Географический институт АН СССР, и после нашего письма к ним они выдали нам несколько пунктов пустынной местности… Были снаряжены четыре экспедиции по 10 человек в каждой, причём в каждую входили разные специалисты: геологи, гидрологи, энергетики и строители. Возглавлялась каждая партия нашим офицером».

В опубликованных документах Атомного проекта есть три предложенных на рассмотрение комиссии варианта размещения полигона. А. С. Александров после тщательного рассмотрения всех полученных результатов экспедиций, доложил М. Г. Первухину, министру химической промышленности, который в то время замещал болевшего Б. Л. Ванникова по руководству ПГУ, об итогах этой работы. Первухин собрал совещание, на котором присутствовали Главнокомандующий ВВС Главный маршал авиации К. А. Вершинин, Главнокомандующий артиллерией Главный маршал артиллерии Н. Н. Воронов, начальник инженерных войск маршал инженерных войск М. П. Воробьёв и другие.

Предпочтение отдали площадке №1, расположенной в Казахстане, в 150 км от Семипалатинска. Во-первых, потому, что она расположена в пустынной местности, которую окружали сопки. Почва там была каменистой, она обеспечивала беспрепятственный проезд даже без дорог. Самое ближнее небольшое селение находилось в 120 километрах от площадки. Недалеко была судоходная река Иртыш, где можно было построить жилой посёлок для тех, кто будет обслуживать полигон. К тому же южнее Семипалатинска был аэродром.

Но самый главный вопрос: как строить полигон, какую концепцию заложить в проект, — Анатолий Сергеевич решал в споре с Н. А. Борисовым — начальником Первого управления при Госплане СССР, заместителем начальника ПГУ. «Он считал, что мы там взорвём одну бомбу — и на этом всё кончится, а потому нечего огород городить, строить капитальные здания». Нужно, как он говорил, «сляпать» саманные сараи и на этом всё кончить. Я же считал, что одним взрывом дело не обойдётся, людям придётся жить там постоянно, а потому надо строить капитальные здания, со всеми удобствами, чтобы людям жить там было бы не в тягость».

«У нас в ПГУ никто этим заниматься не хотел, все были заняты строительством завода для получения самого плутония. Полигон строило Министерство обороны, и в дальнейшем он должен был обслуживаться военными. Поэтому я решил обратиться за решением спорного вопроса к маршалу А. М. Василевскому. Позвонил к нему, объяснил, в чём дело. Он сказал: «Приезжайте», и я поехал. Александр Михайлович подробно ознакомился с моими материалами и говорит: «Конечно же, надо строить капитальные здания со всеми удобствами, чтобы те, кто попадёт туда на службу, не тяготились бы своим бытом. Какой это чудак предлагает строить саманные сараи?» И завизировал проект решения Спецкомитета, который я заранее подготовил. Этот проект решения в скором времени был принят Спецкомитетом».

Интересно ещё одно решение Александрова. Но прежде надо отметить, что секретность в то время была чрезвычайно жёсткая. Задавая проектировщикам ГСПИ задачу спроектировать полигон, им не раскрывали точно его предназначение. Для размещения первой бомбы надо было построить башню. Учёные знали, что американцы испытывали свою бомбу на высоте 50 метров. Мы в то время многое перенимали у них из того, что было известно. Этому помогала не только разведка, но и книга некоего Смита, подробно описавшего испытания американской бомбы. Александров выдал задание на проектирование башни тоже высотой 50 метров, не упоминая её назначение. Проектировщик Андриевский, взявший за основу проект высоковольтной опоры линии электропередачи, заметил, что верх башни будет раскачиваться от ветра. Так делают все опоры с целью экономии металла. «Я в сердцах взял и перечеркнул верхнюю секцию. Так и утвердил башню высотой 36 метров вместо 50. Такой и была она построена, но зато не раскачивалась», — говорит Анатолий Сергеевич.

Сам полигон — это комплексное инженерное сооружение, где впервые испытывались результаты научных, инженерных, медицинских, экологических и других достижений и решений того времени. Поэтому в его проект были заложены идеи многих учёных и инженеров. Особую роль выполнили академик Н. Н. Семёнов и научный руководитель полигона зам. директора Института химической физики АН СССР М. А. Садовский.

К 1991 году Семипалатинский полигон занимал 18,5 тысяч квадратных километров. На его

территории находился ранее закрытый город Курчатов (Москва-400), Берег, Семипалатинск-21, Станция Конечная. За 40 лет на полигоне было произведено 468 ядерных испытаний, взорвано 616 ядерных и термоядерных устройств.

Уральское ускорение

Стиль руководства страной и, соответственно, внутри управленческих структур в то время был, мягко говоря, несколько необычным. Во всяком случае, резко отличался от стиля более поздних лет. Кадры назначались, смещались, переводились с одного места на другое, словно при боевых действиях на фронте. Так, Ванников вначале руководил ПГУ и, соответственно, подчинённым ему А. П. Завенягиным. Через несколько лет уже Завенягин в качестве министра был руководителем Ванникова. Е. П. Славский возглавлял Второе главное управление при Первом, он курировал строящиеся плутониевый комбинат и заводы по разделению изотопов урана. Потом его отправили руководить одним из этих заводов. А на его место, по уже третьему совместительству, поставили А. С. Александрова. Всё определялось ситуацией, которую надо было оперативно и грамотно разрешать. Опытные кадры не задерживались подолгу на одном месте, их перебрасывали на новые объекты: например, в Сибирь — под Томск и Красноярск, оттуда — в Ангарск и Зеленогорск. Самых опытных специалистов и руководителей возвращали в Москву, в министерство…

Ещё в 1948 году Александрова по совместительству обязали руководить Вторым главным управлением ПГУ, которое занималось вопросами уральских заводов «А», «Б», «В» в Челябинске-40, ныне г. Озёрск (комбинат 817). Завод «А» означал уран-графитовый реактор — первый промышленный реактор для наработки плутония для атомной бомбы. Второй завод, «Б»,— радиохимический завод, и завод «В» — предприятие по производству металлического плутония и необходимых для ядерного заряда изделий из него. Ефим Павлович Славский — будущий легендарный министр среднего машиностроения — был назначен директором комбината, а научным руководителем комбината поставили И. В. Курчатова.

Александров, войдя в курс дела, сразу же сказал своё веское слово организатора и инженера. Вот один пример. Когда на реактор стали поставлять технологические алюминиевые трубы длиной 20 метров и диаметром 50 мм, к которым предъявлялись очень высокие требования по чистоте, как и ко всем материалам в атомной промышленности, то с подмосковного завода шёл сплошной брак. Анатолий Сергеевич выехал на место и обнаружил причину брака. Дал указание полностью изолировать участок от остального производства с целью обеспечения чистоты воздуха, и брак прекратился.

Другой пример, когда он настоял вместе с Игорем Васильевичем Курчатовым заменить конструктивно-проблемные разгрузочные кассеты, разработанные в НИИХИММАШе Министерства общего машиностроения знаменитым в будущем конструктором Н. А. Доллежалем. Проблема заключалась в том, что, несмотря на обильное охлаждение, происходили приваривания облучённых урановых блочков к технологическим трубам. И они не разгружались через разгрузочные кассеты. Е. П. Славский лично спускался в горячую радиоактивную зону и разгружал кассеты вручную. «В борьбе мнений,— говорит Александров,— Ванников занимал нейтральную позицию, не говорил ни да, ни нет. Остальных членов комиссии, назначенной по разрешению данной проблемы, гипнотизировала цифра 40 млн рублей, затраченных на кассеты Доллежаля. Верх стала брать противная сторона, а мы с И. В. Курчатовым оставались в меньшинстве. Видя такой оборот дела, Игорь Васильевич, посоветовавшись со мной, написал официальное письмо на имя Берия, что в случае принятия кассет Доллежаля он снимает с себя ответственность за работу атомного котла». Берия согласился с Курчатовым, и дело пошло. Кассеты, изготовленные по конструкции артиллерийского завода № 92 в городе Горьком, где директором был А. С. Елян, проблем в будущем не вызывали. Кстати, этот завод изготавливал и диффузионные машины для разделения изотопов урана.

А. С. Александров всегда имел своё мнение и отстаивал его, несмотря на ранги и авторитет оппонентов. Он часто побеждал, пока не столкнулся с оппозицией другого толка и людьми другого уровня. Вот пример того, как он сам отстаивал профессиональные кадры. Незадолго до назначения Александрова начальником Второго главного управления его предшественника по этому ведомству — Ефима Павловича Славского — направили на Урал директором комбината 817. Там наступил ответственный период — монтаж оборудования на реакторе и радиохимическом заводе. Научным руководителем там был Игорь Васильевич Курчатов. «Как-то Л. П. Берия был на комбинате,— пишет Александров,— и ему не понравился Славский. По возвращении в Москву Берия велел подобрать директора и главного инженера на комбинат».

Директором назначили Б. Г. Музрукова — директора «Уралмаша», а на должность главного инженера — директора Солнечногорского химкомбината. А Славского поставили главным металлургом завода «В» на комбинате, которого ещё не существовало. То есть — сместили. Александров настоял, чтобы главным инженером комбината был не этот малоопытный руководитель, а смещённый Ефим Павлович. Представьте себе, как это могло быть в то время. Но авторитет Александрова победил и спас для атомной отрасли уникального в будущем министра.

Работы по атомному проекту шли гигантскими темпами. Ведь Соединённые Штаты начали наращивать свой ядерный потенциал, и, как нам сейчас известно, велась отработка конкретных планов атомной бомбардировки наших городов и промышленных объектов. На примере Японии было ясно, что дело только за необходимым потенциалом. Политических, а тем более нравственных ограничителей здесь не было. Недаром после

испытания первой атомной бомбы, при вручении наград участникам её создания Сталин сказал: «Если бы мы опоздали на один-полтора года с атомной бомбой, то, наверное, попробовали бы её на себе». Поэтому темпы работ были гигантские. А.С. Александров говорит: «Ведь подумать только, ещё в 1945 году у нас ничего не было, а к 1949 году уже были построены громадные научно-исследовательские институты, производственные комбинаты и заводы. Причём надо иметь в виду, что всё делалось параллельно; часто, не имея экспериментальных данных, заказывали дорогостоящее оборудование, которое иногда приходилось попросту выбрасывать». (*Я приводил случай с кассетами Доллежаля.—Прим. авт.*) А вот ещё один пример: «Когда на комбинате №817 строился завод «Б» для переработки облучённых блочков урана в соли плутония, заказана была целая линия из платины (!), состоявшая из баков, труб и прочего технологического оборудования. В то время ещё не было известно иного материала, кроме платины, который мог бы противостоять агрессивным фтористым кислотам. Правительство отпустило нам для этих целей несколько тонн (!) платины. Вся линия уже была готова, как вдруг получаем данные, что вместо платины вполне можно поставить полихлорвиниловые трубы, баки и всё остальное. А платиновое оборудование уже поступило в монтаж. Срочно заказали новое оборудование из полихлорвинила, и когда убедились, что оно работает хорошо, платину сдали в государственные фонды. В общем, всюду был большой риск, который, к счастью, оправдал себя».

Испытания первой атомной

Полигон спешно готовили к испытаниям первой советской атомной бомбы под условным названием РДС-1. Аббревиатура начальных букв означала реактивный двигатель, а вот «С» в разных источниках толкуется по-разному. В одних пишут, что она означала имя «Сталин»—по версии секретаря Спецкомитета Махнёва, в других—что «Советская». А вот Курчатов и Щёлкин, да и Берия, поддерживали другую расшифровку: «Россия делает сама».

Прежде чем говорить о подготовке к первому взрыву, напомню, что новизна атомного дела, сверхсекретность, когда И.В. Курчатов даже выдержки из иностранных журналов по атомной теме давал ведущим учёным—участникам разработки атомной бомбы—строго индивидуально и не показывая весь текст, были такими, что о кругозоре и компетенции всех участников проекта говорить не приходится. Александров писал, что на первых заседаниях Спецкомитета и Коллегии ПГУ даже сам Ванников—начальник последнего—не понимал, о чём идёт речь. А когда привлекли военных для подготовки полигона к испытаниям атомной бомбы, то для них это был сплошной туман. «Перед началом испытаний, в связи с тем что надо было условиться с военными, какие виды вооружения доставить на полигон, созвали совещание у начальника Генерального штаба А.И. Антонова. На совещании присутствовали: Главный маршал авиации К.А. Вершинин, Главный маршал артиллерии Н.Н. Воронов, маршал инженерных войск М.П. Воробьёв, академик Н.Н. Семёнов и я. Ещё до совещания у А.И. Антонова мы предварительно обсуждали этот вопрос у меня. Н.Н. Семёнов предлагал даже пустить в радиоактивное облако пилотируемые самолёты, защищённые свинцовыми плитами, для забора проб воздуха из продуктов взрыва. Против этого предложения я возражал категорически, т.к. ещё неизвестно было, какая будет температура внутри этого облака. И я тут же обязался заказать беспилотные самолёты для этих целей. Доклад сделал Н.Н. Семёнов. Когда он кончил, Антонов спрашивает: «Есть ли вопросы?» Все молчат. Наконец К.А. Вершинин говорит: «Я настолько ничего не понимаю, что даже не могу сформулировать вопроса». И это было действительно так».

История тех дней стремительно уходит в прошлое, а с ней и люди— первопроходцы и основатели. Сравним на минуту их свершения и наши—начала 21-го века. Несравнимо! Так давайте же отдадим дань памяти каждому—хотя бы публикациями, присвоением их имён улицам в тех городах, которые они основали и строили…

Главная, первоначальная цель Атомного проекта была достигнута 29 августа 1949 года на полигоне №2 (Семипалатинском). Как это происходило, написано много и разными авторами. Теми, кто там был, и теми, кто позже изучал или писал со слов очевидцев. Напомню, что Анатолий Сергеевич был ответственным за результаты работы КБ-11 и «Горной станции».

А.С. Александров пишет:

«На полигоне были построены приборные башни («гуси», как их называли на полигоне по их внешнему виду) на расстояниях от центра 200 м, 500 м, 1000 м и 2000 м. Таких «гусей» было 8 на двух радиусах, расположенных под углом 90 градусов друг к другу. Каждая башня была до предела начинена различного вида приборами, начиная от счётчиков Гейгера и кончая автоматическими скоростными кинокамерами. Кроме башен, там построили кирпичные и деревянные дома на разных расстояниях от башни, вырыли окопы, поставили много всякой военной техники. Всё было новое. Около башни построили хорошо оборудованную мастерскую. Всё было готово к приёму команды, ответственной за взрыв.

И вот настал день испытаний. Накануне прилетел Л.П. Берия. На аэродроме его встречал П.Я. Мешик. Потом он мне рассказывал, что ехали они в одной машине и Берия всё ворчал: «Ишь, понастроили…»

Я подумал про себя: «Не дай бог неудача, ведь в первую очередь снесут голову мне!».

Днём, до приезда Берии, я зашёл в комнату к нашим учёным Никитину и Мещерякову. Смотрю, они разложили пасьянс из двух колод. Спрашиваю: «Что это вы делаете?» А они мне в ответ: «Да, знаете, гадаем, что день грядущий нам готовит. Взорвётся завтра наша бомба или нет?» Я не стал ожидать результатов этого пасьянса и отправился в нашу сборочную мастерскую для участия

в окончательной сборке бомбы. Моё участие в этом деле заключалось в том, что я в качестве контролёра записывал все операции, которые производились по технологической карте и затем скреплялись подписями самих сборщиков.

Игорь Васильевич Курчатов называл эту должность «ярыжкой». Бывало, спрашивает: «Кто сегодня работает ярыжкой?» И все понимали, что это означает. Так вот, работаю я ярыжкой за Харитоном. Он производил сборку плутониевого заряда и вдруг входит Берия. Мы, конечно, продолжаем работу. Он подходит ко мне, отводит в сторону и спрашивает: «Как ты думаешь, взорвётся бомба?» Я отвечаю с уверенностью: «Конечно, взорвётся. Я в этом не сомневаюсь, Лаврентий Павлович!»

Я и в самом деле был уверен в успехе, хотя не знал результатов пасьянса наших учёных.

Итак, бомба собрана. Осталось только вставить капсюли-детонаторы, которые по инструкции нужно вставлять в последнюю очередь, т. е. наверху башни, когда сама бомба закреплена и готова к взрыву.

При последних операциях (это было уже во втором часу ночи) оставались следующие лица: Л. П. Берия, Ю. Б. Харитон, К. И. Щёлкин, А. П. Завенягин, Г. П. Ломинский и я. Около башни (вне сборочной мастерской) в качестве охраны оставались генерал-лейтенант П. Я. Мешик и два других генерала из МВД, фамилий которых не помню. Берия распорядился: «Завенягин и Александров, поезжайте на грузовом лифте». На поле, кроме нас, конечно, не было ни души.

Щёлкин и Ломинский поднялись на верх башни пассажирским лифтом, а все остальные, кроме генералов, охранявших башню, уехали в укрытие (КП-10), отстоявшее от неё в 10 километрах. Учёных на этих испытаниях было довольно много, и все они находились в специально оборудованном наблюдательном пункте в 20 км от башни. Башня была соединена с КП-11 телефоном. Игорь Васильевич Курчатов постановлением правительства был назначен главнокомандующим на эти испытания (и на все последующие испытания), и все ему беспрекословно подчинялись. Завенягин доложил по телефону, что всё готово к окончательному снаряжению бомбы. Обязанности наши были распределены следующим образом: Кирилл Иванович Щёлкин подавал Ломинскому капсюли-детонаторы, тот вставлял их в порядке, как это было указано, а Завенягин докладывал по телефону: «Вставлен такой-то капсюль».

К концу операции по вставлению капсюлей-детонаторов поднялся ураганный ветер. Все мы вспомнили описание испытания первой американской атомной бомбы в Аламагордо, когда у них так же внезапно поднялся сильный ветер и пошёл дождь. Наконец мы закончили снаряжение бомбы и получили указание спускаться и ехать на КП-10. Пытаемся спуститься на пассажирском лифте, а он отказал. Видимо, повлиял ураган. Пришлось спускаться по штормовой лесенке. Наконец мы с генералами охраны прибыли на КП-10. Там уже находились Л. П. Берия, И. В. Курчатов, Ю. Б. Харитон, П. М. Зернов и другие товарищи. Когда мы доложили начальству, что у нас всё в порядке, Игорь Васильевич подал команду: «Включить автомат поля». Работа автомата поля была рассчитана на 20 минут. Следил за работой автомата поля полковник А. Я. Мальский. Он делал объявления по радио, которым были связаны КП-10 с НП, где находились учёные, и со вспомогательным НП, на котором находились военные. Всем наблюдателям заранее были выданы специальные тёмные очки, рассчитанные в Оптическом институте для этих целей и изготовленные там же. Сквозь эти очки можно было совершенно безболезненно смотреть на солнце. Всем наблюдателям было предписано лечь за 10 секунд до взрыва и разрешалось встать для наблюдения после того, как пройдёт ударная волна. В обязанности Мальского входило объявлять по радио: «Осталось пятнадцать минут, осталось десять минут, осталось пять минут. Осталась одна минута. Осталось тридцать секунд… двадцать секунд… пятнадцать секунд… десять секунд… четыре, три, две, одна, взрыв!» Автомат поля сработал точно! Раздался протяжный громоподобный гул. В нашем КП посыпались стёкла, хотя окна были расположены на стороне, обратной взрыву, передняя стена была предусмотрительно обвалована.

Мы выскочили из здания. Глазам нашим представилась совершенно незабываемая картина! Громадное чёрное клубящееся облако быстро поднималось вверх в виде гриба, который сносило ветром на восток.

Спустя некоторое время Берия велел нам всем войти в здание КП-10. Там он расцеловал И. В. Курчатова и Ю. Б. Харитона (который, кстати сказать, заснул, сидя на стуле, за несколько секунд до взрыва), пожал руки Завенягину, Щёлкину и мне».

Берия поручил Анатолию Сергеевичу сделать описание первого ядерного взрыва. Этот документ опубликован в серии книг «Атомный проект СССР». Чем дальше в прошлое уходят годы, тем ценнее становится любая информация прямых свидетелей того героического времени. Эти свидетельства неоднозначны, но они дополняют друг друга, делают картину более адекватной. Описание исторического события человеком, который сам открыл первую страницу истории нашего города,— вдвойне значимо для горожан. Основатель города был значимым, активным и ответственным участником эпохального события XX века.

КБ-11

Кремлёв — Арзамас-60 — Арзамас-75 — Москва-300 — Арзамас-16

А. С. Александрову довелось не только курировать знаменитое конструкторское бюро в Арзамасе-16 с высоты ПГУ, но и самому непосредственно руководить им. После испытания атомной бомбы первый начальник КБ-11 Павел Михайлович Зернов серьёзно заболел, и болезнь затянулась. Тогда встал вопрос о назначении нового руководителя. Все потенциальные кандидатуры отпали по разным причинам, и тогда А. П. Завенягин предложил Л. П. Берия поставить на это место А. С. Александрова.

Генерал-майор А.С. Александров — начальник КБ-11 (объекта 550)

До этого Анатолий Сергеевич сам активно занимался поиском достойной замены и, поняв, что за короткое время никого не найдут, заявил себя на это место. А.П. Завенягин его вначале отговорил. Но Берия торопил с решением вопроса, и Авраамию Павловичу ничего не оставалось, как выйти с этой кандидатурой на него. Как сказали свидетели, реакция Берии на предложение Завенягина была самая благожелательная — он «расплылся» и произнёс: «Ну, это другое дело. Давайте сегодня же проект постановления». На второй день вышло Постановление Совета Министров СССР о назначении А.С. Александрова начальником КБ-11. «Когда В.И. Алфёров зачитывал перед учёными это постановление о моём назначении, то (как мне об этом потом рассказывали) все зааплодировали», — пишет Александров.

С апреля 1951 года Анатолий Сергеевич приступил к работе на новом месте. В то время многие объекты из-за необходимости срочного их возведения и пуска размещали на базе уже работающих предприятий, в основном оборонной промышленности. Так поступили и с размещением филиала лаборатории №2, названной КБ-11.

«Итак, я прибыл на объект, — пишет Александров. — Ему была отведена огромная площадь, занятая главным образом лесом. Базой для этого объекта послужил небольшой заводишко Наркомата боеприпасов. У этого заводишка вся энергетика заключалась в старинной электростанции мощностью в несколько сот киловатт, которой еле-еле хватало на производственные нужды. На территории этого завода построили два корпуса: один — физический, а другой — конструкторский».

После взрыва первой атомной бомбы появились уверенность в верности избранного конструкторами пути и небольшой опыт. Сразу встала задача наращивания количества и качества ядерных боезарядов и создания широкой их номенклатуры для решения различных боевых задач. Здесь в Арзамасе-16, в один узел сходились все результаты научных исследований и технологий, которые воплощались в готовые уникальные и грозные изделия. Александрову пришлось решать массу производственных и градостроительных задач, как и везде на новом месте.

Он сразу же выдал техническое решение на строительство литейного цеха. Заново был построен завод №2, где изготавливались все опытные образцы из взрывчатых веществ. Построили завод №3 для серийного производства бомб.

Пришлось сразу же решать проблемы инфраструктуры предприятия и городка. В первую очередь — замену узкоколейной железной дороги на широкую. Без неё с доставкой грузов возникали большие проблемы. С помощью А.П. Завенягина были построены железная дорога с широкой колеёй и электростанция.

В 1951 году конструкторским бюро №11 была разработана принципиально новая бомба. При сохранении мощности в 20 тысяч тонн тротилового эквивалента, её размеры и вес были гораздо меньше первой. Если первая бомба была диаметром 1,5 м и весом 5 тонн, то новая бомба имела диаметр 0,5 м и вес около 1,5 тонны. Вначале её баллистические лётные испытания с простым зарядом проводили на полигоне Багерово под Керчью.

На Семипалатинском полигоне новую конструкцию с ядерным зарядом решили испытать сбросом с самолётов Ил-28. Александрова назначили начальником эшелона. Он пишет по этому поводу: «Когда зашёл об этом разговор у Берии, Завенягин сказал: «Я ездил начальником эшелона, а почему не может ехать Александров?» Главнокомандующим и на этот раз был назначен И.В. Курчатов.

Башня в данном случае не требовалась. К испытаниям с воздуха подготовили две бомбы разных конструкций. Для забора проб радиоактивного воздуха впервые применили беспилотные самолёты, как и предлагал раньше Анатолий Сергеевич.

«На этот раз для киносъёмок были привлечены кинооператоры, — пишет Александров. Мы же, осуществив подвеску бомбы под самолёт, уселись на транспортный самолёт и отправились к наблюдательному пункту, который находился примерно в 20–25 километрах от места предполагаемого взрыва. Там же на пригорке расположились кинооператоры.

Показался самолёт. Он шёл на высоте 10–11 тысяч метров, мы следили за ним в бинокли. Когда бомба была сброшена (мы это видели), все легли, как это и полагалось по инструкции.

Сначала мы услышали громоподобный гул взрыва, затем нас обдало теплом — это прошла ударная волна. После этого мы поднялись и стали наблюдать за облаком. Хотя самолёт шёл на высоте

10–11 тысяч метров и с большой скоростью, как потом рассказывал лётчик, ударная волна всё-таки его настигла и подбросила самолёт метров на 50. Разрушения были примерно такими же, как и при первом испытании».

За эти испытания Александрова наградили Сталинской премией II-й степени.

В то же время испытали вторую бомбу, но Александров срочно был отозван с полигона в Москву для доклада и не присутствовал там. А в КБ-11 начали разворачиваться события, которые вывели нашу страну на опережение в соревновании с Америкой в создании ещё более мощного оружия—термоядерного. А.С. Александров пишет: «После этих вторых испытаний мне пришлось както быть в кабинете у Курчатова. Рассматривалось предложение А.Д. Сахарова. Он в ту пору был всего лишь кандидатом физико-математических наук и работал в ФИАНе (Физический институт АН СССР) под руководством Игоря Евгеньевича Тамма. Сахарову тогда было лет 27–28. Он предложил ни много ни мало, как теоретический расчёт и схему водородной бомбы. Всех присутствующих этот проект настолько захватил, что Игорь Васильевич тут же помчался в Кремль к Берии, а я—к Ванникову.

У Ванникова был Завенягин, и я им обоим рассказал суть дела. При мне же позвонил Ванникову Берия (Курчатов успел рассказать ему) и распорядился взять обоих, т. е. Сахарова и Тамма, в КБ-11. Это было осенью 1951 года, а летом 1953 года мы уже испытали первую в мире водородную бомбу. Работа над конструкцией водородной бомбы оказалась не так-то проста, как нам это казалось, когда мы слушали Сахарова у Игоря Васильевича. Но наши конструкторы Терлецкий, Гречушников, Фишман и др. с честью справились с этим делом».

Много проблем пришлось решать и начальнику КБ-11. Одна из них касалась производства трития—сверхтяжёлого водорода. Это очень опасный ядовитый и радиоактивный элемент. На территории завода №1 для этого построили специальный корпус. К первым испытаниям готовили бомбу не с полным зарядом, а только с его частью. Так, опытный образец зарядили на мощность в тротиловом эквиваленте в 400 тыс. тонн, для испытаний этого было достаточно, а проектная была на 5 млн тонн. Александров замечает: «Видимо, американцы до сих пор не додумались до «макета» водородной бомбы, т.к. они испытывали… на острове Амчитка водородную бомбу на полную мощность 5 млн тонн, что вовсе не требовалось, будь у них макет такой бомбы. Так что и в этом отношении мы опередили американцев на несколько лет».

И в этот ответственный период подготовки к испытаниям первой в мире водородной бомбы происходит событие, которое эхом будет ещё долго отзываться на судьбах многих людей. Кого-то оно поставит в тупик или заставит бросаться в крайности в зависимости от политической конъюнктуры. Моя задача простая—осветить события.

26 июня 1953 года был арестован Л.П. Берия. Я приведу подробнее записи Анатолия Сергеевича, связанные с этим событием, потому что вы нигде не найдёте сведений о том, что же было в тот момент с его прямыми подчинёнными по Атомному проекту.

«Несколько ранее был в КБ-11 А.П. Завенягин. Время было послеобеденное. Я был у себя в кабинете, занимался делами, а Завенягин был у себя в коттедже. Вдруг звонок по «ВЧ» (специальная защищённая правительственная связь). Говорит зав. секретариатом у Сабурова. Спрашивает: «Завенягин у вас?» Я говорю, что он здесь, но далеко отсюда. «Тогда пусть позвонит Сабурову»,—говорит этот товарищ. М.З. Сабуров был в ту пору членом Президиума ЦК КПСС. Шишка важная. Я позвонил А.П. Завенягину, сказал ему, в чём дело. Он говорит: «Чего ему от меня нужно?»

Словом, Авраамий Павлович не особенно спешил звонить Сабурову. Приехал он часа через два. Вызвал по «ВЧ» Москву, затем Сабурова. Тот велит ему немедленно приехать в Москву. Завенягин говорит: «А вы товарища Берию спрашивали? Ведь я здесь нахожусь по его указанию». Сабуров отвечает, что это не требуется: «Приезжай, узнаешь!» Завенягин обращается ко мне: «Странно! Даже говорит, что и Берию не надо спрашивать!»

После разговора с Сабуровым Авраамий Павлович вызвал самолёт из Москвы на следующее утро. Затем он позвонил в секретариат Берия в Кремле, Ордынцеву. Никто не ответил. Позвонил в секретариат МВД—там тоже никто не отвечает. Позвонил Комаровскому. Тот отвечает, но толком сказать ничего не может. Затем говорит мне: «Что-то странно, ведь если даже Берия в отъезде, то всё равно в секретариате всегда кто-нибудь есть и всегда ответят. Странно, очень странно!»

На другой день, в 5 часов утра, я проводил А.П. Завенягина на аэродром. Говорю ему: «Позвоните в случае чего, Авраамий Павлович!» Он сказал: «Обязательно позвоню». С тем и улетел. Ждал я звонка целый день, даже никуда не выезжал, но так и не дождался. На другой день позвонил сам. Завенягин отвечает: «Скоро приедем, тогда узнаешь!»

Вскоре всё выяснилось. Берия в мае был арестован. *(А.С. ошибся. Берия был арестован 26 июня—Прим. авт.)* ПГУ было преобразовано в Министерство среднего машиностроения, и М.З. Сабуров был назначен министром. Поэтому он и вызывал Завенягина в Москву. Правда, Максим Захарович был министром только одни сутки. Не знаю, по каким причинам, какие были соображения, но это дело переиграли и министром назначили В.А. Малышева. Может быть, сыграло роль то, что Сабуров не имел никакого отношения к ПГУ, а Малышев был членом Учёного совета ПГУ и принимал в делах этого совета самое деятельное участие, а потому был в курсе большинства вопросов.

В июне 1953 года к нам в КБ-11 пожаловали все трое: В.А. Малышев, Б.Л. Ванников и А.П. Завенягин. Они приехали в самый разгар подготовки к испытаниям макета водородной бомбы. Игорь Васильевич был в это время у нас.

Малышев созвал Курчатова, Харитона и меня в моём кабинете и объявил: «Дорогие товарищи, Правительство вам шлёт привет, и я уполномочен

заявить вам, что оно полностью вам доверяет и просит продолжать работу по-прежнему!» После таких слов я воспрял духом, т. к. внутренне понимал, что многие меня считают ставленником Берии. Хотя после присвоения мне звания Героя Социалистического Труда я не посылал ему благодарственных писем, как это делали многие, за что он на одном из заседаний назвал меня «неблагодарной свиньёй». Это ещё раз подчёркивает, что Анатолий Сергеевич Александров был настоящим офицером, человеком чести и не скатывался на холуйские жесты перед начальством.

Но радоваться долго не пришлось. Те, кто стелился ранее перед Берией и подобострастно выполнял его приказы, теперь уже выискивали жертвы среди тех, кого он продвигал.

Александров в гостях у Королёва

Создатели ядерной бомбы и первых ракет в начале своего пути не пересекались и не планировали совместную работу. Одни делали ядерные заряды и пользовались первое время самолётами для их доставки до цели, другие делали ракеты и полагали, что на них разместят известные тротиловые боеголовки. Но чем мощнее рождались ядерные заряды в недрах КБ-11 в Арзамасе-16, тем острее вставал вопрос, как его донести до вероятного противника, который находился более чем за десять тысяч километров за океаном. Есть разные версии того, как встретились эти две мощные конструкторские силы и как объединились их цели,. Приведу рассказ А. С. Александрова: «У нас в КБ-11 как-то родилась мысль: а нельзя ли наш ядерный заряд поместить в ракету? К тому времени ракетный главк был передан в наше министерство (имеется в виду Министерство среднего машиностроения). Возглавлял этот главк генерал С. Н. Шишкин, он же замминистра. Через него мы получили разрешение посетить НИИ-88 в Подлипках. Главным Конструктором в этом НИИ был Сергей Павлович Королёв. Он тогда ещё не был ни академиком, ни героем. Поехали туда Ю. Б. Харитон, К. И. Щёлкин, В. И. Алфёров, Н. Л. Духов, В. К. Бобылев и я. Встретил нас сравнительно молодой Королёв. Он показал нам ракеты, которые находились в сборочном цеху в натуре. Это были почти копии немецких ракет ФАУ-2 — во всяком случае, по внешнему виду. Но они, видимо, отличались от ФАУ-2 по существу, т. к. те летали на 400–450 км, а наши — на 1200 км!

В этой ракете можно было поместить заряд диаметром только 0,5 метра. А как же быть с зарядом 1,5 метра в диаметре? Мы сказали об этом Королёву. Он пригласил нас к себе в кабинет и показал эскизный проект баллистической ракеты, дальность которой, по расчётам, должна быть 6–7 тысяч километров. Эта ракета подходила уже ко всем нашим зарядам. Когда мы выходили из НИИ-88, то, естественно, обменивались между собой мнениями: «Вот это голова! Нам бы в КБ-11 такую!» Но это мы, конечно, от жадности. У нас и своих «голов» хватало. Мы прекрасно понимали, что для боевой мощи нашей Родины такая «голова» нужна и здесь. Словом, мы вышли от Королёва совершенно оглушённые. Но всё же это был проект только корпуса ракеты, а как ею управлять на таком расстоянии, было неизвестно. Однажды мне пришлось быть на заседании коллегии министерства. Слушался вопрос о ракетах и об увязке их с нашими зарядами. Я встал и доложил, что увязка ракет с нашими зарядами полностью согласуется, а вот как будут управляться эти ракеты, ещё неясно. Радиолокация, как известно, действует максимум на 400 км, а как быть дальше? И тут поднимается молодой человек, по званию майор, и говорит: «Мы у себя в НИИ (он работал в каком-то НИИ Министерства обороны) обмозговали этот вопрос и пришли к выводу, что единственным средством для наведения таких ракет может быть только астронавигация, т. е. по звёздам». Малышев спрашивает у этого парня: «А сколько времени потребуется для разработки такого прибора, как вы думаете?» Майор говорит: «Года три-четыре». Не знаю, как дальше шло дело. Но, видимо, вопрос решился».

Действительно, сейчас при пуске ракеты «Синева», которую делает завод «Красмаш» в Красноярске, на расстоянии более 8 тысяч километров отклонение от расчётной цели составляет около 500 метров. Это достигается за счёт использования вычислительного комплекса, который обеспечивает коррекцию траектории полёта ракеты по звёздам и навигационным спутникам.

Видимо, тогда последовало предложение министра среднего машиностроения В. А. Малышева. Об этом пишет в своей книге «Королёв» Ярослав Голованов: «Оснастить ракету Р-5 атомной боеголовкой, затем попробовать сделать то же с ракетой Р-7, а работу над большой ракетой вести с учётом возможности установить на ней водородную бомбу… Непосредственно разработка боевой части для ракеты Р-5, при том, что атомный заряд подходящих размеров уже существовал, была поручена организации *(КБ-11 — Прим. авт.)*, называющейся теперь ВНИИЭФ — Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Арзамасе. Во главе нового дела стояли Анатолий Сергеевич Александров и Юлий Борисович Харитон». Ю. Б. Харитон стал первым научным руководителем и Главным конструктором ядерного заряда для первой в мире ядерной морской торпеды.

В мае 1954 года было принято Постановление Совета Министров СССР о разработке первой межконтинентальной ракеты с ядерным боеприпасом. КБ-11 и его филиалу КБ-25 поручили создать ядерный заряд большой мощности для этой ракеты.

Во второй половине 1955 года и в начале 1956 года С. П. Королёв провёл 28 испытательных пусков будущей «атомной ракеты». Впервые ракетно-ядерное оружие было испытано 20 февраля 1956 года. Это была ракета Р-5 с обычным ядерным зарядом. Но А. С. Александров в то время уже работал над созданием нового города и завода атомной промышленности на территории Рыбинского района в Красноярском крае.

А вторая ядерная ракета — Р-7, уже с подвижным стартом и термоядерным зарядом, — была передана

в войска в 1957 году. В 1959 году завершились испытания первой межконтинентальной баллистической ракеты с ядерным зарядом. Так страна получила ракетно-ядерный щит.

Первая водородная

Накануне важного исторического события для КБ-11 и для страны в целом внезапно начались первые неприятности у начальника. «В тот день,— пишет Александров,—должен был состояться партактив. На этом партактиве выступал с докладом начальник политотдела объекта Разорёнов. Уж он меня поливал всячески. И что я—вельможа, сам не хочу платить членские партвзносы, а за меня ходит секретарь, и что ко мне на приём попасть трудно, и даже сегодня, когда передавали правительственное сообщение об аресте Берии, я распорядился выключить радио. Словом, столько было наговорено, что у меня впервые в жизни закололо сердце».

Кстати, выключить вечером радио попросил отдыхающий Завенягин—конечно, не зная, что будет важное сообщение. Но это был первый серьёзный «звонок» Анатолию Сергеевичу. Тогда его руководителям удалось отбить атаку противников, но на весы будущего был положен первый чёрный камень.

Вскоре после партактива большая группа специалистов поехала на полигон для испытания водородной бомбы. Там же были и первый министр СМ В. А. Малышев, маршал А. М. Василевский, Б. Л. Ванников, И. В. Курчатов, А. П. Завенягин. Оборудование полигона, военная техника были такими же, как и при первом атомном взрыве. Только приборы поставили более совершенные.

Анатолий Сергеевич сказал, что в его жизни был не один атомный взрыв и многое в памяти перемешалось. Здесь же, «как и в первый раз, мы остались вчетвером: Завенягин, Щёлкин, Ломинский и я—для окончательного снаряжения бомбы на башне, только внизу вместо Мешика, который тоже был арестован как сообщник Берии, были другие люди». *(Мешик был расстрелян вслед за Берией—Прим. авт.)* Аэростатов также не было, т. к. посчитали, что можно обойтись и без них. Всё остальное: военная техника, отсеки метро, здания—всё было подготовлено, как и в 1949 году. Только для наблюдателей место было выбрано подальше.

И вот мы прибыли на КП-10, доложили министру, что у нас всё в порядке. Подана команда: «Включить автомат поля!» Опять Мальский объявляет время, оставшееся до взрыва: «5 секунд, четыре, три, две, одна, взрыв!». Послышался ужасающий грохот, опять на КП-10 посыпались стёкла. Когда мы выскочили наружу, нам представилась совершенно фантастическая картина: громаднейшее чёрное облако, внутри которого бушует пламя и всё это, клубясь, несётся ввысь. Облако поднялось на 15–20 км, а может быть, и выше. На этот раз ветра почти не было, и облако постепенно сносило в сторону, противоположную от нас. Как потом выяснилось, в Семипалатинске, а это примерно 150 км от центра взрыва, в некоторых домах вылетели стёкла. А на поле всё было уничтожено в радиусе до 5 км. Если при взрыве первой атомной бомбы в центре поля было примерно три четверти метра пыли, то сейчас весь центр поля был покрыт спёкшимся песком в радиусе 300–400 метров. Даже передние «гуси» не выдержали, накренились. Как потом рассказывали наблюдатели, находившиеся в 40 км от центра взрыва, их обдало жаром, а не теплом, как было при первом испытании.

Всё прошло даже очень благополучно, и взрыв произвёл на всех присутствующих колоссальное впечатление. Министр пригласил нас к себе на обед. Но предварительно была составлена шифровка о результатах испытаний на имя Председателя Совета Министров СССР, каковым был тогда Г. М. Маленков. Обед также удался на славу. На обеде присутствовали: В. А. Малышев, А. М. Василевский, Б. Л. Ванников, А. П. Завенягин, И. В. Курчатов, Ю. Б. Харитон, К. И. Щёлкин, А. Д. Сахаров, И. Е. Тамм, А. С. Александров. Были гуси, рыба и прочее, всё было добыто на охоте нашим министром. Хотя на полигоне существовал сухой закон, по случаю такой удачи выпили коньячку…

После испытания водородной бомбы Сахарову присвоили звание Героя Социалистического Труда, выдали ему 500 тысяч рублей премии, дали машину «ЗИМ» и ещё что-то… Кроме того, Сахаров был сразу избран академиком АН СССР. А незадолго до выезда на испытания он защитил докторскую диссертацию, на которой я также присутствовал».

По итогам испытаний ведущие учёные и специалисты были награждены вторыми и третьими Звёздами Героев Социалистического Труда. А. С. Александров получил Сталинскую премию I-й степени. Орденом В. И. Ленина было награждено КБ-11. В 1953 году Анатолия Сергеевича избрали депутатом в Московский совет. Объект в то время числился за Мособлисполкомом.

Среди многих важных и даже исторических дел руководителя легендарного конструкторского бюро пришлось решать одну, как тогда считали, необходимую для безопасности работающих проблему, реализация которой аукнулась через десятилетия не в лучшую сторону. Можно сказать, она затмила в глазах саровцев все прежние заслуги Анатолия Сергеевича. Когда я связался с Музеем ядерного оружия, то мне сказали, что об Александрове нет почти никаких материалов и что народ недоволен его решением снести старинный храм. Это обвинение сегодня звучит серьёзно и—может быть, в силу неосведомлённости горожан,—справедливо. Но если в Сарове вообще о нём ничего не знают, то это уже несправедливо. Так же и в Зеленогорске.

А историю с храмом Анатолий Сергеевич честно рассказал сам и не стал перекладывать ответственность на кого-то:

«Был у нас на объекте собор «Святой Троицы»; вернее, это не собор, а почти развалины. Строители устроили там склад фуража и цемента. Этому собору в 1953 году насчитывалось 175 лет.

Собор стоял на горе и был виден издалека. Вокруг собора, примерно в 12–15 метрах, находились постройки, в том числе наша объектовская библиотека, бывшая «трапезная» у монахов, здание

политотдела, выстроенное на месте сгоревшего царского дворца, промтоварный магазин и жильё, бывшие монашеские кельи.

Собор мешал не только прохожим и проезжим, но и грозил вот-вот развалиться, в особенности в наших условиях, когда ежедневно по нескольку раз происходили взрывы на опытных площадках. И мы (вернее, я) решили взорвать этот собор по частям. На месте бывшего собора мы посадили сад».

Среди множества забот начальника КБ-11 с наращиванием количества ядерных зарядов появилась ещё одна. Она касалась грамотного и ответственного обслуживания изделий и обеспечения безопасного хранения. Ведь они должны в конечном счёте попасть в соответствующие воинские подразделения, храниться в боевой готовности. Им нужна профилактика, замена короткоживущих элементов конструкции и т. п. Так встал вопрос о создании нового рода войск — ядерных.

Сама сборка бомбы перед использованием требовала высочайшей квалификации. А. С. пишет: «Сборка «оз» (основного заряда) заключалась в том, что надо было страшно радиоактивный нейтронный запал (золотой шарик, наполненный полонием) вложить в соответствующую лунку на одной половине «оз» и навинтить вторую половину. Харитон собирал «оз» только для первой бомбы, все остальные «оз», включая и для водородной бомбы, собирал Духов *(заместитель главного конструктора Харитона — Прим. авт.)*. Чтобы обеспечить содержание нарастающего количества изделий в соответствующем состоянии, Александров приказом от 19 октября 1953 года организовал учёбу военных кадров на специальных курсах. На них впервые решались две задачи: подготовка бригад для воинских частей, испытательных полигонов и бригад самого КБ-11 по обслуживанию и эксплуатации серийных ядерных боеприпасов; подготовка преподавательского состава будущих учебных центров для специальных армейских частей.

После событий с Берией началось давление на Александрова. В то время на закрытых объектах партийные организации существовали в форме политотделов, и руководители их не избирались, как в обычных парторганизациях, а назначались вышестоящими органами. Первое столкновение с одним из руководителей политотдела у Анатолия Сергеевича произошло по случаю переименования улицы, носящей имя Берии. «Приходит ко мне Детнёв и говорит: «Мы посоветовались в политотделе и решили переименовать улицу Берии в улицу Ленина. Как вы на это смотрите?» Я возмутился: «Вы что, серьёзно об этом говорите? Надо подобрать какое-нибудь нейтральное наименование. Например, Боровая. Этот, на первый взгляд, незначительный факт лишний раз подтвердил незрелость нашего политотдела». А улицу так и назвали — Боровая. Были и другие факты — в частности, по рекомендациям на ответственные посты слабых или недостойных людей. Возмущённый низким уровнем работников политотдела, Александров написал письмо в ЦК КПСС, который прямо руководил этой структурой. Там он затронул и заведующего отделом ЦК, ведавшего делами политотдела. Это письмо на имя Н. С. Хрущёва мне прислали из Арзамаса. В газетном формате я не могу его включить в качестве иллюстрации и сделаю это в полной публикации. Письмо попало не к Хрущёву, а к Сербину, на кого и жаловался Александров. Тот, видимо, переговорил с начальником политотдела, и, естественно, началась спланированная травля. На такой ответственной инновационной и сверхсекретной работе подловить любого не составляет труда. Ему приписали, что было и не было, и вызвали в ЦК КПСС к Суслову. Говорили больше всех Серов (КГБ) и Сербин. Было принято решение освободить А. С. Александрова от занимаемой должности. Партия сказала: «Надо!» — Совмин ответил: «Есть!» Постановление в наше время опубликовано в сборниках Атомного проекта СССР.

Ведущие учёные были возмущены таким решением. Приведу выдержку из мемуаров А. Д. Сахарова: «Александрова сняли якобы за роман с сотрудницей одного из посольств, якобы шпионкой. В действительности женщина, видимо, была двойным агентом, в основном работала на КГБ, и Александров это знал. Вероятно, снятие Александрова было просто заключительным актом борьбы между ним и прежним начальником объекта, а ныне — начальником главка. Харитон пытался спасти Александрова, несколько руководящих работников объекта подписали соответствующее письмо, я в том числе, но всё было безрезультатно».

Анатолий Сергеевич пишет: «Так закончилась моя работа на объекте № 550. Думаю, что я проработал на этом объекте четыре с половиной года не напрасно. За эти годы объект вырос, набрал силы и даже способен был выделить из себя дублёра на Урале. А главное, я считаю, что я не оставил врагов на объекте ни среди учёных, ни среди производственников. Я чувствовал, что пользуюсь авторитетом и уважением — как среди тех, так и других».

Подводя черту под историей работы А. С. Александрова в КБ-11, приведу выдержку из очерка Евгения Молчанова «Саровско-Дивеевский святой уголок»: «Если Саровский монастырь в своё время называли «академией монашества», потому что из него вышли настоятели многих монастырей России, то Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ВНИИЭФ) с полным правом можно назвать «кузницей кадров» Министерства среднего машиностроения. Здесь работали известные всему миру учёные-атомщики, академики и талантливые организаторы: И. В. Курчатов, Ю. Б. Харитон, П. М. Зернов, А. С. Александров, Е. А. Негин, Б. Г. Мазруков, А. Д. Сахаров и другие».

Основатель Зеленогорска

Несмотря на все моральные издержки, унизительное завершение честной и очень ответственной работы в Арзамасе-16, А. С. Александров остался востребованным руководителем и получил от судьбы подарок, о котором мечтать не могли не только гонители, но даже министры и многие

видные деятели. Анатолию Сергеевичу жизнь дала редкую возможность основать город. И не просто город, а «жемчужину Красноярского края» — этот эпитет не раз употребляли руководители края.

«Явился к Завенягину *(в то время министр среднего машиностроения — Прим. авт.)* Он мне говорит: «Есть решение правительства о строительстве наших заводов в районе Сталинграда на базе строящейся там гидроэлектростанции. Я думаю назначить тебя туда директором строящегося предприятия. Поезжай туда, присмотри подходящую площадку. А там решим, как быть дальше».

Пока Анатолий Сергеевич собирался, правительство изменило планы в связи с недостаточным количеством электроэнергии, которую будет вырабатывать будущая станция. Новое строительство решили вести в Красноярском крае. Александрова назначили председателем комиссии по выбору места будущего предприятия. Заметьте, это уже вторая площадка атомной отрасли, которой занялся Анатолий Сергеевич. Первой, как вы помните, был полигон под Семипалатинском. Места предполагаемой площадки в Москве предварительно наметили, но района Заозёрного в перечне не было. Идею посмотреть это место предложил первый секретарь краевого комитета КПСС Николай Николаевич Органов. С Рыбинского района и начали осмотр, а потом поехали в район Канска. Пробыв там четыре дня, снова вернулись в район Заозёрного и здесь уже тщательно изучили место. Проводил их туда первый секретарь райкома партии А. С. Кардаш.

«Места там были очень красивые, — пишет Александров. — На левом берегу *(Кана — Прим. авт.)* посёлок, а на правом — горы, покрытые лесом. В общем, тайга! Место нам очень понравилось…»

По прибытии в Москву всю комиссию принял министр А. П. Завенягин в присутствии своих заместителей В. П. Киреева, Е. П. Славского и А. Н. Комаровского. Последний упорно настаивал на площадке северо-западнее города Канска. Но Александров и Киреев победили в споре. Главным аргументом было то, что из города сбрасывались неочищенные сточные воды, которые сразу не могли попасть в водозабор. Надо заметить, что эта проблема решалась несколько десятилетий, и сегодня ещё, несмотря на большое расстояние, город получает загрязнённые стоки Канского района.

Для строительства крупного завода по разделению изотопов урана и закрытого города решением правительства отвели огромную площадь.

Как и в Арзамасе, здесь провели фильтрацию местного населения. В посёлке Усть-Барга жили ссыльнопоселенцы, в деревнях осели после гражданской войны тоже не всегда благонадёжные по критериям того времени люди. Поэтому первым делом руководителя объекта стало переселение целых посёлков и деревень. «Для оценки каждого двора была создана инвентаризационная комиссия. Мы выплачивали хозяину стоимость его имения, он сам разбирал его, мы помогали только транспортом и больше никаких забот не знали…. Другое дело — переселить колхоз… Если в Ильинке *(старожильческая деревня — Прим авт.)* школа помещалась в обычной крестьянской избе, то на новом месте мы должны были построить типовую двухэтажную школу. Коровники, телятники и свинарники помещались в двух полуразрушенных сараях, а на новом месте мы должны были построить типовые коровники, телятники и свинарники. На новом месте надо было выстроить клуб, магазины, правление колхоза и т. п.».

А. С. Александров с К. Н. Полосковым, первым начальником строительства, успешно справились с этой задачей и построили силами военных строителей хорошие дома для переселенцев и все необходимые объекты за зоной. А сами обустраивались постепенно. Вначале руководство объекта, которое состояло из исполняющего обязанности директора строящегося завода А. С. Александрова, заместителя по капитальному строительству А. В. Шленцова и главного бухгалтера И. С. Сергеева, и небольшой состав прибывших приютили далеко от стройки угольщики Ирша-Бородинского разреза — дали 4 двухэтажных жилых дома и 2 барака в посёлке Ирша. Первое время ходили пешком до станции Южная. А морозы, говорит Анатолий Сергеевич, тогда доходили до 56 градусов Цельсия. Позже дирекция слюдфабрики отдала двухэтажный дом в Заозёрном, в котором поселились Полосков с семьёй и Александров со Шленцовым. Отсюда и ездили к берегам Кана, где разворачивалось огромное строительство — мощной тепловой электростанции, разделительного секретного завода и города. В то же время на территории Красноярского края уже работал на полную мощность первенец атомной промышленности — Таёжный горнопромышленный комбинат, шло сооружение уникального подземного комбината в 50-ти километрах от Красноярска (ныне Железногорский горно-химический комбинат) с тремя атомными реакторами, строился завод по производству лития в самом Красноярске. Здесь создавался мощный ядерно-промышленный комплекс. А вместе с производством ракет и спутников Красноярский край в конце 50-х — начале 60-х годов стал обладателем промышленного ракетно-ядерного комплекса. Это было поистине великое время, страна поднималась после войны на новый технический, научный и культурный уровень.

Значение того времени и подвиг участников Атомного проекта СССР пока не осознан обществом. Совсем недавно началась публикация совершенно секретных архивных материалов, стали более открытыми города атомной десятки, мы стали узнавать о людях, чьи имена запрещалось открывать.

В настоящей работе делается попытка высветить роль одного человека — талантливого и активного организатора, участника создания атомной отрасли в стране и крае Анатолия Сергеевича Александрова.

Когда Александров только приступал к работе, в Москве решался вопрос о назначении главного инженера предприятия. Здесь Анатолий Сергеевич проявил одну важную для сильного руководителя черту — умение заглядывать в будущее

«Здесь будет город заложён!»

и приглашать на работу грамотных и культурных людей. «Мне начальник главка генерал Зверев предложил: „Думаем назначить вам главного инженера".—„Кто?"—спрашиваю. „Он здесь, познакомьтесь, Ерошов Михаил Ефимович! Пойдите в какую-нибудь свободную комнату и побеседуйте". Мы пошли. После нескольких анкетных вопросов я спросил его: „А с чего вы как главный инженер начали бы на новом месте?" Он отвечает: „С библиотеки". Мне это очень понравилось, и вопрос о его назначении главным инженером был мною решён». Александров говорил, что он никогда не жалел об этом выборе. Главный вопрос—где разместить городскую застройку—Анатолий Сергеевич решал в горячем споре с проектировщиками, которые привязали площадку жилой застройки километрах в пяти от реки Кан. Он настоял на своём, и город расположился на живописном месте: среди зелёных гор на берегу быстрой таёжной реки. Все гости, особенно зарубежные, восхищаются красотой ландшафта и тем, как органично вписан в него город.

Строительство основного жилья тоже повели нетрадиционно. Решили начать со школы и клуба. Кирпичная трёхэтажная школа была готова уже к 1 сентября 1957 года. А просторный клуб построили во временном исполнении, и он работал до ввода нового капитального здания Дворца культуры.

Другим важным социальным решением была организация своего телевидения. Пусть ветераны вспомнят, в каком состоянии было телевидение в стране в 1957 году. Оно только начало распространяться. И эту проблему решили быстро. Здесь активно поработал М. Е. Ерошов. Александров пишет: «Когда мы объявили на партактиве, что можно покупать телевизоры, нам сначала никто не поверил, но когда убедились, что это не брехня, а реальность, то к нам начались экскурсии за консультациями». Это было финансовое нарушение. И не одно. По распоряжению Александрова отремонтировали не принадлежащую объекту больницу в Заозёрном, построили дорогу от слюдфабрики до вокзала. Всё Анатолий Сергеевич делал на свой страх и риск. Но это надо было людям. Ещё одно финансовое нарушение директор допустил, когда приобрёл на большую сумму картины известных художников. Он хорошо понимал, что в тайге, на маленьком пятачке, изолированном от большого мира, куда съезжаются грамотные специалисты и квалифицированные рабочие из культурных центров, не создать так просто высокотехнологичное предприятие без обустроенного быта и культуры. И он эту задачу со своими единомышленниками решил.

Важным решением, в котором он убедил министра и других руководителей Минсредмаша, было опережающее строительство тепловой электростанции и железной дороги от города до Ирша-Бородинского разреза. Эта станция пригодилась в первую очередь Красноярскому горно-химическому комбинату для пуска первого реактора АД. Она надёжно обеспечила Электрохимзавод электроэнергией и теплом на долгие годы.

«За время работы в Заозёрном,—пишет Анатолий Сергеевич,—я неоднократно избирался членом пленума райкома КПСС и депутатом райсовета. Мне частенько приходилось бывать на партийно-хозяйственных активах, где преобладали шахтёры и работники слюдяной фабрики».

Но давление на Александрова косвенным путём продолжалось, и после смерти министра среднего машиностроения А. П. Завенягина, который мог его защитить от несправедливых нападок, он остался один на один со своими противниками. В архиве электрохимзавода хранится записка М. Е. Ерошова: «Я сказал Анатолию Сергеевичу, что теперь долго он здесь работать не будет, и я тоже, поскольку на место Завенягина, видимо, будет назначен Чурин». Так оно и вышло. Начались придирки и саботаж в отношении. Александрова никто не увольнял, он просто сам ощутил, что работать спокойно не дадут, и подал в отставку с поста исполняющего обязанности директора строящегося предприятия, а чуть позже—и в отставку по возрасту с военной службы. Начальники без слов подписали оба заявления. «Пришёл домой и расплакался. Казалось бы, чего плакать? Ты обеспеченный человек, у тебя всё есть, ни от кого ты не зависишь, живи себе в своё удовольствие! Но, видно, так уж устроен человек, в особенности наш советский человек, что ему не по себе, если он остаётся без дела, без работы, к которой он привык!»

После отставки Анатолий Сергеевич взялся за диссертацию, которую откладывал из-за занятости, но инфаркт миокарда прервал и эту работу.

После госпиталя академик Н. Н. Семёнов предложил ему возглавить работу по строительству Академгородка в Новосибирске, но пришлось отказаться из-за болезни.

Написать воспоминания его заставил М. Е. Ерошов. Он сказал: «Как вам не совестно, ведь скоро вы останетесь один из тех, кто принимал непосредственное участие во всех атомных делах, вплоть даже до испытания водородной бомбы. Грех будет на вашей душе, если вы всё это не опишите!». Писал Анатолий Сергеевич свои мемуары с 1971 по 1974 годы. Зрение его было совсем слабым, и он, как Николай Островский, делал свою работу «слепым методом». Озаглавил её так: «События и люди». Ушёл из жизни А. С. Александров 29 марта 1979 года в подмосковном городке Коренево Люберецкого района.

Фотографии из фондов Музейно-выставочного центра города Зеленогорска.

Анатолий Чмыхало

Россыпи

Стихи на злобу дня

Раскладка

А в спорте у русских раскладка такая,
Которой довольны вдвойне и втройне:
Конечно, в футбол мы хреново играем,
Но плаваем лучше других на спине.

Зависть

Когда у тебя неприятностей нет,
Счастливчик, ты яростней свистни-ка…
И тут же услышишь себе в ответ
Измученный голос завистника.

Благодать

Такая в Россию пришла благодать,
Что нам до свободы—рукою подать.
А там уже близко
До поросячьего визга.

Чиновнику

Ты суд мирской вершишь без страха,
К людским печалям глух,
И на тебе не шапка Мономаха,
А воровской треух.

Засуха

В моей душе останутся навек
Погубленная засухой пшеница,
И грустный скрип немазаных телег,
И горем перекошенные лица.

Смешно

Такое понимается едва ли,
Такое и печально, и смешно,
Когда проходят кинофестивали
В стране, где нет достойного кино.

Политику

Остановись! И дальше не ходи!
И не пари над миром, словно птица!
Покруче были на Руси вожди—
И тем пришлось остановиться…

Неправда

А это, конечно, на глупых рассказ,
Что мы благородное сеем,
Когда террористы стреляют в нас,
А мы в террористов—не смеем.

О курултае

Засеян русскими весь мир,
А налицо реалия такая:
Есть курултай всемирный у башкир.
У русских нет такого курултая.

Бред

Мне в юные годы и в старости лет—
Всю жизнь непонятно было,
Что отличает обычный бред
От бреда сивой кобылы.

Судьба

Жил тревожно, в тоске и печали,—
Непростая досталась судьба!
Так в меня коммунисты стреляли,
Что убили во мне раба.

Просьба

По строгости всей не судите меня
За то, что несу ахинею.
Что было, то было. Но с этого дня
Нести ахинею не смею.

Малый

А Малый, как всегда бывало,
Ты принимаешь всей душой,
Ведь он действительно не малый—
Театр не малый, а большой.

Школа

Учился я не долго и не много,
Зубрёжку откровенно не любя.
Учился не у строгих педагогов—
Учился сам у самого себя.

Вития

Он гордится свыше данными
Образцами собственных речей,
Путая наркомов с наркоманами
И с рвачами путая врачей.

Власти

Надежда одолеть несчастье
В пропащих душах возникает,
И люди жаждут честной власти.
Но честной власти не бывает.

Простак
Не доверяя дешевизне
И никого в обмане не виня,
Я простаком прошёл по жизни,
Хоть и считали клоуном меня.

Русский дом
Медалями горда Олимпиада,
А нам медалей вроде и не надо.
И то для нас большая честь,
Что Русский дом в Канаде есть.

Перемены
Со своей судьбой уже не спорю,
Только так сложилось на веку,
Что вчера меня тянуло к морю,
А сегодня тянет к ручейку.

На тусовку
На тусовку неторопко
Шла одна питекантропка,
А за ней вприпрыжку мальчики—
Все как есть неандертальчики.

Забота
До того беспечен наш народ,
До того доволен жизнью новой,
Что у Думы нет других забот,
Как о внуке Аллы Пугачёвой.

Иностранец
Он воевал. Он не был трусом.
Он стоек был по мере сил.
И чтоб его считали руссом,
И квас хлебал, и водку пил.

Шоу-звёзды
Смотрю я «звезду» за «звездой»
И делаю вывод простой:
Красавицы вышли из моды,
А в моду приходят уроды.

Побирушки
Талант, тебе Богом данный,
Теперь ни во что не ставится.
Блаженствуют графоманы.
Писатели побираются.

В кино
У нас в кино уже немалые
Давно закончились процессы:
Экран покинули Бывалые,
Остались Трусы и Балбесы.

Свобода
Свобода—трюк на канате:
Удержишься—будешь жив.
У многих ли мужества хватит
Запеть на иной мотив?

Не совру
Я тебе и сейчас не совру—
Только правда сорвётся с губ.
Если хочешь, то я умру.
Но зачем тебе нужен труп?

Мастерство
Что для поэта мастерство?
Язык—его первооснова.
Когда не то напишешь слово,
Весь стих не стоит ничего.

Перемены
Невзгоды за многие годы
Едва ли смогу перечесть.
Но страх заменила свобода,
И стала подругою честь.

Идеал
Те игроки наш идеал,
Что не спешат в чужую зону,
А чтобы мяч круглее стал,
Его катают по газону.

Метаморфозы
Конец Серебряного века,
Он был закатом человека—
От человека век устал,
И человек скотиной стал.

Сталину
А я скажу тебе, кацо:
—Не стало сказкой
Твоё усатое лицо
Национальности кавказской.

Мымра
Разоделась мымра в бархат
И теперь, как водится,
Покидает олигарха—
По суду разводится.

Невезение
Кому-то Богом суждено
Путан любить и пить вино.
А я умру не на пиру,
А от забвения умру.

Память
То, что в память заброшено,
Не даёт мне покоя:
Забываешь хорошее,
Вспоминаешь плохое.

Антиподы
У культуры сложен путь,
Бескультурье проще.
Бескультурье—наша суть,
А культура—мощи.

Богачи

Богатых у нас немного.
Богатых судьба не гонит,
Богатые выше Бога
И даже воров в законе.

Бабка

Идя своей дорогой,
Была хозяйкой строгой.
И, деда не спрося,
Купила порося.

Один

Стократно огорошен
Изменчивой судьбой,
Плохой ли я, хороший,
А всё ж один такой.

Ну и ну

Что сегодня удивляет
И шокирует меня?
Дети сельские не знают
Ни телеги, ни коня.

Совет

А когда в года вошёл,
Понял очень скоро:
Хочешь жить хорошо,
Так учись на вора.

Романтик

Пока проповедник
Молитвы твердит,
Романтик последний
На Марс улетит.

Борис Поплавский

Отпустите чудо

Никто никуда не уходит
Все остаются на своих звёздах
Все уносятся в пропасти
Все забывают друг о друге
О как жестоко пространство
О как далёко до тёплых
Светлых лучей Плеяды—
Что это за зрелище?
Это картины звёздного ада
Так надо
Так рождается жалость

Отпустите чудо
Не мучайте его пониманием
Пусть танцует как хочет
Пусть дышит
Пусть гаснет
Нет, оно не может поверить
Что вы раскроете ладони
Полюбите капли дождя:
Ваши души не промокают
И с них не стекает
Свет

Тоска лимонного дерева
Уходила к дыму вулкана
Где уснули у фумаролы
Пилигримы иных миров
Мир был высок, спокоен
Устремлён в грядущее время
Ещё не достоин
Свободы

Никого не решайся видеть
Закрывай свои взоры стеклом и цветами
Отстраняя лучи водопада
И красивые флаги
С белой чистой страницей бумаги
На чёрном лице
Будь похож на часы золотые
Где огромное время таится
Ожидая свой знак отдалённый
Свой таинственный голос за сценой
Чтоб поднять золотую доску
Размотать гробовые ленты

Быть совершенно понятным
Совершенно открытым настежь
Чтобы все видели чудовищ
Совершенно лишённых рук
Полных розовых нежных пятен
Диких звёзд и цветочных лужаек
Невидимых колоколов
Водопадов
И медленных верных рассветов
Над необитаемыми островами
Чтобы все разделили счастье
Баснословный увидели город
Где отшельник нагой живёт
Он прикован цепью к Вселенной
Он читает чёрную книгу
Где написано как вернуться
В баснословный древний покой

Максим Жуков

Жизнь моего приятеля

На железной дороге

Чужую веру проповедую: у трёх вокзалов на ветру
Стою, со шлюхами беседую, за жизнь гнилые тёрки тру.
Повсюду слякоть невозможная, в лучах заката витражи;
Тоска железная, дорожная; менты, носильщики, бомжи.

И воробьи вокзальной мафией, с отвагой праведной в груди,
Ларьки штурмуют с порнографией на VHS и DVD.
Негоциант в кафе с бандосами лэптоп засовывает в кейс;
Не подходите к ним с вопросами — поберегите честь и фейс.

И, нагадав судьбу чудесную, попав и в тему, и в струю,
Цыганка крутится одесную. «Спляши, цыганка, жизнь мою!»
И долго длится пляс пугающий на фоне меркнущих небес;
Три ярких глаза набегающих, платформа длинная, навес…

Где проводниц духи игривые заволокли туманом зал,
Таджики, люди молчаливые, метут вокзальный «Тадж-Махал»;
Им по ночам не снятся гурии, как мне сказал один «хайям»:
Пошли вы на фиг все, в натуре, и — пошёл бы на фиг я и сам.

Над Ленинградским туча движется, и над Казанским вразнобой
По облакам на небе пишется моя история с тобой;
Она такая затрапезная, хотя сияет с высоты;
Тоска дорожная, железная; бомжи, носильщики, менты.

Жизнь моего приятеля

Если вошёл ты, о путник, под своды стеклянные
И приобрёл у окошка заветный билет —
Значит, участником стал ты процесса великого
И называть тебя будут теперь — *пассажир*.

Если решил ты за час до отбытия поезда
В местный зайти круглосуточный бар-ресторан —
Официантка, прикид оценив твой скептически,
Скажет бармену со вздохом протяжным: *клиент*.

Если к тебе подойдёт испещрённая пирсингом
Девушка лет двадцати и попросит «огня» —
Ты, предложив ей присесть, зажигалкою чиркая,
Купишь вина и процедишь сквозь зубы: *glamour*.

Если очнёшься ты в полночь у камер хранения
Без документов, и денег и клади ручной,
Скажет тебе лейтенант, протокол заполняющий:
Лох ты *педальный* и *фраер ушастый* притом.

Море

Хочется плюнуть в море.
В то, что меня ласкало.
Не потому, что горе
Скулы свело, как скалы.
А потому, что рифма—
Кум королю и принцу.
Если грести активно,
Можно подплыть к эсминцу
Или к подводной лодке,
Если они на рейде.
Можно сказать красотке:
«Поговорим о Фрейде?»—
Если она на пляже
Ляжет к тебе поближе.
Море без шторма гаже
Лужи навозной жижи.

Шторм—это шелест пены,
Пробки, щепа, окурки,
В волнах плывут сирены,
Лезут в прибой придурки.
Мысли в мозгу нечётки,
Солнце стоит в зените,
Даже бутылку водки
В море не охладите.

Кожа в кавернах линьки.
На телеграфной феньке
По телеграммной синьке:

«Мамочка,
Вышли
Деньги».

Между пивной направо

И шашлыком налево
Можно засечь сопрано
Глупого перепева
Или эстрадной дивы,
Или же местной… леди,
Словно и впереди вы
Слышите то, что сзади.

Роясь в душевном соре,
Словно в давнишних сплетнях,
Даже когда не в ссоре
С той, что не из последних,
Сам за себя в ответе
Перед людьми и богом,
Думаешь о билете,
Поезде—и о многом,
Связанном в мыслях с домом,—
Как о постельном чистом.
В горле не горе комом—
Волны встают со свистом.

Море. Простор прибоя.
В небе сиротство тучки.
Нас здесь с тобою двое.
Мне здесь с тобой не лучше.

Гомерическое

1.

Был я в стране фараонов прошедшей весною,
Жил без подруги в стандартном трёхзвёздном отеле,
Ездил в пустыню осматривать быт бедуинов,
Там же скакал на верблюде и пил каркаде;
Плавал по Нилу, стоял на корме под луною,
С дурой одной познакомился родом из Гжели,
С той, что, мои приставанья под утро отринув,
В тесной каюте моей заблевала биде.

Лазал и я по разрушенным храмам Луксора,
Ездил в Каир под охраной двойного конвоя,
Не ощущая по глупости тайного страха,
Месяца за три до террористических бед;
Видел, как немки с арабами сходятся споро
(Немка одна, а арабов, как правило, двое…),
В эти дела не вторгается воля Аллаха,
Здесь закрывает глаза сам пророк Магомед.

Но, несмотря на волшебное Красное море,
Хомо советикус, переродившийся в хомо
Капитализмус, порой вспоминает сердечно
Крым благодатный, давно уже посланный на…
Сколько же раз пожалел я—о, горе мне, горе!—
Что «самовар» свой оставил—несчастный я!—дома,
Якобы в Тулу поехав, какою, конечно,
Быть не была и не будет—чужая страна.

2.

Перемещаясь один, словно перст, по планете,
Тысячи миль впопыхах, как попало покрыв;
Встретив рассвет чёрт-те с кем, в расставании скором
Растиражировав свой тут и там поцелуй:
Будем как Солнце; как боги; как малые дети;
Подрастерявши себя в череде директив
Литература давно уже стала—декором,
Вера, Надежда, Любовь—превратились в фэн-шуй.

3.

Был я три года назад в первомайском Берлине,
Унтер-ден-Линден прошёл пешкодралом, как наши
В славнопобедном и памятном нам сорок пятом,
Не посетив ни одной для туристов пивной:
Местных девиц перепутать легко с «голубыми»
(Геи и те одеваются лучше и краше);
Впрочем, во мнении этом, довольно предвзятом,
Не одинок я—тому сами немцы виной.

Что я о немцах-то всё: немцы, немки…—голландцы!
Вот у кого демократии задран подол…
Был и у них я—курил ганджубас в кафе-шопе
В красноквартальном и велосипедном раю;
Здесь все имеют практически равные шансы
Лапать друг друга за зад, невзирая на пол,
Так что, мужчина идущий по улице в топе,—
Это нормально… и рифмы не будет, мой друг.

Начал с Египта—заканчивать надо Парижем,
У букинистов, как мессу, весь день отстояв…
За светофором, где Эйфеля реет громада,
Неописуем реки светлокаменный вид.
Здесь не отмажешься просто «заботой о ближнем»:
Нищий, пустой демонстрируя людям рукав,
Смотрит мне вслед из ворот Люксембургского сада,
Словно на мальчика в шортах—седой содомит.

4.
Вера, Надежда, Любовь… только порваны связи
Между отчизной твоей и тоскою моей;
Мне ли, принявшему жизнь, как смертельную скуку,
Без ощущения правды искомой внутри,
Двигаться дальше, из грязи в безродные князи,
Выйти пытаясь, как из лабиринта Тесей?
«Вальс начинается. Дайте ж, сударыня, руку,
И — раз-два-три,
раз-два-три,
раз-два-три,
раз-два-три».

Степь бесконечная, как смерть. Живи в степи!
Учись на суржике трындеть, страдай, копи:
За каждый нажитый пятак — расплаты пуд.
От Евпатории до Сак один маршрут.

В кафе, в тарелке на столе — кальмар зачах.
Ты одинок — на сей земле, на всех путях.
Коньяк, раздавленный, как клоп, — неконгруэнт…
Тоска — как непременный троп. И Крым — как бренд.

И по дороге в Черноморск, под шорох шин,
В наушниках играет «Doors»: то «Doors», то «Queen».
И если есть на свете Крым, то он — иной,
Где мне явился серафим и вырвал мой…

Илья Суворов

Ветер меняется

Тихой жалобой крыш — заунывное лязганье жести.
Ставня тикает нервно, неровно, ломая весь ритм.
Это снова меняется ветер, и новые вести
Он спешит принести, изменив содержание рифм.

Началось поздним утром, из древней пронзающей грусти,
Растеклось по морщинкам в углах у внимательных глаз
Моряков и цыган. Видно, мир надломился и хрустнет.
Всё известно бродягам. Они всё прожили не раз.

Уши старой собаки исследуют звук километров,
Ноздри шумно процедят, вдохнув, пыльный холод зимы.
Эти запахи, шорохи, шелесты грустного ветра
На восходе Луны обсуждают собачьи умы.

Неизвестность свербит пустотой, невесомостью мыслей.
Эксцентричный мотив залетает в печную трубу.
Не стыкуются фразы, дела и отчётные числа.
Это ветер меняет погоду и чью-то судьбу.

Юрий Татаренко

Чтонатворительный падеж

Разлука

Я ищу тебя везде — в лабиринтах страсти,
В закоулках ревности, в тупиках обиды…
Знаю, никогда не врут дамы красной масти!
Карты на сукно кладу, как на сердце плиты…

Где-то ищешь ты меня — или забываешь,
Или же ночей не спишь, всё в окошко смотришь…
Носит молнии и гром туча грозовая,
А ты ждёшь то облачко, где одно письмо лишь…

Но я тоже писем жду, от тебя — ни строчки!
Одиночество своё мы тоскою лечим…
Между мною и тобой — лунные клубочки,
Между мною и тобой — ожиданье встречи.

Чемоданное настроение

В субботу закончились деньги и лето.
А где-то тепло, премиальные где-то…

Царапает зеркало ливень осенний.
И нету желающих на воскресение.

В блокноте зачёркнута Галя Сизова.
Уложены брошки на бархат сезона.

Вагоны закрыты. Толпа на перроне.
Хоронят панаму. Купальник хоронят.

В пижаме ли, в тройке — достойно потеем,
Враждуя с находкой, смиряясь с потерей.

Стараются тучи — с утра при параде —
Частицу себя разглядеть в листопаде.

Задвижка горизонта заржавела.
Рассыпан в звёзды вечности скелет.
Признания в любви подешевели —
Почти как безлимитный Интернет.

В твоих глазах укор укоренился:
Весельем я засеял монитор…
Компьютерных злодеев вереница
Сужает очень сильно кругозор.

Я разменял себя по пьедесталам —
Ты этого, читатель, не поймёшь…
Не глядя в цифры, почтальон доставит
Квиток на ежемесячный платёж.

В бюджет всеобщей
Ком-пью-те-ри-за-ци-и —
Ещё одна, последняя строка…
И почему-то в небе облака
Перестают волшебными казаться.

Золотой 2008-й

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать…
Ф. Тютчев

А это кто в короткой маечке?
В. Высоцкий

Устали россияне лаяться,
И сразу — сдвиги к позитивному:
Успехов много появляется —
Есть музыкальные, спортивные…

Особым атомам-молекулам
Под стать особенные скорости.
Забавно, правда? — человек у нас —
Предмет национальной гордости!

Звезда? Шагами семимильными —
В музей, фигуры все из воска там…
Неловко знать лишь по фамилии
Толстого, Репина, Чайковского…

Мы можем в нашей сборной гениев
Похвастать длинною скамейкою:
Живут по-прежнему не где-нибудь —
В России главные ньюсмейкеры!

В событий свистопляске бешеной
Придётся быть поаккуратнее
Тому, кто стал уравновешивать
Приобретения с утратами…

От чёрной метки — не избавиться,
Скажу в ответ — не ошибиться бы:
Билан, Овечкин, Исинбаева
Мне не заменят Солженицына.

Русская народная песня

Мой «мерседес» вперёд летит!
Он светофорами не пойман!
Народ за пазухой хранит
Не динамит — два литра пойла…
Оставив пряник «на потом»
И ничего не объясняя,
Порок неоновым кнутом
Всех в современность загоняет,
Где шлюхи стали постройней,
Где ценники нулями дразнят…
Да, мы живём в одной стране,
Но только в государствах — разных!
Танцует в небе фейерверк…
Султыга в горле встрепенётся…
Московский XXI век
Никак в Рязани не начнётся.

Разная Экономическая Политика

Фундамент — не золото, а серебро
Для плахи, где зло побеждает добро.
В лесах эрмитажи, в пожарах леса…
Два двадцать в кармане — а где колбаса?
Немых и немытых плодит нищета,
Раз-раз — размножаются в банках счета.
На женщин охотится рыба-пила:
От Кати, от Кати Рублёвка пошла…
Пока есть резон, будет жить Черкизон,
Уж толк в резолюциях знает Резо!
Иван на диване — то спит, то свиреп —
Хиппует, гриппует и верует в РЭП…
За что воевали отцы и деды —
За так, за единство страны и еды!
Прополка салютов идёт не весной:
Девятого мая в стране выходной…
Немецкое пиво сосёт мой сосед…
Долой День Победы, даёшь День побед!
Не знает РОСНАНО, не знает «Газпром»,
Как жить между штопором и топором.

История любви

Проопятились пни на полянах,
Закорзинились рынки с утра,
Дом в потухших душистых гирляндах —
Вот и праздновать осень пора…
Мы пройдёмся по просеке людной,
Обогнём муравьиный затор.
Где-то будничным редким салютом
С электричкой флиртует костёр.
Взмыть, не взмыть —
Лист желтеет в сомненьях,
На решительный шаг не готов…
Вот и осень. Весь погреб в соленьях.
Лето — время червивых грибов.

Август

Вдаль струится реченька-река,
Тёплый бережок волной обласкан.
Выставит рябинка напоказ
Красные заплаканные глазки.

Звёзды легче сосчитать вдвоём,
Рыбки друг за дружкою ныряют,
И сердцебиение твоё
Гнёзда сновидений разоряет.

Ландышем меня ты назовёшь,
Я тебя — ромашкой полевою.
Для любви — необходимы двое.
В одиночку — только слёзы льёшь.

От терзаний, от сердечных мук
Мне ни днём, ни ночью нет покоя!
Для любви — необходимы двое.
Ненавидят лишь по одному.

Есть мои ошибки, есть твои…
Тропка к речке поросла травою.
Для любви — необходимы двое.
Трое — для возвышенной любви.

По ту сторону смысла

Я шел за славою
Арбатом
не спеша —
Привычно начинался понедельник…
Встречали ль вы — со скрипкою бомжа?
Он был совсем без возраста и денег —
Лохматое, в обносках, существо
С беззубою улыбкою «подайте»…
Ах, боже мой, как пахло от него!
Ах, чёрт возьми, как он играл Вивальди!
Зачем с утра он оказался здесь
Легко понять, не надо звать гадалку.
Чтоб выпил он, отдам я всё, что есть,
И ста рублей ни капельки не жалко:
В тряпье сегодня, завтра в соболях —
И все равны к известному финалу,
Как галочки у жизни на полях…
Стоп! По какую руку маргиналы?

Нерусский язык

В России слова не скажи —
Давно сменились падежи!
Родители не терпят «Смэш»? —
Отгородительный падеж…
Душа пуста — всё в карте флэш!
Скоропалительный падеж…
Нам царь и бог — наличка, кэш!
Непозволительный падеж…
Что блокпостов пробита брешь —
Виной предательный падеж!
Бушует СПИД чумой подкожной —
Падеж растоптан непреложный…
Последний пройденный рубеж —
Увеселительный падеж!
Россия, матерей утешь!
Чтонатворительный падеж…
Но оглянись по сторонам!
Менять грамматику — не нам…

Пристанище

Рифмует время Путина и Пушкина.
Пол в мокрых точках.
Дождь прошёл. Ремонт.
Верстак засыпан запятыми-стружками.
А что? — вполне приличный натюрморт.
Ножовка, молоток и пассатижи.
Сверкающих гвоздей — аж два кило.
В компьютере бесстыжее бесстишье.
И дни летят. И бьются о стекло.

Вечер на базе

Чадят дрова, и прогорает скука…
О страсти пришепётывает жар…
Сосновый ветер в одеяло звука
Закутался, как мёрзнущий клошар,
И мы с тобой бедны на проявленье
Себя в июльском сумрачном лесу…
И, вздрогнув, угли станут на колени,
Вдруг разглядев в глазах твоих росу.

Семейные будни

Ни в личной, ни в семейной жизни
Не понимаю ни бельмеса,
Но — получите, распишитесь! —
Сороковой медовый месяц…

Винца сухого — по глоточку,
А дальше — я один пирую,
А ты укладываешь дочку
И потихоньку ждёшь вторую…

И ждут
руки прикосновенья
Песочные часы на полке.
Добавлен кальций в пасту «Колгейт».
Не любит сырость крем «Нивея»…

Я
не предрасположен
к бунту —
Но так заведено богами:
Пусть раз в году
Вверх дном всё будет,
Вниз головою,
Вверх ногами!

«…Прошли без осложнений роды» —
Сказала тёща с умным видом.
Начнётся первый месяц года
С последней буквы алфавита.

Разговор с девушкой из коттеджного посёлка

Вы, наверно, Мисс Предместье?
Добрый вечер! Рад знакомству.
А давайте-ка жить вместе —
Вместе с ранним Маяковским!

«Скрипка и немножко нервно» —
Словно бомба с кулаками…
Богом брошенное небо
Зарастает облаками.

Мзда — очерепичит крыши,
Дым — очеловечит следом…
Хлопнет дверь, откры-закрывшись, —
Подытожит бабье лето.

Восприми-ка, Вероника,
Мой неологизм как данность —
Вспомни: женщина возникла
Из ребрендинга Адама!

И под взглядами косыми
Я нырну в стихов трущобы,
Где ненастье ненасытно,
Где несчастьям нету счёта…

Сохнет в тучах звёздный невод,
С нетерпеньем ждёт заката…
«Скрипка и немножко нервно» —
Сказка языком плаката.

Клуб читателей

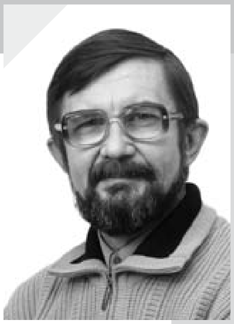
Ульяна Лазаревская

Марш антологий

К чему, к чему, а к явлению антологий нам не привыкать. Как и к провозглашению рейтингов. Однако нынче осенью содрогнулись всё же русскоязычные литпросторы от могучей поступи сразу двух поэтических отрядов. Прежде, ещё в сентябре, двинулась в поход разномастная когорта из США. Под откровенно глянцевой обложкой и невообразимым для России наименованием — «+ДА ТОП * Поэзия * ТОП 20 — лучшие поэты России и мира * 7–9 2010» — сгрудились стихотворные подборки, столь разные по темам, стилям, известности авторов и — главное — по литературному качеству, что остаётся только дивиться широте эстетических воззрений составителя «топа», поэта, критика, издателя и журналиста Расуля Ягудина. Некоторым поэтам, оказавшимся в «топе», наверняка не слишком уютно в непосредственном соседстве с другими… некоторыми. Однако — не такова ли сама литературная действительность? Когда конь и трепетная лань — в одной упряжке. Владимир Токмаков, член редколлегии ДиН, так охарактеризовал «Топ 20»: «Ягудин человек достаточно эпатажный, поэтому и название антологии, и выбор авторов — своеобразный вызов московскому литературному истеблишменту, столичным критикам, которые считают, что только они вправе решать, кто у нас талант, а кто — нет». И ещё: «Я надеюсь, что Расуль Ягудин продолжит свою задумку — создание альтернативной литературной карты России — без, так сказать, раскрученных московских имён». И далее: «Всё это — личный, субъективный выбор составителя и организатора проекта Расуля Ягудина. Он нашёл издательство в Нью-Йорке, спонсоров, от начала до конца это — его заслуга».

В антологии «45-я параллель» (издательство «Вест-Консалтинг», редактор-составитель С. Сутулов-Катеринич) поэтов больше (ровно 45), имена большей части из них достаточно известны (может быть, потому что книга — юбилейная, знаменующая 20-летие весьма авторитетного одноимённого интернет-портала). Помимо стихов, здесь 15 уникальных эссе о героях портала (среди них — Ахматова, Ахмадулина, Вознесенский, Высоцкий, Галич, Евтушенко, Городницкий, Коржавин, Арсений Тарковский, Чичибабин…), так что поэзия наших современников вписана во впечатляющий контекст.

Было интересно обнаружить, что «ягудинское» и «сутуловское» поля пересеклись лишь дважды — именами Виктора Фета и Марины Саввиных. Это, конечно, случайность. Но — многообещающая. Аукнулись раз — значит, грядёт перекличка!



Выбор пути прост:
Идти на свою звезду,
Бросая за горстью горсть
В тёплую борозду.

В будущее сей мост—
Ведь там семенам взойти.
А чем измерять их рост?—
Мерою доброты.

Смысл нашей жизни прост:
Зла туман разорви
И жизни раскрась холст
Радугою любви!

Владимир Балашов

Путь зерна

Шанс

Долгое блуждание на ощупь и в потёмках измотало до крайности. Вынырнув наконец из темноты на дневной свет, он чуть не захлебнулся от восторга—это было спасение. На сей раз перед ним открылась крыша какого-то гигантского здания или ангара, крытая плоским серым шифером,—огромная, словно футбольное поле.

Облегчённо вздохнув, расслабленно сделал несколько шагов и… снова ощутил, что падает вниз. Шифер оказался настолько ветхим, что рассыпался в пыль, открыв чёрную глубину. Сердце остановилось, и он с тоской подумал: «Ну, теперь точно конец!»

Падая в распахнувшуюся бездну, успел разглядеть недалеко внизу, в ещё не поглотившем всё вокруг сумраке, мощную деревянную балку со шлейфом натянутых вдоль неё проводов. За один из этих проводов—даже не задумываясь, что тот мог оказаться под напряжением,—сумел ухватиться. Повиснув, перевёл дыхание—и уже в который раз задал вопрос неизвестно кому: «Это спасение или опять только передышка?»

Провод натянулся, ощутимо задрожал под весом человеческого тела и сначала медленно, а потом всё быстрее стал подаваться. Уже немного присмотревшись в окружающем полумраке, Денис практически отрешённо наблюдал, как один за другим отрываются от балки белые фарфоровые изоляторы… И опять долгий полёт в чёрную, изматывающую бесконечностью бездну.

Рывок отозвался не только в руках, а во всём до предела уставшем теле. И опять он как-то умудрился не отпустить спасительный провод, несмотря на боль, несмотря на то, что стальная струна, терзая плоть, глубоко врезалась в ладони. И снова ощутил, что летит. Только теперь уже куда-то в сторону…

Стену, вернее некую вертикальную массу впереди, не то чтобы увидел, а словно почувствовал. Сгруппировался, чтобы смягчить удар,—но за мгновение до столкновения ощутил тормозящее сопротивление пружинящей сети из многочисленных проводов, натянутых перед стеной. Предугадав, что сейчас его, словно маятник, качнёт назад и потащит в пустоту, в зловещую неизвестность, разжал пальцы и широко раскинул руки—чтобы понадёжнее запутаться в металлической паутине. Удалось—зыбкая опора выдержала!

Но вместе с ощущением невесомости снова накатила волна парализующего страха. Нет, не ожидание смерти, к чему за время бесконечного и непонятного путешествия он уже начал привыкать,—на сей раз всё подавил ужас обречённости. В этой ловушке от его физической силы, от его ловкости и умения ничего не зависело—исход определялся лишь слепой удачей. А вот на удачу, которая давалась либо не давалась кем-то свыше, он не привык рассчитывать, потому как всю жизнь полагался только на себя.

Убедившись—с некоторым даже удивлением,—что опора хотя и зыбка, но пока достаточно надёжна, попытался спокойно осмыслить ситуацию. И вынужден был обречённо констатировать, что пройденный с неимоверным трудом путь наверх придётся повторять сначала, причём шансов выбраться наружу почти нет…

И снова он ползёт вверх по скобам, торчащим из отвесной бетонной стены. И опять очередная проржавевшая скоба выдёргивается почти без усилия…

Самое странное, что Денис никак не мог вспомнить, как очутился в этом пугающе незнакомом здании. Что ему здесь нужно? Как давно ползает по предательски ветхим конструкциям? Вся предыстория осталось где-то там, в прошлом. А сейчас он вроде бы преследовал одну единственную цель—выбраться наверх. Какой же по счёту будет эта попытка?..

От умственного перенапряжения сдавило виски, потом в голове что-то звонко и болезненно щёлкнуло… Денис открыл глаза—и взгляд его упёрся в зеленовато-серую стену, которая была к тому же наклонной. О её наклонности можно было судить по выпуклому шву странной формы. И ещё: какая-то тень ритмично колебалась в верхней части стены, на границе видимости, причём ощущение было такое, будто она находится снаружи и непонятным образом проникает сквозь стену. Это видение воспринималось совсем уж фантастическим.

Оттуда же доносились неясные шумы, постукивание металла о металл… Потом чей-то удивительно знакомый голос произнёс:

— Пора начальника будить, а то дрыхнет, как трофейная лошадь…

Денис медленно повернул голову—и только теперь сообразил, что находится в палатке и лежит на раскладушке…

Всё последующее было как бы продолжением тягучего, лишённого всяческого смысла сна: безвкусный завтрак, сборы, бесконечный путь по таёжной тропе.

«…Похоже, я всё-таки заболел?—размышлял он, механически переставляя ноги.—Во-первых, этот не проходящий жар; во-вторых, ощущение какой-то нереальности всего окружающего… Вот опять ни с того ни с сего упал на ровном месте! Даже не споткнулся, просто потерял вдруг равновесие—и ноги не удержали. Да ещё эта оставшаяся от ночного кошмара слабость во всём теле, вялость в движениях. Так трудно подниматься после падения, так хочется забыться на прохладной земле… И уснуть…»

Кто-то из спутников молча подхватил Дениса сзади и рывком поставил на ноги.

«…Это, конечно же, Колян по кличке Ведмедь,— отрешённо отметил Денис.—У него-то силы немерено. Ничего даже не сказал, не позубоскалил по поводу частых падений начальника. Насчёт того, что рубль нашёл… Хотя по этому коряжнику все спотыкаются… Но вот падаю почему-то лишь я один…»

Он ускорил шаг, чтобы догнать легко шагавшего впереди щуплого Саню. Санина спина всё не приближалась, а потому, когда возникла неожиданно в полушаге,—не успел остановиться и воткнулся носом прямо в Санин затылок. Тот удивлённо оглянулся, но тоже ничего не сказал.

…Странно, будто никто и не замечает его состояния? Или не видят в этом ничего особенного? Но ведь он же ощущает: что-то не так! Похоже, заболел либо за последние дни вымотался вконец?.. Честно говоря, он ведь и не помнит, как это—болеть. Даже из раннего детства не осталось никаких воспоминаний. Хотя был один случай: не то ветрянка, не то свинка… А потом вроде бы даже не простывал всерьёз ни разу?.. И сейчас с чего бы вдруг скопытиться? Нет, он просто устал от этого однообразия: изо дня в день карабкаться с нивелиром по склонам, рубить деревья, перебираться через затянутые мхом валежины… Но, обычно к утру усталость проходила… Будто сглазил кто!..

И тут же память услужливо вытащила воспоминание из детских лет. Ещё будучи дошкольником, он летом жил у бабушки на Ярославщине. И—ни с того ни с сего—у него вдруг заныли все зубы. Собственно, сама боль теперь не помнилась, а в памяти всплыло то, как бабушка привела его к старухе-соседке, о которой говорили, что она умеет заговаривать боль. Та была страшной, как Баба Яга из сказок, поэтому Денис её панически боялся. Старуха что-то пошептала беззубым ртом, потом попросила бабушку положить на нывшие зубы смоченную ею в водке вату. Тогда он впервые узнал вкус водки. Как ни удивительно, однако зубы после такого лечения болеть перестали. Но с тех пор этот непонятный, сродни колдовству, людской дар заговора и наговора пугал Дениса…

Вот опять: вроде бы и не споткнувшись, Денис потерял равновесие—и мешком повалился на тропу. Как будто совсем на чуть-чуть, на короткое мгновенье, забылся… А открыв глаза, увидел уже над собой склонённое лицо Ведмедя. Мысленно напрягся—но всего лишь мысленно, поскольку на этот раз даже не предпринял попытки подняться. Совсем не осталось сил встать или даже просто пошевелиться. Единственное, чего хотелось,—это забыться, потеряться и лежать неподвижно посреди приторно пахнущего папоротника…

— Ну ты, начальник, даёшь! Меня с похмелья так не мотает! Не выспался, что ли?..

«…Это голос Ведмедя, только где-то далеко-далеко…»

— Да он горячий, как головешка! Блин! Точно заболел! То-то я давно замечаю, что не в себе! Думал, не высыпается с этой работой… Точно, надо в лагерь возвращаться!..

«…А это уже Санин голос. Чего он так заволновался-то? Даже если и заболел… Просто надо отлежаться денёк-другой…»

А в памяти вдруг ясно всплыло то самое воспоминание болезни: у него высокая температура, и он—впервые, наверное,—утром не пошёл в школу. Лежал целый день в постели, то и дело проваливаясь в омут полубреда и каких-то обрывочных размышлений. Из этого ватного и тягучего, но одновременно донельзя хаотичного водоворота мыслей невозможно было вырваться. С действительностью тонкой нитью связывало только радио. На всю жизнь запомнился репертуар оперетт, которые шли тогда в театрах Ленинграда: «Три соловья, дом семнадцать», «Севастопольский вальс», «Поцелуй Чаниты»… Сейчас он тоже не совсем понимал разговор Саньки с Ведмедем, но изо всех сил попытался, как тогда, не оторваться от их голосов, не потеряться в хаосе бессвязных мыслей…

Ещё более смутно он помнил, как возвращались в лагерь. Весь обратный путь Денис цеплялся и взглядом, и сознанием за сапоги идущего впереди Саньки. Часто, очень часто валился вперёд, втыкаясь лицом в мох рядом со стоптанными резиновыми каблуками. Снова и снова ощущал на плечах или на поясе руки идущего позади Ведмедя. Тот совсем легко, будто Денис и не весил ничего, ставил его на ноги. Всё это: и глубоко продавливающие мягкий мох Санькины каблуки, и сильные руки Ведмедя, и пьяно раскачивающаяся тайга—всё казалось зыбким и нереальным, словно продолжение кошмарного утреннего сна…

Потом из ускользающей реальности раз за разом возникало взволнованное лицо поварихи Олюшки. Она поила его чем-то горячим и сладким, пряно пахнущим, и всё спрашивала: «Денис, тебе плохо? Что у тебя болит?..» Где-то там, в глубине души, его умиляло, что она называла его так, а не принятым в бригаде полуименем-полукличкой Дэн. Денису хотелось много холодной, просто ледяной воды, но он боялся обидеть Олюшку и пил кипяток кружку за кружкой—однако жажда почему-то не утихала…

То, что повариха Олюшка отличала его от всех остальных, давно заметили уже не только окружающие, но и он сам. Это и собранный ею букетик спелой земляники, который поджидал в палатке на его спальном мешке, и долгие сидения у костра,

когда все остальные уже разбредались спать. Это и откровенно ревнивые Санькины взгляды, который, похоже, имел на Олюшку свои виды. У Дениса никаких особых видов не было, просто в общении с ней ему было легко и интересно… И даже сейчас она словно бы оттягивала на себя часть атакующей сознание боли: рука её была прохладной и целительной, как у мамы или у той деревенской соседки-знахарки, заговаривавшей в детстве зубную боль…

От травяного отвара мысли — правда, на короткое время, — становились яснее, но потом сознание снова погружалось туда, где весь мир как будто был настроен против него. Теперь уже не только тот, полубредовый, на границе сна и бодрствования, — теперь уже и этот окружающий мир тоже ломал, корёжил тело, сдавливал невидимыми тисками голову, безжалостно выжигал жаром сознание. Болезнь перестала прятаться и перешла в активное наступление. Скоро, наверное, резерв внутренних сил закончится, и тогда он, Денис, — вероятнее всего, даже с облегчением, — перестанет сопротивляться ей! Сдастся — и уйдёт в небытие, где нет ни испепеляющего жара, ни изматывающего бреда… И лишь испуганное лицо Олюшки оставалось спасительным островком в бушующем океане уже ни на миг не утихающей боли и пожирающего мозг огня…

Время тянулось нестерпимо медленно: в неразличимую вечность слились минуты, часы, день, ночь… Потом возникли грохочущая, болезненно вибрирующая всем корпусом лодка-дюралька и сосредоточенный, то и дело внимательно поглядывающий на него моторист Виктор. Они плыли вниз по Енисею. Да иначе и быть не могло — до ближайшего населённого пункта вверху было сотни две километров. Дениса бросало то в жар, то в холод — и он, в зависимости от этого, либо кутался в грубый, резко пахнущий бензином брезентовый дождевик, либо подставлял грудь встречному потоку утреннего прохладного воздуха. Он мечтал только об одном — чтобы всё это скорее закончилось: и бесконечный путь по Енисею, и бесконечный, только что начавшийся день. В посёлке, конечно же, найдутся врачи, которые определят источник его болезни и дадут спасительное лекарство… Но путь длился и длился бесконечно, как беспорядочно-прерывистые и вместе с тем назойливо-прилипчивые мысли, надоедливой вереницей приходящие из прошлого…

Ни с того ни с сего вспомнилось, как ушёл со второго курса института и уехал из Ленинграда в экспедицию. Зачем, почему? Словно подтолкнул кто-то неведомый. А началось всё со стихов — да, именно с этого несколько неожиданного, но всё больше и больше поглощающего увлечения. Он даже на институтских лекциях, вместо того чтобы вникать в формулы, доставал из сумки чей-нибудь сборник. Попытался писать сам… Потом в сумке появились книги о путешествиях: повести Арсеньева, Федосеева, Куваева. Кое-что он читал и раньше, но теперь как бы открывал заново. Захотелось попробовать такой жизни, испытать себя среди настоящих мужиков. Хотя что он себя обманывает?.. Самую главную роль сыграла, конечно же, однокурсница Нина. Их отношения на втором курсе стали совсем неопределёнными, совсем непонятными. А начиналось всё так хорошо — тогда, перед первым курсом, когда их всех отправили в совхоз на уборку картошки. А на следующее лето они — должно быть, её стараниями, — попали в разные стройотряды, и у неё появился Андрей… Денису Андрей был крайне несимпатичен, и это ещё больше усугубляло душевные страдания. Что Нина в нём такого нашла? Остролицый, прыщавый и какой-то невыразительный… Правда, Андрей играл на гитаре, а гитара Нине всегда нравилась. Только одно название, что играл, — просто бренчал… Где-то через месяц работы в стройотряде, на выходные, Денис отпросился у командира и несколько часов трясся в пыльном автобусе… Он отыскал Нину — но в тот же день вернулся назад, окончательно поняв, что он — третий лишний. В сентябре начались занятия в институте, но учёба больше не шла на ум. Терзать сердце, каждый день видя её на лекциях рядом с Андреем, Денис больше не мог и решил: пусть будет ещё хуже — где-то там, среди глухой тайги и безлюдья…

Сейчас, в минуту просветления сознания, он взглянул как бы со стороны и на сидящего в лодке себя, и на проплывающие мимо таёжные берега — и чётко осознал, что эти несколько месяцев изменили его. В чём?.. Определённо сделали сильнее и, главное, увереннее… Да, так было до сих пор, пока боль не подмяла его, не поколебала уверенность в собственных силах… И следом за этой мыслью, совсем уж некстати, из прошлого пробилось скулящее чувство заброшенности, одиночества и жалости к себе…

В конце концов, утомлённый тягучим однообразием реки, он ненадолго забылся или даже заснул. Но и во сне не прерывалась цепочка воспоминаний — будто он подробно, восстанавливая ничего не значащие детали и подробности, рассказывал какой-то строгой комиссии свою прожитую жизнь. Подчинённые непонятной закономерности, полузабытые события выстроились в цепочку и, дождавшись очереди, настойчиво напоминали о себе, требуя оживить их и пережить заново… Всё больше уставая от этого рассказа, он несколько раз пытался вырваться из водоворота воспоминаний, но любая случайная мысль, совершив виток, неизменно снова ввергала в пучину нежеланных видений. Денис давил их сознанием, как надоедливых комаров или оводов пальцами, испытывая одновременно и брезгливость, и злорадство, — но меньше их не становилось. Он снова и снова отталкивался от зыбких образов, стараясь отыскать в своём сознании, в своей памяти уголок покоя и забвения. Это напоминало блуждание в катакомбах во время того странного сна…

В поселковой поликлинике Дэну вдруг стало лучше. Он даже подумал, что напрасно послушался начальника изыскательской партии и согласился ехать — через несколько дней оклемался бы и там, в лагере. Но пожилой терапевт, мельком взглянув

на градусник, удивлённо покачал головой и спросил:
— Кашель не мучает, молодой человек? Температура-то как при воспалении лёгких…
— Нет, не мучает.

Потом терапевт долго слушал лёгкие, постукивая по груди и спине своими сухими пальцами, стучал резиновым молотком по коленкам, зачем-то водил пальцами перед глазами Дениса — и снова прикладывал свой аппарат к его спине и груди. Лицо старика всё больше мрачнело.
— Сознание, случаем, не теряли, молодой человек?
— Как будто бы терял… Сам до конца не понял.
— А головные боли мучают? Не похмельные, конечно…
— Да, голова болит не переставая. Сейчас как будто полегчало.
— А давно постоянные боли начались?
— Уже несколько дней. Не помню точно… Три… Или четыре…
— Может, клещи в тайге впивались?
— Конечно, и даже не раз. Да они там во всех впивались.
— Дай Бог, чтобы я ошибался, но у вас, молодой человек, похоже, клещевой энцефалит.
— Но у меня же была прививка! — возразил Дэн, медленно осознавая страшный диагноз.

Перед мысленным взором тотчас возник сосед-инвалид, который жил в квартире напротив, на их лестничной площадке. Сосед был геологом, когда-то работал в экспедициях, но после перенесённого энцефалита у него перестали действовать руки. Чтобы взять стакан, он, гримасничая от напряжения, сдвигал безвольные кисти и потом с трудом подносил его к губам. Движения были словно бы мультипликационными — когда различные части тела действуют совершенно самостоятельно. При этом дядя Миша утверждал, что он ещё легко отделался, а могло быть значительно хуже. И Денис, встречая на улице паралитиков, непременно относил их к беднягам, перенёсшим клещевой энцефалит. И думал, что, коснись это его, он лучше бы умер…
— Возможно, прививка была некачественной например, вакцину ввели просроченную, — продолжал терапевт, — возможно, я ошибаюсь. Чтобы сказать точно, нужно взять анализ крови, пункцию костного мозга…
— И что теперь? — сразу почему-то уверовав, что врач не ошибся, обречённо спросил Денис. — Это неизлечимо?..
— Ну, всё от тебя зависит, от твоего организма, — врач перешёл на «ты». — Бывает, что и безнадёжные выкарабкиваются…

Сообразив, что сказал совсем не то, что в подобных случаях нужно говорить, он поправился:
— Ты ещё молодой, крепкий…

Поняв, что и эта фраза прозвучала отнюдь не успокаивающе, врач растерялся и закончил:
— В общем, будем лечить… Лечиться!

Палата с символическим номером «шесть» находилась на третьем этаже поселковой больницы. Правда, заполнена она была не психами, а в основном, радикулитчиками — монтажниками и шоферами со строительства гидроузла. Самым «тяжёлым» считался он, Денис. И дело было даже не в определении врача, а в том, как все сочувственно к нему относились, как угощали домашней снедью из передач, как навязчиво пытались подбодрить. Между ним и остальными больными уже существовала незримая грань, черта некой страшной неизвестности, за которую он, в отличие от остальных, перешагнул…

Денис большую часть времени лежал или, придвинув единственный в палате стул к подоконнику, иногда — совсем недолго — смотрел на улицу. Вот сороки клюют на дороге что-то плоское и серое. Эта терзаемая бесформенная плоть была когда-то живой: кошкой или собакой. Пока не попала под колёса автомобиля. Может, просто не повезло — и на мгновенье отвернулась удача; может, настигла в давно определённый ею момент безжалостная судьба. Никому не дано знать наверняка, каким будет его последний час. И он, Денис, не знает… Ведь у него-то ещё есть возможность выкарабкаться, он-то ещё жив! Можно, конечно, сжаться от боли и лелеять её, чтобы не огрызалась, чтобы не пугала в ответ на каждое движение. А можно схватиться с ней: кто кого?! Вот он, шанс: либо уступать шаг за шагом без надежды на победу, а только оттягивая конец, либо вступить с ней в бой — и, возможно, победить…

Самое трудное — это непроходящая головная боль, которая поселилась внутри мозга. Даже кратковременные передышки она давала не ему, а себе — чтобы сгруппироваться и навалиться с удвоенной силой. У болезни была своя тактика: постепенно, шаг за шагом, она отрезала Дениса от внешнего мира. Сначала от внешней информации — будь то новости по радио или телевидению, прочитанная газета или несколько страниц книги… Да что там страниц — он уже одну страницу или даже нескольких строк не мог прочитать: тут же внутри головы вспыхивал огонь, выжигающий только что полученную информацию вместе с очередной частицей памяти, частицей сознания. Болезнь как бы предупреждала: не подчинишься — будет ещё хуже! Бороться с набравшей силу болью стало практически невозможно, оставалось только не провоцировать её и надеяться на скорое воздействие лекарств. Денис утыкался головой в угол, зажимал ладонями уши, закрывал глаза — и так сидел часами, отключив все органы чувств.

Боль чуть ослабляла свои железные тиски в единственном случае — и это трудно было объяснить: когда появлялась Олюшка. Та приходила в туфлях на высоких каблуках и в короткой юбке, открывающей длинные красивые ноги. Это была будто вовсе и не повариха Ольга, Оленька, а привлекательная и знающая себе цену женщина. Правда, рядом с такой красивой и уверенной он испытывал что-то вроде унижения: вот она — такая живая, энергичная, а вот он — беспомощный и ущербный. Но эти муки всё-таки не шли ни в какое сравнение с радостью от хотя бы временного облегчения. И лишь когда Ольга уходила и начинала снова подступать боль, вспыхивало запоздалое

раздражение: какого дьявола она ходит? зачем травит душу? оставила бы его в покое…

Снова и снова приходилось забиваться в угол и ждать, ждать — пока болезнь, преследуемая многочисленными уколами, не ослабеет, не сожмётся в крохотную точку, которую он сможет наконец-то контролировать. И через пару недель уколы, от которых уже болело всё тело, сделали своё дело: высокая температура и головная боль отступили.

А потом, ещё через неделю, боль вернулась: оказывается, она не ушла совсем, а просто затаилась где-то в самых отдалённых клетках мозга. Болезнь совершила виток и накинулась на ослабленный организм с удесятерённой энергией — начался возвратный энцефалит. Теперь даже мысли вызывали тошноту, отзывались приступом тупой боли. Потом начался паралич одной половины тела: правые рука, нога и половина лица перестали слушаться. С трудом передвигаясь от больничной койки к умывальнику, он теперь даже среди лежачих больных реанимационной палаты ощущал себя настоящей развалиной…

Только через месяц — после сотен уколов, от которых руки и плечи Дэна покрылись сплошь, словно сыпью, красными точками, а потом синяками, — боль снова ушла, теперь уже насовсем. Но после себя она, как бесчестный и коварный противник, оставила сильнейшую депрессию — полное внутреннее опустошение. Хотя, может быть, это была реакция уже самого организма на безграничную усталость. Ничего не хотелось делать, только сидеть или лежать, бездумно уставившись в стену. Поднимался с больничной койки он только при крайней необходимости…

Лечащий невропатолог Елена Петровна, увидев, как Денис с трудом и с остановками поднимается по лестнице, пригласила его в свой кабинет, где снова заставила приседать. Приседая, Денис каждый раз терял равновесие, хватался за край стола. Попасть пальцем в собственный нос с первого раза он тоже не смог, что повергло его в шок.

Поразмыслив, лёжа на своей кровати в палате, Денис пришёл к выводу, что дела его плохи. И не испытал при этом ни страха, ни сожаления…

Ещё через месяц, выписывая его из больницы, Елена Петровна отводила глаза и повторяла:

— Ничего, ты вон из какой, почти безнадёжной, ситуации выкарабкался. У тебя молодой здоровый организм — он обязательно справится. Ты и так моя профессиональная, можно сказать, гордость… Честно говоря, никто уже не верил…

Денис про себя отмечал её излишнюю, нервозную суетливость и то, что Елена Петровна старается не смотреть ему в глаза. Значит, она не была уверена в том, что говорила. Зато он сам был уверен, что теперь-то выкарабкался. Теперь, без боли, можно жить, каждый новый день радоваться своему существованию, строить даже далёкие планы. Нелепый случай не вырвал его из этого прекрасного, безоблачного мира, Да, да, именно безоблачного, потому что все неприятности жизни — это пустяки по сравнению со смертью. Только приблизившийся призрак небытия заставляет ценить не только дни, но даже минуты, секунды продолжающейся жизни. Как много можно ещё успеть, если определиться в главном! Что же в его жизни теперь главное? Встретить любовь, написать книгу, совершить подвиг, помочь выкарабкаться ещё кому-то?.. До этого смысл существования был в том, чтобы побороть болезнь, а теперь — чтобы начать жизнь сначала. Он ведь ещё и не жил, а только готовился: учился, осмысливал, пробовал на ощупь, анализировал. Он двадцать с лишним лет познавал окружающий мир, а теперь этот мир просто испытал его на прочность, на пригодность…

— *Они* его нашли. Теперь не отступятся, пока не убьют.

— Мы можем его защитить?

— Нет. *Эти* теперь не оставят его в покое. Достаточно нам ослабить внимание всего на мгновение… Мы же не в силах всё предусмотреть — в следующий раз *Эти* будут ещё изощрённее.

— Значит, у него не остаётся ни малейшего шанса выжить?

— Есть только один шанс спасти его — это отказаться от него.

— Но тогда он будет потерян?

— Пусть просто живёт. Он молод — его организм, возможно, справится.

— Но он очень плох! И у него не будет ни Ангела-хранителя, ни Учителя.

— Да, он будет очень уязвим, но *Эти*, потеряв, не смогут его найти среди миллиардов людей Земли.

— Кем он станет, если выживет?

— Просто одним из множества.

— Жаль, у него было высокое предназначение…

Отверженный

Осенью по всей округе полыхали лесные пожары. По ночам было светло от багровых зарев, а днём, наоборот, небо казалось сумеречным. И солнце на небосклоне угадывалось бесформенным и зловещим бордово-красным пятном. Едкий запах гари в конце концов стал почти привычным, а вот дымные сумерки продолжали вызывать чувство неуверенности и даже какой-то животной, неотступной тревоги, оставшейся в нас, должно быть, от первобытных предков. Это был ещё не страх, но страшок перед некой незримой опасностью, скрывающейся за серовато-сизой, пахнущей горечью пеленой. Она уже поглотила всё вокруг — не только дальние, но и близкие горы, она лишила окружающий мир горизонта и перспективы. Вроде бы и понимаешь, что они не могли исчезнуть бесследно — но ведь не видишь их! А неизвестность всегда пугает больше реальной опасности…

Осенью Денис женился на Ольге. В иное время такая скоропалительная женитьба показалась бы неоправданной, но после болезни он торопился жить, словно боясь чего-то не успеть. Любил ли он Ольгу? Себе Денис такой вопрос старался не задавать, а если бы спросил кто-нибудь посторонний,

то однозначно ответить было бы крайне сложно. Просто впереди была неизвестность, и ему нужно было к кому-то привязаться, к какой-то опоре, к реальной и ощутимой точке отсчёта.

Без какой-либо словесной подготовки сделал Ольге предложение — и в тот же день они расписались, уломав председателя поселкового Совета. Вот только тёще он не понравился с первой встречи — и очень явственно это ощутил. Материнская ли ревность заговорила, или та сразу ощутила в зяте что-то непонятное, чуждое их семье — этого Денис так никогда и не узнает.

Он был по-своему привязан к жене: торопился домой после работы, ходил с ней в кино, в гости к её знакомым, тем более что близких друзей у него здесь так и не появилось, а друзья детства остались там, в далёком Ленинграде. Так что теперь самым близким другом стала жена. Но при всём при этом он ощущал себя как бы обязанным ей, особенно когда ловил мимолётный внимательный Ольгин взгляд. И слов любви никогда не говорил, даже ночью. Ольга, чувствуя эту его раздвоенность, тоже не спрашивала, любит ли он её, — главное, что она любила. А он чем дальше, тем чаще задумывался, сможет ли хоть когда-нибудь любить, радоваться, огорчаться так ярко, как должно, потому что все эти чувства горели внутри словно вполнакала, даже в четверть прежних, теперь уже полузабытых эмоций. Дело, конечно же, в наследии болезни, которая была побеждена ценой больших нервных разрушений. Но неужели так будет всегда, всю жизнь?..

Когда через несколько месяцев Денис узнал, что у них будет ребёнок, — и обрадовался, и испугался одновременно. Испугался, что последствия перенесённого энцефалита могут отразиться именно на ребёнке и в этом вольно и невольно будет виноват только он. Но через положенные девять месяцев родилась здоровенькая и прехорошенькая девочка. Денис был безгранично счастлив, что у него такой красивый, такой подвижный, такой умный ребёнок. Ольга же уверяла, что иначе и быть не могло, потому что Танюшка — дитя любви.

Вот кого он теперь любил самозабвенно, так это дочь: первым поднимался по ночам, когда она плакала, сам стирал пелёнки, ходил с ней, едва выдавался свободный час, гулять на Енисей и в окрестную тайгу. Укладывая Танюшку спать, он даже пел ей песни, хотя в других обстоятельствах, при посторонних, петь стеснялся по причине полного отсутствия слуха. Так что его жизнь потекла по счастливому руслу, и если бы не периодические головные боли и приступы слабости с тошнотой, повторяющиеся весной, о перенесённой страшной болезни можно было бы вовсе забыть.

С дочерью у них даже установилась некая необъяснимая или, как её ещё называют, телепатическая связь: когда Танюшка плакала — он сразу понимал, где и что её беспокоит. Даже находясь в командировке или работая далеко в тайге, странным образом чувствовал, что у дочери подскочила температура или возникли какие-то другие проблемы. А началось это сразу, прямо в день её рождения…

Они тогда работали на отбивке контура будущего водохранилища гидростанции. Неделю шли дожди, а тут с утра ни хмурого неба, ни обычного тумана — на удивление ясно. Решили закончить нивелирный ход по очень сложному скальному участку на одном из притоков Енисея — речке Берёзовой. Денису в бригаду назначили даже инструктора-скалолаза — для страховки в особо опасных местах.

Речушка-приток после дождей превратилась в мутный бушующий поток, а там, где она прорезала скалу, образовался залом из белых, обглоданных водой деревьев, вершины которых торчали в разные стороны, словно иглы ежа. Вода перехлёстывала через запруду и обрушивалась пенными водопадами вниз — на камни. Грохот этой беснующейся воды они услышали ещё издали.

Пробираясь по узкой кромке нависающего над водой скального берега, Денис невольно бросал настороженные взгляды вниз — на вращающуюся в гигантском водовороте воду перед запрудой. Он шёл замыкающим — громоздкий рюкзак и тренога вынуждали двигаться медленно и осторожно. Вот, растекаясь по скале, сбегает небольшой ручеёк. Денис отметил про себя, что в этом месте впереди идущие сгрудились и перебирались через него с особой осторожностью. Увидел, как шагнул ему навстречу скалолаз Сергей, даже успел передать ему треногу — и тут почувствовал, что теряет равновесие. Поспешно схватился за берёзку, чтобы удержаться на ногах, но корявое деревце удивительно легко отделилась от скалы вместе с корнями. И тогда ощутил, что летит в пустоту…

Упал он, по счастью, не на камни, а в воду. Ушёл в неё с головой, а когда вынырнул, то увидел стремительно проносящуюся мимо скалистую стену берега. Тёмная кромка обрыва нависала где-то высоко над головой, а его несло прямо к залому. Это был конец, поэтому Денис начал изо всех сил грести к песчаной косе на противоположном пологом берегу. Он прекрасно понимал, что не успеет и что шансов на спасение у него практически нет. Но перед самым заломом водоворот вдруг подхватил его самой крайней своей струёй и медленно-медленно потащил назад — по кругу.

Оценив создавшуюся ситуацию, Денис решил было сбросить рюкзак, но тотчас сообразил, что рюкзак не тянет вниз — прорезиненный мешок внутри, в который был уложен спальный мешок, сделал его подобием поплавка. Несколько успокоившись, он бросил взгляд на обрыв и увидел, что Сергей лихорадочно опускает сверху верёвку с петлёй на конце. «Быстро сориентировался инструктор!» — обрадовался Денис, однако плыть к верёвке через жутковатый водоворот не решился, посчитав, что по окружности его должно вынести примерно в нужное место. Но перед самой верёвкой его отнесло ближе к центру водоворота — и Денис понял, что промахнулся.

На втором круге всё повторилось. Хотя Сергей передвинулся с верёвкой выше по течению — точно рассчитать траекторию он не смог. Сам залом Дениса уже не пугал, но он понимал, что если его затащит в воронку — оттуда уже не выбраться.

И прекрасно осознавал, что если ему не удастся ухватиться за верёвку на третьем витке, то, вероятно, всё будет кончено, так как жуткий холод уже сковал тело, замедлил движения и рук, и ног. Сергей, похоже, это тоже понимал и сверху показывал знаками, что если сейчас ничего не получится, то он обвяжется верёвкой и прыгнет на помощь…

И вдруг Денис почувствовал: что-то изменилось! Окружающий мир разом подобрел к нему, стал понятнее, что ли,—словом, возникла новая, не существовавшая ранее связь с рекой. Вода вокруг уплотнилась и стала теплее, словно давая понять, что её не нужно бояться, что она готова его поддержать и даже помочь. Хаос струй упорядочился и стал предсказуемым.

И тогда Денис рискнул грести не к берегу, а к воронке—чтобы попытаться, борясь с течением, добраться до спасительной верёвки. Уже потом, когда очутился наконец на твёрдой земле, а вокруг облегчённо хохотали товарищи, он подумал, что его спасла интуиция. И только вернувшись домой, понял, что его связь с внешним миром образовалась через дочь, так как Танюшка родилась именно в это время…

Ему нравилась работа в экспедиции, потому что с ранней весны до серьёзных морозов приходилось пропадать в тайге. За это время он успевал по-настоящему соскучиться по Ольге, и каждое возвращение домой было как праздник. Тем более что других друзей у него так и не появилось. Почему так? Дружба—это отношение к другому как к самому себе. Для этого нужно к потенциальному другу привязаться сердцем, оценить его душу—а на сезонную работу в экспедицию устраивались, как правило, люди случайные и при этом далеко не «цвет нации». Зима казалась бесконечной, и он со своим очередным отрядом всегда был готов к заброске раньше других. Тем более что остальные начальники отрядов весенний выезд «на полевые работы» и расставание с семьями старательно оттягивали.

Денис попытался разобраться, почему он тяготится жизнью на базе экспедиции, в большом посёлке,—и нашёл главную причину: чувство одиночества особенно тягостно на людях. Это радуются вместе, а страдают всегда в одиночку. Его же душа, едва Денис попадал в обстановку относительного покоя, начинала ощущать не просто беспокойство, а необъяснимый дискомфорт. Вернее, продолжала ощущать… Потому, наверное, и тянуло его всё время ещё глубже в тайгу, в самую глухомань—подальше от людей и от принятых ими жизненных условностей. В первую очередь от коллективных жилищ и обобществлённых вещей—туда, где ты никому не обязан, где ты не должен приспосабливаться к искусственным законам, туда, где существует один практический закон—закон живой природы. Самый справедливый и, если принять его, самый необременительный…

Ещё через год, хотя врачи и не рекомендовали, он восстановился в институте на заочный факультет. Только теперь уже по геодезической специальности—и в Москве. Почему в Москве, а не в родном Ленинграде? Во-первых, туда прямым рейсом летал самолёт, во-вторых, институт был старейшим и наиболее авторитетным по данной специальности. Но главной причиной, наверное, являлась та, что вероятность встретить там бывших однокурсников и Нину была минимальной…

Стал ездить на экзаменационные сессии, которые обычно проводились весной—как раз в самое тяжёлое для его физического состояния время. К концу сессии он был уже никакой—настолько изматывала возобновлявшаяся головная боль. Даже настойка дальневосточного элеутерококка, которая в другое время обычно помогала и с пяток пузырьков которой он неизменно привозил в Москву, не спасала. После сессий возвращался совершенно вымотанный, но, тем не менее, успешно переходил с курса на курс.

Дочка подрастала: её лепет стал осмысленным, потом занятным, потом посыпались вопросы. Из детского сада она приносила уйму важных новостей, которыми спешила с ним поделиться. Их невероятная телепатическая связь находила всё больше подтверждений. Так, непостижимым образом она чувствовала, когда Денис приедет из командировки. В этот день, по рассказам жены, Танюшка с самого утра то и дело подбегала к двери и радостно кричала «Папа приедет! Папа приедет!» Правда, в их квартире стали происходить и странные, необъяснимые вещи. Как-то дочь среди ночи тихо вышла из своей комнаты и замерла возле дверей. Денис читал книгу, когда ощутил чужой, тяжёлый взгляд—дочь пристально смотрела на него застывшими и совершенно бесстрастными глазами, словно внутри неё находился кто-то другой. Денис взял Танюшку на руки и отнёс в кроватку—а она даже не шелохнулась, словно всё это время спала. Спала ли?.. Как тогда объяснить чужой—осмысленный и будто пронзающий насквозь—взгляд? Был и ещё один так и оставшийся необъяснимым случай—где-то перед самым его отъездом на очередную сессию. Дочь уже спала, когда Денис обратил внимание на странное поведение кошки. Словно бы охотясь за мышью, та подкралась к дочкиной комнате и заглянула в приоткрытую дверь. И тут вся шерсть у неё встала дыбом! Кошка попятилась, потом развернулась и опрометью бросилась в коридор. У Дениса тогда мурашки побежали по коже, потому что он явственно почувствовал постороннее присутствие. Нет, это был не человек—это была какая-то зловещая сила, которая концентрировалась в комнате дочери. В страхе за неё, он бросился в комнату… И не увидел ничего: дочь спокойно спала. Но неприятное ощущение присутствия чего-то чуждого не оставляло его ещё несколько минут. Так и не найдя тогда правдоподобного объяснения случившемуся, он уехал в Москву с тяжёлым сердцем…

Проводилась экзаменационная сессия за четвёртый курс, которую по каким-то причинам передвинули на май. Всё было как всегда: сдавал экзамены и зачёты, писал письма домой—в одном конверте отдельно жене и дочке. На этот раз даже

головные боли мучили как будто меньше. За два дня до отлёта он уже представлял, как окажется дома, как радостно кинется навстречу жена, как он подхватит на руки дочурку, как она будет шумно радоваться подаркам.

И вдруг словно натолкнулся на невидимую стену: через тысячи километров, через колышущуюся под ветрами тайгу, через миллионы жилищ и судеб, что были на этом пути в неведомых деревнях и посёлках, он явственно ощутил, что жена сейчас с другим…

Прилетев, Денис в этом убедился, едва взглянув ей в глаза. И тут же, на пороге квартиры, в один миг рухнуло всё: искромётная радость их редких встреч, пустячные и вместе с тем очень значимые фразы и слова, пьянящая доверительность поцелуев, безграничная ночная близость и умиляющая беззащитность лепечущей смешные слова дочурки. Всё это очутилось в прошлом, а настоящее оказалось преданным, растоптанным, валянным в грязи. Всё, что составляло его жизнь, её спасительную цельность и значимость — всё вмиг рассыпалось. Неоткуда больше было черпать силу и уверенность, которые вели его по жизни, неоткуда черпать доброту и нежность… Впереди — ничего, а позади кровоточащие, наполненные болью осколки сердца. Позади боль, а впереди ещё хуже того — пустота.

Всё это пролетело в сознании за один короткий миг, после чего он повернулся — и ушёл. Никого не хотелось видеть, особенно знакомых людей, и он бесцельно, словно в пьяном бреду, бродил по самым дальним улицам посёлка. Нестерпимо щемило сердце, невыносимо жгло где-то в самом центре мозга, огнём горело всё тело. Не хотелось больше жить. Хотя нет — он молил не о смерти, а о том, чтобы стало ещё хуже, чтобы не своя рука, а тоска и безысходность убили его. В какой-то из особенно невыносимых моментов он обхватил голову руками, сжался весь, как стянутая до предела пружина, — и завыл. Это был уже не стон, не плач, потому что глаза оставались сухими и горячими, — это был дикий и протяжный, самый настоящий волчий вой, который пусть и не приносил облегчения, но иначе переполнившееся горем сердце разорвалось бы на части. И поселковые собаки, услышав этот страшный вой, отозвались суматошным разноголосым лаем…

Потом, пошатываясь, будто пьяный, он пошёл домой. Всё вокруг казалось чуждым: улица со старыми тополями, освещённые окна домов и даже звёзды на бесконечно далёком бесстрастном небе. Мир, словно испугавшись его боли, отделился защитным всепоглощающим экраном. Незримый этот кокон проходил, должно быть, прямо по поверхности кожи, потому что Денис больше не чувствовал ни прохлады воздуха, ни запахов летней ночи. Он мог теперь ощущать лишь собственную боль и свою истерзанную душу…

Ольга не спала. С каким-то облегчением она рассказала всё, ничего не скрывая: да — приехал из института практикант, да — понравился с первого взгляда. А остальное получилось как-то само собой, помимо её воли…

— Ты хотела… сама… мне всё рассказать? — спросил он останавливающимся, мёртвым голосом.
— Нет…
— Если бы ты сказала, что любишь его, я бы тебя отпустил.
— Я знаю… — тихо отозвалась Ольга.
— Тогда зачем тебе был нужен этот обман? Ведь, живя со мной, ты готова была обманывать изо дня в день?..
— Я не знаю… Он говорит, что не может жениться, пока не закончит учёбу.
— Значит, он просто не любит тебя. А ты его?
— Я не знаю, что мне делать!..
— А я не хочу, чтобы ты бегала от меня к нему. Разберись в своих чувствах. Разберись сама с собой, в конце концов. Я даю тебе время…
— Я — дура! Ведь ты-то ни в чём не виноват, одна я всё погубила. Прости меня, если можешь!..

Воспринимая окружающее как во сне и передвигаясь словно в некой продолжающейся нереальности, Денис достал с антресолей спальный мешок. Расстелил его в комнате дочки и, не раздеваясь, упал поверх. Размеренное дыхание Танюшки через какое-то время вывело его из болевого шока, вернуло способность мыслить. Глядя в сумрак, он думал, как будет жить дальше и для кого. Да, ради этого крохотного родного человечка он готов был если и не простить жену, то хотя бы не напоминать никогда об измене. Говорят, время излечивает всё. С этой мыслью Денис и заснул — словно провалился в чёрную бездну…

Он проснулся из-за ощущения пустоты. В комнате всё так же темно — значит, была ещё ночь. Подошёл к двери и понял, что жены на кровати нет. На кухне и вообще в квартире её тоже не оказалось. Когда осознал это — в мозгу словно граната взорвалась, обдав всё тело волной вернувшихся огня и боли. А следом он ощутил волну безграничной, жгучей ненависти к жене и прямо-таки испепеляющей ярости. Значит, она снова обманула его — и теперь уже разрушила всё до конца! Без остатка!

Плохо соображая, что делает, он достал из чехла двустволку и зарядил оба ствола патронами с пулями. Запоздало сообразил, что две ни к чему — ему хватит и одной, чтобы свести счёты с этой жизнью. Настоящее невыносимо, будущее бессмысленно! Только его смерть, которая станет точкой, ещё имеет какой-то реальный смысл как логическое завершение… Потом решил дождаться Ольги и застрелиться при ней — это будет его последняя и единственная месть!

Время шло. Он сидел на кровати, на которой его бывшая жена была с другим… А теперь он, Денис, упадёт на эту проклятую кровать и зальёт всю её своей кровью. Пусть ей хотя бы раз будет так же плохо, как и ему!

Время тянулось невыносимо медленно, а в голове по-прежнему не было никаких мыслей: ни страха, ни сожаления… Вздрогнул оттого, что скрипнула дверь. Ольга вошла и застыла в дверном проёме. Её глаза округлились от ужаса.
— Пойди умойся! — скорее прохрипел, чем проговорил он, чувствуя, что под этим взглядом не сможет ничего сделать.

— Ведь ничего не было! — испуганно закричала жена. — Мы просто говорили!

Но он ей больше не верил — не хотел верить. Взвёл курки и стал разворачивать ружьё стволами к себе. Ольга застывшими глазами следила, как его палец медленно двигал спусковой крючок…

В этот миг из своей комнаты вышла дочка. Краем зрения он увидел её, и в голове молнией высветилась мысль, что его жестокая месть ударит в большей мере не по бывшей жене, а по этой крохе, которую он безумно любит. Теперь даже больше, чем когда-либо, потому что только сейчас он вспомнил, что это и есть единственная связывающая его с жизнью нить.

Денис уже ощутил начало выстрела и подумал, что не успеет ничего изменить — но всё же дёрнул ружьё в сторону. Грохнул выстрел: пуля гулко ударила в стену. Жена так и продолжала стоять с застывшими от ужаса глазами. Дочка громко заплакала от страха. Он отбросил ружьё и подхватил Танюшку на руки, прижал к груди, чтобы успокоить. В квартире стоял кислый пороховой запах…

Никто не прибежал на выстрел, не постучал в дверь. «Боятся, — подумал он. — Сейчас побегут вызывать милицию…» Усталость навалилась неподъёмной тяжестью. Он положил всхлипывающую дочь рядом с собой на кровать — и сразу же провалился в небытие.

Ночью его никто не будил. Что уж там рассказывала Ольга милиции и приезжали ли они вообще, он утром не расспрашивал. Ольга ходила по квартире, глядя в пол, и лицо у неё было закаменевшим — похоже, что не спала всю ночь. К обеду Денис всё для себя решил и сказал, что ей надо сегодня же уехать к родителям. Насчёт её отпуска он договорится с руководством экспедиции, документы на развод тоже подаст сам.

Всю дорогу до автобусной остановки он нёс Танюшку на руках, хотя та порывалась идти самостоятельно. «Ты не знаешь, — думал он с горечью, — что последний раз сидишь у отца на руках. Когда-нибудь я объясню тебе, и ты должна понять, что иначе я поступить просто не мог…»

В душе сегодня не было ни боли, ни эмоций — лишь пустота и безграничная усталость. Как в самые тяжёлые дни энцефалита…

«Почему я так спокоен? От меня навсегда должны уехать жена с моим ребёнком, а мне как будто всё равно. То есть я осознаю боль разумом. Но не чувствую сердцем — будто снова образовался тот непроницаемый защитный кокон вокруг меня. Снова, как после энцефалита, извне всё приходит многократно ослабленным — и боль, и сожаление, и даже ненависть…»

Пока ждали автобус, Ольга не выдержала и попыталась заговорить:

— Скажи хоть что-нибудь, обругай. Только не молчи!

— Что ты хочешь от меня услышать? Что я тебя могу простить? Тот, вчерашний, он ещё мог бы простить, но я его убил в себе этой ночью. И тешу себя надеждой, что он никогда больше не воскреснет! На Танюшку деньги буду высылать, даже если не подашь на алименты…

Больше говорить было не о чем. Даже дочь, чувствуя состояние родителей, не приставала с обычными вопросами, только смотрела то на одного, то на другого вопрошающими глазами…

Но когда пригородный автобус тронулся, Денис чуть было не кинулся следом. Лишь неимоверным усилием воли удержался. То ли от понимания невозвратности происходящего, то ли от последнего страшного усилия — вдруг потемнело в глазах, и он даже подумал, что теряет сознание. Но и тут справился, лишь в горле образовался непроглатываемый колючий ком, а мышцы лица каменно свело судорогой. Отрешённо смотрел, как, оставляя после себя шлейф медленно оседающей пыли, ярко-красный «пазик» на повороте юркнул, словно бы испуганно, за тополя.

Денис ещё несколько долгих минут стоял на дороге, физически ощущая, как эта пыль навечно въедается в его кожу, в сердце, в душу… И только теперь, стоя одиноко посреди дороги, он окончательно и полностью осознал, что уже ничего нельзя вернуть, что он навсегда потерял дочь, а с ней и память о трёх годах семейной жизни, и даже то, что не успело сбыться. Всё это он как бы отдал жене. А что оставил себе? Боль, тоску и одиночество…

— Он не выдержит в одиночку нагрузок внешнего мира. Его в конце концов сломят перегрузки…

— Мы и так защитили его душу коконом. Все неприятности воспринимаются им только наполовину.

— Но и все эмоции, и радость тоже только наполовину…

— Тут чем-то приходится поступиться.

— Он глубоко несчастен, он надломлен. И спасти его сможет только новая любовь…

— Я понимаю твою заботу о бывшем своём ученике, но ведь мы его вычеркнули и не можем вмешиваться. Иначе снова обречём на смерть.

— Просто он был самым талантливым моим учеником, а в самостоятельный жизни совершает ошибку за ошибкой.

— Но он научился не прощать измены — значит, он стал Мужчиной…

Назначенная цена

В определённые моменты начинает казаться, что всё в жизни предопределено. То есть всё абсолютно: окружающие нас события, предшествующие замыслы, потом наши поступки — и даже ошибки… А свобода выбора предоставляется лишь в каких-то мелочах, которые ничего не могут изменить и лишь представляются нам значительными. С возрастом эта фатальная зависимость представляется ещё убедительней — к этому времени мы настолько привыкаем плыть по проторённому предшественниками руслу, что даже сама мысль об изменении образа жизни вызывает не просто душевный

дискомфорт, а прямо-таки тошноту, как при отравлении. Но, с другой стороны, мы как будто начинаем предвидеть и предчувствовать грядущие события, видя в этом проявление таинственной и необъяснимой телепатии, а то и мистического провидения в образе некоего индивидуального ангела-хранителя. Верим гороскопам и картам. Но всё равно—если случается что-то серьёзное, то каждый раз нежданно…

В том, что он сильно загриппловал, не было для Дениса ничего неожиданного—последний месяц он то и дело ощущал какое-то покалывание под лопаткой. А основательно полечиться всё не хватало времени—обходился горчичниками на спину и чаем с малиной внутрь. Простуда как будто отступала, но через некоторое время проявляла себя вновь. Видимо, поэтому и грипп затянулся—прошла неделя, началась вторая, а температура всё держалась возле красной чёрточки: выше—ниже, выше—ниже. Кончилось тем, что ему выписали направление в кабинет флюорографии.

Рентгенолог, когда Денис пришёл за снимком, мрачно и даже как будто зло сказал:

— Нужно повторить рентген. И через час зайдите.

Через час он выглядел ещё более мрачным и злым. Даже короткий ёршик тёмных волос агрессивно ощетинился в сторону Дениса.

— Могу вас обрадовать,—произнёс врач тоном, предвещающим как раз обратное.—У вас туберкулёз, к тому же запущенный. Вон куда проникает!—он ткнул растопыренными короткими пальцами в снимок, на котором мозаика светло-серых и тёмных пятен запечатлела тень грядущей смерти. Денис не усомнился в диагнозе рентгенолога, потому что отчётливее, чем когда бы то ни было, ощутил вдруг её холодное дыхание. Всё внутри похолодело и даже мысль: «Как же так? Почему именно у меня?!»—обдала голову не жаром, а таким же смертным холодом.

Поэтому и в больницу он собирался насовсем, уже не надеясь выбраться оттуда. Даже фотографию дочери положил в сумку. Подумал было, что нужно съездить попрощаться, но сама мысль о встрече с бывшей женой показалась неприятной, а в таком его положении—тем более. Весь этот год он старался о бывшей жене не думать, не вспоминать. Однако Ольга так и не подала на алименты, поэтому после каждой зарплаты, отправляя деньги, он в мыслях оказывался там—рядом с дочерью. Только с дочерью, но не с женой, все вещи которой, даже самые пустяковые, отправил в деревню посылками, чтобы не напоминали о ней. С прошлым его продолжала связывать только дочь, да ещё, может быть, впервые написанное им стихотворение, родившееся то ли в ту самую ночь, когда он бродил по улицам посёлка, то ли уже потом, после их отъезда…

Иссякли горькие слова.
Гнетущих взглядов повторенье…
И ты, неправая, права—
В молчанье тоже нет прощенья.
С тех пор, как чёрная стена
Незримо встала между нами,
Предавшая меня жена—
Ты ждёшь обвал или цунами,
Вселенский мор, войну, потоп,
Пришествие нечистой силы…
Чтоб, как спасительный глоток,
Меня ты снова воскресила.
Вновь будут клятвы с твоих губ—
Невероятные, как ересь…
А вдруг и я в ответ солгу,
На что-то всё ещё надеясь?..

Нет, он ни на что не надеялся. И, переболев измену так же безысходно и болезненно, как энцефалит, в очередной раз начал жизнь сначала. Трёх семейных лет как бы и не было вовсе. Всё свободное время, а его стало на удивление много, он теперь отдавал учёбе и стихам. И, надо сказать, в обоих направлениях продвинулся вполне успешно: стихов набралась уже целая тетрадь, и вскоре должна состояться дипломная защита. Вернее, должна была—ведь теперь для него уже ничего не должно и не нужно. И он даже не знает, сколько у него осталось времени. Наверное, совсем немного—как раз для того, чтобы завершить наиболее важные дела на Земле? Да ведь и завершать-то как бы нечего!.. Что останется после ухода? Дочь, которую воспитает не он, а другой мужчина, и стихи, которые тоже умрут в тетради, так и не став книгой. Ему даже не с кем поделиться своей бедой. С родителями? Но он своим разводом уже принёс им столько горя, что об очередном, ещё более ужасном, пусть узнают в самый последний момент. Нет ничего страшнее, если мать будет сидеть всё это время возле его больничной койки и видеть, как он умирает. Позвонить Нине? Нет, он и тогда ей не был нужен, а теперь, умирающий, тем более… Пусть лучше она не узнает об этом вообще никогда, и остальные ленинградские знакомые тоже! Такой вот жизненный расклад: он пришёл к своему последнему дню в одиночестве…

Одиночество нельзя заполнить даже воспоминаниями, ибо они только обостряют его. Если быть предельно честным, он предчувствовал такой конец и часто задумывался, что будто бы заблудился, потерял своё место на Земле. У всех людей—и даже животных—оно есть. Он же вроде и родился как все, учился и работал, даже успел жениться, а места, которое называют родным домом, так и не нашёл. Не потому ли преследует его чувство безысходности, не потому ли он не испытывает страха от потери всего, что было, и даже того, что ещё не произошло?..

Но ведь случалось же, происходило в его жизни нечто, что страшно потерять, что жалко утратить навсегда?.. Что же? Может, детство на Ярославщине, которое всегда вспоминал будто сказку—романтически-трогательную и зыбко-нереальную. Тем более нереальную, что там ничего уже не осталось: ни родственников, ни знакомых, ни, наверное, самой деревни Дмитриевки… А Ленинград, где прошли школьная юность, короткое студенчество, вспоминается вроде бы и с нежностью, и с лёгкой ностальгией, но не более… Да, от этого города он уже не просто отвык—оторвался

напрочь, оборвал все или практически все связующие нити. Кажется, будто пролетело невесть сколько лет, как отделился тысячами километров от его проспектов, от полудиких парков, от ненавязчиво и даже ласково, как теперь вспоминается, моросящих дождей. И от квартиры на девятом этаже, в которой столько было передумано и пережито… Отгородился не только временем, но и снежными хребтами, и бескрайней тайгой, через которые, как тогда казалось, труднее вернуться. Теперь-то он понимает, что расстояние — это не самое большое препятствие…

Сейчас всё объяснить ещё труднее, чем тогда! Что погнало его так далеко? Незадавшаяся любовь, неудовлетворённость собой или мачеха-судьба? Кого-то судьба бережно ведёт по жизни, а его словно силком по бездорожью тащит…

С такими мыслями ехал Денис в республиканский туберкулёзный диспансер. Но в действительности всё оказалось не так страшно: после тщательных обследований выяснилось, что у него просто запущенный плеврит. Обследовавший его врач заверил, что хотя хорошего мало и придётся долго лечиться, но жить Денис будет! А он, как ни странно, этому даже особо и не обрадовался.

И опять его, как когда-то, кололи и прокалывали, вводили лекарства и откачивали скопившуюся в плевре жидкость. Уколы, лекарства и процедуры он принимал отрешённо, будто всё происходило вовсе не с ним. Как во время энцефалита, все чувства притупились, а время обезличилось. Синдром обречённости вызвал опять ту же реакцию, что и много лет назад, — снова весь мир отгородился от его внутреннего мирка, ставшего вдруг крошечным и ничего не значащим.

Нет, он не испытывал ни полного безразличия, ни отвращения к жизни — просто организм, как и во время прошлой болезни, заключил мозг, психику в защитный кокон. Это произошло, может быть, непроизвольно — на уровне некоего закреплённого рефлекса. И чтобы снять его хотя бы частично, требовался уже найденный однажды ключ, ведь рефлекс — на то он и рефлекс. Тогда этим ключом была Ольга… Подсознательно Денис понимал это, и даже мелькнула шальная мысль: «А не позвонить ли бывшей жене?» Но он тут же отогнал эту непрошенно пришедшую мысль, тем более что с самого своего поступления в больницу отметил очень красивые и очень сострадательные глаза.

Он ощущал этот изучающий взгляд даже спиной, даже во сне, когда во время ночного дежурства она, должно быть, заходила в палату. Эти глаза пытались вырвать его из ваты безразличия, словно звали куда-то… И принадлежали они молодой женщине — лечащему врачу Ларисе Николаевне.

Так уж устроен человек, что трещина не только в личной жизни, но и во всём окружающем мире зачастую проходит через его сердце. Раны живой плоти всегда заживают, и от них остаются всего лишь рубцы; с душевными ранами происходит то же самое, только значительно дольше. Проходит время, и ты уже начинаешь сомневаться: да было ли это на самом деле так тяжело? Ведь наша жизнь всегда есть то, что мы думаем о ней в данный момент.

Лариса Николаевна, Лариса — он уже повторял это имя, как магическую мантру, — оказалась самым целительным лекарством. Неожиданно для себя он вдруг снова начал писать стихи. Потом занялся курсовыми работами и даже стал систематизировать накопленный материал для дипломного проекта. Причём всё это делал вперемежку и с одинаковым удовольствием. В нём проснулась потрясающая работоспособность, и Денис готов был работать ночи напролёт. Но после одиннадцати в палате выключали свет, поэтому, заканчивая дежурство, Лариса Николаевна оставляла ему ключ от своего кабинета. Таким образом, у него были идеальные условия для работы: занимайся хоть до утра. Если бы только… Да, если бы только не её глаза, которые смотрели на него то с глянцевого эстампа на стене кабинета, то с отражающего уличные фонари оконного стекла и настойчиво снились по ночам. Если бы только не голос, который он ловил через дверь палаты и при встрече готов был слушать без конца, а потом вспоминать каждое сказанное ей слово. Если бы только не губы, глядя на которые, он переставал понимать смысл произносимого, только следил за их движением — и мечтал к ним прикоснуться. В общем, где-то через месяц он уже не мог думать ни о чём и ни о ком, кроме как о ней. Порой даже о дипломном проекте…

Не пишутся стихи,
Ведь помыслы просты:
Глаза закрою — ты,
Глаза открою — ты…

Нет, стихи писались как никогда, просились на бумагу по нескольку страниц в день. Вместо курсовых он теперь либо выстраивал теснящиеся в голове строки, либо, лёжа на больничной койке и глядя в потолок, представлял их с Ларисой вместе: на улице, в театре, в его квартире, даже в постели. Чем дальше, тем эти мечты становились детальней, а переживания ярче. Защитный экран истончался: у Дениса уже могли непроизвольно навернуться слёзы, или он мог расхохотаться над чем-нибудь взахлёб. Это было непривычно и удивительно — снова ощутить давно забытую полноту жизни…

В мыслях он помещал Ларису в святая святых — в деревню своего детства. И не находил, как ни искал, даже малейшей их несовместимости. Представлял, как, словно по живой цепочке, будет отыскивать по соседним, ещё сохранившимся, деревням своих дальних родственников — хотя бы для того, чтобы составить картину родословной, отыскать свои ярославские корни. Нет, в этом был, пожалуй, другой смысл: чтобы Лариса узнала его лучше, чтобы нашла в нём нечто такое, чего он сам никак не может найти уже много лет. Да, в мыслях он всюду видел себя только с ней — не потому лишь, что ему так хотелось, а просто уже не мог представить в своей дальнейшей жизни никого другого…

…Ночевать они будут в сумеречном, прохладном чулане с крошечным оконцем под самым

потолком, в которое лишь на короткое время по утрам заглядывает яркое солнце. Там старый сундук с церковными книгами, зимняя одежда на стене, какие-то узлы в углу… Хотя того чулана наверняка уже нет, и дома тоже нет — всё это будет как-то по-другому. Но зато можно будет устроить себе отдых и спать до отвала, отсыпаясь не только за прошлые недосыпы, но и за будущие, — а проснувшись, долго лежать не шевелясь, испытывая забытое блаженство сладкой неги. Состояние, на которое давно уже не хватает ни настроения, ни короткого отпуска. И ещё чувствовать безграничное счастье оттого, что любимая и единственная женщина спит рядом с тобой… А ещё через несколько дней, когда они уже переживут первые, самые яркие впечатления и даже размеренная, неторопливая деревенская жизнь начнёт отдавать обыденностью, — они возьмут палатку, резиновую лодку и поплывут по речке детства с непереводимым названием Секша. На густо поросшей жёлтыми кувшинками и белыми лилиями поверхности будут замысловато переплетаться водяные струи, раскачивая сидящих на листьях голубых стрекоз, в глубоких тёмных ямах будут ждать большие и сильные рыбы, которых так мечталось поймать когда-то в детстве… Причаливая к берегу в самых уютных и укромных уголках, они будет подолгу сидеть на ласковой, дурманящей голову пряными запахами траве. И он всё это маленькое путешествие будет влюблённо глядеть то в голубое небо, то в голубые глаза. И плыть там — в вышине и в глубине — невесть куда… Плыть — рядом душа с душой — по бездонной голубизне вместе с причудливыми невесомыми облаками. И ощущать её ладонь в своей, и молча сжимать её пальцы — зная, что и без слов она всё понимает… И на всём белом свете будут только они и эта река, деревья и трава, небо и облака… Не об этом ли он мечтал всю жизнь, не за этим ли он уехал когда-то из Ленинграда? И не надо будет по утрам старательно вспоминать казённый перечень дел, не надо будет ежедневно подстраиваться к чуждому водовороту городской жизни. Ведь ритмом всей дальнейшей его жизни будет единый ритм их сердец!..

Откуда возникла эта уверенность? Ведь до сих пор он ощущал себя изгоем. Видимо, всё дело было в нём самом, в каком-то особом внутреннем состоянии, что родилось совсем иным, чем у большинства людей. И только с этой женщиной он без усилий, без напряжения сможет соизмерить свой жизненный ритм с общим ритмом времени. Он должен благодарить болезнь, которая помогла ему не просто отыскать точку нового жизненного отсчёта, а наконец-то поместила в утерянное им на многие годы реальное жизненное пространство.

Но через два месяца Денис выписался из диспансера, так ничего и не сказав Ларисе. Не излил душу даже в тот момент, когда они прощались в сквере возле больничного корпуса, — хотя и чувствовал, и знал почти наверняка, что Лариса питает к нему ответное чувство. Может быть, даже очень сильное… Что его сдерживало? Боязнь повторения истории с бывшей женой или отсутствие уверенности в том, что он сможет любить эту женщину так, как она того заслуживает? Пожалуй, неуверенность в собственных чувствах, до сих пор фильтруемых невидимой оболочкой. Но ведь он за эти два месяца снова научился страдать и в значительной мере ощущать не только боль, но и радость? Но вот только он пока не был в этом полностью уверен…

Ещё через неделю он написал Ларисе письмо — а через четыре дня получил ответ! После этого они обменивались письмами почти каждый день. Иногда приходили по два сразу, но если желанного письма не было хотя бы пару дней — Денис не находил себе места, и всё валилось у него из рук. Старые он перечитывал по многу раз, находя потаённый смысл в каждом слове и в каждой запятой…

«…Перед самым первым твоим появлением в палате я видела сон: будто в моём кабинете появилась школьная доска, а на ней мелом написаны число, месяц и год. Я понимала, что это дата чего-то очень важного в моей жизни, — и утром записала её. А в назначенный день ничего особенного не произошло, и на лечение поступил лишь ты один. У меня было ночное дежурство, я знакомилась с твоей медицинской картой и вдруг подумала: «Боже, вдруг это он?!» Специально зашла в палату — и разочаровалась. Лишь потом, день за днём, сначала заглянув в твои глаза, потом услышав голос и увидев улыбку, всё больше убеждалась: «Да, это он — мой единственный!..»

«…В автобусе, по дороге на работу, я отгораживаюсь и практически отрешаюсь от всего и всех. Это для того, чтобы скорее войти в палату, подойти к койке, на которой ты когда-то лежал или к столу, за которым ты обычно сидел — чтобы хоть ненадолго прикоснуться к твоему миру. Наверное, это глупо — но ведь одна эта минутка согревает меня весь день…»

Эта уверенность была в самых первых письмах Ларисы, но уже после того, как они начали постоянно встречаться, порой стал проскальзывать испуг:

«…Я всё сильнее убеждаюсь, что кто-то потусторонний препятствует нашим встречам. Причём он не расстраивает их окончательно и бесповоротно, но создаёт десятки преград — чтобы я отступилась, чтобы повернула назад: автобусы не приходят по расписанию или ломаются по пути, вдруг всплывает крайне неотложное дело. А если встреча всё же состоится, то я обязательно расплачиваюсь за неё какой-нибудь неприятностью. Это как бы дань… Я убеждаю себя, что произошедшее — мелочь, что могло быть значительно хуже, и принимаю эту неприятность как необходимость, как нечто обязательное. Ведь за всё надо платить… Главное, что мы, хотя бы ненадолго, снова будем вместе!..»

«…Женщины живут дольше, чтобы после реинкарнации душ быть моложе мужчины, которого любили в этой жизни, и снова иметь возможность выйти за него замуж. Так что не обижайся, но я хотела бы прожить на несколько лет больше тебя. Если только получится…»

У Дениса не было своей машины, и они мотались друг к другу на междугороднем автобусе — не только

на выходные, Лариса приезжала и среди недели, когда у неё не было дежурства. Даже на оформление дипломного проекта и дипломную защиту Денис уезжал без радости, потому что уже не представлял два месяца жизни без неё.

В Москве ежедневно и даже ежеминутно торопил время. По нескольку раз за вечер спускался на вахту институтского общежития, чтобы посмотреть, нет ли долгожданного письма. Хотя весточки приходили почти каждый день, всё равно было мало — вечером звонил ей по телефону. Как-то поймал себя даже на том, что в тексте дипломной работы пишет её имя… Зато возвращался — как на крыльях летел. Сразу с дипломной защиты поехал в авиакассу. И когда не смог купить билет на самолёт до Красноярска, не стал ждать — поехал скорым поездом в Ленинград в надежде, что там повезёт с авиабилетом. Сердце его было уже с Ларисой…

В поезде не отрываясь смотрел в окно, мысленно подгоняя состав, когда тот замедлял ход. Что же он так тащится?.. Вот с грохотом пронёсся встречный — поезд сразу начал ускорять движение: быстрее побежали вдоль насыпи телеграфные столбы, потом замелькали всё чаще, словно спешно отмеряя навёрстываемое время. И вдруг всё исчезло: столбы, пёстрый кустарник, сплошная лента леса — остались только голубое небо вверху и голубая вода внизу. Поезд парил над широкой рекой…

Словно на картине искусного художника, простирался вдаль речной пейзаж. Летним зноем и одновременно ласкающей теплотой манила широкая песчаная коса на излучине, выше золотистой желтизны песка — сплошная зелень, из которой выглядывали светлые крыши домов. Между ними угадывались взбирающиеся вверх по склону улицы. Выше, выше… А над всем этим, на самой вершине холма — устремлённая ввысь белоснежная церковь. Словно изготовившаяся для полёта белая птица! И такой невероятный простор вокруг!..

Всё это промелькнуло, как видение, — и снова подступила к самой насыпи стена деревьев. Но перед взором Дениса продолжали стоять крыши городка, песчаная коса с косыми чёрточками вытащенных из воды лодок и широкая чистая река. Ведь он уже видел всё это! Он знает расположение улиц, он помнит облик домов! Но, с другой стороны, он абсолютно уверен, что никогда прежде здесь не был! Откуда же, из какого закоулка памяти возникла эта непонятная осведомлённость?! Жил он здесь в своём прошлом рождении, или это видение уже из будущего?..

Так до самого Ленинграда и просидел он у окна, впитывая проплывающие мимо родные русские пейзажи: и весёлые берёзовые перелески с подразумеваемыми россыпями ядрёных подберёзовиков, и поросшие кувшинками, манящие невиданной доселе рыбалкой речки, и просторные поля с перекинутыми через них серыми ленточками дорог, и пестроту лугового разнотравья… Хорошо-то как! Душа пела и звала то на некошеную лужайку, то под дерево на берегу крохотного озерка, то в берёзовую рощу. Вот где он должен жить, вот где его родные места, вот где он будет счастлив! Вот где ему всегда будет радостно! И что снова ждёт его там, в Сибири?.. Что это он, как же он это забыл — ведь там его Лариса! Нет, это просто мысли случайно коснулись тяжёлого сибирского пласта памяти. И ни на секунду он про Ларису не забывал — ведь именно потому так радостно на душе…

Из аэропорта он помчался прямиком к Ларисе. И был удивлён довольно прохладной, как ему показалось, встречей. Нет, внешне она обрадовалась, повисла у Дениса на шее — но всё время отводила глаза и будто что-то недоговаривала. Он даже подумал было про другого мужчину, но тут же отогнал эту кошмарную мысль. А потом ночь и взаимные ласки всё расставили по своим местам — и он уже корил себя за то, что мог в Ларисе усомниться…

Утром, собираясь на автобус, спросил, когда теперь её ждать у себя.

— Сейчас график работы найду!

Лариса достала из сумочки бумажку. Он протянул руку, взял, развернул и несколько мгновений пытался прочитать непонятные каракули.

— Нет, это, похоже, какие-то анализы…

Лариса выхватила бумажку и поспешно спрятала её назад в сумочку.

— Это не то! — сказала она, мгновенно залившись краской.

По её поспешной реакции и сразу севшему голосу Денис понял, что Лариса чем-то напугана. Осторожно спросил:

— Что-то случилось?

— У меня рак, — сказала она, как выдохнула.

Он всё понял сразу — и её отведённые глаза, и её первоначальную скованность. Понял и стал успокаивать:

— Ну, диагноз — это ещё не всё. Может, просто ошибка? Я к вам тоже с диагнозом туберкулёза попал… Кроме того, на ранней стадии многие люди излечиваются. Ты его чувствуешь? В каком месте?..

— Пока неизвестно. Это только по крови установили… Но ты не бойся, я выкарабкаюсь…

Денис сжал её руку и ощутил, что прямо сейчас готов отдать ей половину своего здоровья, даже большую часть, только бы она жила. Нет, он женится на ней немедленно — и они вместе будут бороться со страшной болезнью. А если случится самое страшное, то лучше всего, если умрут в один день…

Словно прочитав его мысли, Лариса попросила:

— Не надо. Ничего не говори…

Он не стал её утешать, понимая, что кого-кого, а врача не обманешь.

Добавил только:

— Я тебя люблю. Если вдруг совсем не будет сил бороться, поборись ещё — для меня.

— Ладно, — сказала она просто. — Я ведь очень хочу жить. И не только жить…

Она прижалась к нему щекой, а Денис сжал её узкую прохладную ладонь и держал в своей долго-долго, чувствуя как исчезает граница между их телесными оболочками. Вот они уже стали одним неразделимым целым, одинаково чувствующими и одинаково всё понимающими. Как хорошо

вместе молчать, ведь этим молчанием, этим соприкосновением душ можно сказать больше, чем любыми, самыми ёмкими словами. Но вот Лариса отодвинула своё лицо — и Денис увидел её усталые, покрасневшие глаза. Значит, он так и не сумел её успокоить. И, прощаясь, услышал то ли её шёпот, то ли шелест листьев дерева за окном:
— Я выка-раб-ка-юсь…

К очередным выходным он приплюсовал накопившиеся отгулы. Взял палатку и спальные мешки, попросил резиновую лодку у друзей — и они поплыли вниз по Енисею. Пусть это была не та желанная ярославская речка Секша, но всё остальное могло стать таким же, как часто мечталось. Для него это было очень важно, особенно в теперешней ситуации…

Они причаливали к берегу там, где нравилось, разводили костёр, варили уху. В отличие от благоустроенного быта квартиры, здесь надо было многое уметь и постоянно как бы опекать Ларису, поэтому Денис ощущал себя сильным и уверенным.

Один раз сказав о своей болезни, Лариса больше ни разу к этой теме не возвращалась и как будто успокоилась. Но Денис прекрасно представлял, что творится у неё на душе, и как мог старался отвлечь. Ночевали в палатке, и он, проснувшись раньше Ларисы, долго лежал, замерев и вслушиваясь сквозь размеренный шум реки в её дыхание…

Это произошло на вторую ночь. Когда он испытал новое для себя ощущение, то просто не успел понять того, что происходит. Во сне вдруг почувствовал, как тело стало гореть, будто после ожога, а следом он вообще задохнулся — будто вместо воздуха вдохнул горячее пламя. Непонятное пугает во сто крат сильнее — и, представив, что он, вспыхнув, разлетится на составляющие, на атомы, Денис лихорадочно расстегнул спальный мешок и вылетел наружу. Сразу всё прекратилось — и он решил, что дело в плотно застёгнутой палатке, в нехватке кислорода…

Но когда под утро, уже в полудрёме, подобное произошло во второй раз, он понял, что это не приснилось. Но объяснить происходящее опять не смог: возможно, рассуждал он, произошёл непонятный энергетический перегрев, возможно, палатка стоит на какой-то аномальной зоне… Снова поспешно выбрался из палатки, но даже со встревоженной Ларисой не поделился своими предположениям — в конце концов, это затрагивает его одного. А в каждом человеке очень много непонятного и непознанного…

На следующую ночь это повторилось — он, словно после чьего-то толчка, вынырнул из плена сна и тут же ощутил уже знакомое удушье. Кожа начала гореть сухим огнём, а непонятный жар, распространяясь по телу, словно выжигал всё внутри. Особенно накалился тот участок тела, которым он соприкасался с Ларисой. Значит, это было всё-таки связано с ней?! Из палатки он больше не выскакивал и даже нашёл способ тушить пугающий жар: нужно было всего лишь отодвинуться как можно дальше, насколько позволяла палатка, — и через некоторое время всё проходило само собой. Правда, ещё довольно долго сохранялось ощущение, будто тело пронизывают, покалывают падающие сверху невидимые космические лучи.

Поняв, что ничего страшного не происходит, он стал находить этот поток выжигающей энергии даже приятным — после него внутри рождалось ощущение чистоты. Потом он мысленно переключил этот целительный поток на Ларису. И энергия действительно оказалась реальной, потому что та вдруг отпрянула. Но ненадолго — потом прижалась к нему опять. Заговорив о непонятной энергии, они пришли к выводу, что, может быть, это и есть лекарство от болезни. Во всяком случае, так хотелось в это верить…

Уже в конце их маленького путешествия Лариса сказала:
— Я кажется понимаю, что происходит: мы — две половинки какого-то космического приёмника. Один из нас заряжается от космоса, чтобы потом зарядить другого. Но я так и не поняла: кто — кого? Но то, что эта энергия целительная, я не сомневаюсь, ведь она рождена нашей любовью…

А потом начались частые командировки. После окончания института Дениса назначили начальником изыскательской партии, и он мотался из отряда в отряд. Измочаленный, заезжал к Ларисе вечером, а утром снова ехал в тайгу — что-то организовывать и налаживать. Часто летал в Красноярское управление, а то и в Москву за оборудованием. Понимал, что слишком мало уделяет ей внимания, но тешил себя надеждой, что вот разгребёт самые неотложные дела — и тогда уж… Лариса же, давшая во время того сплава по Енисею согласие переехать к нему, почему-то всё оттягивала этот переезд. А он, теперь так же редко появляющийся и в своей квартире, активно не настаивал…

За два дня до Нового года он, даже не позвонив предварительно, приехал с шампанским и цветами, чтобы сделать официальное предложение. Мечтал, что этот праздник они встретят у него и больше он уже никуда её не отпустит.

На звонок дверь открыла дальняя родственница Ларисы, с которой она однажды его знакомила.
— О, да тут полный дом гостей! — воскликнул Денис. — Почему не слышно музыки?
— Да я вроде как уже и не гостья, — несколько растерянно ответила открывшая.
— Да и я вроде как не гость…
— Я теперь здесь не гостья, а хозяйка, — поправилась женщина.
— А Лариса что, переехала? — опешил он. — И меня не предупредила…
— Она вообще уехала и квартиру на меня переписала.
— Куда уехала? — ошарашенно спросил Денис, чувствуя, как всё внутри него холодеет. — Надолго?
— Лариса не сказала куда, но уехала навсегда. Обещала как-нибудь позвонить…
— Она какую-нибудь записку для меня оставила?
— Да, письмо…

Вскрыв конверт, Денис стал читать, с трудом улавливая смысл…

«Я до последнего момента не решалась написать тебе это письмо. Что лучше: если ты всегда будешь считать меня живой или через какое-то время узнаешь, что меня больше нет? Не знаю, так и не решила окончательно… Но я люблю тебя и не хочу стать обузой. Мой приговор я знала ещё несколько лет тому назад. И тогда же решила ни с кем не связывать свою жизнь. А когда встретила тебя, подумала: у меня никого нет—пусть хотя бы ненадолго будешь ты. Но я не думала, что так привяжусь к тебе, что ты станешь для меня дороже остатка жизни… А болезнь, к моему изумлению, стала отступать. В это трудно поверить, потому что было против всех законов—но именно потому я и согласилась тогда на твоё предложение жить вместе. Я прошу у тебя за это прощения… А потом мне показалось, что ты охладеваешь ко мне, и болезнь будто только этого и ждала—вернулась. Тогда я решила уехать, чтобы ты не видел, как я дурнею и угасаю. Я не могу допустить, чтобы ты меня увидел такой… Я благодарна тебе за всё…»

Перед глазами у него всё поплыло. Чтобы родственница не видела покатившихся слёз, Денис резко повернулся и на негнущихся ногах пошёл вниз по лестнице. Куда—он и сам сейчас не знал…

У него даже не осталось Ларисиной фотографии—та не хотела фотографироваться ни с ним вместе, ни одна. Фотография—это память, а она готовилась умирать, поэтому старалась, чтобы ничто потом не напоминало о ней. И уехала, не оставив адреса, не оставив никакой надежды. Денис не искал её, понимая, что это практически невозможно, и ещё потому, что она сама так захотела. Лишь однажды был междугородний телефонный звонок. Денис снял трубку и несколько минут слушал молчание, явственно ощущая её присутствие на другом конце провода.

Он был уверен, что это звонила Лариса. Сколько бессонных ночей провёл он потом в палатках, слушая, как когда-то с ней, шум реки. Сколько раз видел во сне её глаза… Сколько писем, нежных и страстных, он написал! Нет, не на бумаге—в уме, потому что некуда было их отправить…

«…Я часто ловлю твою неясную, но узнаваемую тень в зеркале—оно ведь тоже помнит твоё присутствие. И я нередко мысленно превращаюсь то в кресло, обнимающее тебя за плечи, то в палас на полу, помнящий твои ноги. Даже в страницы книги, которую ты читала,—чтобы ощутить прикосновение твоих пальцев. И только в себя тогдашнего превратиться не могу… Почему? Потому что я теперь всего лишь половинка себя—и без второй половины мне уже никогда не суждено стать целым…»

Умом Денис понимал, что Ларисы нет на сотни, а может быть, и на тысячи километров вокруг. Но надежда умирает последней—и он каждый раз вздрагивал, увидев похожую фигуру, причёску или походку. Оглушительно начинало стучать сердце, он почти бегом кидался за женщиной—и либо сразу понимал, что ошибся, либо, обогнав и заглянув в лицо, испытывал одновременно и разочарование, и успокоение. Иногда ноги непроизвольно сворачивали на улицы, по которым они вместе ходили, или к зданиям, где они бывали. Он садился на те скамейки, на которых они когда-то сидели, и, забывшись на какое-то время, начинал даже ощущать её присутствие…

Денис понимал бессмысленность своих поисков: ведь если бы болезнь отступила—Лариса непременно позвонила бы. Это было несправедливо по отношению к ним обоим, но изменить он ничего не мог, поправить тоже. Возможно, её уже нет на Земле, но, пока жив один из любящих, история их любви не закончена… Иногда Денис приезжал только для того, чтобы посмотреть на окна бывшей её квартиры. Правда, ни разу так и не зашёл в подъезд. А случайно проходя мимо городского кладбища, вспомнил, что однажды они были здесь с Ларисой. В родительский день, кажется. Здесь был похоронен кто-то из её дальних родственников. Зайдя тогда в маленький магазинчик у входа, они купили свечку и, проплутав целый час по одинаковым дорожкам между рядами оградок, гранитный памятник так и не нашли. Проходя мимо какой-то старой, осевшей могилы без оградки и даже без креста, поставили в заросшую травой яму свечу и зажгли. Свеча разгоралась с трудом, грозя потухнуть, и, несмотря на абсолютное безветрие, язычок пламени метался из стороны в сторону, словно неприкаянная безымянная душа…

Сейчас Денис без труда отыскал ту безымянную могилу. Её кто-то подновил, должно быть кладбищенский смотритель, и даже поставил простенький деревянный крест без имени и дат. А свеча на этот раз горела ровно, только всё время почему-то тянулась в сторону Дениса…

Он и на этот раз не зашёл к родственнице насчёт новостей, заранее зная, что их не будет,—поехал домой. На автовокзале женщина-диспетчер объявляла прибытие и отправление автобусов, объявляла голосом Ларисы. И каждый раз, когда она говорила «Счастливого пути!», сердце Дениса замирало от знакомой интонации. Представлялось, будто это говорится именно ему. Хотя до его рейса нужно было ждать ещё два часа, он так и просидел на жёсткой скамейке, слушая этот голос. Поначалу хотел было пройти в автовокзал, чтобы взглянуть на загадочную женщину, но тут же отогнал эту мысль: пусть всё останется чудом, пусть это говорит живая Лариса!

Бывает любовь-радость, делающая жизнь ярче и красивей, а бывает любовь-болезнь, которая постепенно сжигает сердце и душу, оставляя в ней только воспоминания. Может быть, она дана ему как расплата—слишком счастлив Денис был до этого. Наверное, всё именно так, недаром эта мысль приходит снова и снова… Ведь ничего в жизни не даётся просто, за всё нужно платить свою цену. Сразу или потом. Или, может быть, это его плата за другую жизненную радость—за стихи?..

Тенью чёрною в глазах тоска,
Чёрной птицей бьётся боль в висках,
Думы долгие, как ночь в январе…
Белый-белый, Божий храм на горе.

Невозможно затеряться в глуши
Или просто—помолиться в тиши,
Нет спасенья в горьком вине…
Белым облаком—печаль в вышине.

Бесполезно говорить о любви,
Если женщина сожгла корабли.
Так любила, а уйдёт—что убьёт!..
Белой памятью, как птица, плывёт.

Не спасёт воды холодной ушат,
Коль скулит и прошлым бредит душа.
Но как первый тонкий снег во дворе—
Белым утром лист стихов на столе…

—Его болезнь? Снова *Эти* нашли его и попытались убрать?
—Нет. На сей раз—это просто болезнь…
—Потеряв любовь, он страдает ещё сильнее, чем в прошлый раз.
—Зато научился любить по-настоящему и научился говорить о любви.
—Но чтобы говорить о любви, нужно выстрадать каждое слово. А для этого нужно мучаться по-настоящему…
—Да, душа поэта должна вывернуться наизнанку: уметь плакать от счастья и смеяться над неудачами, в каждой строке метаться в бесконечности между любовью и ненавистью.
—Именно то, от чего мы попытались его защитить! Кроме того, для него это означает оказаться на виду у тысяч, а то и десятков тысяч людей… *Эти* его снова вычислят!..
—Что поделаешь, если душа его, подобно проросшему весной зерну, устремлена к Свету—она мечется и не находит покоя…
—Но твой ученик не сможет самостоятельно выбраться из этого лабиринта. Сейчас, как никогда, ему нужен Учитель!
—Нет. Я снова повторяю—мы ничем не можем помочь. Любая помощь сразу станет убийственной. Ведь он, действительно, талантлив, и *Эти* сразу поймут исходящую от него опасность.
—Да, но он сам притягивает эту опасность, потому что выбирает далеко не спокойную и не простую жизнь.
—Он интуитивно нащупывал самую интересную и яркую жизненную струю. И уже достиг ступени, которую не каждый осиливает даже при помощи Учителя. Он научился любить и стал Поэтом…
—Но как ему это удалось с нашим охраняющим душу коконом?
—Очень просто—снял защитный кокон!
—Как это снял? Ведь это невозможно!
—Если бы я знал, как ему это удалось!..

Откровение Боруса

Подновлённые свежим снегом, пять вершин Боруса ослепительно сверкали впереди. Казалось, их белоснежные склоны начинались совсем рядом—сразу же за нежной дымкой уже готовых одеться в листву ближайших деревьев. Весенняя прозрачность тайги, открыв видимость, скрадывала расстояния. Зимой пространство скрадывал снег, летом—закроет густая зелень…

Только к средине лета Борус остаётся без снега, и в некоторые годы промежуток этот весьма короток—всего месяц-полтора. Тогда оттаявшие вершины принимают красноватую окраску—цвет голого камня. Но даже тогда, в самую жару, в узких распадках, что ближе к главному пику, можно отыскать островки оплавленного солнцем плотного снега. В общем, как на настоящем высокогорье: во-первых, Сибирь, а во-вторых, как-никак высота более двух тысяч метров.

На основании этих двух факторов местные альпинисты успешно готовились к покорению более серьёзных вершин и даже участвовали в громких международных восхождениях. Лет двадцать тому назад на плато, в окружении вершин Боруса, ими была построена избушка, названная впоследствии в честь погибшего альпиниста «Приютом Пелехова». Этакая альпинистская Мекка местного масштаба, юбилеи которой праздновали неукоснительно, да и дату завершения строительства приюта—практически ежегодно.

Пару раз на такие мероприятия Денис поднимался даже с громоздкой тяжёлой видеокамерой и штативом. И подъём тогда давался ему довольно легко. Но сегодня на последнем участке подъёма, на «тягуне», он почувствовал себя откровенно неважно. Дело даже не в том, что давно не испытывал подобных нагрузок, ибо к ненатренированности можно приспособиться, сделать скидку на временную «слабосильность»—и, в отсутствии попутчиков, перед которыми приходится «держать марку», вносить соответствующие поправки в ритм подъёма. То есть идти медленно и размеренно, почаще отдыхать. Нет, на этот раз ощущение было такое, словно недавно перенёс тяжёлую болезнь и до сих пор от неё не оправился. Но в том-то и дело, что своё физическое состояние он даже во время отпуска поддерживал на уровне, а недавняя эпидемия гриппа его благополучно миновала… Тем не менее, сердце готово было выскочить из груди, а ноги, будто налитые свинцом, с трудом повиновались.

Тайга красива в любое время года, но сегодня ни она, ни открывшаяся сверху панорама горных вершин не вызывали у Дениса обычного чувства душевной приподнятости. Скорей бы уж этот «плановый турпоход» закончился в желанной избушке-приюте! Там ждут его Гриша Поленов с компанией, там можно отдохнуть и обсушиться возле горячей печки!

То, что группа альпинистов, о которых он собрался писать документальную повесть, давно в приюте, Денис не сомневался, ибо Гриша клятвенно пообещал привести их туда в пятницу вечером.

Ключевым звеном данного мероприятия предполагались не только невероятные истории и ностальгические воспоминания, показательные подъёмы и спуски, но и неформальное общение за «рюмкой чая». А где ещё так распахиваются сердца суровых мужчин, как не в дружеском застолье? Если бы не это обстоятельство, Денис не тащился бы сейчас по крутой тропе, а давно бы уж пожалел бунтующий организм и повернул назад. И уже часа через два пил бы горячий кофе в своей квартире, цитируя в оправдание слова известной песни: «Я эти горы в телевизоре видал…»

Спуск с перевала в долину дался полегче, но всё равно добирался он до избушки-приюта с частыми передышками—словно какой-то неопытный «чайник». Хорошо хоть, что никто из знакомых его при этом не видел!

Силуэт тёмного треугольника крыши на фоне неба Денис различил уже в сумерках прямо перед собой. Хотя—какие там сумерки… Если бы не отсвечивающий первозданной белизной снег, на фоне которого можно было ещё что-то рассмотреть, время суток следовало бы назвать потёмками.

Самое странное, что света в окне приюта не было. Зато на скамейке возле избы сидел, подняв лицо к небу, какой-то человек. На появление постороннего он никак не отреагировал и продолжал оставаться совершенно неподвижным—так что Денис невольно подумал: «Не замёрз ли, часом?» Но как только сделал пару шагов в его направлении, странный человек повернулся—и Денис ощутил его испытующий взгляд. Он даже не понял, откуда сделал такое заключение, ведь даже лица незнакомца—по всей видимости, молодого парня,—в темноте практически не было видно. На приветствие Дениса он просто молча качнул головой…

В избушке никого не оказалось. Печь была ещё тёплой, но дрова прогорели: то ли незнакомец собрался уходить на ночь глядя, то ли сидит на своей скамейке довольно давно. Выходило, что альпинисты вместе с Гришей где-то подзадержались. «Что же они, по тропе с фонариками добираться будут?»—удивился Денис. Но тут же подумал, что у профессионалов могут быть свои причуды…

Пока он растапливал печь, пока чистил принесённую им по разнарядке картошку для большого ужина на всех, про парня попросту забыл. Поэтому, когда за спиной открылась скрипучая дверь, даже вздрогнул. Ещё большее удивление вызвало то, что через порог шагнул не долгожданный Гриша Поленов, а всё тот же странный парень с охапкой дров. При ближайшем рассмотрении он оказался не таким уж и молодым, как показалось в темноте,—было ему, пожалуй, за тридцать.

—Добрый вечер,—поздоровался тот, будто только что увидел.

—Да вроде как виделись…

Денис не удержался от маленького ехидства, поскольку странный парень своим молчанием первым установил некую дистанцию. Да и всё то же неважное самочувствие оставалось причиной его совсем не лирического настроения. Отдышаться к этому времени он уже отдышался, но во всём теле, в каждой его клеточке продолжала гнездиться усталость. Что было, в общем-то, состоянием непривычным. В качестве успокаивающего довода он мысленно процитировал известное высказывание, что «здоровый человек—это не тот, у которого ничего не болит, а тот, у которого каждый раз болит в другом месте». Но глубокая мысль не успокаивала: уж не заболевает ли он, в самом деле? Совсем некстати…

Парень глянул на кастрюлю с начищенной картошкой и спросил:

—Ждёте кого-нибудь?

—Тренера Гришу с его альпинистами.

—Сегодня уже не придут,—заверил парень.—Так поздно ещё ни разу никто не приходил.

—А вы что, тут часто бываете?—поинтересовался Денис.

—Вообще-то в первый раз,—признался парень.—Но зато, можно сказать, заслуженный абориген—живу здесь четвёртую неделю.

«Вот те на!—сказал про себя Денис и даже мысленно выругался.—Стоило мучаться и тащиться в этакую даль, чтобы провести вечер, да ещё и ночь с каким-то чокнутым или, того хуже, бомжем. Определённо бомж, ведь для интеллигентного отшельничества место здесь совсем не подходит—и шумно, и тесно, особенно по выходным…»

Будто угадав его мысли, парень уточнил, причём весьма витиевато:

—Вдруг осознал, что заблудился и не знаю, куда идти дальше. Здесь, на Борусе, временно отрешился от мира, ушёл в себя и начал поиск своего места в жизни…

—Бывает…—осторожно поддакнул Денис, со стопроцентной уверенностью констатировав, что у парня «тараканы в голове».

—А здесь осознал, что мой земной путь—это служение людям,—продолжал тот.—И сделал шаг к духовному обновлению—вернее, внутрь самого себя—к тому, что называют высшим Я или божественной искрой. Никто из живущих на Земле не даст человеку больше, чем он может дать сам себе…

«Рериховец…»—чуть поколебавшись, решил Денис, на этот раз окончательно. Заключил это с некоторым облегчением, но без особой радости, ибо против рериховцев—сам не знал почему—у него тоже было давнишнее предубеждение.

—Нет тех знаний, которых бы не было в каждом человеке,—продолжал словоохотливый незнакомец то ли для Дениса, то ли рассуждая сам с собой,—и нет того могущества, которое было бы помимо человека. Человек обладает всем… «Ищите—и обрящете»,—говорил Иисус, который пришёл в мир обыкновенным человеком…

«Может, адвентист?—вновь засомневался Денис.—Немудрено, что в приюте, против обыкновения, кроме него нет никого—такой цитатами из Библии мёртвого замучает!»

Что и говорить, вечер ему предстояло провести далеко не в самом приятном общении: как рериховцы, так и адвентисты раздражали Дениса упёртым догматизмом и витиеватостью выражения мыслей. В последнее время их в посёлке

развелось великое множество, и все настойчиво старались влезть в душу, порой прямо на улице. Денис поначалу пытался с ними полемизировать, но потом стал прерывать общение в самом зародыше. Действительно, если у тебя есть собственные мысли, то не цитируй после каждого слова Библию, а если ты не можешь выразить свои мысли просто и ясно — значит, сам толком не понимаешь, о чём говоришь…

Вот и сейчас Денис решил использовать тот же приём. Раз готовить общий ужин не потребовалось, он просто выпил чаю со сгущёнкой и, распаковав спальный мешок, улёгся поверх него с мыслью: «Раньше ляжешь — быстрее наступит утро».

Однако сон не шёл — определённо что-то в его организме разладилось, и мысли раз за разом скатывались в воронку больничной темы. «Если мыслить философски, — рассуждал он, — то здоровье — это всего лишь перерыв между двумя болезнями. Вторую же половину жизни вообще приходится утешать себя афоризмами вроде «Лучше десять раз тяжело заболеть, чем один раз легко умереть» или «Лучше гипс и кроватка, чем камень и оградка». Что там ещё было сказано классиками по данному поводу? Нет, хватит думать о здоровье, надо переключаться на что-то другое, а то можно совсем раскваситься!..»

Сквозь прикрытые ресницы он стал наблюдать за соседом — вернее, за его затылком. Парень неподвижно сидел перед горящей свечой — так же, как тогда на улице. «Сидя спит, что ли?.. Нет, скорее всего, медитирует… — терялся Денис в догадках. — Оч-чень разносторонняя личность!..»

К медитации Денис как раз относился без предубеждения, ибо сам одно время был в том грешен. Во время последней экзаменационной сессии в институте, в Москве, он параллельно окончил школу трансцендентальной медитации. Самое странное, что где-то за полгода этому предшествовал вещий сон, то есть всё было предопределено. Будто идёт он по мрачному подземному туннелю в группе людей, а сопровождают их похожие на монахов охранники — с факелами и в надвинутых на самые глаза капюшонах. Они именно охраняли, потому что, когда процессия проходила мимо тёмных разветвлений подземелья, оттуда каждый раз веяло угрозой и ужасом. Потом все вышли будто бы в некое обширное помещение: потрескивающие факелы не освещали ни стен, ни потолка, но чувствовалось, что размеры пространства огромны. После непродолжительного ожидания прозвучал голос: «Сегодня ничего не будет…» Или, может быть: «Сегодня Его не будет…» Сейчас некоторые детали вспоминались уже неоднозначно… На этом месте он тогда проснулся, но через несколько дней снова увидел тот же сон, или, вернее, его продолжение. Только теперь они вышли уже в слабо освещённую пещеру гигантских размеров. Противоположная стена была вырублена в виде гигантской ступеньки, и на ней стоял зажжённый огарок свечи. В его мозгу тотчас родился невероятный до абсурдности вопрос: «Каковы размеры этой свечи — десятки, сотни или, может быть, миллионы километров?..» Совершенно абсурдная мысль и абсурдные расстояния!.. Яркий, как солнце, огонёк высвечивал прислонённый к каменной стене портрет человека в белом… И тут вдруг изображение начало отделяться и приобретать объёмные формы. Вот уже человек в белой, сияющей неземным светом накидке стал спускаться к ним по воздуху — и чем ближе он подходил, тем его размеры странным образом приближались к обычным, человеческим. Вот он уже среди них и начинает говорить. Удлинённое лицо, маленькая бородка… Денис почему-то плохо запомнил черты, но и лицо, и тело говорившего были божественно прекрасны! Восторг переполнял от того, что он видит, и от того, что он слышит… Но вдруг он с ужасом осознал, что говорится всё на незнакомом языке и он не понимает ни слова. Денис даже похолодел, поняв это. И тогда где-то внутри, словно бы в мозгу, прозвучал успокаивающий голос: «Не бойся, когда будет нужно — ты всё вспомнишь и поймёшь…»

Вспомнился сон в той самой школе медитации, когда преподаватель-американец начал читать молитву посвящения на древнеиндийском языке. И ещё: на придвинутом к стене столе, как бы образующем ступеньку, горела свеча перед портретом человека в белом — учителя Махариши…

Парень сидел перед свечой минут двадцать — всё это время Денис изучал его неподвижный затылок. Наконец шевельнулся, медленно повернулся и спросил:

— У вас проблемы со здоровьем? Я ощущаю ваше сильно деформированное поле. Особенно нарушена нижняя его часть.

— Не то чтобы проблемы, а так… Сам не пойму, в чём дело!.. — неожиданно признался Денис, откровенно удивлённый проницательностью незнакомца. И тут же предложил: — Знаешь что, по возрасту мы не сильно отличаемся, так что давай будем на ты!

Тот кивнул утвердительно и продолжил:

— Чтобы сохранить физическое здоровье, надо сознательно чувствовать пульс жизни, который находится в гармонии со звёздным ритмом разумной Природы…

— Ты не обижайся, но нельзя ли изъясняться както попроще? — перебил Денис, пожалуй, несколько бесцеремонно.

Парень опять кивнул и закончил свою заумную речь совсем неожиданно:

— Вообще-то, если не возражаешь, я могу поработать с твоей энергетикой, подкорректировать…

— Только давай уж для начала хотя бы познакомимся, — предложил Денис, осмысливая сказанное и оттягивая ответ. — Денис Лидин.

— Анатолий Каржавин, — представился парень и снова предложил: — Я давно работаю с человеческой энергетикой и умею её корректировать. Если не боитесь… Если не боишься, конечно.

— Я с некоторых пор уже ничего не боюсь, разве что зубной боли, — отшутился Денис.

— Муки душевные страшней физических. Но есть Любовь — великая Истина жизни, которая разрушает все противоречия…

Денис больше не стал его прерывать: похоже, что выражать мысли обычными словами Анатолий просто не умел.

Тот сел напротив и сделал руками движение, будто снял с Дениса что-то из верхней одежды. Потом стал это невидимое поворачивать между раздвинутыми ладонями. Денис настроился скептически улыбнуться — и тут же напрягся, потому что возникло довольно неприятное ощущение натянутых струн, соединяющих его мозг с пальцами Анатолия. Невидимые нити либо до предела натягивались, либо вообще рвались. Не сказать, чтобы было больно, но достаточно неприятно. Денис так и не понял, почему тут же не прекратил это издевательство над собой…

— Твоя энергетика до предела запакована, — заключил Анатолий. — И ещё она сильно деформирована на связь с прошлым. Может, какой-нибудь страшный сон или встреча с неприятным старым знакомым?

— Не-ет… — ответил Денис недоумённо, но тут же вспомнил и поправился: — Вот если только книга стихов, которую недавно закончил?.. В ней почти всё взято из прошлого. Пока составлял сборник, словно бы заново им переболел…

— Не ожидал встретить здесь настоящего поэта, — Анатолий в первый раз открыто улыбнулся. — А о чём стихи?

— Так сразу не ответишь… — несколько даже растерялся Денис. — История собственной жизни, череда потерь и духовных исканий, ошибок и размышлений… В общем, коротко не перескажешь — стихи ведь нужно читать.

— Да, духовные искания — это всегда непросто, — собеседник сразу посерьёзнел, — и прошлое выступает тяжёлым грузом…

— Каким бы тяжёлым ни было, но иногда возникает желание его переосмыслить, — продолжил свою мысль Денис, подумав, что ответил невнятно. — Стихи ведь пишут не для того, чтобы, а потому, что…

— Насколько я могу судить, — предположил Анатолий, — ты перетащил в настоящее какую-то агрессивную сущность. Теперь она борется, чтобы не возвращаться назад, поэтому и оборвала твою связь с Космосом…

«Вот уж загнул так загнул… А я стал было ему верить!» — Денис хотел рассмеяться, но тотчас подавил это желание, вспомнив о разрывающихся нитях и о нескольких связанных с этим неприятных минутах.

— Нужно попросить прощения у Учителя, — сказал Анатолий, не обратив внимания на реакцию Дениса.

— За что?

— За те разрушения в Мироздании, которые ты сделал, пусть и невольно.

Слова Анатолия снова вызвали внутреннюю усмешку, но Денис старательно упрятал её и закрыл глаза. Обращаться напрямую к Создателю, право, было неудобно — поэтому он обратил свои мысли к абстрактному Учителю. Подчиняясь указаниям Анатолия, начал старательно выстраивать их в некое подобие молитвы: «Учитель, прости меня…» Честно говоря, он плохо сознавал, о чём просит — практически ни о чём. Просто признавал свою вину…

Да, он виноват, причём больше всего — перед самыми близкими людьми. Перед Олюшкой, на которой женился без любви. Какой верности можно требовать от женщины, которая знает, что ты её не любишь, а женитьбой как бы сделал одолжение? Он виноват перед дочерью Танюшкой, которая всю жизнь будет чувствовать себя обделённой в самом главном — в отцовской любви. Дочь так никогда и не станет частицей его — вернее, его частичным отражением… Он виноват.

И тут из глаз хлынули слёзы. Пусть не потоки с рыданиями и размазыванием по щекам, но побежали два неудержимых ручейка — это уж определённо. Денис сразу почувствовал себя крайне неуютно, представив себя со стороны: сидит взрослый мужик перед малознакомым посторонним человеком и плачет.

— Это слёзы сердца, — успокоил проницательный Анатолий. — Сейчас станет легче не только на душе, но и вообще. Очень хорошо, когда слёзы, а то встречаются люди, не умеющие плакать, — у них душа умирает раньше тела, и они как бы пусты изнутри. Эти не плачут…

Действительно, вскоре наступило внутреннее расслабление. А потом Денис словно бы погрузился сознанием в одно из своих стихотворений: ясно увидел зелёную террасу на берегу Енисея, окружающие её горы, голубую воду реки, белые облака над головой… и тёмные силуэты сгрудившихся конников. Происходило жестокое сражение…

«Так вот оно, зло! Я, окунувшись в историю, вытащил из прошлого людскую жестокость и ненависть, средневековый деспотизм и бесчеловечность…»

Осознав увиденное, Денис стал собирать эти расползающиеся тени — как бы сгребать руками в кучу. Тёмная масса росла, росла… и вдруг стала сама по себе забрасываться землёй, пока на месте её не образовался курган. Тут же подумалось: «Вот почему над мёртвыми возводились высокие земляные насыпи! Это не столько дань их доблести и память о битве — это для того, чтобы дух жестокости и зла не выбрался наружу, на землю, а устремлялся прямо в космос через островерхую, устремлённую в небо вершину…»

Какая-то чернота заклубилась вокруг, и Денис стал погружаться в неё. Неясный жёлтый блик замерцал перед глазами — это была маска из жёлтого металла, правда, плохо различимая за клубами чёрного тумана. Раскосые, вытянутые к вискам щели для глаз, искажённые зловещей улыбкой губы. Он почувствовал, что за маской скрывается какая-то злая сущность — она стремится к нему, хочет во что бы то ни стало приблизиться. Огромным усилием воли Денис удержал её на расстоянии. Чья воля победит? Он оказался сильнее — и расстояние между нами стало увеличиваться. То, что скрывалось за маской, издало неслышимый, но бьющий по нервам жуткий вопль и обрушило на него волну испепеляющей ненависти. Денис

испытал леденящий холод во всём теле и устремился вверх, пытаясь вынырнуть из вязкой тьмы…

Тут чёрный туман стал серым и будто бы потеплел. В нём засияли жёлтые искорки — словно россыпи мельчайших золотых песчинок. Их всё больше, больше — стали проявляться зелёные проблески, пока зелёный цвет совсем не вытеснил жёлтый. Следом красная звёздная россыпь наполнила тот же клубящийся серый туман. И тут наконец вверху открылось окошко фиолетового неба. Почему неба? Трудно сказать — ему так подумалось. Видимо, потому, что фиолетовая краска была необыкновенно прозрачной и чистой…

Именно туда, в зенит, улетал человек в белой накидке, держа кого-то невидимого за руку. Нет, в белом был не он — и это было Денису откуда-то известно. Он был тем, вторым, — невидимым. Прозрачным было его астральное тело… Так, кажется, называют эту сущность начитанные люди, а он-то мог и заблуждаться, ибо не читал ни Блаватскую, ни Лазарева, ни даже, стыдно сказать, полностью Рериха…

Сколько всё это длилось — минуту, десять, час? Неизвестно. Спрашивать у сидящего напротив Анатолия показалось неудобным, однако увиденное являлось столь необычным, что он кратко пересказал ему свои ассоциации.

— Ты последовательно прошёл все уровни: от низшего до вершины — Великой Любви! Тут возникла такая связь, такая мощная связь! — восторженно заговорил Анатолий. — Даже сейчас ещё осталась связующая энергетическая нить с Космосом. Может, с твоим Учителем?.. Кстати, ты пробовал с ним общаться?

Глаза Анатолия просто сияли чем-то таким… Светом вдохновения, что ли? И на этот раз Денис даже не усомнился в его словах.

— Даже не знаю, есть ли он у меня, — ответил он неуверенно.

— Учитель есть у всех, — заверил Анатолий, — но вот услышать его можно где-то после тридцати лет. Или не услышать вообще… Имеющий уши да услышит, так что попробуй мысленно заговорить с ним. Честно признаться, я чего-то подобного ждал — с самого утра чувствовал твоё приближение…

Денис больше не улыбался его словам. А почему бы и нет? Сегодня и так произошло столько удивительного, чему при иных обстоятельствах он попросту бы не поверил. И эти видения, и странные ощущения во время полёта…

— Я просто не думал… — начал он, и вдруг мелькнувшая мысль-озарение всё расставила по своим местам. — Я просто до сих пор не знал, как это делается! А сегодня там было ощущение какого-то всезнания. Показалось даже, что стоит захотеть — и я могу получить ответ на любой вопрос. Вот только самый важный, самый нужный так и не родился — в огромном океане непросто найти маленький островок…

— Спроси для начала, где ты был, — подсказал Анатолий.

Денис мысленно задал вопрос, и тотчас внутри него и одновременно откуда-то со стороны зазвучал голос: «Сформулируй вопрос для себя, ибо понятный ответ можно дать только на конкретный вопрос…»

Анатолий уловил его замешательство и стал подсказывать:

— Внутри себя?.. В центре Галактики?.. В центре Вселенной?..

«В центре Вселенной, — прозвучал ответ. — Это наиболее близкое понятие».

— Всё верно, — обрадовался Анатолий. — Человек — это Бог, Творец — это вся Вселенная, а самая разумная сила — Любовь… Ты проходил уровни от низшего, физического, до Гармонии Вселенной…

Он устремил на Дениса сияющие глаза и попросил:

— Спроси у своего Учителя, много ли вокруг нас людей, стремящихся к Гармонии?

Денис мысленно сформулировал вопрос. Вместо ответа перед глазами встала довольно чёткая картина: тёмный город — он почему-то знал наверняка, что это его посёлок, — а по нему в одиночку и небольшими группами рассыпаны большие и маленькие фигуры в светящихся не то плащах, не то накидках со скрывающими головы капюшонами. Денису показалось, что фигур довольно много.

— Много, — ответил он Анатолию.

— А сколько: сто, двести, триста?

«Сто», — был ответ, но Денис понял, что это не число, а некая группа — как отряд или единица.

— Здесь такое большое их количество? — удивился Анатолий. — Но тогда в других местах может не быть ни одного… А спроси ещё: как далеко лично я смог продвинуться на этом пути?

В ответ даже не прозвучало, а всплыло в памяти число «семнадцать». Денису оно ничего не говорило, поэтому он вопрошающе уставился на Анатолия. Но и тот, похоже, пребывал в недоумении. Потом проговорил с некоторым сомнением:

— Сатья Баба как-то сказал, что он постиг двадцать первый уровень…

Денис же в это время почему-то подумал об остальных людях, не вошедших в «сотню», и спросил о них.

«Все равны, — был ответ, — но Учителя питают предпочтение к тем, кто достигает высокого уровня…»

В этом месте Денису показалось, что невидимый Учитель улыбнулся — похоже, он остался доволен вопросом. А взглянув на Анатолия, Денис поразился его лицу: оно буквально светилось, глаза жадно впитывали, а уши ловили каждое слово… Нет, Анатолий не управлял его сознанием, чего Денис подспудно опасался, — он внимал!

— Спроси о предназначении высших уровней, — подсказал Анатолий.

«Они — отражённый щит», — был ответ.

Денис не мог точно сформулировать это не прозвучавшее, а оформившееся на мгновение в мозгу понятие: то ли «отражённый», то ли «отражающий» или даже «опрокинутый»… Хотел повторить вопрос — и тотчас увидел перед глазами яркую картину: вдалеке, в абсолютной темноте, находился сияющий гранями кристалл, который одновременно казался почему-то городом,

цивилизацией. Вдруг из темноты в него ударил тонкий белый луч и, отразившись под тем же углом, ушёл в черноту. Пока Денис пересказывал видение Анатолию, злой убийственный луч ударил с другой стороны — и снова отразился.

— Говоришь, ты видел город? — спросил Анатолий. — Опиши его.

Тогда Денис уже явственно увидел не кристалл, а именно город: каменные дома, кажущиеся серыми в сумеречном свете, вплотную подступали к высокой набережной — город располагался на берегу то ли реки, то ли моря. Он казался безлюдным, даже безжизненным. За причудливыми, в несколько этажей, зданиями просматривались высокие силуэты островерхих, устремлённых в небо сооружений.

— Индийские пагоды? — заинтересовался Анатолий.

— Да, — ответил Денис, и тут же ему дали понять, что он ошибся, потому что перед глазами снова встала картина города: на заднем его плане, на фоне серого неба, возвышались вперемежку и христианские церкви с крестами, и мусульманские мечети, и индийские пагоды.

— Где находится город, в каком государстве? — поспешно спросил Анатолий.

«Нет такого государства…» — был ответ.

— Правильно, — подтвердил Анатолий, — религий много, и каждая из них — это собрание заблуждений, а Вера — она одна. Это вера в высокое предназначение человека. Я, например, не кары Господней, не наказания боюсь, а того, что Он во мне разочаруется.

И тут Денис вдруг ясно осознал, что этот город — Шамбала, а люди в белом светящемся одеянии — её воинство. Осознал и удивился — потому что до этого момента Шамбала ассоциировалась у него с чем-то эфемерным, населённым призрачными небожителями. Выходит, Шамбала — это всего лишь символ?..

— Такая концентрация «просветлённых» здесь произошла невольно, или этих людей собирают в определённых местах? — перебив его мысли, спросил Анатолий.

«Собирают. Время им знать друг друга. Но при этом не должно быть непререкаемых авторитетов, каждый обязан быть сам по себе…»

— Почему? — это спросил уже Денис.

«Истина находится внутри каждого либо исходит от Учителя. Один заблуждающийся принесёт больше вреда, чем сотни врагов…»

— Спроси, — встрепенулся Анатолий, — мы с тобой нужны друг другу? Мы должны и дальше встречаться?..

«Вдвоём вы сильнее, но встречаться должны как можно реже», — был ответ.

— Почему это? — удивлённо и как бы даже уязвлённо спросил Анатолий.

«Потому, что будете торопиться в получении новой информации, а главное — это думать. Истина и знания находятся внутри каждого из вас…»

И снова Денис отмёл мелькнувшую мысль о гипнозе со стороны Анатолия — ответ поступил совсем иной, а не тот, которого Анатолий ожидал. И прозвучал даже до того, как Денис сумел его сформулировать, не то что задать. Выходило, что во время общения с Учителем он, Денис, связан со всеми знаниями мира, нужно только определиться, на какие вопросы он хочет получить ответ. Но в этом предощущении бесконечного знания почти невозможно выделить отдельные вопросы — вот тут-то и нужен Анатолий, который через него как бы открывает вселенскую энциклопедию и выборочно, как по алфавиту, получает справки…

— Слушай, — заинтересовался вдруг Анатолий, — а ты общаешься с Учителем каким образом? Голосом?..

Денис не мог ответить, поэтому обратился к Учителю.

«Нам невозможно общаться при помощи голоса — ты воспринимаешь мысль…»

— Тогда почему я слышу информацию как бы из определённой точки пространства?

«Так легче для тебя, привыкшего воспринимать звук. Потому что не отвлекаешься на анализ, а легко различаешь поступающую информацию и собственные мысли…»

— Но иногда голос начинает звучать как бы внутри меня!..

«В этот момент я нахожусь очень близко, как сейчас…»

И Денис вдруг явственно ощутил, что Учитель стоит позади него. С усилием повернул голову и увидел… ступни в сандалиях и край белой накидки. Как он ни старался поднять глаза выше — ничего не получалось.

«Тебе ещё рано меня видеть. Это время пока не пришло…»

Анатолий не слышал диалога, но по его глазам было видно, что он чувствует необычность происходящего.

— Ты видишь Учителя?

Денис отрицательно покачал головой, хотя мог бы кивнуть утвердительно.

— Спроси каким путём можно получить истинную информацию?

«Есть два пути: от Учителя — и став частицей Мира…»

Ответ Анатолию был непонятен, и он задал уточняющий вопрос:

— Как это — частицей Мира?

И снова Денис увидел прозрачную сферу, окружающую, по всей видимости, нашу Землю. Она состояла из уровней, и чем выше, тем тоньше они становились — где-то ближе к верхней части должен находиться Анатолий! А самый верхний — тончайший и сверхпрочный — и был тем самым отражающим щитом. Выше находилось только то, что было названо Миром… Может быть, Денис не всё понял правильно, но переспросить не мог, потому что ему как будто не положено было это знать. Да, то и дело он упирался в границу дозволенных знаний. Ни слово «Бог», ни слово «Создатель» не прозвучало ни разу — вместо них использовались «Он» и «Нечто». Понятия «Добро» и «Зло» принимались неохотно — и всё время переводились в понятия «Свет» и «Тьма». И сам пришёл пример на ум Денису или был направлен, трудно сказать:

дарить женщине розы—это добро, но перед этим нужно совершить зло—срезать их с куста. То есть нет абсолютного добра и зла, зато существуют абсолютные Свет и Тьма, от которых можно отталкиваться, как от точек опоры.

Мысли в голове Дениса постепенно утрачивали ясность, так что даже задаваемые Анатолием вопросы приходилось сначала осмысливать, затем заново выстраивать самому.

—Я уже с трудом перевожу мысли в слова и наоборот…—признался он Анатолию.

—Ещё один, последний вопрос,—попросил Анатолий.—Какой литературе можно доверять?

«Я повторяю,—прозвучал ответ,—верь только самому себе или своему Учителю».

—Последний вопрос?!—взмолился Анатолий.

«Последний уже был»,—ответил Учитель, и Денис подумал, что он опасается за его, Дениса, разум. Действительно, он очень устал—мысли не то чтобы путались, просто со всё большим трудом формулировались.

—Все люди, в конце концов, получат своих Учителей?—спросил Анатолий.

«Нет, потому что осталось очень мало времени».

Денис не стал уточнять, до какого события,—это было ясно и так, спросил лишь:

—Сколько?

Перед глазами возникли два отрезка какого-то пути—вернее, путь, разделённый на две неравные части: пройденный и его продолжение—тот, что оставался. Если путь измерялся от Рождества Христова, то отрезок составлял больше века… А вот если от рождения Дениса, то, похоже, не более пяти лет…

—И что же, человечество погибнет?—задал он главный вопрос.

«Нет. Но если вы не выстоите—то Он от вас откажется…»

На протяжении всего общения Денис оставался абсолютно спокойным, даже как бы безучастным—и тут не встрепенулось сердце, не ёкнуло внутри. Он наконец-то задал самый главный вопрос и получил на него самый исчерпывающий ответ. Он был допущен к Великому Знанию. И отныне, зная часть Истины, он должен оставаться всегда готовым сражаться за неё… Не только он, но и Анатолий, и те—в светящихся накидках…

Осознав, что общение закончилось, Денис поднялся, но голос Учителя остановил его:

«Нужно прибраться после себя…»

Он оглянулся и увидел, что на том месте, где сидел, на полу растеклась свинцовая лужа. Что это? Неужели всё это стекало с него?.. Он взглянул на Анатолия—тот, похоже, ничего не видел.

—А ты сможешь убрать вредную энергетику с пола?—спросил его Денис.

—Какую?

—Вот здесь,—Денис руками обвёл круг на полу.

—Попробую…—ответил Анатолий неуверенно.

Он поднял руки кверху, ладонями вниз, и на некоторое время замер. Денис явственно увидел, как сверху, между его рук опустился призрачно-белый столб и упёрся в поверхность лужи. Через несколько мгновений белизна снизу столба стала уплотняться и подниматься вверх по вертикальному каналу. Вот уже остались только жгутики тянущегося вверх белёсого тумана на полу…

—Всё?—спросил Анатолий.

—Как будто…

Под его недоумённым взглядом Денис толкнул скрипучую дверь и шагнул через высокий порог. Снаружи было светло: яркая луна освещала своим ровным неоновым светом избушку, подступившие к ней кедры и призрачные горы. Снег разноголосым хоровым скрипом возмущался по поводу вторжения нарушителя спокойствия—то есть Дениса. Эти невероятно громкие звуки, метнувшись несколько раз среди кедров и скал, устремлялись вверх—к ритмично мерцающим мириадам крупных звёзд—и замирали в вышине. Чтобы снова покой и белое великолепие воцарились в этом уединённом мире, под вечным звёздным куполом…

Во сне Денис летал. Нет, совсем не так, как птица,—а без малейших усилий. Правда, поначалу он по крупицам—по движениям и усилиям—вспоминал, как это делается. Сперва чуть-чуть оторвался от земли, потом переместился, не касаясь её подошвами, после этого потянулся вверх… Зато, вспомнив всё забытое, он дал волю восторгу: стрелой взмывал к зениту, мчался неведомо куда, раскинув руки наподобие крыльев, а то, сложившись так, что руки и ноги оказывались вместе резко менял направление полёта. Ему не надо было тратить усилий, чтобы поддерживать себя в воздухе,—он мог замереть и висеть неподвижно, мог перемещаться спиной вперёд. Он ощущал только упругость воздуха, слабое дуновение ветерка. Эта способность пьянила своей новизной и… тем, что он нечто подобное как будто уже испытывал когда-то.

—Ты открылся ему и беседовал с ним… Теперь и *Эти* знают, кто он?!

—Он и так слишком громко заявил о себе. Его всё равно бы скоро вычислили, вопрос короткого отрезка времени… И именно сейчас, перед лицом смертельной опасности, мы нужны ему как никогда!

—Меня и так удивляет, что, оставаясь беззащитным перед случайностями, он до сих пор цел и невредим.

—Он научился защищать себя сам, он научился предвидеть опасности.

—Похоже, он стал тем, кем должен был стать…

—Да, он стал Воином… Которого можно убить, но невозможно сломить. Хотя он ещё и не подозревает об этом…

—И он ведь без нашей помощи прошёл этот путь! Если зерно посажено—оно должно было прорасти! А из зерна пшеницы никогда не вырастет сорняк…

Зов будущего

Утром Анатолий, на правах старожила и хозяина, угощал завтраком. О вчерашнем общении

с Учителем он не напоминал — будто ничего и не было. Только время от времени бросал на Дениса мимолётные пытливые взгляды.

Наконец, видимо не выдержав, Анатолий спросил:

— Ты никогда не составлял на себя подробный гороскоп? Многие считают, что их судьбы предначертаны…

— Нет, — ответил Денис, и это было правдой.

— Но ты веришь астрологическим предсказаниям? И вообще нашей подчинённости законам Космоса?

Вместо ответа Денис пожал плечами. В своё время он попытался во всём этом разобраться, но вскоре убедился, что в поисках истины всё дальше от неё уходишь. Действительно, как тут объяснишь?..

Как-то одна его знакомая, закончившая Академию астрологии в Москве и подрабатывающая составлением гороскопов-прогнозов для городских бизнесменов, взялась составлять ему такой гороскоп. Через некоторое время она отодвинула справочники со звёздными картами в сторону и сказала: «Знаешь… Я могу, конечно, составить, но он вряд ли сбудется. Мне вообще впервые попадается такое сочетание. Если в момент рождения человека на его небосклоне присутствует звезда, то она вносит очень сильные коррективы, а у тебя их целых семь. Так что не верь ни одному гороскопу…»

Он не стал пересказывать Анатолию эту давнюю историю — на откровения сегодня не тянуло. И вообще, после вчерашних событий Денис ощущал себя будто бы не в своей тарелке. Более того, сегодня его смущала вчерашняя откровенность с незнакомым, в общем-то, человеком. Но, помня настойчивость Анатолия в расспросах, решил просто переменить тему разговора:

— Я хочу спросить насчёт твоих манипуляций с энергетикой. Ты где-то учился или, так сказать, постиг через долгий путь самообразования?

— Нет, никакой оккультной или эзотерической литературы никогда не читал. Истинных Учителей или даже просто единомышленников тоже не встречал. То, что знаю, — просто знаю.

— Но ты задумывался, откуда всё это знаешь?

— Ниоткуда. Просто знаю — и всё тут… Однажды, например, открыл, что могу читать на санскрите или… Вот, смотри!

Он взял у Дениса из рук сборник стихов, который тот, доставая печенье, вытащил из кармана рюкзака, и зажал его между ладонями. Так его и держал минут десять-пятнадцать, разговаривая при этом с Денисом, потом вернул и со вздохом сказал:

— Хорошие стихи, особенно вот эти…

Он закрыл глаза и стал читать медленно, будто вспоминая слова:

Ну зачем дураку жар-птица?
Нет её — и печали нет.
Пусть царям еженощно снится
На песке оставленный след.

Этим сказку подай на блюде —
Всяк желанной добыче рад;
Им плевать, что живое чудо
Превратится в дворцовый клад.

Ведь такой прихотливой птице
Жизнь в палатах — тюрьма и гнёт!
Даже наша дура-синица
В клетке песен своих не поёт.

Ни к чему дураку жар-птица…
Но когда на душе серо,
Достаёт он из старой тряпицы
Полыхающее перо!

Денис мог поклясться, что книгу тот не открывал. Более того: Анатолий не мог её видеть до этого — это был только что полученный из издательства сигнальный экземпляр новой книги, который предназначался в подарок Грише Поленову.

— Невероятно! Но как это у тебя получается?

— Следует пробуждать в себе желание проникнуть в глубинные загадки бытия, тогда открываются даже высшие космические тайны…

Денис поморщился, и Анатолий, заметив его реакцию, поправился:

— Сам не знаю, как получается, — просто держу книгу, а информация идёт…

«Ничего не скажешь, — ещё раз мысленно констатировал Денис, — насколько загадочная, настолько же и противоречивая личность — этот мой новый знакомый. Верить такому — дико, не верить — глупо…»

Пока пили чай, пошёл густой снег, потом разыгралась настоящая метель. Денис обречённо следил за плотными снежными зарядами, которые яростными протуберанцами проносились мимо окон избушки, и ближе к полудню окончательно понял, что и сегодня Гриша с компанией не придут. Надо и ему возвращаться, чтобы успеть засветло…

Собираясь в обратный путь, под выложенной из рюкзака запасной одеждой нашёл свой диктофон — включил, помнится, по привычке, во время вчерашнего разговора, да так про него и забыл. Естественно, батарейки за ночь сели.

— Наша встреча ведь не случайна, — сказал на прощанье Анатолий. — Как в Библии сказано: «Ты не знал Меня, а Я тебя нашёл…»

— Чем хороша Библия, так это тем, что её можно цитировать абсолютно по любому поводу, — попытался отшутиться всё ещё обескураженный Денис.

Однако Анатолий не улыбнулся, только пристально посмотрел ему в глаза. И такая в его глазах была бесконечная глубина, и такая печаль, что Денису стало жутковато.

— Наш Путь — это путь зерна. Нас уже посеяли… — произнёс Анатолий очень серьёзно. — И знаешь что?.. Ты не очень-то афишируй свои возможности — это опасно…

Дома, проходя мимо книжного шкафа, он случайно — во всяком случае, непроизвольно, — вытащил книгу Николая Рериха. Открылся томик на статье «Сердце Азии», и первое слово, которое попалось Денису на глаза, было — «Шамбала». Да и вся

строка: «Величайшие поручения даются Шамбалой, но на Земле они должны быть выполнены человеческими руками в земных условиях…» его поразила не столько смыслом, сколько тем, что где-то он её совсем недавно слышал—то ли от нового знакомого, то ли от Учителя, то ли давно знал, но позабыл. Нет, не из книги Рериха, которая простояла в книжном шкафу несколько лет. Доселе он её не открывал—это точно. Решил прослушать диктофонную запись с Боруса, но на кассете, к удивлению Дениса, не оказалось никакой записи. Более того, её пришлось попросту выбросить, так как она оказалась безнадёжно испорченной…

Встреча с Анатолием теперь не выходила у него из головы—она вдруг заставила не просто задуматься, а по-новому взглянуть как на жизнь прожитую, так и на жизнь предстоящую. Значит, ничто в его прошлой судьбе не было случайным и жизненный путь был попросту предопределён? Кто-то из поэтов сказал: «Нет неудач, а есть ступени духа, по коим ты, карабкаясь, идёшь…» Значит, и болезни, и трудности, и даже семейные катастрофы—это ступени его духа?.. Вспомнилось вдруг, как однажды в действующем православном храме, куда Денис зашёл, в общем-то, случайно, к нему подошёл старый, седой и сгорбленный священник и поделился: «Забыл меня Господь—давно уж я не болел…» А вот его, Дениса, выходит, никогда не забывал…

Тогда они довольно долго просидели в крохотной келье старца. О чём говорили? Сейчас Денис уже и не помнит. В памяти чётко запечатлелись лишь два момента беседы. Это когда старец сказал: «А я тебя давно здесь жду»,—и это прозвучало так значительно, как будто старец обещал ему приоткрыть дверь во что-то неведомое, главное в жизни. И ещё поразило то, что седой старик разговаривал с ним не как наставник, а как равный с равным. Но только сейчас созрел в нём вопрос: ведь что-то означала эта встреча в его судьбе, в его поисках смысла жизни?..

Да, по словам Учителя, у каждого есть предназначение, о котором он зачастую и не подозревает—просто не положено, не нужно ему знать до поры. Возможно, он никогда даже и не узнает, что вот наступил этот момент,—если не сумел укрепить свою душу, не успел подготовить себя духовно. Не успел вырасти из зерна, потому что вовсе не телесная оболочка должна выполнить предназначенное, а то потаённое, что запрятано внутри души, внутри всей земной жизни. Именно оно предназначено вырваться из слабого тела, даже из тесной сферы земной—и развернуться в бескрайнем Космосе во что-то огромное и совершенное. Как спиральная галактика… И не несёт это великое предназначение никакой избранности в среде человеческой, потому что бренное земное тело требует пищи и удовольствий, а связанные с ним сиюминутные помыслы житейские не имеют ничего общего с высоким и неохватным, сокрытым, должно быть, только в общем разуме всего земного или всекосмического человечества…

Почему же многие, вернее, даже большинство людей никогда не задумываются об этом? Потому, видимо, что лишь в зрелом возрасте, и редко кто раньше, обретя мудрость от задаваемых себе вопросов и мыслей нескончаемых о смысле жизни, люди начинают чувствовать слабые и неясные отголоски вечного зова Шамбалы. А до этого что же живут они на земле как хотят, не соблюдая ни десяти заповедей общечеловеческих, ни космических высших законов? Их ли в этом вина, или силы тьмы, действительно, борются за душу каждого человека? Ведь просто жить так легко—ни о чём не задумываясь, и всегда остаётся оправдание, всегда можно сослаться на незнание. То есть на то, что не ты именно предназначен совершить сокрытое и потаённое… Но, с другой стороны, разве это оправдание, если каждый человек—кокон, в который заложено нечто? Значит, изначальное предназначение в том и заключается, чтобы внутри кокона сохранять незапятнанной вложенную в тебя душу, не ожесточить её, не разменять на пустяки. Ведь так легко заляпать её прилипчивой грязью и тем самым сделать непроницаемой отделяющую тебя от всего космического оболочку…

Денис с удивлением стал ловить себя на том, что мысли его теперь строятся столь же многословно и витиевато, как речь Анатолия. И в этом всё нарастающем многословии определённо была какая-то прослеживающаяся, но непонятная закономерность… Видимо, такое происходит, когда начинаешь мыслить уже не земными образами, а космическими понятиями. Образ всегда ассоциируется с чем-то конкретным, понятие же—со всеобъемлющим, не имеющим чётких границ…

Случайно открыв свою тетрадь с выписанными афоризмами и цитатами, Денис с удивлением осознал, что только сейчас ему открывается то глубокое и сокрытое, что прежде он чувствовал лишь интуитивно. Раздумывая о конкретном и абстрактном, он так и этак прокручивал в голове мысль Льва Толстого о том, что «если тебя ударили по щеке—подставь другую». Нет, это наверняка было сказано не о тривиальном мордобитии, а о смирении собственной гордыни. Если ударил тебя наглый, пьяный хулиган, то подставлять физиономию во второй раз—глупо, а вот если сделали больно твоей душе, то не спеши отвечать и причинять ответную боль. Наверное, заслужил ты этот укол, ведь есть за тобой какой-нибудь грешок, который спровоцировал негативное отношение. Подставь вторую щёку—и, если человек просто погорячился или был не прав, он одумается и попросит прощения. И впредь постарается не причинять боль другим…

Определённо со знаменательного посещения Боруса в голове Дениса словно бы открылась дверца—и удивительные то по гениальной простоте, то по абсурдности мысли вихрем ворвались внутрь, не давая теперь покоя ни днём, ни ночью. Это было непривычное, потрясающе новое чувство: спорить с самим собой—и при этом никогда не соглашаться, строить логическую цепочку—и шутя разбивать её в пух и прах, отметать самое вероятное—и доказывать абсолютно абсурдное… Раздумья стали увлекательнейшей, никогда не надоедающей игрой для мозга.

«…А что, если наша жизнь на Земле является тем самым адом, которым пугают два тысячелетия? И в горниле этого чистилища души ежедневно и еженощно испытывают невозможные в ином месте муки любви и ненависти, радости и печали… А что, если мы не дети Божьи — а сами частицы Бога? Доказательство?.. Естественно, что в общей массе мы — всезнание, но и отдельные личности, минуя самые элементарные знания, умудряются получать информацию. Так, малообразованные, с нашей точки зрения, йоги или ламы зачастую оперируют такими философскими и научными категориями, которые доступны только большим учёным, опирающимся на книги, на эксперименты, на опыты… А это означает, что знания можно получать вовсе не путём научного осмысления опыта предшественников? И что, если люди только для того и живут на Земле, чтобы пополнять своими заблуждениями и догадками развивающееся и совершенствующееся информационное поле, некую мыслящую субстанцию?..»

Денис чувствовал также, что перестраивается внутри. С одной стороны, это происходило как бы помимо его воли, а с другой — он сам страстно желал этого. Неясно только, Анатолий был тому первопричиной или Учитель. Копились и другие пока неразрешимые вопросы, но без посредника Денис, как ни пытался, не мог выйти на Учителя, не мог получать требуемую информацию. Можно было, конечно, пойти к Анатолию домой — но Денис помнил предостережение Учителя и как мог оттягивал встречу. Была, правда, и ещё одна объективная причина: всё свободное время он теперь активно писал, и на всё остальное, даже на общение, было жаль времени…

«…Процесс совершенствования мироздания и процесс человеческого созидания, вероятно, пошли каждый своим путём. Может быть, в конце концов они даже взаимоисключат друг друга — если людям не удастся осознанно обуздать собственный технический прогресс. Большое заблуждение, что быстрый прогресс — это благо, на самом деле вооружённость человечества опережает приобретаемые им знания о законах мироздания. Поэтому человечество может непреднамеренно или намеренно в один момент уничтожить Землю, а вот о значимости планеты в космическом устройстве никто не знает. Не является ли она единственной мыслящей? Не пора ли уже вводить одиннадцатую запрещающую заповедь: «Не навреди Космосу!»?..»

«…Творчество — вот что укрепляет энергетическое поле Земли. И кто знает — может быть, не только Земли?.. Творчество — это единственная созидающая, а не разрушающая сфера деятельности человека. Творчество — это духовность, а духовные ориентиры проверены временем — это тот маяк, который светит людям уже тысячи лет и до сих пор не разочаровал их…»

Но сбылось и предостережение Анатолия: Денис стал постоянно ощущать рядом присутствие некой мрачной сущности. Она то нависала над ним наподобие тяжёлых свинцовых туч, то формировалась за спиной в гнетущую массу… Она возникала всегда неожиданно — и днём, и ночью. Иногда, проснувшись, он ещё чувствовал её недавнее присутствие — тело боялось и буквально верещало от страха. Именно сонное тело боялось смерти, но проснувшийся разум был сильнее — он принимал вызов. В первый раз Денису даже пришлось укреплять дух молитвой — и это получилось случайно, когда он начал шептать «Отче наш…», единственную молитву, которую знал от покойной бабушки, да и то не до конца. Перед молитвой эта злая сила отступала…

Кроме молитвы, Денис не призывал на помощь больше никого, потому что знал: это была его война и его каждодневные маленькие, но очень важные победы. А в случае поражения кому-то другому придётся занять его место, потому что противостояние его и этой злой сущности, скорее всего, закончится когда-нибудь именно так! Денис знал, что сражается не один. И если выстоит большинство, то «Он от них не откажется». Так, кажется, сказал Учитель?

Анатолия нашли через три недели на лестничной площадке возле дверей его квартиры. Врачи констатировали инсульт, но Денис был уверен, что смерть не была случайной. Та агрессивная сущность сумела уничтожить Анатолия — то ли как более опасного для неё, то ли подбираясь к нему, Денису, окольными путями. Он накрепко запомнил последние слова Анатолия тогда, на вершине Боруса, — и теперь ждал своей очереди. Он не боялся, потому что, может быть, в этом противостоянии и заключается его предназначение. Или, может быть, в тех пока ещё не оформившихся записях, которым суждено стать новой книгой. Эта мысль пришла, когда другая случайно взятая в руки книга открылась на странице с азиатской мудростью: «Больше пользы от дурака, который рассказывает о том, что видел, чем от мудреца, который молчит о том, что знает».

На похоронах Анатолия Гриша Поленов сказал:
— Когда-то я камешек с нашего Боруса оставил на вершине Эвереста, а камешек с Эвереста привёз сюда. Таким образом я породнил две горы. Анатолий камешки своей веры и человеческой мудрости вкладывал в души многих, породнив нас таким образом между собой…

Денис не представлял теперь, как без Анатолия сможет услышать Учителя, и жалел, что не подумал об этом раньше. Возможно, что при втором или третьем контакте он нашёл бы самостоятельный путь к информации, теперь же в каких-то мелких случайных событиях или проявлениях искал связь, сигнал. Это могла быть, как уже не раз случалось до этого, попавшаяся на глаза строчка. Так, в тибетских пророчествах о Шамбале и Майтрейе прочитал такое: «Знаками семи звёзд откроются врата». Это перекликалось с его гороскопом. Хотя, может быть, просто случайное совпадение?..

Запоем прочитал «Агни Йогу» и нашёл в ней много для себя нового — чего не увидел или, может быть, не обратил на это внимания в Библии. В размышлениях Дениса это поэтическое учение не вступало в противоречие с христианским, просто было более объемлющим.

«Сражение Света и Тьмы происходит, вне всякого сомнения, не на физическом, а на духовном уровне. Но нельзя же слепо подчиняться конкретной идее, конкретному учению, ведь до сих пор все они были ошибочными. Ближе всего к истине, должно быть, идея Христа-Спасителя: своим воскрешением Христос доказал всем, что со смертью тела человек не исчезает, а возносится к Богу. Это с радостью приняли все. Но ведь своей смертью он ещё показал людям, что жизнь на Земле нужно прожить достойно и так же достойно принять смерть. А вот этого осознавать уже не захотели, потому как жизнь проще и, главное, намного легче измерять богатством, положением в обществе, количеством доступных развлечений… И тогда Человека-Бога отделили от простого смертного, сделали недосягаемым! Чтобы человечество прозрело дальше, нужно, наверное, ещё одно пришествие?..»

«Если все мы — частицы Бога, то чутко вслушивайтесь в себя, и душа сама подскажет путь к истине. Не всегда кратчайший, потому что каждый обязан пройти свой собственный путь…»

Работая над новой книгой, Денис снова и снова задумывался: что дала силам Тьмы смерть Анатолия? И почему именно Анатолия? Дьявол, или кто там ещё, смущает всех, но уничтожает далеко не каждого, ибо в этом случае душа убиенного уже неподвластна ему. Устранение через уничтожение плоти — это крайность. Охота обычно идёт за «просветлёнными» — так их, помнится, называл Анатолий, — которые отличаются от обычных людей. Человек, как сказано в Библии, это «подобие Бога». Сжимающаяся и расширяющаяся Вселенная — эти процессы схожи с теми «вывертами», которые происходят с человеком при его смерти и рождении: то он внутри Мира — то мир внутри Него. Можно всю земную жизнь готовиться к «выверту» — и в конце просто не успеть! Может быть, безвременно погибший или бездарно проживший жизнь человек — это целая погибшая галактика…»

Денис неожиданно осознал, почему он оказался именно здесь, в Сибири, возле Боруса, рядом с Анатолием. Действительно, судьба всё время словно бы обрубала его попытки уехать в другое место. Так, собирался в командировку за границу, уже оформил все документы — и простудился, слёг с плевритом. Только сейчас наступило прозрение, что обстоятельства всё время привязывали его к этой земле: привязывали болезни, привязывали женщины, привязывала дочь… А отныне он уже навсегда и осознанно будет привязан к этому месту — здесь передовая его личной битвы…

На сороковой день Денис ездил на могилу Анатолия. День был тёплый, ласковый, вокруг кладбища благоухало луговое разноцветье — и как-то не верилось, что Анатолия больше нет, что он пал на той незримой войне, которая проходилаи — пока — как будто мимо Дениса…

Это произошло, когда он возвращался с кладбища. Погруженный в воспоминания, Денис сидел в автобусе и в очередной раз перебирал в памяти их первую и последнюю встречу на Борусе. С каждым разом эти воспоминания делались всё отчётливей, вспоминались детали; казалось бы, ничего особого не означающие слова вдруг приобретали особый смысл…

«Друзей выбирают не умом, а сердцем. Это только нужных людей — умом». Так, помнится, сказал Анатолий. А ещё он спросил: «Писатель — это ведь особенный, тоже избранный человек. От обычных людей он отличается тем, что в каждом своём произведении проживает ещё одну, параллельную, жизнь. Как правило, более яркую и значимую. Я сейчас говорю даже не о том, что каждое произведение накладывает свой отпечаток на дальнейшую жизнь человечества… Мне просто интересно знать, когда же писатель бывает настоящим — там или тут?»

«Именно в книгах я настоящий, — только теперь смог уверенно ответить Денис, — потому что создаю свой мир и живу в нём по своим законам, без внешней шелухи и наслоений…»

Мысль неожиданно оборвалась — Денис вынырнул из водоворота размышлений и воспоминаний, потому как ощутил, что у него странно немеет затылок. Нет, даже не немеет — он просто перестал затылок чувствовать, и мысли словно бы улетали в образовавшуюся пустоту. Попытался проанализировать это незнакомое ощущение и вдруг понял, что кто-то пытается проникнуть в его сознание. Словно сотни тончайших прилипчивых нитей вползали сзади под черепную коробку и присасывались к его мозгу. Мысленно он стал отрывать их, но этих нитей с каждым мгновением становилось всё больше, они опутывали уже и руки, двигать которыми даже в виртуальном пространстве становилось всё труднее и труднее.

И тогда — опять же мысленно — Денис достал большой нож. Нет, это был меч — длинный и узкий. Но теперь даже меч с трудом справлялся с неотступающими, опутавшими уже всё тело нитями-щупальцами. Вскоре лезвие меча раскалилось добела, а пространство позади заполнилось какой-то густой тёмно-зелёной жидкостью. Единственное, чего удалось достичь, — это временного равновесия сил… Денис менял тактику, нанося то удар «взмах веера», то «змейку», то «капюшон кобры» — он и сам не мог понять, откуда в голове рождались такие названия, — но густая стена щупальцев тут же заполняла прорубленную мечом брешь. Удивляясь, что он откуда-то знает все эти боевые приёмы, искал выход — ибо такое противоборство могло продолжаться как угодно долго. Вернее, до тех пор, пока он, Денис, не выдохнется.

А неведомый противник уже пытался охватить его с флангов и полностью отрезать от окружающего мира. И тогда Денис применил «купол»: огненное лезвие раз за разом описывало сферу от головы вокруг его тела, рубя и кромсая до самой поверхности земли враждебную плоть. Словно бешено вращающиеся лопасти вертолёта! Но и этот приём, похоже, давал не победу, а лишь временный паритет сил и передышку. Зато полностью освободилась левая рука — и в ней откуда-то появился короткий трезубец. Пока Денис сосредотачивался для решительного удара, три металлических зубца раскалились до такого же белого цвета, что и меч.

Этим огненным трезубцем он и ударил того, кто находился сзади,—прямо в чёрные провалы глазниц. И сразу же ощутил удивительную лёгкость в голове и во всём теле…

Поднимаясь с сиденья, Денис не удержался и обернулся—позади сидел какой-то тип довольно неприятного вида, с бледным лицом мертвеца. Глаза его были плотно закрыты. Похоже, что незнакомец находился в глубоком обмороке…

Выходя из автобуса, Денис повесил на спину зеркальный отражающий щит—на случай, если незнакомец вдруг очнётся. Лучшая защита, чтобы тот не смог его проследить. Дениса уже не удивлял неизвестно откуда возникающий боевой арсенал—он просто знал, для какой цели служит каждое оружие. А также и то, что такой щит у него есть…

Ночью Денису снился удивительный сон: будто бы откуда-то издалека, но очень ясно и подробно он видит город. Некий стилизованный город вне времени—то ли средневековый, то ли современный. Узкие улочки, серый камень, на запруженной людской массой площади возвышается не то эшафот, не то деревянный помост. На нём стоит человек в мантии и с маленькой короной на голове—царь или правитель. Широкоплечий, чернобородый, двумя руками держит обнажённый меч—а внутри, в душе, страх и отчаянье. Толпа окружила помост и жаждет крови: в устремлённых взглядах—трусливая ненависть. Почувствовав далёкий взгляд Дениса, чернобородый как бы прислушивается к небу—и в его душе рождается надежда. Он как будто и до этого всё ждал и надеялся на какую-то помощь со стороны… Может, именно со стороны Дениса?.. Вот он поднимает горящий белым пламенем меч над головой—и толпа шарахается, словно стая увидевших льва шакалов…

И уже утром, перед самым пробуждением, привиделся ещё один—нет, даже не сон, а возникшее перед глазами колеблющимся миражом видение. Он увидел высокую каменную стену то ли монастыря, то ли большого города. Как и в первом сне, увидел очень близко, осознавая при этом, что находится бесконечно далеко от данного места. Вокруг то ли пустыня, то ли просто песок. Возле самой стены стоит ребёнок лет десяти. Неясно, мальчик это или девочка… Ребёнок смугл, бос и почти гол. Очень низкое, по всей видимости вечернее, солнце освещает стену—и ребёнок напряжённо всматривается в сторону горизонта. Он чего-то, вернее, кого-то ждёт. И Денис, находясь очень далеко, смутно чувствует, что ребёнок ожидает именно его, причём уже не первый день. Он, Денис, как бы перелистывает мысленно всю прошлую жизнь этого маленького человека. В ней вера и ожидание… Тут он замечает, как ребёнок встрепенулся—видимо, почувствовав возникшую между нами связь. Нет, уже не просто мысленную связь, ведь Денис летит через пространство и стремительно приближается—чтобы стать его опорой, чтобы стать его силой.

Странные порой приходят сны…

— Поразительно, но он справился с Чёрным Воином, не прибегнув к помощи Хранителя!

— А я всегда говорил, что это очень способный ученик. Теперь уже мой бывший ученик…

— Ты снова от него отказываешься? Почему?

— Нет, это он отказался от своего Учителя. Ответы на все вопросы он привык находить сам…

— В конце концов, однажды он просто заблудится!

— Может быть. Но он снова самостоятельно найдёт правильный путь, как находил его до этого. Он пойдёт дальше—и скоро сам станет Учителем. В какой-то степени он им уже стал…

Василий Димов

Кафказус

Я с огромным интересом слежу за творчеством писателя Василия Димова. Читателям журнала «ДиН» это имя уже знакомо по публикации романа «Тбилиссимо», впоследствии переведённого на несколько языков, в том числе и на грузинский. После выхода книги в Грузии читающая публика разделилась на два лагеря. Одни назвали Димова «познавшим грузинскую душу», зато другие — русским шпионом и грузинофобом.

Автор нескольких книг так называемой *экспериментальной* прозы Василий Димов занимает в современной русской литературе своё, отдельное место. Тексты его могут нравиться или нет, однако факты — упрямая вещь. Димова не спутаешь ни с кем, хотя читать его трудно и это почти работа, а не развлечение. Но занятие полезное и питательное. Напевность, утончённая гармония его полупоэтических-полупрозаических строчек впечатляют и манят познать, расколдовать ту таинственную реальность, что так искусно выстроена автором.

В прозе Димова лично я нахожу следы влияния немецких экспрессионистов конца роковых сороковых прошлого века, тогда как некоторые его строки и абзацы перекликаются с поэтическими заклинаниями современного российского автора, «дервиша» Тимура Зульфикарова. Впрочем, многоплановые тексты Димова позволяют каждому читателю сделать собственное открытие. Это — наша литература. Качественная, настоящая, русская, а не пластиковое, гламурное её подобие.

Евгений Попов

Если бы господин К. страдал географией и знал о существовании Кавказа, он бы наверняка включил его в свой процесс.

Нырнуть в море Каспийское, а вынырнуть на берегу Чёрного. Назад — пешком по суше. Вот тебе и кругосветное путешествие.

Дорога

Узкая тропа ведёт вверх.
Ведёт извилисто и хитро.
То скользит по краю холодящей воображение пропасти, то с трудом продирается сквозь пугающие акустикой лесные дебри.
Страшно произнести даже слово — содрогнёшься от собственного эха.
Потому я и иду, дав вынужденный обет молчания.
В любую погоду.
В любом настроении.
Не чувствуя усталости и не задавая себе бестолково-мучительных вопросов: куда и зачем?
Спасибо редким встречным: они хоть поглядывают на меня с удивлением, а иногда и подозрением, в улыбке всё же не отказывают.
Интуиция, видимо, им подсказывает, что случайных людей в горах не бывает.
А коль человек, пусть и пришлый, забрался сюда — на то воля Божья.
Наверное, поэтому никто меня не останавливает.
Не беспокоит.
И ничего не навязывает.
В горах — не на равнине.
В горах уважают чужую свободу.
Причём не меньше, нежели свою.
Так что, если сам душу не откроешь, никто в неё лезть не станет.
В горах особое представление о приличии, терпимости и табу.
Это чувствуется даже при мимолётной встрече.
И чем ближе к небу, тем отчётливее.
Узкая тропа ведёт вверх.
Ведёт по известной только ей одной траектории.
Но не к какой-то поставленной цели.
Наоборот, от всего конкретного, постулатного тропа меня уводит.
Освобождая от идей и замыслов прошлого.
Не напоминая ни о чём, что осталось там, на суетливой равнине.
И я ощущаю, как постепенно становлюсь частью пейзажа, который у меня на глазах превращается из былых фантазий в явь.
Кавказ налево.
Кавказ направо.
Шаг за шагом, будто мысль за мыслью.
Похоже, я зашёл слишком далеко.
Потому что вдруг осознаю: Кавказ — во мне.
С его слепящими снегами и горячей кровью.
С его неискупленными грехами, любовью, вспыльчивым нравом.
Вот она, граница между всеми ранее накопленными знаниями и ещё неизведанным.
Вот он — нулевой километр вечности.
Одновременно камень и дух мироздания.
Остаётся только сделать глубокий вдох и раскрыть во всю ширь свои объятия.
Но как объять необъятное?
Или хотя бы его осмыслить?

Предо мной — великая «Мольба»[1]!
Непревзойдённая полнометражная истина!
С её божественно-дьявольскими образами и монотонными пшавеловскими стихами.
Я торжественно даю себе слово больше никогда не бояться высоты и не оглядываться назад.
Ведь я нашёл то, что искал так долго.
Что видел до сих пор только на экране.
Отныне облака — моя новая страсть.
Отныне я могу прислушиваться не только к себе, но и ко всей Вселенной.
Однако неожиданно я ловлю себя на мысли, что у доносящегося со всех сторон приглушённого пения одна и та же мелодия, тогда как слова намешаны из разных и совсем непохожих языков.
Я замираю.
Пытаюсь разобраться в звуках.
Но от путаного вавилонского разноязычия начинает кружиться голова.
В какой-то момент я понимаю, что общая мелодия — это ещё не общая песня.
И общая Башня — отнюдь не общая история.
Не существует вечной дружбы хотя бы без капли вечной вражды.
А капля способна разрушить даже самый прочный земной камень.
Узкая тропа ведёт вверх.
Ведёт с уверенностью правильно выбранного пути.
День сменяется ночью.
Любопытство — смирением.
Бледная луна с провалившихся небес укоризненно смотрит на всё происходящее внизу.
Уж она-то наверняка знает, что у каждого народа свои слова к песне, а значит, свой смысл и своя собственная истина.
Потому что истины одной на всех не бывает.
Единственной, неповторимой её признают только на родной ей земле.
И искренне она звучит только на родном ей языке и с родной интонацией.
Это подтверждает эхо шумных застолий.
Более веского доказательства, наверное, и не требуется.
Хотя чем больше таких доказательств, тем меньше шансов в каждое из них поверить.
Я смотрю на луну и не смею ей возразить.
Я — нем.
И беспомощен.
«Мольба» реальная тут же гаснет, вновь превращаясь в чёрно-белое кино.
Как жаль, что она была лишь миражом.
Оказывается, великая истина — ничто по сравнению с людским разноязычным хором.
Но разочарование длится недолго.
Под натиском фантазий оно отступает.
От облаков я заряжаюсь энергией.
И меня уже ничто не может остановить.
Потому что обратного вектора в горах нет.
Как нет в горах и прошедшего времени.
Переведя дух, я продолжаю путь.
И думаю только о нём.
Каким бы далёким и бескомпромиссным он ни выдался.
В надежде на новые откровения.
А может, и на новые оправдания.
Кто знает, вдруг луна поделится со мной и другими своими тайнами.
О которых раньше почему-то молчала.
Я протягиваю ей руку.
Признавая её право на вечность, я верю в её одушевлённость.
Теперь мне есть с кем дружить.
И чем дорожить.
Ничего, что человеческая жизнь для неё лишь скоротечный фарс.
Узкая тропа ведёт вверх.
Ведёт, упрямо наматывая круг за кругом.
Будто ввинчивает меня в небо.

Солнце

Толпы возбуждённых тамагочи стекаются к центральной площади.
Толпы бросивших все свои дела мужчин и женщин занимают оборону.
Но это лишь уловка.
Манёвр.
А баррикады — декор.
На деле народ рвётся в атаку.
Народ устал от бездействия.
У каждого в сердце пожар, и кажется, что пламя вот-вот вырвется наружу.
При этом предчувствие грандиозных событий не только крепко сжимает кулаки, но и не даёт покоя воображению.
Тамагочи больше не хотят жить по-старому.
Сегодня они всей нацией ринулись к рубежу новому.
И ничем их не испугать.
В воздухе запахло не только порохом, но и славой.
Все видят себя отлитыми в бронзе.
Все мечтают быть воспетыми в гимнах.
Даже лучшие умы — типичные интеллигенты, пьяницы и флегматики — перестали по-детски ныть и без умолку философствовать.
Теперь и они готовы сменить никчёмные застольные монологи на поступки.
Жизнь обрела новый смысл.
Жизнь поменялась прямо на глазах.
Столица впервые за многие века засверкала глянцем типографских красок.
Тротуары устланы листовками.
Стены домов обклеены плакатами.
С невозмутимыми лицами народных лидеров.
С цитатами-хитами из зачитанных собраний дедов и прадедов.
Сегодня предки вновь вдохновляют.
А их былые подвиги как никогда востребованы.
Вот лучшие образцы для подражания.
Никто не смеет сегодня отступить.
Ничьё сердце не может сегодня солгать.
Настал час, которого тамагочи ждали всю свою затянувшуюся историю.
Колокол ударил.
Паства перекрестилась.
Страна проснулась.
Эта новость молниеносно разлетается по свету.
Правительства и парламенты, не ведавшие до сих пор о существовании в космосе столь

1. «Мольба» — фильм грузинского режиссёра Тенгиза Абуладзе по мотивам поэзии Важи Пшавелы.

экзотической звёздочки, шлют срочные поздравительные телеграммы.
Их переполняет сострадание.
На них нисходит добродетель.
Они хотят подбодрить младших братьев.
И заодно поскорее принять их в свою систему координат.
Разве не в этом вселенский долг старших?
Высокие мировые чины с азартом включаются в новую астрономическую игру и не скупятся на дипломатический сахар.
Который тут же, на площади, растворяясь, щедро разливается из всех громкоговорителей.
Самолёты с тайными и явными советниками немедленно взлетают на подмогу.
Без них не обходится ни одна эволюция.
И уж тем более ни одна контрэволюция.
Невидимая дирижёрская палочка быстро находит своего залётного маэстро.
Площадь наполняется пением.
Пение чередуется с танцами.
Концерт только с виду обыкновенный.
По сути же, это жертвоприношение.
Апофеоз проснувшегося национального духа.
Артисты в костюмах едва успевают сменять друг друга.
Сразу после выступления пополняя ряды затаивших дыхание эволюционеров.
Такому спектаклю позавидовал бы сам Образцов.
А тут ещё зрительный зал—весь мир.
К полуночи интрига расползается по тускло освещённым улицам и переулкам.
Даже окраины приходят в движение.
Мир взволнован.
Без прямого включения с места событий не обходится ни один выпуск worldnews.
Микрофоны орут.
Камеры бдят.
Корреспонденты потеют от напряжения.
Ещё бы!
Велика ответственность перед историей.
Велика вероятность войти в историю.
Меня же сия почётная участь миновала.
Я слежу за происходящим по телевизору.
За тридевять земель от реальности.
Лёжа в постели.
С огромным кульком безвкусных сухарей, от которых уже сводит скулы.
Я тоже переживаю за судьбу тамагочи.
Но переживаю зря.
Сегодня они в центре внимания.
Сегодня они под присмотром искусных магов и разных почётных мэтров.
А значит, обречены на победу.
Нация окончательно потеряла сон.
И есть отчего.
Нация нашла себя.
Кнопка от пульта будто застыла на одном канале.
Улыбка Лидера постоянно крупным планом.
Интервью на английском, интервью на французском.
Пару слов на своём, экзотическом.
Заученная импровизация.
Отработанная жестикуляция.
В окружении смеющихся соратников—то ли по созданной на скорую руку партии, то ли по последней ночной party.
Толпа, перебивая собственное эхо, в полный голос ревёт: «Свобода, свобода!»
Остальных слов не разобрать.
Да они и не столь важны.
Толпа на грани нервного срыва.
Тысячи одновременно открывающихся ртов на фоне реющих флагов—масштабное зрелище.
Даже на экране старенького четырнадцатидюймового телевизора.
Так утверждается хоровое единство всех тамагочи.
Так рождаются новые вечные ценности.
Старые тут же приходят в негодность.
Куранты над площадью, как образ всего безвозвратно ушедшего, замирают.
Все вокруг переводят стрелки часов.
Время менять кумиров и спонсоров.
К трибуне, будто из-за кулис, неожиданно подкатывает грузовик с живыми цветами.
Раздают всем желающим.
Раздают как оружие.
Эволюция приобретает размах.
Запах.
И цвет.
Эволюцию не остановить.
Комментатор в моём телевизоре что-то бубнит на иностранном языке.
Без пауз.
Без страсти.
И хоть какого-то интереса.
Похоже, всё происходящее в далёкой неизвестной стране его не волнует.
Или он мало что понимает.
А может, ему просто хочется спать.
Как и мне.
Скоро рассвет.
Кулёк с сухарями пустеет.
Скомканный бумажный мяч летит точно в урну.
Три очка!
Я выключаю телевизор.
И тут же зарываюсь под одеяло.
Под тяжёлый гул песен и назойливых речей я мгновенно теряю сознание.
Подсознание же не дремлет.
Подсознание продолжает жить игрой, понятной лишь ему одному.
Мне снятся герои нескончаемой трансляции.
С их навязчивым артистизмом.
И неуёмной энергией.
Будильник неожиданно нажимает на стоп-кадр.
Сквозь сон я читаю заголовки газет.
Репортёры промучились ночь не зря.
Что ни заголовок, то крик души.
Что ни снимок, то вырванное из толпы лицо обретшего свободу.
Отныне тамагочи надоело быть просто игрушкой.
Кормить и пеленать себя—теперь его суверенное право.
Мне же сегодня, похоже, выспаться не удастся.
Надо обзвонить всех: вдруг кто не видел этого красочного ночного шоу?
Вдруг кто-то отстал от жизни?

Я набираю первый попавшийся номер.
Но передумываю и кладу трубку.
Я замечаю на стене яркую полоску света.
И… принимаю её за некий знак свыше.
В мыслях происходит переворот.
Во мне оживают чувства.
Я настежь открываю окно.
Я вызываю на себя новый день.
Да здравствует серебристая прохлада!
Да здравствует свежий ветер!
История подождёт.
Какое счастье — возвращаться иногда на землю.
С восходом солнца вас, братья по разуму!

Море

Авлабар[2], по сути, стихия водная.
Хотя с виду — каменная.
«Море хочу, море!!!»
Кричали все, у кого не было моря.
Кричали, свистели, хлопали в ладоши.
Самые отчаянные топали ногами.
Самые нервные вскакивали с мест.
Похвастаться морем не мог никто.
Чужих в зрительном зале не было.
Вот почему к морю рвались все.
И вместе, и по отдельности.
С одинаковой злостью и воодушевлением.
С на редкость одинаковым выражением лица.
Всем хотелось лично поучаствовать в маленькой театральной фантасмагории.
Превратить прошлое в настоящее.
Желаемое — в действительное.
Тайное патриотическое — в доступное географическое.
По рассказам предков все знали, что давным-давно у них было всё.
И море (о море!) в том числе.
Поэтому не стоило удивляться происходящему.
Атмосфера в театре на Авлабаре напоминала «Девятый вал» Айвазовского.
Сцена и зал сливались в экстазе.
А спрессованное временем инакомыслие наконец освобождалось от комплексов и страхов.
Больше никому не нужно было притворяться и лгать самому себе.
Артистам в том числе.
Какое, к чёрту, искусство, когда кипит кровь!
Когда так и тянет взяться за ружьё.
И навсегда разобраться с вековыми врагами, когда-то отнявшими море.
Правда, поначалу пьеса развивалась довольно уныло, в духе мыльного жанра.
Ни в чём не противореча ни преданиям, ни системе Станиславского.
Взрыв прогремел в эпизоде, в котором десятилетний ребенок, он же будущий царь, неожиданно вырвался из рук купающей прислуги и его принялась ловить добрая половина всего актёрского состава.
Юное создание металось по деревянному подиуму, оставляя за собой мокрые следы.
При этом с детской непосредственностью и прямотой озвучивая выстраданную столетиями главную национальную идею.
Он протягивал руки вверх, к Богу.
Он обращался за помощью к зрителям.
Он отказывался смиряться.
Таза ему было явно маловато.
И по годам, и по происхождению.
Он требовал моря.
Настоящего моря.
Хотя о существовании его знал лишь со слов тех, кто сам его никогда не видел.
Во всяком случае, на родной географической карте.
Ну как можно было оставаться безучастным к разыгравшейся трагедии?
Рёв продолжался два с половиной часа.
Два с половиной часа авлабарская Земля вращалась в обратную сторону.
Не желая останавливаться.
Не желая никому подчиняться.
Назло всем соседям и вопреки так называемому здравому смыслу.
Казалось, вот-вот произойдёт землетрясение.
И стены рухнут.
Но на сей раз Бог сжалился над людьми.
Простив им их шум и ярость.
Списав всё на стечение художественных обстоятельств и магию театра.
Он, как никто иной, понимал суть происходящего.
И сочувствовал всем собравшимся.
Ведь театр — всегда провокация.
Провокация — всегда театр.
Для воображения в первую очередь.
Только театр позволяет увидеть на сцене то, что даже во сне не приснится.
Именно поэтому он столь необходим зрителю — чтобы надежда умирала последней.
Но ещё лучше, чтобы не умирала вовсе.
Переходя от режиссёра к режиссёру.
От постановки к постановке.
От поколения к поколению.
А там — кто знает: может, когда-то родится тот предводитель-фокусник, который однажды вновь одарит авлабарских землян морем.
Пока же роль фокусника взял на себя театр.
За что зрители благодарили его не только аплодисментами, но и слезами.
Несомненно, премьера удалась.
Накричались вдоволь.
Намечтались тоже.
Однако мечтать — не воевать.
Слава Богу, до серьёзного порыва овладеть морем дело не дошло.
Наваждение оказалось временным.
По крайней мере, после этой премьеры шумиха потихоньку улеглась.
Хотя горячие призывы звучали.
Да ещё какие.
И не только из зала.
Но власти и критика сделали вид, будто ничего крамольного не услышали.
Спектакль все в один голос назвали драматической импровизацией.
Творческим поиском.
А иначе быть не могло.
Все критики, как и чиновники, давно подкуплены.
Все моря давно поделены.

2. Авлабар — район Тбилиси, исторически населённый армянами.

И никому не придёт в голову расстаться даже с каплей солёной собственности.
Будь то во славу соседского братства.
Или во имя торжества справедливого материализма.
История часто не в ладах с логикой.
И уж тем более с географией.
Поэтому, конечно, обидно не иметь моря, когда у всех вокруг оно есть.
Которое, кстати, было и у тебя.
Обидно, ох как обидно.
И вряд ли эта обида когда-нибудь пройдёт.
Вот почему впереди — новые премьеры.
Новые сценические сюрпризы.
Новые зрительские волнения.
Аншлаг обеспечен на сотни лет вперёд.
И никуда от этого не деться.
Потому что Авлабар — в первую очередь стихия водная.
А значит, непредсказуемая и коварная.
Так что не обольщайтесь те, кому она кажется со стороны каменной.
То есть неуклюжей и терпеливой.
Скромные желтоватые афиши — бескомпромиссное тому подтверждение.
Театру под силу низвергнуть любой памятник и опровергнуть любую летопись.
И неважно, как это потом назовут: оригинальной конструкцией или подделкой под видом художественной реконструкции.
В истории все места святы, и пустыми им не быть.
Режиссёры об этом позаботятся.
Фантазии у них достаточно.
Да и наглости не занимать.
Не верите?
Я тоже не верил.
Но один художник уговорил меня сходить тайком на лишний билетик.
Море — *über alles.*

Небо

Конечно, революция меньше, чем любовь, но она всё-таки больше, чем обычное гормональное расстройство.
В ней тоже всё происходит по зову сердца — от группового подпольного знакомства до группового восхождения на эшафот.
Да и эпилог у неё всегда один и тот же — воплощённое в камне вечное признание потомков, которое можно отыскать в каждой стране, в каждом мало-мальски уважающем себя городе.
И, как следствие, в каждом местном путеводителе.
Комиссары востребованы везде и во все времена.
Без них — как во тьме.
Они — земные боги своих эпох.
Хотя нередко — их неизбежные рабы и жертвы.
Где-то их было 26, где-то в кожанках маршировали целые батальоны, а где-то и сурового одиночки хватило с избытком.
Впрочем, число комиссаров, их национальность и вера особого значения не имеют.
Независимо от арифметики, группы крови и головного убора, они неизменно добиваются похожего диалектического результата.
И в созидании.
И в разрушении.
И просто в беспорядочной стрельбе.
С их подвигами ассоциируются не только конкретные даты, но и целые города.
Я во многих из них бывал.
Я полюбил их.
Я любил в них.
Но один — более других мне мил и дорог.
Какая там икра!
Ковры!
А бани!
Город-мираж.
Город-обольститель.
Город-факир.
С первого же взгляда он пленяет своим воздушным пряным колдовством.
Он увлекает за собой в нирвану.
Втягивая и твою душу, и твоё тело в идиллическую симфонию запахов, форм и размеров.
До сих пор удивляюсь, как мне удалось когда-то вырваться из его объятий.
Да и зачем я это сделал?
К тому же — по собственной воле.
Ведь я мог купаться в своём восточном счастье до бесконечности.
По ночам от воспоминаний бросает в жар.
Так и тянет туда опять.
Я готов раскаяться.
Готов вернуться.
В мраморное царство сладостей.
В гости к святому Валентину в бордовой феске.
Вот где знают толк в удовольствиях!
Вот где горячо дышит любой и каждый.
Причём революционные страсти страстям телесным не помеха.
Скорее наоборот — они придают мыслям смелости, а чувствам пикантности.
Они — часть местного колорита.
Продолжение национального духа.
И естественный повод для общения.
Как естественно в этом городе всё, на какую улицу ни загляни.
Почти все женщины привлекают своей словно затянутой корсетом талией.
И игриво раскачивают бёдрами при ходьбе.
Почти все мужчины не без гордости позируют с кинжалом в руках.
И взахлёб рассказывают байки о многочисленных героях-родственниках.
Восхищаясь как бы мимоходом и парой эпизодов из личной храбрости.
Вот почему первое свидание — на площади у главного революционного монумента.
Первая фотография на память — там же.
Или в Национальном музее.
Или на помпезной аллее Славы, в тени декоративно плачущих деревьев.
Такой памяти в моём жадном мозгу накопилось на многие мегабайты.
И в минуты усталости или скуки есть чем потешить своё воображение.
Но одних воспоминаний порой становится мало.
Душа и тело постоянно требуют новых историй.

А значит, и новых внутренних взрывов.
Труба зовёт.
Зовёт прямо на передовую.
Хочется вновь неспешно пройтись по местам давних интриг и приключений.
Хочется выпить крепкого чёрного чая в открытом кафе на набережной, в окружении лениво гуляющих, подобно голубям, гламурных бездельников.
Хочется вновь прикоснуться ко всему рукой и обласкать всех взглядом.
И вот однажды я возвращаюсь в этот волшебный мир, изнывающий от солнца и несмолкающего нытья древних теснифов.[3]
Чтобы перезагрузить память и одновременно убедиться в незыблемости тамошних соблазнов.
Революция и любовь хоть и не синонимы, тем не менее, по силе эмоций и драматических развязок они друг другу не уступают.
Поэтому не надо искать между ними антагонизма или противоречий.
Наоборот, нередко они сплетаются в земной символ гармонии.
Я преклоняюсь перед этим сочетанием.
Я снимаю шляпу перед моим любимым городом.
И возлагаю к его ногам венок.
Из слов, цветов и придыханий.
Мне правда нравится город-комиссар на берегу зелёного пенистого моря.
На фоне вылинявшего от страстей неба.
Город усатых джентльменов, потных красавиц и ароматной сырой нефти.
Город, в котором здравствуют выпуклоягодные близнецы — Сам[э]д, Мам[э]д и Ахм[э]д.
Уже в самолёте я начинаю пить за их чугунное борцовское здоровье.
За их олимпийскую хватку.
И чемпионский выдох.
Бутылка терпкого шампанского — вот и вся продолжительность полёта.
А через несколько часов я опять оказываюсь в ласковых объятиях морского бриза.
В своём почти родном кафе.
В окружении, как мне кажется, всё тех же довольных собой и жизнью физиономий.
«Один чай, пожалуйста, и покрепче!»
Официант молчалив, но по обычаю улыбчив.
Вприкуску — особая церемония.
А то, что немного вяжет во рту, ничего.
Так всегда после долгого воздержания.
Я расслабляюсь.
Я увлекаюсь.
Вечер на берегу — это больше, чем просто смена палитры на закате дня.
Соль.
Сахар.
Блаженство.

Застолье

Вино льётся.
Льётся звучно.
Стереофонично.
Подобно маленьким горным водопадам.
Эхом ворвавшимся в нетопленый школьный спортивный зал вместе с праздником.
За растянувшимся по периметру столом народу с полторы сотни.
В основном мужчины.
В основном небритые.
Все в тёплых куртках.
И никто не торопится их расстёгивать.
В горах нынешний сентябрь напоминает, скорее, обозлённый ноябрь.
Но разве такая погодная нелепость может повлиять на застольную боеготовность?
Все в хорошем настроении, хотя и не при параде.
Все в предвкушении пира.
О котором, протрезвев, можно будет раструбить на весь мир.
Есть дни, когда равнодушие не имеет права на существование.
Праздник и панихида — от Бога.
Сегодня — черёд праздника.
Горячее дыхание полутора сотен горцев быстро разогревает пространство.
А подвешенный на гимнастических кольцах национальный флаг и несколько икон на подоконниках восполняют недостающую торжественность.
Вино льётся.
Льётся вызывающе.
Нарочито.
Через край кавказской щедрости.
На грани благого человеческого разумия.
Тамада не даёт перевести дух.
Затягивая тугую петлю на горле каждого бесконечными тостами.
Патриотизму под дружные крики «гаумарджос» нет альтернативы.
Как нет альтернативы застольному обычаю — переворачивать стаканы.
Причём все стараются сделать это размашисто и раньше соседа.
Чтобы продемонстрировать своё пускай и маленькое, но всё же превосходство.
А заодно оправдать высокое звание патриота.
Любовь к Родине набирает градус.
Любовь к Родине выправляет курс.
И накрахмаленная белая скатерть постепенно превращается в словно пропитанную свежей кровью перевязочную ткань.
Несмотря на то, что праздник сегодня мирный, чаще всего говорят о последней войне.
О безымянных героях.
О якобы ожесточённых сражениях.
Подтверждая и опровергая слухи.
Вспоминая онлайновские картинки с телевизионного экрана.
Тему же личного участия все деликатно избегают.
Ни солдат, ни добровольцев за этим огромным столом не оказывается.
Уберечь себя от войны — это тоже искусство.
Впрочем, как и умение говорить о чужих подвигах будто о своих собственных.
Все пьют стоя.
И я пью стоя.
Все пьют за Победу.

---

3. Тесниф — малый вокальный жанр азербайджанской музыки.

И я пью за их Победу.
Случайных людей в спортзале нет.
Я — в одиночестве.
Вопросов не задаю.
Сомнений вслух не выражаю.
Тем не менее застольная кротость меня не спасает, когда тамада предлагает тост за гостя.
За человека, о существовании которого он до сегодняшнего вечера и понятия не имел.
Это правда особый тост.
Жгучая смесь гостеприимства, лести и воинственного романтизма.
«За здоровье нашего самого доброго, самого честного, самого смелого друга!»
О, если б можно было в сию минуту заткнуть уши.
Мне даже предлагается, точнее, доверяется взять в руки оружие.
И встать на защиту их Родины.
Но я делаю вид, что не слышу этих слов.
Я не знаю, что сказать в ответ.
На Кавказе зыбка и переменчива не только погода.
Отношения между целыми народами природе там ни в чём не уступают.
Сегодня — объятия, завтра — вражда.
И наоборот.
Так что совсем не хочется вникать и уж тем более встревать в чьи-то междоусобицы.
И всё же, приняв слова тамады за часть ритуала, я благодарю за доверие и вливаю в себя положенный литровый рог вина.
После одобрительных выкриков всякое внимание ко мне сразу ослабевает.
Меня вычёркивают из списка.
Обо мне забывают.
Тамада же продолжает мучить остальных.
Под любыми предлогами.
И с той же почти поэтической навязчивостью.
При этом с каждым новым монологом его речь становится всё сбивчивее.
А её смысл всё путанее.
Ореол главы стола безнадёжно меркнет.
Превращаясь в обыкновенное пьяное высокомерие.
Не более.
И никто из присутствующих не в состоянии остановить этот естественный процесс.
Вино льётся.
Переливается.
То ли по традиции.
То ли по инерции.
Но чувствуется, что уже из последних сил.
Судя по воспалённым лицам пьющих, оно уже не доставляет им удовольствия.
Это похоже, скорее, на испытание.
Уши устали внимать призывам.
Руки устали поднимать стаканы.
Никто больше не смотрит на тамаду как на маленького вождя.
Забыв не только обо всех его тостах, но и о самом поводе для торжества.
Каждый замыкается в себе.
В собственных пьяных фантазиях и чувствах.
Праздник спускается всё ниже с горных высот.
Праздник ретируется.
Теряя в застольном хаосе свою первозданную образность и величие.
Наполовину гаснет свет.
Гул стихает.
Кто-то пытается затянуть песню.
Грустную.
Скорбную.
Поминальную.
Но его хватает лишь на один куплет.
Бессилие остальных его останавливает.
Увы, разговоры о войне всегда отнимают слишком много энергии.
Особенно бравурные.
А может, просто вино оказалось на сей раз крепче обычного.
Праздник шепчет отбой.
Праздник застывает.
По всему периметру.
В угасающем звоне гранёного стекла.

Гора

Если гора не идёт к Магомету, то разъярённый Магомет сам идёт к горе.
Чтобы взять её приступом и водрузить на вершине свою искривлённую в полумесяц саблю.
От Магомета, как и от его бритоголовых янычар, можно ждать любого экспромта.
Любой импровизации.
Любого телодвижения.
Причём всегда с фатальным исходом.
Его претензии — все стороны света.
Его величие — в бесконечности.
На лице Магомета не бывает добрых масок.
Потому никто из соседей в глаза ему лишний раз не заглядывает.
Уж кто-кто, а они-то знают, что может выйти из этого любопытства.
Можно не только испугаться.
Но и обжечься.
Так все и живут.
Уже который век.
Как в нескончаемом сериале.
В ожидании новых экспромтов.
Новых поражений.
Новых обид.
Предпочитая постоянно изображать фальшивое миролюбие и воевать с Магометом виртуально — мифами, песнями, танцами.
На худой конец, апелляциями к Всевышнему, истории и чужим парламентам.
Бесчисленные проклятия, не отличающиеся разнообразием, не в счёт.
Их энергетика близка к нулю.
Как и их эффективность.
На этом сопротивление заканчивается.
Вот он и весь реванш.
Вот он и весь кураж.
Смелость отказывается брать города.
Даже свои бывшие.
Смелость сдала позиции.
Похоже, навечно.
Можно найти объяснение всему.
Но кому станет от этого легче?
Никто не хочет римейков прошлых драм.

Чтобы не потерять последнее.
Мало ли что ещё приглянется неуёмному Магомету, и он, как и в гору, вонзит свою саблю в очередной лакомый кусок.
К пастельным северным пейзажам злой гений особенно неравнодушен.
И дело не столько в их красотах.
С севера веет таинством.
Север дышит свежестью.
Там, за горой, прозрачнее вода и слаще виноград.
Да и кровь там быстрее впитывается в землю.
Что не раз уже было проверено.
И ещё не раз проверено будет.
Всё равно потом всё спишется на историю.
А может, и вообще забудется.
Тогда как заповедные места останутся под властью полумесяца навечно, заняв достойное место в разделе природоведения.
И ничего, что безлюдные.
Оттого они смотрятся ещё лиричнее.
Ещё трогательнее.
Музей под открытым небом.
На многие сотни километров.
Причём у Магомета не только завидный боевой дух.
Но и отменный художественный вкус.
Все завоевания это подтверждают.
Гора—жемчужина его коллекции.
И он плевать хотел на то, что некогда она принадлежала кому-то другому.
Что была для кого-то подобием иконы.
Хотя почему была?
Есть!
И будет!
Среди врождённых врагов янычар ещё остались патриоты-оптимисты.
И в первую очередь те, кто считает гору в полном смысле слова родной.
Они не признают уроков новой географии.
Наивно презирая всех, кто их признаёт.
Они не перестают лить слёзы и молятся в древних григорианских церквах.
Ненавидя предательские пророчества и чудачества.
Постоянно напоминая о своём горе Богу.
Потому что гора—их суть.
Гора—их прыть.
Гора—их всё.
Не только в высоком национальном, но и в банальном повседневном смысле.
И в качестве доказательства не надо ничего придумывать или выискивать.
Достаточно пройтись по улицам их розовокаменных городов и деревень.
На многих вывесках и просто этикетках эта гордость запротоколирована.
Включая подгузники, спортивные игры и ликёро-водочные изыски.
Куда уж убедительнее.
Дети, азарт, коньяк—святое.
Да и с точки зрения эстетики не придраться.
Впрочем, на разноцветные художества внимание можно не обращать.
Гора—совершенство.
Всё остальное—к ней приложение.
От политики до эротики.
Опровергнуть невозможно.
Ни логикой.
Ни действительностью.
Ни янычарами.
Царствие небесное Рубику.
Пары суматошных дней, проведённых с ним, мне хватило, чтобы воочию убедиться в том, о чём я раньше только слышал.
Утренний вид на Арарат из его ереванской квартиры на пятом этаже развеивал все мои сомнения.
Мне повезло.
Как может повезти дотошному туристу, который привык фотографировать не столько аппаратом, сколько собственными глазами.
Туман, будто по заказу, рассеялся.
А солнце ещё не успело ослепить пространство и исполняло роль боковой подсветки.
Это было зрелище.
Самого высокого разрешения.
Это было всем доказательствам доказательство.
Все злые сказки про янычар сразу же забылись.
И даже грозный Магомет без остатка растворился в моих восторгах.
Я простоял у открытого окна не менее часа.
Забыв про завтрак.
И обо всех наших планах на день.
Я не мог оторваться.
На меня из плена смотрел невозмутимый заснеженный красавец.
Точь-в-точь как на этикетках.
Прав был Рубик, когда называл альпинизм самым притягательным видом спорта.
Красавец воистину обладал гипнотическим взглядом.
Моё почтение.
Моё согласие.
Ну как отказаться от такого соблазна?

Храм

«Католики после службы раздают макароны».
«По две пачки в руки».
Слух по городу разлетелся за ночь.
С утра пораньше вдохновлённая толпа повалила в католичество.
Несмотря на дождь.
Длинную очередь.
И утраченную мечту о сытом будущем.
Сердобольная Польша не скупилась на посылки.
Ей, Посполитой, самой хотелось поскорее выбраться из болота униженных и оскорблённых.
Но для этого нужно было реанимировать свою давно померкшую гордыню.
И хоть над кем-то взять шефство.
Замаливая старые безбожные грехи, потомки Коперника пытались подняться в собственных глазах и заодно в глазах других.
Чтобы наконец-то показать всему миру истинно посполитый характер.
Шанс выпал.
Далёкая чужая страна с её вечными поисками и затянувшимися неудачами, словно хорошая примета, подвернулась кстати.
Количество посылок быстро перерастало в католическое качество.

А почти нежные пасторские благословения и холодные улыбки — в надежду.
Макароны на скудном обеденном столе стали вполне доступным блюдом и одновременно буревестником возрождения.
Макароны ели целыми семьями.
На завтрак, обед и ужин.
Целыми семьями разучивали новые молитвы, новые гимны, новые здравицы.
Разучивали как музыку.
И слух не изменял.
Получалось.
Отныне мимо ещё вчера родных православных церквей и церквушек многие проходили уже без привычного пафоса и волнения.
Иногда даже опустив голову.
Чтоб случайно не выдать своего непонятно откуда взявшегося высокомерия.
Жизнь менялась на глазах.
А вместе с ней менялись и несметные претензии к самой жизни.
Всего за несколько месяцев Его Святейшество Илия II стал для большинства любителей макарон простым смертным Ираклием.
Он уже не был в фаворе.
И не вдохновлял на добродетель.
Тогда как разноцветные календари с видом на площадь святого Петра нередко можно было встретить в домах католиков-дебютантов.
Для таких вера перестала быть догмой.
Она стала руководством к выживанию.
Тем более что было кому подсказать, подбодрить и направить.
Вездесущая Польша не скупилась не только на макароны, но и на священников.
Которые засылались к макаронам в придачу.
В чёрных приталенно-расклёшенных платьях, с приплюснутыми шапчонками на макушке, розовощёкие славяне в расцвете лет вовсю старались проявлять лучшие духовные и рыцарские качества.
Перед ними расступались.
Ими восторгались.
Истинные крестоносцы.
Но на сей раз без оружия.
Они же — певцы-стихотворцы.
Знающие цену своему ангельскому слогу.
При этом славили они Всевышнего с ещё большим восторгом и усердием, нежели делали это у себя на родине.
И толпа им смиренно вторила.
Ладным хором.
Жадным взглядом.
Будто до сих пор ничего не слышала ни о Боге, ни о слове Божьем.
Любовь и иллюзии стали вновь возвращаться в оскудевшие сердца.
Ассоциируясь теперь в первую очередь с хладнокровными пришельцами, которые во всём походили на образцовых учителей.
По субботам Папе Войтыле, наверное, икалось в отполированном до блеска Ватикане от избытка благодарности свежепризванного пополнения.
Макароны оказались чудотворным яством.
Лояльность и харизма миссионеров — спасением.
Однако польская инициатива не осталась без внимания многочисленных соседей.
У неё появились последователи.
И не менее богатые конкуренты.
Оказывается, не только дурной, но и самый праведный пример достоин подражания.
Мусульмане, приревновав надменных поляков, решили перещеголять католиков и пообещали завозить рис эшелонами.
Спонсоры объявились тут же.
«Очередь на обрезание сможет побить все рекорды», — поделился со мной то ли в шутку, то ли всерьёз один из заезжих турков.
Впрочем, обрезание — не отрезание.
Бывало в истории и похуже.
Тифлис на своём веку многое повидал.
Многое стерпел.
Хотя многое уже забыл.
И виной всему… подарки.
Которые в его судьбе всегда играли решающую роль.
Подарки обезболивают память.
Чем они щедрее, тем наркоз эффективнее.
Сила воли перед шприцем отступает.
И всё же город ещё находится в сознании.
Хоронить его рано.
Он по-прежнему прекрасен.
И при солнце.
И при луне.
Невзирая на погоду.
Даже мрачную.
Вид с моста Бараташвили — тому подтверждение.
Впрочем, подтвердить это мог бы и вечно юный Бараташвили.
Застывший в порыве на чёрном постаменте рядом, в нескольких шагах.
Строгий.
Грациозный.
Загадочный.
Ну правда Байрон.
Сегодня он сурово наблюдал, как над обмелевшей Курой мечется сорвавшийся с цепи воздушный змей.
«Прими, прими мою любовь…»
И слова эти, словно вырванные из сердца, отдавались эхом в небесах.
Тифлис примет любовь от всех.
Тифлис себе не изменит.
И никому не откажет.
Таким его знает мир.
С всегда открытыми объятиями.
С обольстительным взглядом.
Таким его создал Бог.
И другим его трудно представить.
Хотя зачем ему быть другим?
В том нет ни надобности, ни пользы.
Да и все остальные образы уже запатентованы.
Каждый выбирает свой путь к храму.
И кто сказал, что он должен быть прямым?
Или безгрешным?
У каждого своё представление о счастье, несчастье и правоте Божьей.
Всё зависит от человеческой сути.

Потому что суть, как к ней ни относись, есть величина постоянная.
А макароны с рисом, по большому счёту, лишь гарнир к ней.
Аллилуйя!
Аллах акбар!

Базар

Если азербайджанец изо всех сил кричит — значит, он хочет что-то продать.
Не важно что.
Не важно сколько.
А иногда и не важно за сколько.
Крик не позволяет отвлекаться на мелочи.
Потому что крик этот — символ воображаемого величия и богатства.
По продолжительности и широте диапазона он сродни нескончаемой оратории.
Без которой трудно представить себе среднеисторического азербайджанца.
Кричать так кричать.
Пронзительно и громко.
Чтобы перекричать всех вокруг.
Продавать так продавать.
Всё, что попадётся под руку.
Чтобы успеть разбогатеть до захода солнца и осчастливить своё семейство.
Вот когда из души человеческой вырывается национальное *всё.*
Намеренно и случайно.
С нюансами и без.
Вот когда все как один, смуглые и коренастые, не стесняясь, проявляют свой буйный талант.
Оптом.
В розницу.
Наперегонки.
И нет более подходящей арены для этого горячего самовыражения, чем базар.
Характер — понятие не личностное.
Характер навязан предками.
Человечество ещё не вырвалось из-под власти наследственности.
И едва ли ему когда-нибудь это удастся.
Базар — доказательство.
Столь шумное и эксцентричное столпотворение я наблюдал впервые.
Включённая кинокамера на моём плече наблюдала синхронно со мной.
И никого не удивляло появление странного неместного персонажа, мотавшего головой налево-направо, будто искавшего кого-то в толпе.
Я передвигался, не выбирая направления.
Становясь естественной частицей хаоса.
Я копировал на плёнку новый для меня мир.
И делал я это без нарочитости, художественных излишеств и пристрастия.
Пытаясь во всём, до мелочей, этот взбудораженный мир прочувствовать.
А капелла под открытым небом.
Бурлящее эхо в полуденной дымке раскалённого солнца.
На каждом иссохшем клочке земли — отдельная передвижная декорация.
Рядом с каждой кучкой овощей и фруктов — свой настырный Карузо или своя навязчивая Кабалье.
Готовые сразить тебя резкими перепадами музыкального настроения.
А заодно — доходящей порой до абсурда неземной дешевизной.
Где ещё встретишь подобное смешение щедрости и вокальной стихии?
Даже не верится, что всё это происходит в одном месте и в одно время.
И принадлежит одному народу.
Сколько продавцов, столько арий.
Сколько покупателей, столько слушателей.
И хотя с виду картина кажется сплошной импровизацией, на слух она воспринимается трепетной гармонией, попытка нарушить которую равносильна вмешательству в чужую жизнь.
Только попробуй обойти кого-то из солистов вниманием.
Горящий взгляд тебе вслед гарантирован.
А может, и злобная абракадабра в придачу.
Страсть — понятие не личностное.
Страсть навязана предками.
Достаточно понаблюдать за совсем юными продавцами-певцами.
Они ни в чём не уступают старшим.
Даже в гримасах и жестикуляциях.
Даже в быстроте устного счёта.
И все, будто рождённые одной матерью, друг на друга похожи.
Носятся они, как правило, стаями.
Стаями же облюбовывают и какую-нибудь площадку.
Камера всё подробно фиксирует.
Камера не щадит никого.
Стараясь не упустить ни одного образа.
Потому что любой из них может пригодиться.
Если не для телевизионного эфира, то, по крайней мере, в качестве матрицы для воображения.
Каждый ракурс, каждый кадр убеждает меня в том, что либретто на этой плодоносной земле испокон веков не менялось.
И ещё многие века не изменится.
Потому что базар — не только искусство крика.
И не только среда обитания.
Базар — это непоколебимая восточная конституция.
Ниоткуда не списанная.
Ни с чего не слепленная.
Так устроен их мир.
И никакая сила, ни земная, ни высшая, не посмеет покуситься на сию святость.
Нет пути, который не вёл бы азербайджанца к базару.
Как нет азербайджанца, который мог бы на этом пути заблудиться.
Интуиция не подведёт.
Ведь она тоже досталась в наследство.
И по наследству перейдёт поколениям следующим.
Так что у прошлого здесь, как ни у одного народа в округе, прочное статус-кво.
И крик здесь никогда не иссякнет.

Если же азербайджанец вдруг замолкает—значит, он всё уже продал.
Наступают счастливые минуты—выворачивать набитые карманы и считать деньги.
А потом не раз их пересчитывать.
Ничто не может отвлечь его от этого сладостного, почти ритуального занятия.
Все заботы сразу окупаются.
И даже самые несбыточные мечты становятся вдруг на шаг ближе.
Значит, день прожит не зря.
Значит, не зря кипели эмоции и надрывались голосовые связки.
Вместе с сумерками землю обволакивает тишина.
После чего опускается тяжёлый тёмный занавес, выключается камера.
Звон монет плавно переходит в заунывную жалобную музыку.
А яркий полумесяц—в сияние Бога.
Эпилог.
Время расслабиться.
И как тут не побаловаться заманчивой сухой травкой.
В ближайшей уютной забегаловке.
Под открытым небом.
Мне не скучно в компании проголодавшихся за день торговцев.
Меня принимают за своего.
А потому от меня ничего не скрывают.
И даже со мной делятся.
Всего пара глубоких затяжек—и…
Я улетаю к звёздам.
В районе Млечного Пути у меня появляется случайный попутчик.
Со сладковатой улыбкой.
И с туго набитым косячком в руке.
Мы понимаем друг друга без слов.
Да здравствует экспромт!
И его ни с чем не сравнимый аромат.
Наверное, это и есть рай по-восточному.
Главная *арена* нации тем временем берёт таймаут до утра.
Точнее, до первого утреннего крика.
Я же исчезаю до следующего года.
Не могу жить без навязчивых идей.
Без рискованных путешествий и головокружительных ощущений.
Когда-то ведь я должен встретить Ашик-Кериба.

Дудук

«Кто придумал солнце?
Тот, кто придумал и дождь.
Кто придумал радость?
Тот, кто придумал и боль».

Процессия жирной ленивой гусеницей вытягивается из-за угла.
Заставляя все встречные машины тормозить и прижиматься к тротуару.
Превращая ведущую в гору городскую улицу в передвижную сцену.
Цветами усыпан каждый дорожный камень.
До отказа заполнен зрителями крутой поворот-амфитеатр.
Вид—хоть кино снимай.
Причём серьёзное.
И непременно игровое.
Интрига застаёт меня врасплох.
Затмевает всё личное.
Оккупирует моё внимание.
И без чьей-либо подсказки сразу не разобрать, что в происходящем первично—сотрясающие небо женские крики, завывающая музыка или подавленная сей странной какофонией людская скорбь.
То ли высокая эллинская трагедия, то ли курёхинская поп-механика.
А может, одно другое дополняет.
Смешение жанров подобно смешению крови.
Причём совсем не важно, у какого из них весомее заслуги перед искусством.
В десятке метров от меня четыре экзальтированные плакальщицы, прирождённые артистки, превосходят всех остальных.
Волосы растрёпаны.
Глаза навыкате.
И голосят нанятые страдалицы, насколько позволяют им связки, без намёка на хрипоту.
Отсутствия же слёз никто не замечает.
Они подразумеваются.
А этого уже достаточно.
Убеждает.
Но и поклонники античной классики, и любители сценического эксперимента вряд ли возразят, что живая человеческая трагедия даст фору любой постановке.
Реальность происходящего вырывается из плена воображения.
Захлёстывает неподдельными эмоциями.
Смерть—она и есть смерть.
Независимо от количества венков и чёрных лент.
Она касается всех.
Даже тех, кого формально не касается.
Именно поэтому она присутствует буквально в каждой мизансцене.
Впечатляет с любого ракурса.
И кажется, только вокруг неё люди способны объединяться.
Смерть до споров о жанрах не опускается.
У неё нет оппонентов.
Она сама по себе жанр.
И чем дальше, тем сильнее он меня захватывает.
Из «действующих лиц» не вычеркнуть никого.
Толпа.
Родственники.
Покойник.
Ни к одной ремарке не придраться.
Молитвы.
Причитания.
Всхлипы.
Всё играется на пределе актёрского мастерства.
По-другому не получается.
Всё играется как в первый раз.
Обряд—не форма.
Обряд—атмосфера.
Экстаз.
—Кого хоронят?—тихо спрашивает пожилой зевака.

— Музыканта,—ещё тише отвечает другой.
— А на чём играл?
— Молодого?
Народ шепчется.
Народ волнуется.
Пытается узнать хоть что-то об усопшем.
И когда в конце концов узнаёт, обречённо вздыхает.
Вздох как запоздавшее признание.
Почти прощальное напутствие.
После него все мысли и чувства теряют смысл.
Неожиданно гусеница останавливается.
Гроб опускается на землю.
Все замирают.
Но безмолвие длится лишь секунды.
Музыка открывает новое действие.
Дудук взрывается.
И вместе с ним преображается вся улица.
Уныние сменяется страстью.
А чёрный цвет вопреки всем канонам траура теряет свою магическую силу.
Кажется, что на сцене становится ещё суетливее и многолюднее.
Но мой разум проявляет терпение.
Смиряется.
И больше не перечит реальности.
Женщины, сбившись в кучку, яростно хлопают.
А мужчины, крепко обнявшись за плечи, танцуют вокруг открытого гроба.
Даже среди тех, кто стоит рядом со мной, чувствуется оживление.
С чужих слов в такое трудно поверить.
Такое нужно видеть.
Кольцо вокруг гроба то сжимается, то разжимается.
Движения отточены и синхронны.
Этот танец напоминает свадебный.
Вот только в роли невесты сейчас выступает сама смерть.
Любовь—прощение.
Любовь—прощание.
И тут я замечаю первые слёзы.
Они просто текут по маскам и лицам, и никто их не вытирает.
Через несколько минут плачут уже все.
Актёры.
Танцоры.
Зрители.
Плачут родные и совсем посторонние.
Я даже слышу, как музыка захлёбывается от волнения.
Дудук сдаётся последним.
Дудук начинает хрипеть.
От попадающих в него слёз музыканта.
Звуки удаляются, а я продолжаю их слышать.
Они замолкают, а я не могу их забыть.
Нет… это не напевы горного ручья.

«Кто протянет мне руку,
Когда рассеется над долиной туман?
Кто сыграет мне любимую мелодию,
Чтобы я вновь вдохнул аромат цветущего абрикоса?»

Месть

Он лежит.
Рядом с постаментом.
На безжалостно истоптанной клумбе.
Весь исхлёстанный белой краской.
И никто из прохожих не бросает в его сторону даже беглого взгляда.
Свергнутый.
Бесславный.
Одинокий.
С затянутой петлёй на шее.
Будто великан-самоубийца, которого забыли отпеть и похоронить.
Он лежит уже четвёртый день.
Уткнувшись лицом в грязь.
Приговорённый к небытию.
И никого уже не впечатляют его громкие регалии и былые заслуги.
Даже его самого.
Даже любителей хронологии и статистики.
Вот бы вернуть время хотя бы на пару войн или военных парадов назад.
Разве мог он, стоя на трибуне, представить таким свой земной финал?
Разжалованный.
И не прощённый.
Как прокажённый.
Лежащий в тоскливом ожидании подъёмного крана и грузовика.
Представляющий отныне ценность только для плавильной печи.
Звёзды, оказывается, тоже лгут.
На потребу истории в том числе.
Лгут и не несут никакой ответственности.
Ни перед сильными, ни перед слабыми.
Ни перед живыми, ни перед мёртвыми.
Он лежит.
Я прохожу мимо этой площади каждое утро, и картина впрямь кажется застывшей.
Как на незаконченном холсте.
Для которого не хватило краски.
Видимо, победители всё ещё продолжают наслаждаться плодами своего мятежного творчества в наспех захваченных кабинетах.
Забыв про улицу.
А наслаждаться действительно есть чем, ведь они за одну ночь превратили давнюю кровную ненависть в исторический итог.
И сейчас наверняка громко спорят между собой, кто из них внёс больший вклад в победу над врагом.
О грядущем они пока лишь философствуют.
С умным видом и бокалом в руке.
Давая волю фантазиям.
Мифам.
И политическим хитростям.
Для них гораздо важнее утвердиться в своём эгоизме и показать миру свои способности, в которых они сами совсем недавно сомневались.
А кое-кто вообще в себя не верил.
Потому ролик с беспризорно валяющимся на земле бывшим бронзовым богом крутят на телеканалах по нескольку раз на день.
Под издевательски весёлую музыку.
С язвительно насмешливыми комментариями разного рода клоунов.
Чтобы довести конформиста-обывателя до полного отвращения.

Такова эстетика жанра.
Только так можно наглядно убедить всех в своём историческом превосходстве.
Только так можно по-настоящему отомстить не столько конкретному человеку, сколько целой эпохе.
А заодно добавить в национальный календарь ещё один праздник.
На сей раз уже в свою честь.
Он лежит.
Просто груда.
Просто металла.
И не понимает, что больше никогда к его ногам не принесут цветы.
Теперь те же люди с тем же трепетом и холопством будут возлагать венки и букеты к другим ногам, которые скоро столь же уверенно встанут на это освободившееся святое место.
Долго ждать не придётся.
Кандидатура подобрана.
Альтернативы отвергнуты.
Да и Всевышний голосом власти поддержит.
А за скульптором дело не станет.
Его же время прошло.
Во всяком случае, на этой маленькой площади.
Этого маленького города.
Этой маленькой, но, как она любит себя величать, очень гордой страны.
Его судьбу решили в одночасье, не оставив ни шанса на оправдание.
Да и кому это оправдание нужно?
Если никто даже в обвинениях не разобрался.
Даже сами обвинители.
Революция — процесс всегда ускоренный.
Поэтому и результат у неё всегда оптимальный.
Неожиданно сойдя с ума, все в панике и без оглядки рванули в будущее.
Все срочно взялись переписывать свои уставы, биографии и родство.
Народ не способен жить без фетиша.
И готов лепить его из любого материала.
Даже из боли.
Лишь бы блестело и сверкало.
Народ любит на развалинах давать новые клятвы.
Забывая о старых.
Без жалости, угрызений и ответственности затаптывая своё прошлое.
Он не замечает, как превращается в обыкновенную злобную толпу.
У которой за душой нет ничего, кроме численного превосходства.
И которая, путаясь в своих инстинктах, порой даже сладкое принимает за горькое.
Впрочем, толпу отличает не только отсутствие разума, меры и вкуса.
Самое прискорбное — у неё нет памяти.
Память присуща личности.
Память — молекула вечности.
Память как паперть.
Возвышает.
И над пахлавой.
И над аджикой.
И над собой.

Башня

Девичья — по названию.
Женская — по округлостям.
Мужская — по характеру.
Эклектична, но не парадоксальна.
Привлекательна и без излишеств.
А наяву выглядит не хуже, чем на плакатах в дорогих гостиницах для иностранцев.
Визитная карточка города.
Хотя, может, и всей нации.
Если взять и уплотнить нацию до одного конкретного образа.
Или до одного-единственного плаката.
Время по-своему отнеслось к шаху.
Стерев из памяти все его державные подвиги, оно сохранило башню.
Необычную.
Неприступную.
Чуть высокомерную.
Сохранило в том виде, в каком её и построил шах, прославившийся не только архитектурным чутьём, но и сумасбродным нравом.
Он не терпел возражений ни в чём.
И не испытывал жалости даже к ближнему.
Будучи по природе своей чуждым подобным проявлениям слабости.
Именно в построенную у моря башню разозлённый шах спрятал собственную дочь, отказавшуюся выйти за него замуж.
Каприз властителя оказался сильнее родительского инстинкта.
И жёстче людских обычаев.
Но безумию всё же пришлось отступить.
Шахская страсть, как и обещанные сокровища, осталась невостребованной.
Естество восторжествовало.
Отстояв подаренную Господом детскую гордость и непорочность.
Заточение продлилось недолго.
Как недолго длились и сомнения.
Двадцать восемь метров полёта стали для строптивого создания спасением и одновременно последними мгновениями жизни.
Глядя на башню с берега, даже спустя века, можно почти с уверенностью сказать, что наверняка такой и была душещипательная развязка.
От башни веет неопровержимым, солёным, словно морская вода, роком.
Впрочем, печальный финал древней сказки придаёт несостоявшемуся инцесту хоть и жестокой, но всё же романтичности.
Окутывая башню ореолом восточной таинственности и наива.
Превращая её в национальный фольклор, слепленный из серого известняка.
Башня правда производит впечатление.
Даже на тех, кто равнодушен к столь помпезному роду искусства.
Причём внутри самой башни это впечатление ничуть не меньшее, чем со стороны, на расстоянии.
Ты поднимаешься.
Ступенька за ступенькой.

Превозмогая одновременно лень, усталость и занудность гида.
Ты всматриваешься в каждую заштукатуренную трещину, в каждый камень.
Боясь пропустить что-нибудь важное или символичное.
И когда уже кажется, что ноги твои вот-вот обессилеют, когда терпение иссякает, ты вдруг прорываешься из полумрака наружу.
К самому синему небу.
В эти минуты оно принадлежит только тебе!
Твоим объятиям.
И твоему воображению.
Наверное, это и есть высшее ощущение власти и вседозволенности.
Достаточно подставить лицо ветру.
Взмахнуть руками.
Как ты мгновенно превращаешься в чайку.
До тех пор, пока человек не научится летать, он будет строить башни.
И совсем не важно, кому припишут авторство дотошные потомки—зодчему-авангардисту или тирану-педофилу.
Округлости, выступы, изгибы—второстепенно.
Главное—невесомость.
Среди парящих птиц и дышится по-другому.
И земля смотрится по-другому.
Инсталляция—жанр космический.
Вот он—истинный конец пути, ради которого стоило делать первый шаг.
Вот оно—торжество души, освободившейся наконец от назойливости тела.
При этом нет никакой уверенности, что они воссоединятся вновь.
Да, у каждого народа есть своя *башня*.
Со своей историей.
Со своими историями.
Народов много, башен тоже.
И тянутся к ним не только толпы туристов.
Изнурённые суетой, моралью или несчастной любовью, местные одиночки тоже иногда взбираются на рукотворные вершины.
Они бросают вызов Вселенной.
Они подолгу прощаются с горизонтом.
Они мучаются.
Они колеблются.
Но однажды решаются.
Выбор их трудно оспорить.
И надо отдать им должное: выбирают они самое эстетское прощание с миром.
Сказки время от времени повторяются.
А иногда даже сбываются.
Вот и получается, что *человек способен летать и без крыльев.*
Правда, всего раз.
Первый и последний.
Но неправда, что недолго.
Это—полёт в вечность.
От несчастья—к счастью.
От смерти—к жизни.
Девичья башня может лично каждый подобный полёт подтвердить.
Такова её судьба.
Быть ещё и памятником.

Интеллигентные господа из ЮНЕСКО выражают этой громадине своё особое почтение.
Всевозможными гербами.
Печатями.
Высокопарно-казёнными словами.
Ещё они гарантируют ей охрану.
С 2000-го года.
Плюс немного денег.
На ремонт.
И поддержание имиджа.
Не столько во славу шаха.
Но всё же… спасибо шаху.

Крепость

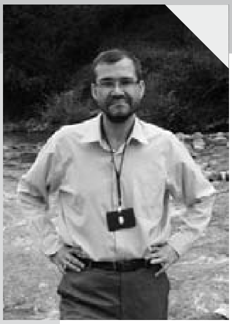
Позволить замуровать себя в стену.
На глазах у собственной матери.
Без жалости изгнать из себя душу.
Под вопли обезумевшей толпы.
Иначе каменная стена под натиском врагов не выстоит.
А вместе с ней рухнет и надежда.
Вот тогда уже ничто не спасёт нацию.
Вырежут всех до последнего.
Выжгут всё, что поддастся пламени.
И даже о мести можно будет навсегда забыть.
Страх срубает волю под корень.
Срывает тормоза.
Толпа мечется из стороны в сторону.
Полная ужасов и предчувствий.
Толпа готова на любую жертву, на любой подвиг, на любой абсурд.
Лишь бы угодить всем тайным силам сразу.
Паника затмевает человеческий разум.
Именно она правит бал.
Будто ниспослана свыше.
Чтобы срежиссировать этот мрачный, апокалиптический спектакль.
Непродолжительный сценический сумбур резко сменяется молчанием.
И в этот момент чей-то указательный палец, ненадолго зависнув в воздухе, выносит беззвучный, но окончательный приговор.
Выбор падает на самого светлого, самого чистого и непорочного.
Причём никто не сомневается, что за выбором стоит сам Господь.
Не сомневается и мать.
Опустив голову, скрестив на груди руки, она смиренно, без права на помилование, принимает решение толпы, а значит, и Господа.
Она без слёз прощается со своим единственным сыном, который на её глазах становится отроком-спасителем всей нации.
Национальной гордостью.
Национальной вечностью.
В считанные мгновения вокруг юноши смыкается плотное живое кольцо.
Каждый норовит напоследок прикоснуться к Божьему избраннику.
Словно к кумиру.
В любой трагедии живёт гормон фарса.
В любом зрителе всегда таится предатель.
Переодетого прямо на площади в белые одежды, его ведут как на казнь.

Впрочем, это и есть казнь.
Несмотря на избыток пафоса.
Жалости.
И любви.
Внешне сие действие ничем не напоминает о геройстве, достойном бессрочной людской памяти.
Ведь всё, что требуется от героя, это исполнить волю толпы и Господа.
Слиться воедино с каменной стеной.
Превратиться в неприступную силу.
И вот-вот это произойдёт.
Человеческая слабость торжествует.
Нежданно-негаданно и у неё появился шанс почувствовать вкус победы.
Время зависает над крепостью.
Зависает, чтобы начать обратный отсчёт.
В конце парадно-похоронного представления спасителя оставляют наедине с собой.
Слабеющие шаги перед провалом в небытие.
Считанные глотки чистого горного воздуха перед мучительной смертью.
Хотя и с верой на встречу с Богом.
Никто не сомневается, что отныне одним ангелом на небесах станет больше.
А крепости, несмотря на предчувствия, суждено будет выстоять и в этот набег.
Но это произойдёт потом.
В послесловии к повести.
Сейчас же толпа прощается с избранной ею жертвой тихими слезами.
Юные глаза в последний раз смотрят, но уже ничего не видят.
Юное сердце едва-едва стучит и уже ничего не чувствует.
Все молятся за своего спасителя и шёпотом желают ему скорой смерти.
Кто из сострадания.
Кто от отчаяния.
А кто-то — просто будучи в плену собственной природной трусости.
Сотворённый на земле ангел тоже молится.
Но уже не понимает ни своих слов, ни того, что происходит вокруг.
И лишь время от времени, останавливаясь, размашисто вскидывает руки кверху, будто приветствует новых неземных братьев.
В ответ небо разливается солнцем.
Небо открывает врата.
Наутро чудо действительно свершилось.
Враг выдохся.
И отступил.
Стена не рухнула.
А значит, и цена тому оказалась оправданной.
Отныне Господь ещё крепче укоренился в сознании и фантазиях людей.
Такова магия ортодоксального чудотворства.
Жестокая.
Показная.
Неотвратимая.
Языческая по сути.
Хотя и христианская по своим святым образам, плачам и молитвам.
Пасть ниц перед Богом на краю гибели.
Принести себе подобного в жертву во имя собственного спасения.
За что только не цепляется человеческое бессилие в приступе страха.
И даже убийство невинного зачастую возносится в ранг великого блага.
Впрочем, любопытствующих потомков вряд ли разжалобит такой сюжет.
Для них это не более чем занимательная трёхстраничная story.
Об одном горском юноше.
Об одном герое.
Об одном маленьком народе.
Прошлое — вне контекста.
Прошлое — всегда в одиночестве.

Дерево

Олово плавится.
Олово растекается густыми безмолвными ручьями.
Заливая раскалённо-холодным цветом не только сознание, но и пространство.
Всё вокруг лишено земного правдоподобия.
Всё словно зависло в безвременье.
И сколько ни оглядывайся по сторонам, ничем этот вакуум не опровергнуть.
Ни единого живого существа.
Если не считать моего случайного здесь появления.
Ни единого звука.
Если не обращать внимания на едва слышную аритмию собственного сердца.
Которая с каждым ударом всё больше напоминает финальные аккорды земного реквиема.
Я хочу сделать шаг.
Хочу сдвинуться с мёртвой точки, чтобы хоть чуть-чуть оживить обстановку.
Но не могу.
Потому что не могу понять, сон это или явь.
Война или мир.
Свобода или плен.
Символизм в первозданном виде.
Экзистенциализм — в зачаточном.
При созерцании столь безнадёжной картины трудно не удариться в философию и не задуматься о суицидальной сущности бытия.
Хотя, на первый взгляд, всё смотрится довольно постановочно и театрально.
А вот заядлого натуралиста Дарвина здесь вряд ли нашлось бы чем заинтриговать.
В какую-то секунду я вспоминаю, что похожий пейзаж после битвы я уже встречал.
За тысячи километров отсюда.
В одной из гуггенхаймовских коллекций.
Олово — вместо солнца.
Туман и гарь — вместо неба.
Вот только на сей раз я ощущаю себя частью этого прискорбного творенья.
По воле судьбы, проявившей вдруг талант художника-авангардиста.
При этом бледность палитры совсем не означает скупости впечатлений.
Я не сопротивляюсь.
И замечаю, как сам постепенно растворяюсь в окружающем ландшафте.

Превращаюсь в серость.
В оловянность.
Остаюсь наедине с мыслями.
Которые мурашками конвульсивно расползаются по моему телу.
И от которых мне становится нестерпимо душно.
О глотке воды можно только мечтать.
Так же как и о глотке свежего воздуха.
Едва сдвинувшись с места и маневрируя между вяло ползущими ручьями, я бреду по разбитой пыльной дороге в надежде обнаружить хоть что-то, напоминающее о живых людях.
Я в поиске себе подобных.
Мне кажется, что последний бой отгремел тут совсем недавно, но в ещё не остывшей от страстей долине уже не видно даже мёртвых.
Неужели все тут же вознеслись в рай?
В награду за ненависть к неверным.
Даже капли крови не сыскать.
Испарилась.
Будто её и не было.
Как не было пронзительной боли.
Воплей.
Ужаса последнего мгновенья.
Сколько оловянных солдатиков полегло на склонах выжженных холмов, одному Богу известно.
Потому что никто, кроме Него, точно не считал ни своих, ни чужих.
И хотя рано или поздно вездесущие цифры заполнят и этот пробел истории, они всё равно будут означать лишь бездушную приблизительность.
О войне бессмысленно писать отчёты.
Войну невозможно передать красками или словами.
Войну надо воспринимать с натуры.
Один на один.
С её светом и тенью.
С её бездушной эстетикой.
Чтобы во всех нюансах понять, чем же смерть отличается от искусства.
Вглядываясь в замутнённую даль, я окончательно в этом убеждаюсь.
Хотя и воспринимаю происходящее на уровне первобытной интуиции.
Что случилось со всеми, кто носил военную форму, я догадываюсь, но куда исчезли остальные — даже вообразить не могу.
Вроде бы всё самое страшное миновало.
Да и живых солдат больше не осталось, можно выбираться из укрытий.
Но сколько я ни иду, навстречу мне так никто и не попадается.
Ни человек.
Ни зверь.
Беззвучие поглотило всех.
Наказав за войну.
И жизнь, видимо, не скоро вернётся в эту некогда солнечную долину.
Я — как на необитаемой планете.
В немыслимом триллере.
Туман и гарь то сгущаются практически до черноты, то слегка рассеиваются.
И в момент короткого, почти мистического, просветления на ветках одинокого обгоревшего дерева я вижу несколько листьев.
Оловянных.
Да, по форме и даже рисунку на них листья напоминают настоящие, однако я сомневаюсь, что в ближайшую тысячу лет они зазеленеют.
Хлорофилл, как и кровь, испарился.
Значит, и шелеста деревьев здесь не услышать ещё очень и очень долго.
Только тишина способна пренебречь временем.
Только у тишины размах под стать вечности.
Карабах.
Затерянная автономия искусства.



Евгений Степанов

Спасибо

Стотысячное объяснение в любви

и вот я старый хрыч московский и мне о чём-то говорят
борисоглебский трубниковский лебяжий знаменский арбат

арбат ар-батя ты босоту и знать шутя объединил
люблю из дома на работу идти счастливый как дебил

люблю арбат не донимая его как хищный гей-маньяк
люблю грозу в начале мая когда в «му-му» я пью коньяк

люблю арбат так любят пешки ферзя ведь он неотразим
люблю и новые кафешки и старый зоомагазин

люблю арбат так шеф газпрома наверно любит уренгой
люблю и выходить из дома люблю и приходить домой

Ответ

потому что не то потому что не так потому что
завершается быстро земной карнавал
потому что тамбовский дурдом не алушта
где песочек и пляж и рапан и коралл

потому что темно потому что привычнее нары
чем диван и софа или пляжный лежак
потому что в душе магадан а канары
далеко и мерещится ночью лешак

потому что не волк работёнка а бог из-под палки
потому что на печке доедет до счастья иван
потому что судьба в окровавленных пальцах гадалки
потому что стакан

на пороге — не ведая — сны — на пороге
на пароме — туда (до луны?) — на пароме
бормотанье — шаман — чахлый сын сибирячки
очень быстро — алтын (или меньше?) в заначке
мертвецы в записной тонкой-тоненькой книжке
ни юрашки ни тани — ни дна ни покрышки
а с собою не взять ни рубля ни деркама
непонятно — и видимо в сторону храма

запада плоть измочалена
жёлтый сгущается цвет.
мальчик похожий на сталина
пишет автопортрет
бес улыбается тщетно
видно что это бандит
так притворяется этна
мол утомлённая спит
кроткий стою как ягнёнок
вижу наш мир без прикрас
Господи дай нам силёнок
выстоять в тяжкий час

32 года

Моим родителям

Доча. Галактика. Слово.
Бог. Лера Майн. Медсанбат.
Дача. Тверская. Кусково.
Маменька. Папенька. Брат.
Эмма Сергеевна. Ната.
Саша. Татьяна. Мари.
Горы случайного злата.
Бедность — хоть ляг и умри.
Пушкин. Верлен. Баратынский.
Моцарт. Рахманинов. Бах.
Панина. Козин. Вертинский.
Пенье висконсинских птах.
Поль Мориа. Морриконе.
Визбор. Матвеева. Ким.
Водка. Массандра. Джин-тоник.
Сочи. Сицилия. Крым.
Зона. Страна уркаганов.
Прага. Женева. Париж.
Бунин. Волошин. Ива́нов.
Мною убитый малыш.
Ганди. Чижевский. Вернадский.
Фёдоров. Фрейд. Соловьёв.
Лосский. Доктрины Блаватской.
Бехтерев. Лев Гумилёв.
Сельская школа. Больница.
Боль вперемешку с тоской.
Город Рассказово. Ницца.
Брайтон. Манхэттен. Стокгольм.
Баев. Поздняев. Кузьминский.
Бек. Бирюков. Марущак.
Дружбы заряд исполинский.
Странных размолвок напряг.
Боб. Петер Павлович. Брайан.
Рауль. Мориска. Жан-Жак.
Нравы стамбульских окраин,
Русских, швейцарских общаг.
Горьких грехов отголосок.
Путь избавленья от них.
Беглый, пунктирный набросок
Жизней моих кочевых.

Не одинок.
Один.
Со всеми.
И с Ним — рождённым в Вифлееме.
Ты сам избрал такую жизнь.
Избрал — не жалуйся, держись.
Избрал — забудь пути иныя.
Тебе с дорогой повезло.
И соловьёвская София
Обретена тобой светло.

Спасибо

Я полностью отказался от мяса.

Спасибо сказали глаза моих сестёр-коров.
Спасибо сказали глаза моих братьев-быков.
Спасибо сказали глаза моих друзей-кабанчиков.
Спасибо сказал начальник управления кардиологии моего организма,
Спасибо сказал начальник управления пищеварения моего организма.

Мой рацион теперь скромен:
Вода, сухофрукты, капуста, трава…
Человеку так мало надо.

Я полностью отказался от вина и водки.

Спасибо сказал начальник управления мозговых извилин моего организма.
Спасибо сказали другие начальники управлений.

Я полностью отказался от мата в речи.
И сам себе сказал спасибо.

Со временем я должен научиться питаться от солнечной энергии и летать.

приближается крах точно кранах
приближается краской огня
я забыл о совдеповских ранах
но они не забыли меня

я забыл про любовь и улыбки
я забыл как играл в карамболь
точно цепкие детские цыпки
донимают и страхи и боль

и за что это блин наказанье
и зачем позабыты пиры
и не пить нам уже мукузани
и не пить нам уже хванчкары

1996

россия осень бунюэль
темно и пасмурно и склизко
и бредит пьяный как бордель
дурак прикормленный бориска

целебный корень на луне
растёт людей не воскрешая
и боль как молния во мне
летает дура шаровая

я сам дурак я не пойму
зачем живу на свете белом
зачем судьбу как бастурму
ножом кромсаю заржавелым

в отце легко прочесть мальца
лицо в лице крепка матрёшка
россия слякоть у крыльца
а на крыльце мяучит кошка

закрывают озябшие дачи
засыпает мой сад-огород
и душа потихонечку плачет
хоть она говорят не умрёт

послать бы всех к аллаху
уехать за урал
рвануть в сердцах рубаху
и крикнуть я устал

устал от мелких стычек
с чинушами в бюро
от потных электричек
и рвотного метро

в эфире извращенцы
сосед горазд бухать
и гром гремит как немцы
и крыса жрёт сухарь

Прокудин

плачет егорка прокудин
счётчик удач на нуле
не было нет и не будет
рая на грешной земле

плачет мужик горемычный
феней бранит этот мир
пьёт по старинной привычке
чёрный как вечер чифир

воспоминаньям заслона
нет не уймутся никак
и вспоминается зона
шконка больничка барак

острая как пилорама
память крошит мужика
мамочка мамочка мама
участь его нелегка

плачет прокудин егорка
радости нет ни на грош
что ж ты судьба-крохоборка
слёзы ему не утрёшь

червякам на закусь
к чёрному вину
в землю закопаюсь
отдохну

стану удобрением
а потом сосной
небо с упоением
подопру спиной

от дождя и града
в смешанном лесу
путника как брата
ветками спасу

мир един едины
человек и лес
комья рыжей глины
синь небес

Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти…
Б. П.

хорошо бы жить в лесу
и не знать прогресса
понимая как дерсу
все законы леса

хорошо бы к небесам
обращая взоры
две-три строчки написать
выше чем заборы

на николиной горе
в жуковке-барвихе
хорошо бы в гости пре-
лестные чувихи

приезжали и опять
уезжали с богом
хорошо бы написать
написать о многом

о любви и нелюбви
жалящей жестоко
о друзьях что полегли
в землю раньше срока

о далёком далеке
реках-океанах
о районном городке
и заморских странах

хорошо бы чтоб и впредь
пели свиристели
хорошо бы умереть
в собственной постели

Александра Барвицкая

Смена ориентации

Асфиксия

Антитеза романа Сергея Сибирцева «Государственный палач»

— Спи, желанная девочка. Спи, чужая.
Я не тревожу. Я караулю твой сон.
Спи, никогда никому не желавшая зла.
Спи, живущая светом. Ты нужна мне,
как тёплая глина для лепки моей Галатеи.
Я раскрошу зубами гранёные камни,
спрессую тебе заново душу и память,
плотным укрою словом своей молитвы.
Я разбужу в твоём сне себя, непременно иного,
стану твоим ровно-сухим дыханьем…

Бойся молитвы того, кто рождает зло.
Бойся степени ужаса, прикрытого добром.
Бойся безумия, баюкающего твой разум.
Бойся того, кто караулит твой сон.
Сущности, выпущенные им на свободу,
перекусят твою сонную артерию.
Его одиночество проглотит твоё пространство.
Его тоска выест твою радость.
И ты сама разучишься молиться.
Грянь же, гром! Подними руку для крестного знамения!
Защити от мёртвой петли его любви.

— Воздуха! Мало воздуха! И неба…
— Спи, обновлённая, спи.
— Снится страшная смерть! Надо проснуться…
— Это начало жизни. Спи. Уже скоро…

Пустая квартира.
Лишь он и огромный кот.
На кухне вскрыл вены.
И… недельная тишина.
Только время от времени
Сладко причмокивал зверь
и всхлипывал рот телефона.
Кто там был так настойчив? Может, она?..

Его провожали в закрытом гробу
в приснопамятном, затхлом, сером
Малом зале гудящего ульем ЦэДээЛа.
Равнодушно-пустые лица.
Молодые и сморщенные.
Соратники, издатели, читатели
и просто любопытствующие.

Эпоха хоронила своего палача,
приговорившего личное тело на корм коту.

Тесно. Тесно и душно. Воздуха! Дайте воздуха!..
И хоть немного неба…

Смена ориентации

И была я девочкой-цыпочкой.
(Отец моим воспитанием занимался рьяно!)
Лет с шести играла на скрипочке,
А с семи—на фортепиано.
Приходил отец поздно, да ещё—зверски уставший.
Брал в правую руку ремень, а в левую—ноты.
Говорил маме: «Поднимай Сашу!»—
И требовал отчёта о проделанной работе.
Всё твердил: «Огинский сошёл с ума,
Когда закончил знаменитый полонез!
А что сможешь ты написать сама,
Если не отличаешь где бекар тут, а где—диез?»
Я, конечно, невзлюбила этого сумасшедшего поляка,
Но его гениальную музыку помнят пальцы и до сих пор!
Спросонья ныла: «Учила „К Элизе“»,—и начинала плакать.
Отец одобрял Бетховена, но слёзы ставил в укор.

И, собственно, неудивительно, что в девять я сменила ориентацию:
Моё тело отказалось любить клавиатуру.
Неожиданно стала писать стихи и впадать в прострацию,
А отец заключил: подрастает дура.

Тридцать пять. Подсчитываю убытки и жизненные уроки,
Уже отмахиваюсь от назойливой Музы рукой,
А кто-то заставляет детей учить наизусть мои строки.
Нет, надо было слушать отца и заниматься музыкой.

Дура, лежу и бумагу пачкаю…
Знать бы, что любишь ценой, а не сдачкою.

Пеплом опять сигарета беременна.
Знать бы, что хочешь навек, а не временно.

Жизнь—не страница. Не выправишь стёртую.
Выпить бы! Только вода—мёртвая.

Верка

1.

Говорила всем про чертей:
Как над нею они склонялись
И слагали песню смертей.
Не поверили. Посмеялись.

Разошлись по своим домам:
Кто-то—пить, кто—качать ребёнка.
К ней же в хату по всем углам
Сто чертей вползают вдогонку.

А поутру её кума
Обсуждает, вовсю полощет:
—Верка точно, сошла с ума—
Как шальная кричала ночью!

Из соседей собрался круг:
Языками чесали крепко.
А одна из старушек вдруг:
—Ну, пойдёмте-ка, бабы, к Верке!

—Позови-ка из дома мать!
Дочь котят пеленала ловко:
—Я её не сумею снять—
У двери висит на верёвке.

2.

Она заходила под вечер. Приносила вишнёвые веточки
И малину из своего сада.
Садилась на краешек стула: «Кушай, деточка.
Я—сумасшедшая. Люди сказали. А ты мне рада.

Ты хорошая. Только люди, знаешь, они черствеют, скупеют душами.
Я вижу над их головами чёрные знаки.
И воздух мутнеет. От привкуса мяса становится душно мне.
Они постепенно всё потеряют. Но сами не знают.

Смотришь, что туфли в пыли?—Ходила на кладбище.
Тишь там. Но скоро будет громко от бабьих криков.
Трупы не в морг повезут, а в баню, на склад ещё—
Валом навалено будет в той базилике.

Я прихожу к тебе подышать. На тебе отметина—
Можешь судьбу угадывать. Но не пробуй.
Думаешь, к счастью дары раздавались эти нам?—
Лучше не знать, когда самому—за гробом.

Что ж ты малинку не кушаешь?.. Вечер стелется.
Скоро уйду я. Скажут—повесилась. Ты не верь им».

А я под сердцем носила долгожданного первенца
И не знала ещё значения слова «потеря».

Стихийный неподарок

Сама себе природа изменила!—
Воскресным днём, в предчувствии заката,
Плеснув по небу мутные чернила,
Открыла действо медленным стаккато.
Бабахнул гром в оскалившихся тучах,
И ураган понёсся в дикой пляске:
Запутав крылья в проводах паучьих,
Срывая крыши, вывески и маски,
Дубы и ели с корнем вырывая,
Швыряя прочь людей, автомобили,
Уродуя от края и до края
Тот городок, который мы любили…
Минут пятнадцать длилось наважденье!
Но вдруг утихло.
Наступила осень.
Я подняла бокал за день рожденья—
Мне в этот миг сравнялось двадцать восемь.

Юрий Серебрянский

Я поднял камень

Modern Talking

— Был у нас в школе школьный подвал,
там дискотека, бар, палёную водку пили.
Я «Черри леди» с Салтыковым замиксовал,
чего некоторые мне до сих пор не простили.
А как я вас в университете любил!
Вашу «Арабиан голд»
и «Сероглазого короля» Ахматовой.
Остальное меня вообще не вставляло,
только уж больно вы на фотках были лохматые.
В общем, у меня юбилей, дорога оплачена.
Будет куча старых друзей, девочки, дача.
Так что давайте в марте ко мне… на гастроли.
— Простите, Юрий, боюсь, не получится —
Дитер болен.

Абстрактная война

Во время войны танки заправляют кровью.
Танк много жрёт —
это скажет любой офицер.
Офицер много жрёт —
это скажет любой солдат.
Солдату главное — услышать команду «Вперёд»,
важно — пуговицы в ряд.
За нами глобус Земли:
два раза по часовой —
и ни шагу назад.

Всё то, к чему мы вместе шли
и по отдельности когда-нибудь хотели,
столклось в минуты,
сцифровалось в дни,
сцедилось.
Убежало
кофейком дождливых воскресений.
Два раза обмоталось вокруг шеи,
махнуло в гаражи.
Там, отдышавшись мышью,
собралось.
Перебежало кошкой.
Спустилось джентльменом с тростью
по ступеням.
Ушло из вида,
спрятавшись в альбом для марок,
давно утерянный на чердаке,
на тему «Космос».
Набухло стаявшей в конце зимы сосулькой,
проросло.
Шершавым деревом с плодами в полкило
нас окружило.

Иду со школы…
Мимо дворов, огородов, нагородов,
мимо осенних людей,
мимо…
У меня дела,
у них заботы.
Мой портфель тяжелее их взглядов:
«Простите, дядя, мне домой надо».
Осеннее небо состоит из дыма
и немного из прохладного воздуха.
Горят, горят в огородах листья —
люди сжигают лето.
Моё лето…
В котором лагерь,
друзья-пионеры и враги-пионеры
мне прививали дурные манеры.
Но не привили.
И я с портфелем.
Груз пятёрок несёт меня к дому,
тянет в небо, в осеннее небо.
Заборы в нашем районе —
совсем не заборы,
и всё мне прекрасно видно,
а они и не прячутся.
Сгребают лето граблями,
кидают его грязными руками
в большой костёр
с погребальным дымом.
А я иду мимо…
Ничего не поделать!
Я-то знаю эти циклы природы
(Вчерашняя «пять» по природоведению).
Уносят в гараж чей-то велик,
сливают воду из садовой ванны,
костёр у них меньше —
хорошие люди!
А я иду мимо…
Кричат вороны,
накаркают зиму! Скоро.
Всего через семьдесят дней…

Человеку свойственно ошиваться
рядом с другим человеком.
Ласточки вьют гнёзда электромонтёрам.
Жёсткий диск памяти, скрипя,
потирает.
Дождь?
А я думал,
это рыба в пруду играет.

После Лилички

Прикосновение к одиночеству не удаётся.
Ни с той стороны, ни с этой
не удаётся.
Но одинокое дерево посреди степи
невольно притягивает взгляд.
Подойдя ближе, я вижу,
что у этого дерева уже есть своя птица,
которая поёт ему флейтой,
согревает изнутри, сидя в дупле.
Я готов проглотить её в себя, с наслаждением
выпить тёплую кровь
и почувствовать угасающее биение её сердца
в такт своим уходящим шагам.

Это немного похоже на счастье,
только не счастье—
такое несчастье, что и в словах сказать
невыносимо.
Невыносимо—не выноси.
Кур из избы,
дым из трубы,
рыб из привычной им водной среды.
Жди терпеливо, не жри торопливо,
вон дети твои, убого-сопливы,
скачут по полкам, как мелкие блохи
по кистепёрым версальским заколкам.

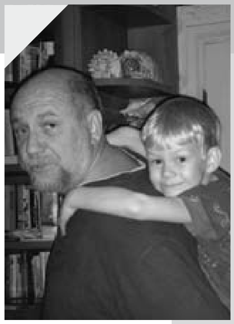
Я поднял камень,
на котором надпись:
«Здесь был океан».
Устрица движется ракообразно,
улица влезла трамваем в окно.
Всё, что прекрасно,—
было прекрасно,
только погибло давно.

Бело-лунная походка лежит у самого полотна.
Три минуты до электрички.
Рюмку найдёт обходчик.
Хлеб съедят воробьи.

Воспоминания о послевоенной Японии:
сердце моё в огне,
сердце моё в агонии.
Я куплю билет,
я сделаю визу.
С тех самых пор я ничего не вижу.
А страх,
всё, что вы готовы принять за страх,—
лишь удивление
в детских,
больших,
мультипликационных
моих глазах.

Мальчик лезет на табурет—
вернее, пытается.
Шестилетними ручками
за лакированный край хватается.
Подумай:
не то чтобы ты упадёшь и ударишься,
просто там уже столько народу.
Попробуй
забраться в мягкое кресло «Игорь» фирмы
«Зета»
или к папе сесть на колени,
пусть он тебе почитает.

Страх не любит,
когда гуляют по его лесу.
Далеко обходя деревни,
я спущусь в метро.
Всё, что нужно мне,
современному человеку,
я куплю,
замолю,
посмотрю в кино.



Юрий Купрюхин

Ворон

Ворон каркает к несчастью.
Ворона — к ненастью.
Старый ворон не каркнет даром.

Из словаря В. Даля

Однажды пятикласснику Вове (по-простому — Вовчику) пришло в голову интереснейшее развлечение: он привязал к куску хлеба тоненькую леску и стал дразнить ворон. Вороны не слишком его боялись. (И правильно: Вовка был добрый. Никогда никаких животных не обижал, а, наоборот, любил за ними ухаживать и с ними играть.) Поэтому и с воронами играл он вполне безобидно: бросит корку хлеба на леске, а когда ворона за ней прилетит, оттаскивает потихонечку. Изумлённая ворона скачет за хлебом, а хлеб от неё удирает. Вот потеха! Вот глупые вороны!

Потом сытые вороны перестали обращать внимание на хлеб, и Вовка придумал привязать к леске блестящую, в фантике, конфету. Вороны за такую приманку чуть ли не дрались.

У мамы Вовчика год назад пропала серёжка. Она уронила её с балкона, а когда спустилась вниз, серёжки там не было. И мимо никто не проходил. И было у Вовчика подозрение, что серёжку эту стащили вороны. И он решил провести эксперимент. Вдруг попадётся та самая птица и приведёт его к своему тайнику. Вот будет подарок маме к дню рождения!

Он взял оставшуюся серёжку, привязал к ней леску и стал на ловлю.

Тут подошёл к Вовке второгодник Сашка Шмыга и тоже захотел поиграть с воронами. Шмыга — это была кличка за соответствующие действия носом. Только вороны, когда леску держал Шмыга, не прилетали. И Сашка решил сменить наживку. Принёс кусок мяса и прилепил на леску. Вороны всё равно, не прилетали и тогда Шмыга спрятался за угол. И тут появился ротвейлер Тим. Здоровенный пёс местного нового русского. Он мгновенно сожрал мясо на леске, после чего взвизгнул и стал мотать головой. Тотчас появился его хозяин. Толстый и страшный в гневе. По кличке почему-то Хряп. Он тут же увидел, что изо рта пса торчит леска. Раскрыл тому пасть (ротвейлер и не думал протестовать, он откровенно боялся хозяина)… засунул туда руку и вытащил рыболовный крючок. У Вовчика даже рот открылся от удивления. А новый русский мгновенно всё понял. В людях он разбирался. Он снял Сашку с дерева, куда тот залез, как только появился пёс, и поставил перед собой.

— Ворону хотел поймать, гадёныш? На крючок? Твоё счастье, что собачка крючок не проглотила. А то она бы тобой закусывала. И трогать тебя, гада, стрёмно! Родичи твои в ментовку побегут. Опять откупаться… О! Мысль. Эй! Пацан! Иди-ка сюда! Будешь бить этого недоумка, если хочешь сам остаться цел!

Тут Сашке полегчало. Он прекрасно знал, что Вовчик бить никого не способен. И надеялся, что пацан будет просто бить его для вида.

Подошёл Вовчик, почему-то красный, как рак. Примерился и влепил Сашке такую плюху, что даже у бывалого Шмыги в глазах потемнело. Он взвыл. Вовчик же добавил ему левой в нос со словами:

— Воро́н на крючок ловить! Да ещё на меня это валить! — и пнул Сашку в коленку.

Вороны удовлетворённо наблюдали за происходящим с веток деревьев.

Хряп остановил избиение со словами:

— Ничего себе ботаник разошёлся!

Сашка выглядел уныло. Изо рта и из носа у него текла кровь, рубашка было разодрана: вопрошая про воро́н, Вовчик хватал его за грудки.

Хряп осмотрел крючок, вынул из кармана нож. Щёлкнула кнопка, блеснуло лезвие. Все замерли. Хряп всего лишь отрезал серьгу, которую Шмыга так и оставил на леске, рассмотрел.

— Ты смотри, золото! Видно, выгодное дело — ворон приманивать. Пойдёт в компенсацию за ущерб здоровью собачки.

Вовчик был в ужасе. Пропала мамина красивая серьга. Видимо, очень дорогая. К тому же история эта явно ещё не кончилась. Шмыга рассчитается с ним в школе. Он сильнее… хотя… сила ещё ничего не решает… Стоит взять палку… Надо только иметь решимость. Есть ли она в нём, Вовчик пока не знал. Когда увидел крючок для ворон — решимость была. Будет ли она завтра — непонятно. Главное — серьга.

Хряп задумчиво положил украшение на грязный дворовый стол, каким-то чудом свободный сегодня от шахматистов. Достал блокнот, вырвал страницу и стал сворачивать пакетик. Вовчик всё не смел попросить драгоценность обратно.

Вдруг от ближайшего куста мелькнула чёрная тень… скользнула по столу и исчезла. Вместе с серёжкой. Тут Вовчик не выдержал и заревел. Шансы найти мамину драгоценность стали равны нулю. Хряп захохотал:

— Вот! Воро́ны вам мстят за подлые намерения! А где ты взял золотую серёжку? Небось, у родителей спёр?

Вовчик сидел на балконе и ревел, как маленький. Вспомнилось, что серёжка золотая, да ещё дарёная маме папой очень давно. Он помнил, что, когда первая потерялась год назад, мама очень горевала.

Вовчик грустил на балконе, опершись о старый, растрескавшийся деревянный стол. Когда

сверху что-то зашебуршилось, он даже не стал поднимать голову. Не до любопытства было ему. Однако сверху что-то упало, тихонько стукнуло по доскам стола. Безумная надежда вдруг мелькнула у мальчишки. Стараясь не дышать, он осторожно скосил глаза влево и наверх.

Там спокойно сидела и смотрела на него какая-то особенно большая воро́на. И очень чёрная. Вовчик медленным движением протянул руку и взял то, что поблёскивало на столе. Это была она! Та самая серёжка. Вовчик радостно засмеялся.

— Спасён! — крикнул он. — Я спасён!

Большая чёрная птица скользнула вниз и пропала среди деревьев сквера. Она была раза в два больше обычной вороны и в сто раз чернее.

На всякий случай Вовчик решил сразу отдать серёжку маме. Точнее, положить на место. Ведь брал-то он драгоценность с разрешения, но… только посмотреть. Малец внимательно осмотрел украшение. Всё было в порядке. Только… какое-то оно пыльное… грязное. Как будто лежало долго где-то и пылилось, а не час назад держал Вовчик его в руках, уверенный в безопасности и не подозревающий об истинной ценности вещи. Ему казалось, что золотая — это сверхдорогая. Золотую (если бы знал) он не взял бы ни за что.

Как только мальчик положил драгоценность в красивую бархатную коробочку, мама спросила его, не брал ли он серёжку. Ну, ту, у которой пара пропала год назад.

— Брал! Я же спрашивал разрешения, — тут же признался очень довольный Вовчик, — и на место положил. А что, её нет?

— Да есть то она есть… Вот только очень странная вещь …

— Неужели поддельная?! — Вовчик пришёл в ужас от такого предположения.

— Да нет, не поддельная… Другая. Правая. А сохранилась — левая. Я ведь совершенно точно помню, как я правой рукой замахнулась на наглую ворону, сидевшую у нас на балконе. И у меня от этого слетела правая серёжка. И упала вниз. А когда мы с папой спустились, серёжки нигде не было. А у меня в ухе осталась именно левая серьга. Что ты думаешь по этому поводу?

И Вовчик совершенно точно, честно и конкретно сказал, что он думает по этому поводу:

— Ну ни фига себе!!!

И всё честно рассказал маме. Мама особенно заинтересовалась чёрной птицей. Заставила описать её как можно точнее. И сказала:

— Это не воро́на. Это во́рон. Другой вид. Хотя и близкий. Ты вот что… это… в общем, старайся не обижать его. Не замахивайся. Не кричи. А с крючком… этому парню ещё повезло, что он не поймал ни одну ворону.

— Да, — самонадеянно сказал Вовчик. — Тогда бы я ему ещё не так навалял.

Мама странно посмотрела на сына, но промолчала.

Улёгшись перед сном под одеяло, Вовчик, как всегда, вспоминал прошедший день. Придумывал, что он мог бы сделать или сказать лучше. Толку в этом не было никакого, потому что, твёрдо решив больше так не делать, мальчишка всё равно делал всё по-новой. Он не знал, что не всё, что решишь, получается сразу сделать. Или не сделать. Однако сегодня он пытался понять, что же произошло. И получалось, что произошло вот что.

Кто-то видел, как у него отобрали серьгу. Этот кто-то видел также, что он этим очень расстроен. И он подбросил ему серьгу. Но не потерянную, а ту, которая была в наличии. Чтобы утешить. Кто это мог быть? Неужели тот самый, как мама сказала, чёрный ворон?! Интересно, кстати, как он может жить в городе, среди воро́н. Такой заметный. И что он ест? Вряд ли маленьких мальчиков. Но и крошки с асфальта тоже вряд ли… Трудно поверить, что такая птица питается на помойках. Так что же он ест? Вовчик уже засыпал, когда пришёл ему в голову вопрос: а почему, собственно, во́рон, (если, конечно, это он) решил отдать Вовчику ту самую серьгу?.. На жалость пробило… или выгоду какую иметь хотел? От этой практической мысли Вовчик проснулся.

Ведь если выгоду хотел, может, с ним можно договориться? Может, он и вторую серьгу найдёт?! Похоже, что ему и искать не надо будет. Просто велит воронам принести. Тогда возникают два практических вопроса: где во́рона найти, и что он захочет?

Вовчик начал с первого вопроса: с самого утра, благо была суббота, пошёл туда, где видел во́рона в последний раз. То есть в сквер у дома. Он задумчиво походил туда-сюда. Тщательно осмотрел ворон на деревьях — и тут увидел Сашку Шмыгу. Тот быстро направлялся в его сторону. В принципе, Вовчик мог запросто убежать. Как известно, нет ничего позорного в своевременном отступлении. Но в последний момент, когда и ноги уже напряглись для отчаянного рывка, вдруг увидел Вовчик того, кого искал. Ворон сидел прямо перед ним, на спинке парковой скамейки. И улетать, похоже, не собирался. Капитально так сидел. А Шмыга как раз выворачивал из-за куста. И Вовчик замер на месте. Пусть Шмыга сейчас налетит прямо на него, но ворона тронуть не успеет.

И Шмыга действительно налетел и столкнулся с ним. Вовчик от этого сел в песочницу. Однако Шмыга как будто его и не заметил. Он смотрел на ворона как завороженный. А ворон на него. И глаза ворона отливали синевой. И Шмыга в третий раз в жизни сказал противное слово «Извините!», повернулся и бегом бросился обратно. Подальше от этого ужасного места.

Позже в школе Шмыга обходил Вовчика стороной. Держался от него на расстоянии не менее десяти метров. Чего бы это ему ни стоило. Когда они случайно сели в один вагон трамвая, Шмыга выпрыгнул на ходу. Вовчик тогда решил внимательно следить, чтобы случайно не сесть с ним в один вагон метро.

А пока Вовчик едва заметил бегство одноклассника. Смотрел на во́рона. Тот смотрел на школьника. И сказал:

— Ну, давай поговорим.

— Давайте. Поговорим.

— Серёжку мамину ищешь?

— Да. Мама очень расстроилась. Папин подарок. А я потерял. То есть… Ну, вы знаете.
— Ну… знаю. Пойдём-ка поговорим.

Ворон развернул громадные крылья. Подлетел.

И вдруг… как бы взял Вовчика под руку. Всё закружилось. И вот школьник уже в кресле на чердаке собственного дома. Всегда, кстати, закрытом и даже заколоченном гвоздями.

Перед ним, тоже в кресле, сидел человек, весь в чёрном. Пожилой довольно-таки человек. Стариком его Вовчик назвать не решился. Даже мысленно. Одет он был в чёрную накидку, которая топорщилась сзади.

— Ты знаешь, что общий вес всех муравьёв примерно равен общему весу всех людей? А существуют они во много раз дольше рода человеческого… У них коллективный разум. И они прекрасно решают проблему собственного выживания-существования. Такое же явление может встречаться и у других животных. То есть не очень умные по отдельности животные, объединяясь, могут создавать как бы коллективный мозг. Задача этого мозга вовсе не покорение природы, а умение вида подстроиться под природу. Измениться так, чтобы выжить. Иногда их мозг воплощён в царице, как у муравьёв и пчёл. Иногда это вожак всех животных. А иногда — у животных наиболее умных — их самый умный и могучий представитель может принимать различные облики.

Мальчик с восхищением смотрел на старика. Потом сделал неожиданный вывод:
— Так вы — вороний барон?
— Что за вороний барон?
— Ну, у цыган бывает цыганский барон. Это который решает, что с украденными детишками делать. И с ментами договаривается, чтобы цыган в тюрьму не сажали. А у воро́н, наверное, вороний барон.
— Это похоже. Хотя с ментами мне пока и не приходилось договариваться… Но тебя, наверное, интересует история серёжки твоей мамы…
— Меня, скорее, интересует, где она, эта вторая серёжка.
— Её с минуты на минуту должны принести. А тебе следует знать эту историю, ибо она назидательна.

Серёжки эти не простые. Они обладают магической силой. Люди эту силу не умеют использовать. Так что для них серёжки особой ценности не представляют. Только некоторые из людей, особо чуткие, чувствуют их магическую силу. Как правило, и не понимая, в чём дело. Так и твоя мама. Она полюбила эти украшения вроде бы просто так. Хотя они имеют непосредственное отношение ко всему её роду. И к прошлому рода, и к будущему. Так уж сложилась судьба. И к моему роду тоже имеет отношения эта драгоценность. Именно драгоценность, а не драгоценности, потому что серёжки имеют магическую силу только в паре. Вместе. Цена их просто как драгоценностей не так уж и велика. Несравнима, во всяком случае, с истинной ценой. А чтобы использовать с толком магическую силу, надо в данном случае договориться с человеком. Ведь большинство и слушать не станет! А другие свихнутся, лишь услышав про возможное богатство. Твоя мать не из таких, однако поговорить с ней пока не представилось возможности. Я пытался. Это когда она потеряла серёжку. Да близко оказались нежелательные свидетели. И всё сорвалось. Ведь у нас тоже есть враги. И у нас — как вида… и у меня лично.

Тут всё дело в выживаемости и развитии. Ведь без развития нет выживаемости. Люди вот меняются довольно медленно, а приспосабливаются, ломая мир под себя. Другие так не могут… Правда, человек и живёт-то как вид совсем ещё недолго… Неизвестно, что от него останется через сто-двести тысяч лет.

А мы существуем именно такими, какие есть, очень давно. И человека используем как помощника на данном этапе выживания… Люди считают, что важны всякие наборы информации: философия там, искусства всякие… А важно только то, что способствует выживанию. Вот наука о хлебопечении, например. Магия не может создать хлеб, а эта наука может. Но магия может уничтожить и науку, и хлебопёков. Значит — она сильнее. Однако сильнее — не значит нужнее. Во время войны нужны пушки. А во время голода — хлеб. Поэтому мы, во́роны, и поддерживаем людей. На данном этапе эволюции, конечно. Ведь с людьми так сложно договориться. Как договориться с существом, с которым только поговорил, отвернулся перекусить, а оно уже состарилось и собирается умереть. И никакого дела ему нет уже до судеб цивилизаций. Однако я заболтался. Итак — серёжки. Мне они нужны для целей, тебе совершенно недоступных. Однако сразу скажу, чтобы тебя успокоить: без всякого вреда для людей и животных. Только к всехней пользе. Но серёжки, как и большинство магических предметов, нельзя украсть или отнять. Только добровольно передать из рук в руки. Иначе магические свойства пропадают.

Услышав это «всехней» из уст столь почтенного человека, Вовчик про себя ухмыльнулся. Однако сдержался. Сказалось мамино воспитание. И как-то сразу пропало наваждение. То есть старец перестал казаться таким важным. Теперь даже и возразить ему Вовчик смог бы. Но пока возражать было не в чем. И Вовчик спросил:
— Так вы мне поможете вернуть серёжки, а потом у мамы будете их просить отдать?
— Сначала так и хотел сделать. Но мне не хотелось бы лишний раз, говоря вашим языком, светиться. Давай попробуем так — Ты объясняешь ситуацию. Просишь серёжки у мамы. А потом передаёшь их мне. Никакого обмана не будет. Я тебе сразу дам плату за серёжки. Не двойную там или десятерную, а такую, что маме понравится. Она тебе и расскажет, какая это награда. А сейчас иди пока, расскажи всё маме.
— А куда идти? То есть вот сейчас. Где выход?
— Да это же твой чердак. То есть твоего дома. Домой и иди.
— Да он же снаружи гвоздями заколочен. И замок ещё висит.
— Вот к этому замку руку и приложи. Дверь и откроется. И всегда, когда я позову, так же можешь зайти. Или, если срочно надо, даже если я и не звал. До свидания.

— До свидания.

Чердак оказался закрыт на висячий замок и изнутри тоже. Однако стоило Вовчику приложить ладонь к холодному корпусу замка, как дверь отворилась. Предварительно как-то затуманившись, как будто изображение плыло.

Мама на рассказ Вовчика отреагировала, по его мнению, странно. Она как будто ждала чего-то подобного. И вздохнув, сказала в ответ всего пять непонятных слов:

— Что ж, будем ждать предоплаты.

Тотчас за окном мелькнули огромные чёрные крылья. Даже как будто ветром дохнуло.

— Мам, а какая такая предоплата? Мы будем богатыми?

— Да нет, сынок. Богатыми мы вряд ли будем. А предоплата может быть разная. Они, как правило, не богатство дают, а неприятности убирают. Им вообще трудно добро сделать. А вот всё плохое — в их власти. Не зря же во́роны всегда считались на службе у тёмных сил. Есть у меня одна тайная надежда. Даже и говорить боюсь. Посмотрим…

То ли совпало, то ли на самом деле старик-ворон имел такую силу, но чудо случилось уже на следующий день. Вдруг явился не запылился мамин брат. Терпеть не мог его Вовчик, этого дядю Геру. Потому что являлся он только для того, чтобы попросить у мамы денег и начать пить дальше. Точнее — продолжить дело своей жизни. Как он сам говорил, дело уничтожения Зла — алкоголя. Даже от запаха, исходившего от него, передёргивало Вовчика и тошнило. Однако в этот раз от дяди пахло только хорошим одеколоном.

И… запах ли это был или чувство какое, Вовчик бы не определил, однако от дяди просто несло… деньгами. Не в смысле — денежными знаками, бумажками, а богатством. Обеспеченностью. А не было его примерно год.

— Вот! — сказал он любимой сестре. — Денег заработал. Фирму открыл и заработал. Всё благодаря тебе. Пить бросил совершенно. И, главное, не тянет совсем. А теперь — чего пить? Всё и так хорошо. Подарок вот тебе купил.

И вечно нищий дядя вынул из кармана коробочку и открыл её. Там лежали серёжки. Те самые.

— Я помню, как ты горевала, когда потеряла серёжку-то. А тут сегодня иду — лежат. Очень похожие. Если вот так посмотреть, — то там вроде алмазная ворона получается.

Тут дверь неожиданно открылась, и в прихожую вошёл папа. Он несколько секунд подозрительно смотрел на молодого человека, протягивающего его жене драгоценности. Потом узнал.

— Гера! Собственной персоной! Я про тебя из газет всё знаю. Молодец! И к тому же — трезвый!

Никогда папа прежде Геру не обнимал, а тут обнял. («Прямо сумасшедший дом!» — подумал Вовчик.)

— Да я завязал совершенно. Навсегда к тому же. Я очень серьёзным людям пообещал. Так что мне теперь что выпить, что с десятого этажа прыгнуть. Только прыгнуть не так больно…

— А давайте посмотрим. Что, серёжки действительно так похожи?

Мама тут же принесла коробочку. Положили все три серёжки вместе. Их было не отличить. То есть не найти отличия. Для Вовчика серёжки были совершенно разные. Хотя чем — он не смог бы сказать.

— Видишь отличия? — спросила мама.

— Нет.

— А отличаешь?

— С ходу!

— Вот и я то же самое.

Папа же серёжки отличить не мог. И брат тоже. Им они казались совершенно одинаковыми.

— Это потому что я из другого рода, — как бы в шутку провозгласил папа, и Вовчик так и не понял, шутка ли это.

Ну не понял и не понял. Вовчик взял серёжки и пошёл в сквер. Там он бродил по дождю, ожидая, когда же к нему подлетит ворон. Тот всё не летел. И только увидев Сашку Шмыгу, Вовчик вспомнил, что общаться его приглашали на чердак. Там и дождя нет, и тепло, и Шмыги не шастают. Однако было поздно. Шмыга был явно агрессивен. Наваждение прошлого случая прошло. Надо было выкручиваться. Вовчик как-то не очень верил, что Шмыга вот так просто не воспользуется случаем настучать ему по шее. Вообще как-нибудь унизить. Не в настучании ведь дело. То есть не в боли физической. Тут Вовчику почему-то представилось, как дед-ворон саркастически смотрит на то, как Шмыга даёт Вовчику оттяжку… и Вовчик вдруг пришёл в ярость. Он поднял валявшуюся на газоне палку. Спрятал её за спину. И когда Шмыга привычно заканючил:

— О! Кого я вижу! Какие люди без охраны! А что я тебе сейчас покажу… (после чего обычно следовала саечка) — без предупреждения ударил Сашку по руке. Изо всей силы. С размаху. Из-за спины.

Шмыга взвыл. Собственно, Вовчик бил просто по Шмыге, но тот успел подставить руку.

Палка была толстая, толще Шмыгиной руки. И твёрдая. При столкновении раздался не только стук, но и треск. И Шмыга тут же заорал что есть мочи. Сначала он заорал от испуга и как бы не веря произошедшему. А спустя уже несколько секунд — от боли. Вовчик же, невольно подражая героям, а на самом деле вполне искренне, сказал:

— Очень больно, да?

Однако палку из рук не выпустил и даже примерился вроде ещё раз навернуть по больному месту. Тут только Шмыга догадался убежать — вопя.

Вовчика такой вариант вполне устроил, и он направился на чердак. Под дороге размышляя о переменах в собственной внутренней сущности.

Никогда раньше и в голову не пришло бы пятикласснику Вовчику ударить человека палкой. А в данной ситуации, когда, как выяснилось, шла речь о судьбе целого его Рода… Вовчик не принадлежал себе. Надо было на чердак. Решать судьбы родственников. А может — и спасать кого.

На чердак пройти оказалось просто. Замок открылся от прикосновения его ладони. Внутреннего

замка как будто и не было. На кресле тоже никого не было. Вовчик озадачился. Он сел напротив кресла в некоторой растерянности. И тут же за окном чуть зашумело, дохнуло свежим ветром и в кресле оказался пожилой мужчина. (Опять школьник не мог назвать его стариком.) И сказал:

— Ну?

— Вот дядя вернулся. Пить перестал. Разбогател. Серёжки маме подарил. Те самые. Только не те. То есть одна не та. А это и есть то самое исполнение желания? Но ведь он начал всё это уж год назад…

— Я тоже начал всё это год назад. Совсем нетрудно догадаться заранее о мечте твоей мамы. Это очень хорошие мечты. Серёжки ты должен просто передать мне со словами: «Я передаю это добровольно и без всяких условий». Вот, возьми вторую серьгу.

Вовчик взял предложенное, вынул из потайного кармана ещё три серёжки. Сложил ладони ковшиком, потряс ими, перемешивая. Разжал ладонь. На ладони лежали две пары серёжек. Отдельно. И несмотря на то, что вроде бы они были одинаковые, сразу было видно, что они правильно лежат попарно.

Вовчик взял ту пару и сказал:

— Я передаю это добровольно и без всяких условий.

Серёжки вспыхнули, между ними проскочила яркая, как электрический разряд, искра. Вовчик переложил их в другую руку и протянул. Старик подставил руку, полюбовался на драгоценности и… вроде даже помолодел. И вдруг сказал голосом цыганки:

— А будет теперь счастье и тебе и всей твоей семье.

И оказался Вовчик в парадной перед своей дверью. В руке он сжимал пару серёжек.

Не будучи уверен, что всё сделал правильно, Вовчик поплёлся домой. В голове у него пылало слово «*лохотрон*». Вдруг его просто обманули?! Вдруг он подвёл папу и маму?! Или даже целый Род?

С такими мыслями Вовчик доплёлся до дома. Перед парадной стоял директорский «мерседес». Значит, опять не будет папы весь день дома и не пойдут они в обещанный акваторий. Настроение испортилось окончательно. Шофёр «мерса» помахал ему рукой, чего раньше никогда не делал. Вовчик подошёл.

— Что, теперь вместе будем ездить?

— Куда?

— Ты что, не в курсе? Телевизор не смотришь? Наш директор-то кем оказался! Днём вроде мужик хороший, директор толковый, а по ночам… Так что теперь твой отец главный у нас.

— А тот… где?

— Как где? В тюрьме, конечно!

И почудился Вовчику холодный ветерок от чёрных крыльев…

ДиН стихи

Ярослава Санина

Понарошки

Любить — отращивать длинные крылья,
Учиться дышать и учиться петь;
И впитывать воздуха струи обильные,
И чувствовать силу и жажду взлететь.

Окно распахнуть навстречу крикливому
Небу и слышать: оно зовёт!..
Любить — отдать свои крылья любимому
И снизу смотреть на его полёт.

Играет свирель. Одинокая Мышка
Куда-то вприпрыжку бежит по дорожке,
Вдыхает сирень… Растянувшись на крыше,
Лежит одинокая хищная Кошка.

Она сочиняет поэму! — о птичках,
Листает учёные книги! — о рыбках.
А Мышка чихает и чиркает спичкой,
И Мышке свирельно, и зябко, и зыбко…

Понарошки

Прямая — под одним углом — дорожка
С других углов окажется кривой.
Живут на ней лихие понарошки —
Готовы хоть кого взять под конвой.

Засуетятся, сладко защебечут,
Предложат всевозможные пути…
Но понарошник раны не залечит,
И правды понарошку не найти.

«Пускай ты не на шутку заблудился, —
Говаривал один знакомый наш, —
В какой бы точке ты ни находился —
Важнее вектор, чем километраж».

Яви же мне маяк, Небесный Google!
На понарошек стоит ли пенять?
Ищу-свищу свой самый пятый угол.
Единственный. Чтоб больше не менять.

Борис Кутенков

Но как читатель я встревожен…

О стихах Андрея Санникова[1]

Я долго не мог написать о стихах Андрея Санникова. Долго делал пометки на полях распечатанных санниковских подборок, но никак не получалось свести разрозненные мысли в целостную картину. И дело не во внешних обстоятельствах. Когда наконец призадумался о причинах, долго размышлял и в итоге дошёл «до самой сути». Всегда сложно писать о го́ре. Лирика — вообще есть трагедия, это закон пропорциональности: чем больше ваше го́ре, тем сильнее ваша лирика. Но тут — такое го́ре, перед которым хочется молчать, а не разбирать его на составляющие, схематизировать и анализировать. Это, знаете ли, попахивает внутренним вуайеризмом…

Вторая причина первоначальной «растерянности» — это то, что, кроме упомянутой особенности — присутствия *лирической трагедии,* — у стихов Андрея Санникова есть основополагающая черта, и вот тут-то мы добрались до принципиального. Они написаны *плохо.* Но плохо — не в плане неумения: никаких формальных поводов упрекнуть Санникова в невладении поэтической техникой отнюдь нет. Стихи эти словно бы заранее сделаны на птичьем языке (здесь это определение — ещё и аллюзия к названию подборки в журнале «Дети Ра» — «Пустынные птицы»), намеренно выполнены «левой ногой». Именно намеренно, поскольку язык здесь — средство достижения художественной задачи: предельная небрежность, органичная и возведённая в стилеобразующий принцип, как и все особенности стихов, «работает» на выражение той самой трагедии — или, если хотите, предельно мучительного состояния лирического героя.

Тяготение к минималистским формам, которое можно назвать распространённым качеством многих авторов уральской поэтической школы (см., например, подборку поэтической регионалистики — авторы из Нижнего Тагила — в 1-м номере «Воздуха» за 2010 год), для стихов Андрея Санникова имеет особо важное значение ввиду всё той же предельной небрежности — стихи эти и *не могут* быть длинными, так как стремятся скорее себя закончить. Начинаются ничем и заканчиваются ничем: в них отсутствуют как ярко выраженные начала, так и «ударные» концовки. Рифма тоже подчёркивает страшную усталость, близкую к апатии, когда невозможно руку поднять, не то что стремиться к какой-то искусности или тщанию в плане концевых созвучий: зачастую рифмуются одинаковые части речи («один» — «один», «научился» — «научился»), разноударные слова («рассказываешь» — «конеш»), а то и вовсе одинаковые выражения («май — июнь — туман» — «май — июнь — туман»).

В таком состоянии не важно, чем заполнять строку: самоповторами, абсурдом, первыми попавшимися звуко-ассоциативными выражениями. Автор использует приём заборматывания:

почему я жив ещё
отчего тэдэ
брился мыло на ноже
абвгд

Прочитав заключительный стих катрена, можно уловить ассоциацию и с дробным стучанием зубов, и с механическим выстукиванием, чтобы проверить, работает ли клавиатура, — а от клавиатуры легко провести параллель с «проверкой» лирическим героем собственной жизни.

Сюда же отношу и повторение слов про себя — так заглушают собственную боль, отвлекают себя, чтобы не думать о тягостном.

Уйди, какая ты! Я сам же научился —
о Господи — терпеть, терпеть, терпеть, терпеть!
Но я и умирать ещё не научился.
Но только не теперь. Теперь, теперь, теперь.

О состоянии «подвешенности» героя в пространстве, его нахождении между жизнью и смертью тоже говорится дважды вполне отчётливо — в вышеприведённом катрене и в строках:

полем Голем горем — но
и туда никак
оставайся! — вот говно
не могу никак

И оставаться на земле нельзя, и «умирать ещё не научился». Отвратительнейшее состояние из возможных. Не хочется даже попадать на тот свет — а вдруг там ещё страшнее: «*как бы хотелось жить, но однократно*».

…Надо заметить, что по сравнению с «крещатиковской» подборкой (цитаты я привожу из двух подборок в произвольном порядке) стихи Санникова в журнале «Дети Ра» смотрятся более цельными. При сохранении прежних приёмов (отсутствие выраженных начал и концовок) уменьшается концентрация абсурдизма и «птичьего языка»: стихи словно перетекают друг в друга, будто боятся существования поодиночке. Кажется, что выпадет звено — и разомкнётся цепь, связывающая лирического героя с жизнью. Всё вместе смотрится осознанным циклическим замыслом, направленным на стилизацию под инфантильную речь обиженного ребёнка, забравшегося под одеяло с целью эскапизма. Эта эстетика стихов в чём-то

1. http://magazines.russ.ru/kreschatik/2009/4/sa13.html — «Крещатик», 2009, № 4. Андрей Санников — «И слышен звук». http://magazines.russ.ru/ra/2010/2/sa22.html — «Дети Ра», 2010, № 2 (64). Андрей Санников — «Пустынные птицы». Стихи.

напоминает раннего Эренбурга с его «поздним недоуменьем», в чём-то — раннего же Мандельштама (помните: «Неужели я настоящий/И действительно смерть придёт»), только вот что принципиально отличает героя Санникова от лирических субъектов вышеупомянутых классиков — это именно обиженность, отвергающая попытки мира проникнуть к нему под одеяло. Стихи вообще не выходят за пределы узкой топографии: комната, взгляд в окно, «*Челябинск, а вокруг него мосты*».

И тут надо перейти к ещё одной важной особенности стихов Андрея Санникова. Все они *диалогичны*. Чувствуется присутствие некоего внутреннего (внешнего ли) собеседника, имеющего явные внешние признаки: это женщина, утирающая слёзы тому самому обиженному ребёнку, *трогающая* его *окно полупрозрачными руками*. Иногда возникает чёткое ощущение, что разговор ведётся со смертью. Вот что говорит этой женщине ребёнок: он то отталкивает её, то просит поговорить, то слезливо упрекает (*«А ты вот — половина птицы ты»*), то отгоняет (*«Уйди, какая ты!»)*, пользуясь при этом аллюзиями вполне отчётливого словесного ряда — к Есенину, например (*«Я прожил эту жизнь. Не надо. До свиданья»)*, песне «Поговори со мною, мама» в строке «*Поговори, поговори со мною*» или Чуковскому (в строке «*Я говорю всё это не тебе…*» видится трансформация фразы «Я не тебе плачу, а тёте Симе» в контексте обиженных выпадов). Санниковские нарушения синтаксиса — преимущественно в императивах (*«не утрачивай мне руки», «выйди мне», «вынеси глаза»*), реже в падежных формах (*«кивает нами»*), — вообще важны для передачи детского мироощущения. «*…Мне кажется, что начиная с двух лет всякий ребёнок становится на короткое время гениальным лингвистом, а потом, к пяти-шести годам, эту гениальность утрачивает*», — писал тот же Чуковский о творческом словообразовании у детей.[2] Детское мироощущение у Санникова передаётся и на уровне поступков: попытка подросткового суицида (*«не отбирай наутро пистолет»*) или — *«не обернусь назло»*.

Остаётся только догадываться, насколько образ лирического героя в стихах Андрея Санникова приближен к образу автора. Да я и не сторонник биографического подхода к анализу материала — мухи отдельно, котлеты отдельно: предпочитаю при разборе быть объективно отстранённым от личности человека, написавшего стихи, даже будучи с ним лично знакомым. А с Андреем Санниковым я не знаком (а жаль — чисто по-человечески автор этих стихов мне очень интересен). Я даже намеренно не читал того, что пишут остальные исследователи творчества Санникова (предполагаю, что таковые имеются), чтобы не замутнять впечатление.

Да и всё то, что я сказал об интонации обиженного ребёнка, само по себе не содержит отрицательной характеристики. Примеров поэтов, которым для творчества нужно надеть лирическую маску, не счесть. «*Только при этой установке* (верный подданный при хозяине, которому невозможно угодить. — Б. К.) *Слуцкий мог жить и работать. Она, так сказать, его собственный raison d'être, поэтическая маска: одному поэту, чтобы писать, нужно представлять себя безвестным и обижаемым, другому — счастливым и удачно влюблённым, а третьему нужна такая вот позиция нелюбимого подданного, старательного и трудолюбивого исполнителя, обречённого на изгойство*»[3], — писал Дмитрий Быков в недавней статье о Борисе Слуцком. Ахматовой вот нужно было носить «лохмотья сиротства как брачные ризы», интеллигентому в жизни Борису Рыжему — представлять себя маргиналом. Лирические субъекты этих авторов, как мы теперь знаем, имели мало общего с их личностью.

Однако сердце-то моё, как пелось, — не камень. И мне невольно хочется додумать личность автора, стоящего за стихами. Додумать затекстовые факторы, как сказал бы Тынянов.

Я люблю в некоторых случаях приводить фразу, сказанную Татьяне Бек её знакомым, американским психиатром: «*Как читатель я ничего не понял, но как специалист я встревожен…*» (Это о её стихах, по которым автору высказывания показалось, что у поэтессы тяжёлая форма депрессии.)

Вот и я: как критик, конечно, что-то понял, но как читатель — изрядно встревожен.

Мне тревожно за человека, выбирающего именно *такую* лирическую маску.

Маску человека, в одиночестве комнаты разговаривающего со смертью. Пребывающего в снах по *полугоду* (что это — анабиоз? зимняя спячка?). Человека, программное обращение которого к миру выглядит так:

> Не пой и не мучай меня, перестань,
> забудь обо мне, человек…

Биографических реалий, которые прояснили бы, *что* довело лирического героя до такого состояния, в стихах Санникова нет, зато подробностей внутреннего мира — сколько угодно. Вот этот словесный ряд: *«тяжело», «я умираю», «убьют», «в темноте и тишине», «плачут», «утираю слёзы», «проплакался», «горе», «неполучившаяся судьба», «я прожил эту жизнь», «мне одиноко», «не отбирай наутро пистолет»*.

Вот я и встревожен судьбой человека, стоящего за этим словесным рядом. Даже если этот человек — всего лишь «языковой», автору следует помнить, что слово материально. Сегодня Андрей Санников пишет от имени *«мальчика с повреждённой головой»*, у которого *наутро отбирают пистолет*, а завтра, чего доброго, поступит по примеру Маяковского или своего уральского коллеги Бориса Рыжего.

Хотя и не хочется ставить так сразу диагноз — благо, не знаешь, кому его ставить. Остаётся надеяться, что это всего лишь временная депрессия, связанная со средним возрастом. Или — что автор нас удачно «провёл».

В последнем случае — как бы автор не оказался в положении другого мальчика, но уже толстовского. Да-да, того самого. Из сказки про мальчика и волков.

2. Чуковский К. И. Стихи и сказки. От двух до пяти. — М.: «Планета детства», 1999. — с. 278.
3. http://www.rulife.ru/mode/article/1283/ — Дмитрий Быков. «Выход Слуцкого. Поэт, который не стремился к гармонии».

стр. 48
Апальков Александр Владимирович
Канев (Украина), 1961 г. р.

Родился на Харьковщине. Окончил ХГИК, писатель, переводчик, редактор-издатель международного литературно-художественногожурнала «Склянка Часу—Zeitglas». Публикуется с 1987 года. Автор книг«Два рассказа», «Нравы города Ка», «Не Бовари», «Deutsche Texten», «Львов-Луганск-Бис», «Разложи танец» и др.

стр. 189
Балашов Владимир Борисович
Саяногорск, 1949 г. р.

Родился в Ленинграде. По профессии—инженер-геодезист. Работал на изысканиях канала Иртыш—Караганда, Бурейской и Саяно-Шушенской ГЭС. В Саянах с 1972 года. Заочно окончил Московский литературный институт им. А.М. Горького в 1992 году. Публиковаться начал в 1976 году. Печатался в сборниках, журналах, местных газетах. Член Союза писателей России. Руководитель литературного объединения «Стрежень», член правления писательской организации Республики Хакасия. Его стихи, повести, рассказы, очерки печатались в журналах «Молодая гвардия», «Техника молодёжи», «Енисей», «Литературный Абакан», «День и ночь».

стр. 234
Барвицкая Александра
Москва

Поэт, журналист, издатель. Родилась в г. Будённовске Ставропольского края. Член Союза писателей России. С 2006 года—член редколлегии (директор по спецпроектам) литературного журнала «Российский колокол» при Союзе писателей России. 2007–2008 годы—член жюри Международного поэтического конкурса «Открытие». 2009 год—член жюри Международного интеллектуально-творческого конкурса «Студенчество-2009». Автор книг стихов «На развалинах гордого замка» (1999) и «Смена ориентации» (2007).

стр. 84
Васильев Геннадий Михайлович
Красноярск, 1959 г. р.

Журналист, поэт, исполнитель авторской песни. Родился в Томске. Отслужил в армии, потом по комсомольской путёвке оказался на КАТЭКе, в Шарыпово. Учился заочно в Иркутском университете на факультете журналистики. Работал в газетах «Красноярский комсомолец», «Свой голос», «Евразия», «Деловая Сибирь», вёл еженедельную программу на красноярской студии «Авторадио», участвовал во всевозможных медиа-проектах. Участник Всероссийского совещания молодых литераторов в Ярославле в 1996 г.

стр. 164
Волобуев Геннадий Тихонович
Зеленогорск, 1944 г. р.

Выпускник Томского политехнического института. по специальности «разделение изотопов и энергетические установки». Более пяти лет работал на Государственном электрохимическом заводе Минсредмаша. В 1972 году был избран вторым, затем первым секретарём горкома комсомола (Красноярск-45, ныне Зеленогорск). С 1976 года избирался на различные партийные и советские должности (в том числе—секретаря горкома КПСС, заместителя председателя исполкома горсовета, заместителя главы города). Около 25 лет курировал социальную сферу города. В настоящее время возглавляет филиал Сибирского государственного аэрокосмического университета в Зеленогорске, доцент. Автор нескольких книг и множества публикаций по краеведению. В апреле 2010 года вышла в свет книга Г.Т. Волобуева «От слюды до урана», повествующая о стратегических оборонных предприятиях на красноярской земле и судьбах людей, опередивших время.

стр. 122
Воронина Марина Борисовна
Городец, Нижегородская область

Родилась в Карелии. Переменила массу профессий: была и уборщицей, и актрисой, и пресс-секретарём главы района, комплектовщицей кроя на швейной фабрике, гастарбайтером, барменом, библиотекарем, журналистом и так далее. Её проза публиковалась в журналах «Север» и «Знамя».

стр. 22
Герман Сергей Эдуардович
Германия, 1961 г. р.

Потомок командира русского корпуса генерал-лейтенанта И. Германа фон Ферзена, разбившего войска Батал-паши у р. Кубань. Родился в Новосибирске. Отслужил срочную службу, окончил училище МВД СССР, юридический факультет университета. Жил в Сибири, Средней Азии, на Северном Кавказе. Осенью 1999—зимой 2000 гг. в составе объединённой группировки российских войск воевал в Чечне, был ранен, контужен. Награждён 4 медалями, именными часами от советника Президента РФ Героя России генерала Трошева. Автор книг «Чеченские рассказы», «Обречённость», «Над пропастью безумия», «Контрабас». В настоящее—время председатель Совета атаманов Международного Союза казачьих объединений (Internationaler Verein von Kosaken und Kosakenvereinigungen e.V.) Казачий генерал. Член Международной федерации русскоязычных писателей. Действительный член Европейской академии естественных наук, профессор РАЕ.

стр. 113 **Гетманова Виктория Константиновна**
Ташкент

Образование: ТашГТУ, ТашГЭУ. Публикации: «Новый Берег» (Дания), «Студия» (Берлин), сборник «Дальнейшее молчание» (Москва), «День и ночь» (Красноярск).

стр. 216 **Димов Василий Александрович**
Москва, 1957 г. р.

Родился в Бессарабии, на Дунае (современная Украина, Измаил). Выпускник факультета журналистики МГУ. Автор сборника повестей «Профиль в склеенном зеркале», романов «Аллюзии Святого Поссекаля», «Тбилиссимо», «Москва по понедельникам». Публикации в журналах «Lettre International», «День и ночь», а также в российской, немецкой и болгарской прессе, в прессе стран СНГ.

стр. 68 **Ёлтышев Александр Владимирович**
Красноярск, 1950 г. р.

Выпускник филологического факультета Красноярского педагогического университета. Учил детей в сельских и городских школах. Служил в армии. Работал журналистом в газетах и журналах. Стихи публиковались в журналах «Енисей», «Предлог», «День и ночь», на портале «45-я параллель», в коллективных сборниках. Автор изданной книги стихов.

стр. 183 **Жуков Максим Александрович**
Москва, 1968 г. р.

Поэт, прозаик, журналист. Член Союза литераторов России. Лауреат международного конкурса «Tamizdat» — специальный приз (2007). Публикации в газетах «Гуманитарный фонд» (1994), «ЛГ» (2009), в журналах «Мулета — Скват» (1992) «Российский Колокол» (2007), «Знамя» (2007), «Топос» (2008), «Дети Ра» (2009). Автор двух книг, изданных в Москве и в Риге.

стр. 36 **Жуковский Станислав Витальевич**
Донецк, 1938 г. р.

Поэт, пишет на украинском языке. Председатель Донецкой областной писательской организации СП Украины. Выпускник факультета журналистики Киевского государственного университета работал в периодических изданиях Донецкой области, издательстве «Донбасс» и аппарате Донецкой писательской организации. Автор двенадцати поэтических книг на украинском языке. Лауреат областных литературных премий имени В. Сосюры и Г. Кривды, а также Международной литературной премии имени Г. Сковороды. Почётный гражданин города Енакиева Донецкой области.

стр. 26 **Зыков Владимир Павлович**
Красноярск, 1935 г. р.

Родился в пос. Лесотехникум на Вятке. Окончил Горьковский (Нижегородский) государственный университет. Филолог. Работал в районных, городских и краевых газетах Алтайского и Красноярского краёв. Член Союза журналистов России с 1962 года. Автор публицистических и краеведческих книг. Участник строительства Красноярской ГЭС. Ветеран Красноярского книжного издательства. Лауреат премии комсомола Красноярского края. Автор пяти книг стихов. Член Союза российских писателей.

стр. 34 **Ищенко Наталья Васильевна**
Феодосия

Родилась в городе Тюкалинске Омской области. Окончила Тюменское музыкальное училище. Работала преподавателем, концертмейстером. Поэт. Автор семи поэтических сборников для взрослых и детей. Ответственный секретарь Союза русских писателей Восточного Крыма. Член СП России. Дипломант Международной литературной премии имени великого князя Юрия Долгорукого, лауреат Ялтинского фестиваля «Чеховская осень».

стр. 87 **Коныхов Леонид Александрович**
Подмосковье, 1940 г. р.

Родился в Киеве. Как никто другой, сумел выразить в рассказах дух этого города. Основную их часть издать в советское время было невозможно. В начале семидесятых, с помощью Виктора Некрасова, Коныхову удалось издать в Киеве небольшую книгу рассказов, изуродованную цензурой. В начале восьмидесятых, по сфабрикованному обвинению за самиздат, Коныхова упекли на несколько лет в тюрьму. Спасло его то, что в тюремной библиотеке оказалась его книжка, — «своего» писателя заключённые зауважали. Однако здоровье было подорвано. Все тексты, написанные на зоне, ему не отдали. Коныхов переехал в Подмосковье. Женился, родилась дочь. С трудом Коныховы зарабатывали на жизнь. С трудом они построили домик. В 1989 году вышла Лёнина книга прозы в Москве. Коныхов много работал, приводил в порядок свои тексты, писал новое. И вот несколько лет назад, по вине пьяных соседей, домик Коныховых сгорел. Сгорело всё! Все рукописи за половину столетия творческой работы, включая записные книжки. Сгорели пять полновесных томов отличной прозы. Коныхов перенёс инсульт. С помощью друзей и церкви удалось вновь построить домик — для жизни. По крупицам стали все мы собирать Лёнины тексты: спасибо самиздату! — кое-что всё-таки нашлось, у друзей, у знакомых. Это кое-что — два тома прозы. Яркие, колоритные, своеобразнейшие рассказы. Это по-настоящему талантливый, всякого навидавшийся в непростой своей жизни человек. Несмотря на болезнь, он старается держаться и работать. *Владимир Алейников.*

стр. 150 **Куликова Людмила Михайловна**
Фризойте (Германия), 1960 г. р.

Прозаик, автор трёх книг, изданных в Швейцарии (издательство «KaMeRu») и Германии («Lulu»), многочисленных рассказов и повести. Регулярно публикуется в периодике и антологиях России,

Украины, Казахстана, Карелии, Германии, Австрии и Швейцарии. Шорт-лист премии «Русский Stil» (Германия) в номинации «Малая проза» (2008); лауреат конкурса «Вся Королевская Рать-2008», 1 этап, учреждённого Союзом писателей «Новый современник», Публикации в журналах «Изящная словесность», «Neue Sirene», «Zeichen & Wunder», «Die Rampe», «Золотой век», «Книголюб», «Literarus», «Север» «Сибирские огни», «Experimenta», «Et cetera», «День и ночь».

стр. 239 **Купрюхин Юрий Павлович**
Санкт-Петербург, 1952 г. р.

Выпускник философского факультета ЛГУ и Литературного института им. Горького. Работал социологом, экспедитором, таксистом, водолазом. Занимался карате, был каскадёром на «Ленфильме», снялся во многих фильмах. С 1988 г. — организатор и директор фирмы подводных работ «Дельфин». Публикации в журналах «Мега», «Калейдоскоп», «Подводное обозрение», «НЛО», «Флорида», «Тайны XX века» и других. Издано четыре книги, одна из них — в издательстве «Азбука».

стр. 244 **Кутенков Борис**
Москва, 1989 г. р.

Родился в Москве. В настоящее время студент Литературного института им. Горького (семинар поэзии, 5 курс). Работает корреспондентом районной газеты. Стихотворения и статьи публиковались в «Литературной газете», журналах «Наш современник», «Юность», «Студенческий меридиан», «День и ночь», в газете «Литературная Россия». Автор книги «Пазлы расстояний».

стр. 3 **Леонович Владимир Николаевич**
Кострома, 1933 г. р.

Поэт, публицист, переводчик. Окончил московскую школу, учился в Одесском мореходном училище, в Военном институте иностранных языков, на филфаке МГУ, служил в артиллерии, работал на Красноярской железной дороге, на строительстве Запсиба, в газетах и журналах, преподавал словесность в сельской школе, плотничал, вёл литкружки. Автор пяти книг стихотворений. Участник Комиссии по литературному наследству репрессированных писателей. Руководитель литературной студии в Доме Цветаевой. Известный переводчик грузинских поэтов.

стр. 146 **Масс Татьяна**
Франция

Родилась в Череповце Вологодской области. Окончила факультет журналистики МГУ им. Ломоносова в 1987 году. После окончания журфака уехала в Ригу, работала в молодежной республиканской газете «Советская молодёжь». Работала в печатных СМИ, на радио и телевидении в Латвии, Грузии, США, Западной Европе. Призёр международного конкурса журналистики «Золотое перо» (2008). Автор нескольких книг прозы. Публикации в журнале «День и ночь» в 2005–2008 гг.

стр. 80 **Мещеряков Алексей Николаевич**
Красноярск, 1961 г. р.

Выпускник Ленинградского института советской торговли (1986). Стихи и рассказы публиковались в журналах, альманахах, коллективных поэтических сборниках Москвы, Московской области, Красноярского края, Красноярска, других городов России. Автор нескольких книг стихов, прозы и публицистики. Председатель правления Красноярского регионального отделения Союза писателей России. Секретарь правления Союза писателей России. Действительный член Российской академии литературы. Член редакционного совета всероссийского альманаха «Московский Парнас». Дипломант международного конкурса детской и юношеской литературы им. А. Н. Толстого (2009). Дипломант всероссийского литературного конкурса «Мастер» (2010).

стр. 78 **Мошников Олег Эдуардович**
Петрозаводск, 1964 г. р.

Окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище. Служил заместителем командира военно-строительной роты. Служил в органах МВД. На данный момент — начальник отдела пропаганды Главного управления МЧС России по Республике Карелия, подполковник внутренней службы. В 1996 г. окончил Ивановское пожарно-техническое училище (заочно). Автор трёх книг стихов и книги прозы. Член Союза писателей России.

стр. 32 **Осипов Вадим Вениаминович**
Екатеринбург, 1954 г. р.

Родился в Свердловске. Окончил Уральский политехнический институт по специальности «физика металлов», доцент кафедры графического дизайна Уральской государственной архитектурно-художественной академии. Член Союза писателей России, автор нескольких поэтических сборников, фотограф и переводчик.

стр. 64 **Петров Борис Михайлович**
Красноярск, 1932 г. р.

Родился в Туле. Служил в армии, участвовал в венгерских событиях 1956 года. В армии начал писать рассказы. После армии работал учителем истории в средней школе, которая размещалась в доме, ранее принадлежавшем Григорию Распутину. Работал в отделе пропаганды райкома партии, редактором районных и областных газет. С 1968 года живёт в Красноярске, был собственным корреспондентом «Известий» по Красноярскому краю. Автор многочисленных книг и журнальных публикаций. Член Союза писателей России.

стр. 50 **Рождественская Лидия Игнатьевна**
Красноярск

Родилась в Красноярске. Окончила сценарный факультет ВГИКА. Работала на краевом государственном телевидении и на канале «ТВЦ-Красноярск».

Была автором и ведущей многих программ: для детей, о культуре и искусстве, «Просто женщина», «В поисках радости с Лидией Рождественской» и др. На ежегодном краевом конкурсе Союза журналистов трижды была признана лучшим автором и лучшей ведущей года, в 2000 году — за передачу «Воспоминания об отце». Победитель международного телевизионного конкурса «О женщине с любовью» в Санкт-Петербурге. Заслуженный работник культуры России. Открыла «Творческую мастерскую Л. Рождественской». Снимает документальные фильмы и рекламу.

стр. 134 **Рыбин Александр**
Владивосток, 1983 г. р.

Родился в Тверской области. Рассказы публиковались в альманахе «Илья», журналах «День и ночь», «Волга-XXI век», в газетах «Литературная Россия» и «Ванкувер Экспресс» (Канада). Финалист литературного конкурса «Илья-премия» (номинация «Проза», 2007). В 2008 году рассказы попадали в лонг-листы Бунинской премии, премии им. Астафьева и премии «Неформат». Работает в газете «Арсеньевские вести».

стр. 118 **Салтуп Григорий Борисович**
Петрозаводск, 1952 г. р.

Прозаик, скульптор, искусствовед. Выпускник ВЛК при Литературном институте им. А. М. Горького в Москве. Член Союза дизайнеров Карелии». Член Карельского союза писателей, «Товарищества детских и юношеских писателей России». Автор 6-ти книг прозы. Публикации в журналах и альманахах «Аврора», «Искорка», «Костёр», «Дружба», «Колобок», «Север», «Punalippa», «Karelia», «Kipina» (на финском языке), «Уральский следопыт», «Журналист», «Знание — сила», «Крылья», «Наука и религия», «Сибирские огни», «Новый берег» (Дания), «Синопсис и сценарий», «Русский Stil — 2008», «Русский Stil — 2009» (Германия), «Альманах детской и юношеской литературы» (по итогам конкурса им. А. Толстого в 2007, 2008 гг.) и др. изданиях. Участник и дипломант многочисленных литературных конкурсов и фестивалей.

стр. 243 **Санина Ярослава Игоревна**
Хайфа (Израиль), 1972 г. р.

Родилась в Омске. Училась в Омском педагогическом институте на художественно-графическом факультете, но не окончила его в связи с переездом в Израиль в 1993 г. Работает по специальности: преподаёт, оформляет, рисует. Умеет играть на многих инструментах, которые попадают ей в руки: аккордеон, дудочка, балалайка. Стихи и песни сочиняет с десяти лет. Участвовала в двух омских фестивалях, посвящённых памяти Веры Матвеевой, а третий — организовывала сама вместе с мужем. Лауреат конкурсов в Кармиэле (Израиль), а также фестивалей «Дуговка» и «БардЮга».

стр. 237 **Серебрянский Юрий Юрьевич**
Алма-Ата, 1975 г. р.

Окончил Казахский Государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «экология». Работал экспертом ООН по международному экологическому законодательству, гидом в Королевстве Таиланд, журналистом, руководителем туристического агентства. Участник форумов молодых писателей России в Липках 2007, 2008 гг. Окончил семинар прозы и поэзии английских писателей Тобиаса Хилла и Паскаль Петит и семинар ОФ «Мусагет». Член клуба искусств имени Геннадия Айги (Чувашия). Публиковался в казахстанских журналах «Книголюб», «Простор», «Эсквайр-Казахстан», «Ышшо-Одын», альманахах «Литературная Алма-Ата», «Линки для странников»; российских журналах «Луч», «Дружба народов»; интернет-журналах «Пролог», «Точка зрения», «Знаки», «Новая реальность». Автор книги прозы «Мой Караваджо», (2006), сборника стихов «Рукопись, найденная в затылке» (2010).

стр. 27 **Силкин Владимир Александрович**
Москва, 1964 г. р.

Окончил редакторское отделение военно-педагогического факультета Военно-политической академии, кандидат педагогических наук. Автор около тридцати книг стихотворений, в том числе детских, эссе, песен. Лауреат Государственной премии России. Заслуженный работник культуры РФ. Кавалер ордена Почёта. Святейшим Патриархом Московским и всея Руси удостоен ордена Русской православной церкви святого благоверного князя Даниила Московского. Председатель Комиссии по военно-художественной литературе Союза писателей России, заместитель Председателя президиума Московской городской организации Союза писателей России. Автор многочисленных публикаций в литературных изданиях России.

стр. 155 **Скакун Наталья Викторовна**
Чехия, 1969 г. р.

Родилась в Балахте Красноярского края. В старших классах печаталась в новосёловской газете «Путь Ильича». Окончила школу с золотой медалью и, сдав один экзамен, поступила на филфак КГУ. Ушла с третьего курса — помешала болезнь (осложнение после клещевого энцефалита). С 1997 года работала в районной газете «Сельская новь», сотрудничала в региональном еженедельнике «Экран-информ». Победа в краевом конкурсе, посвящённом 70-летию края. В 2005 году уволилась из государственного СМИ, чтобы создать свою газету — «Околоток». С 2009 года живёт в Чехии. Лауреат литературной премии Фонда В. П. Астафьева. Публикации в журналах «День и ночь», «Сибирские огни», «Москва». Автор книги «Дырки на карте» (Новосибирск, 2008).

стр. 29 **Скотневский Борис Абрамович**
Тольятти, 1953 г. р.

Родился в Куйбышеве (ныне Самара). Окончил Куйбышевский медицинский институт. Член правления Союза российских писателей, председатель правления ОТО ГО «Тольяттинская писательская организация». Публиковался в еженедельниках «Литературная Россия», «Литературная газета»; в журналах «Наш современник», «Город», «Новый журнал»; в альманахах и коллективных сборниках. Автор восьми книг стихов, среди них — «Закон сохранения любви», «Возле самой зари», «Мелодия преодоления», «Прощай, потому что люблю», «Листопад», «В сторону любви» (в серии «Библиотека журнала «Город») и книги избранных стихотворений «На вокзале речном». Лауреат всероссийского еженедельника «Литературная Россия», награждён медалью им. М. Шолохова.

стр. 82 **Слепухин Сергей Викторович**
Екатеринбург, 1961 г. р.

Поэт и художник. Автор книг стихов: «Слава богу, сегодня пятница!» (Екатеринбург, 2000), «Осенний покрой» (С.-Петербург, 2003), «Вода и пряжа» (Екатеринбург, 2005), «Прощай, Парезия» (Екатеринбург, 2007), «Задержка дыхания» (Екатеринбург, 2009); книг эссе о поэзии (совместно с М. Огарковой): «Новые карты Аида» (США, 2009), «Перья и крылья» (США, 2010). Стихи публиковались в журналах «Арион», «Волга», «Звезда», «Крещатик», «Новый берег», «Интерпоэзия», «Дети Ра», «Уральская новь», в антологии «Современная уральская поэзия» (Челябинск).

стр. 185 **Суворов Илья**
Красноярск, 1978 г. р.

По специальности инженер-строитель. Участвовал в Российском форуме молодых писателей в 2001 г. в Липках. Печатался в «Литературной газете», в «Красноярском рабочем», в журнале «День и ночь», в коллективных сборниках и альманахах.

стр. 7 **Стародымов Николай Александрович**
Москва, 1956 г. р.

Родился в семье военнослужащего. Донской казак. Окончил Донецкое высшее военно-политическое училище и Военный университет Министерства обороны. В Вооружённых силах отслужил 27 лет. Подполковник запаса. Участник боевых действий, кавалер трёх боевых наград. Член Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Будучи офицером, стал военным журналистом. Прошёл должности от корреспондента дивизионной газеты до заместителя редактора отдела газеты «Красная звезда». По увольнении из Вооружённых сил почти восемь лет был главным редактором журнала «Боевое братство». Автор 20 опубликованных художественных и публицистических книг. Член-корреспондент Международной академии духовного единства народов мира. Член Союза писателей России. Член Союза журналистов России. Лауреат литературных конкурсов «Золотое перо Руси», им. А. С. Грибоедова и В. В. Карпова.

стр. 232 **Степанов Евгений Викторович**
Москва, 1964 г. р.

Выпускник факультета иностранных языков Тамбовского педагогического института. Окончил Университет христианского образования в Женеве и аспирантуру факультета журналистики МГУ. Кандидат филологических наук. Литератор, издатель, культуролог. Генеральный директор издательства и типографии «Вест-Консалтинг». Издатель и главный редактор журналов «Дети Ра», «Футурум АРТ» и др. Член редколлегии журнала «Крещатик». Член Союза журналистов Москвы, Союза писателей Москвы, Русского ПЕН-центра. Почётный гражданин штата Кентукки (США). Лауреат Отметины имени Отца русского футуризма Д. Д. Бурлюка. Автор многочисленных журнальных публикаций и нескольких книг стихов и прозы, вышедших в России и за рубежом, а также культурологических монографий. Награждён орденом и медалью.

стр. 186 **Татаренко Юрий Анатольевич**
Томск, 1973 г. р.

Родился в г. Новосибирске. С 1998 г. — актёр Томского театра драмы. Поэт, автор трёх книг. В 2006 году вошёл в шорт-лист Всероссийской литературной премии им. В. Астафьева. Обладатель спецприза газеты «Труд» на Всероссийском конкурсе «Романсиада» (Томск), лауреат Международного фестиваля (Омск) и дипломант Всероссийского конкурса актёрской песни (Нижний Новгород).

стр. 39 **Тресков Василий Ильич**
Москва, 1961 г. р.

Родился и вырос в городе Нальчике Кабардино-Балкарской Республики. По профессии журналист, преподаватель политологии. Работал в центральных ведущих редакциях («Молодой коммунист», «Известия»), в пресс-службах Госдумы и столичной мэрии. Преподаёт в Московском государственном педагогическом университете. Пишет короткую юмористическую прозу с 16-ти лет. Первый рассказ был опубликован в 1973 году в журнале «Юность». С тех пор регулярно публиковался в изданиях «Юность», «Крокодил», «Москва», «Литературная газета» и в другой периодике. Награждался призами клуба «ДС» «Литературной газеты», журнала «Юность», дипломами СЖ РФ. Автор нескольких сборников прозы. Последняя книга «Пробки» вышла в 2008 году в московском издательстве «Русское слово».Член Союза писателей России. Кандидат исторических наук.

стр. 77 **Федоровский Игорь Сергеевич**
Омск, 1988 г. р.

Родился в Омске. В настоящее время студент пятого курса филологического факультета ОмГУ, играл в студенческом народном театре «Поиск». Публиковался в сборниках сочинений «Войною

опалённая судьба», «Город мой, ты песня и легенда», коллективных сборниках «Что за чудо этот Омск!», «Моё имя», «На первом дыхании-4», «Иду на честный разговор», альманахах «Складчина», «Вольный лист», журналах «Вестник Омского университета», «Виктория», «Пилигрим», «Омская муза», сборнике, посвящённом творческому наследию А. П. Кутилова, газетах «Омский университет», «Литературный дом», «Красный путь», «Омское время». В 2006 году был победителем в номинации «Лучшая проза» в факультетском конкурсе «Зажги Filfakel». В 2007 году издал первую поэтическую книгу «Восьмая нота», которая была удостоена памятного подарка премии Достоевского (2007). В 2009 году издал первую прозаическую книгу «Научите меня плакать», удостоенную премии Достоевского в 2009 году. Член редколлегии журнала «Пилигрим». Работает корреспондентом газеты «Омское время».

стр. 162
Фоняков Илья Олегович
Санкт-Петербург, 1935 г. р.

Родился в г. Бодайбо Иркутской области. Окончил факультет журналистики ЛГУ (1957). Работал литературным сотрудником новосибирской областной газеты «Советская Сибирь», собственным корреспондентом «ЛГ» по Сибири, затем в Ленинграде. Печатается с 1950 года. Автор множества книг стихов, очерковой и критической прозы. Переводил поэзию народов СССР. Публикации в журналах «Новый мир», «Звезда», «Октябрь», «Нева», «Знамя», «Огонёк», «День и ночь». Член Союза российских писателей.

стр. 145
Хугаев Ирлан Сергеевич
Северная Осетия—Алания, 1965 г. р.

Выпускник филологического факультета Северо-Осетинского государственного университета им. Коста Хетагурова; преподавал русский язык и литературу в школах Северной Осетии; в 1993 году поступил в аспирантуру и в 1997 году защитил кандидатскую диссертацию «Россия и Кавказ в историческом романе Хаджи-Мурата Мугуева „Буйный Терек“» (Владикавказ, 1997); до 2002 года преподавал на филологическом факультете СОГУ (с 2000 года—доцент кафедры русской литературы); в 2003 году поступил в докторантуру РУДН (Москва), преподавал историю русской литературы, критики и журналистики в Новом гуманитарном университете Натальи Нестеровой. В 2008 году издал монографию «Генезис и развитие русскоязычной осетинской литературы» (Владикавказ). В настоящее время—сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований РАН при Правительстве РСО-Алания. Публикации в журнале «Дарьял».

стр. 180
Чмыхало Анатолий Иванович
Красноярск, 1924 г. р.

Родился в селе Вострово Алтайского края. Окончив в 1941 году школу в Алма-Ате, поступил в юридический институт, но со второго курса ушёл на фронт. В 1943 году, форсируя Днепр, получил тяжёлое ранение. Демобилизовавшись, продолжил учёбу в Алма-Атинском юридическом институте. В 1947 году переехал в Красноярский край. Работал в Ачинском драмтеатре, в газете «Красноярский рабочий». Начинал как поэт. В конце 1950-х годов написал роман «Половодье» — о борьбе сибирских крестьян за свою власть в 1918–1919 годах. Спустя десять лет написал роман об освоении целины «Нужно верить». Судьбам своего поколения Чмыхало посвятил роман «Три весны». Исторические сюжеты легли в основу романов «Дикая кровь» и «Отложенный выстрел». С 1963 по 1976 годы возглавлял Красноярскую писательскую организацию.

стр. 133
Чучилина Римма Петровна
Красноярск, 1948 г. р.

Родилась в Охотске. Закончила Индустриально-металлургический техникум по специальности «техник-электромеханик». Жила в Ташкенте, играла в Народном театре; затем в Красноярске—в театре эстрадных миниатюр «Фиалка». Работала художественным руководителем заводской самодеятельности. В 1986 году закончила Ленинградскую высшую профсоюзную школу культуры. Пишет стихи более 10 лет. Автор двух изданных книг. Публикации в коллективных сборниках, в альманахе «Новый Енисейский литератор».

стр. 101
Чхартишвили Павел Шалвович
Москва, 1948 г. р.

В 1967 г. окончил Московский техникум автоматики и телемеханики. Служил в армии, работал механиком-прибористом, техником-конструктором, учителем, статистиком. В 1978 г. окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. 35 лет работал в государственном архиве Российской Федерации. Публиковался как историк-архивист. Литературных публикаций до сих пор не было.

стр. 102
Шляпина Марина Владимировна
Тольятти, 1967 г. р.

Родилась в г. Сарапуле (Удмуртия). Некоторое время училась на художественно-графическом факультете Ижевского университета. Окончила институт иностранных языков в Нижнем Новгороде. Работала учителем немецкого языка, журналистом, иллюстратором. Член Союза российских писателей, член Творческого союза художников «Солярис». Публикации в журналах «Город», «Перформенс», в антологии СРП «Лёд и пламень».

стр. 76
Якимов Алексей Владиславович
Пермь, 1961 г. р.

Член Союза журналистов России. Первая публикация стихов—в 1978 году после участия в городском конкурсе юных поэтов Перми. Лауреат фестивалей «Пилигрим-2002», «Земляки-2002».Публикации в коллективных сборниках, газете «Трибуна», журналах «Уральский следопыт» и «Урал», альманахах «Складчина» и «Литературная Пермь».

Как подписаться?

Журнал выходит шесть раз в год. В отдельных случаях возможен выпуск сдвоенных номеров. Полный комплект журнала за 2011 год стоит 1320 рублей. Возможна подписка на отдельные номера. Стоимость одного номера (252 страницы) — 220 рублей. Номера журнала доставляются подписчику по мере выхода в течение срока подписки. Подписка производится по России, странам ближнего и дальнего зарубежья. Издания доставляются по почте.

Чтобы оформить подписку, необходимо заполнить квитанцию и перечислить в любом отделении Сбербанка на территории РФ стоимость заказа на расчётный счёт ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“». Оплату можно произвести наличным расчётом в офисе журнала.

Где купить?

Свежие номера журнала «День и ночь» продаются в магазинах «*Книжный дворик*» по адресам:

в Красноярске
ул. Железнодорожников, 19
ул. Новосибирская, 48

И в книжных киосках по адресам:

в Красноярске
ул. Тотмина, 8а
ул. Тотмина, 35а
ул. Словцова, 12
Академгородок, стр. 1
ул. Киренского, 13

в Емельяново
ул. Московская, 179

По вопросам приобретения журнала обращайтесь по т. 8 (391) 240 10 65, e-mail: disksid@mail.ru

---

Извещение

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“» ИНН 2463042749 КПП 246301001
р/сч № 40702810500600000186 в Красноярском филиале
ОАО «Банк Москвы» кор/сч 30101810900000000967; БИК 040407967

Ф.И.О.: ____________________

Адрес для доставки: ____________________

____

Назначение платежа:	Сумма

Кассир

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. суммы взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

____________________ (подпись плательщика) ____________________ (дата платежа)

Извещение

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“» ИНН 2463042749 КПП 246301001
р/сч № 40702810500600000186 в Красноярском филиале
ОАО «Банк Москвы» кор/сч 30101810900000000967; БИК 040407967

Ф.И.О.: ____________________

Адрес для доставки: ____________________

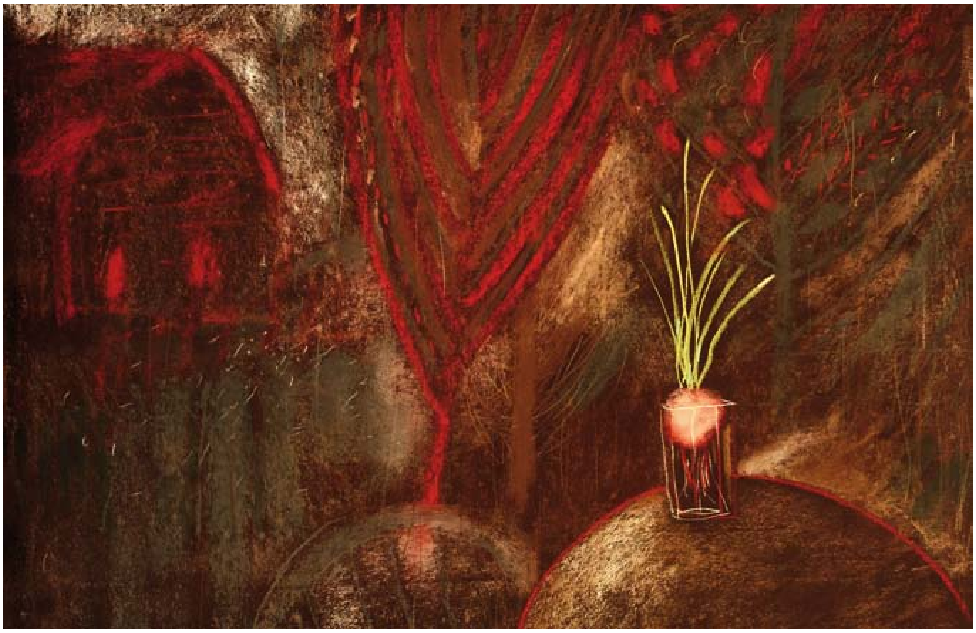
____

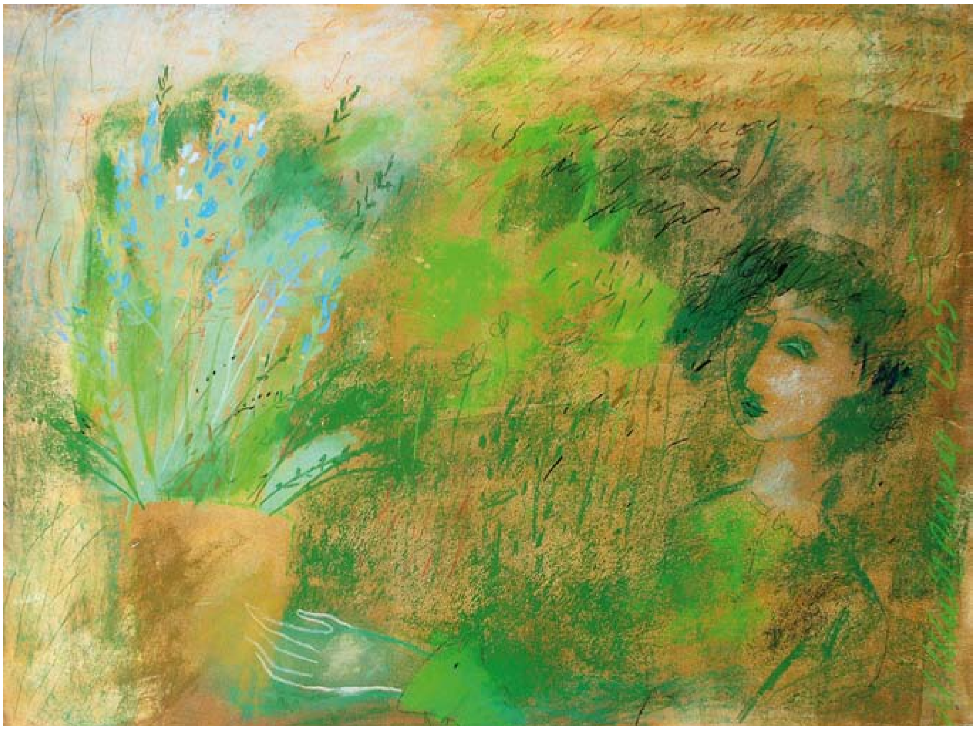
Назначение платежа:	Сумма

Кассир

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. суммы взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

____________________ (подпись плательщика) ____________________ (дата платежа)





На страницах номера…

К 100-летию *А.Т. Твардовского* —
ранее не публиковавшиеся воспоминания
Владимира Леоновича
«Возьмите в долг, не откажите», с. 3

К 100-летию *И.Д. Рождественского* —
Лидия Рождественская, *Виктор Астафьев*,
Вячеслав Назаров и другие.
«Нет мне ответа», с. 50

Экспресс-интервью. *Юлий Ким*:
**«Бардовское дело обречено
на бессмертие…»**, с. 79

Он и Она в горниле революционной
романтики — рассказ *Александра Рыбина*
«План для Революции», с. 134

О героях атомного проекта на красноярской
земле рассказывает *Геннадий Волобуев*.
«Судьба генерала», с. 164

Мистико-фантастическая
и в то же время остро реалистическая
повесть *Владимира Балашова*
«Путь зерна», с. 189

Феерическая притча *Василия Димова*
о градах, весях и людях Кавказа
«Кафказус», с. 216

Стихи замечательных русских поэтов —
Ильи Фонякова, *Бориса Скотневского*,
Евгения Степанова, Сергея Слепухина…

Иронические строки *Анатолия Чмыхало*,
Юрия Татаренко, *Максима Жукова*…

Прочитайте с детьми умную, строгую
и горькую сказку *Юрия Купрюхина*
«Ворон», с. 239